B 28 213
T. 1

В28 213

Граф С. Ю. ВИТТЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II

ТОМ I

2-е издание

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1924

Государственное
Издательство
типография
ПЕЧАТНЫЙ
ДВОР
Ленинград

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

870844

Гиз. № 6845. Ленинградский Гублит № 2416. Отп. 5.000 экз.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

стр.

Предисловие — М. И. Покровского XIII

ГЛАВА I

НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ.

Смерть Александра III. Перевезение тела из Ялты в Петербург. Ротмистр Трепов. Мнение И. Н. Дурново и К. П. Победоносцева о новом императоре. Мое представление императрице Марии Федоровне. О моем первом всеподданнейшем докладе императору Николаю II об устройстве военного порта в Либаве и об участии в этом деле вел. кн. Алексея Александровича. О посторонних влияниях на императора Николая II в первые годы царствования. О характере и намерениях государя в первые годы царствования. О приеме членов Государственного Совета и о появлении на приеме А. А. Абазы. Назначение П. А. Шувалова варшавским генерал-губернатором на место Гурко. Увольнение Кривошеина и назначение Хилкова. Назначение Лобанова-Ростовского министром иностранных дел. Назначение Горемыкина министром внутренних дел. Назначение Гессе дворцовым комендантом 1

ГЛАВА II

ПЕРЕГОВОРЫ С ЛИ-ХУН-ЧАНОМ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С КИТАЕМ.

О вмешательстве России при заключении между Китаем и Японией Симоносекского договора. О гарантии Россией Китайского займа. О Русско-Китайском банке. О приезде Ли-Хун-Чана представителем на коронацию и о заключении договора с Китаем. Визит Эмира Бухарского к Ли-Хун-Чану. О несообщении прессой сведений о приемах государем Ли-Хун-Чана и заключении договора с Китаем. Об образовании О-ва Восточно-Китайской ж. д. и передаче ему концессии на проведение дороги по Китайской территории 34

СТР.

ГЛАВА III

КОРОНАЦИЯ. ХОДЫНКА. ДОГОВОР С ЯПОНИЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРЕИ. НИЖЕГОРОДСКАЯ ВЫСТАВКА. ПОЕЗДКА ГОСУДАРЯ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ.

Ходынская катастрофа. Разговор с Ли-Хун-Чаном. Расследование катастрофы Н. В. Муравьева и графа Палена. Бал у французского посла графа Монтебелло. Русско-Японский договор о Корее. Совет Ли-Хун-Чана не проводить ж.-д. линии на юг от Сибирской жел. дор. О Нижегородской выставке. Посещение выставки Ли-Хун-Чаном и государем. Визит государя императору Францу-Иосифу. Кончина кн. Лобанова-Ростовского. Визит государя императору Вильгельму, королю Христиану, королеве Виктории и французскому президенту 53

ГЛАВА IV

ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ.

Преобразование департамента неокладных сборов в главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей. О первоначальной цели питейной монополии и ее направлении с начала войны с Японией. О мнении инспектора французского финансового ведомства по поводу введения винной монополии 66

ГЛАВА V

ЗОЛОТАЯ ВАЛЮТА.

О денежной реформе и реорганизации государственного банка. О мнении Н. Х. Бунге. Об участии Антоновича. Об отношении к реформе А. Ротшильда, Леона Сэ, президента Лубэ, президента французского министерства Мелина и др. Интрига президента французского министерства Мелина против введения золотой валюты в России. Предубеждение против реформы денежного обращения в публике и у государственных деятелей. О противодействиях, встреченных реформою в соединенном присутствии департаментов Государственного Совета. Проведение реформы через финансовый комитет и о причинах, побудивших сохранить рубль и отказаться от более мелкой денежной единицы 70

ГЛАВА VI

ПРОЕКТ ЗАХВАТА БОСФОРА. НОВАЯ ПОЛИТИКА НА ОКРАИНАХ.

О записке нашего посла в Константинополе Нелидова. Заседание под председательством государя. Недовольство государя мною за возражение против захвата Босфора. Об увольнении главноначальствующего на Кавказе генерала Шереметева и о назначении князя Григория Голицына. О смерти варшавского генерал-губернатора графа Шувалова и о назначении князя Имеретинского. Об увольнении финляндского генерал-губернатора графа Гейдена . . 80

СТР.

ГЛАВА VII

НАЗНАЧЕНИЕ ГР. МУРАВЬЕВА МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ. ОТСТАВКА ГРАФА ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА.

Граф Муравьев и граф Ламсдорф. Отставка министра императорского двора графа Воронцова-Дашкова и ее причины. Барон Фредерикс. Установление нового порядка испрошения кредитов по министерству двора и о моем разговоре об этом с государем 90

ГЛАВА VIII

ПРИЕЗД В ПЕТЕРБУРГ В 1897 Г. ИМПЕРАТОРА ФРАНЦА-ИОСИФА, ИМПЕРАТОРА ВИЛЬГЕЛЬМА II И ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ФЕЛИКСА ФОРА.

Приезд императора Франца-Иосифа. О приезде императора Вильгельма II. Вильгельм — наследник. Приезд Вильгельма II в Петергоф. Пожалование мне ордена Черного Орла. Моя аудиенция у германского императора в Петербурге. Об инциденте по поводу уступки порта Кяо-Чоу. О приезде президента французской республики Феликса Фора. Поездка государя в Царство Польское. О представлении государю абиссинской депутации. Об отставке киевского генерал-губернатора графа Игнатьева и назначении генерала Драгомирова 96

ГЛАВА IX

ЗАХВАТ ЛЯОДУНСКОГО ПОЛУОСТРОВА.

Занятие Германией китайского порта Кяо-Чоу. Заседание под председательством государя и предложение графа Муравьева о занятии Россией Порт-Артура. Решение государя занять Порт-Артур и Да-Лянь-Вань. Мои предупреждения по поводу занятия Порт-Артура великому князю Александру Михайловичу и по поводу занятия Кяо-Чоу германскому императору. Причины, не дозволявшие России протестовать против занятия Германией порта Кяо-Чоу, и мои попытки заставить отказаться от занятия Порт-Артура. Мои свидания по поводу занятия Порт-Артура с английским послом О'Конором и германским — кн. Радолиным. Недовольство государя мною за разговоры с послами. Впечатление в Китае от занятия Россией Порт-Артура. Уход Ванновского и назначение Куропаткина; заявление последнего о необходимости, кроме Порт-Артура, требовать от Китая уступки Ляодунского полуострова. Моя просьба к государю освободить меня от должности министра и несогласие на это его величества. Предъявление требования Китаю об уступке Ляодунского полуострова. Упорство Китая в уступке полуострова и мое участие в этом деле. Согласие Китая на уступку. Стремление германского императора втянуть нас в дальне-восточную политику. Тревога держав, вызванная нашим занятием Порт-Артура и Ляодуна. О соглашении с Японией по делам Кореи. Недовольство Китая уступкой России Ляодуна и государственными деятелями, подписавшими его. Об отпуске кредитов на усиление флота. Эпизод с подысканием названия новому порту, устроенному в Да-Лянь-Ване 107

СТР.

ГЛАВА X

А. Н. КУРОПАТКИН.

О причине ухода в отставку генерал-адъютанта Ванновского и рекомендованных им государю заместителях. О назначении Куропаткина управляющим военным министерством. О разочаровании государя Куропаткиным и ошибочности общественного доверия к нему. Мнение А. А. Абазы о Куропаткине. Об инциденте с дневником ген. Куропаткина 121

ГЛАВА XI

ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

О желании Куропаткина возбудить переговоры с Австрией относительно перевооружений, не отвечающих интересам России. Предположение обратиться к державам о созыве мирной конференции и его обсуждение. Обращение к державам о созыве конференции и их сочувствие. Мое мнение по поводу конференции, высказанное государю 130

ГЛАВА XII

И. Л. ГОРЕМЫКИН.

Отставка Горемыкина в 1899 г. Моя поездка в Крым. Сообщение мне Муравьевым о предстоящей отставке Горемыкина и просьба о поддержке его кандидатуры в министры внутренних дел. О консервативном направлении деятельности Горемыкина вообще и в деле студенческих беспорядков в частности. О расследовании Ванновского деятельности полиции в деле студенческих беспорядков. Мое возвращение из Крыма в Петербург. Разговор с Сипягиным накануне его назначения. Назначение Сипягина и увольнение Горемыкина. Недовольство Муравьева мною из-за подозрения меня в поддержке при назначении Сипягина. О П. И. Рачковском. О поездке Горемыкина в сопровождении Рачковского в Англию и ведении последним переговоров с промышленными фирмами. Донесение Татищева, финансового агента в Англии, по поводу поездки Горемыкина. О Татищеве, финансовом агенте в Англии. О донесении Татищева по поездке Горемыкина в Англию, ознакомление с ним Сипягина и уничтожение его Зволянским 133

ГЛАВА XIII

БОКСЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ И НАША ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.

Движение в Китае против иностранцев и отношение к нему китайского правительства. О примирении со мною графа Муравьева и его кончине. О моей рекомендации графа Ламсдорфа и назначении его заместителем графа Муравьева. О мнении Куропаткина по поводу боксерского восстания и его предложение сделать из Манчжурии вторую Бухару. Начало боксерского восстания. Участие России во взятии Чифу и Тянь-Цзиня. Мое разногласие с Куропаткиным о роли участия России в походе на Пекин. О двойственности действий русских властей в Манчжурии. Настояния мои и графа Ламсдорфа на очищении Манчжурии от наших войск и Куропаткина на захвате

СТР.

ее. О неопределенности отношения государя к вопросу о Манчжурии. О вневедомственном влиянии в направлении политики на Дальнем Востоке. О Безобразове, графе Воронцове-Дашкове и великом князе Александре Михайловиче. Недовольство Японии образом действий России в Корее. О настоянии Японии, Англии и Америки на очищении Манчжурии от войск и поводах к этому. О некорректном поступке генерал-лейтенанта Линевича. О захвате во дворце китайской императрицы договора, подписанного в Москве в 1896 г. 141

ГЛАВА XIV

МОЯ ПОЕЗДКА В ПАРИЖ НА ВСЕМИРНУЮ ВЫСТАВКУ. ЗАЕЗД В КОПЕНГАГЕН. БОЛЕЗНЬ ГОСУДАРЯ. ВОПРОС О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ.

Мой отъезд в Париж и заезд по пути в Копенгаген по вызову Марии Федоровны. Аудиенция у императрицы Марии Федоровны. Аудиенция у датского короля Христиана. Моя поездка в Париж на всемирную выставку и о комиссаре русского отдела, князе Тенишеве. Обед у президента Лубэ и спор во время обеда о денежном обращении. Об объявлении великого князя Михаила Александровича наследником престола. По поводу вопроса об изменении закона о престолонаследии с переходом престола, в случае неимения сына, к дочери. Болезнь государя в Крыму. Об ухудшении положения государя и частном совещании по вопросу о престолонаследии. О разговоре с Куропаткиным по поводу совещания. О сообщении А. Н. Нарышкиной о недовольстве мною государыни за высказанное мною мнение на совещании о престолонаследии. О великом князе Михаиле Александровиче и Андрее Владимировиче. О преподавании им народного и государственного хозяйства. Об уклонении великого князя Андрея Владимировича от нормальной жизни и разговоре по этому поводу с вел. кн. Михаилом Александровичем. Слухи о романическом увлечении вел. кн. Михаила Александровича и запрещении ему жениться на принцессе Кобургской Марии. Об отношении вел. кн. Михаила Александровича ко мне 153

ГЛАВА XV

УБИЙСТВО Н. П. БОГОЛЕПОВА И Д. С. СИПЯГИНА.

Убийство Боголепова. Убийство Сипягина. Отзыв Сипягина о Плеве на обеде у князя Мещерского и назначение Плеве министром внутренних дел. О дневниках Д. С. Сипягина. Об уходе с поста министра народного просвещения Ванновского и замещении его Зенгером 163

ГЛАВА XVI

В. К. ПЛЕВЕ.

Об отношении Плеве ко мне. О крестьянских беспорядках в Харьковской губернии. О политике на Кавказе. Еврейский вопрос. Зубатовщина. О предвидении мною катастрофы и предупреждении об этом мною Плеве. Об убийстве Плеве и найденном у него письме о моей причастности к революционной деятельности 169

СТР.

ГЛАВА XVII

ПЕРЕГОВОРЫ С МАРКИЗОМ ИТО. МОЯ ПОЕЗДКА НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ И ПОРТОВ.

Приезд в Петербург маркиза Ито и безрезультатность переговоров с ним по делам Дальнего Востока. Свидание государя с германским императором на морских маневрах в Ревеле. Моя поездка на Дальний Восток и мой доклад о поездке. Мое мнение о неосновательности убеждений в неизбежности войны с Японией при исполнении последней принятых на себя обязательств. О неподготовленности военного ведомства к войне с Японией. Мой приезд с Дальнего Востока в Ливадию и личный доклад государю о поездке. О великом князе Александре Михайловиче и об образовании главного управления торгового мореплавания и портов 183

ГЛАВА XVIII

УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БЕЗОБРАЗОВА. МОЯ ОТСТАВКА.

Об усилении влияния Безобразова и поддержке его со стороны Плеве. О письме князя Мещерского к государю, по моему настоянию, по поводу Безобразовской авантюры и ответ государя. Предвидение мною печальной развязки на Дальнем Востоке в виду учреждения наместничества. Посещение меня Безобразовым по поводу поездки государя на Путиловский завод. О выдаче из государственного банка по приказанию государя ссуды под имение генерал-майора Мейендорфа и о записке Завойко о необходимости передачи дворянского и крестьянского банков в ведение министерства внутренних дел. Получение от государя записки о привозе с собой к нему управляющего государственным банком Плеске. Последний мой доклад государю по министерству финансов и предложение его величеством мне поста председателя комитета министров. Приглашение меня императрицей Марией Федоровной на завтрак. О разговорах с великим князем Александром Михайловичем по поводу провокации агентов департамента полиции среди рабочих. О причинах, послуживших при единстве взглядов к моему уходу с поста министра финансов, и о продолжении гр. Ламсдорфом управления министерством иностранных дел. О вероятных причинах к назначению Плеске управляющим министерством финансов и претензии В. Н. Коковцова на занятие этого поста по моем уходе. Первоначальное согласие государя в деле политики на Дальнем Востоке с министром иностранных дел и мною и временное удаление от влияния Безобразова. О мероприятиях в мое управление министерством финансов. О моей деятельности по развитию образования 195

ГЛАВА XIX

МОЯ ПОЕЗДКА В ПАРИЖ ОСЕНЬЮ 1904 ГОДА. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВЯЩИХ КРУГОВ.

Комитет министров. Моя поездка в Париж. Беседы с Альфонсом Ротшильдом. Д-р Филипп. Черногорки № 1 и № 2. Субсидии князю Николаю Черногорскому. Петр Карагеоргиевич. Серафим Саровский. О черносотенном движении. Рапорт Рачковского. Великий

стр.

князь Николай Николаевич. Филеры Плеве. О том, что дипломатические сношения по делам Дальнего Востока велись государем непосредственно с наместником, помимо графа Ламсдорфа. О наших военных приготовлениях на западной границе. Барон Розен и Алексеев. О графе Ламсдорфе. О несостоявшемся визите государя итальянскому королю. Посещение меня в Париже Лопухиным. О князе Мещерском. О предупреждении мною императрицы Марии Федоровны о неизбежности войны. Об отношении государя к Вильгельму II. 212

ГЛАВА XX

ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ.

О разговоре японского посланника Курино со мною на придворном балу в Зимнем дворце по поводу переговоров о Корее и Манчжурии и осведомлении об этом мною графа Ламсдорфа. О начале войны с Японией и торжественном молебне в Зимнем дворце по этому случаю. О разговоре Куропаткина с Плеве по поводу войны. О назначении адмирала Алексеева главнокомандующим и его прежней карьере. О назначении ген. Куропаткина командующим армией. Разговор между мною и Куропаткиным перед его отъездом в армию. О разногласии между Куропаткиным и генералом Ванновским о потребных силах для войны. О поездках их величеств для напутствия войск, раздаче войскам икон и злой шутке генерала Драгомирова по этому поводу. О главных этапах войны 237

ГЛАВА XXI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОГО ТОРГОВОГО ДОГОВОРА С ГЕРМАНИЕЙ В 1904 ГОДУ.

Наши взаимоотношения с Германией. Первый торговый договор. Таможенная война. Решительная поддержка, оказанная мне императором Александром III. Желание Вильгельма II получить русский адмиральский мундир. О самодержавии. Мой разговор с бароном Фредериксом в мае 1907 года. Отношение Вильгельма II к Николаю II. Второй торговый договор. Ход переговоров. Канцлер Бюлов и его жена. Граф Посадовский. Япония предлагает заключить мир до падения Порт-Артура. О рождении наследника Алексея Николаевича 245

ГЛАВА XXII

НАЗНАЧЕНИЕ СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. УКАЗ 12 ДЕКАБРЯ 1904 ГОДА.

Назначение Святополк-Мирского. Съезд общественных деятелей. О розыске для государя мною написанной брошюры о событиях на Дальнем Востоке в 1900 — 1902 г.г. Доклад Мирского о необходимых реформах. О заседании под председательством государя, предшествовавшем изданию указа 12 декабря «о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка». О проекте указа, составленном мною и бароном Нольде, вызове меня государем перед подписанием указа и изъятии из проекта пункта о привлечении выборных. Об уходе великого князя Сергия Александровича с поста московского генерал-губернатора. О неосуществлении полностью милостей, дарованных указом 12 декабря, как причине недовольства в обществе . 263

СТР

ГЛАВА XXIII

9 ЯНВАРЯ.

О несчастном случае во время водосвятия 6 января 1905 года. О петербургских градоначальниках ген. Клейгельсе и ген. Фулоне и о поддержке последним рабочих организаций. О шествии рабочих для подачи петиции государю 9 января 1905 г. О совещании у министра внутренних дел и неприглашении меня на это совещание. О посещении меня депутацией общественных деятелей. О дне 9 января. Учреждение поста с.-петербургского ген.-губернатора и назначение на него ген. Трепова. Отставка кн. Святополк-Мирского. Назначение Булыгина министром внутренних дел. Об устроенных посещениях государя рабочими депутациями. О генерале Трепове . . . 277

ГЛАВА XXIV

РАБОТЫ ВО ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА 12 ДЕКАБРЯ 1904 г.

Вопрос о водворении законности. Совещание под председательством Сабурова. Вопросы о печати. Совещание под председательством Д. Ф. Кобеко. О члене совещания Юзефовиче. Вопрос об исключительных положениях и образовании особого совещания под председательством графа А. П. Игнатьева. Вопрос о веротерпимости. Указ 17 апреля 1905 г. Об образовании Особого совещания под председательством графа А. П. Игнатьева по исполнению предначертаний указа 17 апреля 1905 года о свободе совести и безрезультатности его деятельности. Об уклонении Победоносцева от работ в комитете министров по вероисповедному вопросу. Об указаниях митрополита Антония на необходимость мер на пользу православной церкви и доклад об этом государю. Об изъятии этого вопроса из обсуждения комитетом министров с передачей на обсуждение св. синода. Постановление св. синода о необходимости созыва поместного собора и учреждения патриаршества и об уходе в отставку товарища обер-прокурора Саблера. О свободе малороссийского языка в печатании священных книг. Вопрос о разрешении преподавания в школах на родном языке подданных. О закрытии заседаний по исполнению указа 12 декабря 1904 г. О комиссиях по рабочему вопросу под председательством Шидловского и В. Н. Коковцова. Убийство великого князя Сергия Александровича. О преобразовании совета министров. О нелюбви ко мне императора Николая II. О знакомстве с И. Гессеном, В. Набоковым и проф. Петражицким 290

ГЛАВА XXV

МАНИФЕСТ О НЕСТРОЕНИЯХ И СМУТАХ И УКАЗ БУЛЫГИНУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ.

Мукденское поражение. О генерале Стеселе и его возвращении в С.-Петербург. Манифест 17-го февраля о нестроениях и смутах. Заседание в Царском Селе по выработке указа Булыгину 307

ГЛАВА XXVI

ЦУСИМА.

Назначение генерала Линевича главнокомандующим. Об образовании совета государственной обороны. О моей переписке с графом

СТР.

Гейденом. Адмирал Рождественский. Проект покупки Аргентинского флота. Цусимский бой. Назначение генерала Трепова товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией. Упразднение комитета Дальнего Востока и увольнение наместника Алексеева. О депутации земских и городских деятелей, принятой государем. О приеме государем депутации от 26 губернских предводителей дворянства 312

ГЛАВА XXVII

ПОРТСМУТСКИЙ МИР.

О назначении меня главноуполномоченным по ведению мирных переговоров с Японией. Аудиенция у государя. Свидание с великим князем Николаем Николаевичем. Положение наших финансов. О составе моей свиты. Пребывание в Париже и беседы с Лубэ и Рувье. Отношение Франции к Англии. Поведение Германии. Инцидент в Марокко. Свидание в Биорках. О письме Бурцева. Переезд из Франции в Америку. Свидание с Рузвельтом. Моя поездка в еврейские кварталы в Нью-Йорке. Встреча с японскими уполномоченными в Остер-бее. Переезд из Нью-Йорка в Портсмут. Я высаживаюсь в Нью-Порте. Портсмут. Об американском студенчестве. О моем желании совершить поездку по Америке и уклончивое разрешение государя на эту поездку. Интриги против меня в Петербурге. Заключение мира. Прием мною депутации еврейских банкиров. Посещение Бостонского университета. Знакомство с Морганом. Посещение мною Вашингтона. Письмо президента Рузвельта государю о препятствиях, чинимых американским гражданам евреям в России. Обратный переезд из Америки в Европу 321

ГЛАВА XXVIII

ПОСЕЩЕНИЕ ПАРИЖА НА ОБРАТНОМ ПУТИ ИЗ АМЕРИКИ.

Свидание с Рувье и Лубэ. Приглашение меня королем Эдуардом VII и императором Вильгельмом II. Приказание государя посетить императора Вильгельма 369

ГЛАВА XXIX

РОМИНТЕН.

Приезд в Берлин. Свидание с Бюловым и французским послом. Поездка в Роминтен. Граф Эйленбург. Беседа с императором Вильгельмом о свидании в Биорках. Беседа с императором Вильгельмом о Марокккском инциденте. Император Вильгельм дарит мне свой портрет с исторической надписью. Отношение императора Вильгельма к Эйленбургу. Мой отъезд из Роминтена. Встреча, устроенная мне пограничной стражей в Вержболове 375

ГЛАВА XXX

ПРИЕЗД В ПЕТЕРБУРГ.

Мой приезд в Петербург. Свидание с графом Ламсдорфом. Государь вызывает меня к себе в финляндские шхеры. Государь возводит меня в графское достоинство. Нападки на меня правых. Гр. Ламсдорф дает мне прочесть Биоркское соглашение. Я обращаюсь к великому

стр.

князю Николаю Николаевичу с просьбой помочь уничтожить Биоркское соглашение. Биоркское соглашение уничтожается 385

ГЛАВА XXXI

БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА.

Обсуждение законопроекта Булыгина о законосовещательной Думе. Настроение интеллигенции, дворянства и крестьянства. Заседание под председательством государя. Издание манифеста 6 августа о законосовещательной Думе 396

ГЛАВА XXXII

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС ДО 17 ОКТЯБРЯ 1905 ГОДА.

Освобождение крестьян. Общинное землевладение. Индивидуализм и социализм. Земские начальники. Моя экономическая и финансовая политика. Революция слева и революция справа. Частное совещание под председательством Горемыкина об ограничении произвола земских начальников. О рассмотрении в Государственном Совете вопроса о праве крестьян на выход из общины. Об отношении Николая II к крестьянскому вопросу в начале царствования. О моей попытке возбудить крестьянский вопрос. О «дворянской комиссии» и моем участии в ней. О дворянском и крестьянском банках. Моя попытка в 1898 г. побудить комитет министров заняться крестьянским вопросом. Неутверждение государем решений комитета министров. Мое письмо к государю о настоятельности урегулирования положения крестьян и крестьянского дела вообще. Мое намерение возбудить вопрос о сложении выкупных платежей в Государственном Совете и отношение к нему его членов. Образование «особого совещания о нуждах сельско-хозяйственной промышленности». Отношение к нему Сипягина и Плеве. Неожиданное закрытие совещания. Об учреждении комиссии по крестьянским делам под председательством Горемыкина 403

ГЛАВА XXXIII

НАКАНУНЕ 17 ОКТЯБРЯ.

Указ об автономии университетов. Митинги. Отношение к ним правительства. Издание закона о собраниях. Вопрос об объединении деятельности министров. Пресса. Союзы и союз союзов. Революция в Прибалтике, на Кавказе, в Москве, Царстве Польском, Сибири, Одессе. Участие в революции различных слоев населения. Поведение инородцев. Смута в армии. Состояние России ко времени моего приезда из Америки. Значение самодержавия. Мои беседы с Треповым, графом Сольским, Кузьминым-Караваевым, Меньшиковым, Мещерским и П. Н. Дурново 445

ПРИЛОЖЕНИЯ.

О комиссии по борьбе с чумой и ее председателе принце А. П. Ольденбургском 463

О ледоколе «Ермаке» и намерении установить морской путь на Дальний Восток по северному побережью Сибири 468

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Витте был, безо всякого спора, крупнейшим государственным человеком империи Романовых за два последние царствования. В истории России он станет рядом с Канкриным — и, может быть, выше — рядом, но, вероятно, несколько ниже Сперанского.

От воспоминаний государственного деятеля такого масштаба ждешь очень много. Они могут дать больше записок иного царя и, во всяком случае, больше дневников таких царей, как два последние Романова. Ибо, ведь, в действительности-то от их имени и управляли люди, подобные Витте.

Впечатление, которое дает I том, несколько разочаровывающее. Не то, чтобы в книге не было интересных фактов: их очень много. Но общий тон — тон обычных *чиновничьих* воспоминаний. Тщательно отмечаются все случаи, когда тот или иной министр был назначен по его, Витте, рекомендации, а также все случаи, где его обошли: от чего, конечно, было не без беды. Подробно смакуются все обычные в больших и малых канцеляриях анекдоты, как такой-то попал в милость к такому-то лишь потому, что сумел угодить его жене, и т. п. В конце концов, читатель утомляется и готов закрыть книжку — слишком уже не до бюрократических анекдотов в наши дни. Но неожиданно блеснет яркая мысль или выплывет очень крупный, совсем не «анекдотический» факт, и снова прикует ваше внимание. И нужно сказать, чем дальше к концу книги, тем меньше хочется ее бросить.

Для широких кругов читателей, несомненно, будет новостью воинственность последнего Романова, как будто воевавшего только по необходимости и вовлекавшегося в войну другими. На самом деле Николай II драчливостью, несомненно, превосходил не только отца, но и деда, и был, в этом отношении, достойным тезкой Николая I. Характерно при этом, что оба Николая на полях сражений никогда не бывали: первый *почти* никогда, а второй ни разу. Его отец, сравнительно, был боевым генералом, чем, вероятно, и объясняется осторожность его внешней политики, стяжавшая ему в льстивых устах имя «миротворца». Александр III понимал, что с войной не шутят. Сын его этого не понимал и начал свое царствование с авантюры,

не представляющей, правда, секрета, для тех, кто видал архивные документы 1890-х годов; но, поскольку эти документы еще не напечатаны, соответствующая глава мемуаров Витте (VI) явится для подавляющего большинства читателей настоящим «разоблачением». В этой главе подробно рассказывается о *проекте захвата Босфора в 1896 году*,— проекте, подсунутом тогдашним послом в Константинополе, Нелидовым, и утвержденном Николаем, который очень дулся на Витте за его противодействие в этом случае. Операция была вполне подготовлена даже технически, и из «Воспоминаний» не совсем ясно, что помешало ее осуществлению. Повидимому, это было не совсем ясно и для самого Витте — он колеблется между предположением о вмешательстве вел. кн. Владимира и Победоносцева (им инспирированных) и «влиянием той силы, которая руководит всем миром и которую мы называем богом». Весьма вероятно, что и бог и обер-прокурор синода имели за спиной сильного союзника в лице Франции, которая не могла не понимать, что захват Константинополя Россией будет сигналом к мировой войне; а Франция была как раз накануне анти-шовинистической реакции, нашедшей свою высшую точку в деле Дрейфуса. Роли переменились: в свое время Александр III схватил за фалды «реваншаров» [1]) —теперь тот же спасительный жест относительно его сына могла повторить французская дипломатия.

«Разоблачениями» насчет Николая II полна книга, но другие не столь значительны. Что Николай был на «ты» с кн. Мещерским (издателем «Гражданина»), это давно известно,— от Витте мы узнаем лишь, что это был единственный человек, с которым последний царь был на «ты»: по крайней мере, единственный, не принадлежавший к семье Романовых. Не новость, что Николай «с трудом терпел людей, которых он в душе почитал выше себя в моральном и умственном отношении, — только при нужде». Но пикантно это слышать от одного из его министров, служившего ему «верой и правдой» и не терявшего надежды служить и в будущем (Витте писал свои «Воспоминания» между 1907 и 1912 годами). Еще пикантнее прочесть такую откровенность того же министра: «Пишу эти строки, предвидя все последствия безобразнейшей телеграммы императора проходимцу Дубровину, председателю союза русского народа (3 июня 1907 г.). Телеграмма эта, в связи с манифестом о роспуске второй Думы, показывает все убожество политической мысли и болезненность души самодержавного императора [2])». О психической ненормальности Александры Федоровны также говорится совершенно определенно [3]).

[1]) Сторонников «реванша», т.-е. расплаты с Германией за войну 1870 — 1871 г.г. и возвращения Франции Эльзаса и Лотарингии.

[2]) «Воспоминания», I, стр. 223.

[3]) «Воспоминания», I, стр. 160.

Все эти признания тем ценнее, что в принципиальной преданности Витте «православию и самодержавию» не может быть никаких сомнений. Человек, для которого Хомяков был первым русским писателем [1]), который после заключения Портсмутского трактата «молился так горячо, как никогда» [2]), который находил очень хорошим обычаем, что в семье Гогенцоллернов Вильгельму II целуют руку [3]) — и сам поцеловал руку Николаю, когда тот сделал его графом [4]), — человек, наконец, для которого Милюков (1907 года) и даже Набоков, даже академик Шахматов (!) были «тайными республиканцами» [5]), такого человека трудно заподозрить в «вольнодумстве». Александру III он был безгранично предан (с теплого воспоминания о нем начинаются мемуары — в том виде, как они опубликованы: напечатано далеко не все). И если даже Витте по поводу Николая вспоминает о Павле Петровиче, это стоит больше, чем сотни анекдотов, идущих из либеральных кругов.

В памяти общества характеристика самого Витте двоится. В 90-х годах он слыл «либералом»: революция и опыт его «конституционного» министерства, в 1905 — 1906 г. г., стяжали ему репутацию лютого реакционера. «Воспоминания» расшифровывают эту загадку, которая, впрочем, для мало-мальски посвященных загадкой никогда и не была. Витте был, несомненно, «либерал» в том условном понимании этого слова, в каком оно прилагалось, например, к Николаю Милютину: то-есть Витте был анти-*крепостник*. На этот счет его мемуары не оставляют ни малейшего сомнения. Крупный делец буржуазного типа, практик-железнодорожник раньше, чем он стал сановником, Витте не мог не быть другом промышленного капитала, а быть другом промышленного капитализма и дружелюбно относиться к остаткам крепостничества — две вещи несовместные. Можно поверить ему, когда он рассказывает о своих неоднократных попытках ликвидировать институт земских начальников и уничтожить выкупные платежи. Круговая порука не имела более непримиримого противника. Чрезвычайно любопытно проследить (особенно здесь поучительна глава XXXII — «Крестьянский вопрос до 17 октября 1905 года») эту объективную власть исторической диалектики над мозгом, воспитанным на Хомякове под надзором генерала Фадеева. Но именно дружба с капитализмом делала для прозорливого Витте невозможным быть анти-крепостником до конца, — до отрицания и самодержавной верхушки общества.

Витте ничего не имел бы против конституции дворянской и буржуазной. «Имена пострадавших дворян-декабристов чтутся

[1]) Там же, стр. 410.
[2]) Там же, стр. 357.
[3]) Там же, стр. 97.
[4]) Там же, стр. 387.
[5]) Там же, стр. 450.

ныне весьма даже царями (!), как личности, несомненно, светлые». Знаменитую записку о земстве и в свое время многие рассматривали, как ловко замаскированную попытку доказать необходимость для России конституции, и стр. 400 «Воспоминаний» устраняет на этот счет все сомнения, у кого они и были. Витте упрекает лишь дворянство за то, что оно эгоистично хотело конституции *для себя*. «Дворянство, несомненно, хотело ограничения государя, но хотело ограничить его для себя и управлять Россией вместе с ним. Многие из них проглядели образование буржуазии, третьего сословия, *сознательного пролетариата*» [1]).

И вот этот-то «сознательный пролетариат» и заставлял Витте во внутренней политике лавировать так же, как его кумир, Александр III, лавировал в политике международной. «Дворянство увидело, что ему придется делить пирог с буржуазиеи — с этим оно мирилось; но ни дворянство, ни буржуазия не подумали о сознательном пролетариате. Между тем, последний для сих близоруких деятелей вдруг, только в сентябре 1905 года, появился во всей своей стихийной силе. Сила эта основана и на численности, и на малокультурности, а в особенности на том, что ему терять нечего. Он как только подошел к пирогу, начал реветь, как зверь, который *не остановится, чтобы проглотить все, что не его породы*. Вот, когда дворянство и буржуазия увидели сего зверя, то они начали пятиться, т.-е. начал производиться процесс поправения» [2]).

Переведите эту тираду с языка озлобленной буржуазной реакции на язык объективной истории,—и вы получите знакомую нам формулу: пролетариату нечего терять, кроме цепей, и потому он один способен довести революцию до конца. Витте уже в 1907 году видел и понимал то, чего не видели и не понимали ни Милюков, ни Керенский в 1917 году. Настолько этот верный царский слуга был прозорливее тех «тайных» и не совсем явных «республиканцев», которые шли ему на смену.

А так как этот верный царский слуга отнюдь не желал революции, был злейшим (хотя отнюдь не тупым) врагом социализма [3]) и величайшим поклонником индивидуальной собственности, без которой, как он правильно рассуждает, не было бы индивидуализма вообще, а без индивидуализма для него не было бы и всей культуры («без преклонения перед «я» не было бы ни Ньютонов, ни Шекспиров, ни Пушкиных, ни Наполенов, ни Александров II и пр., и не существовало бы чудес развития техники, богатства, торговли и пр., и пр.»), то свою задачу он и видел в объединении всех собственников

---

[1]) Курсив наш. *М. П.*
[2]) «Воспоминания», I, стр. 399 — 401. Курсив наш. *М. П.*
[3]) Там же, стр. 405 — 406.

против социализма и пролетариата. То, что было для либеральной буржуазии до 1905 года главным, конституция, для него было неизбежным, но второстепенным, и притом не на сейчас, когда у дверей стоял разъяренный «зверь» — сознательный пролетариат, ищущий «проглотить все, что не его породы», т.-е. уничтожить весь буржуазный строй. *Сейчас* самодержавие было нужнее. И он при таких условиях, вероятно, искренно не понимал, как буржуазия может отказываться от кооперации с самодержавием. Но буржуазия упорно не хотела оставлять своей классической позиции — между двух стульев. И для того, чтобы сковать «зверя» хоть на короткое время, понадобился кулак крепостника, столь ненавистного для Витте. Его антипатия к Столыпину мало чем отличалась от чувств, которые питала к этому последнему крайняя левая, а для Пуришкевича и К⁰ у него нет другого имени, как «сволочь». Но нечего было делать, — кроме «сволочи» никто не мог задержать революцию хоть на полчаса. И точно та же картина — крепостника, пытающегося спасти буржуазные «животы»,—должна была повториться десять лет спустя, уже после того, как случилось то, до чего надеялся не дожить (и не дожил, в самом деле) Витте, — гибель династии. Жутким пророчеством веет от этих слов последнего государственного человека старой России. «Сверху пошел клич — все это крамола, измена, и этот клич родил таких безумцев, подлецов и негодяев, как иеромонах Илиодор, мошенник Дубровин, подлый шут Пуришкевич, полковник от котлет Путятин и тысяча других. Но думать, что на таких людях можно выйти, — это новое мальчишеское безумие. Можно пролить много крови, но в этой крови можно и самому погибнуть и погубить своего первородного чистого младенца сына-наследника. Дай бог, чтобы сие не было так и, во всяком случае, чтобы я не видел этих ужасов» . . . [1]).

Второй том «Воспоминаний» Витте дает гораздо больше первого. Автор, разумеется, не переменился. Попрежнему, это, прежде всего, чиновник очень высокого ранга, весьма занятый карьерой, и своей и своих соперников. Попрежнему, это не просто воспоминания много видевшего на своем веку старика, но апология политического деятеля, своего рода обширная защитительная речь, где о врагах сказано все худое, что только можно было собрать, а о себе — одно хорошее. Эта черта, во второй части, даже гораздо выпуклее, чем в первой. Тут мы, как раз, имеем возможность кое-что проверить по документам уже опубликованным: достаточно сравнить подлинные доклады Витте-премьера Николаю (напечатанные в № 9 «Былого» за 1918 год), чтобы не поверить тому, что рассказывает Витте-

[1]) «Воспоминания», I, стр. 409.

историк о своих, якобы, мягкости и лойяльности по отношению к революционерам, стараясь так выгодно противопоставить их беспардонной жестокости Столыпина. «Экстренно принять самые решительные меры», «ничем не стесняясь, задушить восстание», «с кровожадными мятежниками расправляться самым *беспощадным* образом» (курсив Витте),—такие фразы мелькают в докладах на каждом шагу. И «мягкому» Витте не удается скрыть, — да он, как умный человек, об этом даже и не хлопочет, что кровавые расправы Ренненкампфа и Меллера-Закомельского в Сибири ложатся на его совесть: именно ему, Витте, принадлежит самая идея знаменитых «карательных поездов» [1]).

С революцией повторяется, точка в точку, то же, что было с японской войной. На Дальнем Востоке Витте был не меньшим империалистом, чем Николай II, но империалистом *умным*. В этом вся разница. Витте тоже шел к войне с Японией, но шел осмотрительно, надеясь выбрать момент, наиболее благоприятный для русского самодержавия. Николай выбрал момент и условия — максимально неблагоприятные. Но и тот и другой, и Николай и Витте, одинаково смотрели на миллионы людей, зависевших от их воли, как на материал для разрешения задач, в которых эти миллионы вовсе не были заинтересованы. *Морально* Витте нисколько не лучше того, кого он так яростно критикует на всем протяжении своих «Воспоминаний». Вся разница — интеллектуальная. У одного был расчет, у другого — «из ряда вон выходящее мальчишеское безумие» [2]).

То же самое и относительно революции. Уже по поводу I части «Воспоминаний» нам приходилось отмечать, что Витте прекрасно понимал, откуда грозит «Романовым» главная опасность. Во II части есть не менее любопытные иллюстрации этой точки зрения. Сравнивая Гучкова и Урусова, Витте разражается такой тирадой: «А г. Гучков, — ведь он исповедывал те же идеи, был обуян теми же страстями, как князь Урусов, и проявлял их более демонстративно, как до 17 октября, так и после; а как только он увидал народного «зверя», как только почуял, что, мол, игру, затеянную в «свободы», *народ* поймет по-своему, и именно, *прежде всего, пожелает свободы не умирать с голода, не быть битым плетьми и иметь равную для всех справедливость*, то в нем, Гучкове, сейчас же заговорила «аршинная» душа, и он сейчас же начал проповедывать: государя ограничить надо не для народа, а для нас, ничтожной кучки русских дворян и буржуа-аршинников определенного колера» [3]).

Задача Витте в том и состояла, чтобы разрознить, дезорганизовать поднявшуюся народную массу, построить своего рода

---

[1]) «Воспоминания», II, 119.
[2]) Там же, II, стр. 43.
[3]) «Воспоминания», стр. 57. Курсив наш. *М. П.*

мол, о который разбивались бы волны разбушевавшегося океана. Для этого нужно было собрать воедино всех, заинтересованных в «поддержании порядка», а незаинтересованных заинтересовать. Актами же грубого произвола, беспорядочными расстрелами можно было достигнуть только противоположного и, прежде всего, распугать либеральную буржуазию, которая должна была составить фундамент сооружаемой Витте дамбы. Что можно было итти и другим путем — путем прямого насилия, укрощая «зверя» исключительно ударами бича — это Витте сознавал с первой минуты, и можно ему поверить, когда он рассказывает, как он предлагал на выбор Николаю альтернативу: или «решительно и систематически» «итти против течения», или итти путем подкупа (иначе «конституционным») [1]). Но второе ему казалось прочнее, а главное, не было опыта, который бы ручался, что первым путем можно чего-нибудь достигнуть. Когда Столыпин взял власть в руки, в прошлом были уже декабрьские баррикады, была уже попытка вооруженного восстания самого опасного элемента народной массы — рабочих, попытка, обошедшаяся старой власти гораздо дешевле, чем она могла ожидать. Этого факта, что Витте выступил *перед* Декабрем, а Столыпин — *после* Декабря, никогда не нужно забывать при оценке двух политических линий.

Каково было настроение *перед* Декабрем, на этот счет «Воспоминания» дают несколько ярких иллюстраций. Когда Витте с проектом манифеста ехал на пароходе в Петергоф, тут же ехал обер-гофмаршал двора Бенкендорф, все время плакавшийся, «что у их величеств пятеро детей, — так что если на-днях придется покинуть Петергоф на корабле, чтобы искать пристанища заграницей, то дети будут служить *большим препятствием*» [2]). А в самом начале декабрьского восстания фактический главнокомандующий русской армией, великий князь Николай Николаевич, развивал перед Витте такие соображения: «При теперешнем положении вещей задача должна заключаться в том, чтобы охранять Петербург и его окрестности, в которых пребывает государь и его августейшая семья; у него (Николая Николаевича) на это теперь достаточно войск, но в обрез, и если он уделит хотя малую часть, то в случае, боже сохрани, восстания в Петербурге и его окрестностях, войск не хватит. *Что же касается Москвы, то пусть она пропадает.* Это ей будет урок. Когда-то Москва была, действительно, сердцем и разумом России; теперь же это центр, откуда исходят все антимонархические и революционные идеи. Никакой беды для России от того, если Москву разгромят, не произойдет» [3]).

---

[1]) Там же, стр. 8.
[2]) Там же, II, стр. 29. Курс. Витте.
[3]) «Воспоминания», II, стр. 140. Курсив мой. *М. П.*

В своей панике Николай Николаевич не замечал, что, при его версии, Москву и «громить»-то некому будет. Фактически высшее военное командование шло на две столицы — на повторение комбинации 1608 — 1610 г.г.: Тушино и Москва. В Питере Николай, а в Москве . . . Имени Ленина еще не было в те дни. На всех устах гремел случайный «человек дня», Хрусталев-Носарь, ничтожество которого Витте, впрочем, отлично понимал [1]). Был страшен «зверь», а не его случайный вожак. И то, что не кто-нибудь, а сам главнокомандующий готов был бросить в пасть «зверю» вторую столицу России (лишь бы не сожрал сразу!), показывает, как мало были преувеличены надежды и противной стороны. *Психологически* условия для революции типа французского Февраля 1848 г. были налицо, но *события опередили организацию масс*. Революция интеллигенции отстала от революции рабочих и крестьян; массы ринулись в бой, не дожидаясь, пока они станут боеспособными; и тут оказалось, что одной психологии против пушек и пулеметов мало.

Но «зверю» готовы были делать не только географические уступки. «Воспоминания» открывают уголок картины, которая полностью скрывается еще в неизданных архивных документах. Мы много знаем, много говорили и писали об аграрной политике Столыпина. Не имевшие практических последствий, аграрные проекты правительства зимы 1905 — 1906 г. г. почти совершенно неизвестны; а между тем, для психологии правящих кругов они не менее характерны, чем исторические рассуждения Бенкендорфа и Николая Николаевича.

«Как-то раз, — говорит Витте (из другого места его рассказа видно, что это происходило «в первые недели после 17 октября»),— я приехал в Царское Село с докладом к его величеству. Меня в приемной встречает Трепов, заводит разговор о сплошных восстаниях крестьянства и говорит мне, что для того, чтобы положить конец этому бедствию, единственное средство, это — *немедленное и широкое отчуждение помещичьих земель в пользу крестьянства*. Я выразил сомнение, чтобы ныне, накануне созыва Государственной Думы, можно было принять такую поспешную и мало обдуманную меру. Он мне ответил, что все помещики будут очень рады такой мере. «Я сам, — говорит генерал, — помещик и буду весьма рад отдать даром половину моей земли, будучи убежден, что только при этом условии я сохраню за собой вторую половину». Государь мне (Витте) во время доклада об этом, по существу, не говорил, но только передал записку с проектами, сказав: «Обсудите эти предположения в совете министров. Это записка и проект профессора Мигулина». Это

[1]) Там же, стр. 107 и 111, 112. В фактических подробностях здесь, как и во всем, что касается революционного лагеря, Витте невообразимо путает.

была записка о необходимости принудительного *отчуждения земель в пользу крестьянства*, как мера, которую необходимо принять *немедленно непосредственною волею и приказом самодержавного государя*. Я, конечно, сейчас же понял, кто доставил эту записку государю. После доклада меня опять встретил Трепов и убеждал, *как помещик*, провести меру, предлагаемую в переданной мне записке, как можно скорее, *покуда крестьянство еще не отняло всю землю у помещиков*» [1]).

Витте очень хотел бы свести все дело к панике ненавистного ему Трепова. Но вот другой свидетель, пользующийся всеми его симпатиями. «Тогда (в декабре) приезжал в Петербург генерал-адъютант Дубасов, бравый, благородный и честный человек [2]). Он приехал из Черниговской и Курской губерний, куда он был назначен с особыми полномочиями вследствие сильно развившихся там крестьянских беспорядков. Он явился ко мне, и, подробно рассказав о положении дел, *высказывался в том смысле, что лучше всего было бы теперь же отчудить крестьянам те помещичьи земли, которые они забрали;* а на мое замечание, что на принудительное отчуждение я не пойду без обсуждения дела в Государственной Думе и Государственном Совете, после открытия этих учреждений, он высказал мнение, что теперь такою мерою можно успокоить крестьянство, а потом — «посмотрите, крестьяне захватят всю землю, и вы с ними ничего не поделаете» [3]).

Уступку, на которую не решались кадеты и эсеры летом 1917 г., готовы были сделать помещики поумнее уже осенью 1905-го. Декабрь и тут разбил очарование революции, и когда в январе следующего года министр земледелия Кутлер вздумал разрабатывать дальше идеи Мигулина (проект последнего был отвергнут советом министров перед декабрьскими днями), это вызвало высочайшее неблаговоление и отставку нетактичного министра земледелия, который с горя «пошел в кадеты» [4]).

Почему Витте «передержал» реформу и она «села», как перепеченный кулич? Была ли это его индивидуальная ошибка? Сам творец псевдо-конституции в России готов все совершающееся объяснить индивидуальными ошибками действующих лиц. Он и не замечает, что его рассуждения о «звере» (он же «сознательный пролетариат» в другом месте) совершенно опрокидывают его исторический индивидуализм. На самом деле Витте был воплощением *класса*, и, хотя он не сознавал этого, интересы этого класса определяли его политику. И вот тут, в этой классовой плоскости, мы встречаем любопытное совпадение. *Дворянство*

---

[1]) «Воспоминания», II, 157. Курсив наш. *М. П.*

[2]) Всем известный московский генерал-губернатор, расстреливавший Пресню. *М. П.*

[3]) «Воспоминания», II, 158. Курсив наш. *М. П.*

[4]) «Министра земледелия Кутлера, честного, умного и дельного человека» «травлею загнали в лагерь партийных левых кадетов». Там же, стр. 71.

в России 1905 г., как во Франции 1789-го, было щедрее к крестьянству, нежели буржуазия. Во Франции 4 августа дворяне отказались начисто от всех феодальных привилегий, а господствовавшая в Национальном Собрании буржуазия засаботировала этот отказ, превращая упразднение феодальных привилегий в фикцию и тем все дальше и дальше загоняя крестьянство в революцию. Дворяне больше боялись за свою шкуру и рады были откупиться частью своих доходов; буржуазия, чувствуя себя в безопасности в городах, больше боялась за капиталы, вложенные в дворянскую землю, и не желала терять из них ни копейки. И у нас дворянство, непосредственно громимое в своих усадьбах, было готово поступиться половиной земли, чтобы спастись от погрома, в тайной надежде, без сомнения, что с этой половиной канет в вечность и *весь* его долг банкам. Кто и как будет платить этот долг, дворян мало занимало: земли же все-таки оставалось в руках много, особенно у крупнейших владельцев. Напротив, буржуазия, державшая в руках акции и облигации земельных банков, была в первую голову заинтересована в обеспечении земельных долгов помещика, — выкупная операция шла для нее в первой линии, и просто швырнуть землю мужику она не могла.

Такова была *экономическая* подоплека этого классового противоречия, совпадение которого в двух великих революциях необычайно характерно. Она, конечно, современниками не сознавалась, но они вполне сознательно брали дело с *политического* конца. Читатель уже заметил, конечно, что Николай и Трепов настаивали на объявлении народу о земельной уступке, как о высочайшей милости — *они хотели повторить 19 февраля,* а Витте настаивал, чтобы это был *законодательный акт Думы,* т.-е., чтобы уступка явилась в глазах крестьянина *даром из рук бунтующей против самодержавия буржуазии.* Противоречие било в глаза настолько, что едва ли Витте мог его не понимать, и придворные толки, будто Витте хочет быть первым президентом русской республики, едва ли по существу были так же нелепы, как по форме. Конечно, ни о президенте, ни о республике Витте не мечтал, но что он не хотел зависеть от Николая и его камарильи, что он хотел выступить в качестве самостоятельной силы, это не подлежит никакому сомнению. И наметилось это противоречие гораздо раньше, чем стал на очередь земельный вопрос. Противоречие вскрылось уже в самый момент 17 октября, когда Николай настаивал, чтобы поворот в политике был отмечен высочайшим манифестом, а Витте убеждал, что его, Витте, доклада, с одобрительной резолюцией Николая, совершенно достаточно. Смысл конфликта был настолько понятен, что именно с этой минуты в придворных кругах и пошли толки о «президентстве» [1]).

[1]) См. всю главу XXXIV («Манифест 17 октября»), особенно стр. 27—28 II тома «Воспоминаний».

И, пытаясь втолковать Николаю, что манифест больше его обязывает, чем резолюция, Витте шил слишком белыми нитками. Николай был гораздо хитрее, чем может показаться читателю «Воспоминаний»; ловушку он легко разглядел, и с этой минуты судьба Витте могла считаться решенной. В глазах самодержавия он был изменник, и едва ли самодержавие не было в этом случае совершенно право. Хочешь или не хочешь, издевательница-судьба заставляла старого царского сановника, почитателя Александра III, ставить ставку на революцию. Ее успех, хотя бы минимальный, был минимальным условием, чтобы Витте мог удержаться у власти. Ее полный разгром превращал Витте в крайне подозрительную для Николая ненужность, которую, по меньшей мере, надо убрать, если не прямо уничтожить.

Как опорная точка, для Витте необходима была, таким образом, буржуазия: не во главе же «сознательного пролетариата» было ему становиться. Кое-какие поползновения и в этом направлении у автора «17 октября» были: всем известные «братцы рабочие» (об этом «Воспоминания» стыдливо умалчивают), сношения с Ушаковым и Гапоном, которые Витте старается свести к самым скромным размерам, намечают эту тенденцию. Но «братцы» отвечали на заигрывания такими звонкими оплеухами, что на сколько-нибудь продолжительное время сохранить иллюзии в данном вопросе не мог бы и человек менее умный, нежели Витте. Серьезной опорой в возможности оставалась, повторяем, конечно, *только буржуазия*. Она была нужна Витте до-зарезу. Был ли ей нужен Витте? Тут был «кризис» всей трагедии.

С делающей, опять таки, честь Витте практичностью он думал опереться на политически наиболее организованную часть буржуазии в лице кадетов. Воспользовавшись визитом к нему И. В. Гессена, приходившего нащупывать почву насчет легализации «партии народной свободы», Витте затеял с ним разговор. «Я ему сказал, что, вообще, к взглядам этой партии отношусь симпатично и многие воззрения ее разделяю и что, поэтому, я готов ее поддержать (!), по при одном *непременном* условии, чтобы она отрезала революционный хвост, т.-е. резко и *открыто* стала против партии революционеров, орудовавших бомбами и браунингами. На это мне Гессен ответил, что они этого сделать не могут и что мое предложение равносильно тому, если бы они нам предложили отказаться от нашей физической силы, т.-е. войска во всех его видах» [1]).

Итак, под первым впечатлением победы рабочих (разговор происходил «в течение ближайших дней после 17 октября»), кадеты предпочитали получить власть из рук «зверя», а не из рук его укротителей. Почему — на это ответ дан был Витте

[1]) «Воспоминания», II, 178. Курсив везде Витте.

Милюковым, который тоже вел с только что назначенным премьером разговор на ту же тему (при чем, по версии Милюкова, выходит, что инициатива обеих бесед, и с Милюковым и с Гессеном, исходила от самого Витте). «Общественные деятели, популярные в стране, к вам теперь не пойдут, — сказал ему Милюков, — потому что вам и правительству вообще никто не верит. Приобретите сперва право на доверие, доказавши серьезность своих намерений» [1]).

«Недоверие к правительству» — это, как будто, звучит революционно по тогдашним временам: это был лозунг тогдашней крайней левой. Милюков и спешит предупредить подобное недоразумение: «Я продолжал: я не знаю тех полномочий, которыми вы располагаете. Если верить слухам — боюсь, что они недостаточны (я говорил об этом со слов моего французского приятеля Поля Бойе, посетившего перед этим Витте и в этом убедившегося)». Сомнения кадетов относились не к искренности намерений Витте, а к его *силе*. Не сильнее ли окажется «зверь», нежели этот царский министр, ненавидимый своим царем? Не отдаст ли «зверь» снятую с этого царя корону — буржуазии? События марта - апреля 1917 г. показали, что абсолютно бессмысленным такой прогноз не был. Наиболее ограниченная и трусливая часть интеллигенции (а это — увы! — и в 1917 и в 1905 г. г. было большинство) могла убедить массы отдать руль в руки «опытных» вождей буржуазной реакции. Но этот прогноз, как само собою разумеющееся, предполагал материальную, физическую победу масс — победоносное вооруженное восстание. И кадеты *перед Декабрем* ставили ставку на революцию, повидимому, так же мало сознавая это, как и Витте.

Откуда бы ни пошли, мы всюду встречаем то же «предекабрьское» настроение, кружившее голову одним, заставлявшее растерянно опускать руки других. Декабрь развеял чары и показал в то же время, где кончается субъективное и где начинается объективное, над которым никакие «психологии» были уже не властны.

В самом деле, не вся же история последних месяцев 1905 г. объясняется психологией. Не говоря уже о нелепости такого объяснения с точки зрения марксизма, оно просто исторически недостаточно, ибо оставляет нас недоуменными перед целым рядом вопросов. Если все дело было в ужасе перед грядущим восстанием, отчего же все сделанное ранее не рассеялось тотчас же, как только восстание разразилось, наконец, и пало под царскими штыками? Почему все-таки была созвана дума, все-таки остались кое-какие свободы, а проекты «принудительного отчужде-

[1]) *П. Н. Милюков.* «Три попытки» (из истории русского лжеконституционализма). Париж, 1921. Стр. 23 — 25.

ния» дожили до лета 1906 г.? Почему сам Витте пал — вторично и окончательно — только в апреле этого года, а не в январе? Какая вообще была *объективная*, а не психологическая подкладка 17 октября?

Этого вопроса особенно уместно коснуться здесь, потому что как раз «Воспоминания» Витте дают почти исчерпывающее объяснение объективной необходимости событий, поскольку творящим агентом для последних являлась государственная власть. Странное дело: мы теперь лучше знаем, почему Николай уступал рабочим, нежели почему рабочие на него наступали — но вообще почему одни наступали, а другой уступал—это давно всем понятно, как и то, почему это случилось именно тогда, в октябре 1905 г. Что развязало пролетарскую революцию *именно в этот момент*, нам скажут только архивные документы, к изучению которых мы едва приступаем. Но почему «дураки испугались» первого же порыва начинавшегося шквала [1]), на это почти полный ответ можно найти уже в мемуарах Витте.

В момент выступления рабочих самодержавие было затронуто в своих наиболее «жизненных частях»: оно не могло положиться на свое *войско* и не было уверено в прочности своих *финансов*. Относительно последних дело стояло даже хуже. «Финансовый устой — золотая валюта — была поставлена на карту и зависела от того, заключу ли я заем или нет, т.-е. даст ли нам Европа денег, чтобы выйти из трудного положения», пишет Витте уже об эпохе *после* разгрома вооруженного восстания, о январе 1906 г. [2]). А Европа требовала, прежде всего, другого доказательства «восстановления порядка» в России. Победы над вооруженным восстанием «Европе», т.-е. парижской бирже, повидимому, показалось достаточно — она была оптимистичнее Витте; последний на союзе с интернациональной буржуазией прогадал, так же, как просчитался он и на буржуазии туземной. Но преувеличенные, может быть, в январе 1906 г. страхи Витте были вполне обоснованы в октябре, перед лицом развертывавшейся рабочей революции [3]). Продолжение «анархии», действительно, грозило лишить царское правительство всякого кредита заграницей.

А то, что происходило в действующей армии (мир с Японией был уже заключен, но демобилизация только что началась), не давало осведомленным людям никакой надежды и на то, что «анархию» удастся раздавить открытой силой.

«В Манчжурии знали, — пишет Витте, — что, вообще, в России неспокойно, что смута, начавшаяся еще до войны, во время

---

[1]) См. *Л. Троцкий*. «1905», стр. 115.

[2]) «Воспоминания», II, 134.

[3]) Мы не останавливаемся здесь на моменте, совершенно не затрагиваемом и Витте: весна 1906 г. и для французской буржуазии была крайне тревожна. Стачка вспыхивала за стачкой, и 1 мая ждали в Париже с великим страхом. Это опять создавало «международную солидарность».

ее все усиливалась и усиливалась. Затем, когда в сентябре и октябре 1905 г. беспорядки участились и распространились на большие пространства, когда начались забастовки и, вследствие забастовок почты и телеграфа, целыми неделями перестали получаться в армии сведения, достойные какого-либо доверия, там начали распускаться самые невероятные сведения. Так, государь сам мне говорил, что князь Васильчиков (занимавший впоследствии в кабинете Столыпина пост министра земледелия, а во время войны бывший уполномоченным Красного Креста в действовавшей армии), возвращаясь после заключения мира в Россию, до самого Челябинска не знал точно, что в ней делается, и ожидал, судя по рассказам, приехавши в Россию, не застать уже в ней царскую семью, которая будто бы бежала заграницу, а меня с моими коллегами по министерству ожидал увидеть на Марсовом поле висящими на виселицах. Так всюду за Челябинском ходила молва.

«Я не знаю, найдется ли между военными, бывшими в действующей армии, лицо, которое правдиво и точно опишет то революционное настроение, в котором после 17 октября пребывала действующая армия. Мне известно то настроение, в котором она находилась, со стороны, но на довольно высокой позиции премьера министерства. Я вынес то глубокое впечатление, что армия после 17 октября находилась в весьма революционном настроении, что многие военачальники скисли и спасовали не менее, нежели некоторые военные и гражданские начальники в России, что армия была нравственно совершенно дезорганизована и что во многих частях, возвращавшихся в Россию, шел поразительный дебош до тех пор, покуда ему не был положен, по моей инициативе, предел посредством карательных экспедиций генералов Ренненкампфа и Меллера-Закомельского и смены главнокомандующего генерала Линевича» [1]).

Без денег и без солдат вести какую бы то ни было войну, хотя бы междоусобную, нельзя: «передышка» была абсолютно необходима самодержавию, и если бы даже Николай не понял этого своими собственными мозгами, возле него был Трепов, который мог ему это растолковать. Витте был использован исключительно в целях передышки, — и то, что такую крупную рыбу Царскому Селу удалось поймать на удочку, ясно показывает, что там были уже не такие дураки, каких хотел бы видеть одураченный автор манифеста 17 октября. Вся вторая часть «Воспоминаний» пропитана желчью человека, обозленного донельзя тем, что его «провели», но факт остается фактом: Трепову, опираясь на Николая, действительно, удалось провести Витте. Он мог бы утешаться тем, что провели не одного его. В еще более дурацком положении оказались те, кому он протягивал руку за помощью

[1]) «Воспоминания», II, 118 — 119.

во имя *классового* интереса и которые отказались помочь, увлекаемые совершенно химерическими *партийными* расчетами. Ни Витте, ни кадеты не умели понять динамики революции, и окончательный верх должен был остаться за теми, кто на этой динамике строил все свои предвидения. Витте удержался пять месяцев, его тогдашние противники в 1917 г. — два, а большевики стоят у власти уже пять лет.

Для тупости великого финансиста и талантливейшего бюрократа последних лет Романовской династии, тупости именно в этом отношении — в отношении революционной тактики — чрезвычайно характерно, что он даже названия «большевики» не знал. Витте понимал, «что» революции — «как» революции оставались для него загадкой. Все революционеры сливаются у него в одну бесформенную «анархически-революционную» партию, при чем из конкретных примеров ясно, что под этим нелепым именем он мыслил, прежде всего, социалистов-революционеров [1]).

Революция была для него неотделима от бомбы и браунинга. Тут он был таким же индивидуалистом, как и в своей философии истории, вообще. Он мог высоко подняться над миросозерцанием придворно-чиновничьего круга, но вырваться из лап классового буржуазного миросозерцания он не мог, разделяя в этом случае участь всей русской буржуазии 1905 да и 1917 г. до июля, по крайней мере. Революционеры и для этой буржуазии — прежде всего террористы. Да, это вот серьезные люди, — с довольным видом повторял «левый» буржуа после каждого удачного покушения. А социал-демократы, это что ж такое: говорят — и только. И незнакомому с техникой массовой борьбы обывателю казалось даже, что слова — вещь довольно невинная. Поговорят — и перестанут. Отчего не дать потешиться? Недаром Витте великодушно вставил в свой манифест «свободу слова»: самая, наверное, думал он, дешевая монета для расплаты. Что слово может быть страшнее бомбы, это российский буржуа понял только тогда, когда увидал перед собою массы, поднятые и наэлектризованные революционной агитацией. И тогда он бросился устраивать свои «осваги» и «редагиты». Но было поздно . . .

Витте до этого не дожил; но уже задолго до своей смерти он должен был убедиться, что бомба и революция отнюдь не синонимы и что именно этой форме революционной борьбы реакция может научиться как не надо скорее и лучше. Целая глава II части (XLIX) заполнена рассказом о покушении на жизнь Витте, организованном черносотенцами. История самого покушения остается темна и мало понятна и после «Воспоминаний». Полу-

[1]) См. особ. стр. 301 — 302, где рассказывается весьма правдоподобный сам по себе эпизод из жизни эсеров, именуемых «революционной анархической партией русской».

чается впечатление, что было не столько серьезное намерение убить, сколько желание хорошенько пугнуть, не без надежды, что напуганный поспешит скрыться с горизонта от греха. Бомбы были подложены в ту часть дома, где никто не жил, и устроены так, что момент взрыва совсем не зависел от подложившего. При такой постановке, инсинуации насчет того, будто Витте сам подложил эти бомбы, довольно понятны, но тогда совершенно непонятно, зачем он возится с этим делом в своих «Воспоминаниях». Так что желание «попугать» остается наиболее правдоподобным объяснением. И если правильна догадка Витте (он ее излагает не прямо, но в форме весьма прозрачных намеков) о непосредственном участии в этом деле Николая, получается очень колоритная картинка «придворных нравов» в России накануне падения дома Романовых. Картинка, достаточно оправдывающая слова автора «Воспоминаний» о том, что иные люди понимают самодержавие, как «забаву человека, по умственному развитию вечно остающегося полуребенком».

С точки зрения фельетонной было бы стоящей задачей собрать воедино все эпитеты и характеристики, на которые так щедр Витте по адресу Николая и Александры Федоровны. По отношению к последней он увлекается настолько, что целомудренные издатели «Воспоминаний» заменили местами подлинные строки виттевского текста точками [1]). История от этого потеряет немного, но монархический эпитет г. Иосифа Гессена и К° (как раз он-то и был собеседником Витте в октябре 1905 г.) весьма все же достопримечателен. Вообще же от последней четы русских самодержцев нам осталось столько подлинных документов, вышедших из-под их собственного пера, что в характеристиках явно не беспристрастного современника теперешний читатель не очень нуждается. Стоит внимания другое: чрезвычайно щедрый на всякие, до скандальных включительно, анекдоты о царях, автор не дает нам ни одного *биржевого* анекдота. А сколько у него должно было их быть, при его карьере! Но там—явление преходящее, которое и Витте еще надеялся изжить собственнолично. Конечную катастрофу он, как мы видели, вполне отчетливо предчувствовал. Ну, а биржа—это учреждение, с буржуазной точки зрения, вечное, ему конца никогда не будет. И оскорблять ее величество биржу дело куда более рискованное, чем оскорблять ее величество императрицу российскую Александру Федоровну . . .

М. Покровский.

---

[1]) Стр. 126 — 127 — 136.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Начало царствования.

Император Александр III умер так же, как жил — как истинный христианин, как верный сын православной церкви и как простой, твердый и честный человек. Умер он совершенно спокойно и, умирая, он гораздо более заботился о том, что это огорчит его окружающих и любимую им его семью, нежели думал о самом себе.

Затем последовала присяга новому императору Николаю II и перевоз тела императора Александра III из Ялты в Петербург.

Эта печальная церемония была произведена с соблюдением установленных на этот случай правил, но с простотою, которая была внедрена в царствование усопшего императора.

Тело его в Москве было выставлено (кажется на 1 день в Успенском соборе. Министры и высшие чины встречали траурный поезд на Николаевском вокзале.

Я помню, как теперь, как подошел поезд; на вокзале была масса лиц; весь Невский проспект и путь к Петропавловскому собору были переполнены народом. Я был на самом перроне, к которому подошел поезд; из поезда вышел молодой император, а затем две особы женского пола, обе белокурые. Естественно, мне было интересно видеть нашу будущую императрицу и, так как я раньше ее никогда не видел, то, увидав одну очень красивую с совершенно молодым телосложением даму, я был уверен, что это именно и есть принцесса Дармштадтская — будущая императрица Александра Федоровна, и был очень изумлен, когда мне сказали, что это не она, а что та, которую я принял за будущую императрицу — это королева Англии Александра (ныне уже вдова). Меня поразила тогда ее моложавость, так что, когда

я сейчас же после нее увидел нашу будущую императрицу — она мне показалась менее красивой и менее симпатичной, нежели тетка императора — королева Англии. Но тем не менее и новая императрица была красива — и до сих пор красива, хотя у нее всегда было и до настоящего времени есть нечто сердитое в складе губ.

Как только вынесли гроб императора, погребальная процессия двинулась через Невский проспект, Литейный мост в Петропавловский собор.

Процессия шла, конечно, по заранее определенному церемониалу, при чем министры шли парами впереди гроба, перед певчими и духовенством. Я не помню, с кем я шел. Всюду стояли шпалерами войска; была масса народа . . . Я был очень удручен, и у меня в памяти остались только два маленькие эпизода, происшедшие во время этой процессии:

На Невском проспекте, вдруг, я слышу голос: «Смирно». — Я невольно поднял глаза и увидел молодого офицера, который при приближении духовенства и гроба скомандовал своему эскадрону: «Смирно». — Но вслед за этой командой — «смирно» он скомандовал еще следующее: «Голову направо, смотри веселей».

Последние слова мне показались такими странными, что я спросил у своего соседа:

— Кто этот дурак?

На что мой сосед мне ответил, что это ротмистр Трепов, тот самый Трепов, который впоследствии сыграл такую удивительную роль, сначала в качестве градоначальника Москвы, генерал-губернатора Петербурга, потом товарища министра внутренних дел, а в сущности диктатора — впредь до 17 октября; когда я сделался председателем совета министров, то, конечно, он не мог оставаться со мною и сделался дворцовым комендантом, но, в сущности говоря, продолжал быть закулисным диктатором, что и послужило, главным образом, причиною того, что я решил оставить место председателя совета министров.

Затем, когда мы прошли через Литейный мост, то меня удивило еще следующее: министр внутренних дел Иван Николаевич Дурново уже вышел из процессии и в качестве не то полицмейстера, не то вообще начальника полиции делал распоряжения относительно того, каким образом должна себя держать публика и как должна действовать полиция.

Конечно, в то время все эти распоряжения касались только внешнего порядка; все были глубоко потрясены смертью императора и были уверены, что ни с чьей стороны, даже и со стороны крайних левых, не может последовать никакого действия, которое не было бы в гармонии с тем чувством, в котором пребывала в то время Россия по отношению к покойному императору.

Говоря о министре внутренних дел Иване Николаевиче Дурново и рассказывая о первых днях после смерти императора Александра III, я всегда вспоминаю следующее:

Когда получилось известие о кончине императора, я поехал к Ивану Николаевичу уговориться по некоторым вопросам. Он знал, как я был привязан к императору, точно так же, как и я знал, что Иван Николаевич очень его любил. Мы были, конечно, в довольно тяжелом и грустном расположении духа.

Вот Иван Николаевич обратился ко мне и говорит:

— Что же вы, Сергей Юльевич, думаете относительно нашего нового императора?

*Я ответил, что о делах говорил с ним мало, знаю, что он совсем неопытный, но и неглупый, и он на меня производил всегда впечатление хорошего и весьма воспитанного молодого человека. Действительно, я редко встречал так хорошо воспитанного человека, как Николай II, таким он и остался. Воспитание это скрывает все его недостатки. На это И. Н. Дурново мне заметил: «Ошибаетесь Вы, Сергей Юльевич, вспомяните меня — это будет нечто вроде копии Павла Петровича, но в настоящей современности». Я затем часто вспоминал этот разговор. Конечно, император Николай II не Павел Петрович, но в его характере немало черт последнего и даже Александра I (мистицизм, хитрость и даже коварство), но, конечно, нет образования Александра I. Александр I по своему времени был одним из образованнейших русских людей, а император Николай II по нашему времени обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства *.

Почти одновременно со свиданием с Иваном Николаевичем я имел собеседование и с Константином Петровичем Победоносцевым.

Так вот, когда я приехал к Константину Петровичу Победоносцеву, он был тоже чрезвычайно огорчен смертью императора. Что же касается императора Николая II, у которого он был преподавателем, то, хотя он, как преподаватель будущего императора, и относился к нему любовно, но, тем не менее, высказался о своем ученике как-то неопределенно. Больше всего он боялся, чтобы император Николай по молодости своей и неопытности не попал под дурные влияния. Но я старался не продолжать этот разговор.

Тело почившего императора Александра III было выставлено в Петропавловском соборе. Я несколько раз дежурил при теле; раз дежурил ночью. Все время приходила масса народа поклониться телу императора.

Затем последовали похороны, которые продолжались очень долго.

Императрица Мария Феодоровна все время стояла весьма мужественно. Когда же митрополит говорил длинную речь, то к концу речи нервы императрицы не выдержали, и с нею сделалось что-то вроде истерического припадка, хотя и очень краткого. Она кричала «довольно, довольно, довольно».

После похорон, через несколько дней я представлялся вдовствующей императрице.

Во время царствования императора Александра III она сначала относилась ко мне весьма милостиво, а после моей женитьбы — довольно сдержанно и сухо.

В этот раз, когда после смерти императора я представлялся императрице, она приняла меня очень ласково и, между прочим, сказала такую фразу:

— Я думаю, что вам очень тягостна смерть императора, потому что, действительно, он вас очень любил.

Во время первых месяцев царствования императора Николая II в Петербург приезжал принц Уэльский. Как известно, будущий король Эдуард VII был дядей принцессы Алисы Дармштадтской, нашей нынешней императрицы, а потому в обращении был с нею очень интимен. И вот, когда он был в Петербурге, то во время одного из первых завтраков с императором и императрицей, когда они были втроем, он вдруг, обращаясь к императрице, довольно недипломатично сказал: «Как профиль твоего мужа похож на профиль императора Павла», — что очень не понравилось как императору, так и императрице.

Я слыхал об этом от приближенных принца Уэльского (будущего короля Эдуарда). Рассказывая об этом, он заметил, что сделал «гаф» (неловкость).

Тем не менее принц Уэльский в первые месяцы после смерти императора Александра III оказал сердечную родственную дружбу вдовствующей императрице и императору, не только с формальной стороны, как это сделали все царствующие дома, но и со стороны интимной.

После похорон императора Александра III, я через несколько дней был с всеподданнейшим докладом у молодого императора Николая II. Новый император, несомненно, очень любил своего отца и потому был огорчен его смертью; независимо от того он был смущен своим новым положением, к которому совсем не был подготовлен; кроме того, он прибыл в Петербург со своей невестой, будущей императрицей Александрой Феодоровной, в которую, как говорят, он был влюблен. Таким образом, молодой император находился под влиянием разнообразных чувств и сильных впечатлений.

Когда я пришел к императору с первым моим всеподданнейшим докладом, то Николай II встретил меня чрезвычайно ласково: он знал, что отец его относился ко мне особливо благосклонно, и кроме того, когда он еще был наследником-цесаревичем, то я ему весьма нравился, и он, еще будучи совсем молодым человеком, всегда ко мне благоволил, что и выказывал в комитете Сибирской жел. дор., в коем он был председателем.

Когда я приступил к докладу, то вопрос, который мне задал император Николай, был следующий: «А где находится ваш доклад о поездке на Мурман? Верните мне его».

Я доложил государю, что доклада этого его покойный отец мне не возвращал. Тогда государь сказал мне, что доклад этот ему читал (или показывал) покойный император еще в Беловежском дворце (где Александр III находился ранее, нежели переехал в Ливадию) и что на докладе этом императором Александром III сделаны некоторые резолюции.

Я снова подтвердил, что доклада этого я обратно не получал. Николай II был очень этим удивлен и сказал, что непременно его разыщет.

В следующую пятницу (мои доклады всегда были по пятницам) государь сказал мне, что он нашел доклад, и стал говорить со мною о том, что он считает необходимым привести в исполнение этот доклад и прежде всего главную мысль доклада, о том, чтобы устроить наш морской опорный пункт на Мурмане, в Екатерининской гавани. Затем государь говорил о том, что не следует осуществлять проекта грандиозных устройств в Либаве, так как Либава представляет собою порт, не могущий принести России никакой пользы, вследствие того, что порт этот находится в таком положении, что в случае войны эскадра наша будет там блокирована. — Вообще император высказался против этого порта.

В то время в этом отношении было два течения: одно течение — которое я с своей стороны признаю совершенно правильным — было против устройства этого порта, как такого, который не может принести нам пользы; а другое течение — за то, чтобы главный опорный пункт нашего флота сделать в Либаве, там устроить громадный военный порт.

Вот император Николай II и хотел немедленно объявить указом о том, что основной военный порт должен быть устроен на Мурмане в Екатерининской гавани, при чем Екатерининская гавань должна быть соединена железной дорогой с одной из ближайших станций прилежащих к Петербургу железных дорог.

Я с своей стороны этому делу сочувствовал, но советовал его величеству этим делом не спешить, не издавать этого указа немедленно, т.-е. в ближайшие недели после смерти его покойного отца, ибо мера эта, несомненно, внесет некоторый семейный

разлад. Генерал-адмирал Алексей Александрович (ныне покойный) почтет это для себя обидой, так как он — партизан устройства порта в Либаве. К тому же великий князь Алексей Александрович очень близок к вдовствующей императрице, которая теперь, после смерти Александра III, еще более будет к нему привязана. Великий князь Алексей Александрович, будучи один среди великих князей, братьев ее покойного мужа, холостым, всегда был очень близок к императрице Марии Феодоровне. Таким образом, я был уверен, что эта мера внесет разлад в царскую семью в первые же недели после смерти императора Александра III, чего, конечно, желательно избегнуть.

Затем, несомненно, будут говорить, что император Николай II только что вступил на престол, а потому дело это изучить не мог и, следовательно, действует под чьим-нибудь влиянием.

На это император мне ответил, что говорить так не могут потому, что у него есть на моем всеподданнейшем докладе о поездке в Мурман резолюции императора Александра III. Но, во всяком случае, император почел мои соображения довольно уважительными и сказал, что этим делом, вероятно, немножко повременит.

Прошло месяца 2 — 3 и вдруг я прочел в «Правительственном Вестнике» указ императора Николая II о том, что он считает нужным сделать главным нашим морским опорным пунктом Либаву и осуществить все эти планы, которые на этот предмет существуют, и назвать этот порт — портом императора Александра III, во внимание к тому, что будто бы это есть завет императора Александра III.

Меня этот указ чрезвычайно удивил, так как мне было известно, да и сам император мне говорил, что покойный император Александр III не только держался совсем другого мнения, но за несколько месяцев до своей смерти на моем всеподданнейшем докладе (который, вероятно, находится в личном архиве императора Николая II) высказал совершенно противоположное мнение.

Через несколько дней после появления этого указа ко мне явился Кази, человек очень близкий к великому князю Константину Константиновичу, и говорил мне, что вот как великие князья, пользуясь молодостью императора, пользуясь тем, что император только что вступил на престол и, так сказать, еще не окреп, злоупотребляют своим влиянием. Кази рассказал мне, что после указа о Либавском порте император Николай II приехал к великому князю Константину Константиновичу и со слезами на глазах сетовал великому князю о том, что вот генерал-адмирал великий князь Алексей заставил его подписать

такой указ, указ, который совершенно противоречит его взглядам и взглядам его покойного отца. Отказать же ему в этом император Николай II не мог, так как великий князь поставил этот вопрос таким образом, что если этого не будет сделано, то он почтет себя крайне обиженным и должен будет отказаться от поста генерал-адмирала.

Сам великий князь Алексей Александрович, будучи очень милым, честным и благородным, в то же время был человеком в деловом отношении не особенно серьезным, и им руководил управляющий морским министерством Николай Матвеевич Чихачев. Таким образом, идея устройства Балтийского порта была пропагандирована Н. М. Чихачевым, человеком тоже очень милым, умным, но умным преимущественно в делах коммерческих, а не военных. Секретарем Н. М. Чихачева был полковник по Адмиралтейству (ныне генерал по Адмиралтейству) Обручев, брат начальника главного штаба известного Обручева, который, действительно, имел авторитет, как военный. Он был действительно выдающимся военным теоретиком и убежденным сторонником устройства нашей военной морской опоры в Либаве. Чихачев же в данном случае проводил только мнение этого военного авторитета.

Мне ни разу не пришлось говорить с генерал-адъютантом Обручевым по этому предмету, но, зная его высокий ум и таланты, я убежден в том, что его мысль имела известное основание, но как часть его общей системы обороны государства, а не как отдельный фактор нашей военной силы.

Большинство же моряков, в том числе и Кази, были другого мнения. В это время Кази играл в Петербурге очень большую роль, он уже тогда был в отставке. Когда-то Кази был помощником Н. М. Чихачева, когда этот последний был директором Русского Общества пароходства и торговли. Затем он с ним разошелся. Несомненно, Кази был человек большего таланта, нежели Чихачев. Относительно вопроса об устройстве порта Кази, как и многие другие моряки, держался того мнения, что устройство порта в Либаве было бы совершенно напрасной тратой денег, — как в конце-концов это и оказалось в действительности. Мысль его была такова, что нам нужно искать опору для морских сил в одном из открытых морей, чтобы в случае войны мы не могли быть в этом порте заперты. Между прочим, это была его мысль устроить нашу опору на Мурмане в Екатерининской гавани.

Но, как я уже сказал, судьба устроила иначе: император Николай II подписал указ вопреки своему убеждению, вопреки своему мнению об устройстве порта в Либаве, и порту этому дал имя покойного императора Александра III, между тем как император Александр III, — что мне было отлично известно,

и как это видно из его резолюций на моем докладе по Мурману,— не только этому делу не сочувствовал, а считал устройство порта в Либаве делом вредным.

Когда Кази рассказал мне, как все это случилось, как император Николай II со слезами на глазах рассказывал великому князю Константину Константиновичу о том, что его великий князь Алексей Александрович, так сказать, насиловал в этом вопросе, то я, зная немного характер молодого императора, подумал, что он этого эпизода не забудет, и, в конце-концов, Н. М. Чихачеву не поздоровится. Действительно, не прошло и года времени, как император Николай II, в Москве, настоял на увольнении Н. М. Чихачева с поста управляющего морским министерством, и на этот пост был назначен адмирал Тыртов.

Это был, так сказать, акт мести, но на существо дела увольнение Н. М. Чихачева не имело никакого влияния. В сущности говоря, и при Тыртове морское министерство шло тем же неправильным аллюром, каким оно шло и при адмирале Чихачеве. Через несколько лет умер Тыртов, и управляющим министерством сделался адмирал Авелан, и министерство продолжало итти тем же аллюром, хотя как Тыртов, так и Авелан были оба умные, прекрасные люди, но по талантам своим они были ниже посредственности.

Между тем это злополучное решение оставить мысль об устройстве нашего опорного пункта в Мурмане и базироваться в Либаве имело весьма печальные последствия. В виду этих последствий мне потом приходилось жалеть, зачем я тогда отговорил императора Николая от издания указа об устройстве нашего опорного пункта на Мурмане, хотя, как я уже говорил, я советовал ему этого не делать только в ближайшие недели после смерти Александра III, а советовал осуществить это хладнокровно, в более спокойной и хладнокровной форме. Но, оказывается, как потом я убедился из многих случаев, иногда, в особенности, когда имеешь дело с людьми колеблющимися, весьма важно ловить момент, а если упустишь момент, то и самое дело упустишь.

Я говорю, что решение это имело важные последствия, и вот почему: если бы император Николай II издал тогда указ о том, что надобно устраивать наш морской базис на Мурмане, то, несомненно, он сам увлекся бы этой мыслью, которая представляла собою завет покойного его отца. Тогда, вероятно, мы не искали бы выхода в открытое море на Дальнем Востоке, не было бы этого злополучного шага — захвата Порт-Артура и затем, так как мы все спускались вниз, шли со ступеньки на ступеньку, — не дошли бы мы и до Цусимы.

Вступив так неожиданно на престол, император Николай II, весьма понятно, был совершенно к этому не подготовлен, а потому и находился под всевозможными влияниями, преимущественно, под влиянием великих князей.

В первые годы его царствования доминирующее влияние на него имела императрица-мать, но влияние это было непродолжительно; затем, на императора Николая II постоянно влияли — до известной степени, но в значительно меньшей мере, влияют и теперь — некоторые великие князья. Но в настоящее время государь император, и не без основания, имеет убеждение в том, что он гораздо опытнее и гораздо более знает, нежели все окружающие его, многочисленные члены царской семьи, так как он процарствовал уже 15 лет, многое в своей жизни испытал, много видел и поэтому приобрел такую, по крайней мере механическую, опытность в управлении, какой, конечно, ни один из членов его семьи не имеет.

В начале же царствования императора Николая II было, конечно, иное положение, ибо в то время был жив и великий князь Владимир Александрович, великие князья Алексей Александрович и Сергей Александрович, его дяди,—лица, которые, несомненно, в его глазах, имели гораздо большую опытность и значение и занимали более или менее важные государственные посты тогда, когда император был еще совсем младенцем. Естественно, что вследствие этого они на него имели большое влияние. Ныне эти великие князья все поумирали. Надо при этом заметить, что среди великих князей Владимир Александрович был человеком замечательного образования, замечательной культуры; вообще, все они были люди превосходные и, как великие князья, вполне достойные. Об одном только можно пожалеть, что вообще великие князья играют часто такую роль только потому, что они великие князья, между тем, как роль эта совсем не соответствует ни их знанию, ни их талантам, ни образованию.

Когда же они начинают влиять на государя, то из этого большею частью всегда выходят одни только различные несчастья.

Нужно сказать, что при императоре Александре III великие князья ходили по струнке. Покойный император держал их в респекте и не давал им возможности вмешиваться в дела, их не касающиеся. Император Александр III и в области их управления имел сдерживающее влияние на великих князей и пользовался среди них полным авторитетом. Все великие князья любили императора Александра III, но в то же время и боялись его. С воцарением молодого императора все это было перевернуто, что вполне естественно и объясняется раз-

ностью лет и разностью жизненного авторитета между молодым императором и некоторыми великими князьями, родственным уважением молодого императора к старшим, и, наконец, мягкостью характера и темпераментом нового императора. Это обстоятельство и было одною из причин многих неблагоприятных явлений, скажу даже больше — бедствий царствования императора Николая II; в особенности это можно сказать относительно первых лет царствования императора Николая II, когда он сам еще, так сказать, как личность, не окреп и не обнаружился.

Мне известно со слов бывшего военного министра, а впоследствии министра народного просвещения, генерал-адъютанта Ванновского, что в первые же годы царствования императора Николая II, когда Ванновский заметил усиливающееся влияние на государя великих князей во всех делах, до них не касающихся, в особенности в области военной, он как-то сказал императору:

— Ваше величество, не вводите удельную систему, которую уничтожил ваш покойный отец.

Император спросил: «О какой удельной системе вы говорите?»

Ванновский ответил:

— Об удельной системе, подобной той, которая была в древней Руси, когда каждый великий князь царствовал, пока Россия не была собрана во единое Московское царство.

Удельная система, только в другой форме до некоторой степени явилась в царствование Александра II, когда великие князья снова начали вмешиваться в дела, до них не касающиеся, что и было уничтожено императором Александром III.

Император Николай II улыбнулся и сказал:

— Ну я, Петр Семенович, им тоже пообрежу крылья.

Но, к сожалению, это было сделано не особенно энергично, и некоторые великие князья все время имели на государя неблагоприятное влияние, при чем, может быть главным образом, влиял на него неблагоприятно великий князь Александр Михайлович, женатый на сестре императора. Я полагаю, что если бы не этот великий князь, то может быть мы не имели бы всех тех несчастий, которые мы претерпели на Дальнем Востоке.

Когда император Николай II вступил на престол, то от него светлыми лучами исходил, если можно так выразиться, дух благожелательности; он сердечно и искренно желал России, в ее целом, всем национальностям, составляющим Россию, всем его подданным счастия и мирного жития, ибо у императора,

несомненно, сердце весьма хорошее, доброе, и если в последние годы проявлялись иные черты его характера, то это произошло оттого, что императору пришлось многое испытать; может быть в некоторых из сих испытаний он сам несколько виноват, потому что доверился несоответственным лицам, но, тем не менее, сделал он это, думая, что поступает хорошо.

Во всяком случае, отличительные черты Николая II заключаются в том, что он человек очень добрый и чрезвычайно воспитанный. Я могу сказать, что я в своей жизни не встречал человека более воспитанного, нежели ныне царствующий император Николай II.

В первые же месяцы своего царствования он женился; свадьба его по случаю траура была без всяких торжеств. После свадьбы, которая совершилась в Зимнем дворце, он поехал справлять медовый месяц в Царское Село, которое и доныне составляет, можно сказать, его главное местопребывание.

До женитьбы он жил в Аничковом дворце, а после женитьбы, вернувшись из Царского в Петербург, он переехал в Зимний дворец, где и жил до последних лет злосчастной японской войны и затем смуты, т.-е. до апреля 1904 г.

С 1905 г. он в Зимнем дворце больше не живет и весьма редко туда наезжает, а живет преимущественно, как я уже сказал, в Царском Селе; летние же месяцы он проводит в Петергофе или Ливадии, за исключением тех недель, которые он, главным образом в первые годы своего царствования, провел вне России.

2 ноября государь император принял в Аничковом дворце (так как тогда он еще жил в Аничковом дворце) всех членов Государственного Совета, председателя его, а так как министры, по своему званию, состоят членами Государственного Совета, то на этом приеме были и все министры.

Император был очень взволнован; он сказал несколько весьма сердечных слов в память своего отца и вообще отнесся ко всем присутствующим весьма сердечно.

Я обратил внимание на то, что на этом представлении в числе членов Государственного Совета присутствовал и Александр Аггеевич Абаза.

Хотя Александр Аггеевич и был членом Государственного Совета, но после той истории, которая произошла в царствование императора Александра III [1]), жил или у себя в деревне (в Шполе, Киевской губ.), или в Монте-Карло, так как он по натуре был большой игрок.

[1]) Речь идет о разоблачении биржевых спекуляций Абазы.

Само по себе присутствие Александра Аггеевича Абазы меня не удивило, так как с его стороны было весьма естественно приехать в Петербург по случаю кончины императора Александра III и вступления на престол нового императора, но меня удивило, что император Николай отнесся к нему особенно любезно и милостиво.

Александр Аггеевич Абаза был в хороших отношениях с великим князем Михаилом Николаевичем, председателем Государственного Совета, человеком очень хорошим, благородным, но весьма ограниченным; в то время государственным секретарем был Александр Александрович Половцев — большой друг А. А. Абазы, и я сразу догадался, что А. А. Половцев желает реабилитировать Александра Аггеевича в глазах молодого императора.

Я лично против А. А. Абазы ровно ничего не имел. А. А. Абаза был человек выдающегося здравого рассудка, во всяком случае, это был крупный государственный человек. Но я опасался, что реабилитация Абазы может последовать только посредством утверждения, что все то, что послужило к опале Абазы — неверно; чтобы не случилось опять того же, что предполагали сделать в царствование императора Александра III, когда все в Государственном Совете стали утверждать, что я наклеветал на А. А. Абазу, вследствие чего я просил назначить комиссию под председательством Николая Христиановича Бунге. Совещание это удостоверило, что все то, что я докладывал императору и чего не мог не докладывать относительно некорректной игры А. А. Абазы на бирже — совершенно правильно.

Поэтому, в одном из последующих докладов, после представления членов Государственного Совета в Аничковом дворце императору Николаю II, я рассказал вкратце государю все дело, рассказал, почему в царствование его отца А. А. Абаза потерял доверие покойного императора и переехал заграницу. И так как в то время был жив еще Н. Х. Бунге, то я и просил императора, если у него явится какое-нибудь сомнение, чтобы он спросил Н. Х. Бунге и чтобы тот рассказал ему всю историю.

По этому предмету в кредитной канцелярии министерства финансов имеются все документы, в том числе и записка, составленная обо всей этой истории вице-директором кредитной канцелярии — Петровым.

После приема Государственного Совета государь император в последующие дни принимал всех генерал-адъютантов, флигель-адъютантов, затем принимал различные депутации иностранных держав, которые приезжали в Петербург на похороны императора Александра III или по случаю кончины императора. В числе лиц, приезжавших на похороны императора Александра III, был, между прочим, генерал Буадефр и адмирал

Жерве. Генерал Буадефр—это тот самый, который первый заключил с генералом Обручевым военную конвенцию, установившую наш союз с Францией.

13 декабря довольно неожиданно последовало назначение графа Шувалова варшавским генерал-губернатором на место ген. Гурко.

Весьма характеристичен был уход генерала Гурко. В то время в его канцелярии служил старший его сын — будущий товарищ министра внутренних дел. И вот генерал-адъютант Гурко пожелал, чтобы его сына сделали управляющим его канцелярией. Но так как этот сын Гурко уже и в то время пользовался в денежном отношении дурной репутацией, то бывший тогда министром внутренних дел Иван Николаевич Дурново не соглашался на это. Гурко приехал в Петербург, явился к молодому императору и поставил ему род ультиматума — сделав это в твердой и довольно резкой форме — заключающегося в том, чтобы его сын был назначен управляющим канцелярией, или же он уходит. Государь согласился на последнее, таким образом этот несомненно выдающийся, военный и государственный человек ушел со сцены и поселился у себя в Тверской губ. Впоследствии, кажется, он был сделан фельдмаршалом, но никакой уже роли не играл.

Это произошло 13 декабря 1894 г., т.-е. через два месяца после вступления на престол императора Николая II.

Согласие государя на увольнение Гурко произошло с одной стороны от того, что Гурко поставил очень резко вопрос, а с другой стороны потому, что его величество по характеру своему с самого вступления на престол вообще не долюбливал и даже не переносил лиц, представляющих собою определенную личность, т.-е. лиц, твердых в своих мнениях, своих словах и своих действиях. Увольнение Гурко — это был первый случай проявления этой стороны характера его величества.

Хотя я нисколько не оправдываю Гурко и считаю, что, конечно, все лица, которые так резко ставили вопрос или так твердо проводили свои мнения, как это сделал Гурко, несколько и виновны в том, что не приняли во внимание натуру государя и не имели в виду того, что они все-таки имеют дело с его величеством — в этом отношении я виню во многом и самого себя — но оправданием, как Гурко, так и другим лицам (в том числе и мне), которые так себя держали по отношению к государю, может служить то обстоятельство, что ранее, чем служить императору Николаю, мы служили императору Александру III. Покойный император на способ выражения мыслей, на резкие слова никогда не обращал внимания, наоборот, он даже очень

ценил в человеке твердые убеждения; словом, характер императора Александра III был совершенно иной, нежели характер императора Николая II, и это всякий его подданный, в том числе и мы должны были иметь в виду и принимать во внимание.

Приблизительно в это же время, а именно 17 декабря, последовало увольнение министра путей сообщения Кривошеина и назначение вместо него князя Хилкова. Назначению Кривошеина, главным образом, содействовал министр внутренних дел Иван Николаевич Дурново. Кривошеин был умный, деловой человек, но железнодорожного дела не знал. Сделался он министром путей сообщения отчасти также благодаря мне, потому что, если бы я, когда император обратился ко мне с вопросом (при назначении меня на пост министра финансов) о том, кого назначить вместо меня министром путей сообщения, высказался бы относительно Кривошеина в более отрицательном смысле, то, конечно, он места министра путей сообщения не получил бы. Но, как это обыкновенно бывает и что я сам столько раз испытал в своей жизни, в своей деятельности, — конечно, за некоторыми исключениями, — те лица, которые достигли своего положения, часто весьма высокого, благодаря моей школе, моему их воспитанию, моему выбору, достигнув этого положения, стараются не давать повода кому бы то ни было узнать, что они достигли своего положения благодаря мне, а потому постепенно прерывают со мной отношения, а затем, когда наступает момент, что это им является выгодным, они даже делаются моими неприятелями и врагами, желая своими неблаговидными выходками против меня показать свою независимость. То же самое произошло и с Кривошеиным. Когда он сделался министром путей сообщения, то он старался, по возможности, от меня отгородиться. Но так как сам по себе Кривошеин железнодорожного дела не знал и с государственной точки зрения не представлял из себя никакого авторитета, то все-таки он, или, вернее, его министерство в значительной степени находилось под моим влиянием, или под влиянием моего министерства, т.-е. министерства финансов.

Кривошеин, собственно говоря, министерством не занимался, а занимались министерством путей сообщения больше его сотрудники, знавшие железнодорожное дело и вообще дело путей сообщения. Он имел ту же слабость, как и многие другие министры, которых мне пришлось видеть на своем веку, а именно: как только Кривошеин сделался министром, сейчас же начал разводить различные грандеры, т.-е. расходовать казенные деньги на устройство роскоши в своем помещении. Например, помещение министра путей сообщения и без того почти царское, но, тем не

менее. Кривошеин не удовольствовался им и из соседней квартиры [1]), которая принадлежала его товарищу, устроил себе домашнюю церковь, держал там священников, вообще всю службу, — все это, конечно, за счет казны.

Я должен сказать, что, — как мне это говорил бывший тогда государственным контролером Тертий Иванович Филиппов, — он не вполне был корректен в государственной деятельности. Признаюсь, я этого не проверял, а поэтому утверждать этого не могу. Но государственный контролер Тертий Иванович Филиппов уверял, что будто бы из имений Кривошеина ставились на железные дороги шпалы по особо благоприятным ценам; что будто бы Кривошеин провел сооружение одной маленькой железной дороги через комитет министров на юг России, а затем направил ее так, что она прорезала все имение его. Кажется, этот последний факт — верен.

Вообще Кривошеин не имел никакого состояния, но еще ранее, нежели он сделался министром, он нажил большое состояние, так как он был делец большой руки, постоянно продавал имения, покупал имения, продавал всякие продукты и проч. — словом, это был именно тип дельца.

Вот этот характер своей деятельности он обнаружил, будучи министром путей сообщения.

Тертий Иванович Филиппов, между прочим, вероятно, не был в хороших отношениях с Кривошеиным, представил по этому предмету обо всем доклад императору Николаю II. Конечно, доклад этот рисовал министра путей сообщения Кривошеина в очень скверном виде. Но я полагаю, что, если в представленном докладе Т. И. Филиппов увеличил в десять раз факты по сравнению с действительностью, следовательно, если бы эти факты уменьшить в 10 раз, то и тогда я не могу не сказать, что и этого было бы все-таки достаточно, чтобы признать Кривошеина таким человеком, который не может занимать пост министра, потому что он действовал некорректно в смысле корыстном.

Это был первый случай, когда молодому императору, через два месяца после вступления на престол, пришлось встретиться с фактами, так сказать, злоупотребления министров; поэтому совершенно естественно, что это возмутило молодого государя, который сам, по своей натуре, человек весьма честный. В то время он был еще совсем молодым, не имел случая еще видеть и свыкнуться с людской грязью, а поэтому факт этот особенно на него подействовал, и он уволил Кривошеина совсем от службы.

---

[1]) В этой квартире был очень большой кабинет его товарища, помещение это также пошло под церковь.

Это был первый случай в начале царствования императора Николая II, который, вероятно, заставил многих лиц такого же пошиба, как и Кривошеин, призадуматься.

По увольнении Кривошеина явился вопрос: кого же вместо него назначить министром путей сообщения?

Вся эта история с увольнением Кривошеина для меня была совершенно неожиданна, я не принимал в ней решительно никакого участия и узнал об этом из «Правительственного Вестника». Но когда Кривошеин был уволен, то при первом же моем докладе в пятницу императору Николаю (доклад этот был в Гатчинском дворце), когда я пришел к нему в кабинет, государь сказал: «Я прошу вас выслушать этот указ», и прочел мне указ о назначении министром путей сообщения отставного лейтенанта Кази. Я этому весьма удивился, ибо Кази также никогда на железных дорогах не служил.

Кази всю свою жизнь занимался или морскими вопросами, или вопросами, близкими к морским; по уму и по характеру, он был человек выдающийся, человек больших способностей, но греческого происхождения и был в значительной доле наполнен стремлением к интригам—это была его слабая сторона. Кази был врагом режима, который существовал в морском министерстве, в этом отношении он был совершенно прав, и я ему вполне сочувствовал. Поэтому я и взял Кази, когда уезжал в мое путешествие на Мурман, и в моем докладе, который я сделал о Мурмане, — в известной мере участвовал и Кази.

Очень протежировал Кази великий князь Александр Михайлович. Протежировал он Кази, во-первых, потому, что Кази был действительно очень выдающийся человек, а во-вторых, потому, что Александр Михайлович, со времени вступления на престол императора Николая II, конечно, мечтал сделаться впоследствии генерал-адмиралом, т.-е. занять место Алексея Александровича. Алексей Александрович относился к Александру Михайловичу довольно презрительно.

Так как Александр Михайлович представляет из себя человека, главной чертой характера которого является интрига, можно сказать, что он полон интриг, то он и поддерживал Кази, как орудие против режима морского министерства, т.-е. против великого князя Алексея Александровича, вообще, против всего морского ведомства.

Но, как я уже говорил ранее, у императора Николая II не хватило характера перевернуть направление дел в морском министерстве, — хотя бы пожертвовать для этого великим князем Алексеем Александровичем; впрочем, может быть все это вышло к лучшему, потому что, если бы император назначил великого

князя Александра Михайловича вместо великого князя Алексея Александровича — то это было бы, несомненно, гораздо хуже, потому что Алексей Александрович был во всяком случае — честный, благородный и прямой человек, чего я не могу сказать о великом князе Александре Михайловиче. Несомненно, великий князь Александр Михайлович обратил бы все морское министерство в рассадник всевозможных интриг. Но, тем не менее, государь, повидимому, хотел отличить такого человека, как Кази, поэтому он, вероятно, не без влияния великого князя Александра Михайловича, пожелал его назначить министром путей сообщения.

Я сказал государю, что его величество знает, какого я высокого мнения о Кази, что я отношусь к Кази весьма сочувственно и нахожусь с ним в высшей степени дружеских отношениях, но все-таки считаю совершенно невозможным назначить Кази министром путей сообщения, потому что он этого дела совершенно не знает и что только что был пример, в лице Кривошеина, который совершенно расстроил после меня министерство. Я сказал государю, что Кази надо беречь для какого-нибудь другого дела, касающегося его специальности; что я убежден — он этим делом заниматься не будет и не может им заниматься, что он, в качестве министра путей сообщения, будет заниматься делами, до него не касающимися, и преимущественно морским делом; если назначить Кази министром, то уже прямо назначить его морским министром, тогда, по крайней мере, он будет заниматься тем делом, которое он знает; что же касается железнодорожного дела, то его он совсем не знает, и поэтому я очень советовал государю не делать этого назначения.

Хотя, повидимому, сопротивление мое не понравилось императору, но он все-таки спросил меня: «Кого же назначить вместо Кази?»—Я посоветовал назначить моего товарища Анатолия Павловича Иващенкова.

А. П. Иващенков, когда я приезжал в Петербург и сделался директором департамента, служил в государственном контроле и был там правою рукою государственного контролера Сольского. Затем, когда я был назначен министром путей сообщения, то я взял Иващенкова к себе, руководствуясь той репутацией, которую он имел; он был известен, как человек порядочный. Зная, что в министерстве путей сообщения делается очень много злоупотреблений в области водяных сообщений и шоссе, я сделал А. П. Иващенкова своим товарищем.

Когда я был назначен на пост министра финансов, то я взял Иващенкова к себе и как товарища министра финансов.

Это был в высокой степени почтенный человек, но не особенно большого таланта и ума. Это был скромный чиновник, но он обладал громадною уравновешенностью, громадною способностью

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

работать, весьма толковый, словом, это был тип выдающегося, хорошего бюрократа.

Государь сказал мне, что он об Иващенкове подумает.

В следующий мой доклад его величество сказал мне, что он думал относительно Иващенкова, но что он считает невозможным его назначить. Государь прямо сказал мне, что главная причина этого заключается в том, что он мой товарищ и что, когда он сделается министром путей сообщения, то все будут говорить, что все, что делает Иващенков, он делает под моим влиянием. Государь сказал, что вообще ему Иващенков не нравится, что вообще ему его не хочется назначать — и поэтому склонялся опять назначить министром путей сообщения Кази.

Я очень отговаривал его величество от этого. Когда же он поставил мне вопрос: «Кого же полагаете в таком случае назначить?»—у меня вдруг блеснула мысль о князе Хилкове, и я сказал: «Князя Хилкова».

Государь говорит: «Я его совсем не знаю».

Тогда я сказал его величеству:

— Ваше величество, спросите вашу матушку, и я убежден в том, что если вы скажете вашей матушке, что вот я рекомендую Хилкова, то ваша матушка в особенности меня поддержит.

А между прочим, мне государь говорил, что именно его матушка почему-то не сочувствовала моему предложению назначить Иващенкова; значит, государь уже советовался с императрицей-матерью, а поэтому мне тогда же пришло в голову указать такое лицо, к которому наверно императрица отнесется крайне благосклонно.

Государь говорит: «Я спрошу мою матушку».

Я ушел к себе домой в министерство. Это было около половины первого, а уже в три часа ко мне приехал князь Хилков, который сказал мне, что его видел государь и неожиданно предложил ему сейчас же занять пост министра путей сообщения, что для него, Хилкова, это совершенно неожиданно, и что он говорил государю, что он боится занять этот пост, не зная, как я буду к этому относиться, потому что я, как министр финансов, могу иметь большое влияние на министерство путей сообщения и, кроме того, так как я ранее был министром путей сообщения, то пользовался большим авторитетом и по всем вопросам, касающимся железных дорог.

На это государь сказал Хилкову:

— Да мне Сергей Юльевич вас первый рекомендовал; поезжайте к нему и с ним уговоритесь.

Поэтому Хилков и приехал ко мне. Он был очень смущен, так как это являлось для него совершенной неожиданностью.

Он спросил меня: «Может ли он рассчитывать, что я буду ему оказывать всякое содействие». Я успокоил его в этом отношении.

Хилков, конечно, принял пост министра путей сообщения. На этом посту он оставался до 17 октября 1905 г. Когда же я сделался председателем совета министров, то я просил его оставить это место, о чем я буду говорить впоследствии.

Теперь я хочу рассказать, почему я рекомендовал Хилкова.

В царствование императора Николая I мать Хилкова была очень близка к императрице Александре Феодоровне.

Сам Хилков был гвардейским офицером Семеновского полка, у него было имение в Тверской губ. В 60-х годах, когда явилось большое либеральное течение по освобождению крестьян, он роздал большую часть своих земель крестьянам и, будучи крайне либеральных воззрений, уехал в Америку, почти без всяких средств.

В Америке он начал служить. Тогда только что стало сильно развиваться везде железнодорожное дело. Сначала Хилков поступил на железную дорогу простым рабочим, затем сделался помощником машиниста, потом занял место машиниста на американской дороге.

Когда у нас началось усиленное строительство железных дорог — Хилков переехал в Россию.

В то время я окончил курс в университете, и, когда сам поступил на железную дорогу, то встретился в первый раз с Хилковым. Тогда я занимал место помощника начальника движения Одесской железной дороги, а он был начальником паровозного депо [1]) в Конотопе на Курско-Киевской жел. дор.

Затем я часто встречал Хилкова, и когда Чихачев сделался директором Русского Общества пароходства и торговли и Одесской железной дороги, а я был его помощником, то я рекомендовал Хилкова Чихачеву. Но Хилков тогда не перешел на Одесскую железную дорогу: сначала он хотел перейти, но потом отказался и переехал в Москву. В Москве он был начальником тракции на Московско-Рязанской жел. дор. Когда же у нас началась Восточная война, то Хилков переехал в Болгарию. Во время войны он там служил на военной железной дороге, и даже, кажется, временно был в Болгарии министром путей сообщения. После, когда начался Хивинский поход в Среднюю Азию, и Анненков начал строить Средне-Азиатскую железную дорогу, то Хилков пошел в помощники к генералу Анненкову. Все это время я встречался с Хилковым.

---

[1]) Хилков был старшим машинистом, т.-е. начальником машинистов данного района. Депо — это известное отделение, в районе которого двигаются данные паровозы.

Когда же я сделался министром путей сообщения, то я предложил Хилкову место управляющего Орлово-Грязинской жел. дор., каковой пост он и занял.

Когда же я сделался министром финансов, а на мое место был назначен Кривошеин, то он сделал Хилкова старшим инспектором железных дорог.

С этого поста Хилков был прямо назначен министром путей сообщения.

Когда Хилков был начальником тракции Московско-Рязанской жел. дор., то председателем правления этой дороги был Дервиз.

Жена его, м-м Дервиз, вторым браком — г-жа Дукмасова. Это та самая г-жа Дукмасова, которая в прошлом году обвинялась в том, что она будто бы отравила своего мужа.

Дервиз, будучи председателем правления, получал большое содержание; во время войны им был устроен на свой счет санитарный поезд. Поезд этот приняла под свое покровительство цесаревна Мария Феодоровна, будущая императрица Мария Феодоровна. Хилков был главным уполномоченным на этом поезде. Поэтому цесаревна Мария Феодоровна часто встречалась с Хилковым, всегда ездила с этим поездом или, по крайней мере, наблюдала за этим поездом, когда во время войны поезд этот перевозил раненых с Балканского полуострова в Петербург.

Хилков чрезвычайно понравился цесаревне, и когда уже кончилась война, Хилков, бывая в Петербурге, с разрешения будущей императрицы Марии Феодоровны, являлся к ней. Потом, когда Мария Феодоровна сделалась вдовствующей императрицей, Хилков также продолжал иногда приходить к ней. Вообще Мария Феодоровна относилась к Хилкову с крайней симпатией.

И, действительно, как личность, Хилков был совершенно исключительным человеком: с одной стороны, он был человек высшего общества, а с другой стороны — он прошел такую удивительную карьеру. Поэтому совершенно естественно, что когда государь сказал императрице, что теперь Витте рекомендует Хилкова, то насколько Мария Феодоровна отрицательно отнеслась к моей первой рекомендации, настолько же она обеими руками ухватилась за мою вторую рекомендацию. Она так настаивала на моем выборе, что я сказал государю о Хилкове в $12^1/_2$ часов, а в 3 часа Хилков, почти что назначенный министром путей сообщения, уже был у меня.

Относительно Хилкова я должен сказать, что он прекрасно знал железнодорожное дело, знал все, что касается паровозов и тракции, он был опытный железнодорожник, вообще был человек чрезвычайно воспитанный, человек высшего общества и по существу был хороший человек, но он имел маленький недо-

статок, это — слабость к женщинам. Вследствие этой слабости в его карьере были черные точки.

Конечно, Хилков не был государственным человеком и всю свою жизнь он оставался скорее обер-машинистом, нежели министром путей сообщения.

Я, конечно, этого не знал, так как это совершенно ясно обнаружилось только тогда, когда он сделался министром путей сообщения, но все же я имел такое предчувствие, мне казалось, что Хилков не государственный человек, поэтому я и рекомендовал его уже, так сказать, в крайности, понимая, что, как государственный человек, он будет очень слаб, что и оказалось в действительности.

Через несколько месяцев после вступления императора Николая II на престол умер министр иностранных дел Гирс, и явился вопрос о назначении нового министра.

Временно управление министерством было поручено товарищу Гирса — Шишкину, очень почтенному и прекрасному человеку, но человеку более нежели недалекому и по наружности весьма не представительному. Он из себя представлял такую личность, что ни у кого не могло явиться сомнения в том, что он будет управлять министерством самое короткое время. И, действительно, в самом непродолжительном времени, через несколько недель, министром иностранных дел был назначен князь Лобанов-Ростовский, наш посол в Вене. Это было одно из таких назначений, которое очень многих удивило; оно показало, что император Николай был совсем не в курсе дела, совсем не знал личного состава государственных деятелей, находящихся на различных высших местах гражданского и военного управления, в противном случае император, конечно, не назначил бы князя Лобанова-Ростовского, не потому, чтобы Лобанов-Ростовский был хорошим или дурным министром, а только в виду той оценки, которую ему дал император Александр III [1]). В то время император Николай преклонялся перед памятью своего отца и старался буквально исполнять все его заветы, руководствоваться всеми его мнениями. И так как император Николай II не был посвя-

[1]) У императора Александра III было такое свойство: он часто не стеснялся в своих выражениях и резолюциях. Так на донесении князя Лобанова-Ростовского император написал в высшей степени резкую резолюцию о личности князя Лобанова-Ростовского; сущность резолюции заключалась в том, что он, мол, Лобанов-Ростовский — человек совершенно легкомысленный; это, в сущности, была правда, но император написал резолюцию в очень резкой форме. — Когда впоследствии (о чем я буду говорить сейчас) князь Лобанов-Ростовский сделался при императоре Николае II министром иностранных дел — министерство иностранных дел

щен во все дела, а потому в большинстве случаев не мог знать ни мнений своего покойного отца, ни его оценки различных лиц и различных обстоятельств, то единственным источником в этом отношении ему служила его матушка.

Князь Лобанов-Ростовский был человек видный, во всяком случае это была личность, хотя выбор его в министры иностранных дел, по моему мнению, был неудачен, так как едва ли он мог быть серьезным министром иностранных дел.

Еще в моей юности я слыхал о Лобанове-Ростовском; когда я был еще совсем мальчиком — он был уже молодым человеком, послом в Константинополе. Я помню, что кто-то из моего семейства ездил в Константинополь и потом, возвратясь оттуда, рассказывал, что в Константинополе он был в церкви посольства и, присутствуя на церковном служении, был очень удивлен тем, что в церковь пришел наш посол, одетый чуть ли не в халат. Я помню, что я слышал об этом несколько раз, и каждый раз он рассказывал об этом с большим возмущением. Затем говорили, что вообще Лобанов-Ростовский в Константинополе крайне афишируется с различными дамами не совсем серьезного поведения.

Когда князь Лобанов-Ростовский сделался министром иностранных дел, мне пришлось с ним очень близко встречаться на деловой почве. Я буду иметь случай рассказывать впоследствии многие из эпизодов этих различных встреч, теперь же скажу только, что общее мое заключение о нем таково:

Лобанов-Ростовский был человек весьма образованный, очень светский; он отлично владел языками, очень хорошо владел пером, знал превосходно внешнюю сторону дипломатической жизни; был очень склонен к некоторым серьезным занятиям, — так, например, к различным историческим исследованиям, которые, в сущности, касались различных родословных; на этом поприще он даже приобрел себе некоторый авторитет и составил несколько книг; он был очень остроумный собеседник.

Мне не случалось бывать с князем Лобановым-Ростовским в женском обществе, но я полагаю, что он имел большой успех у женщин, так как он был человек весьма остроумный и тонко воспитанный.

совершенно не знало, как поступить с этой резолюцией императора Александра III. Я помню, что мне говорил граф Ламсдорф, — который был скромным сотрудником министерства иностранных дел, но вследствие своих личных качеств был всегда очень близок к министру иностранных дел Гирсу, — что тогда явилось решение: или же уничтожить эту бумагу, чтобы она как-нибудь случайно не попала на глаза князю Лобанову-Ростовскому, или же ее как-нибудь так спрятать в архив, чтобы она не могла ни к кому попасть в ближайшее время. Как они решили, я этого не знаю.

Но, с другой стороны, надо сказать, что Лобанов-Ростовский в течение всей своей жизни не занимался серьезным делом; он не имел привычки посвящать делу много времени. Вообще ум его был более блестящий, нежели серьезный.

Несмотря на его уже большие лета, — когда он сделался министром, ему было значительно за 60 лет,—он остался тем же, сохранив в себе основу своей натуры, т.-е. крайнее легкомыслие. Подобное свойство натуры могло являться симпатичным в общественной жизни, но не могло принести сколько бы то ни было благоприятных плодов в деятельности государственной.

Каким же образом князь Лобанов-Ростовский был назначен министром иностранных дел?

Его рекомендовал на это место великий князь Михаил Николаевич, председатель Государственного Совета, который в первое время царствования императора Николая влиял на императора в некоторых отношениях, так как по летам он был старшим в царском роде, был человек очень почтенный, хотя весьма ограниченный.

На великого же князя Михаила Николаевича повлиял государственный секретарь Александр Александрович Половцев, который в силу своих обязанностей находился в постоянных отношениях к великому князю. А. А. Половцев был очень дружен с Лобановым-Ростовским; подружился он с ним во время своих многократных и продолжительных поездок заграницу.

У кн. Лобанова-Ростовского и у А. А. Половцева были в некотором отношении одинаковые характеры; так, оба они были люди культурные, образованные, светские; оба имели наклонность к различным историческим исследованиям и, до известной степени, стремились привязать свои имена к фаланге русских историографов; оба были жуиры и любили пользоваться жизнью. Александр Александрович Половцев, как человек богатый, ездя заграницу, мог пускать пыль в глаза, благодаря своему состоянию, а князь Лобанов-Ростовский — благодаря своему положению, как чрезвычайный посол русского императора.

Разница между ними, главным образом, была та, что кн. Лобанов-Ростовский был гораздо более барином, нежели А. А. Половцев, который по натуре своей был очень похож на барина. А. А. Половцев дорожил заграничною дружбою Лобанова-Ростовского, как чрезвычайного посла и русского князя, человека в высокой степени великосветского, а Лобанов-Ростовский до известной степени дорожил дружбою А. А. Половцева, как человека чрезвычайно богатого.

Вот А. А. Половцев и убедил великого князя Михаила Николаевича, что наиболее подходящим лицом для назначения на пост министра иностранных дел является князь Лобанов-Ростовский.

Собственно по дипломатической карьере, действительно, Лобанов-Ростовский был один из самых старых наших послов и с внешней стороны — он был человек блестящий.

Итак, Михаил Николаевич рекомендовал Лобанова-Ростовского императору, а государь, совсем не зная его и не зная, как к нему относился император Александр III, назначил Лобанова-Ростовского, при чем Лобанов-Ростовский не был сразу назначен министром иностранных дел, что его очень обидело. Когда Лобанов-Ростовский приехал в Петербург, где я видел его первый раз, то он мне даже высказал это; он сказал, что удивляется, как это его, с его положением, — он был действительный тайный советник и долгое время был послом, — назначили управляющим министерством, а не министром. Но в самом коротком времени, через несколько недель, был издан указ о назначении Лобанова-Ростовского не управляющим, а министром, что, опять-таки, было сделано при посредстве А. А. Половцева.

Как я уже говорил, князь Лобанов-Ростовский всю карьеру свою делал на дипломатическом поприще, но одно время он служил в министерстве внутренних дел и даже короткое время был товарищем министра внутренних дел, — не помню при ком: при Валуеве или при Тимашеве.

По поводу этого мне вспомнилось следующее: как-то раз, будучи еще молодым человеком (я тогда служил на Одесской жел. дор.), я приехал в Петербург и был у моего дяди генерала Фадеева, который жил в гостинице «Франция» на Малой Морской улице. У моего дяди вечером собрались его приятели, были: Черняев, граф Воронцов-Дашков (будущий министр двора и теперешний наместник на Кавказе), князь Лобанов-Ростовский, брат будущего министра иностранных дел. Этот Лобанов-Ростовский постоянно жил за границей и, весьма редко приезжая в Россию, оставался здесь очень непродолжительное время.

Вот этого-то Лобанова-Ростовского кто-то при мне спросил, долго ли он останется в России. Он ответил, что недолго, что он как можно скорее хочет уехать за границу. Тогда ему сказали: «Что ж это вы так спешите уехать за границу? Прежде, когда вы приезжали, вы оставались довольно долго в России». Лобанов-Ростовский на это говорит:

— Как же я могу остаться в России, когда она дошла до такого положения, что даже мой брат может быть товарищем министра внутренних дел?

Князь Лобанов-Ростовский, конечно, понравился государю и государыне; да он и не мог не понравиться, потому что он был человек весьма приличный, образованный, в светском смысле, в высшей степени тонко, так что и юмор его был в высшей степени тонкий.

2 апреля 1895 г. товарищем министра внутренних дел по рекомендации Победоносцева был назначен Горемыкин, который до этого назначения занимал пост товарища министра юстиции.

Горемыкин был назначен товарищем министра внутренних дел не по выбору Ивана Николаевича Дурново, так как Иван Николаевич представил других кандидатов и между прочим князя Кантакузена графа Сперанского. Но в то время государь уже начал относиться недоверчиво к министру внутренних дел Дурново. Что послужило причиной этому, я в точности не знаю, но Иван Николаевич Дурново говорил мне тогда, что он приписывает некоторое недоверие государя императора влиянию его августейшей матушки; что августейшая матушка недовольна им, потому что, будто бы им, Дурново, перлюстрируются письма, ею получаемые, в чем она и уверяет императора.

Иван Николаевич Дурново говорил мне, что он перлюстрацией писем не занимается, хотя утверждение это было неверно как в отношении его, так и в отношении всех последующих министров внутренних дел. Недавно погибший министр внутренних дел Столыпин точно так же негодовал, возмущался делаемыми предположениями, что в министерстве внутренних дел им перлюстрируются частные письма. Между тем я знаю совершенно достоверно, что письма эти перлюстрировались и что Столыпин посвящал очень много времени чтению чужих писем. Это приносило вред и мне, ибо, когда я был председателем совета министров, то и мне одно время давали все эти письма, и я знаю по себе, как эти письма влияют на нервы и возбуждают различные чувства.

После отставки И. Н. Дурново император Николай II не назначил министром внутренних дел Сипягина, как это было в мыслях его отца императора Александра III, а назначил Горемыкина. Это случилось следующим образом.

Когда уходил Иван Николаевич Дурново, то явился вопрос, кого назначить вместо него, и государь император как-то раз, когда я пришел к нему, спросил об этом мое мнение:

— Как вы думаете, кого бы вы мне посоветовали назначить министром внутренних дел?

Тогда я в свою очередь спросил у государя, кого он имеет в виду — потому что мне самому не хотелось бы указывать лиц, а я бы мог дать только характеристику того или другого лица, которое будет указано государем.

Государь мне на это ответил, что ему рекомендуют двух лиц: Плеве и Сипягина. Кто ему их рекомендует, государь не говорил, но я, конечно, догадался.

Что касается Плеве, то его рекомендовал государю Николаю II И. Н. Дурново так же, как он его рекомендовал императору Александру III; а что касается Сипягина, то относительно его, вероятно, императору Николаю II было известно, что это был кандидат в министры его отца.

Относительно Плеве и Сипягина я сказал государю следующее, что и Плеве и Сипягина—я обоих хорошо знаю. Плеве делал свою карьеру как юрист, он дослужился до прокурора судебной палаты; затем при Лорис-Меликове из прокурора судебной палаты он был назначен директором департамента полиции; из директора департамента полиции он был назначен товарищем министра внутренних дел и, наконец, государственным секретарем. Я сказал, что человек он, несомненно, очень умный, очень опытный, хороший юрист, вообще человек очень деловой, в состоянии много работать и очень способный, но насколько на него можно положиться в том смысле — каковы его убеждения, есть ли это в данный момент его убеждения, искренни ли они, глубоки ли, а не просто ли карьерные — об этом всегда судить очень трудно.

Когда Плеве был прокурором судебной палаты, он был довольно либеральных идей, вследствие этого граф Лорис-Меликов, когда он был начальником верховного управления, а потом министром внутренних дел (его тогда называли диктатором сердца императора Александра II) — взял Плеве директором департамента полиции. В то время Плеве поклонялся политике Лорис-Меликова, сочувствовал его более или менее конституционным идеям.

Затем Лорис-Меликова сменил граф Игнатьев. Плеве был правою рукою графа Игнатьева и поклонялся графу Игнатьеву, хотя, как известно, мнения графа Игнатьева совершенно не сходились с мнениями Лорис-Меликова.

Лорис-Меликов был конституционалистом в западном смысле, а граф Игнатьев был практический славянофил, видевший спасение в земском совещательном соборе.

Затем граф Игнатьев был сменен министром внутренних дел Толстым. Толстой, в качестве министра внутренних дел, явился представителем в полном смысле слова самодержавной бюрократии, и Плеве стал самым большим поклонником и сторонником его системы; проводил его мысли и чуть ли не клялся над его, Толстого, формулой, как на тексте евангелия.

Затем я сказал его величеству:

— А каковы в действительности мнения и убеждения Плеве, об этом, я думаю, никто не знает, да полагаю, что и сам Плеве этого не знает. Он будет держаться тех мнений, которые он считает в данный момент для него лично выгодными и выгодными для того времени, когда он находится у власти.

* Я не сказал государю, что Плеве ренегат из-за карьеры, а я думаю, что не может быть честного человека, меняющего свою религию из житейских выгод. Я также не сказал государю, что Плеве по натуре хам и сделался ярым адвокатом всех дворянских эгоистических тенденций не по убеждениям и не по традициям (его отец еще не был дворянином, а чуть ли не органистом у какого-то польского помещика), а потому, что посредством дворянской клики у престола он делал и сделал свою карьеру. Как ренегат и не русский, он, конечно, дабы показать, какой он «истинно-русский и православный», готов был на всякие стеснительные меры по отношению ко всем подданным его величества не православным. Вот почему Победоносцев его презирал, так как сам Победоносцев это делал по убеждению. Все люди грешны и забавляются «благородным занятием», как выражаются итальянцы, но мало уважают тех особ, с которыми они забавляются *.

Что же касается Сипягина, то я сказал, что Сипягин гораздо менее образован, гораздо менее способный, нежели Плеве. Хотя он кончил курс в университете на юридическом факультете, но имеет довольно слабые юридические знания и даже довольно слабые вообще научные знания. Будучи предводителем дворянства, а затем вице-губернатором и губернатором, он довольно хорошо знает административную губернскую часть. Вообще, это человек с здравым смыслом, но что касается знаний, таланта, опыта, то он гораздо ниже Плеве. Но зато Сипягин, это — человек убеждений; убеждения его очень узкие, чисто дворянские, он придерживается принципа самодержавия, патриархального управления государством на местах; это его убеждения и убеждения твердые. Вообще, Сипягин своих убеждений не меняет; человек он прекрасной души, по натуре весьма гуманный, твердый и представляет собою в истинном смысле слова образец русского благородного дворянина.

Сделав характеристику этих обоих лиц, я расстался с его величеством и через некоторое время уехал в Виши [1]).

Когда месяца через полтора, два я вернулся обратно из Виши, министр внутренних дел еще не был назначен, а Иван Николаевич Дурново, бывший министр внутренних дел, был назначен председателем комитета министров.

Вступив в управление министерством финансов, я сразу почувствовал крайнее неудобство отсутствия министра внутрен-

[1]) *Я имел неосторожность передать мой разговор с его величеством И. Н. Дурново, который, конечно, его передал Плеве, как я узнал впоследствии*.

них дел. Замещал министра внутренних дел временно его товарищ Горемыкин, который ничего на себя брать не хотел, потому что каждый день мог быть назначен другой министр внутренних дел, вследствие чего Горемыкин вел одни текущие дела.

При первом же моем докладе государю императору я спросил, кого же его величество полагает назначить, при чем указал на то, что я застал целый ряд бумаг и дел, не решенных и не двигающихся вследствие отсутствия министра внутренних дел.

На это мне император Николай II сказал:

— Я после нашего разговора, который я имел с вами о Плеве и Сипягине, спросил еще и мнение К. П. Победоносцева. Он, — говорит, — сказал мне свое мнение, но я так и не решился кого-либо назначить, все ожидал вашего приезда.

Тогда я спросил государя:

— Какое же мнение Константина Петровича, если ваше величество соизволите мне это сказать?

— Да он очень просто мне сказал; когда я указал на этих кандидатов, то Константин Петрович сказал, что Плеве—подлец, а Сипягин — дурак.

Поэтому государь и считал, что как того, так и другого назначить нельзя.

Тогда я спросил государя:

— Что же, ваше величество, сам он кого-нибудь рекомендовал?

Государь улыбнулся и говорит:

— Да, он мне рекомендовал . . . между прочим, он и о вас говорил.

Очевидно, государь не хотел передать то, что он сказал обо мне, но я сразу догадался и говорю:

— Ваше величество, хотя я не знаю, что говорил Победоносцев, но почти уверен, что могу догадаться, что он про меня сказал.

Государь спросил:

— А как вы думаете, что?

— Да, наверно, — говорю, — он сказал так: когда вы его спросили, кто же может быть министром внутренних дел, он ответил вашему величеству: есть один только человек, который может быть министром, это вот Витте, да и тот . . . и тут он сказал какое-нибудь слово, какое-нибудь бранное слово, что-нибудь вроде известной фразы Собакевича в «Мертвых душах»: «один там только и есть порядочный человек — прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья». — Государь рассмеялся.

— Я, — говорит, — ему сказал, что если бы даже я решил вас назначить, то это мне не облегчило бы моей задачи, потому что мне пришлось бы искать заместителя вам.

Затем государь сказал мне, что, когда он спросил Победоносцева, кого же в конце концов он рекомендует назначить, Победоносцев ответил, что, по его мнению, надо назначить того, кто и теперь уже состоит товарищем министра внутренних дел, — т.-е. Горемыкина.

— А что вы думаете по поводу назначения Горемыкина? — спросил меня государь.

Я ответил государю, что Горемыкина я сравнительно очень мало знаю, ничего о нем определенного сказать не могу, но что вообще Горемыкин производит на меня впечатление человека порядочного, при чем добавил, что, по всей вероятности, Константин Петрович, между прочим, рекомендует Горемыкина потому, что Горемыкин правовед, и Константин Петрович тоже правовед, а известно, что правоведы так же, как и лицеисты, держатся друг за друга, все равно как евреи в своем кагале.

— И если, — сказал я, — у вашего величества никого больше не имеется в виду, то может быть вы решитесь назначить Горемыкина?

Государь ответил:

— Да, я назначу Горемыкина.

Когда я уходил от государя из его кабинета, туда вошел Танеев, и, когда я с ним ехал обратно из Царского в Петербург, Танеев мне сказал:

— Как я рад, что вы, наконец, вернулись из заграницы. Государь все время не решался — кого назначить министром внутренних дел, а вот сегодня приказал представить мне ему указ о назначении на этот пост Горемыкина.

С вокзала я прямо поехал в министерство внутренних дел, к Горемыкину, и сказал ему, что мне известно, что его величество угодно было решить назначить его министром внутренних дел. Горемыкин этой вестью был очень доволен и начал говорить со мною о следующем.

Со времени соединения министерства внутренних дел с 3-м отделением министр внутренних дел сделался по своей должности и шефом жандармов, и таким образом министры внутренних дел, кроме полагающегося им довольствия: содержания, казенной квартиры, отопления и проч., стали получать и по смете жандармского управления 50 тыс. руб. в год на особые расходы. Под этими особыми расходами подразумевались расходы негласные, которые министр внутренних дел, как начальник полиции, иногда должен был производить и о которых трудно было кому-либо давать отчеты, кроме, конечно, отчета государю императору.

Но постепенно эти 50.000 руб. министры внутренних дел просто начали тратить на свои личные нужды, а также на представительство, что, конечно, было некорректно.

Так вот Горемыкин ни с того, ни с сего сказал мне, что он рад получить самостоятельное место; рад, что состоялось определенное назначение и что он теперь уже не временно управляющий министерством, не калиф на час. Первое, что он теперь сделает, это распорядится, чтобы те 50.000 руб., которые получали министры внутренних дел, чтобы их ему не давали, а чтобы их сам департамент полиции тратил на секретные нужды.

Но это благое пожелание так и осталось «благим пожеланием». В конце концов, Горемыкин продолжал получать эти 50.000 руб. и тратить их на свои нужды, что делали все его преемники. Разница между ними и покойным председателем совета министров, и министром внутренних дел Столыпиным состояла лишь в том, что они брали только эти 50.000, а когда министром внутренних дел сделался Столыпин, то уже дело не ограничивалось 50.000, а, насколько мне известно, со слов министра финансов и нынешнего председателя совета министров, — Столыпин и его ближайший помощник по делам полиции Курлов тратили на свои нужды, или на свое представительство уже не 50.000, а сотни тысяч. Это было одним из последствий так называемого конституционного порядка, который водворял П. А. Столыпин.

Горемыкин до назначения министром внутренних дел был довольно либерального направления, но, как только он сделался министром внутренних дел, под влиянием свыше, боясь себя скомпрометировать, начал вести довольно реакционную политику [1]).

В марте месяце 1896 г. был назначен дворцовым комендантом генерал Гессе.

Когда император Александр III вступил на престол, то при нем, весьма недолгое время, начальником дворцовой охраны

---

[1]) Вариант. *Горемыкин в течение своего управления министерством бездействовал и не знал, куда ему итти, направо или налево. Он взял себе в товарищи князя Алексея Дмитриевича Оболенского, человека очень неглупого, хорошо образованного, убедительно говорящего, честного, но крайне легкомысленного и впечатлительного.

Он и мне принес много бед своею неуравновешенностью. Когда он говорит, он говорит по убеждению и убедительно, но убеждения его меняются так же часто, как чистоплотные люди меняют белье. Затем у него крайне беспокойный характер, всегда он всюду во все партии суется, чтобы знать, что делается, и давать «советы». Он пользовался большим почетом у молодых дам высшего общества — его так и звали «дамский оракул». Хотя, повторяю, он, в сущности, хороший, честный человек, но опасный советчик. Оболенский тащил Горемыкина налево, а другие его сотрудники — направо. Конечно, Горемыкин никому не угодил, а председатель комитета министров, Дурново, который жил головою Плеве (тогда уже государственного секретаря, добивавшегося стать министром внутренних дел), конечно, страшно интриговал против Горемыкина*.

был его личный друг граф Воронцов-Дашков (нынешний кавказский наместник), который затем в скором времени был сделан имнистром двора и оставался министром двора в течение всего царствования императора Александра III.

Начальником конвоя в это время был генерал-адъютант Черевин.

Как граф Воронцов-Дашков, так и генерал-адъютант Черевин были люди с известным «я».

Молодой император, так сказать, вырос на их глазах, так как оба они были близки к императору Александру III не только, когда он сделался императором, но и еще тогда, когда он был наследником-цесаревичем.

Поэтому Черевин несколько стеснял императора Николая II, а в особенности Черевин не мог нравиться молодой императрице,—особе весьма чистой и воспитанной на немецко-английский манер, — своею некоторою распущенностью и резкостью выражений. Происходило это оттого, что Черевин имел один недостаток: он весьма часто, можно сказать, почти ежедневно был не в вполне нормальном состоянии. Совершенно естественно, что все эти аллюры Черевина не могли, конечно, нравиться императрице.

Вследствие этого Черевин со времени вступления на престол императора Николая II хотя и оставался начальником охраны и лицом, по положению близким к императору Николаю, но никакой интимности между ним и новою императорскою четою уже не было. Черевин не видел ежедневно, — как это было прежде, — императора и императрицу; прежде он постоянно был приглашаем к интимному столу, — обеду, завтраку, — это все теперь переменилось. Вообще, что касается личной жизни, то Черевин был очень отдален от двора.

Когда государь переехал в Зимний дворец, а он поселился в Зимнем дворце после медовых месяцев, которые государь провел со своею молодой женой в Царском, то Черевин даже не получил помещения ни в Зимнем, ни в Аничковом дворцах, а жил на частной квартире.

Только отношения вдовствующей императрицы к Черевину не переменились; она осталась в высокой степени к нему расположенной и весьма любила и уважала Черевина.

Приближенным Черевина был генерал Гессе.

Генерал Гессе раньше служил в Преображенском полку, потом состоял при Черевине еще в чине полковника (Гессе при императоре Александре III я помню тоже в чине полковника).

Молодой император знал Гессе, так как он сам служил одно время в Преображенском полку и командовал батальоном; затем, когда император Николай II был еще цесаревичем, Гессе учил его ружейным приемам. Наконец, Гессе был прибли-

женным Черевина, а потому знал все, что касается дворцовой охраны.

Естественно поэтому, что после смерти Черевина вместо него был назначен Гессе.

Черевин умер от воспаления легких. Для него воспаление легких было смертельною болезнью, потому что у лиц, подобно Черевину пропитанных алкоголем, воспаление легких обыкновенно кончается смертью.

Гессе был человек недурной, довольно корректный, но во всех отношениях самый обыкновенный человек, и потому его нельзя сравнить с Черевиным, так как Черевин был человек замечательно здравого ума и крайне забавный; он представлял собою типичную личность.

Гессе сделал военную карьеру между прочим и потому, что он был женат на дочери Козлянинова, бывшего командующего войсками в Киеве, сестра же его жены была фрейлиной при Елизавете Федоровне. Таким образом, на карьеру Гессе имела влияние именно его женитьба на дочери генерал-адъютанта, бывшего командующего войсками Киевского военного округа Козлянинова, который в свое время имел очень большое значение в военном мире.

Сами Гессе еврейского происхождения, в них есть значительная доля еврейской крови. В наружности генерала Гессе это не было заметно, но в наружности его брата, который был в Киеве губернатором (также вследствие влияния Козлянинова), еврейский тип резко проглядывал, что не мешало как киевскому губернатору Гессе, так и генералу Гессе быть людьми весьма порядочными.

Супруга генерала Гессе также была дама весьма порядочная, но очень «себе на уме». В сущности она имела громадное влияние на мужа и вообще на устройство домашних и мелких дворцовых дел, на устройство своего личного положения, хотя она и была происхождения чисто русского и крови чисто русской.

Многие думают, что если кто-нибудь имеет предками евреев, то непременно имеет и недостатки этой нации, но это не вполне верно. Так, например, в Гессе его еврейское происхождение ничем не обнаружилось, тогда как в его жене, которая была чисто русская, недостатки, которыми страдают многие евреи, были весьма заметны.

Характерно, что когда вместо Черевина был назначен Гессе, то в высочайшем указе было сказано, что государь ни в какой охране не нуждается, поэтому и начальник дворцовой охраны

совсем не нужен, вследствие чего он, Гессе, назначается дворцовым комендантом.

Вот каковы были мысли, если не по существу, то в смысле постановки дела перед обществом, в 1896 г.; если подумаешь о настоящем положении дела, о том значении охраны, о том, как она была выдвинута покойным Столыпиным со всеми этими историями Азефов, Дубровиных, подонков с Сенной площади, союза русского народа; вспомнишь о Багрове, Казанцеве и о всевозможных политических охранниках под различными наименованиями и видами, то можно сказать, что те предвидения, которые в то время были гласно высказаны относительно необходимости упразднения дворцовой охраны и замены ее дворцовым комендантом, не вполне оправдались.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Переговоры с Ли-Хун-Чаном и заключение договора с Китаем.

В конце царствования императора Александра III отношения между Японией и Китаем крайне обострились, а затем вспыхнула война между Японией и Китаем. У нас тогда войска на Дальнем Востоке во Владивостоке было очень мало. Ту часть войска, которая была во Владивостоке, мы направили к Гирину на тот случай, чтобы эти самые военные действия между Японией и Китаем не подвинулись на север и не коснулись в том или другом направлении русских владений и интересов, — вот все, что мы сделали.

В это время император Александр умер. Война эта кончилась полною победою японцев. В начале царствования императора Николая II, как известно, японцы взяли весь Ляодунский полуостров и при заключении мира с Китаем выговорили себе различные выгоды и главным образом — приобретение всего Ляодунского полуострова.

При таком положении дел князь Лобанов-Ростовский сделался министром иностранных дел. В то время строился великий Сибирский железнодорожный путь, который доходил уже почти до Забайкалья. Являлся вопрос: как направить дальше железную дорогу—по нашим владениям, делая большой круг по Амуру, или в том, или в другом направлении воспользоваться китайской территорией, т.-е. северною частью Манчжурии.

Но вопрос этот не был решен, и никогда даже не было предположения, чтобы мы могли достигнуть согласия Китая на проведение дороги по северной Манчжурии.

Но так как все сооружение великого Сибирского пути, т.-е. соединение Владивостока с Европейской Россией, еще по завету императора Александра III, было поручено мне, то из государственных деятелей единственно, кто занимался этим

вопросом, — был я. Так как я более всех остальных, так сказать, играл роль в этом деле, то и дело это я наиболее изучил и знал.

В то время, в сущности говоря, было очень мало лиц, которые знали бы вообще, что такое Китай, имели бы ясное представление о географическом положении Китая, Кореи, Японии, о соотношении всех этих стран; вообще в отношении Китая наше общество и даже высшие государственные деятели были полные невежды.

Только что назначенный министром иностранных дел князь Лобанов-Ростовский тоже не имел никакого понятия о делах Дальнего Востока. Если бы его в то время спросить: что такое Манчжурия? Где Мукден? где Гирин? — то его знания оказались бы знаниями гимназиста второго класса. Впрочем, это надо сказать не про одного Лобанова-Ростовского, а про большинство государственных деятелей.

Князь Лобанов-Ростовский, как я уже прежде говорил, был человек очень образованный, он знал все, что касается Запада, Дальний же Восток его никогда не интересовал, и он ничего о нем не знал.

Не успел он получить пост министра, как война между Японией и Китаем кончилась известным Симоносекским соглашением. Соглашение это представлялось мне в высокой степени неблагоприятным для России, ибо Япония получала территорию на Китайском материке и благодаря этому приблизилась к нам в том смысле, что наши приморские владения, Приморский край, прежде отделялись от Японии морем, а теперь Япония переходила уже на материк и завязывала интересы на материке, на том самом материке, где были и наши весьма существенные интересы, а потому являлся вопрос: как же поступить?

В то время вопросами Дальнего Востока занимался исключительно я. Государь император желал вообще распространить влияние России на Дальний Восток и увлекался этой идеей именно потому, что в первый раз он вышел, так сказать, на свободу поездкою на Дальний Восток. Но, конечно, в то время у него никакой определенной программы не сложилось; было лишь только стихийное желание двинуться на Дальний Восток и завладеть тамошними странами. Поэтому мне в то время пришлось всесторонне обдумать: как же надлежит поступить по поводу заключенного договора между Японией и Китаем, по которому к Японии переходил весь Ляодунский полуостров. Я пришел тогда к заключению, которого держался все время, а именно, что России наиболее выгодно иметь около себя соседом своим — сильный, но неподвижный Китай, что в этом заключается залог спокойствия России со стороны Востока, а следовательно и будущего благоденствия Российской империи; поэтому мне стало ясно, что невозможно допустить, чтобы Япония внедри-

лась около самого Пекина и приобрела столь важную область, как Ляодунский полуостров, который в известном отношении представлял собою доминирующую позицию. Вследствие этого я поднял вопрос о том, что необходимо воспрепятствовать осуществлению сказанного договора между Японией и Китаем.

Благодаря этому, его величеству благоугодно было назначить совещание, которое имело место на временной квартире [1]), занимаемой тогда недавно назначенным министром иностранных дел князем Лобановым-Ростовским.

Совещание это происходило под председательством генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича и состояло из следующих лиц: военного министра, генерал-адъютанта Ванновского, начальника главного штаба, генерал-адъютанта Обручева, управляющего морским министерством Николая Матвеевича Чихачева, меня и министра иностранных дел.

В этом совещании я высказал и проводил тот принцип, что весь интерес России на многие и многие годы заключается в том, чтобы Китай оставался тем, чем он есть, а для этого необходимо всеми силами поддерживать принцип цельности и неприкосновенности Китайской империи.

Этот принцип я проводил в совещании весьма решительно и твердо. Меня поддерживал лишь Ванновский; Обручев относился довольно равнодушно к этому вопросу, так как он всегда увлекался возможными столкновениями на Западе и исключительно предавался этой идее. Остальные же члены совещания никакого определенного мнения не выражали.

Председатель этот вопрос не баллотировал, а поставил другой вопрос: каким образом поступить для осуществления моего желания?

Тогда я сказал, что Японии необходимо поставить ультиматум, что мы не можем допустить нарушения принципа целости и неприкосновенности Китайской империи, а потому не можем согласиться на тот договор, который состоялся между Японией и Китаем; конечно, согласие Китая на этот договор было вынужденным, так как Китай является стороной побежденной. Затем я сказал, что Японии, как стороне победившей, надо предоставить вознаградить свои расходы посредством более или менее значительной контрибуции со стороны Китая. Если же Япония на это не согласится, то нам ничего другого не остается делать, как начать активные действия; что теперь еще не время судить о том, какие активные действия предпринимать, но я того убеждения, что можно дойти и до бомбардировки некоторых японских портов.

[1]) Это была квартира товарища министра иностранных дел.

Таким образом, в этом совещании было ясно формулировано и мое убеждение и какие средства я предлагаю для достижения этого моего мнения.

Но ничем определенным заседание не кончилось, так как мне никто определенно не возражал, но в то же время многие члены этого совещания не сказали, что они согласны с моим мнением. Князь Лобанов-Ростовский все время молчал.

Об этом совещании великим князем было доложено императору. Тогда государь созвал совещание у себя, но уже не в полном составе тех же лиц; на этом совещании присутствовали только я, генерал Ванновский, князь Лобанов-Ростовский и великий князь Алексей Александрович.

В присутствии его величества я опять повторил мои мнения; другие или совсем не возражали, или же возражали весьма слабо, в конце концов государь согласился принять мое предложение, и князю Лобанову-Ростовскому поручено было привести его в исполнение. Нужно отдать справедливость князю Лобанову-Ростовскому, он это исполнил ловко: немедленно вошел в соглашение с Германией и Францией, которые изъявили согласие поддержать требование России; затем, без промедления Россией был поставлен Японии ультиматум. Япония была вынуждена принять его и взамен Ляодунского полуострова потребовала значительную денежную контрибуцию.

Мы, т.-е. Россия, в вопросы о размерах контрибуции и другие вопросы не вмешивались, выставив только один принцип, а именно, что мы не можем допустить какого бы то ни было нарушения целости территории Китайской империи.

Таким образом состоялся Симоносекский договор, в котором территориальное приобретение было заменено контрибуцией.

Одновременно я вошел в сношения с Китаем и предложил услуги России по заключению займа. Конечно, такой большой заем не мог быть совершен Китаем только на основании кредита Китая, а потому Россия дала свою гарантию, т.-е., что заем должен быть гарантирован таможенными пошлинами, затем вообще достоянием Китая, а в случае неисправности Китая, Россия дала этому займу гарантию.

Кроме того, я же в сущности и совершал для Китая этот заем между парижскими банкирами на бирже; в этом займе принимали участие банк de Paris et Pays bas, Credit Lyonnais, банкирский дом Готенгер; по этому делу представители этих домов, а именно Нестли и Готенгер, приезжали сюда, при чем они просили меня, чтобы взамен той услуги, которую они мне делают по заключению займа, я помог им по расширению банковой деятельности в Китае со стороны французского рынка.

Вследствие этого, по моей инициативе и по просьбе этих французских банкиров, мною был основан русско-китайский банк, в котором главное участие приняли французы. Сперва значительным акционером этого банка была и наша государственная казна, а в последнее время она в этом деле не принимает почти никакого участия. После несчастной русско-японской войны мы значительно потеряли наш престиж в Китае, и этот русско-китайский банк, мною основанный, в котором принимали участие как французские банкиры и Россия, так и Китайская империя, которая сделала довольно значительный вклад,—после того, как я ушел из министерства финансов, и после того, как произошла несчастная русско-японская война, — потерял в значительной степени под собою почву, и в настоящее время соединен с северным банком; таким образом образовался новый банк, который называется русско-азиатским банком.

После того, как мы оказали такую значительную помощь Китаю, в Китай ездил князь Ухтомский, очень приближенный в то время к государю, для того, чтобы, с одной стороны, ближе познакомиться с Китаем, а с другой стороны, познакомиться с тамошними государственными деятелями.

Когда наступило время коронования его величества, то все страны — как это принято в таких случаях — послали в Россию своих представителей; представители эти были большей частью или же лица царствующих домов, или же высшие государственные сановники. От Китая был послан Ли-Хун-Чан — это самый выдающийся деятель, занимавший в то время наивысший пост в Китае, так что отправление Ли-Хун-Чана на коронацию должно было обозначать особую благодарность Китая нашему молодому императору за оказанную им Китаю услугу в том смысле, что благодаря нашему государю была спасена целость китайской территории, а потом благодарность за оказанную нами помощь в денежных делах Китая.

Между тем, в то время наш великий Сибирский путь уже подходил к Забайкалью, и являлась необходимость решить вопрос: как же вести его дальше. Весьма естественно, у меня родилась мысль вести железную дорогу далее напрямик во Владивосток, перерезывая Монголию и северную часть Манчжурии. Этим достигалось значительное ускорение в его сооружении. При этом великий Сибирский путь являлся действительно транзитным мировым путем, соединяющим Японию и весь Дальний Восток с Россией и с Европой.

Весь вопрос заключался в том, чтобы достигнуть этой цели путем миролюбивым, основанным на взаимно-коммерческих выгодах. Этою мыслью я увлекался и посвятил в нее князя

Ухтомского и имел случай докладывать об этом и его величеству.

Между тем, в это время доктор Бадмаев [1]) ездил к себе на родину к бурятам; он непременно желал вести дорогу прямо через Кяхту в Пекин, считая, что дорога, идущая на Владивосток, представляется второстепенной. Я, конечно, этой мысли никак не мог сочувствовать, так как, во-первых, я считал необходимым соединение нас с Владивостоком; во-вторых, я считал, и весьма основательно, что такая дорога в Пекин, несомненно, поднимет против нас всю Европу.

Между тем, самое проведение великой Сибирской дороги — по мысли императора Александра III — вовсе не являлось делом военно-политическим, а только экономическим, касающимся внутренней политики, а именно: помощью этой железной дороги император Александр III желал достигнуть кратчайшего соединения одной из наших окраин — Приморской области с Россией. Иначе говоря, вся великая Сибирская дорога имела в глазах императора Александра III, а также и в глазах императора Николая II только экономическое значение, значение в смысле оборонительном, а никак не наступательном; в особенности она не должна была служить орудием для каких бы то ни было новых захватов.

Доктор Бадмаев, когда ездил в Монголию и Пекин, то вел себя там так неудобно и двусмысленно, что князь Ухтомский, а затем и я прекратили с ним всякие сношения, усмотрев в нем умного, но плутоватого аферист а.

Когда Ли-Хун-Чан уже выехал из Китая (а это был его первый выезд из Китайской империи) и должен был скоро подъ-

---

[1]) Я познакомился с Бадмаевым через Ухтомского, к которому он подлез во время одного из его путешествий в Китай.

Бадмаев принадлежит к типичнейшим азиатам; человек он, несомненно, весьма умный; в отношении своего лечения — он обладает большою долею шарлатанства. В некоторых случаях своим лечением он приносит пользу, но его лечение всегда связано с различными интригами и политикою. Это вскоре было замечено как князем Ухтомским, так и мною; мы ясно видели, что Бадмаев занимался вопросами Дальнего Востока, а поэтому он был совсем отдален как от князя Ухтомского, так и от меня.

Иногда же Бадмаев старается эти свои занятия сделать источником всевозможных личных денежных афер.

Сначала Ухтомский ввел Бадмаева и к цесаревичу Николаю, и в первое время своего царствования император даже принимал Бадмаева, и вообще относился к нему благосклонно.

Уже много лет как Ухтомский, так и я Бадмаева к себе не допускали, но еще недавно я слыхал, что Бадмаев как-то сумел пролезть как к Курлову, который ныне, вследствие убийства Столыпина, потерял место, так и к теперешнему дворцовому коменданту Дедюлину. Недавно еще в Медицинском Совете рассматривалось дело об учреждении какого-то общества лечения бурятской медициной, во главе с Дедюлиным, Курловым, Бадмаевым. Из этого я вижу, что Бадмаев теперь снова пролез в сферы высшей полиции.

ехать к Суэцкому каналу, то я сказал государю, что было бы очень удобно, если бы Ли-Хун-Чана встретил в Суэцком канале князь Ухтомский, который еще ранее был лично знаком с Ли-Хун-Чаном и установил с ним хорошие отношения. Считал же это я не только удобным, но и необходимым потому, что до моего сведения дошло, что и другие страны, а именно: Англия, Германия и Австрия также старались как-нибудь заманить к себе Ли-Хун-Чана; они хотели, чтобы Ли-Хун-Чан приехал в Петербург через Европу. Я, напротив, желал, чтобы Ли-Хун-Чан никуда не ездил раньше, чем он приедет к нам, так как для меня было ясно, что если он раньше поедет в Европу, то он будет находиться под влиянием всевозможных интриг деятелей европейских государств.

Его величество одобрил мои соображения и поручил встретить Ли-Хун-Чана князю Ухтомскому, который виделся со мною и подробно условился насчет встречи. Но государь пожелал, чтобы это было сделано незаметно, и потому князь Ухтомский поехал в Европу и, сев на один из пароходов (кажется, даже чуть ли не в Марселе), поехал навстречу к Ли-Хун-Чану и встретил его на выезде из Суэцкого канала. Затем, несмотря на то, что Ли-Хун-Чан получил всевозможные приглашения ехать в различные европейские порты, — он сел на наш пароход Русского общества пароходства и торговли, мною для этой встречи приготовленный, и прямо со всею своею свитою и князем Ухтомским приехал в Одессу.

Так как Одесса был первый русский город, в который вступил Ли-Хун-Чан, то мне хотелось, чтобы он был там принят с надлежащим почетом. Я докладывал об этом государю, сказав, что было бы очень хорошо, если бы Ли-Хун-Чана в соответствии с его саном встретил почетный караул от наших войск и что именно в таком виде Ли-Хун-Чан в первый раз должен был бы увидеть наши войска.

Государь одобрил эту мысль и написал об этом военному министру Ванновскому.

Но вот тут я встретил чувство бюрократической ревности как со стороны генерал-адъютанта Ванновского, так и со стороны князя Лобанова-Ростовского.

Генерал-адъютант Ванновский, получив мое уведомление, ответил мне письмом, в котором сообщал мне, что он хотя и сделал это распоряжение, но желал бы знать: с каких пор я сделался докладчиком его величеству по военным вопросам, по военному министерству, так как дело военных караулов относится к компетенции военного министра, а не министра финансов.

Что касается князя Лобанова-Ростовского, то он желал, чтобы Ли-Хун-Чан в Одессе ожидал коронации, или же, чтобы он, прямо проехав в Москву, ожидал там коронацию, но чтобы

он ни в коем случае не приезжал в Петербург, так как приезжать в Петербург до коронации ему совершенно не за чем.

Между тем, несмотря на приглашения других европейских стран посетить раньше коронации Европу, — Ли-Хун-Чан приехал прямо в Россию через Одессу и приехал он именно потому, что мы, желая этого, послали ему навстречу князя Ухтомского; кроме того, если вести какие-либо переговоры, то к ним надлежало приступить до коронации, так как во время коронации вести переговоры было бы очень трудно, в виду того, что каждый день в это время был наполнен различными торжествами.

В виду всего этого, я должен был опять обратиться к государю и просить его, чтобы Ли-Хун-Чан приехал прямо в Петербург.

Несмотря на то, что князь Лобанов-Ростовский был противоположного об этом мнения, государь разрешил Ли-Хун-Чану приехать прямо в Петербург. По моему распоряжению был сформирован особый экстренный поезд, с которым Ли-Хун-Чан приехал в Петербург.

Государь император поручил мне вести переговоры с Ли-Хун-Чаном, а поэтому князь Лобанов-Ростовский с ним никаких переговоров не вел, да он и не мог их вести с Ли-Хун-Чаном, так как в то время князь Лобанов-Ростовский решительно ничего не знал, да и не интересовался тем, что касалось нашей политики и наших вопросов на Дальнем Востоке.

Сначала Ли-Хун-Чан сделал мне официальный визит в доме министерства финансов, потом я ему отдал этот визит, а затем мы с ним несколько раз виделись и вели политические беседы относительно улаживания взаимных отношений между Россией и Китаем.

При этом, с первого же раза мне сказали, что при ведении переговоров с китайскими сановниками прежде всего никогда не надо спешить, так как это считается у них дурным тоном, надо все делать крайне медленно и обставлять все различными китайскими церемониями.

И вот, когда вошел ко мне Ли-Хун-Чан в гостиную, я вышел к нему навстречу в виц-мундире; мы с ним очень поздравствовались, очень низко друг другу поклонились; потом я его провел во вторую гостиную и приказал дать чай. Я и Ли-Хун-Чан сидели, а все лица его свиты, так же, как и мои чиновники, стояли. Затем я предложил Ли-Хун-Чану, не желает ли он закурить? В это время Ли-Хун-Чан начал издавать звук, подобный ржанию жеребца; немедленно из соседней комнаты прибежали два китайца, из которых один принес кальян, а другой табак; потом началась церемония курения, которая заключалась в том,

что Ли-Хун-Чан сидел совершенно спокойно, только втягивая и выпуская из своего рта дым, а зажигание кальяна, держание трубки, вынимание этой трубки изо рта и затем вставление ее в рот — все это делалось окружающими китайцами с большим благоговением.

Подобного рода церемониями Ли-Хун-Чан явно желал произвести на меня сильное впечатление. Я к этому относился, конечно, очень спокойно и делал вид, как будто я на все это не обращаю никакого внимания.

Конечно, во время первого визита я ни слова не говорил о деле. Мы только друг друга десятки раз расспрашивали: — он о том, как здоровье государя императора, как здоровье государыни императрицы, как здоровье каждого из детей; а я расспрашивал, как здоровье богдыхана и вообще всех ближайших родных богдыхана. Так что в первый раз, в первое наше свидание разговоры наши только этим и ограничились.

Затем, в следующее наше свидание Ли-Хун-Чан ознакомился ближе со мною и, видя, что на меня собственно все эти церемонии не особенно действуют, начал говорить со мною нараспашку и уже более этих церемоний не делал. В особенности же мы с ним сблизились после, в Москве, где уже виделись друг с другом совсем попросту.

По поводу Ли-Хун-Чана я должен сказать, что мне, в моей государственной деятельности, приходилось видеть массу государственных деятелей, имена некоторых из них вечно останутся в истории, и в числе их Ли-Хун-Чана я ставлю на высокий пьедестал: это был, действительно, выдающийся государственный деятель, но, конечно, это был китаец с отсутствием всякого европейского образования, но с громадным китайским образованием, — а главное, с выдающимся здравым умом и здравым смыслом.

Недаром поэтому он имел такое громадное значение в истории Китая и в управлении Китаем; в сущности Ли-Хун-Чан и управлял Китайской империей.

Вот я и начал говорить с Ли-Хун-Чаном о том, что мы оказали такую громадную пользу Китаю, что благодаря нам Китай остался цел, что мы провозгласили принцип целости Китая и что, провозгласив этот принцип, мы будем вечно его держаться. Но для того, чтобы мы могли поддерживать провозглашенный нами принцип, необходимо прежде всего — поставить нас в такое положение, чтобы, в случае чего, мы действительно могли оказать им помощь. Мы же этой помощи оказать не можем, пока не будем иметь железной дороги, потому что вся наша военная сила находится и всегда будет находиться в Европейской России; следовательно, необходимо, с одной стороны, чтобы мы могли, в случае надобности, подавать войска из Европейской России, и с другой стороны, — чтобы мы могли подавать войска также

и из Владивостока. А что теперь, — говорил я, — хоть мы во время войны Китая с Японией двинули некоторые части наших войск из Владивостока по направлению к Гирину, но по неимению путей сообщения войска эти шли так медленно, что не дошли до Гирина даже тогда, когда война между Китаем и Японией уже окончилась.

Наконец, для того, чтобы комплектовать войска в Приамурской области, нам нужно оттуда возить новобранцев и туда их перевозить.

Таким образом, для того, чтобы мы могли поддерживать целость Китая, нам прежде всего необходима железная дорога, и железная дорога, проходящая по кратчайшему направлению во Владивосток; для этого она должна пройти через северную часть Монголии и Манчжурии; наконец, дорога эта нужна и в экономическом отношении, так как она подымет производительность и наших русских владений, где она пройдет, и также производительность тех китайских владений, через которые она будет итти. Наконец, дорога эта, вероятно, будет встречена без всякой злобы — что и оказалось в действительности — со стороны Японии, так как путь этот будет, в сущности говоря, соединять Японию со всею Западной Европой, а между тем Япония, как известно, еще ранее и уже давно приобщилась к европейской культуре, по крайней мере к внешней, во всей ее технической части, и, следовательно, дорога эта может быть встречена Японией только благожелательно.

Ли-Хун-Чан, конечно, ставил различные препятствия. Но из разговоров с ним я понял, что он на это согласится, если увидит, что этого желает наш император. Поэтому я сказал государю, что было бы очень желательно, чтобы он увидел Ли-Хун-Чана.

Государь принял Ли-Хун-Чана, но принял его почти частным образом, так как в то время об этом приеме совсем не говорилось в официальных органах; весь прием этот прошел незаметно.

Я отлично помню, что перед коронацией был по какому-то поводу выход государя; ему приносили поздравления в Царскосельском дворце (это было ранее выезда государя в Москву). Когда приносят поздравления, то все лица, участвующие в этом поздравлении, идут к государю поочереди, гуськом. И вот, когда я подошел к императору и когда государь подал мне руку, то у него засветилось лицо, и он мне почти шопотом сказал: — «Ли-Хун-Чан у меня был, и я ему сказал».

Затем я видел Ли-Хун-Чана, и мы с ним обо всем условились и установили следующие начала секретного соглашения с Китаем:

1) Что Китайская империя разрешает нам провести железную дорогу по своей территории по прямому пути из Читы к Вла-

дивостоку; но устройство этой дороги должно быть поручено частному обществу; Ли-Хун-Чан ни в каком случае не согласился на мое предложение, чтобы дорогу эту строила казна, или чтобы эта дорога принадлежала казне и государству. Вследствие этого пришлось образовать общество Восточно-Китайской железной дороги, которое, конечно, было и до настоящего времени состоит в полном распоряжении правительства, но так как оно числится, как ч а с т н о е общество, и так как все частные общества находятся в ведении министерства финансов, то служащие там не суть чиновники государственной службы, а или же они состоят на равном положении со служащими частных железнодорожных обществ, или же находятся в командировке в частном обществе Восточно-Китайской железной дороги, подобно тому, как инженеры путей сообщения, находящиеся в ведении министерства путей сообщения, служат в частных железнодорожных обществах Европейской России.

2) Затем, что мы будем иметь под эту дорогу полосу отчуждения, необходимую для железнодорожного движения. В этой полосе отчуждения мы будем хозяевами в том смысле, что, так как эта земля принадлежит нам, то мы можем там распоряжаться, иметь свою полицию, иметь свою охрану, т.-е. то, что и образовало так называемую охранную стражу Восточно-Китайской железной дороги. Но количества земли, отчуждаемого под железную дорогу, будет столько, сколько это необходимо для эксплоатации железной дороги, и вот в этой полосе Россия, т.-е., вернее, Восточно-Китайская железная дорога, является хозяином. Окончательное направление железной дороги будет определено по изысканию, но, во всяком случае, железная дорога будет проходить более или менее по прямому пути из Читы во Владивосток. Китай не несет никакого риска по сооружению и по эксплоатации этой дороги.

С другой стороны, мы обязуемся защищать Китайскую территорию от всяких аггрессивных действий со стороны Японии. Таким образом, мы вступаем в оборонительный союз с Китаем по отношению Японии.

Вот сущность тех начал, относительно которых мы договорились с Ли-Хун-Чаном.

Между тем наступило время выезда в Москву на коронацию.

Ли-Хун-Чан уехал в Москву со всею своею свитой и чиновниками, которые были к нему приставлены.

Я доложил государю императору о результатах моих переговоров с Ли-Хун-Чаном, и государь уполномочил меня переговорить с князем Лобановым-Ростовским, министром иностранных дел.

Я пошел к князю Лобанову-Ростовскому и рассказал ему о том, что вот мне было дано полномочие — о чем, повидимому, он знал, — сказал ему, что я пришел с Ли-Хун-Чаном к соглашению по всем пунктам, но к соглашению только словесному; что теперь весь вопрос заключается в том, чтобы это соглашение оформить.

Вот тут меня очень удивил князь Лобанов-Ростовский своими природными способностями. Он сказал мне:

— Вы можете рассказать мне подробно и последовательно — на чем же вы остановились?

Я подробно и систематически передал ему наше соглашение по пунктам.

Князь Лобанов-Ростовский, выслушав меня, взял перо и написал по всем пунктам все соглашение. Когда я его прочел, то был удивлен точностью и последовательностью изложения. Князь Лобанов-Ростовский изложил то, что я сказал, в самой последовательной и превосходной форме. Так что, когда он мне передал написанное, сказав: прочтите, так ли написано и не сделаете ли каких-либо поправок? — то я сказал, что не имею сделать решительно никаких поправок, потому что вы изложили все это так превосходно, точно вы сами вели переговоры с Ли-Хун-Чаном. Затем я прибавил, что если бы мне самому пришлось написать, то я употребил бы на это гораздо более времени и, может быть, все-таки написал бы не так складно, как он.

Тогда князь Лобанов-Ростовский сказал мне, что завтра он будет у государя, представит ему этот проект и затем, если государь одобрит, то сообщит его мне.

На другой день я получил от князя Лобанова-Ростовского проект, но, к моему великому удивлению, тот пункт, в котором раньше было написано, что мы с Китаем делаем оборонительный союз против Японии, что, в случае нападения Японии на Китай или же на наши приморские владения, мы должны защищать Китай, а Китай, в свою очередь, — нас, вот этот пункт обобщен; уже не было указано прямо «на Японию», а было сказано таким образом, что в случае нападения с чьей-либо стороны на Китай или на нашу Приамурскую область — Китай обязан защищать нас, а мы обязаны защищать Китай.

Такая редакция этого пункта меня привела в испуг, ибо громадная разница: заключать ли с Китаем оборонительное соглашение по отношению одной Японии, или же по отношению всех держав, потому что Китай имеет отношение и к Англии, так как Англия находится в соседстве с Китаем и между ними постоянно возникают различные недоразумения, вечные вопросы (например, недоразумения относительно Тибета, которые длятся и до настоящего времени); затем, с Францией, нашей союзницей,

потому что она имеет владение Тонкин в Индо-Китае. Затем другие европейские страны имеют некоторые колонии, имеют различные концессии и проч. Вследствие того брать на себя оборону Китая от всех держав, кто бы из держав ни напал на Китай, — это вещь не только невозможная, но, кроме того, в случае, если бы это соглашение состоялось и если бы о нем узнала какая-нибудь держава, то это возбудило бы против нас многие европейские державы.

Поэтому я немедленно отправился к государю и доложил ему, что вот князь Лобанов-Ростовский после того, как я ему изложил все, к чему я пришел с Ли-Хун-Чаном, написал соглашение, что соглашение это он дал мне прочесть, и я его одобрил, но что теперь в этом соглашении изменен пункт и изменен крайне опасно.

Государь это понял и говорит:

— Поезжайте к Лобанову-Ростовскому, скажите ему это и уговорите его, чтобы он написал так, как было написано прежде.

Я сказал его величеству, что мне это ужасно трудно исполнить, потому что князь Лобанов-Ростовский по летам мне годится в отцы и по своему положению, в смысле старшинства чинов, он гораздо старше меня. Кроме того, я вел все эти переговоры и теперь мне исправлять то, что сделал князь Лобанов-Ростовский — это значит, несомненно, крайне обидеть его и возбудить против себя; что я его, собственно говоря, конечно, не имею основания ни в чем бояться, но что все-таки это неловко по отношению личности князя Лобанова-Ростовского, и было бы гораздо лучше, если бы вашему величеству было угодно самому сказать князю Лобанову-Ростовскому об этом.

Государь говорит:

— Я сам ему это скажу.

Вскоре после этого мы все уехали в Москву на коронацию.

В Москву я приехал ранее приезда его величества, а еще ранее меня приехал туда Ли-Хун-Чан. Все мое время было занято этими официальными торжествами, связанными с коронацией, а также Ли-Хун-Чаном, ибо я считал делом величайшей государственной важности привести начатые мною разговоры к концу, дабы, с одной стороны, Россия имела прямой великий Сибирский путь до Владивостока, без значительного уклонения и заворота к северу по Амуру, а с другой стороны, дабы установить крепкие, незыблемые отношения с таким великим колоссом, каким является Китай, колоссом, находящимся в соседстве с Россией.

Когда его величество приехал и был совершен торжественный въезд в Москву, и по принятому обычаю, его величество

с августейшей семьей поместился в Нескучном дворце, то я сейчас же имел доклад у государя императора.

Как только я вошел к государю для доклада, его величество изволил сказать мне:

— Я говорил с князем Лобановым-Ростовским и высказал ему мое мнение о неудобстве для нас принять на себя оборону Китая от нападений не только со стороны Японии, но и других стран. Князь с этим совершенно согласился, и поэтому этот пункт проектированного соглашения будет изменен им, Лобановым; так что соглашение будет проредактировано именно в той форме, в какой это было вами установлено.

Государь сказал мне это в столь положительной форме, что я считал это несомненным. После разговора с государем я несколько раз встречался с князем Лобановым-Ростовским, но ни я, ни он, мы друг с другом по этому предмету не заговаривали.

Затем я еще вел с Ли-Хун-Чаном переговоры о том, чтобы одновременно с тем договором высокой политической важности, о котором я уже рассказывал ранее и по которому нам давалось право проведения железной дороги на Владивосток, установить между Китаем и Россией оборонительный дружеский союз. И так как по этому соглашению Китай давал концессию на сооружение дороги частному обществу, то я и решил, чтобы эта концессия была дана русско-китайскому банку, который уже в то время был основан и функционировал. Поэтому пришлось установить форму, по которой, с одной стороны, китайское государство в лице Ли-Хун-Чана давало концессию на сооружение Восточно-Китайской дороги и давало концессию именно русско-китайскому банку, а с другой стороны — одновременно русско-китайский банк особым актом передавал это право обществу Восточно-Китайской железной дороги. Сделано это было так потому, что до составления и утверждения концессии Восточно-Китайской дороги китайским богдыханом — нельзя было образовать общества Восточно-Китайской дороги, а поэтому и Ли-Хун-Чан не мог дать концессию по сооружению дороги несуществующему обществу Восточно-Китайской дороги. Общество же Восточно-Китайской железной дороги тогда только могло быть образовано, когда концессия получала полную силу, а концессия еще не была составлена и не могла быть составлена с Ли-Хун-Чаном так скоро, потому что тут уже являлись вопросы детальные, которые требуют более или менее подробной разработки. Но мне хотелось иметь в руках два документа: во-первых, секретный договор с Китаем, по которому Китай взял бы на себя обязательство дать возможность русскому обществу построить Восточно-Китайскую дорогу через Монголию и Сибирь, а во-вторых, соглашение китайского правительства с каким-нибудь из

русских обществ по сооружению этой дороги. Самым подходящим в данном случае был, естественно, русско-китайский банк; но, чтобы русско-китайский банк не мог воспользоваться этим весьма ценным правом, я одновременно приготовил и соглашение с русско-китайским банком, по которому русско-китайский банк передавал все это дело в руки общества Восточно-Китайской дороги, которое имело быть сформировано русским правительством.

Итак, прежде всего предстояло заключить с китайским уполномоченным, главным сановником Китайской империи Ли-Хун-Чаном, общее секретное соглашение. Был назначен день, когда уполномоченные с русской стороны, а таковыми были князь Лобанов-Ростовский и я, и уполномоченный с китайской стороны, а именно Ли-Хун-Чан, который получил полномочия соответственной телеграммой из Пекина, — должны были съехаться у министра иностранных дел и, по принятому в этом случае этикету и с принятыми в этих случаях формальностями, подписать договор. Такие договоры пишутся обыкновенно на особой бумаге, особо тщательно, красиво и подписываются соответствующими уполномоченными; при каждой подписи прикладывается печать этого уполномоченного.

И вот в определенный день мы съехались в Москве, в доме, который был нанят на время коронации для министра иностранных дел, князя Лобанова-Ростовского. С одной стороны были русские уполномоченные с состоящими при них чинами, а с другой стороны — Ли-Хун-Чан со всею своей свитой.

Когда мы собрались и сели около стола, то князь Лобанов-Ростовский обратился к нам и говорит, что соглашение особой важности, которое мы имеем подписать, известно уполномоченным, т.-е. ему, мне и Ли-Хун-Чану, поэтому его не стоит читать; оно уже было показано сотрудникам Ли-Хун-Чана, сотрудники, вероятно, познакомили с ним Ли-Хун-Чана; что соглашение это переписано все точно, что секретари его проверили, и нам теперь следует только подписать. Но что, впрочем, сотрудникам Ли-Хун-Чана может быть угодно его еще раз прочесть.

Таким образом, один соответствующий экземпляр был дан в руки сотрудникам Ли-Хун-Чана для прочтения (в этих случаях обыкновенно подписываются два экземпляра: один пишется для нас, а другой для Китая), — я с своей стороны взял экземпляр, который был переписан для нас, чтобы его посмотреть, а именно, чтобы удостовериться, что тот пункт, который касается нашего обязательства относительно защиты Китая от внезапного нападения, написан именно так, как он был написан в первоначальной редакции, т.-е., что мы обязуемся охранять Китай только от нападений Японии.

Вдруг, к моему ужасу, я вижу, что пункт этот написан не так, как он был написан в первоначальной редакции, а именно так, как он затем был исправлен князем Лобановым-Ростовским, что и вызвало с моей стороны просьбу к его величеству, чтобы редакция пункта была принята в первоначальном виде. Как я уже говорил ранее, государь, уже приехавший в Москву, сказал мне, что он об этом говорил князю Лобанову-Ростовскому, и что князь не встретил никакого затруднения к тому, чтобы вернуться к первоначальной редакции.

Это вынудило меня подойти к князю Лобанову- Ростовскому, отозвать его в сторону и сказать ему тихонько на ухо:

— Князь, ведь такой-то пункт не изменен так, как хотел этого государь.

Я думал, что это было сделано князем Лобановым-Ростовским преднамеренно, — вдруг, к моему удивлению, он себя ударил по лбу и сказал:

— Ах, боже мой, я и забыл сказать секретарям, чтобы они переписали этот пункт в первоначальной редакции. Но нисколько этим не смутился, посмотрел на часы, было уже 12 с четвертью; тогда князь Лобанов-Ростовский хлопнул несколько раз в ладоши, вошли люди, он и говорит:

— Подавайте завтракать.—После подписания договора предполагалось, что будет завтрак у Лобанова-Ростовского.

Затем, обращаясь к Ли-Хун-Чану и к присутствующим, князь Лобанов-Ростовский сказал:

— Теперь уже прошло 12 часов, пойдемте завтракать, потому что иначе кушанье испортится, а после завтрака мы и подпишем.

Мы все пошли завтракать, кроме двух секретарей, которые в это время, пока мы завтракали, снова переписали договор в том виде, в каком он был написан князем Лобановым-Ростовским по моему указанию в Петербурге в первоначальной редакции; так что после завтрака на столе лежали уже не те договоры, которые лежали ранее, а договоры с одним измененным пунктом. Вот этот договор в новой, а в действительности первоначальной редакции, и был подписан с одной стороны Ли-Хун-Чаном, а с другой — мною и князем Лобановым-Ростовским.

Договор был актом чрезвычайной важности, и, если бы мы следовали этому договору, то России, конечно, не пришлось бы пережить позорную японскую войну, и мы стояли бы твердою ногой на Дальнем Востоке.

Но, как это я буду иметь случай рассказывать далее, мы сами — не то коварно, не то легкомысленно — нарушили этот договор и пришли на Дальнем Востоке к тому положению, в котором находимся и ныне.

После подписания договора он был ратифицирован как китайским богдыханом, так и русским императором. Договор

этот должен был служить базисом всех наших отношений с Китаем и всего нашего положения на Дальнем Востоке.

Ли-Хун-Чан после подписания договора оставался в Москве до выезда его величества. Мне случалось часто видеться с Ли-Хун-Чаном: или он приезжал ко мне, или я приезжал к нему. Ли-Хун-Чан жил на частной квартире, которая была нанята для него и предоставлена ему, как чрезвычайному уполномоченному китайского богдыхана.

Ли-Хун-Чан привык ко мне, и поэтому больше уж не занимался в моем присутствии различными китайскими церемониями. При нем было несколько телохранителей, но эти телохранители в Китае понимаются иначе, нежели у нас. У нас телохранителями называются часовые или агенты, которые охраняют жизнь и здоровье человека от стороннего покушения; в Китае же телохранителями называются те лица, которые занимаются буквально только телом того лица, которое они охраняют; поэтому они постоянно находятся около него: утром они делают ему туалет, вечером раздевают, в течение дня делают ему массаж, трут различными благовонными мазями, одним словом, исключительно занимаются его телом. И многие из таких занятий Ли-Хун-Чан предоставлял делать своим телохранителям даже в моем присутствии.

Однажды, когда я был у Ли-Хун-Чана, вдруг доложили, что приехал с визитом эмир бухарский. Ли-Хун-Чан сейчас же привел себя в полный порядок, сел важно на кресло и, когда эмир бухарский со всею свитою вошел в гостиную, в которой он сидел, то Ли-Хун-Чан встал, сделал к нему несколько шагов и с ним поздоровался.

Так как я обоих хорошо знал, то не удалился, а сидел вместе с ними. Эмир бухарский был видимо шокирован важностью Ли-Хун-Чана, а поэтому первым делом дал ему понять, что он представляет собою царственную особу и отдает визит самому Ли-Хун-Чану только из уважения к его владыке — богдыхану; он все время расспрашивал Ли-Хун-Чана о здоровье богдыхана, о здоровье его матери и совсем не интересовался здоровьем и вообще личностью самого Ли-Хун-Чана, что для китайцев, при их церемониях, конечно, являлось крайне обидным.

С своей стороны Ли-Хун-Чан все время допрашивал эмира бухарского о том, какой он религии, объясняя ему, что вот китайцы держатся религиозных начал, установленных еще Конфуцием, и все пытался узнать, какой же религии держится сам эмир бухарский и его подданные.

Эмир бухарский объяснял Ли-Хун-Чану, что он мусульманин и держится начал религии, установленной Магометом, объяснял сущность этой религии.

После этих объяснений эмир бухарский встал, и Ли-Хун-Чан по собственной ли инициативе, или ему было подсказано, пошел провожать эмира бухарского до самой коляски, в которой тот приехал, при чем Ли-Хун-Чан шел уже, показывая вид довольно униженный сравнительно с особой эмира бухарского.

Я подумал: вот как на него подействовал эмир бухарский своим указанием на то, что он, эмир бухарский, царственная особа.

Затем, когда эмир бухарский сел в экипаж и экипаж должен был уже тронуться, то Ли-Хун-Чан вдруг что-то закричал. Экипаж остановился. Русский офицер, ехавший в экипаже с эмиром бухарским в качестве переводчика, спросил: «Что вам угодно?»

Ли-Хун-Чан говорит:

— Передайте, пожалуйста, эмиру, я ему забыл это сказать, теперь я припомнил, что этот самый Магомет, который основал его религию, он ведь также был в Китае и там он оказался каторжником, его из Китая выгнали, и вот, вероятно, он попал к ним и там основал их религию.

Это было так неожиданно, что, повидимому, эмир бухарский был озадачен такой выходкой, для меня же стало ясно, что это была месть Ли-Хун-Чана по отношению эмира бухарского за его царственную важность.

Затем, Ли-Хун-Чан, очень довольный, вернулся к себе в гостиную; так как было уже поздно, я оставил Ли-Хун-Чана и отправился к себе домой.

Если обратиться к официальным сообщениям газет того времени, то можно видеть, что о приезде всех царственных особ, особ высокопоставленных и их уполномоченных, о приеме и прощании с ними государя, когда они после коронации оставили Россию, — обо всем этом были сообщения в «Правительственном Вестнике». Вообще о всяком шаге этих высокопоставленных лиц и его величества в то время были правительственные сообщения. Менее всего было сведений о Ли-Хун-Чане; ни одного слова не было о его приеме в Петербурге, так же, как и о его приеме в Москве, ни о его приеме после коронации, когда Ли-Хун-Чан приехал уже из Москвы.

Ни одного слова не было проронено об этом секретном, чрезвычайно важном соглашении, которое тогда было заключено Россией с Китаем.

Нечто, только часть этого соглашения, могло сделаться известным Европе, и то только в том смысле, что Китай дал концессию русско-китайскому банку на сооружение Восточно-

Китайской железной дороги, служащей продолжением великого Сибирского пути; это неизбежно должно было сделаться известным, потому что во исполнение договора, заключенного в Москве, русские уполномоченные и уполномоченный со стороны Китая должны были составить концессию на сооружение Восточно-Китайской дороги. Все указания по этому предмету, т.-е. в каком смысле должна быть составлена концессия, чего мы в этой концессии должны добиваться, были мною даны моему товарищу по министерству финансов Петру Михайловичу Романову, в высокой степени почтенному и знающему государственному деятелю, который несколько месяцев тому назад умер в Царском Селе, уже будучи членом Государственного Совета и председателем бюджетной комиссии Государственного Совета (по выбору). А со стороны Китая для составления проекта концессии был уполномочен китайский посол в Петербурге, который вместе с тем был послом в Берлине; часть года—обыкновенно всю зиму и весну—он проживал в Петербурге, а лето и осень—в Берлине. И вот, так как пришлось составлять и заключать эту концессию летом, то П. М. Романов отправился в Берлин и, согласно моим указаниям, составил с этим китайским послом проект концессии, который затем был утвержден как русским правительством, так и правительством китайского богдыхана.

Я не мог сделать эту работу, потому что после коронации я должен был поехать на Нижегородскую выставку, а затем на Волгу, так как в приволжских губерниях была в то время введена питейная монополия; пока я был министром финансов я, по мере введения питейной монополии в различных губерниях, всегда посещал эти губернии для того, чтобы видеть, как идет эта реформа, и давать соответствующие указания.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Коронация. Ходынка. Договор с Японией относительно Кореи. Нижегородская выставка. Поездка государя в Западную Европу.

Я не стану говорить о всех празднествах, которые были в Москве по случаю коронации и которые традиционно повторяются при всяком таком высоко-торжественном, особо исключительном событии, — все это делается почти по установленному церемониалу; остановлюсь несколько еще на событии весьма печальном, весьма грустном, которое тогда произошло и которое, конечно, в церемониал не входило, я говорю о так называемой «Ходынке».

Обыкновенно после коронации делается громадное гулянье для народа, при чем народу этому выдаются от государя различные подарки, большею частью и даже почти исключительно — съедобные, т.-е. народ кормится, угощается от имени государя императора. Затем, на этой громадной площади, находящейся вне Москвы, но сейчас же около самого города, для народа делаются всевозможные увеселения; обыкновенно и государь приезжает посмотреть, как веселится и угощается его народ.

В тот день, когда все должны были приехать туда, должен был приехать к полудню и государь, между прочим, выслушать концерт, в котором по программе предполагалось участие громаднейшего оркестра, под управлением известного дирижера Сафонова; оркестр этот должен был сыграть особую кантату, которая была сочинена по случаю коронации; с утра же началось угощение народа. Так вот, едучи туда, садясь в экипаж, я вдруг узнаю, что на Ходынском поле, где должно происходить народное гулянье, утром произошла катастрофа, произошла страшная давка народа, при чем было убито и искалечено около двух тысяч человек.

В таком настроении я поехал на Ходынское поле, в таком настроении приехали, конечно, и все остальные лица, которые должны были присутствовать на этом торжестве. Меня мучил прежде всего вопрос: как же поступят со всеми искалеченными людьми, как поступят со всеми этими трупами убитых людей, успеют ли поразвозить по больницам тех, которые еще не умерли, а трупы свезти в какое-нибудь такое место, где бы они не находились на виду у всего остального веселящегося народа, государя, всех его иностранных гостей и всей тысячной свиты. Затем у меня являлся вопрос: не последует ли приказ государя, чтобы это веселое торжество, по случаю происшедшего несчастья, обратить в торжество печальное и вместо слушания песен и концертов выслушать на поле торжественное богослуженье?

Когда я приехал на место, то уже ничего особенного не заметил, как будто никакой особой катастрофы и не произошло, потому что с утра успели все убрать, и никаких видимых следов катастрофы не было; ничто не бросалось в глаза, а где могли быть какие-нибудь признаки катастрофы — все это было замаскировано и сглажено.

Но, конечно, все приезжающие (для этого случая была устроена громадная беседка для приезжающих) чувствовали и понимали, что произошло большое несчастье, и находились под этим настроением.

Подъехал и экипаж Ли-Хун-Чана с его свитой. Когда Ли-Хун-Чан вошел в беседку и я подошел к нему, он обратился ко мне через переводчика (так как Ли-Хун-Чан, кроме китайского языка, никакого другого не знал, то поэтому всегда приходилось вести с ним беседы через переводчика) со следующим вопросом:

— Правда ли, что произошла такая большая катастрофа и что есть около двух тысяч убитых и искалеченных?

Так как, повидимому, Ли-Хун-Чан знал уже все подробности, то я ему нехотя ответил, что да, действительно, такое несчастье произошло.

На это Ли-Хун-Чан задал мне такой вопрос:

— Скажите, пожалуйста, неужели об этом несчастье все будет подробно доложено государю?

Я сказал, что не подлежит никакому сомнению, что это будет доложено, и я даже убежден, что это было доложено немедленно после того, когда эта катастрофа случилась.

Тогда Ли-Хун-Чан помахал головою и сказал мне:

— Ну, у вас государственные деятели неопытные; вот, когда я был генерал-губернатором Печилийской области, то у меня была чума и поумирали десятки тысяч людей, а я всегда писал богдыхану, что у нас благополучно, и когда меня спрашивали: нет ли у вас каких-нибудь болезней, я отвечал: ника-

ких болезней нет, что все население находится в самом нормальном порядке.

Кончив эту фразу, Ли-Хун-Чан как бы поставил точку и затем обратился ко мне с вопросом:

— Ну, скажите, пожалуйста, для чего я буду огорчать богдыхана сообщением, что у меня умирают люди? Если бы я был сановником вашего государя, я, конечно, все от него скрыл бы. Для чего его, бедного, огорчать?

* После этого замечания я подумал: ну, все-таки мы ушли далее Китая *.

Вскоре приехали великие князья и государь император, и, к моему удивлению, празднества не были отменены, а продолжались по программе: так массою музыкантов был исполнен концерт под управлением известного дирижера Сафонова; вообще все имело место, как будто бы никакой катастрофы и не было. Только на лице государя можно было заметить некоторую грусть и болезненное выражение лица. Мне представляется, что если бы государь был тогда предоставлен собственному влечению, то, по всей вероятности, он отменил бы эти празднества и вместо них совершил бы на поле торжественное богослужение. Но, повидимому, государю дали дурные советы и не нужно было быть особенно прозорливым, чтобы понять, что советы эти исходили от московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, женатого на сестре императрицы. Великий князь Сергей Александрович в это время и, можно сказать, до самой своей смерти, был один из самых близких и влиятельных лиц при государе императоре.

Несмотря на то, что решено было случившуюся ужасную катастрофу как бы не признавать, с нею не считаться, тем не менее, весьма естественно, катастрофа эта вызвала совершенно особое настроение во всей Москве и, по обыкновению, породила наверху борьбу придворных партий и целую массу интриг.

На вопрос о том, каким образом могла произойти такая катастрофа и кто за нее ответственен, сейчас же получили ответ: что катастрофа произошла от полной нераспорядительности, а между тем никого ответственного.

В то время обер-полициймейстером в Москве был полковник Власовский; этот Власовский ранее был полициймейстером в одном из прибалтийских городов, кажется, в Риге, и был рекомендован великому князю, как человек весьма энергичный и ничем не стесняющийся, а следовательно такой человек, который может водворить в Москве должный порядок. До Власовского обер-полициймейстером Москвы был генерал Козлов, человек, правда, весьма порядочный, но по натуре своей — не «полицейский» человек.

Власовский же (как я с ним познакомился), действительно, принадлежит к числу таких людей, которых достаточно видеть и поговорить с ними минут 10, чтобы усмотреть, что он представляет собою такого рода тип, который на русском языке называется «хамом». Все свое свободное время этот человек проводил в ресторанах и в кутежах. По натуре Власовский человек хитрый и пронырливый, вообще же он имеет вид хама-держиморды; он внедрил и укрепил в московской полиции начала общего взяточничества; с наружной же стороны, действительно, он как будто бы держал в Москве порядок. Кроме того, он был очень удобный человек, потому что весь двор великого князя Сергея Александровича, конечно, обращался с ним не как с господином, а как с хамом, и он исполнял всевозможные поручения этой великокняжеской дворни.

И вот этот обер-полициймейстер заявил, что, в сущности говоря, на Ходынском поле всем распоряжалось и все это народное гулянье и угощенье устраивало министерство двора, а что полиция собственно никакого там на самом поле касательства не имела, что все это было делом министерства двора, а вот все, что касалось местности около поля и до поля — это все касалось его, касалось полиции; там же никаких историй, никаких катастроф не было, там все было в порядке. Произошла же эта катастрофа, при которой столько людей было убито и побито, от того, что на все эти угощения государя народ набросился и начал друг друга давить и, таким образом, было задавлено две тысячи людей, в числе их множество женщин и детей.

С другой стороны, министерство двора, а именно уполномоченные от министерства двора заявили, что, действительно, они распоряжались раздачею всех гостинцев народу и вообще всеми увеселениями, но не брали на себя установления полицейского порядка на самом поле, что дело это лежало на обязанности московской полиции и что если произошло нарушение порядка, то в этом не они виноваты, а виновата исключительно полиция.

Затем, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович начал, конечно, поддерживать свою полицию. И если бы собственно московским генерал-губернатором был не великий князь, а кто-нибудь другой, то, разумеется, первым ответственным лицом за ходынскую катастрофу был бы московский генерал-губернатор, а затем и министр двора граф Воронцов-Дашков.

Граф Воронцов-Дашков был министром двора еще при покойном императоре Александре III и, по своему положению, имел в глазах молодого императора особый авторитет; он также защищал всех своих чинов, утверждая, что они здесь не при чем, что вся вина лежит на московском управлении и прежде всего на генерал-губернаторе.

Так вот на этой почве разногласия и пошла, как говорится, писать губерния. Наверху высшие сановники начали делиться на партии; одна партия—за графа Воронцова-Дашкова, за министра двора, который, как известно, пользовался особым благоволением матери императора, вдовствующей императрицы Марии Феодоровны, которая в то время имела еще очень большое влияние на государя. Поэтому одна партия утверждала, что здесь министерство двора не при чем, что виновата исключительно в катастрофе московская полиция, а другие почли более для себя выгодным пристать к партии великого князя Сергея Александровича и потому утверждали, что великий князь и его полиция тут не при чем, а вся вина падает исключительно на чинов министерства двора.

В то время, впрочем, многие сановники находились в недоумении, на какую сторону стать: на сторону ли московского генерал-губернатора или на сторону министра двора, так как они еще себе не отдали ясного отчета, кто будет иметь более влияния на императора: вдовствующая ли императрица-мать или великий князь Сергей Александрович, женатый на сестре молодой императрицы.

В конце концов расследование было поручено министру юстиции того времени Николаю Валериановичу Муравьеву. Этот министр юстиции сделал расследование, которое составляет отдельный маленький том, ныне секретный, имеющийся, между прочим, и в моем архиве. Муравьев всю эту историю, всю катастрофу, как она произошла, описывает с полной точностью. Но вот насчет виновности, — он эти вопросы обходит, или же его объяснения являются крайне субъективными, так как сам Н. В. Муравьев сделался министром юстиции по протекции великого князя Сергея Александровича; ранее он был прокурором московской судебной палаты и близким человеком к Сергею Александровичу.

Назначение Н. В. Муравьева производить расследование понималось в Москве как преобладающее влияние великого князя Сергея Александровича. Но влияние это, повидимому, продолжалось недолго, потому что явилось другое влияние,— преобладающее, — влияние министра двора; влияние это понималось, как влияние императрицы Марии Феодоровны. В виду этого было поручено произвести новое расследование бывшему министру юстиции, весьма почтенному и достойнейшему человеку, который был на коронации обер-церемониймейстером [1]), а именно — графу Палену.

[1]) Назначенным специально для коронации.

Расследования графа Палена я не читал; его заключения мне официально неизвестны, но я несколько раз слышал от графа, что он нашел, что была виновата, главным образом, московская полиция и вообще управление Москвою, а не министр двора, т.-е. иначе говоря, граф Пален винил московского генерал-губернатора.

При чем, когда он еще был в Москве и следствие еще не кончилось, немедленно после катастрофы граф Пален имел неосторожность сказать во дворце, что вся беда заключается в том, что великим князьям поручаются ответственные должности и что там, где великие князья занимают ответственную должность, всегда происходит или какая-нибудь беда или крайний беспорядок. Вследствие этого, против графа Палена пошли все великие князья.

Мне известно, что граф Пален представил по поводу своего расследования подробный доклад государю, и мне известно, что на этом докладе государь написал резолюцию (хотя мне эту резолюцию передавал граф Пален, но я ее не помню). Мне известно, что доклад этот с резолюцией государя, которая графа Палена опечалила, находится у него в архиве, в его деревне около Митавы [1]).

В конце концов, во всей этой истории, при которой погибло и пострадало около двух тысяч русских людей, оказался виновен один только человек, а именно обер-полициймейстер Власовский, который и был уволен со службы.

Таким образом, все это дело было заглушено, но, конечно, оно надолго останется в летописях русской истории.

После этого граф Пален некоторое время был как будто бы в тени, но государь к нему не изменил своего настроения и потом, через некоторое время, начал к нему относиться так же благоволительно, как он относился к нему прежде, как относится и теперь.

Но никогда с тех пор графу Палену никакого деятельного поручения даваемо не было, впрочем, это можно объяснить и тем, что граф Пален — человек весьма пожилых лет.

Что касается Н. В. Муравьева, то он сделал очень счастливую для себя карьеру, благодаря все той же протекции великого князя Сергея Александровича, о чем я, вероятно, буду иметь случай говорить впоследствии.

В день ходынской катастрофы, 18 мая, по церемониалу был назначен бал у французского посла графа (впоследствии

[1]) Вариант. *Его величество соизволил написать самую лестную резолюцию на доклад графа Палена, но через несколько дней приехал из Москвы великий князь Сергей Александрович, и дело было совершенно перерешено*.

маркиза) Монтебелло; французский посол по жене был весьма богатый человек; как по этой причине, так и по своим личным качествам, а в особенности по качествам своей жены, он был очень любим в высшем обществе.

Бал должен был быть весьма роскошным, и, конечно, на балу должен был присутствовать государь император с императрицею. В течение дня мы не знали, будет ли отменен, по случаю происшедшей катастрофы, этот бал или нет; оказалось, что бал не отменен. Тогда предполагали, что хотя бал будет, но, вероятно, их величества не приедут.

В назначенный час я приехал на этот бал, а вместе со мною приехал Дмитрий Сергеевич Сипягин, главноуправляющий комиссией прошений, будущий министр внутренних дел, и великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Как только мы встретились, естественно заговорили об этой катастрофе, при чем великий князь нам сказал, что многие советовали государю просить посла отменить этот бал и во всяком случае не приезжать на этот бал, но что государь с этим мнением совершенно не согласен; по его мнению, эта катастрофа есть величайшее несчастье, но несчастье, которое не должно омрачать праздник коронации; ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать.

При этих словах мне естественно пришла в голову аналогия между этим рассуждением и рассуждением, которое я слышал утром от великого государственного человека в Китае — Ли-Хун-Чана.

Через некоторое время приехали государь и императрица; открылся бал, при чем первый контрданс государь танцовал с графиней Монтебелло, а государыня с графом Монтебелло. Впрочем, государь вскоре с этого бала удалился.

Государь был скучен, и, видимо, катастрофа произвела на него сильное впечатление. И если бы он был предоставлен, как во многих других случаях, самому себе, т.-е. если бы он слушал свое сердце, то в отношении этой катастрофы и всех этих празднеств, я уверен, он поступил бы иначе.

Там же в Москве был подписан и договор с Японией. Все переговоры по этому договору вел князь Лобанов-Ростовский, я тоже принимал участие, но участие второстепенное. Я считаю этот договор весьма удачным. По этому договору Россия и Япония разделили между собою влияние на Корею, при чем доминирующее влияние было на стороне России.

Представители Японии охотно на этот договор согласились. Мы могли иметь по этому договору в Корее военных инструкторов и несколько сотен человек наших солдат, так что в военном и финансовом отношении, в смысле управления государственными финансами, России были предоставлены значительные, можно

сказать, доминирующие права; так, по этому договору, мы должны были назначить и советника по финансовым делам при корейском императоре, что равносильно назначению министра финансов. Но влияние на Корею было обоюдное, как со стороны России, так и со стороны Японии; Япония также могла иметь там промышленные общества и вершить торговлю; никаких особых денежных преимуществ, которые не были бы предоставлены Японии, одинаково не допускались и России и проч. Вообще, как я уже сказал, этот договор я считаю удачным.

Таким образом, казалось, в Москве прочно установилось разделение влияний на Корею со стороны России и со стороны Японии, — но уже на Корею самостоятельную, так как до японо-китайской войны Корея считалась как бы автономной областью Китая и находилась под полным влиянием Китая.

По японо-китайскому договору после войны Корея была объявлена страною самостоятельною. Вот этот договор в Москве определил и размежевал наше влияние на Корею и влияние на Корею Японии.

С другой стороны, секретным договором с Китаем, который был составлен, — о чем я ранее уже говорил, — мы получили право проведения железной дороги через Монголию и Манчжурию до Владивостока. Таким образом, в наши руки передавалась дорога величайшего политического и коммерческого значения, при чем в то время мы усиленно подчеркивали, — и я подчеркивал это с полным убеждением, что дорога эта не должна служить, ни при каких обстоятельствах, орудием каких бы то ни было захватов; она должна была быть орудием сближения восточных и европейских наций, сближения как материального, так и морального, и должна была служить орудием морального влияния постольку, поскольку новая культура—христианская— сильнее и могущественнее культуры желтых наций, родившихся в идолопоклонстве.

Мне тогда же Ли-Хун-Чан, с которым я очень подружился, несколько раз повторял, что он, как друг России, советует ни в каком случае не итти России на юг от линии, которая должна соединить сибирский великий путь с Владивостоком, так как, если бы мы пошли на юг, то это могло бы возбудить такие политические волнения и неожиданность среди китайцев, в этой массе, совсем незнакомой с европейцами, смотрящей на каждого белого, в известной степени, как на недоброжелателя, что подобный шаг мог бы иметь самые неожиданные печальные последствия, как для России, так и для Китая. Все эти убеждения Ли-Хун-

Чана лично для меня были напрасны, ибо я, как верный носитель идей императора Александра III, которого сын в известном манифесте прозвал «Миротворцем», был самым искренним, и остаюсь им и до настоящего времени, адептом идеи мира и считаю, что только тогда христианское учение приобретет силу и расцветет, когда человечество исполнит первейший завет христова учения, завет, заключающийся в том, что ни один человек не имеет нравственного права, или вернее — божеского права убивать существ себе подобных.

Я упоминаю об этом настоятельном совете Ли-Хун-Чана для того, чтобы показать, насколько Ли-Хун-Чан был из ряда вон выходящий государственный деятель Китая, который считается, с нашей европейской точки зрения, человеком совсем необразованным и некультурным, но, с точки зрения Китая, китайской цивилизации, — это был человек в высокой степени образованный, в высокой степени культурный.

В то время государь император носил в себе прекрасные семена всего лучшего, что может быть в человеке, как в смысле духа человеческого, так и в смысле сердца, а потому и мне было совершенно бесполезно передавать государю совет Ли-Хун-Чана, так как я был убежден, что и государь император смотрел на договор с Китаем, как на договор, преследующий исключительно мирные цели. Договор же этот был секретный не потому, что им давались права России построить железную дорогу через Монголию и Манчжурию, так как права эти непосредственно вытекали из той нравственной помощи, которую оказала Россия Китаю после несчастной войны Китая с Японией, — секретность этого договора истекала из того, что этот договор был в то же время и договором союзно-оборонительным против возможного противника — Японии, дабы не могло повториться то, что имело место, когда Япония разгромила Китай.

Во время коронации, независимо от тех широких общих льгот, которые манифестом его величества были предоставлены всему населению, конечно, к его величеству обращались тысячи и тысячи лиц с своими частными просьбами и ходатайствами.

Его величество, будучи весьма добрым, сердечным человеком, широко удовлетворял все эти просьбы, конечно, и известный князь Мещерский, редактор «Гражданина», не упустил случая постараться завязать свои отношения с государем, но государь не обратил никакого внимания на эти, если можно так выразиться, «княжеские заигрыванья».

Затем, после подписания договора с Японией о торговле и мореплавании — мною, князем Лобановым-Ростовским и япон-

ским послом миссии — 17 мая я уехал в Нижний-Новгород открывать Нижегородскую выставку.

Выставка эта была сделана по моему почину и, хотя она была устроена очень хорошо, но имела средственный успех, — может быть потому, что был выбран неудобный момент после коронации. Я открыл выставку 28 мая; она еще почти не была окончена.

Комиссаром выставки мною был назначен агент министерства финансов в Берлине Тимирязев, который представляет собою тип чиновника, вершащего все дела лишь на бумаге, а поэтому в таком живом деле он всюду и опоздал. Выбрал же я Тимирязева потому, что ранее при моих предшественниках он занимался выставками.

Вследствие такого положения Нижегородской выставки, уже перед окончанием устройства выставки, я просил поработать директора департамента Владимира Ивановича Ковалевского, человека живого, очень энергичного, весьма способного и талантливого, человека, о котором нельзя сказать ничего, кроме хорошего, и который себе крайне повредил, если не погубил себя своими неудачными увлечениями женским полом. Ковалевский энергично начал действовать, и выставка уже через несколько дней была совершенно готова.

Все это время до 21 июня государь продолжал оставаться в Москве и ее окрестностях.

Вскоре по открытии выставки в Нижнем-Новгороде приехал туда Ли-Хун-Чан. Он пробыл на выставке несколько дней, так сказать, у меня в гостях; я говорю у меня, т.-е. в гостях у министра финансов.

Ли-Хун-Чан очень всему удивлялся, в особенности он удивлялся всему тому, что касалось отдела машин и техники. Затем он уехал из России в Европу и посетил некоторые европейские страны. Он служил предметом большого удивления иностранцев, которые, будучи совсем чужды азиатской и в особенности китайской культуре, находили Ли-Хун-Чана и его свиту людьми полудикими.

Как я уже говорил, в исполнение договора, заключенного с Ли-Хун-Чаном, была составлена конвенция моим товарищем Романовым и китайским послом в Петербурге и Берлине; конвенция эта была затем ратифицирована.

В Европе в то время говорили, будто бы Ли-Хун-Чан получил от русского правительства взятку; это неверно. Тогда в Петербурге Ли-Хун-Чан никакой взятки не получил. Об этом не было со стороны Ли-Хун-Чана никакой речи.

17 июля приехали в Нижний-Новгород на выставку их величества и с ними великий князь генерал-адмирал Алексей Александрович.

Приблизительно в эти же дни последовало увольнение управляющего морским министерством Чихачева и назначение вместо него Тыртова, о чем я говорил ранее, поэтому его величество был особенно милостив к своему дяде генерал-адмиралу Алексею Александровичу; в характере государя: если он причинял своим близким какое-нибудь огорчение, то старался и старается загладить это ласками.

Его величество пробыл в Нижнем-Новгороде 18 и 19, 20 он уехал из Нижнего; остановился он в доме генерал-губернатора, который представляет собою генерал-губернаторский дворец.

В течение своего пребывания государь несколько раз на выставке подробно все осматривал, но мне почему-то представлялось, что их величества были ко мне несколько холодны. Я не знал, в чем заключается причина, хотя был уже настолько опытный сановник, что понимал, что это, вероятно, есть результат каких-нибудь наветов на меня во время Нижегородской выставки. Но с чьей стороны — я догадаться не мог; думал, что может быть со стороны князя Лобанова-Ростовского, так как ему не была приятна моя выдающаяся роль по заключению договора с Ли-Хун-Чаном. Но это только мое предположение, так как я вообще считал и считаю до настоящего времени князя Лобанова человеком весьма порядочным и довольно далеким от всяких дворцовых интриг.

Из Нижнего его величество выехал в Петергоф 20 июля.

13 августа его величество изволил отправиться из Петергофа в Вену сделать визит престарелому императору Францу-Иосифу. В Вене его величество был два дня; затем из Вены прибыл в Киев.

Дорогою, недалеко от Киева, бедный князь Лобанов-Ростовский умер от разрыва сердца во время одной из остановок поезда на станции. Смерть эта очень огорчила государя и государыню и была в известном смысле роковою, ибо, я уверен, что, несмотря на некоторую легкомысленность князя Лобанова-Ростовского, он был все-таки настолько опытный и культурный человек, что не допустил бы многих событий в нашей политике, которые так плачевно окончились и результаты коих мы переживаем теперь.

Его величество прибыл в Киев 19, а уже 22 выехал в Германию сделать визит императору Вильгельму.

24-го его величество прибыл в Бреславль, там был смотр войскам. Затем из Бреславля государь император через Кил

поехал в Копенгаген сделать визит королю датскому, своему деду.

Уже 3 сентября их величества покинули Копенгаген и 12 сентября прибыли в Англию сделать визит королеве Виктории, бабушке молодой императрицы.

Вследствие смерти князя Лобанова-Ростовского, государя императора сопровождал товарищ министра иностранных дел, почтеннейший Шишкин, о котором я говорил ранее.

23 сентября его величество прибыл в Шербург сделать визит президенту французской республики.

Их величества всюду были встречаемы с особым энтузиазмом, так как они представляли молодую обворожительную пару, которая уже вследствие своей молодости и всех чистых качеств, присущих неиспорченной молодости, само собою разумеется, не могла не производить чарующего впечатления, тем более, что император Николай II обладает особым даром очарования.

Я не знаю таких людей, которые, будучи первый раз представлены государю, не были бы им очарованы; он очаровывает, как своею сердечною манерою, обхождением, так и в особенности и своею удивительною воспитанностью, ибо мне в жизни не приходилось встречать по манере человека более воспитанного, нежели наш император.

При таких качествах нашего императора, разумеется, прибытие молодой императорской четы во Францию очаровало всех французов.

Во-первых, это был первый визит русского императора после визита его деда императора Александра II Наполеону, когда великий император подвергся возмутительному выстрелу со стороны поляка Березовского.

Во-вторых, этим визитом император подчеркивал свое твердое решение следовать по стопам своего отца, создателя франко-русского соглашения.

В-третьих, — это качество французов увлекаться всем тем, что им приятно и что величественно.

Наконец, французы-республиканцы имеют то свойство, что они особливо восхищаются царствующими особами, а такая царствующая чета, как русский самодержавный государь, держащий в своей державной руке одну пятую часть пространства всего мира, конечно, не могла не возбуждать во Франции чувства не только восхищения, но и своего рода экстаза.

Поэтому, та неделя, которую провел государь в Париже и Версале, в окрестностях Парижа, была названа русскою неделею.

Государь и его августейшая супруга были всюду встречаемы с величайшим восторгом.

17 октября его величество из Франции прибыл в Дармштадт, родину императрицы, к ее брату великому герцогу Дармштадтскому, а 19 октября его величество был уже в Царском Селе.

Я приехал в Петербург, конечно, ранее, а именно в первых числах сентября.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Винная монополия.

2 июня 1896 г. было опубликовано преобразование департамента неокладных сборов в главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей, так как со времени введения мною винной монополии главное по важности занятие этого департамента заключается в деле питейном. Это было чрезвычайно важное преобразование, ибо к тому времени уже значительно подвинулось введение питейной монополии в различных губерниях. Во главе этого дела был поставлен директор департамента неокладных сборов — прекраснейший, почтеннейший и выдающийся человек — Марков, который всю свою карьеру сделал в акцизном ведомстве, будучи приглашен на службу еще устроителем акцизного ведомства, бывшим директором департамента неокладных сборов, известным Гротом. По воспитанию Марков был военный; он перешел на акцизную службу из военных.

Преобразование это знаменовало то, что питейная монополия, введенная по инициативе императора Александра III, получила уже прочные устои и постепенно будет введена во всей России.

Когда я в августе 1903 г. ушел из министерства финансов, то питейная монополия была уже введена почти во всей России, за исключением только некоторых отдаленных окраин ее. Но вообще дело это еще не было вполне закончено.

При введении этой монополии в Петербургской губернии и, в частности, в г. Петербурге, я встретил некоторое препятствие, которое мне легко удалось побороть, в виду того авторитета, влияния и распоряжения, которым я пользовался еще в то время у молодого императора.

При введении монополии, конечно, весьма значительно страдали интересы водочных заводов, вообще частных распивочных заведений, в том числе трактиров и гостиниц второстепенного

разбора. В Петербурге же от введения винной монополии, конечно, интересы эти должны были значительно пострадать, вследствие чего ватага заинтересованных лиц нашла себе пути к великому князю, весьма благороднейшему, почтеннейшему, но далекому от всяких житейских дел, ныне покойному Владимиру Александровичу, дяде императора.

Великого князя уверили, что в тот день, когда я введу монополию в Петербурге, произойдут в городе волнения, которые могут иметь кровавые последствия, а так как великий князь Владимир Александрович был главноуправляющим войсками, то в этом смысле это до него касалось.

Великий князь передал об этом государю императору, и его величество за несколько дней до того, как монополия должна была быть введена и все приготовления к ней уже были окончены, высказал некоторое колебание относительно того, вводить ли монополию в Петербурге или нет?

Но простое объяснение с государем его величество успокоило, и я ввел эту монополию в Петербурге, при чем, как я и был уверен, никаких волнений не было, все обошлось совершенно спокойно.

Должен сказать, что в течение всего моего управления питейная монополия, по завету покойного императора Александра III, имела, главным образом, в виду возможное уменьшение пьянства. Я говорю «возможное» — поскольку это уменьшение может быть достигнуто путем механическим, полицейским и путем регламентации; так как не подлежит никакому сомнению, что общее отрезвление народа, прочное его отрезвление — возможно и мыслимо только посредством широкого распространения культуры, образования и материального достатка.

К сожалению, когда началась японская война и министром финансов сделался Владимир Николаевич Коковцов, то он, с одной стороны, находясь в трудном положении, в виду громадных военных расходов, а с другой стороны, вследствие боязливого характера — боясь, чтобы как-нибудь не случилось, что не хватит денег, несколько изменил то направление питейной монополии, которое было дано императором Александром III, по его приказанию—мною, а по моему приказанию—Марковым и всеми чинами акцизного ведомства.

Владимир Николаевич обратил внимание на монополию, главным образом, с точки зрения фиска, дабы извлечь из этой реформы наибольший доход, а потому не только не были предприняты дальнейшие меры, так сказать, к механическому, полицейскому воздействию на уменьшение пьянства, но, наоборот, питейный доход стал служить одним из мерил достоинства акциз-

ных чиновников; не уменьшение пьянства ставилось и ставится акцизным чиновникам в особую заслугу, а увеличение питейного дохода.

Кроме того, была серьезно повышена и цена на вино, и повышение это делалось неоднократно.

Известно, что цена на уменьшение потребления вина может иметь большое влияние; влияние это может быть достигаемо или назначением такой цены на вино, благодаря которой вино не было бы по средствам большинству населения—к этому приему прибегают довольно редко; он неудобен в том смысле, что порождает корчемство и вызывает злоупотребления, или же того же самого результата посредством изменения цены — можно достигать назначением умеренной цены на вино, цены, соответствующей достатку самого бедного класса населения.

Ни то, ни другое не было предпринято, а была назначаема, и до сих пор существует, такая цена на вино, которая доступна почти всему населению, но которая разорительна для него.

Эта мера значительно увеличила питейный доход, но, конечно, имела и имеет влияние на пьянство.

С другой стороны, с тою же целью, увеличение питейного дохода за последние годы было чрезвычайно увеличено, и число винных лавок чуть ли не удвоено.

Эти два фактора имели влияние на увеличение пьянства.

Такое направление питейной монополии во время войны не может быть поставлено в вину кому бы то ни было; всякий министр финансов делал бы то же самое, что сделал и Владимир Николаевич Коковцов. Но, по моему мнению, когда война прекратилась и когда финансы опять пришли в хорошее состояние, первый долг министра финансов—вспомнить, что питейная монополия была введена для уменьшения пьянства, и направить дело в том смысле, в каком оно должно быть направлено по завету императора Александра III.

Я каждый год старался ездить именно по тем губерниям, в которых вводилась эта новая реформа, и при всех моих объездах внушал акцизному ведомству, что реформа эта вводится не с целью увеличения дохода, а с целью уменьшения народного пьянства, и что действия чинов акцизного ведомства будут цениться совсем не в зависимости от того, какой доход от этой реформы получается, а исключительно с точки зрения благоустройства, порядка и уменьшения народного пьянства.

Когда в Россию приезжал президент французской республики Фор, то после его отъезда остался один из инспекторов французского финансового ведомства, который сопровождал

Фора и который должен был сопровождать и меня в предстоящей моей поездке по губерниям, где вводилась питейная монополия, а именно в губерниях Смоленской и Могилевской.

Я забыл фамилию этого весьма почтенного француза. Вот я с ним и совершал эти объезды, при чем, так как мне очень много приходилось ездить в коляске, то он при этих объездах всегда ездил со мной вместе, в моем экипаже.

Когда я совершил этот объезд, то я спросил этого француза, как я уже говорил, весьма почтенного деятеля, носящего древнюю дворянскую фамилию (он, между прочим, был родственник графа Монтебелло), что он думает по поводу питейной монополии?

Его послал со мною Фор, предполагая, что ту же самую реформу можно ввести и во Франции.

Француз на это дал мне весьма умный ответ: он находит, что эта реформа, с точки зрения государственной, превосходна и что она должна дать самые благие результаты. Реформа эта могла бы дать столь же благие результаты во Франции, но для того, чтобы такую реформу ввести, необходимо прежде всего одно условие, — чтобы та страна, в которой она вводится, имела монарха неограниченного, и мало того, что неограниченного, но и с большим характером.

Действительно, если бы император Александр III не обладал этим свойством, то и реформу я никогда бы не был в состоянии ввести. При парламентарном режиме вообще, а при республиканском в особенности, введение такой реформы почти немыслимо, так как она задевает столько интересов высших лиц и вообще лиц с достатком, что по нынешнему времени никакой парламент такой реформы не пропустит.

Когда в последние годы мне приходилось подолгу жить во Франции, я часто вспоминал эти слова, потому что действительно и ныне во Франции при выборе депутатов в Палаты, можно сказать, первенствующую роль играют лица, содержащие кабак во всех его видах.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Золотая валюта.

Еще в царствование императора Александра III была в основе предрешена денежная реформа, которую я имел честь совершить, которая спасла, укрепила русские финансы и на которой зиждется и основывается, несмотря на несчастную японскую войну и все ужасные происшедшие от нее последствия,— настоящее финансовое благосостояние России.

Но я должен сказать, что у меня, когда я сделался министром финансов, не было сомнений в том, что денежное обращение, основанное на металле, есть благо; но так как я ранее этим вопросом глубоко не занимался, то поэтому у меня являлись не то, чтобы некоторые колебания, а непоследовательные шаги, и в этом нет ничего удивительного.

Россия жила на денежной системе, основанной на кредитных билетах, с Севастопольской войны в течение нескольких десятков лет; все жившие в то время (в конце 80-х годов) поколения не знали и не видели металлического обращения; ни в университетах, ни в высших школах правильной теории денежного обращения не читалось, по крайней мере не читались основы металлического денежного обращения, и не читались по той простой причине, что этого обращения не было в действительности и потому оно имело скорее как бы теоретический, а не практический характер. По этому предмету не было на русском языке сколько-нибудь порядочных книг и учебников, за исключением нескольких, а именно, то, что выходило из-под пера Николая Христиановича Бунге, когда он был профессором Киевского университета, а также и профессора Дерптского университета Вагнера, который потом покинул этот университет, сделался профессором Берлинского университета и до сих пор здравствует.

Я очень хорошо помню разговор, который я имел с Бунге перед одним из первых заседаний комитета финансов, в котором я начал проводить денежную реформу.

Когда мы шли в это заседание, Бунге мне сказал следующее:

— Сергей Юльевич, вам будет очень трудно проводить эту реформу, потому что в финансовом комитете нет ни одного человека, который бы это дело знал. Все члены финансового комитета теоретически этого дела не изучали и на практике его не видали.

Мною была сделана ошибка, которая отчасти, может быть, помешала мне ориентироваться сразу в этом вопросе, ошибка эта заключалась в том, что я, будучи министром финансов, взял себе в товарищи профессора Киевского университета Антоновича. Я сделал это потому, что Антонович написал по этому предмету докторскую диссертацию, а именно, о денежном обращении.

Это была одна из тех книг, которую я читал ранее, нежели специально занялся этим предметом, будучи министром финансов.

Мне казалось, — да так было и в действительности, — что Антонович весьма твердо высказывался за необходимость металлического обращения, но я не принял во внимание характера, с одной стороны, крайне неустойчивого, а с другой стороны, грубого и некультурного. Он, по своей натуре, гораздо больше думал о своей мелкой пользе, нежели о том, будет ли совершена денежная реформа или нет.

Когда Антонович увидел, что не только Петербург, но и вся Россия против этой реформы, то он, конечно, начал вилять, а затем и сам стал высказываться против этой реформы.

Антонович был недурной человек, порядочный русский профессор, но замечательно хитрый хохол; очень маленький по своему характеру и мировоззрению. В деталях, конечно, он меня сбивал.

Так, например, он принял значительное участие в преобразовании государственного банка, и если бы его не было, то новый устав государственного банка был бы иной; он бы в большей степени отразил ту основную мысль, что банк нужно преобразовать именно потому, что государство решило совершить денежную реформу, основанную на металле. Антонович ввел туда различные параграфы, которые я пропустил, расширяющие деятельность государственного банка в смысле выдачи различных долгосрочных ссуд, основанных не на верных и краткосрочных обеспечениях.

Действительно эта часть нового устава государственного банка не находилась в полной гармонии с идеей преобразования

денежного обращения в России и впоследствии мне иногда это ставили в вину, ибо, когда устав этот вошел в силу, мне же самому пришлось принимать меры, чтобы банк не совершал тех или иных операций долгосрочных и недостаточно обеспеченных, которые, тем не менее, разрешались по его уставу, мною проведенному.

Я должен сказать следующее: в то время вопрос о денежной реформе осложнялся еще следующими обстоятельствами.

Многие из финансистов теоретиков и практиков, для которых преимущество металлического обращения над бумажным не составляло никакого вопроса, а являлось аксиомой, тем не менее, колебались, когда дело шло о том, следует ли ввести денежное обращение, основанное только на одном золоте, или же может быть введено денежное обращение, основанное на серебре, или же на совместном обращении денег из двух металлов—как золота, так и серебра. Словом, между лицами, которые стояли вообще за необходимость денежного обращения, основанного на металле, не было единогласия в вопросе о том, должно ли обращение основываться на одном металле—золоте или серебре, или на двух металлах совместно, как на золоте, так и на серебре.

Впоследствии, когда я почти совсем овладел этим предметом, с точки зрения понимания его, когда я уже почти проломал стену и ввел денежное обращение, основанное исключительно на золоте, мне приходилось по этому вопросу говорить и спорить с такими крупными финансистами, — крупными не столько в смысле практики, сколько в смысле ума, как, например, знаменитый Альфонс Ротшильд, Леон Сэ, бывший министр финансов в начале французской республики, сын знаменитого экономиста Сэ.

Альфонс Ротшильд и Леон Сэ были за денежное обращение, основанное на серебре; того же мнения было и другое большое лицо, но очень слабый финансист, это бывший президент французской республики и мой близкий знакомый человек, относящийся ко мне крайне доброжелательно, так же, как и я к нему,— почтеннейший старец Лубэ, который еще недавно спорил со мною по этому предмету, хотя в настоящее время уже трудно спорить по этому предмету, но все-таки он еще пытался оправдывать свои идеи.

В то время и президент французского министерства, известный экономист Мелин, который проводил во Франции протекционизм, также был против меня, как защитника денежного обращения, основанного на золоте.

У него был известный журналист экономист, который резко проводил эту идею, а именно Тьери. Все это довольно понятно, с одной стороны, потому, что в то время, когда я начал вводить

денежное обращение в России, то серебро еще не было окончательно обесценено и была надежда, что оно может получить опять устойчивую цену, в особенности, конечно, если Россия введет денежное обращение, основанное на серебре. А с другой стороны, вообще французы были за денежное обращение, основанное если не на одном серебре, то по крайней мере на двух металлах, но никак не на одном золоте. Это потому, что Франция есть страна, которая имеет в обращении наибольшее количество серебра, а именно, она имеет, кажется, до трех миллиардов франков. Таким образом, для французов это был вопрос в некотором роде карманный.

Император Александр III в вопросах денежного обращения, по крайней мере в тех предварительных мерах, которые я принял, меня вполне поддерживал.

Я должен сказать, что, конечно, вопроса этого он не понимал, так как вообще вопрос этот специальный, и в то время в России за исключением нескольких человек никто его не понимал; поддерживал же меня император Александр III потому, что он мне доверял и верил в то, что то, что я хочу сделать и к чему я относился с такою страстью,—не может быть вредно России.

Когда я увидел, что Антонович в этом вопросе интригует,— я с ним расстался, тем более, что он вследствие той манеры, которой он придерживался в отношении служащих, вследствие крайней грубости и некультурности сумел вооружить против себя всех чиновников министерства финансов, как высших, так и низших.

Еще ранее прибытия его величества в Царское Село после посещения Франции я из банковских сфер узнал, что во время пребывания государя императора в Париже президент тогдашнего министерства Мелин интриговал против моего твердого решения во что бы то ни стало ввести в России золотую валюту.

Я тогда же писал его величеству о дошедших до меня слухах, но его величество ответил мне, что мои сведения суть не что иное, как сплетни.

Но через несколько дней после этого, когда я был у его величества, государь император вынул из своего стола две записки и передал их мне, сказав:

— Вот я вам отдаю записки, которые мне были поданы, по поводу предполагаемого вами введения золотой валюты в России, я их не читал, можете оставить их у себя.

Приехав домой, я начал рассматривать эти записки. Одна из записок—была записка председателя совета министров Мелина, в которой этот государственный деятель позволил себе вмешиваться в чрезвычайно важное дело, касающееся России, и вмеши-

ваться с точки зрения эгоистической, не личной, а эгоистической французской. К этой записке были приложены приложения, составленные известным, но заблуждающимся экономистом Тьери, сторонником серебряной валюты.

В этих записках авторы считали нужным предостеречь государя императора, что введение мною металлического обращения, основанного на золотой валюте, будет пагубно для России, и проводили мысль о введении валюты, основанной если не исключительно на серебре, то на биметаллизме, т.-е. основанной как на серебре, так и на золоте, подобно тому, как это существует во Франции.

Я почел со стороны председателя совета министров французской республики такое действие в высшей степени некорректным, так как это вопрос чисто внутренний России и ни русский император, ни русское правительство не нуждались в этом отношении в советах Мелина.

Некорректен этот поступок и потому, что председатель министерства выбрал приезд государя в Париж, чтобы возбудить этот вопрос, при чем, повидимому, его величество сказал, чтобы Мелин прислал ему свои соображения в Петербург.

И вот эти записки, которые его величество передал мне, сказав, что их не читал и не намерен читать, были переданы его величеству французским послом в Петербурге, графом Монтебелло, за несколько дней до того, когда его величество передал мне их. Граф Монтебелло имел по этому предмету особое поручение от своего правительства, или вернее от президента министерства.

Одною из самых крупнейших реформ, которую мне пришлось сделать во время нахождения моего у власти, была денежная реформа, окончательно упрочившая кредит России и поставившая Россию в финансовом отношении наряду с другими великими европейскими державами.

Благодаря этой реформе, мы выдержали несчастную японскую войну, смуты, разыгравшиеся после войны, и все то тревожное положение, в каком доныне находится Россия.

Если бы не было сделано этой реформы с самого начала войны, последовал бы общий финансовый и экономический крах, и все те успехи в экономическом отношении, которые достигнуты в последние десятки лет, пошли бы на смарку.

К этой реформе подготовляли наши финансы мои предшественники, как Бунге, так и Вышнеградский, но приготовления, сделанные ими, были сравнительно незначительны; в их время не был еще установлен окончательный план денежной реформы, даже в общих чертах, не говоря уже о всех деталях.

Все это было совершено мною и приведено в исполнение совершенно против течения; я имел за собою доверие его величества и благодаря его твердости и поддержке мне удалось совершить эту величайшую реформу. Это одна из реформ, которые, несомненно, будут служить украшением царствования императора Николая II.

Против этой реформы была почти вся мыслящая Россия: во-первых, по невежеству в этом деле, во-вторых, по привычке, и, в-третьих, по личному, хотя и мнимому интересу некоторых классов населения.

По невежеству, потому что этот теоретический вопрос был в то время чужд даже большинству русских экономистов и финансистов.

Действительно, так как мы в России со времен крымской кампании находились в режиме бумажно-денежного обращения, то самое понятие о теории и практике металлического обращения у нас в обществе, в прессе и между образованными людьми совсем утратилось. Все привыкли к бумажно-денежному обращению, как люди привыкают к некоторым хроническим болезням, хотя понемногу и ведущим к полному расстройству организма.

Так как все лица, заинтересованные в экспорте наших продуктов, и преимущественно сельские хозяева считали, что им выгодно денежно-бумажное обращение, так как с понижением цены нашей денежной валюты они как бы более получают за свои продукты, именно знаками этой расстроенной денежной валюты.

Так, например, в те времена наш рубль еще считался равным четырем франкам, в действительности же он упал так, что он равнялся около $2^1/_2$ франков. Следовательно, на то количество франков, которое получал каждый землевладелец, продавая заграницу, скажем, пуд пшеницы, — чем рубль стоял ниже, тем он более получал рублей и копеек, а потому и считал, что ему выгодно, чтобы курс понижался.

Это мнение, конечно, ошибочно, потому что, в зависимости от понижения рубля, этот же самый землевладелец, получая, например, за хлеб больше рублей, зато и платил большее количество рублей за большинство того, что он потребляет и чем он пользуется. Но это последнее обстоятельство землевладелец не принимал в расчет, так как, не будучи финансистом и экономистом, он не мог соображать зависимость одной цены от другой.

Таким образом, мне приходилось итти против общего течения в России, как бы желавшего не нарушать то положение, которое существовало. Конечно, были такие люди, которые понимали, что металлическое обращение лучше, нежели бумажно-денежное обращение, но и они были все-таки против меня, боясь моей энергичности и решительности, — которые и вели к успеш-

ности. Я же с своей стороны отлично понимал, что если я не проведу это дело быстро, то оно, по той или по другой причине, совсем не удастся.

Вообще из последующего моего государственного опыта я пришел к заключению, что в России необходимо проводить реформы быстро и спешно, иначе они большей частью не удаются и затормаживаются.

Так как уже в то время знали мой нрав, то многие лица боялись этого нрава, т.-е. в том смысле, чтобы я эту реформу, задуманную мною, не совершил быстро и решительно, предпочитая медленность и систематичность.

Кроме того, против этой реформы внутри России были те лица, которые вообще, по тем или другим причинам, желали меня если не свергнуть, то обесцветить.

Наконец, против этой реформы, в том виде, в каком я ее проводил, т.-е. реформы, основанной исключительно на золоте, иначе говоря, — реформы денежного обращения, основанной на монометаллизме, — были многие из весьма компетентных и достойных финансистов, которые еще не утеряли веру в серебро, как металл, могущий служить основанием для денежной единицы. Хотя в то время серебро уже значительно упало в своей цене, но многие из финансистов полагали, или, вернее говоря, хотели верить, что это есть временное явление, что серебро может повыситься в цене и что оно во всяком случае не будет далее падать.

Я же был того убеждения, которое и оправдалось, что цена на серебро будет все более и более падать, и что может наступить время, когда серебро совсем потеряет титул благородного металла.

Наконец, при проведении денежной реформы, я столкнулся еще с следующим препятствием.

В апреле месяце 1896 г., когда рассматривалось в департаментах Государственного Совета мое представление, имевшее положить начало денежного преобразования и введения металлического обращения, я встретил в Государственном Совете неожиданное противодействие.

Противодействие это, конечно, не заключалось в том, чтобы прямо сказать «нет», но в том, чтобы замедлить это дело и поставить такие препятствия, при которых дело это было бы провалено.

Такое препятствие в Государственном Совете я встретил опять-таки, главным образом, потому, что большинство членов Государственного Совета совсем не было знакомо с вопросом, а между тем среди членов Государственного Совета явились двое, которые имели репутацию людей, знающих дело, и которые явились моими противниками.

Один из них—это почтеннейший Борис Павлович Мансуров, — он делал возражения, главным образом, по недоверию к тому, что мне удастся провести реформу, а с другой стороны — по своему характеру, крайне критическому.

Другим моим оппонентом был член Государственного Совета Верховский, бывший директором кредитной канцелярии при Бунге, а потому имевший некоторый авторитет в глазах членов Государственного Совета.—Верховский делал возражения исключительно с личной точки зрения: он почему-то считал себя призванным быть министром финансов и никак не мог помириться с мыслью, что на кресле министра финансов сидит не он, а я.

В результате заседаний департаментов Государственного Совета был поставлен целый ряд вопросов, которые я должен был осветить и представить по ним подробные фактические объяснения, но которых я (никогда) и не представил, так как отлично понял, что мне эту реформу через Государственный Совет не провести, а потому я и решил провести ее помимо Государственного Совета.

Все вопросы обсуждались в финансовом комитете, члены которого, большею частью, шли за мной, что, впрочем, довольно естественно, так как вообще назначение членов в финансовый комитет, а равно и председателя — в значительной степени зависит от министра финансов. Наконец, обыкновенно, членами финансового комитета назначаются лица, которым финансовые вопросы вообще не вполне чужды.

Когда я почувствовал, что необходимо с вопросом о введении золотой валюты покончить, и зная, что Государственный Совет опять меня затормозит, я испросил у его величества, чтобы государь император собрал финансовый комитет под своим председательством и пригласил к присутствованию в финансовом комитете председателя Государственного Совета, великого князя Михаила Николаевича и тех членов оного, которых он почтет нужным пригласить.

Его величество исполнил мое ходатайство и собрал 2-го января 1897 года финансовый комитет в усиленном составе, под своим председательством. На этом заседании и была, в сущности, решена участь финансовой реформы, т.-е. решено было ввести в Российской империи металлическое обращение, основанное на золоте, которое во всех отношениях укрепило Россию.

Из изложенного краткого очерка видно, что, в сущности, я имел за себя только одну силу, но силу, которая сильнее всех остальных, это — доверие императора, а потому я вновь повторяю, что Россия металлическому золотому обращению обязана исключительно императору Николаю II.

В настоящее время, после японской войны, все, или по крайней мере, за редкими исключениями, понимают все благое значение этой реформы. К сожалению, понимание это должно было быть достигнуто новыми испытаниями России, а именно японской войной и смутами.

Говоря о денежной реформе, часто делают следующее замечание: почему Витте, делая эту великую реформу, основал ее на девальвации, и почему он не установил более мелкую единицу, чем один рубль? Если бы была установлена более мелкая единица, то было бы дешевле жить.

Я основал реформу на девальвации, т.-е. на том основании, что цена рубля против его номинальной ценности была понижена, для того, чтобы не производить общей пертурбации в России. Я совершил реформу так, что население России совсем и не заметило ее, как будто бы ничего собственно не изменилось. И, когда последовал 3-го января 1897 года указ, то все осталось так, как было, цены предметов не изменились, а потому никаких пертурбаций и не произошло; всякие пертурбации и в будущем были предотвращены, и тому положению вещей, которое существовало 3-го января, был дан прочный устой; под это положение был подведен фундамент, который предотвратил всякие возможные колебания цен от непрочности валюты.

Между тем, в числе доводов, которые мне представили в прессе и в Государственном Совете, были и те, что необходимо стремиться к тому, чтобы восстановить номинальную цену рубля, т.-е. рубля, равного четырем франкам, а не $2^{2}/_{3}$ франка, как это я сделал. Понятно, сказать в то время, чтобы сделать рубль равным четырем франкам, это значило бы не только сделать полную пертурбацию в России, но и поставить задачу, которая, можно сказать, фактически не имела никакой вероятности для исполнения; это значило бы просто провалить то дело, за которое я взялся со всею энергией, которой я всегда отличался и отличаюсь, а в особенности, которой я был полон, когда был молод.

Другое возражение заключалось в том, что следовало бы, делая реформу, вместо единицы рубля ввести какую-нибудь более мелкую единицу, при чем указывалось, что там, где есть более мелкая единица, например, в Германии марка, во Франции — франк, что там жизнь дешевле.

В известной мере относительно дешевизны жизни это замечание правильно. Что касается всяких оптовых сделок, мировой международной торговли, то предположения, что при более мелкой единице можно покупать дешевле, — неверно, но что касается обыкновенной жизни, в особенности городской, то, действительно, при более низкой валюте в некоторых отношениях жизнь дешевле, хотя этот вопрос — дешевизны — имеет скорее значение личное. Тут замешаны интересы личные и извест-

ных классов населения, но не общегосударственные, не затрагиваются общегосударственные интересы всей страны.

Я, тем не менее, действительно, думал сделать более мелкую единицу и хотел ввести единицу «русь»,—как я ее назвал,—которая представляет собою цену значительно менее рубля. Таким образом, я рубль хотел заменить «русью»; даже образцы такой золотой монеты уже были отчеканены. Но когда я увидел, что против моей реформы, которую я решился во что бы то ни стало провести, я встречаю столько возражений, то я эту мысль откинул.

Когда я совершил реформу, то весь простой класс населения, весь народ совсем не заметил и не подозревал, что я сделал реформу, а между тем, если бы я вздумал рубль заменить «русью» и, соответственно «руси», ввел 100 новых копеек, при чем каждая копейка была бы гораздо меньше в цене, чем теперешняя копейка (100 которых составляет теперешний рубль), то эта мера коснулась бы всего населения, и произошла бы полная пертурбация в ценах, чем могло быть обеспокоено все крестьянство, все, так сказать, темное население, и, конечно, тогда, после введения реформы, которая прошла у меня совершенно гладко и незаметно, — явились бы тысячи и тысячи жалоб и недоразумений.

Таким образом, перемены рубля на «русь» и жалобы, вытекающие из этой меры, были бы поставлены главным доводом неудачности моей реформы. Все сказали бы: «Вот затеял дело вопреки всевозможных предостережений и произвел полную смуту в умах всей России».

Я полагаю, что, вероятно, и Мелину было известно, что Государственный Совет идет против меня, а потому думал, что, если он подаст записку государю, то окончательно повлияет на государя. С своей стороны, опасаясь, чтобы его величество не внял тем возражениям, которые шли против меня в то время со всех концов России, т.-е. не против меня, а против моей идеи немедленно ввести денежную реформу, я решил совершить ее быстро, неотлагательно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Проект захвата Босфора. Новая политика на окраинах.

В конце 1896 г., как только государь император вернулся из заграницы, в Петербурге появился наш посол в Константинополе Нелидов, и начались различные слухи о том, что предполагается принять какие-нибудь меры относительно Турции. Уже тогда Оттоманская империя находилась в достаточном разложении, которое затем кончилось свержением султана Гамида и установлением в Турции конституционного образа правления, которое ни к какому твердому и устойчивому порядку в Оттоманской империи не приводит. В настоящее время Турция находится в критическом положении. Впрочем, процесс разложения Турции идет уже издавна и продолжается уже десятки лет. В то время процесс этот проявлялся различными острыми явлениями, которые большею частью выражались избиением армян в той или другой местности Турецкой империи.

В конце 1896 года, незадолго до возвращения государя из заграницы, в Константинополе был погром армян, а ранее этого избиение армян в Малой Азии.

Поэтому появление Нелидова в Петербурге, которому может быть предшествовали различные переговоры или разговоры в Париже, возбудило слухи в министерстве иностранных дел и вообще в правительственных сферах о том, что надлежит принять какие-нибудь меры относительно Турецкой империи.

Действительно, 12-го ноября 1896 года, т.-е. приблизительно менее, чем через месяц после возвращения государя из заграницы, слухи эти вынудили меня подать его императорскому величеству записку, в которой я излагал мои взгляды относительно Турецкой империи, взгляды, клонящиеся к мерам миролюбивым и советующие не прибегать ни к каким мерам, требующим силы.

На этой записке его величеству благоугодно было написать, что мы об этом поговорим при следующем докладе.

Но об этом со мною его величество не говорил.

Между тем 21 ноября я получил весьма секретную записку Нелидова, в которой константинопольский посол в туманных выражениях, присущих истинным дипломатам, всю жизнь занимающимся изображением на бумаге туманных картин, излагал о тревожном положении Турецкой империи, в частности Константинополя и султана, а в сущности предлагал создать такие инциденты, которые бы дали нам право и возможность завладеть верхним Босфором.

Одновременно с получением этой записки я получил приглашение от временно-управляющего министерством иностранных дел Шишкина явиться в заседание, которое и состоялось под председательством его величества 23-го ноября. В этом заседании присутствовали: военный министр Ванновский, я, управляющий морским министерством Тыртов, начальник главного штаба генерал Обручев, управляющий министерством иностранных дел Шишкин и российский посол в Константинополе.

Нелидов в этом заседании развивал ту мысль, что в ближайшем времени прозойдут в Турецкой империи катастрофы и в предупреждение того положения, в котором может очутиться Россия, следует захватить Верхний Босфор, вызвав, если окажется нужным, такие события, которые давали бы нам право и возможность это совершить.

Военный министр и начальник главного штаба очень поддерживали мнение нашего посла, чего я и ожидал, так как, что касается Ванновского, то он всегда руководствовался в этих случаях соображениями своего начальника штаба — Обручева, а у Обручева захват Босфора, — а если окажется возможным, то и Константинополя, — был всегда его идефиксом.

Я помню, что еще несколько недель до смерти министра иностранных дел Гирса я как-то у него был и говорил с ним о международном положении. Гирс сказал мне тогда, что вообще беда с военными, которые непременно хотят создавать события, вызывающие войну, и заслуга императора Александра III именно и заключается в том, что при нем все эти затеи падают.

Когда я спросил: а из этих затей какие он считает наиболее опасными? — Гирс мне сказал:

— Я бы вам советовал взять из министерства иностранных дел дело о том, как генерал Обручев хочет захватить Босфор, передвигая туда войска на плотах. Эта мысль в военном министерстве весьма укоренилась и после нашей последней восточной войны, в конце царствования Александра II и в начале цар-

ствования Александра III на Босфор ездили и инкогнито и прямо официально несколько наших офицеров генерального штаба, во главе их был генерал, — тогда еще полковник, — Куропаткин, который делал всякие рекогносцировочные соображения о том, как и при каких условиях можно захватить Босфор и там укрепиться.

Управляющий министерством иностранных дел Шишкин во время совещаний большей частью молчал или говорил отдельные фразы, ничего определенного не выражающие.

Управляющий морским министерством Тыртов, повидимому, не особенно сочувствовал соображениям Ванновского и Обручева, но не имел смелости им твердо возражать, а только указывал на некоторые условия, которые необходимо выполнить, с точки зрения морской, для того, чтобы это предприятие могло удаться.

Таким образом, единственно, кто возражал и возражал весьма настоятельно, резко и решительно против этой затеи — был я. Я указывал, что эта затея приведет, в конце концов, к европейской войне и поколеблет то прекрасное политическое и финансовое положение, в которое поставил Российскую империю император Александр III.

Его императорское величество, как председатель и как русский неограниченный царь, никаких мнений не выражал, только задавал различные вопросы. Но, зная моего государя, я видел, что его симпатии в данном случае не находятся на моей стороне.

После неоднократного обмена возражений между мною, с одной стороны, и Нелидовым, Обручевым и Ванновским—с другой, его императорскому величеству угодно было в заключение сказать, что он разделяет мнение нашего посла.

Таким образом, вопрос по существу был кончен, и в сущности было решено вызвать такие события в Константинополе, которые бы дали нам право и возможность высадиться в Босфоре и занять Верхний Босфор; тогда войти в сношение с султаном и в случае, если он станет на нашу сторону, то обещать ему наше покровительство. Следовало немедленно начать приготовления по этому предмету дессанта из Одессы и Севастополя. Когда же окажется, по соображениям посла, что наступил момент дессант этот двинуть,—он должен дать депешу нашему финансовому агенту в Лондоне Татищеву в такой редакции, что ему поручается купить такое-то количество хлеба. Татищеву должна быть дана инструкция, — что и было тогда же сделано,— чтоб он немедленно эту телеграмму передал управляющему государственным банком, которым в то время был Плеске (впоследствии в 1903 году Плеске заменил меня в качестве министра финансов), а Плеске должен был передать эту телеграмму морскому и военному министрам.

Нелидов поехал в Константинополь, горя желанием осуществить свою заветную идею — захвата Константинополя, во всяком случае Босфора, а сигнал его к отправлению десанта считался настолько близким, что я сделал распоряжение, чтобы Плеске ночью постоянно имел дежурного чиновника, дабы в случае, если получится телеграмма из Лондона о закупке хлеба, чтобы она ему немедленно была передана, дабы ни в какой степени не замедлилось отправление судов из Одессы и Севастополя с войсками.

Управляющий министерством иностранных дел Шишкин составил журнал этого совещания, при чем в журнале совещания все соображения, приведенные к этому заключению, были изложены как единогласные.

Получив проект журнала, я написал Шишкину письмо, что никак не могу подписать этого журнала, так как нахожу, что там предполагаются такие меры, которые приведут Россию к большим бедствиям, а потому прошу его испросить разрешения государя: или поместить мое особое мнение в журнале, или же хотя бы кратко сказать, что я со всеми этими соображениями и заключениями совсем не согласен, так как я не желаю принять перед историей ответственность за эту затею.

Шишкин был поставлен в затруднение, но, тем не менее, написал о моем письме государю императору. Государь император был так милостив, что разрешил изменить журнал и написать там о том, что я со всеми этими соображениями не согласен.

Это было высказано в самом начале журнала в такой форме, что, «по мнению статс-секретаря Витте, занятие Верхнего Босфора без соглашения с великими державами по настоящему времени и при настоящих условиях крайне рискованно, а потому может иметь гибельное последствие».

Журнал этот был утвержден его императорским величеством 27-го ноября 1896 года, при чем его императорское величество на журнале, кроме того, сделал заметку, вполне укрепляющую решение большинства членов совещания, а следовательно и вполне не разделяющую моих возражений.

Я, конечно, ожидал, что все это дело кончится большими бедствиями, а потому не мог тогда же не высказать моих сомнений и тревог двум лицам, которые были весьма близки к его величеству и к словам которых его величество не мог выказывать никакого раздражения, а именно, дяде его величества великому князю Владимиру Александровичу и обер-прокурору святейшего синода, бывшему преподавателю государя императора, Кон-

стантину Петровичу Победоносцеву. Они мне на мои сомнения и на мои тревоги ничего не высказали.

Но Победоносцев, прочитав копию журнала, которую я ему дал, ознакомившись с моим особым мнением, 28-го ноября написал мне: «Спешу возвратить и поблагодарить за присылку. Iacta est alea. Помилуй нас бог!»

Тем не менее, под влиянием этих лиц, или же под влиянием той силы, которая руководит всем миром и которую мы называем богом, его императорское величество изменил свое решение, и, как только Нелидов доехал до Константинополя, он получил указания, которые воспрепятствовали ему совершить ту затею, которую он задумал.

Но государь император был несколько дней после заседания, повидимому, мною недоволен. Как раз 27-го или 28-го ноября в Царскосельском дворце было заседание сибирского комитета. В этом заседании рассматривался проект концессии, данной китайским правительством на сооружение Восточно-Китайской дороги [1]) мною и Ли-Хун-Чаном.

В виду моего представления, его величеству благоугодно было сказать несколько весьма сочувственных слов по поводу смерти князя Лобанова-Ростовского.

Я этим словам глубоко сочувствовал, не только потому, что они исходили от моего государя, но из памяти к князю Лобанову-Ростовскому, при котором, конечно, такой записки, какая была подана Нелидовым и какую мы рассматривали по поводу занятия Босфора, Нелидов подать не решился бы.

Но, говоря о князе Лобанове-Ростовском, его императорскому величеству благоугодно было приписать всю заслугу получения этой концессии на Восточно-Китайскую дорогу исключительно одному князю Лобанову-Ростовскому и это было сделано в такой форме, что всем присутствующим в комитете, которые все-таки по слухам отлично знали, что все это дело было сделано мною, стало ясно, что его императорское величество чем-то мною недоволен.

Если действительно государь император был мною недоволен по поводу этого инцидента, то, вероятно, главным образом, недоволен резкостью моих действий и мнений, в чем я признаю себя весьма виновным перед государем императором; но, к сожалению, я не мог себя переделать, — я был всегда таков, остаюсь таковым и ныне. Но, тем не менее, это не повлияло на отношение ко мне государя в области финансовой; так это уже видно из того, что не далее, чем через $1^1/_2$ месяца, — о чем я уже рассказывал ранее, — государь император встал исключительно на мою сторону в вопросе о введении денежной реформы в России, и, бла-

[1]) См. выше, стр. 46, сл.

годаря только этому, денежная реформа была спасена и осуществлена.

Вся эта история с предположением о захвате Босфора была, как я говорил, в конце 1896 г.

В том же 1896 г. в декабре месяце произошли следующие, довольно важные события, а именно: 6 декабря был уволен от должности по прошению главноначальствующий на Кавказе генерал-от-кавалерии Шереметев по болезни; увольнение это произошло действительно по болезни.

Шереметев был кавказцем, и его на Кавказе очень любили; он отлично знал Кавказ; Шереметев представлял собою человека слабого, очень милого, культурного и человека — без всякого темперамента; тем не менее, на Кавказе его очень любили и уважали точно так же, как его не могли не уважать все лица, его знавшие.

Вместо Шереметева 12 декабря был назначен князь Григорий Голицын, член Государственного Совета, тот Голицын, которого мы в обществе называли «Гри-Гри». Это был очень порядочный, воспитанный, весьма честный человек, но, как говорится, «с зайчиком». И этот «зайчик», который так свойственен русским деятелям известного закала, который так рельефно выражается ныне у крайне-правых и националистов, в нем еще осложнялся тем, что мать князя Голицына была полька; он был воспитан своею матерью, а потому у него известного рода сумасбродство было соединено с мягкостью обращения, умением мягко стлать, — что свойственно натуре поляка. В конце концов князь Голицын был человек весьма воспитанный, образованный, но крайне ограниченный, особенно для государственного деятеля.

Двойственность его характера делала то, что он не мог приобрести друзей в обществе и в толпе людей непосредственного характера, людей, которые действуют, как им бог на душу положил — без различных политических увертюк.

Я помню князя Голицына, когда он недалеко от Тифлиса (в Белом Ключе) командовал грузинским полком, — в то время я еще был мальчиком.

Хотя князь Голицын был весьма корректным полковым командиром, он не пробыл долго на Кавказе, потому что не мог внушить к себе в обществе кавказских прямодушных людей симпатий. Он был чересчур в своих действиях и мнениях тонок и дипломатичен для людей такого непосредственного характера, а поэтому и не оставил по себе в Тифлисе и вообще на Кавказе симпатичной памяти.

Кажется, чтобы избавить Кавказ от князя Голицына, он и получил место командира финляндского полка в Петербурге. Всю свою последующую карьеру он делал в Петербурге. Последняя должность, которую он занимал, был пост атамана Оренбургского казачьего округа, оттуда он был сделан членом военного совета, а потом и членом Государственного Совета. Ему очень протежировал великий князь Михаил Николаевич по причине, мне не известной. Князь Голицын всю свою карьеру (в том числе и назначение его на Кавказ) совершил по протекции сказанного великого князя. В то время великий князь Михаил Николаевич не мог не иметь влияния на государя императора, потому что он сам был довольно долгое время наместником кавказским, и, конечно, именно благодаря влиянию великого князя, князь Голицын получил после уволенного по болезни Шереметева место главноуправляющего на Кавказе.

Как я уже говорил, князь Голицын не мог быть симпатичен Кавказу; кроме того, князь Голицын, как человек довольно тонкий (не по корпуленции, а по духу), чувствовал уже в воздухе нечто такое, что привлекало симпатии его величества на сторону национальных идей, но, конечно, национальных идей в их возвышенном смысле, идей, которые разделяют все русские люди, но не «истинно» русские люди, а просто «русские» люди, — а не тех национальных стремлений характера более или менее физиологического, которым заражены теперешние, так называемые, «националисты», которых, между прочим, так поощрял покойный Столыпин.

Поэтому князь Голицын, управляя Кавказом такими приемами и такими принципами, которым до того времени были чужды Кавказу, весьма сильно возбудил кавказское туземное население против России и в значительной степени способствовал тому проявлению сепаратических идей, которые одно время захватили умы кавказцев в годы общей смуты в России, т.-е. в 1904, 1905 и 1906 г.г.

Управление князем Голицыным Кавказом ничем не ознаменовалось, кроме того, что он возбудил весь Кавказ и против себя, и косвенно против русского правительства. В конце концов, на него было сделано покушение, он был ранен и затем покинул Кавказ. Но это произошло после нескольких лет его управления, когда он уже в значительной степени дезорганизовал тот особого рода дух, которым держался Кавказ.

Все его предшественники, начиная со знаменитого светлейшего князя Воронцова — наместника кавказского, назначенного еще императором Николаем I, держались того принципа, что туземцы, в особенности христианского вероисповедания и те, которые добровольно предались скипетру России, должны пользоваться полным равноправием. Поэтому Кавказ был завоеван

как оружием русских, т.-е. лиц, пришедших из России, так и оружием туземцев Кавказа. На протяжении 60-летней войны Кавказа мы видим, что в этих войнах всюду и везде отличались тамошние туземцы, и не только в низших рядах милиции, но и на самых высших постах. Они дали в русских войсках целую плеяду героев, героев, достигших самых высших чинов и знаков отличий. Таких имен можно насчитать десятками и десятками, как, например, князья Орбелиани, князья Бебутовы, князь Амелахвари, князья Чевчевадзе, князья Аргутинские и проч., и проч. Поэтому все правители Кавказа всегда относились к этим туземцам с полным благорасположением и старались ни в чем не нарушать их прав.

Многие из народностей Кавказа представляют собой людей чрезвычайно непосредственных, задушевных, которые за сердечное к ним отношение отвечают полною сердечностью.

Только такою политикою, какой придерживались правители Кавказа (до князя Голицына), мы завоевали весь этот край и прочно спаяли его с Российской империей.

Князь Голицын был первый правитель, который начал проводить на Кавказе узко-национальную точку зрения «гостиного ряда». Если бы при этом князь Голицын отличался каким-нибудь талантом, был бы способен на какую бы то ни было преобразовательную деятельность, то неприятное для кавказцев направление его деятельности было бы уравновешено другими достоинствами его управления—его твердостью, авторитетностью, в особенности авторитетностью в военном деле; если бы кн. Голицын представлял собою такую характерную личность, какою был, например, генерал Гурко, проводивший в Царстве Польском также чисто русские начала, пред которым, тем не менее, поляки преклонялись. Но в том-то и дело, что князь Голицын ничего на своем активе не имел, он не имел ни военного таланта, ни особой военной доблести (я этим не хочу сказать, что князь Голицын не был храбрым), ни административного таланта, ни административной опытности; наконец, он не обладал и прямотою характера и не мог ею обладать по тому смешению крови, которое в нем находилось. В конце концов князь Голицын был черным вороном на Кавказе и покинул Кавказ всеми нелюбимый, в том числе и русскими.

Если я так, может быть «жестоко», выражаюсь о князе Голицыне, то потому, что я сам кавказец, я родился на Кавказе, мне этот край близок; я помню все традиции Кавказа, и поэтому я не могу относиться равнодушно к тому, что делал князь Голицын на Кавказе, как не могут к этому относиться равнодушно вообще все кавказцы всех национальностей, а в том числе и русской.

В конце 1896 г. варшавский генерал-губернатор, заменивший генерал-фельдмаршала Гурко, граф Шувалов заболел, с ним случился удар, а потому он оставил пост варшавского генерал-губернатора.

Он был очень недолго в Царстве Польском и ничем — ни хорошим, ни дурным — себя не проявил. Но, как человек, он пользовался вообще большими симпатиями; в Царстве Польском он пользовался симпатиями в особенности среди офицеров, с которыми он любил часто проводить время и пиршествовать.

Вместо него генерал-губернатором был назначен светлейший князь Имеретинский, член Государственного Совета, прекрасный, милый человек.

Хотя он — князь Имеретинский, но родился не на Кавказе, а поэтому и был совсем чужд Кавказу.

После того, как граф Тотлебен заменил великого князя Николая Николаевича, как главнокомандующий войсками в Турции, князь Имеретинский был у графа Тотлебена начальником штаба при взятии Плевны и был хорошим военным начальником.

Вообще князь Имеретинский был очень острого ума, способный, талантливый и культурный человек.

Я был очень рад назначению князя Имеретинского, так как очень с ним сблизился, будучи министром финансов, ибо князь Имеретинский был членом Государственного Совета по департаменту экономии, т.-е. именно по тому департаменту, с которым министр финансов имеет постоянные отношения.

Ранее, чем сделаться членом Государственного Совета, после турецкой войны, князь Имеретинский был сделан начальником военно-судного управления. По моему мнению, он установил весьма правильные отношения в Царстве Польском к полякам, и при его управлении было полное вероятие, что установятся взаимное согласие и доверие между русскими и благоразумными поляками. Он шел по этому пути, несмотря на многие, творимые ему в Петербурге препятствия.

Князь Имеретинский был женат на очень богатой и почтенной женщине, которая его обожала, а именно на графине Мордвиновой.

Графиня Мордвинова была очень богата, а потому и князь Имеретинский располагал достаточными средствами для того, чтобы жить весьма широко в Царстве Польском.

У князя Имеретинского был один серьезный недостаток — это его пристрастие к женскому полу; недостаток этот отчасти и был причиной и его внезапной кончины, которая была оплакиваема многими, в том числе его прекрасной супругой и его многочисленными друзьями.

В то время, когда главноначальствующим на Кавказе было назначено лицо, которое начало проводить там так называемую

ультранациональную политику или как, по моему мнению, ее правильнее назвать: — «национальную политику гостиного ряда», — в Царство Польское, наоборот, было назначено лицо, которое на флаге своем имело лозунг политики культурной и примирительной.

В это же время произошло увольнение финляндского генерал-губернатора графа Гейдена, который представлял собою человека весьма почтенного (он был ранее начальником главного штаба при военном министре графе Милютине). Проводя в Финляндии русскую точку зрения, граф Гейден, тем не менее, делал это с большим тактом, не нарушая финляндской конституции, или во всяком случае тех порядков, которые получили право гражданства в царствование наших императоров, начиная с Александра благословенного.

Увольнение графа Гейдена последовало отчасти по его нездоровью, но, главным образом, потому, что в Петербурге начали проявляться тенденции руссификирования Финляндии, и притом такими приемами, которые, по мнению графа Гейдена, не соответствовали ни положению дела, ни достоинству великой Российской империи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Назначение графа Муравьева министром иностранных дел. Отставка Воронцова-Дашкова.

Назначение графа Муравьева 1 января 1897 г. управляющим министерством иностранных дел, а затем 13 апреля того же года министром иностранных дел, перед прибытием в Петербург австрийского императора Франца-Иосифа, — было роковым. Оно привело к самым ужасным последствиям, которые перевернули историю России, навлекли на нее громадные бедствия.

Граф Муравьев был назначен на пост министра иностранных дел с поста посланника в Копенгагене; он и был назначен министром иностранных дел именно потому, что он занимал пост посланника в Копенгагене. Посланник в Копенгагене естественно становился приближенным к императорской фамилии, которая как во времена императора Александра III, так и впоследствии посещала Копенгаген, вследствие близких родственных отношений с датским королевским домом, и естественно сталкивалась с русским посланником; при чем русские посланники в Копенгагене имели весьма узкое поприще для проявления своих дипломатических способностей, но имели и имеют очень обширное поприще для проявления своих способностей царедворцев.

Так как молодой император никого из дипломатов не знал, то весьма естественно, что его выбор остановился на графе Муравьеве, с которым он, бывая в Дании, встречался. Наконец, графа Муравьева хорошо знала императрица-мать, которая постоянно бывала и бывает в Дании. Этим объясняется его назначение.

В то время, как это назначение состоялось, я графа Муравьева совсем не знал, но как-то раз я спросил мнение о нем бывшего посла в Берлине графа Павла Андреевича Шувалова, так как при нем одно время граф Муравьев был советником посольства.

Граф П. А. Шувалов отозвался о способностях графа Муравьева крайне скептически, сказавши:

— Все, что я могу сказать вам про графа Муравьева, это то, что он жуир.

Граф Муравьев был, как и князь Лобанов, светский человек и светский забавник, но совершенно другого типа, нежели князь Лобанов-Ростовский.

Насколько князь Лобанов-Ростовский был в обществе изящен в своих словах и рассказах и интересен для культурного общества, настолько граф Муравьев, хотя и был забавен, но— забавен плоскими рассказами и манерами. Насколько князь Лобанов-Ростовский был литературно-культурный человек, настолько граф Муравьев был человек литературно малообразованный, если не сказать — во многих отношениях просто невежественный.

Кроме того, граф Муравьев имел слабость хорошо пообедать и во время обеда порядочно выпить. Поэтому, после обеда граф Муравьев весьма неохотно занимался делами и вообще, обыкновенно, ими не занимался. Относительно занятий он был очень скуп и посвящал им очень мало времени.

При таких качествах, граф Муравьев выбрал себе товарищем графа Владимира Николаевича Ламсдорфа, который был советником по министерству иностранных дел, человека в высокой степени рабочего. Граф Ламсдорф всю свою карьеру сделал в министерстве иностранных дел в Петербурге. Он был прекрасный человек, отличного сердца, друг своих друзей, человек в высокой степени образованный, несмотря на то, что он кончил только пажеский корпус (следовательно, он сам себя образовал), человек очень скромный.

Граф Ламсдорф вечно работал, и вследствие этого, как только он поступил в министерство иностранных дел, он всегда был одним из ближайших сотрудников министров, сначала в качестве секретаря, а потом в качестве управляющего различными отделами министерства и, наконец, в качестве советника.

Граф Ламсдорф начал свою карьеру еще при светлейшем князе Горчакове; затем был секретарем и ближайшим человеком к министру иностранных дел Гирсу; далее он был советником министерства и ближайшим сотрудником князя Лобанова-Ростовского. Граф Ламсдорф был ходячим архивом министерства иностранных дел по всем секретным делам этого министерства.

Как товарищ министра иностранных дел — это был неоценимый клад, а потому, естественно, что граф Муравьев, который весьма мало знал и понимал общемировую дипломатию, был весьма в этом малосведущ и вообще мало образован, к тому же он не любил заниматься, взял себе в товарищи графа Ламсдорфа, — сам же граф Муравьев больше занимался жуирством,

нежели делом. Тем не менее, он почему-то нравился как императору, так и молодой императрице. Граф Муравьев хвастался тем, что его часто, даже почти всегда, император после доклада приглашает завтракать, и рассказывал своим коллегам, в том числе и мне, о том, как он забавлял молодую императрицу своими рассказами.

6 мая того же года последовало увольнение графа Воронцова-Дашкова с поста министра двора.

Это увольнение для всех, понимавших психологию дворцовых сфер, не было неожиданным. Граф Воронцов-Дашков знал молодого императора с его колыбели, он был одним из самых приближенных лиц к его августейшему отцу и был почти во все время царствования императора Александра III министром двора, а потому, естественно, он должен был производить на молодого императора некоторое гнетущее влияние.

Эта психология отношений совершенно понятна, тем более, что министры августейшего батюшки молодого императора, вероятно, также не вполне свыклись с новым своим положением и не могли, по крайней мере с р а з у, стать на ту точку зрения, что тот молодой царевич, которого они знали еще мальчиком или юношей, волею всевышнего сделался неограниченным монархом величайшей империи, а потому они (это касается и меня, я должен в этом признаться) часто говорили с молодым императором не так, как они должны были бы говорить с самодержавным государем великой империи.

Это, конечно, более чувствительно должно было проявляться в отношениях молодого императора к престарелому министру двора покойного его отца, ибо министр двора имеет постоянное отношение к императору, и не только к императору, но и к императрице.

Вероятно, проскакивающий иногда в речах графа Воронцова-Дашкова несколько менторский тон шокировал молодого императора и его августейшую супругу. Но главное, что явилось причиной несоответствующих отношений между государем императором и графом Воронцовым-Дашковым, конечно, заключалось в той несчастной истории, которая произошла во время коронования императора на «Ходынке». После этой катастрофы между великим князем Сергеем Александровичем и графом Воронцовым-Дашковым сразу создались враждебные отношения.

Вообще граф Воронцов-Дашков в отношении всех великих князей держался в высокой степени самостоятельно, к чему он был приучен покойным императором Александром III, а потому он, если можно так выразиться, и не спускал великому князю Сергею Александровичу.

С другой стороны, великий князь Сергей Александрович был человек самолюбивый и имел значительное влияние на молодого императора не только как дядя, но и как муж сестры императрицы.

Вот эти отношения и послужили, главным образом, причиною того, что граф Воронцов-Дашков, согласно желанию императора, должен был покинуть пост министра двора.

Тогда я жил на Елагином и хотя всегда я был в самых лучших отношениях с графом Воронцовым-Дашковым, но именно в то время я имел с ним некоторое разногласие по вопросу о порядке испрошения кредитов по министерству двора.

Сперва граф Воронцов-Дашков в этом вопросе восстал весьма резко против моей точки зрения, а потом сразу уступил, видя, что его императорское величество в этом вопросе встал на мою точку зрения.

Я помню, что в тот день, когда государь сказал графу Воронцову-Дашкову о том, что он его освобождает с поста министра двора, граф приехал ко мне на Елагинский остров и был весьма расстроен; граф Воронцов-Дашков жаловался на то, что он сам несколько недель тому назад просил государя освободить его с поста министра двора, что его величество тогда на это не согласился, а что сегодня сам государь в конце доклада сказал ему, что «вот вы мне несколько раз выражали желание уйти с поста министра двора, так я вас сегодня освобождаю».

Граф Воронцов-Дашков подробно мне все это рассказывал, так как он думал, что я говорил что-нибудь государю относительно моих разногласий с ним по кредитам министерства и жаловался на него.

На это я сказал графу Воронцову-Дашкову, что действительно, его величество по этому предмету со мною говорил, но я никогда жалоб никаких на него не высказывал и что вообще я так с детства близко знаю графа Воронцова, что почел бы для себя в высокой степени некорректным действовать против графа, которого я искренно уважаю и почитаю, не сказав ему раньше откровенно, что я намерен делать.

Вместо графа Воронцова, министром двора был назначен его товарищ барон Фредерикс (который состоит министром двора и до настоящего времени), прекраснейший, благороднейший и честнейший человек, — но и только. Впрочем, этого вообще, а в особенности по нынешним временам, очень много. Можно сказать, что барон Фредерикс, по нынешним временам, по своей честности и благородству — рыцарь. Но, конечно, ни по своим знаниям, ни по своим способностям, ни по своему уму он не может иметь решительно никакого влияния на государя импе-

ратора и не может служить ему ни в какой степени советчиком по государственным делам и даже по непосредственному управлению министерством двора.

По характеру государя императора такой министр двора представляет собою тип человека, наиболее для императора подходящего.

Вскоре по вступлении на пост министра двора барона Фредерикса я получил от него высочайшее повеление, формулированное по пунктам, которым определялся порядок испрошения кредитов по министерству двора, и именно так, как то проектировал министр двора граф Воронцов-Дашков, а следовательно уже из этого видно, что я в моем разногласии с министром графом Воронцовым-Дашковым относительно способа испрошения кредитов министерством двора не произвел на государя императора никакого неблагоприятного для графа Воронцова-Дашкова влияния.

* По закону смета министерства двора должна была рассматриваться в Государственном Совете на общем основании, на практике расходы эти регулировались соглашением министра двора и финансов, и затем Государственный Совет принимал цифру, сообщенную министром финансов.

Вскоре после назначения барона Фредерикса я вдруг от него получаю высочайшее повеление, отменяющее законы и устанавливающее такой порядок относительно сметы министерства двора: смету эту составляет и представляет на утверждение государя министр двора, а затем сообщает общую цифру министру финансов, который должен внести именно эту цифру, без обсуждения в Государственном Совете, в государственную роспись. В заключении говорилось, что государь повелевает, чтобы сие высочайшее повеление не распубликовывалось, дабы не возбуждать толков, а чтобы при кодификации законов, т.-е. печатании нового издания, были соответственно изменены соответствующие статьи. Таких высочайших повелений, конечно, в России не было со времен Павла Петровича, да и он, вероятно, не предлагал бы незаметно фальсифицировать новое издание законов. Конечно, эта выдумка не принадлежала инициативе государя, а его министру двора, но достаточно то, что такие повеления могли иметь место еще за десять лет до революции*.

По поводу этого маленького инцидента, которому я не придавал никакого значения с точки зрения финансов, я помню такой разговор, который я имел с его императорским величеством.

Когда я сказал, что, во всяком случае, кредиты должны быть испрашиваемы по соглашению министра двора с министерством финансов, — если не в общем порядке через Государственный Совет, — то его величеству угодно было мне заметить:

— Что же вы находите, что я трачу много денег?

На что я его императорскому величеству всеподданнейше доложил, и доложил совершенно правдиво и искренно, что образ жизни государя и его августейшей семьи столь скромен, что даже более скромен, нежели личная жизнь его ближайших слуг, советчиков, в том числе и меня (и это совершенная правда), но что дело не в расходах, которые производятся на его величество и на его августейшую семью, а дело идет о расходах, производимых по министерству двора во всех его разнообразных учреждениях и отделах. Вот что касается этих расходов, то я не мог бы не признать, что эти расходы производятся не в должном порядке, не с должной экономией и не при должном контроле.

Вообще, как я уже говорил, во всем, что касалось непосредственно меня, как министра финансов, я все время пользовался полнейшим доверием и полнейшей поддержкой его величества. Благодаря именно этому, то начало благоустройства финансов, которое положил его августейший родитель, мне удалось укрепить и установить во всех отношениях и во всех отраслях.

Что касается моих действий и мнений, как по экономическим вопросам, так и по вопросам политическим, то тут я встречал большое соперничество в мнениях других министров, и часто его величеству благоугодно было со мной не соглашаться и делать вопреки моим мнениям и моим советам.

Вероятно, я во многом и ошибался, но, тем не менее, и ныне я глубоко уверен в том, что если бы его императорскому величеству благоугодно было принимать во внимание мои мнения по вопросам как внутренней, так и внешней политики, то может быть и были бы сделаны ошибки, может быть были бы сделаны даже крупные ошибки, но, тем не менее, мы избегли бы всех тех катастроф, которые последовали, начиная с 1903 г., когда я был вынужден покинуть пост министра финансов, — впрочем, об этом я буду иметь случай говорить впоследствии.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Приезд в Петербург в 1897 году императора Франца-Иосифа, Вильгельма II и президента французской республики Феликса Фора.

15 апреля в Петербург приехал отдать визит государю престарелый австрийский император Франц-Иосиф. Представление ему и прием происходили в Зимнем дворце, при чем наш молодой император относился к Францу-Иосифу в высокой степени почтительно, как к престарелому старцу, что производило на всех самое прекрасное впечатление.

Император Франц-Иосиф пробыл в Петербурге только два дня и затем уехал к себе домой. Пребывание его в Петербурге ничем особенным не ознаменовалось.

16 июля прибыли в Петергоф император и императрица германские. Император пробыл здесь до 30 июля, 30 июля он выехал заграницу.

* Я видел императора Вильгельма, когда еще он был сыном наследника Фридриха и внуком императора Вильгельма der Grosse, два раза, при следующей обстановке. Раз в Эмсе незадолго до смерти Вильгельма I. Старик император приехал туда на несколько дней (это была последняя его поездка в Эмс) и остановился в доме Кургауза. По своему обыкновению он занимался перед большим окном, выходящим на площадь перед Кургаузом, так, чтобы все могли его видеть за занятиями. С ним приехал молодой внук Вильгельм — нынешний император. Меня удивило, что во время занятий деда он все время стоял около его кресла и почтительнейше исполнял курьерские обязанности,

как-то: распечатание и запечатание пакетов, подача перьев, карандашей и проч... Затем я видел Вильгельма, когда в первые годы царствования Александра III его величество присутствовал на маневрах около Бреста. Мы стояли с императорским поездом на одной из маленьких станций линии, идущей из Бреста в Белосток. Государь занимал замок, находившийся около станции и принадлежавший одному помещику. Я был управляющим железною дорогою. Вдруг приезжает на станцию генерал-адъютант Черевин и спрашивает меня, сколько нужно времени, чтобы экстренно доставить прусский мундир для его величества из Петербурга.

Я сказал, что 48 часов.

Затем последовало экстренное распоряжение о доставлении этого мундира экстренным паровозом.

Через два дня императорский поезд отошел в Брест, при чем мне тогда же, когда потребовали мундир, Черевин сказал, что император Вильгельм просил разрешения царя отправить к нему его приветствовать своего внука Вильгельма. Наш поезд подошел к станции за несколько минут до прибытия поезда с Вильгельмом. Когда этот последний поезд подходил, государь снял плащ и передал его конвойному казаку. Вильгельм вышел из поезда, государь с ним поздоровался, представил почетный караул и свиту. Вильгельм себя держал высоко почтительно, точно флигель-адъютант императора. Когда церемония была окончена, государь повернулся по направлению к казаку с плащом и громко сказал: «дай плащ». В этот момент Вильгельм со всех ног кинулся к казаку, выхватил у него плащ, поднес и накинул его на государя . . .

Тогда эти факты меня несколько удивили, ибо такое отношение к императору не только со стороны членов царской фамилии, но и свиты у нас не практикуется. После же, узнавши ближе характер будущего императора, я вспомнил, что сказанные факты совсем в его натуре и что такой образ действий не есть внешнее оказательство, но находится в полнейшей гармонии с его убеждениями. Он по натуре правитель народов и считает императора сверх-человеком. Теперь его брат принц Генрих весьма часто, прощаясь с ним, целует ему руку в присутствии всех. Вильгельм этим и, вообще, когда ему в присутствии многих лиц целуют руку, нисколько не стесняется и принимает это как должное. Я с своей стороны нахожу, что было бы нелишним, если бы такие отношения к государю были введены в нравы и нашего царского дома. Было бы меньше распущенности . . . *.

Пребывание германского императора ознаменовалось некоторыми фактами, которые имели громадное влияние на последующие

события. Германский император остановился в Петергофе в Большом дворце. Там он все время и жил и только лишь один раз приехал в Петербург на завтрак к германскому послу, князю Радолину. После завтрака император имел выход в общие салоны, а затем особое свидание со мною в кабинете посла.

По принятому обычаю, по прибытии императора, был парадный официальный обед. Перед обедом, как только я приехал в Петергоф, ко мне подошел один из состоящих при германском императоре и сказал мне, что германский император желал бы до обеда со мною познакомиться и желал бы, чтобы я пришел к нему в его аппартаменты.

Я пришел к императору, когда он был еще не совсем одет; я говорил с ним в первый раз. Германский император обратился ко мне со следующей речью: он знает о том, какой я мудрый и выдающийся государственный деятель, а потому, как совершенное исключение, он мне жалует высший орден черного орла.

Этот орден германский император немедленно мне вручил, добавив, что таковой дается только царским особам и министрам иностранных дел, а мне, министру финансов, он жалует его как совершенное исключение, так как этого исключения еще никогда не делалось.

Я, конечно, был польщен этою высокою честью и милостью.

Затем в Петергофе были военные смотры, в которых я не принимал никакого участия.

Когда германский император посетил Петербург, я был приглашен послом Радолиным, который сказал мне, что император очень бы просил меня прийти к такому-то часу, так как он хотел со мною переговорить.

После завтрака, который происходил исключительно в посольской среде, германский император вышел в гостиную, в которой, как полагается, стояли все чины посольства, а также туда вышли и все русские чины, состоявшие при нем—кажется: генерал свиты, генерал-адъютант, флигель-адъютант и т. д.

Германский император очень удивил меня своими манерами: он вышел, вероятно, потому, что был в интимном кружке, совершенно как ферт, делая совсем неподобающие личности императора жесты, как рукою, так и ногою. Очевидно, он делал это потому, что был в интимном кружке.

Император германский пошел со мной в кабинет посла, где, оставшись со мной наедине, император обратился ко мне со следующей речью: он сказал, что Америка представляет для Европы большую конкуренцию, конкуренцию всему европейскому земледелию, что Америка наживается на счет Европы, а потому он находит, что следовало бы в отношении Америки принять особливые меры, т.-е. относительно таможни; не почитать ее страною наиболее благоприятствуемой, т.-е. не тракто-

вать ее, как все остальные европейские страны, а держать для нее совершенно особливые пошлины, дабы Америка не могла наводнять Европу своими продуктами.

По этому предмету я заметил его императорскому величеству, что я не мог бы принять его мнение, что, по-моему, не только можно было бы, но и должно принять эту точку зрения вообще в отношении всех стран, не входящих в континент Европы, т.-е. стран, отделенных от Европы морями, а следовательно в том числе и Англии; но что принимать такую специальную меру по отношению Америки я считал бы весьма неудобным и бесцельным, так как едва ли другие европейские страны на это согласятся.

Германский император объяснил мне, что он не может причислить Англию к странам заморским и что он стремится установить с англичанами наилучшие отношения; что его мнение заключается в том, что следует принять эти меры только в отношении Америки, так как Англия не наводняет Европу сельскохозяйственными продуктами, между тем, как именно Америка понижает цены всех сельско-хозяйственных продуктов в Европе.

На это я его величеству доложил, что, мне кажется, России будет чрезвычайно трудно встать на такую точку зрения уже потому, что Россия находится с Америкой, со времен освободительной войны Северо-Американских Штатов, в самых прекрасных отношениях, и России нет повода вдруг изменить свои отношения к Америке. Что касается вообще общеполитического положения, то я держусь такого убеждения, что экономические отношения находятся в неразрывной связи с политическими. В конце концов, хорошие политические отношения к известным странам не могут существовать без хороших экономических отношений, и обратно; что Европа в среде других стран представляет собою дряхлеющую старуху и что если так будет продолжаться, то через несколько столетий Европа будет совершенно ослаблена и потеряет первенствующее значение в мировом концерте, а заморские страны будут приобретать все большую и большую силу и через несколько столетий жители нашей земной планеты будут рассуждать о величии Европы так, как мы теперь рассуждаем о величии Римской империи, о величии Греции, о величии некоторых мало-азиатских стран и о величии Карфагена; затем я сказал, что недалеко то время, когда к Европе будут относиться только с почтением и с почтением в такой мере, в какой вообще благовоспитанные лица относятся к бывшим красавицам, уже одряхлевшим и еле двигающим ногами.

Его величество этот взгляд очень удивил, и он мне поставил вопрос:

— Что же, по вашему мнению, нужно делать для того, чтобы этого избегнуть?

Я ему на это ответил:

— Вообразите себе, ваше величество, что вся Европа представляет собою одну империю; что Европа не тратит массу денег, средств, крови и труда на соперничество различных стран между собою, не содержит миллионы войск для войн этих стран между собою и что Европа не представляет собою того военного лагеря, каким она ныне в действительности является, так как каждая страна боится своего соседа; конечно, тогда Европа была бы и гораздо сильнее, и гораздо культурнее; она, действительно, явилась бы хозяином всего мира, а не дряхлела бы под тяжестью взаимной вражды, соревнований и междуусобных войн. Для того, чтобы этого достигнуть, нужно прежде всего стремиться, чтобы установить прочные союзные отношения между Россией, Германией и Францией. Раз эти страны будут находиться между собою в твердом, непоколебимом союзе, то, несомненно, все остальные страны континента Европы к этому центральному союзу примкнут, и, таким образом, образуется общий континентальный союз, который освободит Европу от тех тягостей, которые она сама на себя наложила для взаимного соперничества. Тогда Европа сделается великой, снова расцветет, и ее доминирующее положение над всем миром будет сильным и установится на долгие времена. Иначе Европа и вообще отдельные страны, ее составляющие, находятся под риском больших невзгод.

Его величество, выслушав эту речь, сказал мне, что мой взгляд очень интересен и оригинален, затем милостиво распростился со мною.

Это было в 1897 году; прошло менее 15 лет, в это время уже появилась на свет божий великая Японская империя, произошла война между Англией и бурами, результатом которой создалось особое государство в Африке, входящее в сферу Английской империи. В значительной степени усилились некоторые южно-американские республики,—вообще заморские страны приобретают все большую и большую силу, как политическую, так и военную и экономическую.

Когда уехал германский император, то при первом моем докладе государю императору его величество передал мне маленькую записку, говоря, что записку эту ему дал германский император.

В этой записке было изложено то, что мне говорил германский император, т.-е. в ней говорилось об установлении боевых пошлин против Северо-Американской республики.

Я доложил его величеству, что об этом со мною говорил германский император и что я держусь такого-то мнения. Государь император приказал мне составить на эту записку ответ

в том самом духе, в котором я говорил германскому императору, при чем император сказал, что он мое мнение разделяет.

Я составил ответ в виде ноты без подписи и передал государю императору. Государь император сказал мне, что отошлет этот ответ германскому императору, при своем собственноручном письме.

После отбытия германского императора, я как-то разговаривал с генерал-адмиралом великим князем Алексеем Александровичем по поводу пребывания императора Вильгельма. Великий князь сказал мне, что вообще германский император человек довольно эксцентричный и что вот, когда император Вильгельм был в Петергофе, то раз случился следующий инцидент.

Государь император возвращался вдвоем с германским императором в экипаже. Когда государь вернулся из этой поездки, то к нему по какому-то делу зашел великий князь, государь сказал великому князю, что ему крайне неприятно, что на возвратном пути германский император спросил его: нужен ли России китайский порт Киао-Чао, что в этот порт русские суда никогда не заезжают, и что в своих целях, в интересах Германии, он желал бы занять этот порт, чтобы он был стоянкой германских судов, но не хочет этого сделать, не имея на то согласия русского императора.

Государь не сказал великому князю Алексею Александровичу, дал ли он или не дал этого согласия, но только прибавил, что германский император, заговорив с ним об этом, поставил его в самое неловкое положение, так как он гость и категорически отказать ему в этом было бы неловко, что вообще ему это крайне неприятно.

Его величество человек весьма деликатный, и эта черта деликатности и крайней воспитанности проявлялась в нем особенно в его молодости. Мне поэтому понятно, что раз он ехал с своим гостем, германским императором, который так некорректно обратился к нему, прося, чтобы государь не препятствовал занятию Германией китайского порта Киао-Чао, то государь, по характеру своему, не мог категорически отказать, и германский император мог понять, что русский государь дает, так сказать, на это свое благословение.

30-го июля, как я уже говорил, германский император уехал заграницу, а 11 августа прибыл в Петербург с ответным визитом государю императору президент французской республики Феликс Фор.

Феликса Фора сопровождал министр иностранных дел Ганото, который был в то время сравнительно молодым человеком.

В настоящее время Ганото известен не только как министр иностранных дел, но и как академик; он был причислен к «бессмертным» за свои выдающиеся научно-литературные труды, в особенности за книгу о герцоге Ришелье.

Президент Фор представлял собою человека довольно видного, в молодости, вероятно, красивого, и имевшего претензию на красоту и в то время, когда он был уже в пожилых годах президентом. Фор сначала попал в сенат, а потом уже сделался президентом. Ранее же он был оптовым торговцем, кажется, лесом.

Он представлял собою тип человека любезного, умного, галантного, но в буржуазном смысле этого слова; имел претензию нравиться женщинам и держал себя довольно высокомерно; конечно, в душе, он сожалел, что он, собственно, только президент французской республики, а не король или не император Франции.

Я встречался с Феликсом Фором и имел случай с ним говорить не только в Петербурге, но и впоследствии в Париже. Как-то, будучи в Париже, я был даже приглашен к нему в Рамбулье (в Рамбулье президенты живут, обыкновенно, летом), где он мне дал торжественный обед, а затем после обеда мы сидели с ним на балконе, а под балконом проходили группы различных обществ с местной музыкой.

Сам по себе, по своим дарованиям, Феликс Фор ничего выдающегося из себя не представлял. Жена его, которая по летам вполне соответствовала его возрасту, была простая, буржуазная француженка, весьма скромная, и, повидимому, шокировавшая его при торжественных случаях.

Феликс Фор продолжал ловеласничать и, — что не составляет секрета, — кончил свою жизнь крайне трагически и для человека, в особенности пожилого, а тем более для президента республики, крайне неприлично: у него произошел разрыв сердца, когда он находился наедине, в комнате, с одной дамой, женою известного художника Стенэль, которая год или два тому назад имела в Париже скандальный процесс, будучи обвинена в убийстве или в соучастии в убийстве своего мужа. Она, кажется, жива, но живет в Англии. Бывая часто в Биаррице, я много о ней слышал, когда она была еще девицей; она там жила и родилась, кажется, в Байоне (7 верст от Биаррица). Дама эта была очень красивая.

Лица, которые на крик этой дамы вошли в ту комнату, где был президент Фор, застали картину, которую трудно изобразить: Фор находился в самом неприличном положении, мертвый, с рукою, охватившей ее густые прекрасные волосы, а она стояла около него на коленях.

Когда Феликс Фор был в Петербурге, то произошло следующее знаменательное событие, которое обрисовывает разность

характеров императора Александра III и его сына императора Николая II.

Император Александр III, вопреки всем традициям России, вошел в соглашение с Францией и нарушил традиционный союз с Германией. Во время своего царствования, он точно исполнял это соглашение, и, что особенно знаменательно для такого абсолютного императора, как Александр III, он выслушивал при официальных свиданиях и при официальных встречах республиканский гимн Франции в ответ на русский гимн, который приводил французов в восторг. Но далее соглашения император Александр III не шел.

При приезде Феликса Фора в Петербург в своем ответном в честь Феликса Фора тосте, провозглашенном государем императором на тост Феликса Фора, его величество объявил соглашение, сделанное его отцом, с о ю з о м с Францией. Итак, с того времени мы находимся с Францией не в соглашении, а в союзе. Таким образом, мы еще более, по букве, на бумаге, соединились с Францией. Насколько это соединение сделается большим в жизни, это покажет нам история.

Такой результат был достигнут тою дипломатиею, которую вел Ганото, будучи в Петербурге вместе с Феликсом Фором, так как Феликс Фор, конечно, в таких делах жил умом своего министра иностранных дел.

С Ганото я несколько раз говорил в Петербурге, а потом встречался с ним и в Париже, когда он уже не был министром иностранных дел. Он, несомненно, человек весьма даровитый, очень образованный и умный; в то время он, сравнительно, был молодым, но не симпатичным; мне, например, не понравились его алюры, когда он, вместе с Фором, приехал в Петропавловский собор возложить венок на памятник создателя русско-французского соглашения, императора Александра III. В это время я тоже был в Петропавловском соборе, кажется потому, что Фор или заезжал или имел намерение заехать на монетный двор, который находился в моем ведении.

Ганото вошел в собор в плаще и около могилы, когда нужно было класть венок, он, видя, что все находятся без верхнего платья, догадался снять свой плащ, но, сняв его, не положил к себе на руку, а самым бесцеремонным образом отдал его в руки одному из находящихся около русских офицеров. Офицер этот, несколько растерявшись, взял плащ и держал на руках, пока Ганото, выходя из собора, снова его на себя не надел. Меня тогда очень возмутила эта бесцеремонность французика Ганото.

Будучи в Петербурге, Феликс Фор подробно осматривал экспедицию заготовления государственных бумаг, которую я ему в качестве министра финансов показывал. Он взял себе на память несколько безделушек из произведения этого замечательного

в техническом и художественном отношении заведения. Там мы пили за здоровье его, за благополучие Франции, а он, с своей стороны, пил за здоровье императора и за благополучие Русской империи.

Как только Феликс Фор покинул Петербург, его величество с августейшей супругой изволили отправиться в Варшаву, были в Белостоке на маневрах и в Беловеже, а затем из Варшавы прибыли в Спалу; там государь император охотился, а затем 19-го сентября отправился в Дармштадт, к брату своей августейшей супруги.

Эта поездка государя императора в Царство Польское была знаменательна в том отношении, что поляки встречали его величество крайне радушно, надеясь, что новый молодой император установит такие отношения к полякам, которые, если не похоронят, то в значительной степени загладят прошедшее, в коем, конечно, в значительной степени виноваты и сами поляки.

Основания для такой надежды полякам давал генерал-губернатор Имеретинский, который ввел, или, вернее, начал вводить умиротворение и единение между поляками и русскими.

Его величество также отнесся к полякам и высшему польскому обществу весьма милостиво и симпатично, — что также порождало в поляках некоторые надежды, которые, к сожалению, не осуществились.

Я уверен, что в настоящее время поляки, и не только в настоящее время, но вообще после смерти князя Имеретинского и назначения на пост генерал-губернатора Черткова, весьма сожалеют о том времени, когда генерал-губернатором был Гурко, который хотя и вел чисто русское направление и не давал спуску излишним тенденциям и фанабериям поляков, но представлял собою человека твердого, определенного, справедливого, честного и знающего, чего он хочет.

Около 20 октября его величество уже вернулся в Царское Село, а 22-го октября была представлена государю офенбаховская депутация короля абиссинского, состоящая из Леонтьева и полубезграмотного абиссинца Ато Иосифа.

Леонтьев был по натуре большой авантюрист. Сначала он был офицером, потом начал пускаться в разные аферы довольно мелкого свойства, попал в Абиссинию, и уверил некоторые русские высшие сферы, что он чуть ли не ближайший советник и руководитель короля Абиссинии Менелика,—хотя Менелик его совсем не чтил, очень мало его видел и если терпел, то только потому, что, с другой стороны, Леонтьев уверил Менелика, что за ним стоит русское правительство и русский государь император.

Я знаю от лиц, которые были посланы с депутацией от правительства в Абиссинию,—например, от графа Велепольского, офицера лейб-гусарского полка, — что Леонтьев никакой роли в Абиссинии не играл и что там к нему также относились крайне недоверчиво, а потому Леонтьева и отправили управлять какою-то совершенно дикою областью, назначив его генерал-губернатором этой области, чтобы он был подальше от короля Менелика и от абиссинского правительства.

Тем не менее Леонтьев объявил себя там графом и, приезжая затем в Россию и заграницу, именовал себя абиссинским графом Леонтьевым, при чем он все время делал какие-то аферы, основывал какие-то концессии, брал промессы и всегда путался.

У нас в России в высших сферах существует страсть к завоеваниям, или, вернее, к захватам того, что, по мнению правительства, плохо лежит.

Так как Абиссиния, в конце концов, страна полуидолопоклонническая, но в этой их религии есть некоторые проблески православия, православной церкви, то на том основании мы очень желали объявить Абиссинию под своим покровительством, а при удобном случае ее и скушать.

Если кто хочет наглядно познакомиться с историей Российской империи и купить в книжных магазинах продаваемую в них краткую историю (с атласами) развития Российской империи,—издание одного из благотворительных правительственных учреждений,—для детей среднего возраста,—то, пробежав карты развития России со времен Рюрика, каждый гимназист убедится, что великая Российская империя, в течение тысячелетнего своего существования, образовалась тем, что славянские племена, жившие в России, постепенно поглощали силою оружия и всякими другими путями целую массу других народностей и таким образом явилась Российская империя, которая представляет собой конгломерат различных народностей, а потому, в сущности говоря, Р о с с и и нет, а есть Р о с с и й с к а я и м п е р и я; ну, а после того, как мы поглотили целую массу чуждых нам племен и захватили их земли—теперь в Думе и «Новом Времени» явилась полу-комическая национальная партия, которая объявляет, что, мол, Россия должна быть для русских, т.-е. для тех, которые исповедают православную религию, фамилия которых кончается на «ов» и которые читают «Русское Знамя» и «Голос Москвы».

В конце же этого 1897 года последовали следующие серьезные изменения в нашей администрации.

Был уволен от должности киевского генерал-губернатора граф Игнатьев, Алексей Павлович (брат константинопольского посла), человек без всяких талантов, довольно пронырливый,

но, по существу, человек недурной. Благодаря своим связям в Петербурге и пронырливости, он и составлял свою карьеру. Еще при императоре Александре III граф Игнатьев был назначен киевским генерал-губернатором, но ему не были даны в командование войска киевского военного округа, а командующим войсками киевского военного округа был назначен известный генерал Драгомиров.

Между графом Игнатьевым и Драгомировым были нелады, что у нас в России часто бывает, когда власть гражданскую в данном округе не соединяют с властью военной; это происходит именно от того, что у нас и по настоящее время, несмотря на так называемую конституцию, а в особенности после ее окраски Столыпиным, — власть гражданская основывается гораздо больше на произволе, нежели на законе. Когда этот произвол хлещет обывателей, то, конечно, никакой справы с гражданским высшим властителем обыватели иметь не могут, но когда этот произвол коснется до вопросов, с которыми связаны интересы военного ведомства, то тут он получает отпор со стороны командующих войсками.

В результате рождаются такие отношения, которые, в конце концов, приводят к тому, что или тот или другой начальник должен уйти.

То же самое случилось и в Киеве.

Как граф Игнатьев, так и Драгомиров имели свои поддержки в Петербурге; одолел Драгомиров, или, вернее говоря, одолел генерал Ванновский, военный министр — министра внутренних дел того времени Горемыкина, а потому граф Игнатьев был сделан членом Государственного Совета, а Драгомиров был сделан и командующим войсками и генерал-губернатором.

Драгомиров представлял собою человека, несомненно, талантливого, оригинального, человека образованного, особливо в военном отношении, с большим юмором, знающего военное дело, хотя и держался старых военных традиций, традиций того времени, когда все военное искусство сводилось к храбрости и к афоризму Суворова: «штык — молодец, а пуля — дура». Последние войны, а в особенности японская война, не вполне оправдали этот афоризм. Японская война показала, что кроме храбрости в настоящих войнах имеет громадное влияние техника, т.-е. та же пуля во всех ее преобразованиях и усовершенствованиях, сделанных с развитием технических наук.

Драгомиров отличился во время последней турецкой войны при переправе наших войск через Дунай; тогда же он был ранен в ногу и, благодаря этой ране, всегда немножко прихрамывал,— и кичился этим недостатком.

Драгомиров очень любил поесть, выпить, а поэтому из его подчиненных у него всегда были друзья, которые потакали этим его слабостям.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Захват Ляодунского полуострова.

Как-то раз, в 1897 г. во время заседания чумной комиссии [1]) из министерства иностранных дел принесли экстренную депешу, дешифрованную в министерстве, и подали ее министру иностранных дел графу Муравьеву.

Граф Муравьев, прочитав эту депешу и несколько взволновавшись, передал ее прочесть мне. В этой депеше говорилось, что германские военные суда вошли в порт Тзин-Тоу (Киао-Чао).

Прочитав эту телеграмму, я сказал графу Муравьеву, что я надеюсь на то, что это, вероятно, временное занятие и что они (т.-е. немцы) затем уйдут, но, если бы они не ушли, то я уверен, что Россия и другие державы заставят их покинуть этот порт.

На это граф Муравьев мне ничего не ответил, очевидно, не желая сказать ни «нет», ни «да».

После сказанного заседания чумной комиссии, на котором министр иностранных дел и я узнали о входе немецких военных судов в порт Цинтау, — при чем для министра иностранных дел это известие не было вполне неожиданным, для меня же это было вполне неожиданно,—через несколько дней о входе этих судов в порт Цинтау сделалось известным из официальных сообщений, при чем германская дипломатия объявила, что суда эти туда вошли для того, чтобы наказать китайцев, так как там несколько времени тому назад был убит один из немецких миссионеров. Но всем показалось странным, что для совершения такой экзекуции понадобилось, чтобы в порт этот вошла довольно сильная эскадра, эскадра эта высадила на берег военную силу, которая и заняла Цинтау.

---

[1]) См. стр. 463.

В скором времени, а именно в начале ноября, некоторые министры и я в том числе, получили записку графа Муравьева, а затем и приглашение прибыть в заседание, которое будет под председательством его императорского величества для обсуждения этой записки.

На заседании присутствовали: военный министр Ванновский, я, управляющий морским министерством Тыртов и министр иностранных дел граф Муравьев.

В записке этой высказывалось, что в виду того, что немцы заняли Цинтау, явился благоприятный для нас момент занять один из китайских портов, при чем предлагалось занять Порт-Артур или рядом находящийся Да-лянь-ван.

В этом заседании граф Муравьев заявил, что считает такого рода занятие, или выражаясь правильнее, «захват», — весьма своевременным, так как для России было бы желательно иметь порт в Тихом океане на Дальнем Востоке, при чем порты эти (Порт-Артур или Да-лянь-ван) по стратегическому своему положению являются местами, которые имеют громадное значение.

Я весьма протестовал против этой меры, высказывал, что такого рода захват, после того, как мы провозгласили принцип неприкосновенности Китая, в силу этого принципа заставили Японию покинуть Ляодунский полуостров, а в том числе Порт-Артур и Да-лянь-ван, которые входят в Ляодунский полуостров, после того, как мы вошли с Китаем в секретный союзный оборонительный договор против Японии, при чем обязались защищать Китай от всяких поползновений Японии занять какую-либо часть китайской территории,—что после всего этого подобного рода захват явился бы мерою возмутительною и в высокой степени коварною. Что кроме того, если оставить в стороне коварство подобной меры, как по отношению Японии, так и по отношению Китая, и руководствоваться исключительно эгоистическими соображениями, то и в таком случае, по моему мнению, мера эта является опасною, ибо мы только что начали постройку Восточно-Китайской дороги через Монголию и Китай, отношения у нас там превосходные, но занятие Порт-Артура или Да-лянь-вана, несомненно, возбудит Китай и из страны крайне к нам расположенной и дружественной сделает страну, нас ненавидящую, вследствие нашего коварства. Я сказал, что пункты эти, Порт-Артур или Да-лянь-ван, очевидно придется тогда соединить с Восточно-Китайской дорогой для того, чтобы хоть таким образом как-нибудь обеспечить прочность владения этими пунктами; кроме того, это вынудит нас построить еще ветвь железной дороги и провести эту ветвь по Манчжурии (местности, весьма

густо населенной китайцами), через Мукден — родину китайского императорского дома. Все это вовлечет нас в такие осложнения, которые могут кончиться самыми плачевными результатами.

Графа Муравьева очень поддерживал военный министр Ванновский, стоя на той точке зрения, что, хотя он не судья в вопросах международной дипломатии, но находит, что раз министр иностранных дел меру эту считает безопасною, то он с своей стороны, как военный министр, полагает, что следует захватить Порт-Артур или Да-лянь-ван.

Морской министр по существу вопроса не высказывался, а только заявлял, что он, как управляющий морским министерством, находит, что для флота было бы гораздо удобнее иметь русский порт где-нибудь на берегу Кореи, ближе к открытому Тихому океану; что порты эти Да-лянь-ван и Порт-Артур не являются такими пунктами, которые могли бы вполне удовлетворить морское министерство.

Так как я предвидел в этом шаге — дело роковое, которое должно было кончиться ужасами, то я несколько раз входил в прения с министром иностранных дел и военным министром, при чем министр иностранных дел на мои указания, что к этим мерам не могут отнестись равнодушно ни Япония, ни Англия, — заявил, что он берет это на свою ответственность и уверен, что ни Япония, ни Англия никаких репрессий по этому предмету не предпримут.

Тем не менее, в виду моих горячих возражений, государь император (которому мои возражения, повидимому, были неприятны) с ними изволил согласиться, и, таким образом, был составлен журнал совещания, в котором было сказано, что его величеству нежелательно было согласиться с предложением министра иностранных дел.

Должен сказать, что граф Муравьев, будучи человеком весьма пустым, тем не менее желал непременно чем-нибудь отличиться, и ему не давал покоя тот факт, что ранее вступления его на пост министра я и князь Лобанов-Ростовский достигли таких больших результатов в политике на Дальнем Востоке, что, с одной стороны, мы получили возможность вести прямо Восточно-Китайскую дорогу, а с другой получили преобладающее влияние, сравнительно с Японией, в Корее; вместе с тем сохранили весьма дружественные отношения с Китаем и не враждебные отношения с Японией, так как Япония мирилась с тем, что после японско-китайской войны мы удалили ее с Ляодунского полуострова; мирилась же она с этим потому, что ожидала больших для себя благ от проведения великого Сибирского пути по прямой линии до Владивостока, — что еще в большей степени вводило Японию в сонм европейских держав.

Во время упомянутого заседания я, между прочим, развивал ту мысль, что я не могу понять подобной логики.

Если Германия вошла в Цинтау с намерением его захватить, и если этот шаг для нас вреден, то, конечно, мы должны воздействовать на Германию; но из этого факта, что Германия поступила некорректно и неправильно в отношении нас в том случае, если Цинтау нам нужен, и для нас нежелательно и вредно, чтобы там воссела Германия,—никоим образом нельзя вывести заключения, что и мы должны поступить точно так же, как Германия, и сделать также захват у Китая. Тем более такого вывода нельзя сделать потому, что Китай не находится с Германией в союзном отношении, а мы находимся с Китаем в союзе; мы обещались оборонять Китай; и вдруг вместо обороны мы сами начнем захват его территории.

Через несколько дней после заседания, когда государю императору уже угодно было утвердить журнал совещания, я был у его величества с всеподданнейшим докладом. Государь император, повидимому, немного смущенный, сказал мне:

— А знаете ли, Сергей Юльевич, я решил взять Порт-Артур и Да-лянь-ван и направил уже туда нашу флотилию с военной силой.—При чем прибавил:—Я это сделал потому, что министр иностранных дел мне доложил после заседания, что, по его сведениям, английские суда крейсируют в местностях около Порт-Артура и Да-лянь-вана, и что если мы не захватим эти порты, то их захватят англичане.

Конечно, последнее сведение, которое доложил граф Муравьев государю, было неверно, как я узнал после об этом от английского посла: действительно в водах Тихого океана, около тех местностей находилось несколько английских военных судов, но они появились там после того, как Германия вышла с своими военными судами в Цинтау, — но никакого намерения захватить какой-нибудь порт англичане не имели.

Сказанное его величеством сообщение меня весьма расстроило. Выходя из кабинета государя, я в приемной встретил великого князя Александра Михайловича, которому, вероятно, о том, что наши суда были направлены в Порт-Артур, нагруженные войсками, уже было известно, так как он заговорил со мною об этом.

Я с ним в разговор не вступал, а только сказал:

— Вот, ваше императорское высочество, припомните сегодняшний день,—вы увидите, какие этот роковой шаг будет иметь ужасные для России последствия.

Затем от государя императора, из Царского Села, я прямо отправился к г. Чирскому—лицу, заменявшему германского посла, так как германский посол — князь Радолин — был в отпуску.

Г-ну Чирскому (который ныне состоит германским послом в Вене, а в то время был советником германского посольства в Петербурге) я сказал, что, когда здесь был германский император, то он мне говорил, что если когда-нибудь я пожелаю просить его о чем-нибудь, или высказать ему какое-нибудь мое мнение, то я могу это сделать, не стесняясь, прямо через посольство.

И вот теперь, — сказал я, — я прошу вас убедительно телеграфировать германскому императору, что я, как в интересах моего отечества, так и в интересах Германии, — убедительно прошу и советую, расправившись с виновными в Цинтау,—казнив тех, кого он считает нужным казнить, взыскав контрибуцию, — если он это сочтет нужным,—удалиться из Цинтау, так как этот шаг повлечет за собой и другие шаги, которые будут иметь самые ужасные последствия.

Не прошло и нескольких дней, как Чирский приехал ко мне и показал мне в ответ на мою телеграмму телеграмму от имени германского императора, следующего содержания:

«Передайте Витте, что из его телеграммы я усмотрел, что ему некоторые обстоятельства, весьма существенные и касающиеся этого дела — неизвестны, а потому последовать его совету мы не можем».

Тогда я припомнил то, что мне говорил генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович; я припомнил о том, что случилось, когда германский император, будучи в Петергофе, ехал с нашим императором со смотра войск во дворец; припомнил также немое поведение графа Муравьева в чумной комиссии, когда получилось первое известие о входе германских судов в Цинтау.

Наконец, через некоторое время граф Муравьев, в оправдание себя, мне говорил: — Вот вы в заседании говорили, что если мы считаем для нас вредным шаг Германии по захвату Цинтау, то мы должны воздействовать на Германию, но не делать захватов у Китая, но мы не можем действовать на Германию, так как нами было дано неосторожно согласие на тот шаг, который она сделала.

Тем не менее, предвидя все пагубные последствия от того решения, которое его величеству угодно было принять, я все-таки не сдавался и, с своей стороны, старался всяческими путями заставить одуматься и покинуть Порт-Артур, при чем имел несколько весьма резких объяснений с министром иностранных дел. Вследствие этих объяснений до самой смерти графа Мура-

вьева (о чем я буду говорить далее) между мною и им установились весьма натянутые и холодные отношения.

Но все мои попытки привести к благоразумию были тщетны, что весьма понятно; раз его императорскому величеству министр иностранных дел и военный министр советуют для блага России взять и захватить Порт-Артур или Да-лянь-ван, то довольно естественно было со стороны государя императора, молодого, жаждавшего славы, успехов и побед, следовать совету этих двух государственных деятелей.

Когда наши суда стояли еще около Порт-Артура, и мы еще не делали высадку, я несколько раз виделся с английским послом О'Конором (который впоследствии был английским послом в Константинополе и несколько лет тому назад умер) и германским послом Радолиным (который впоследствии был послом в Париже и ныне находится в отставке). С Радолиным я лично был в очень хороших отношениях.

Когда Радолин вернулся из отпуска, то, придя ко мне, он заговорил со мною о происшедшем и спросил:

— Что вы думаете о всем происшедшем?

Я ему ответил:

— Я думаю, что все это большое ребячество и, к сожалению, это ребячество очень дурно кончится. (При чем, конечно, слово «ребячество» я относил к действиям германского императора, который и вызвал весь этот инцидент.)

Радолин почел нужным дать по поводу этого разговора со мною телеграмму в Берлин. В каком виде он передал в этой телеграмме разговор со мною—я не знаю. Но вот что произошло.

Министерство иностранных дел, — как и вообще все министерства, — конечно, старается дешифрировать телеграммы, которые подаются иностранными послами; весьма естественно, что и наше министерство дешифрировало депеши, которые посылали иностранные послы, при чем, несмотря на крайне запутанные дипломатические шифры и постоянную их перемену — у нас, в России, по крайней мере в мое время, не могли совладать лишь с некоторыми шифрами, а большинство шифров легко дешифрировали; поэтому и мой разговор с Радолиным был дешифрирован и передан графу Муравьеву.

Граф Муравьев почел порядочным телеграмму Радолина о моем с ним разговоре представить его величеству.

Когда я, через несколько дней после разговора с Радолиным, был у его величества, то государь со мною был необыкновенно холоден, и, когда я с ним прощался, он встал и сказал:

— Сергей Юльевич, я бы советовал вам быть более осторожным в разговорах с иностранными послами.

Я тогда сразу не понял, о каком именно разговоре идет речь, и ответил государю:

— Ваше императорское величество, я не знаю, на какой разговор вы намекаете, но знаю одно, что я никогда с иностранными послами не говорю что-либо, что могло бы принести вред вашему императорскому величеству или моей родине.

На это мне государь император ничего не ответил.

Наши суда с войсками все стояли около Порт-Артура, при чем, когда они прибыли в Порт-Артур, то граф Муравьев дал указание нашему посланнику в Китае, чтобы он успокоил китайское правительство и заявил, что мы пришли туда для того, чтобы помочь Китаю избавиться от немцев, что мы пришли защищать Китай от немцев и как только немцы уйдут — и мы уйдем.

Поэтому Китай отнесся к нашему приходу весьма радостно и первые недели верил нашему сообщению.

Но вскоре китайское правительство от своего посла в Берлине узнало, что мы действуем по соглашению с Германией, и поэтому начало к нам относиться крайне недоверчиво.

Между тем 1 января последовало увольнение военного министра генерал-адъютанта Ванновского; вместо него управляющим министерством был сделан генерал-лейтенант Куропаткин. Таким образом вся эта история с захватом Порт-Артура в первоначальном ее виде была совершена без участия Куропаткина.

Я надеялся, что с переменой военного министра, может быть, новый военный министр Куропаткин воздействует в моем направлении, и мы покинем Порт-Артур.

В это время было назначено совещание под председательством великого князя Алексея Александровича, которое имело в виду определить: какие требования предъявить Китаю.

В этом заседании уже участвовал Куропаткин.

Ко всей этой затее, — как ранее, так и в этом заседании, — я продолжал относиться отрицательно, но поддержки Куропаткина не нашел.

Напротив того, Куропаткин считал, что нам следует предъявить Китаю не только требования, чтобы он нам уступил Порт-Артур и Да-лянь-ван, но и всю часть Ляодунского полуострова, которая составила нашу так называемую Квантунскую область. Куропаткин при этом опирался на тот довод, что без этого мы не будем в состоянии защищать Порт-Артур и Да-лянь-ван

в случае войны. Затем он говорил, что кроме того необходимо скорей построить ветвь от Восточно-Китайской дороги до Порт-Артура.

Вообще Куропаткин не высказывался о том, хорошо ли мы сделали, что пошли в Порт-Артур и Да-лянь-ван, но только предъявил вот эти требования, как требования необходимые.

В этом совещании, согласно этим требованиям, были выработаны условия, которые и были предъявлены Китаю.

После этого, когда уже его величество переехал из Царского Села в Зимний дворец, и после того, как государь сказал мне в Царском Селе, что советует мне быть более осторожным в разговорах с послами, я при первом докладе его величеству в Зимнем дворце высказал государю, что в виду замечания, которое его величество мне сделал, и в виду моих разногласий по поводу всего происшедшего, я просил бы его величество освободить меня от должности министра.

Государь император на это мне сказал, что не считает возможным меня отпустить, что как министру финансов он мне оказывает полнейшее доверие, что я на его отношения ко мне, как к министру финансов, сетовать не могу (что совершенно правильно, так как до самого моего ухода с поста министра финансов государь всегда оказывал мне полное доверие), что он меня лично очень ценит, а поэтому не отпускает меня и просит продолжать ему оказывать содействие; при чем его величество сказал мне, что вопрос относительно захвата Порт-Артура и Да-лянь-ван уже кончен, хорошо ли сделано это или дурно — покажет будущее, но, во всяком случае, дело это кончено, и он этого не изменит; поэтому государь просил меня оказать ему содействие, чтобы дело это было приведено в исполнение возможно более благополучно, что он лично меня об этом просит.

Между тем в это время в Пекине посланник Павлов, заменяющий нашего посланника Кассини, предъявил условие, по которому Китай должен был нам передать в арендное содержание на 36 лет всю Квантунскую область вместе с Порт-Артуром и бухтой Да-лянь-ван, при чем это арендное содержание было особого свойства, так как ни нами, ни со стороны Китая вопрос об уплате за аренду не подымался. Китайское правительство артачилось и не соглашалось на это.

Наши же военные суда, нагруженные войсками, стояли в бухте Порт-Артура; войска наши не высаживались. При чем сперва к нашим морякам и к нашим русским судам китайские власти в Порт-Артуре относились благосклонно, но затем резко переменили образ своего поведения.

Китайская императрица-регентша, вместе с малолетним императором, переехала из Пекина в обыкновенное дачное местопребывание, недалеко от города, куда постоянно ездили с докладом министры, и, под влиянием английских и японских дипломатов, ни на какие уступки не соглашалась.

При таком положении дела, видя, что его величество не уступит и, если мы не заключим договорных условий относительно передачи нам Квантунской области, то произойдет высадка наших войск и, в случае сопротивления, кровопролитие, — я вмешался в дело, а именно: телеграфировал агенту министерства финансов Покотилову (который впоследствии был посланником в Пекине), что я прошу его повидаться с Ли-Хун-Чаном и с другим сановником Чан-Ин-Хуаном и посоветовать им, от моего имени, оказать влияние на то, чтобы соглашение, нами предложенное, было принято; при чем я пообещал как первому, так и второму сановнику значительные подарки, а именно — первому 500.000 руб., а второму — 250.000 руб. Это был единственный раз, когда в моих переговорах с китайцами я прибег к заинтересованию их посредством взяток.

Эти два сановника, видя, что передача нам Квантунской области во всяком случае является неизбежной, так как они узнали, что наши суда стоят нагруженные войсками и в полном боевом порядке, решили поехать к императрице и уговорить ее разрешить подписать предложение России.

После долгих уговоров императрица уступила, о чем я получил телеграмму от Покотилова, в которой говорилось, что соглашение будет подписано; эту телеграмму я сообщил государю императору, и, так как его величество не знал о предпринятых мною шагах, то он написал на моем сообщении: «Не понимаю, в чем дело?» Когда же я объяснил государю, что дело идет о том, то китайское правительство согласилось, по моему настоянию, подписать соглашение, чего тщетно добивался несколько недель наш поверенный по делам, то его величеству угодно было на телеграмме отметить: «Это так хорошо, что даже не верится».

Соглашение было подписано 15 марта 1898 г. Ли-Хун-Чаном и Чан-Ин-Хуаном с одной стороны и нашим поверенным — с другой.

Если бы китайское правительство нам не уступило, то главному командиру адмиралу Дубасову (который был главным командиром эскадры и сухопутных войск, там находящихся) был бы отдан приказ, чтобы через несколько дней, в случае отказа Китая, — занять Квантунскую область, что было сделать, в сущности, весьма легко, так как самая крепость Порт-Артур

была совершенно игрушечной, и никаких войск в Квантунской области Китай не имел.

Таким образом совершился тот роковой шаг, который повлек за собой все дальнейшие последствия, кончившиеся несчастной для нас японской войной и затем и смутами. Этот захват нарушил все наш традиционные отношения к Китаю и нарушил их навсегда.

Захват и события, которые явились последствием их, привели Китай к тому положению, в котором он находится и ныне, т.-е. к тому, что на-днях должна рухнуть Китайская империя и водвориться республика, которая есть результат вспыхнувшей среди китайцев междоусобной войны. Несомненно, эта междоусобица и падение Китайской империи произведут такой громадный переворот на Дальнем Востоке, что последствия этого будут ощущаться и нами и Европою еще десятки и десятки лет.

Этот захват Квантунской области, как это видно из моего предыдущего рассказа, — последствия которого несомненно выяснят историки на основании документов, которые имеются в достаточной полноте у бывших государственных деятелей, в том числе и у меня,—представляет собою акт небывалого коварства.

Несколько лет до захвата Квантунской области мы заставили уйти оттуда японцев и под лозунгом того, что мы не можем допустить нарушения целости Китая, заключили с Китаем секретный оборонительный союз против Японии, приобревши через это весьма существенные выгоды на Дальнем Востоке, и затем, в самом непродолжительном времени, сами же захватили часть той области, из которой вынудили Японию, после победоносной войны, уйти под лозунгом, что мы не можем допустить нарушения целости Китайской империи.

Несомненно, что толчек к такому акту дал император Вильгельм захватом Цинтау; может быть, он и не сознавал ясно, к каким последствиям это поведет, но несомненно то, что германская дипломатия и германский император в то время всячески старались нас втиснуть в дальневосточные авантюры; он стремился к тому, чтобы отвлечь все наши силы на Дальний Восток и быть спокойным относительно западной границы; это и было им вполне достигнуто, так как занятие Квантунской области повлекло за собой (как это я буду иметь случай рассказывать далее) жестокую японскую войну, в которой мы потерпели самое обидное и чрезвычайное поражение. Во время этой войны германский император явился как бы защитником нашей западной границы, но, конечно, защитником недобровольным. Под видом дружбы он выхлопотал превыгодный для Германии и крайне невыгодный для России торговый договор.

Как только мы захватили Квантунскую область, все державы, имевшие там интересы, всполошились и прежде всего Япония и Англия. Англия захватила Вей-ха-вей, а Япония начала предъявлять аналогичные притязания относительно Кореи.

Граф Муравьев, видимо, этого не ожидал, так как он уверил его величество, что все обойдется совершенно спокойно, — за это он ручался; поэтому он сейчас же, сделав уступки, вошел в соглашение с Англией и Японией.

Англии он формально обещал, что, если мы сделаем Порт-Артур своим портом, в который не будем допускать иностранные суда, то Россия обязуется рядом с Порт-Артуром устроить большой коммерческий порт, в который был бы доступ судам всех держав, что этот порт будет совершенно свободный от каких бы то ни было пошлин, т.-е. что это будет порто-франко.

Конечно, такое обещание, сделанное Англии и всему свету, несколько сгладило впечатление, произведенное нашим захватом, но, тем не менее, не внедрило полного спокойствия; в особенности негодовала Япония. Поэтому мы начали уходить из Кореи на попятный двор.

Вследствие соглашения нашего с Японией, совершенного во время коронации его величества, мы имели преобладающее значение в Корее; там мы имели военных инструкторов, небольшой военный отряд, и главным образом держали всю финансовую часть Корейской империи в своих руках. Для этого, в соответствии с соглашением с Японией, совершенном во время коронации, я назначил туда советника при корейском императоре, который, в сущности, играл роль корейского министра финансов; советчиком этим был Алексеев, который ранее служил под моим начальством в качестве управляющего канцелярией департамента таможенных сборов.

Алексеев в короткое время достиг полного влияния на корейского императора в смысле управления всеми финансами этой империи, и несомненно, что постепенно он бы забрал в руки всю экономическую и финансовую часть Кореи.

Наш захват Квантунской области произвел такое удручающее впечатление на Японию, что граф Муравьев, боясь военного столкновения с Японией, по требованию ее удалил из Кореи наших военных инструкторов, нашу военную команду, а засим должен был уехать оттуда и наш советчик при корейском императоре Алексеев.

Как военное влияние в Корее, так и финансовое и экономическое нами было передано из рук наших агентов в руки агентов Японии.

В результате, чтобы успокоить Японию, последовало 13 апреля 1898 г. соглашение с Японией, в котором мы явно отдали Корею под доминирующее влияние Японии. Япония это так и понимала и, до поры до времени, успокоилась.

Если бы мы это соглашение сдержали в точности, не только по букве, но и по духу его, т.-е. предоставили бы Корею прямо полному влиянию Японии, то несомненно, что на долгое время установились бы миролюбивые отношения между Японией и Россией.

Возвращаясь к нашему соглашению с Китаем 15 марта 1898 г., я хотел заметить, что с того момента, когда Ли-Хун-Чан подписал это соглашение, он уронил свой престиж в Китае и с того момента его престиж начал падать, так что он покинул высший, между всеми сановниками, пост, который до того времени занимал в Китае, и принял генерал-губернаторство на юге Китая.

Другого сановника, подписавшего то же соглашение, Чан-Ин-Хуана, во время боксерского восстания, по причинам мне неизвестным, правительство сослало в глубь Китая в какую-то тюрьму, там он был зарезан или удушен.

Бывший в то время послом в Петербурге и Берлине Сюн-Кинг-Шен, весьма почтенный и добросовестный китаец, когда вернулся в Пекин, — то был там публично казнен.

Эти вот отдельные факты показывают, как общественное мнение Китая относилось к этому соглашению о передаче нам, России, Квантунской области.

После взятия Квантунской области более резко выступил вопрос о расширении сооружения нашего флота, вследствие этого в начале 1898 г. генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович вошел со мною в переговоры, нельзя ли отпустить вне государственной росписи чрезвычайный кредит на устройство судов по программе, которая была одобрена его величеством. Мне было совершенно ясно, что раз мы влезли в Квантунскую область, нам необходимо на Дальнем Востоке иметь соответствующий флот, и поэтому я отнесся к желанию великого князя соответственно. Вследствие этого его величество призвал меня и генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича и совещался с нами относительно направления этого дела. В этом маленьком совещании было решено, чтобы вне государственной росписи на 1898 г., которая в то время действовала, отпустить на расширение сооружения флота 90 миллионов рублей. Его величество был очень доволен таким решением, и это опять уста-

новило доброжелательные отношения его величества ко мне. Вследствие этого государю императору угодно было 26 февраля издать весьма милостивый на мое имя указ.

Когда мы взяли Квантунский полуостров и объявили Порт-Артур военным портом, в который не могут входить иностранные суда, и когда, вследствие резкого протеста Англии, обязались перед всем светом рядом открыть большой коммерческий порт, доступный судам всего света, и установить там в гавани Да-лянь-ван порто-франко, и когда я приступил к сооружению этого порта, — то явился вопрос: как же назвать этот порт?

Тогда, согласно указанию его величества, я обратился к президенту академии, которым был тогда великий князь Константин Константинович, тот самый почтенный, благородный, в полном смысле «в е л и к и й к н я з ь» Константин Константинович, который и ныне состоит президентом академии, и просил его обсудить с академиками: как было бы всего соответственнее назвать порт, который строится в бухте Да-лянь-ван, почти что рядом с Порт-Артуром?

Я получил от великого князя письмо, в котором он мне указывал различные имена, которыми можно было бы назвать этот порт. Так было указано на возможность назвать его именем императора Николая, например: «С в е т о н и к о л а е в с к», можно было бы назвать порт от слова «славо» — «П о р т - С л а в ь с я», можно было бы назвать порт от слова «свет», например, «Светозар»; можно было бы назвать «Алексеевск» в честь генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича, так как порт был, в конце концов, взят нашей маленькой эскадрой под командой адмирала Дубасова; начальником морского ведомства был великий князь Алексей Александрович.

При докладе в Петергофе я доложил об этом его величеству и указал на различные предложения августейшего президента академии.

Когда его величеству угодно было меня спросить: «А как вы думаете, каким именем назвать этот порт?» — тогда я его величеству сказал, что я бы не назвал его таким громким именем, потому что бог знает, какая будет участь этого порта? Может быть, он прославит Россию, а может быть, он будет причиной нанесения России большого урона. Лучше назвать каким-нибудь скромным именем.

Тогда государь спросил: «Каким же, например?»

Мне сразу пришло в голову, и я сказал:

— Да, вот, например, ваше величество, бухта называется Да-лянь-ван, — вероятно, наши солдаты окрестят ее и скажут

«Дальний», и это название будет соответствовать действительному положению дела, потому что этот порт ужасно как далек от России.

Государю это понравилось, он сказал:

— Да, я также нахожу, что было бы лучше назвать «Дальний».

Я принес государю приготовленный указ, в котором было оставлено свободное место для того, чтобы туда проставить название порта, когда будет решено, как пожелают его назвать.

Государь, подписав указ, сам прописал на свободном месте, которое было оставлено для названия порта:—порт «Дальний».

Я в общих чертах, в нескольких словах рассказал эту интересную и грустную страницу из нашей истории, при дальнейших рассказах я, может быть, буду еще возвращаться к различным отдельным эпизодам, касающимся этой истории. Вообще, так как я веду свои рассказы, которые воспроизводятся посредством стенограмм, совершенно не подготовляясь к этим рассказам, а беру из моей памяти то, что я помню, то, конечно, рассказы эти не могут претендовать ни на какую бы то ни было систематичность, ни на полную точность; на что они имеют полное право претендовать, —это на то, что в общих чертах все сказанное составляет несомненную правду и излагает обстоятельства дела вполне беспристрастно и добросовестно.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

А. Н. Куропаткин.

Генерал-адъютант Ванновский ушел с поста военного министра, как значилось и как говорили, по болезни, — в действительности он ушел потому, что чувствовал, что он не может управлять военным ведомством так авторитетно, как он им управлял при покойном императоре Александре III, так как с воцарением молодого императора великие князья начали приобретать такой авторитет и так вмешивались в дела, что генерал-адъютант Ванновский не мог этого переносить, и потому выходили постоянные трения.

С другой стороны, надо сказать, что генерал-адъютант Ванновский был человек твердого, авторитетного и упрямого характера; он был военным министром в течение всего царствования императора Александра III, а потому имел такой авторитет в глазах молодого императора, который не мог не стеснять его величества, вследствие чего государь император, с своей стороны, был доволен избавиться от одного из министров его отца, которые в отношении молодого государя держали себя иногда не как министры, а как менторы.

Государь просил Ванновского указать: кто бы мог его заменить?

Генерал-адъютант Ванновский, — как это он мне сам впоследствии рассказывал, — говорил государю о своем начальнике штаба Обручеве, но при этом указывал на то, что генерал-адъютант Обручев сам, собственно, никогда, никакими военными частями не командовал, а потому является скорее военным кабинетным ученым и советчиком, что и составляет слабую сторону его, как кандидата на военного министра.

Затем Ванновский указывал на своего начальника канцелярии Лобко, к которому государь относился с бо́льшим благоволением, нежели к Обручеву; к тому же Лобко был препо-

давателем молодого императора, когда он был наследником престола. Но при этом Ванновский указывал также и на то, что Лобко имеет тот недостаток, что он не командовал войсками.

Ванновский говорил также государю и о Куропаткине, как о человеке молодом, командовавшем многими войсками, проведшем почти всю свою карьеру в войсках, как в мирное, так и военное время, и пользующемся большою репутацией в военном мире. Но так как Куропаткин, по мнению Ванновского, был еще недостаточно подготовлен для занятия поста военного министра, то Ванновский советовал временно назначить военным министром Обручева или Лобко, а Куропаткина пока назначить начальником главного штаба, чтобы затем в непродолжительном времени он занял пост военного министра.

Вероятно, о таком предположении Ванновского сделалось известным и Обручеву, так как Обручев ожидал, что он будет назначен военным министром, а Куропаткин будет начальником главного штаба.

Куропаткин, будучи начальником Закаспийской области, по прежней своей боевой службе пользовался большим престижем во всей России. Когда умер персидский шах, и в 1897 г. вступил на престол его сын (тот сын, внук которого (мальчик) ныне считается фиктивным шахом Персии), то его величество командировал генерала Куропаткина приветствовать нового шаха с вступлением на престол.

Оттуда Куропаткин приехал прямо в Петербург и представил его величеству записку. Записка эта интересна с точки зрения исторической в том отношении, что из нее видно, что в то время было совершенно естественно, что мы рассматривали Персию, как такое государство, которое находится, с одной стороны, под полным нашим покровительством, а с другой — под полным нашим влиянием. Иначе говоря, мы с Персией в то время могли делать то, что мы считали для нас нужным.

Если сравнить положение Персии в то время с теперешним ее положением, хотя с тех пор прошло менее 15 лет, то можно поразиться той метаморфозе, которая произошла. И это, опять таки, есть результат нашей кровавой политики на Дальнем Востоке. Результатом этой же политики была несчастная и постыдная для нашего государственного управления война с Японией, которая ослабила нас на всех концах и умалила наш престиж.

Куропаткин, по вызову, приехал из Закаспийской области и прямо отправился сначала к военному министру, а затем к его величеству. Какую государь император вел с ним беседу — это мне неизвестно, но дело в том, что от его величества Куропаткин отправился к Обручеву.

Обручев его встретил, ожидая, что Куропаткин ему скажет, что государь назначает его, Обручева, военным министром, а Куропаткина начальником штаба, и что Куропаткин явился к нему, как начальник штаба к военному министру.

К большому удивлению Обручева, он услышал от Куропаткина, что назначается управляющим военным министерством — Куропаткин, при чем Куропаткин начал уговаривать Обручева, чтобы он остался по крайней мере некоторое время начальником штаба, — все это удивило и огорчило Обручева.

Мне вполне понятно, что Куропаткин, как молодой генерал, умеющий к тому же быть очень подобострастным с высшими, пользующийся большою репутацией в России, должен был производить на его величество весьма большое впечатление, и мне вполне понятно, что его величество остановился на назначении именно генерала Куропаткина.

В генерале Куропаткине так все ошибались, и если бы в то время подвергнуть баллотировке вопрос: кого назначить военным министром, то большинство высказалось бы за Куропаткина. В каком заблуждении находилось общественное мнение относительно Куропаткина — это с особенной силою проявилось тогда, когда, во время войны с Японией, Куропаткин был назначен главнокомандующим армией.

Можно сказать даже более: когда Куропаткина назначили главнокомандующим армией, то уже тогда государь охладел к нему и понял его слабые стороны, был же Куропаткин назначен главнокомандующим не столько по влечению государя, как, можно сказать, по требованию общественного мнения и газет; в особенности за него ратовало «Новое Время» и сотрудник «Нового Времени» Меньшиков.

Генерал Куропаткин в первое время был persona gratissima у государя императора, он пользовался также симпатиями и у императрицы; но это продолжалось не особенно долго и, в сущности говоря, это не могло долго продолжаться, по крайней мере в отношении к императрице, потому что Алексей Николаевич Куропаткин, будучи человеком общества, тем не менее имел все алюры и все разговоры, соответствующие алюрам и разговорам штабного писаря, а потому естественно, что особого престижа он на молодую императрицу иметь не мог.

* Генерал Куропаткин представлял собою типичного офицера генерального штаба 60 — 70 годов, но не получившего домашнего образования и воспитания. Иностранных языков он не ведал, не имел никакого лоска, но мог говорить и писать

обо всем и сколько хотите и производил вид бравого коренастого генерала, и бравость эту ему в значительной степени придавала георгиевская ленточка на портупее и офицерский Георгий в петлице, да еще Георгий на шее при отсутствии, может быть и ненатуральном, седых волос. И это в то время (60 — 70 г.г.), когда георгиевские ленты и кресты не давались даром. До какой степени низвели этот величайший знак отличия в последние годы, достаточно сказать, что адмирал Алексеев, пресловутый главнокомандующий при последней японской войне, который в жизни не слыхал боевого выстрела, имя которого будет связано с этой войной только потому, что он один из ее главных виновников, после того, как был отозван из Мукдена и заменен Куропаткиным, в утешение ни с того, ни с другого получил прямо Георгия на шею.

Нужно сказать, что этот самый Куропаткин во многом виноват в таком «падении Георгия». Несмотря на то, что он носит этот знак отличия по заслугам, когда он забрался на верхи, то потерял голову, и сам дал повод его величеству раздавать знаки военного ордена как цветы при котильоне. Во время пресловутой экспедиции в Пекин (прелюдия к Японской войне) для усмирения китайцев и затем в Манчжурию, а в сущности со скрытой мыслью, которая была у Куропаткина, — занять Манчжурию и обратить ее в Бухару, он сам представлял к вознаграждению военными орденами без всяких оснований, и затем, когда был главнокомандующим, то сыпал ими направо и налево.

Несомненно лично храбрый и бодрый скобелевский начальник штаба, что особливо давало ему престиж, ловкий на язык и на перо и также на дипломатические алюры по части карьеры вообще, он, конечно, понял, что именно он, как молодой военный министр, выбранный самим императором, будет его человеком, а в империи, преимущественно военной, значит будет весьма влиятельным человеком. Особая милость государя выражалась тем, что министра после доклада приглашали завтракать. Старых министров, т.-е. министров отца, или совсем не приглашали или приглашали весьма редко. Министр иностранных дел граф Муравьев и Куропаткин (в первые годы своего министерства) в этом отношении пользовались особым вниманием, они приглашались постоянно.

Первый нравился своими забавными, хотя весьма плоскими шутками императрице, а второй по благоволению государя, но для таких приглашений одно благоволение государя было недостаточно, нужно было хотя маленькое расположение ее величества, и Куропаткин это тоже скоро понял *.

Летом 1898 года, когда я жил на Елагином острове, в запасном доме летнего дворца, а Куропаткин жил на Каменном острове, в доме, также принадлежащем министерству двора, как-то раз вечером я зашел к Куропаткину, по поводу одного срочного дела, это было накануне доклада военного министра государю императору.

Объяснившись с Куропаткиным по делу, я хотел уходить, он меня начал задерживать. Я ему говорю:

— Я вас не хочу беспокоить, так как знаю, что у вас всеподданнейший доклад, и, следовательно, вам надо приготовиться по всем делам, которые вы будете докладывать.

На это мне Куропаткин ответил:

— Нет . . ., что касается дел, то я и без того знаю дела, которые буду докладывать, а вот я теперь читаю Тургенева, так как после доклада я всегда завтракаю у государя императора, вместе с императрицей, и вот я все хочу постепенно ознакомить государыню с типами русской женщины.

* На следующий год государь был весною в Ялте. Были пасмурные дни. Как-то раз Куропаткин, возвращаясь с всеподданнейшего доклада, заехал на дачу ко мне и мне между прочим говорит: «Кажется, я сегодня порадовал государя, вы знаете — во время доклада была все время пасмурная погода, и государь был хмурый. Вдруг около окна, у которого государь принимает доклады, я вижу императрицу в роскошном халате; я и говорю государю:—ваше величество, а солнышко появилось.—Государь мне отвечает:—где вы там видите солнце?—а я говорю:—обернитесь, ваше величество. Государь обернулся и видит на балконе императрицу и затем улыбнулся и повеселел».

Говоря о А. Н. Куропаткине, я всегда вспоминаю характеристику, данную ему А. А. Абазой. Как-то раз вхожу я к нему в кабинет, а оттуда в это время выходит молодой генерал Алексей Николаевич Куропаткин. В то время Куропаткин был совсем молодым генералом, имел только Георгия на шее и станиславскую ленту; он был назначен начальником Закаспийской области, и, раньше чем ехать в Закаспийскую область, он представлялся всем сановникам и в числе их первому — Абазе.

Куропаткин, встретив меня у двери, говорит:

— Ах, Сергей Юльевич, извините, что я у вас не был. Я теперь не могу у вас быть; вы знаете, что я только что получил назначение в Среднюю Азию и должен туда немедленно выехать. Но через несколько недель я вернусь и тогда я к вам первому приду . . .

Куропаткин вообще любил лезть целоваться, и тут он, обнявшись, расцеловавшись со мною, ушел.

Вошел я в кабинет к Александру Аггеевичу, а он меня спрашивает:

— Вы хорошо знаете Куропаткина, что так с ним дружески встретились и простились.

Повидимому, он видел, как мы с ним встретились, в зеркало, против которого он сидел, и слышал наш разговор.

— Да, — говорю я, — я хорошо знаю Куропаткина, потому что я, в качестве директора департамента железнодорожных дел, часто встречался с ним по делам, потому что Куропаткин заведывал так называемым азиатским отделом главного штаба. Так как постоянно возбуждались вопросы о различных стратегических железных дорогах, о мобилизационном плане, об усилении железных дорог с стратегическою целью, — то вследствие этого мне часто приходилось видеться с Куропаткиным.

Я рассказал Абазе, что я познакомился с Куропаткиным при следующих обстоятельствах.

Когда началась восточная война, я был сделан в сущности начальником дороги тыла армий, т.-е. одесской железной дороги. По делам перевозки войск я ездил в Киев в своем маленьком вагончике. В Киеве я встретил полковника Скобелева (в то время он имел Георгия на шее и был в полковничьем чине), будущего героя последней восточной войны, войны с Турцией, этого народного героя. Я знал его немного, так как встречал его в Петербурге у моего дяди Фадеева, который был очень близок с отцом генерала Скобелева.

Так вот мне Скобелев и говорит:

— Не довезете ли меня в своем вагоне?

Я говорю: — С большим удовольствием.

— Со мной едет, — говорит, — капитан Куропаткин, который был моим начальником штаба в Средней Азии.

(В Средней Азии Скобелев отличался в особенности при взятии Ферганской области.)

Я говорю:

— С большим удовольствием, хотя троим там спать будет невозможно.

Скобелев говорит: — Мы не будем спать, а будем сидеть.

Таким образом, со мною в моем вагоне поехали Скобелев и Куропаткин. Во время этой поездки я был удивлен пренебрежительным отношением Скобелева к Куропаткину. С одной стороны у Скобелева проявлялось к Куропаткину чувство довольно любовное, а с другой стороны — пренебрежительное.

Итак, я рассказал Абазе, каким образом я познакомился с Куропаткиным, и почему у нас с ним установились такие отношения.

Известно, что Куропаткин, как я говорил, был начальником штаба в отряде Скобелева; при взятии Плевны Скобелев получил генерал-адъютанта и всевозможные отличия; кажется, получил Георгиевскую звезду; Куропаткин также на восточной войне получил Георгия на шею.

Я сам не слыхал отзывов Скобелева о Куропаткине, но сестра Скобелева, княгиня Белосельская-Белозерская, рассказывала мне, что брат ее очень любил Куропаткина, но всегда говорил, что он очень хороший исполнитель и чрезвычайно храбрый офицер, но что он (Куропаткин), как военноначальник, является совершенно неспособным во время войны, что он может только исполнять распоряжения, но не имеет способности распоряжаться; у него нет для этого надлежащей военной жилки, — военного характера. Он храбр в том смысле, что не боится смерти, но труслив в том смысле, что он никогда не в состоянии будет принять решение и взять на себя ответственность.

Так вот, после того, как я рассказал Абазе о том, как я познакомился с Куропаткиным, у меня с ним произошел знаменательный разговор, который показывает, каким большим здравым смыслом обладал Александр Агеевич Абаза. Если бы мы жили в древние времена, то разговор этот можно было бы счесть за пророчество и самого Абазу за пророка. Разговор этот заключался в следующем:

— Вот вы,—говорит Абаза,—человек молодой, а я человек старый, то, о чем я говорю, — говорит, — я не увижу, а вы увидите. Генерал Куропаткин, генерал умный, генерал храбрый, он,—говорит,—сделает громадную карьеру, он будет военным министром. Да что,—говорит,—военным министром, он будет гораздо выше, нежели министр. А знаете, чем это все кончится?

— Нет, — говорю, — не знаю.

— Кончится, — говорит, — тем, что все в нем разочаруются, а знаете, почему все в нем разочаруются?

— Нет, — говорю, — ничего не знаю.

— Потому что, — говорит, — умный генерал, храбрый генерал, но душа у него штабного писаря.

Действительно, так и оказалось.

* О Куропаткине будут современем много писать в виду его выдающегося рока в несчастиях царствования Николая II. Он сам оставит о себе целые томы. Он давно вел и ведет свои дневники, записывая все свои разговоры. Должен сказать, что дневники эти, выражаясь мягко, крайне субъективны.

Несколько раз он имел случаи читать мне из своих дневников разговоры, которые он имел со мною. Я всегда находил, что его изложение неточно, иначе говоря, многое переврано.

С этими дневниками его произошел следующий курьезный случай. Он ушел с поста министра военного вопреки своему желанию, по воле государя. Его вытолкнули перед войной Безобразов и К⁰. Он был сперва один из главных виновников мер, приведших нас к войне. Вопреки тенденциям министра иностранных дел графа Ламсдорфа и моим он все побуждал государя к политике захвата и пренебрежения интересами Китая и Японии. Все это изложено документально в оставляемой рукописи «О возникновении Японской войны».

Когда появился Безобразов и К⁰, то потому ли, что он испугался их образа действия, неминуемо ведшего к войне, или из ревности к влиянию этих молодцов, он начал резко им противодействовать, т.-е. пристал ко мне и графу Ламсдорфу. Заметив, что эти молодцы уже возымели такую силу, что с ними не сладить, он начал с ними искать компромиссов, но уже было поздно, и его заставили уйти. Чтобы позолотить эту пилюлю, государь, отпуская его, просил его совета, кого назначить военным министром. Он указывал на нескольких лиц. Государь его спросил, что он думает о Сахарове, начальнике главного штаба. Куропаткин его аттестовал крайне неблагоприятно. Конечно, Сахаров был сейчас же после этого разговора назначен, так как это было предрешено, и разговор с Куропаткиным был только для вежливости. Тогда же Куропаткин представил государю, не зная, что государь ему предложит уйти после его доклада, о некоторых мерах, которые нужно принять в виду начавшейся войны. Затем по единогласному желанию общественного мнения, насколько таковое могло выражаться, Куропаткин был назначен командующим манчжурской армией при оставлении адмирала Алексеева главнокомандующим. Когда Куропаткин явился к государю, получив это назначение, то он просил его величество привести в исполнение те меры, которые он ему докладывал при последнем своем докладе, когда он был военным министром. Государь ответил, что прикажет Сахарову, и, зная, что Куропаткин составляет дневники, просил прислать дневник для того, чтобы он, государь, мог точно формулировать свое приказание. Куропаткин в тот же день послал его величеству две тетрадки своего дневника. В первой излагались меры, о которых он просил, и разговор о его, Куропаткина, увольнении. Этот разговор оканчивался во второй тетрадке, в которой были изложены и аттестации кандидатов вместо него, Куропаткина. Его величество написал Сахарову, чтобы тот привел в исполнение меры, предложенные Куропаткиным в его дневнике, и вместо того, чтобы послать Сахарову первую тетрадку дневника, послал вторую.

Сахаров, прочитавши приказ, открывает дневник и вдруг читает: «Я не советую назначить Сахарова: он никогда

не занимал серьезного поста в строю, ожирел и страшный лентяй . . .»

Сахаров недолго был военным министром. Он был назначен под злосчастным влиянием великого князя Николая Николаевича, который полагал найти в нем орудие в своих руках, и когда в этом отношении ошибся, то Сахаров под тем же влиянием был уволен *.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Гаагская конференция.

Около середины 1898 года, как-то раз ко мне явился министр иностранных дел граф Муравьев, с которым после моих пререканий по вопросу о захвате Порт-Артура и Да-лянь-ваня у меня были крайне натянутые отношения. Граф Муравьев объяснил мне, что он ко мне пришел для того, чтобы спросить моего мнения по следующему вопросу: он получил от военного министра Куропаткина письмо, в котором Куропаткин говорит, что Австрия, по его сведениям, приступает к быстрому перевооружению и усилению артиллерии, что мы в отношении артиллерии находимся в таком положении, что можем быть покойны, что наша артиллерия будет не менее слабой, нежели артиллерия германской армии; но что, в виду такого решения, принятого в Австрии, нам необходимо будет тоже значительно усиливать нашу артиллерию, между тем в настоящее время у нас происходит перевооружение всей пехоты, на что требуются громадные суммы, которые недавно и было решено отпускать: и поэтому одновременное перевооружение и пехоты и артиллерии было бы чрезвычайно стеснительно и лишило бы военное министерство возможности делать совершенствования в других частях нашей вооруженной силы, и поэтому он предлагает министру иностранных дел — не сочтет ли он возможным войти в сношение с австрийским правительством, чтобы они не перевооружали своей артиллерии и не увеличивали ее, и что мы, с своей стороны, примем также то же обязательство или, по крайней мере, если они будут делать эти перевооружения, то чтобы они делали это в той мере, в какой и мы будем это производить. Я сказал Муравьеву, что, по моему мнению, предложение генерала Куропаткина совершенно невозможное, во-первых, потому, что оно не достигнет никакой цели, ибо для меня очевидно, что Австрия отвергнет такое предложение, и, пожалуй, даже деликатно насмеется над ним,

с другой стороны, предложение это прямо покажет Европе всю нашу несостоятельность, что мне, как министру финансов, ясно, что подобное предложение может принести более вреда, чем самый отпуск денег на перевооружение артиллерии, так как оно будет знаменовать такое положение финансов, при котором министр финансов не может добывать деньги на самые необходимые нужды, таким образом, я считаю это предложение совершенно детским. Но в беседе с графом Муравьевым я ему дальше высказал и объяснил, какой вред принесет всему свету и специально Европе все увеличивающееся перевооружение, что такого рода затраты совершенно обессиливают население и лишают население возможности безбедно жить, что от такого положения вещей рождаются социалистические учения и пропаганда социализма во всех ее видах в Западной Европе, что уже начинает переноситься и к нам, — поэтому я, с своей стороны, считаю величайшим благом для Европы в частности и для всего мира вообще, если будет положен предел вооружению, если, наконец, люди и государства поймут, что от вооруженного мира народы страдают не менее, нежели от войны. Все эти мысли я развивал в разговоре весьма подробно и энергично и видимо произвел на графа Муравьева значительное впечатление.

Я мог произвести на него это впечатление тем более, что хотя мысли мои не представляли ничего особенно нового, но для Муравьева, при полной его некультурности в серьезном смысле этого слова, многие изм оих мыслей являлись совершенно новыми.

Через несколько дней после моей беседы с ним, я получил от него приглашение, что по высочайшему повелению он просит меня прийти в министерство иностранных дел на совещание по одному весьма важному делу. На этом совещании, кроме меня, присутствовали: военный министр, товарищ Муравьева граф Ламсдорф и еще несколько высших чиновников министерства иностранных дел. Граф Муравьев передал нам, что он докладывал его величеству о том, не следует ли поднять вопрос о разоружении или, по крайней мере, о том, чтобы поставить предел дальнейшему вооружению, и что его величество отнесся к этой мысли весьма симпатично. Потом он прочел проект обращения к представителям держав по поводу созыва мирной конференции.

Куропаткин возражал против такого предположения, что было естественно с его стороны, как министра военного. Я же, с своей стороны, высказал, что, по моему мнению, можно такое обращение не делать и не возбуждать этого вопроса, но что во всяком случае такое предложение, какое исходило от военного министра, чтобы уговорить Австрию не перевооружать свою артиллерию, потому что мы не можем угоняться за нею, является

несравненно гораздо более неисполнимым и странным; но, кроме того, я с своей стороны нахожу, что возбуждение вопроса о принятии мер для мирного разрешения международных конфликтов есть мысль весьма симпатичная и плодотворная, а потому я вполне сочувствую проекту обращения министра иностранных дел.

Обращение это и последовало 12 августа 1898 г. Это обращение вызвало общее сочувствие иностранных держав, которые все выразили его императорскому величеству благодарность за принятый им почин к упрочению всеобщего мира. Затем последовала мирная конференция в Гааге, а именно 6 мая 1899 г. конференция эта была открыта, а 18 мая закрыта.

После циркулярного письма министра иностранных дел с предложением, 18 мая 1898 г. я имел случай говорить по этому предмету с государем, а именно поздравил его величество с тем, что ему было угодно принять на себя почин такого великого и благородного дела, — при чем выразил государю императору, что не может быть никакого сомнения в том, что практических результатов от этой конференции в ближайшем будущем и даже в более или менее отдаленном будущем ожидать нельзя, так как восстановить всеобщий мир и прекратить тот, можно сказать, всеобщий разврат, внедрившийся в народах, который приводит их к разрешению всех недоразумений посредством пролития крови, так же трудно, как трудно проводить священные истины сына божия. Мы видим, что эти истины христианские были высказаны Христом и его апостолами уже около 2.000 лет тому назад, и все-таки еще значительная часть населения совершенно индиферентна к этим истинам, или же прямо их отвергает, и что, вероятно, еще потребуются тысячелетия, чтобы эти истины были познаны всеми народами и вошли в плоть и кровь их бытия. Точно так же потребуются столетия для того, чтобы идея о мирном разрешении всех недоразумений между народами вошла в практический обиход, но, тем не менее, величайшая заслуга государя, что он возбудил этот вопрос, но, конечно, будет еще большая заслуга, если в дальнейшем царствовании своем он своими действиями покажет, что мирное предложение, им сделанное, представляет не только внешнюю форму, но и содержит в себе практическую реальность. К величайшему сожалению надо признаться, что на практике покуда мысль о мирном разрешении вопроса осталась в области разговоров, и Россия сама делает пример совершенно обратный тому, что было предложено ее монархом, ибо несомненно, что вся Японская война и кровавые последствия, от этого происшедшие, не имели бы места, если бы мы не на словах, а на деле руководствовались мирными великими идеями.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

И. Л. Горемыкин.

В 1899 г. после объезда губерний, в которых вводилась монополия, я поехал на некоторое время в Крым, где меня ожидали жена и дочь. Мы жили в Никитском саду. Там же в Крыму в имении, которое ныне принадлежит князю Долгорукому и которое тогда принадлежало графу Шувалову (княгине Долгорукой оно досталось по наследству) — проживал министр юстиции Муравьев. Имение это находится с правой стороны Ялты, а Никитский сад — с левой стороны. Так что для того, чтобы поехать из Никитского сада в это имение, надо употребить часа два времени.

Я приехал в Крым довольно поздно, так что Муравьев через несколько недель после моего приезда уехал из Крыма.

Когда я приехал туда, то через несколько дней поехал к Муравьеву. Муравьев обратился ко мне со следующим не то разговором, не то просьбой. Муравьев сказал мне, что ему достоверно известно, что Горемыкин должен будет оставить пост министра внутренних дел, так как государь император находит его человеком чрезвычайно либеральным и недостаточно твердо проводящим консервативные, в дворянском духе, идеи; при этом Муравьев прибавил, что, несомненно, я об этом знаю и что ему очень хочется сделаться министром внутренних дел вместо Горемыкина, что ему протежирует великий князь Сергей Александрович, что великий князь говорил уже об этом государю и что он, Муравьев, просит меня, чтобы я не мешал ему, т.-е. в том смысле, чтобы я не проводил вместо Горемыкина Сипягина.

Я ответил Муравьеву, что, во-первых, я об этом в первый раз слышу и не верю, чтобы государь расстался с Горемыкиным из-за его либеральных взглядов, а во-вторых, я убежден в том,

что его величество моего мнения не спросит. Я сказал Муравьеву, что, когда уходил с поста министра внутренних дел Дурново и его величество говорил со мною о том: кого назначить министром внутренних дел — Плеве или Сипягина? — то действительно я высказался за Сипягина, но в конце концов его величество не назначил ни Плеве, ни Сипягина, а, как ему известно, назначил Горемыкина, очевидно, по рекомендации Константина Петровича Победоносцева.

Повидимому, Муравьев никак не хотел верить тому, что я не знаю о предстоящем уходе Горемыкина. Я же с своей стороны никак не мог постичь: каким образом Горемыкин может уйти именно потому, что он недостаточно консервативен, ибо как только Горемыкин сделался министром внутренних дел — он бросил все свои либеральные взгляды и сделался вполне консервативным.

Так, например, он высказывался за земских начальников, поддерживал их; он показал себя весьма консервативным при тех студенческих беспорядках, которые имели место в 1899 или 1898 г.г.; когда студенты С.-Петербургского университета произвели беспорядки, то конная полиция должна была вмешаться, ибо студенты производили беспорядки на улице около университета. При чем эта конная полиция, не употребив никаких предварительных мер для того, чтобы студенты разошлись, прямо начала с мер насильственных и избила некоторых студентов.

По этому предмету происходило совещание в квартире Горемыкина, в котором участвовал министр народного просвещения Боголепов, я и еще несколько лиц, при чем Горемыкин и Боголепов весьма одобряли действия полиции.

Я высказывался против этих действий и утверждал, что беспорядки тогда прекратятся, когда будет произведено расследование, кто именно виноват, студенты или полиция. По этому предмету я написал записку в то время, которая хранится в моем архиве.

В конце концов его величество склонился на мою сторону, и расследование было поручено ко всеобщему удивлению бывшему военному министру генерал-адъютанту Ванновскому.

Государь император выбрал Ванновского, зная его как человека весьма твердого, решительного и резкого, резкого постольку, поскольку резкость вообще присуща военному человеку.

Я, с своей стороны, когда последовало это назначение, несколько усомнился в том, чтобы назначение это было соответственным. Но между тем оказалось, что почтенный генерал Ванновский отнесся к этому делу в высокой степени добросовестно.

Нужно сказать, что Ванновский, делая свою карьеру, очень долгое время был начальником одного из петербургских кадетских корпусов, потому привык иметь дело с юношеством, понимал и знал психологию молодых людей, о чем так часто забывают взрослые люди, которым приходится решать участь молодежи.

Ванновский признал виновной в большей степени полицию. Тогда последовали некоторые взыскания, хотя только с второстепенных чинов полиции. По моему же мнению, надлежало бы тогда выразить неодобрение не второстепенным чинам полиции, а начальству: градоначальнику и даже министру внутренних дел Горемыкину, который в том заседании комиссии, о котором я говорил, защищал полицию и находил, что полиция безусловно так именно и должна всегда действовать.

Как я уже говорил, Муравьев уехал из Крыма ранее меня и, повидимому, находился под тем впечатлением, что я скрываю о том, что мне известно о предстоящем уходе Горемыкина и что во всяком случае я хлопочу о Сипягине.

Я вернулся в Петербург из Крыма довольно поздно, а именно около 20 октября; Сипягин приехал из деревни 19 октября и 19 же октября был вечером у моей жены. Я был занят и увидел Сипягина лишь тогда, когда он уходил от моей жены.

Я спросил Сипягина: не знает ли он чего-нибудь о Горемыкине, что Муравьев меня убеждал в том, что будто бы, как только вернется государь (а государь в то время еще был в Дармштадте), немедленно последует увольнение Горемыкина. На что мне Сипягин ответил, что он решительно ничего об этом не знает.

20 октября, т.-е. на следующий день утром, я прочел указ об увольнении Горемыкина с поста министра внутренних дел и о назначении вместо него Сипягина. Утром же у меня был Сипягин и сказал мне, что он предо мною извиняется, что вчера на мой вопрос он мне сказал неправду, но что ему нельзя было иначе поступить, так как государь император, решив еще перед своим отъездом заграницу вопрос об увольнении Горемыкина, предложил ему, Сипягину, эту должность, и он ее принял, но при этом государь взял с него слово, что он никому об этом не скажет, до тех пор, пока не последует приказ, а потому он не мог мне сказать об этом вчера вечером, когда я задал ему этот вопрос, и что он даже все время был в деревне, чтобы как-нибудь не проговориться. Государь разрешил Сипягину сказать об этом только его жене.

После этого Муравьев, который был крайне недоволен этим назначением, так как считал уже себя министром внутренних дел, вследствие того, что его рекомендовал и за него стоял великий князь Сергей Александрович, вполне убедился в том, что я знал о назначении Сипягина, кроме того, он был уверен, что государь, именно благодаря моему влиянию, назначил Сипягина.

Вследствие этого, с тех пор Муравьев начал относиться ко мне, как к министру финансов, крайне враждебно.

Таким образом Муравьев, с которым я был в самых лучших отношениях, переменился ко мне из-за того предположения, что будто бы я содействовал назначению министром внутренних дел не его, а Сипягина.

Плеве, когда был назначен министром внутренних дел Горемыкин, был также убежден в том, что не он назначен министром внутренних дел, а Горемыкин, тоже под моим влиянием, и назначен именно потому, что я был против назначения Плеве.

Таким образом я нажил себе двух недоброжелателей, весьма сильных — Плеве и Муравьева, которые были вполне убеждены, что это благодаря мне: первый — в 1895 г., а второй в 1899 г. не получили назначения министрами внутренних дел, хотя из моего предыдущего изложения видно, что оба эти предположения, как Плеве, так и Муравьева, были совершенно неверны.

Говоря о Горемыкине, как министре внутренних дел, я должен попутно сказать несколько слов о Рачковском.

Рачковский еще при императоре Александре III был назначен заведующим тайной полицией в Париже.

Когда мы сблизились с Францией и император Александр III вошел в соглашение с французской республикой, то параллельно с этим фактом значительно увеличилась и роль Рачковского в Париже. Во-первых, потому, что французы начали относиться совсем иначе к тем нашим революционерам, которые производили террористические акты в России и находили себе приют во Франции. Во-вторых, потому что Рачковский, несомненно, был чрезвычайно умный человек и умел организовать дело полицейского надзора. Несомненно, как полицейский агент, Рачковский был одним из самых умных и талантливых полицейских, с которыми мне приходилось встречаться. После него все эти Герасимовы, Комиссаровы, не говоря уже о таких негодяях, как Азеф и Гертинг, — все это мелочь и мелочь не только по таланту, но и мелочь в смысле порядочности, ибо Рачковский, во всяком случае, гораздо порядочнее, чем все эти господа.

Значению Рачковского содействовало и то, что он был в Париже при послах: Моренгейме и затем Урусове, людях совер-

шенно бесцветных и не могущих иметь никакого значения, так что Рачковский во многих случаях вследствие своих дарований мог оказывать большее влияние к сближению с Францией, нежели послы. Влияние это он оказывал или непосредственно через министра внутренних дел и дворцовых комендантов, или же при посредстве самих же этих послов.

Насколько Рачковский имел значение, можно видеть из того, что, как я помню, президент французской республики Лубэ говорил мне, что он так доверяет полицейскому таланту и таланту организации Рачковского, что, когда ему пришлось ехать в Лион, где, — как ему заранее угрожали, — на него будет сделано нападение, то он доверил охрану своей личности Рачковскому и его агентам, веря больше в полицейские способности Рачковского, нежели поставленной около президента французской охране.

Когда в 1899 г. государь император уехал в конце августа заграницу, то, — как я говорил, — в скором же времени я предпринял путешествие по России; вскоре также уехал и Горемыкин в качестве министра внутренних дел.

С Горемыкиным поехали: инженер Балинский, сын известного психиатра Балинского, затем полу-литератор, полу-агент тайной полиции М. М. Лященко, который кончил свою карьеру в сумасшедшем доме, сын кавалерийского генерала, и, наконец, в Париже к Горемыкину пристал Рачковский.

Таким образом дальнейшее путешествие они совершили вместе, при чем Горемыкин тогда еще был министром внутренних дел.

Они все вместе поехали в Англию; путешествовали по Англии и входили там в какие-то соглашения с различными промышленными фирмами, между прочим, и в соглашение, касающееся сооружения на эстокадах круговой железной дороги вокруг Петербурга.

В то время агентом министерства финансов в Париже был известный Татищев. Я говорю «известный» по причинам, которые я объясню далее.

Вот этот Татищев мне, как министру финансов, рапортовал, что вот, мол, поехал Горемыкин с такой своей свитой; совершал путешествие по Англии и входил в такие-то соглашения, весьма неприличные, с промышленными фирмами, что он, Татищев, не смеет думать, что об этом знает сам Горемыкин, но несомненный факт (чему он представил доказательства), что вся его свита брала от этих промышленников различные промессы.

Но из описания этого дела Татищевым было ясно, что если сам И. Л. Горемыкин во всех этих промессах и не участвовал, то, во всяком случае, ему о них было безусловно известно.

Нужно сказать, что Горемыкин относился весьма симпатично к Рачковскому, как к своему агенту в Париже, и между ними были самые лучшие отношения. Так что, когда впоследствии Горемыкин сделался председателем совета министров, то он сейчас же снова приблизил к себе Рачковского; Рачковский даже поселился у председателя совета министров в доме министерства внутренних дел на Фонтанке.

Это донесение Татищева я положил в архив министерства финансов.

В то время моим секретарем (а может быть, я хорошо не помню, и директором канцелярии) был Путилов, который впоследствии был управляющим дворянским и крестьянским банками, затем ушел с этого места вместе со мною, когда я покинул пост председателя совета министров. Ныне он находится председателем правления русско-азиатского банка.

Я сказал — известный Татищев потому, что Татищев служил прежде в министерстве иностранных дел и был блестящим дипломатом; он был католик и, в сущности говоря, правил посольством в Вене в то время, когда послом там был Новиков.

Когда вспыхнула турецкая война, то Татищев был большим противником наших близких и дружеских отношений с Германией. Вообще он был против нашего сближения с Германией. Поэтому, — как уверял сам Татищев, и что весьма вероятно, — под влиянием Бисмарка он должен был покинуть пост секретаря венского посольства; тогда он поступил в добровольцы и пошел на войну. На войне он заслужил георгиевский крест и затем вернулся в Россию.

Нужно сказать, что, с одной стороны, хотя и очень вероятно, что действительно указания Татищева на интриги Бисмарка были правильны, но, с другой стороны, — Татищев вел себя не вполне соответственно своему положению в Вене, так как он жил с известной в то время опереточной певицей, на которой потом и женился. Вообще он вел себя в этом отношении не так, как было бы желательно для столь видного дипломата. Его даже обвиняли в продаже иностранцам документов, и этому обвинению верили как император Александр III, так и императрица.

Все эти передряги выбили его совсем из колеи, и тогда я, зная Татищева, как человека крайне талантливого и способного, предложил ему место агента министерства финансов в Лондоне, которое он и занимал все время до вступления на пост министра внутренних дел Плеве. Когда Плеве занял этот пост, Татищев поступил в министерство внутренних дел.

Кроме того, Татищев известен своими различными литературными трудами, статьями в «Новом Времени» и довольно капи-

тальным трудом «История царствования императора Александра II».

В то время, когда Горемыкин совершал свое путешествие по Европе, последовало, как я уже говорил, 20 октября его увольнение и назначение вместо него Сипягина.

По впечатлению, которое произвело это увольнение на жену Горемыкина, которая в это время находилась в Петербурге, можно было заключить и даже быть в том уверенным, что все это было совершенною неожиданностью для Горемыкина, хотя, с другой стороны, впоследствии Горемыкин мне говорил, что будто бы он об этом был предупрежден государем; но я этому не верю и думаю, что со стороны Горемыкина, такого рода указание являлось необходимостью — faire bonne mine au mauvais jeu.

После вступления в министерство внутренних дел Сипягина, повидимому, Горемыкин со своими сотрудниками по путешествию заграницей вели против меня какие-то интриги, так как как-то раз Сипягин обратился ко мне с вопросом: знаю ли я М. М. Лященко. Я ему ответил, что знаю, и знаю, что этот господин таков, что от него нужно держаться подальше, потому что это величайший негодяй. Он говорит сейчас одно и сейчас же отказывается от сказанного; делает одно и потом божится, что он никогда этого не делал.

Впрочем, я должен отметить, что потом, когда он в скором времени сделался сумасшедшим, — я отчасти мог объяснить себе поведение этого господина.

Я между прочим рассказал Сипягину всю историю путешествия Горемыкина с г. Балинским, с М. М. Лященко и с Рачковским.

Тогда Сипягин просил меня дать ему на некоторое время то донесение, которое я получил по поводу поездки Горемыкина в Англию. Я дал Сипягину это донесение. Затем, как-то он меня спросил: «нужно ли мне это донесение и можно ли его задержать на несколько недель?»

Я ответил, что мне это донесение не нужно, что оно находилось в архиве министерства финансов, и я им ни в каком отношении не пользовался.

Через несколько дней после этого события Сипягин был убит Балмашевым, о чем я буду говорить далее.

Тогда у меня явилась мысль между прочим о том, чтобы получить обратно этот документ.

Документы, оставшиеся после смерти Сипягина, были разобраны особой комиссией, во главе которой стоял, кажется, князь Святополк-Мирский — товарищ Сипягина, или Дурново,

также один из товарищей Сипягина. Я обратился к этим лицам с вопросом, не нашли ли они там такого документа?

Они мне сказали, что нашли этот документ, но, не зная, откуда он появился у Сипягина, передали его директору департамента полиции Зволянскому. Но затем документ этот я от Зволянского получить не мог под тем предлогом, что документ этот был уничтожен.

Между тем должен сказать, что Зволянский был интимный друг Горемыкина, потому что оба они, и Горемыкин и Зволянский, были ярые поклонники жены генерала Петрова, который одно время был директором департамента полиции и начальником жандармов. По причинам, трудно объяснимым, они на этом поприще не только не рассорились, но близость к госпоже Петровой совершенно их между собою связала.

Я очень впоследствии жалел о том, что документ этот пропал, ибо, если бы он находился в моем распоряжении, то, конечно, я бы положил предел всем тем интригам, которые делал Горемыкин в совещании о нуждах сельско-хозяйственной промышленности, а в особенности после 1905 года, а также перед 17 октября и после 17-го октября.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Боксерское восстание и наша политика на Дальнем Востоке.

Как я уже говорил, следуя нашему примеру, Англия захватила Вей-ха-вей; затем Франция, с своей стороны, сделала захват на юге Китая; Италия тоже предъявила различные требования к Китаю относительно уступок, которые Китай должен был сделать Италии.

Таким образом Германия, а вслед затем и мы, подали пример к постепенному захвату различных частей Китая всеми державами Европы.

Это положение дела крайне возбудило в китайцах их национальное чувство, и появилось, в результате, так называемое «боксерское» движение.

Движение это сначала явилось на юге, затем перешло в Пекин и на север.

Оно заключалось в том, что китайцы набрасывались на европейцев, истребляли их имущество и подвергали жизнь некоторых из них опасности.

Китайское правительство, мало-по-малу, было вынуждено, если не явно, то тайно, стать на сторону боксеров. Во всяком случае оно не имело ни желания, ни средств противодействовать этому восстанию.

Когда восстание это перешло в Пекин, то там был убит немецкий посланник, что еще более обострило положение. В конце концов, европейские посольства были там как бы в осаде.

Тогда европейские державы, а равно и Япония, вошли в соглашение относительно совместных действий по усмирению этого восстания и наказанию виновных.

Обо всем этом я буду иметь случай говорить более обстоятельно впоследствии; пока замечу только следующее.

Когда началось боксерское восстание, то военный министр Куропаткин находился в Донской области; он немедленно вернулся в Петербург и прямо с вокзала пришел ко мне в министерство финансов с весьма сияющим видом.

Когда я сказал ему: «Вот результат и последствия нашего захвата Квантунской области», он с радостью мне ответил:

— Я с своей стороны этим результатом чрезвычайно доволен, потому что это нам даст повод захватить Манчжурию.

Тогда я его спросил: «Каким образом он хочет захватить Манчжурию? Что же, он хочет Манчжурию сделать тоже нашей губернией?»

На это Куропаткин мне ответил:

— Нет, — но из Манчжурии надо сделать нечто вроде Бухары.

Итак, вследствие захвата Квантунского полуострова, произошли следующие события:

1. Уничтожение нашего влияния в Корее, — для успокоения Японии (что и было оформлено протоколом соглашения 13 апреля 1898 г.).

2. Нарушение секретного договора, состоявшегося с Китаем и заключенного в Москве во время коронации.

3. Начало захвата Китая различными державами, которые рассуждали так: если Россия позволила себе захватить Порт-Артур и Квантунский полуостров, то почему же нам также не заниматься захватом? — И начали захватывать отдельные порты и требовать от Китая различных концессий под угрозой принудительного воздействия.

Такого рода расхват Китая возбудил тамошнее население, и явилось боксерское восстание, которое проявлялось в 1898 г. довольно нерешительно, в 1899 г. — значительно усилилось и, наконец, в 1900 г. вызвало репрессивные меры со стороны европейских государств.

Сначала к этому боксерскому восстанию китайское правительство относилось индиферентно, не принимая никаких мер для его подавления, а в конце концов тайно начало ему содействовать. Это и вызвало с своей стороны вооруженное вмешательство иностранных держав.

8 июня 1900 г. последовала кончина министра иностранных дел графа Муравьева. Из предыдущих моих рассказов видно, что по случаю бедственной политики Муравьева на Дальнем Востоке я с ним совершенно разошелся, и между нами сохранились только официальные отношения. В мае и начале июня резко выразилось в Китае боксерское восстание. Это было последствие политики, внушенной Муравьевым, захвата китайской территории. Я не сомневался в том, что эта политика приведет к бедствиям. Когда разразилось боксерское восстание и послы европейских держав в Пекине оказались в полуосадном положении, то 7 июня этого 1900 г. вечером, часов в десять, приехал ко мне граф Муравьев. Я очень удивился его визиту, так как в последнее время мы частных визитов друг другу не делали.

В это время я жил на даче, в так называемом свитском доме Елагина дворца на Елагином острове. Мой кабинет был в верхнем этаже. Я пригласил Муравьева в кабинет и в это время приехал также курьер из министерства, который мне привез портфель различных бумаг, которые я должен был просмотреть и подписать. Муравьев вошел ко мне и начал с того, что вот, Сергей Юльевич, мы с вами очень разошлись по вопросу о взятии Порт-Артура и Дальнего. Теперь я вижу, что действительно, может быть, вы были тогда правы и что не следовало этого делать, так как это привело к таким значительным осложнениям. Но что сделано, то сделано. Теперь я желаю с вами примириться и прошу вашего содействия и энергичной поддержки проведения тех мер, которые будут вызваны боксерским восстанием и полною смутою в Пекине. Я ему сказал, что для меня это явление совершенно естественное, их нужно было ожидать, и что, конечно, мы оба служим одной и той же самой родине и одному и тому же государю, то, конечно, мой долг итти в данном случае с ним рука об руку, при чем граф Муравьев мне обещал, что он будет относиться с большим вниманием впредь к моим опытным советам. Этот разговор продолжался почти до 11 часов вечера; затем он встал и, уходя, спросил: а что Матильда Ивановна (моя жена) дома или нет. Я ему сказал, что дома, находится внизу в гостиной. Тогда он ушел, а я сказал: извините, что я вас не могу проводить. Его проводил туда мой человек, потому что я хотел избавиться от бумаг, которые привез курьер. Я просмотрел все бумаги и уже близко к 12 часам — я начал спускаться вниз. Когда я спускался вниз, то я слышал громкий смех Муравьева и моей жены. Муравьев приехал ко мне в 10 час. от графини Клейнмихель с обеда, при чем обед этот, очевидно, был сопровождаем и соответствующим питьем хороших вин. Когда я входил в гостиную, оттуда выходил Муравьев, продолжая смеяться, он говорил, что когда он приходит к моей жене,

так прекрасно проводит время. Затем он сел в коляску и уехал. Я же захотел пить — была большая жара — я сказал, чтобы мне дали воды, и потом взял большую бутылку шампанского, думая, что там шампанское,—оказалось, что Муравьев выпил до последней капли. Тогда я обратился к жене и говорю: какой счастливый этот граф Муравьев. Если бы я проделал такую штуку, как он, я к утру был бы мертвый, а ему ровно ничего не значит — подвыпив на ночь, еще выпить. И с него, как с гуся вода.

На другое утро, 8 июня, я рано встал и отправился по обыкновению сделать верховую прогулку. Я обыкновенно ездил в сопровождении солдата пограничной стражи. Возвратясь обратно с прогулки часа через полтора-два, когда я слезал с лошади, ко мне обратился мой камердинер и говорит: граф Муравьев вам приказал долго жить. Я сразу не понял и говорю: что ты толкуешь. Он говорит: граф Муравьев сегодня утром скончались.

Я сел в экипаж и поехал к нему. Он уже лежал в постели мертвый, и мне сказали, что он утром встал, сел пить кофе около стола, и с ним наверное сделался удар, и он упал мертвым на пол.

Тогда явился вопрос о назначении ему преемника.

При моем всеподданнейшем докладе, его величество после доклада обернулся лицом к окну, а ко мне спиной и спрашивает меня: «Скажите, пожалуйста, Сергей Юльевич, кого бы вы мне рекомендовали назначить министром иностранных дел?». Я его, по обыкновению, спросил: «А кого, ваше величество, вы имеете в виду?». Он говорит: «никого». Тогда я ему говорю, что это зависит от того, из какой среды вы желаете назначить— из лиц, которые служили в этом корпусе или нет. Если вы желаете из лиц, которые не служили в дипломатическом корпусе, то я бы советовал назначить одного из министров наиболее заслуженных и наиболее уравновешенных — одного из старших министров, потому что, хотя такой министр может быть и не будет знать иностранные дела, но, по крайней мере, он будет осторожен и не будет так легко относиться к различным чрезвычайно важным событиям, как относился отчасти князь Лобанов-Ростовский, и, в особенности, граф Муравьев. Если же вы желаете выбрать кого-нибудь из дипломатического корпуса, то я не вижу из послов никого, кто бы мог с пользою занять это место, и мог бы вам указать только на графа Ламсдорфа, товарища графа Муравьева. Хотя он в посольстве никогда не служил, но всю свою карьеру сделал в министерстве иностранных дел и представляет собою как бы ходячий архив этого мини-

стерства и затем, по своим умственным качествам, человек безусловно выдающийся и достойный.

Его величеству благоугодно было принять во внимание мою рекомендацию, и Ламсдорф был назначен сначала управляющим министерством, а затем и министром иностранных дел.

Я с своей стороны всегда делал упрек этому благородному человеку, графу Ламсдорфу, за то, что он допустил графа Муравьева сделать захват Порт-Артура и возбудить ту «бучу», которая затем привела к самым страшным событиям на Дальнем Востоке, разыгрывающимся и до настоящего времени, и которые еще очень и очень долго будут разыгрываться. Мне кажется, что граф Ламсдорф мог бы остановить Муравьева. Вероятно, он его не остановил, не желая ссориться со своим начальником.

В вооруженном вмешательстве мы шли во главе с европейскими державами. Сначала английские, японские и наши суда с адмиралом Алексеевым появились в Чифу, бомбардировали его, а затем английский адмирал Сеймур пошел экспедицией сначала к Тянь-Цзиню, потом к Пекину для того, чтобы освободить посольства, которые находились под страхом быть насилованными китайцами.

Сеймур оказался несостоятельным со своим маленьким отрядом, и было решено отправить усиленный отряд под главенством генерал-фельдмаршала Вальдерзэ. Но пока этот генерал ехал в Китай из Германии морем, события в Китае разыгрались, не ожидая его, и мы приняли на себя инициативу экспедиции в Пекин.

Тут опять произошло полное разногласие между мною и Куропаткиным. Я уговаривал Куропаткина, просил его величество оставить Пекин в покое, не двигаться с нашими войсками для подавления беспорядков в Пекине, предоставив эту задачу иностранным державам.

Куропаткин же, наоборот, настаивал на том, чтобы мы играли доминирующую роль в наказании китайцев в Пекине и на пути в Пекин.

Я убеждал его величество, что нам не следует вмешиваться в это дело, потому что мы, собственно в Пекине, да и вообще в Китае — за исключением Манчжурии — не имеем никаких серьезных интересов, что нам нужно защищать наше положение в Манчжурии, не раздражая китайцев и Китай. Пусть это делают те державы, которые заинтересованы в положении дел в Пекине и южном Китае.

Тем не менее, вопреки моему совету и совету министра иностранных дел графа Ламсдорфа, наши войска, под начальством генерала Линевича, вместе с японскими войсками были двинуты к Пекину.

Таким образом мы взяли на себя экзекуцию над Китаем. Мы осадили Китай. Вдовствующая императрица-регентша и богдыхан бежали из Пекина. Мы вместе с японцами взяли Пекин, и взятие это ознаменовалось, главным образом, тем, что войска занялись грабежами, — дворец богдыханши был разграблен.

После взятия Пекина никаких экзекуций над китайцами не производили. Но только частные имущества были сильно разграблены, в особенности ценности дворца, при чем, — как это ни больно и ни грустно сознаться, — до нас доходили слухи, что русские военачальники в этом отношении не отставали от других военачальников, что, впрочем, было подтверждено мне не официально агентом министерства финансов в Пекине — будущим посланником в Пекине — Покотиловым.

После взятия Пекина мы образумились, и в скором времени, благодаря моему настоянию и настоянию министра иностранных дел, наши войска оттуда ушли.

И настояния наши увенчались бы успехом, если бы боксерское восстание не распространилось на Манчжурию, которое сперва выражалось отдельными инцидентами, захватом некоторых служащих на железных дорогах, пожарами некоторых железнодорожных зданий, а засим восстание это выразилось и в более значительной степени.

Когда началось восстание, то Куропаткин сейчас же хотел вести войска в Китай, т.-е. двинуть их из Приамурской области в Манчжурию. Я долго уговаривал этого не делать и, действительно, в Манчжурии все было спокойно, за исключением некоторых отдельных незначительных инцидентов, — но после того, как мы совершили экспедицию в Пекин, событие это, вместе с захватом Квантунского полуострова, совершенно вооружило против нас китайское население. Начались такие грозные явления, что я сам был вынужден просить вести наши войска из Приамурской области в Манчжурию.

Но и в этом деле Куропаткин действовал со свойственным ему легкомыслием и непрозорливостью. Так, он отправил войска не только из Приамурской области, но и двинул войска морем из Европейской России и двинул войска в значительном количестве.

Я указывал на то, что Китай находится в таком положении, что самый незначительный отряд может положить предел всем беспорядкам.

Тем не менее, Куропаткин отправил войска в значительном количестве.

Но вскоре обнаружилось, что, несмотря на довольно произвольные действия наших войск в отношении Китая в Манчжурии,

население Китая, после того, как только несколько тысяч войск наших было введено в Манчжурию, скоро успокоилось.

Таким образом войска, отправленные из Европейской России морем, доехав до Порт-Артура и Да-лян-ван, сейчас же вернулись обратно. Но те части, которые пришли в Приамурскую область и Сибирь по железной дороге, прочно оккупировали как юг, так и север Манчжурии.

Как только войска вошли в Манчжурию, так началась двойственность власти в направлении действий русских властей в Китае. Вся администрация железной дороги, все служащие железной дороги, а в том числе пограничная или охранная стража, держались политики миролюбивой. Они, во время пребывания там, успели установить хорошие отношения с китайскими властями и населением, а поэтому утверждали, что если бы мы сами поступали в отношении Китая корректно, то Китай оставался бы самым верным нашим союзником, а поэтому следует загладить все ошибки, которые были сделаны, как по захвату Квантунского полуострова, — что повело за собой сооружение южной ветви к Порт-Артуру,— так и по занятию нами Пекина, тогда как мы не имели там никаких интересов; вместо того, чтобы предоставить делать эту экзекуцию европейским державам, заинтересованным в Пекине, Среднем и Южном Китае — мы сами добровольно на себя взяли эту экзекуцию.

Куропаткин же держался той идеи, которую он мне высказал с такою радостью, когда началось боксерское восстание, а именно, что необходимо захватить, пользуясь этим случаем, всю Манчжурию. Он проводил совсем другие идеи,— идеи не мирные. Наши войска распоряжались в Китае совершенно произвольно, т.-е. так, как поступает неприятель в захваченной стране, да и то в стране азиатской.

Таким образом была создана та почва, на которой неизбежно должна была разразиться катастрофа.

Я и граф Ламсдорф убеждали его величество вывести войска из Манчжурии и восстановить те нормальные и дружелюбные отношения, которые были до захвата нами Квантунской области. Мы выражали надежду, что, в конце концов, Китай может с этим захватом примириться, если только далее мы не будем совершать произвольных шагов и вообще всяких насилий.

Наоборот, Куропаткин и, под его влиянием, военные чины держались того мнения, что раз мы можем захватить Манчжурию, если не юридически, то, по крайней мере, фактически, то следует этим воспользоваться, а поэтому в их интересах было,

чтобы в Манчжурии постоянно происходили различные инциденты.

В первое время, когда разыгралось боксерское восстание в Манчжурии, после того, как мы захватили Пекин, действительно в Китае были некоторые силы, имеющие подобие сил военных, организованных, но в скором времени они были уничтожены нашими войсками. Наиболее сильный боксерский отряд находился около Мукдена и был побит нашим небольшим отрядом под командою генерала Субботича. Генерал Субботич получил за это георгиевский крест, впрочем, он получил Георгиевский крест главным образом потому, что был товарищем Куропаткина, был с ним на «ты».

После разбития этого ничтожного китайского отряда, в сущности говоря, китайское население в Манчжурии совершенно успокоилось.

Но военное ведомство делало все, чтобы иметь предлог не выводить войска из Манчжурии. В течение $1^1/_2$ года происходили в этом отношении постоянные разногласия, с одной стороны, между министерством финансов, всею массою служащих на Восточно-Китайской железной дороге и агентами министерства иностранных дел, а с другой стороны — военным министром и подчиненными ему военными чинами, находящимися в Манчжурии.

Его императорское величество никаких твердых решений по этому предмету не предпринимал. С одной стороны, не высказывал категорично, что он не согласен с воззрениями министра иностранных дел и министра финансов, а с другой стороны, как бы поддерживал тенденции Куропаткина, клонившиеся, в конце концов, к захвату Манчжурии.

Такое положение дела вытекало не из обстоятельств, которые заключались в разногласии между министром финансов и министром иностранных дел, с одной стороны, и Куропаткиным — с другой, а вытекало из обстоятельств другого порядка, именно: как только был захвачен Квантунский полуостров, и мы, так сказать, ушли от Кореи, передав доминирующее влияние в Корее японцам, явилась другая сила, сила неофициальная, так сказать, вневедомственная, которая начала вести свою политику.

Явился некий отставной ротмистр кавалергардского полка Безобразов. Безобразов один из целой плеяды авантюристов, проявивших себя в последнее время в России, как-то: Вонлярлярский, Матюнин, ротмистр Санин и другие. Между ними

разница заключается только в образовании и общественном состоянии, но у всех у них доминирующей чертой является авантюра, при чем разве только один Безобразов, по существу, представляет собою честного человека, чего нельзя сказать о всех прочих.

Что касается Безобразова, который сыграл такую видную роль в авантюре, приведшей нас к войне с Японией, то относительно его личности является естественно вопрос: каким образом мог он, будучи честным человеком, проделать всю эту авантюру.

На этот вопрос могла бы лучше всего ответить его почтеннейшая жена, которая по нездоровью постоянно жила в Женеве, куда часто приезжал и подолгу жил с ней ее муж.

Когда перед Японской войной его величество сделал Безобразова статс-секретарем и он начал играть такую выдающуюся роль в судьбах России, то он привез сюда свою жену, для того, чтобы представить ее при дворе. И madame Безобразова, эта честная, очень милая и образованная женщина, была чрезвычайно смущена и говорила: «Никак не могу понять: каким образом Саша может играть такую громадную роль, неужели не замечают и не знают, что он полупомешанный?»

Безобразов начал проповедывать, что, мол, мы не должны покидать Корею, а раз мы, после захвата нами Квантунского полуострова, были вынуждены ее покинуть для того, чтобы не вызвать немедленного столкновения с Японией, и раз мы официально это сделали, то нужно стараться добиваться нашего влияния в Корее неофициально, так сказать скрытым путем, посредством установления в Корее различных концессий, имеющих по виду совершенно частный характер, но в действительности поддерживаемых и руководимых правительством, которые постепенно, по системе паука, захватили бы Корею.

Эту мысль Безобразов представил с одной стороны графу Воронцову-Дашкову, который в то время жил в Петербурге, находясь не у дел, в качестве члена Государственного Совета. Граф Воронцов-Дашков знал Безобразова, потому что Безобразов состоял при нем молодым офицером, когда вступил на престол император Александр III, и граф Воронцов-Дашков был начальником охраны его величества.

С другой стороны, Безобразов подъехал с этою же самою идеей к великому князю Александру Михайловичу.

Вот эти два лица ввели Безобразова к его величеству, вполне поддерживая его идею захвата Кореи по системе паука, посредством фальсифицированных частных обществ, руководимых и поддерживаемых как материально, так и, в случае нужды, силою авторитета русского правительства.

Граф Воронцов-Дашков этому сочувствовал, просто потому, что он не соображал последствия такой политики; а его императорское высочество великий князь — по склонности ко всем государственным, мягко выражаясь, выступлениям, могущим или его выдвинуть, или дать пищу его неспокойному духу.

Вследствие решения попробовать осуществить план Безобразова, были добыты концессии в Корее, затем были посланы туда экспедиции для исследования Кореи с точки зрения коммерческой и, главным образом, стратегической, — хотя все это делалось в форме довольно детской.

Затем Безобразов, получая постепенно влияние у его величества, устранил от этого дела графа Воронцова-Дашкова и великого князя Александра Михайловича, которые, вероятно, ушли довольно охотно после того, как через некоторое время они поняли, что все дело может кончиться катастрофой.

Таким образом Безобразов начал действовать на свой, так сказать, счет и страх.

Все это, конечно, было вполне известно японцам, и японцы поняли, что, с одной стороны, мы им официально уступили Корею, а с другой — не официально — хотим все-таки властвовать в Корее. Такое положение дела, естественно, крайне настроило японцев против нас и уже не столько китайцы — как японцы, поддерживаемые, между прочим, Англией и Америкой, настаивали на удалении нас из Манчжурии.

Когда мы ввели наши войска в Манчжурию, то мы тоже громогласно объявили, что мы вводим в Манчжурию войска только для того, чтобы поддержать пекинское правительство и прекратить боксерскую смуту, которую не может прекратить законное китайское правительство, и что, коль скоро эта смута будет прекращена, мы сейчас же уйдем из Манчжурии.

Между тем смута была прекращена, китайское правительство вернулось в Пекин и там воссело, а мы все же оставались в Манчжурии. Китайское правительство нас всячески просило, уговаривало оставить Манчжурию, но мы, тем не менее, под тем или другим предлогом не уходили.

Таким образом понятно, что Китай начал сочувствовать японцам и иностранным державам, которые, как бы в соответствии с его интересами, требовали удаления наших войск из Манчжурии.

После захвата нами Квантунского полуострова и введения наших войск в Манчжурию под предлогом поддержания законного правительства Китая и подавления боксерского восстания,

а затем неухода нашего из Китая—вследствие вот этих двух наших действий — Китай перестал нам окончательно в чем-либо верить.

Затем, если бы мы исполнили в точности наше соглашение с Японией от 13 апреля и не начали в Корее тайных махинаций, имея в виду там доминировать, — Япония, наверное, успокоилась бы и не начала б довольно решительно действовать против нас; но так как Япония увидела, что на нас ни в чем положиться нельзя, что, с одной стороны, мы, удалив японцев с Ляодунского полуострова, сами, затем, захватили этот полуостров, а с другой стороны, заключив с ними соглашение, которое должно было им компенсировать наш захват, начали тайно, обходным путем его нарушать — то и Япония перестала совершенно нам верить.

Поэтому составилась против нас общая коалиция Китая, Японии, Америки и Англии; все перестали нам верить и начали настоятельно требовать нашего ухода из Манчжурии.

После того, как был разграблен Пекин, генерал-лейтенант Линевич, получивший за взятие Пекина Георгия на шею, вернулся на свой пост корпусного командира в Приамурский край и вместе со своим багажом привез 10 сундуков различных ценных вещей из Пекина. К сожалению, примеру генерала Линевича последовали и другие военные чины и также вывезли вещи из китайских дворцов и жилищ.

Я очень сожалел, что не знал об этом тогда, когда сундуки эти были вывезены; если бы я об этом знал, то я, конечно, приказал бы их раскрыть и сделать по этому предмету скандал.

Когда был разграблен дворец богдыхана, то, между прочим, были захвачены там различные документы.

И вот вдруг министр иностранных дел граф Ламсдорф получил из нашего посольства взятое из дворца нашими военными подлинное соглашение, заключенное мною и князем Лобановым-Ростовским, с одной стороны, и Ли-Хун-Чаном — с другой, во время коронации и затем получившее ратификацию как императора Николая II, так и богдыхана.

Оказывается, что китайская императрица-мать регентша — придавала этому соглашению такое большое значение, что держала его в своей спальне в особом шкафу.

Когда при осаде Пекина вдовствующая императрица и весь императорский дом экстренно покинули дворец и уехали из Пекина, то не успели захватить с собой это соглашение.

Тогда явился вопрос: что же делать с этим соглашением? Граф Ламсдорф советовался со мной, и я высказывал мнение, что хотя это соглашение безусловно нами нарушено, тем не менее,

следует его вернуть, дабы показать, что мы все-таки от него не отказывались и желаем продолжать дружбу с Китаем.

Конечно, соглашение это мы вернули, но Китай убедился в том, что нам верить нельзя, потому что и после того, как мы вернули это соглашение, — все-таки мы продолжали настойчиво пребывать в Манчжурии.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Моя поездка в Париж на всемирную выставку. Заезд в Копенгаген. Болезнь Государя. Вопрос о престолонаследии.

Осенью 1900 г. я ездил в Париж на всемирную выставку в качестве министра финансов и торговли и промышленности Российской империи. Проездом туда мне было дано знать из Копенгагена, где в то время находилась императрица Мария Феодоровна, что она желала бы, чтобы я туда заехал. Я поехал туда, захватив с собою Грубе, который был агентом министерства финансов в Персии. Захватил потому, что он сам датчанин, его знала императрица и он был в очень хороших отношениях с орлеанской принцессой Марией датской, ныне умершей, которая была женой принца датского, брата императрицы Марии Феодоровны и которая очень содействовала в царствование императора Александра III сближению Франции с Россией.

В Копенгагене я был всего полутора суток, так как спешил в Париж, виделся с ее величеством, и ее величество интересовалась положением боксерского восстания. Я ее величеству кратко доложил, отчего восстание произошло, и, с своей стороны, заверил, что если только мы будем благоразумны, то никаких особенных последствий, чрезвычайных для России, ожидать нельзя. К сожалению, мы были очень неблагоразумны и после долгих перипетий довели Россию до несчастной и довольно бесславной войны с Японией.

В то время, когда я разговаривал с императрицей Марией Феодоровной, в комнату вошла ее сестра, королева английская, которой она меня представила. Затем, распростившись с ними, я ушел, но мне адъютант короля, престарелого почтеннейшего

Христиана, отца вдовствующей императрицы, сказал, что король желает меня видеть.

Я отправился к королю. Ему представился. Король был со мною очень милостив и подарил мне свой портрет с надписью, который висит до сих пор в кабинете, что он делал чрезвычайно редко, так как свои портреты давал только членам своей семьи, и сказал, что он ничего не может больше дать, так как я имею ордена выше датского ордена. Король спросил, видел ли я его дочь, императрицу, я доложил, что видел, и вкратце сказал наш разговор. Затем он обратился ко мне со следующим вопросом: «Мне моя дочь говорила, что вы занимаетесь с моим внуком Мишей и что между вами и Мишей существуют отличные отношения. Скажите мне, пожалуйста, что собой представляет Миша, т.-е. великий князь Михаил Александрович». Я ему сказал, что действительно я имею высокую честь и радость преподавать великому князю и его знаю хорошо, но что мне очень трудно обрисовать его личность в нескольких словах, что вообще, чтобы охарактеризовать человека, то самый лучший способ, это—провести его через горнило различных, хотя и воображаемых событий и указать, как по его характеру он в таких случаях поступил бы, т.-е. написать нечто вроде повести или романа, так как в характере человека есть такие сложные аппараты, что их несколькими словами описать очень трудно. На это мне король заметил: «Ну, а все-таки вы можете в нескольких словах охарактеризовать; я его знаю, как мальчика, я с ним серьезно никогда не говорил». Тогда я позволил себе сказать королю: «Ваше величество, вы хорошо знаете моего державного повелителя императора Николая?» Тогда он говорит: «Да, я его хорошо знаю». Я говорю: «Само собой разумеется, вы отлично знаете и императора Александра III». Король сказал: «Ну да, я его отлично знаю». «Так я приблизительно именно в самых таких общих контурах, чтобы определить личность Михаила Александровича, сказал бы так: что император Николай есть сын своей матери и по своему характеру и по натуре, а великий князь Михаил Александрович есть больше сын своего отца». Король на это рассмеялся, и затем мы расстались. Я больше никогда не имел случая видеть этого достойнейшего во всех отношениях монарха.

Будучи в Дании, я сделал визит и принцессе Марии, вместе с Грубе. Принцесса очень интересовалась в то время образованием датского пароходного азиатского общества, беседовала со мною по этому предмету в том смысле, чтобы оказать содействие этому обществу.

Затем я уехал с Грубе по направлению Гамбурга и Кельна, в Париж, при чем Грубе вернулся в Петербург, я же прибыл

в Париж. Хотя всемирная выставка уже была открыта несколько месяцев, но некоторые отделы и в том числе русский отдел не были еще окончены. Комиссаром этой выставки со стороны России был назначен мною князь Тенишев, весьма богатый человек, сделавший состояние собственным трудом, начав службу на железной дороге техником с содержанием в 50 р. в месяц. Он в Париже очень широко устроился, принимал и по своим практическим знаниям был совершенно на месте. Сын этого Тенишева, теперешний член Государственной Думы, был тогда еще мальчиком.

Я, конечно, в деталях осматривал всю выставку, сделал надлежащие визиты и затем был приглашен президентом республики почтеннейшим Лубэ приехать к нему в дачное его местопребывание «Рамбулье». Я поехал туда в сопровождении нашего посла Урусова. Там были некоторые из министров, а именно министр финансов Кайо, который вот только несколько недель тому назад оставил министерство, в котором он уже фигурировал в качестве президента министерства. Там был тогдашний министр внутренних дел известный Дюпюи, который и ныне тоже состоит министром одного из министерств, человек, не имевший никаких средств, но составивший себе громадное состояние на газете «Petit Journal». Там был министр иностранных дел Делькассе и еще несколько министров. Во время обеда я сидел по правой стороне Лубэ и Кайо по левой стороне Лубэ. В это время президентом министерства был Вальдек Руссо, но его не было в Париже. Во время всего обеда я, Кайо, с одной стороны, и Лубэ, с другой стороны, спорили о денежном обращении. Он все продолжал поддерживать теорию биметаллизма, а я и Кайо поддерживали, конечно, теорию монометаллизма, т.-е. основания, на которых я совершил реформу денежного обращения в России. Этот спор был в высокой степени бесстрастный и дипломатичный, хотя Кайо тогда в очень вежливой форме пускал стрелы в почтеннейшего президента республики. После обеда была иллюминация, и к вечеру мы вернулись со всеми министрами в Париж, при чем во время путешествия я много с ними говорил. Затем, я, будучи в Париже, несколько раз виделся как с Кайо, так и с Делькассе. Делькассе был знаком с моей женой, когда он приезжал в Петербург, тогда и познакомились — и поэтому Делькассе несколько раз катался с моей женой и подростком-дочерью в автомобиле в окрестностях Парижа и ездил показывать им Версаль.

В июне месяце 1899 г. умер наследник цесаревич Георгий Александрович, и наследником престола был объявлен великий князь Михаил Александрович. По моему мнению, объявление

великого князя наследником престола не вытекало непосредственно из закона: по закону само собою разумеется, что если у государя до его смерти не было бы сына, то Михаил Александрович вступил бы на престол прямо, как лицо царствующего дома, имеющий первенствующее право на престол. Но объявление его наследником было в таком случае неудобно, ибо в это время государь был уже женат и, следовательно, мог всегда иметь сына, что и случилось, так как после четырех дочерей у государя, наконец, родился сын, нынешний наследник цесаревич Алексей Николаевич, которому в настоящее время минуло только семь лет, но, тем не менее, с рождением его пришлось как бы разжаловать великого князя Михаила Александровича из наследников и ввести в ряды просто великих князей.

Как я говорил, наследник цесаревич Алексей Николаевич явился на свет, когда у государя было четыре дочери, и поэтому одно время, насколько мне было известно от бывшего министра юстиции Николая Валериановича Муравьева, у их величеств как бы появилась мысль, или вернее вопрос, нельзя ли в случае, если они не будут иметь сына, передать престол старшей дочери. Я подчеркиваю, что это не было отнюдь решение, а лишь только вопрос. Этим вопросом занимался как Николай Валерианович Муравьев, так и Константин Петрович Победоносцев, который к такой мысли относился совершенно отрицательно, находя, что это поколебало бы существующие законы о престолонаследии, изданные при императоре Павле, и которые имели ту весьма важную государственную заслугу, что с тех пор русский престол в смысле прав на престолонаследие сделался устойчивым и прочным.

После посещения мною парижской выставки в 1900 г. я отправился через Петербург в Крым. В Крыму, кроме меня, были министр граф Ламсдорф, военный министр Куропаткин, конечно, министр двора барон Фредерикс, великий князь Михаил Николаевич. Я жил в доме министерства путей сообщения, на шоссе, идущем из Ялты в Ливадийский дворец. Вскоре после моего приезда его величество заболел инфлуэнцой и по обыкновению не желал серьезно лечиться. Это как будто семейная царская черта. Его отец, по моему глубокому убеждению, умер преждевременно потому, что начал лечиться серьезно, когда уже было поздно. Главный диагноз болезни производился профессором военно-медицинской академии Поповым, который по моей мысли был вызван из Петербурга, так как до этого времени государя лечил лейб-медик старик Гирш, хирург, который, если когда-нибудь что и знал, то наверное все перезабыл. По диагнозу этого профессора оказалось, что государь император болен брюшным тифом.

Государь император болел тифом в Ялте с 1 по 28 ноября; только 28 ноября процесс тифа закончился, и наступило выздоровление.

Во время болезни государя, которая чрезвычайно встревожила всех окружающих, а в том числе и меня, произошел следующий инцидент.

Как-то раз, когда с государем по сведениям от докторов было очень плохо, утром мне телефонировал министр внутренних дел Сипягин и просил меня приехать к нему. Я поехал к Сипягину в гостиницу «Россия», где он жил, и застал у него графа Ламсдорфа — министра иностранных дел, министра двора барона Фредерикса и великого князя Михаила Николаевича. Как только я приехал, был поднят вопрос о том, как поступить в том случае, если случится несчастье и государь умрет? Как поступить в таком случае с престолонаследием?

Меня вопрос этот очень удивил, и я ответил, что, по моему мнению, здесь не может быть никакого сомнения, так как наследником престола его величеством уже объявлен великий князь Михаил Александрович, но, если бы даже он не был объявлен, то это нисколько не меняло бы положения дела, ибо, согласно нашим законам о престолонаследии, по точному смыслу и духу этих законов, великий князь Михаил Александрович должен немедленно вступить на престол.

На это мне делали не то возражения, не то указания, что императрица может быть в интересном положении (вероятно, министру двора было известно, что императрица находилась в интересном положении), и, следовательно, может случиться, что родится сын, который и будет иметь право на престол. На это я указал, что законы престолонаследия такого случая не предвидят, да думаю — и предвидеть не могут, так как, если императрица и находится в интересном положении, то никоим образом нельзя предвидеть, какой будет конечный результат этого положения, и что, во всяком случае, по точному смыслу закона, немедленно вступает на престол великий князь Михаил Александрович. Невозможно поставить империю в такое положение, чтобы в течение, может быть, многих месяцев страна самодержавная оставалась без самодержца, что из этого совершенно незаконного положения могут произойти только большие смуты.

Мои собеседники несколько раз просматривали и читали законы, которые безусловно подтверждали мое мнение.

Тогда старый великий князь Михаил Николаевич поставил мне вопрос: — Ну, а какое положение произойдет, если вдруг через несколько месяцев ее величество разрешится от бремени сыном?

Я ответил, что в настоящую минуту едва ли возможно на это дать определенный ответ, и мне кажется, что, во всяком случае, ответ на этот вопрос мог бы дать только сам великий князь Михаил Александрович, если произойдет такое великое несчастие, и государь скончается, тогда он в качестве императора должен будет судить, как надлежит в этом случае поступить. Мне кажется, насколько я знаю великого князя Михаила Александровича, он настолько честный и благородный человек в высшем смысле этого слова, что, если он сочтет полезным и справедливым,— сам откажется от престола в пользу своего племянника.

В конце концов все со мною согласились, и было решено, чтобы об этом нашем совещании частным образом доложить ее величеству.

Через несколько дней после этого, генерал Куропаткин, едучи от всеподданнейшего доклада государю (а государь, несмотря на свою болезнь, в экстренных случаях принимал всеподданнейшие доклады министров), из Ливадийского дворца заехал ко мне, в дом министерства путей сообщения, завтракать. Так как дом этот находится на пути из Ялты в Ливадию, то обыкновенно министры, если имели всеподданнейший доклад и не оставались во дворце завтракать, на обратном проезде заезжали ко мне завтракать.

Так вот генерал Куропаткин после завтрака, когда я остался с ним наедине, спросил меня:

— Скажите, пожалуйста, какое это совещание вы имели у Сипягина?

Я ему ответил, что, как мне говорил Сипягин, ведь и вы на это совещание были приглашены, и жаль, — сказал я, — что вы не приехали, так как был обмен мнений по очень важному вопросу.

Он говорит: «Я не мог приехать», — а затем встал в трагическую позу и, ударяя себя в грудь, сказал мне очень громким голосом:

— Я свою императрицу в обиду не дам.

Зная Алексея Николаевича за комедианта балаганных трупп, я этому выражению его не придал никакого значения и сказал:

— Почему, Алексей Николаевич, вы принимаете на себя привилегию не давать в обиду никому императрицу? Это право принадлежит всем, а в том числе и мне.

Так как государь вскоре, к величайшему счастью, выздоровел, то об этом больше и речи не было; только, при выезде из Ялты, я нарочно заехал к барону Фредериксу и сказал ему, чтобы он доложил государю о том затруднении, в которое мы

были поставлены по вопросу о престолонаследии в случае могущего произойти с ним несчастия; что, по моему мнению, во избежание в этом вопросе каких бы то ни было неопределенностей, если его величеству угодно будет дать какие-нибудь новые указания, то указания эти должны быть сделаны и оформлены совершенно категорически в законе.

* В Петербурге мне говорил К. П. Победоносцев (обер-прокурор святейшего синода) и министр юстиции Муравьев, что им было поручено составить соответствующий указ, который не был опубликован и затем, вероятно, потерял силу с счастливым событием рождения великого князя Алексея Николаевича. Более по поводу этого исторического эпизода мне ничего не было известно*.

Затем, через много лет, а именно в прошлом 1910 г., как-то раз в Биаррице я зашел к известной в обществе даме Александре Николаевне Нарышкиной. Дама эта главным образом известна тем, что была замужем за Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным, обер-гофмаршалом императора Александра III и сыном незаконного сожития императора Александра I с известной Нарышкиной, по происхождению полькой (см. изданные по этому поводу несколько лет тому назад мемуары великого князя Николая Михайловича).

Этого Нарышкина я лично знал; это был честнейший, благороднейший дворянин и царедворец. Он умер в глубочайшей старости восемь лет тому назад.

Когда я разговаривал с Нарышкиной, она вдруг обратилась ко мне с вопросом.

— Сергей Юльевич, знаете вы или нет, почему императрица к вам относится так, если не сказать враждебно, то во всяком случае несимпатично?

Я ответил, что понятия об этом не имею и даже вообще не имею понятия о том, чтобы императрица ко мне так относилась; видел я ее очень мало и говорил с нею в жизни только несколько раз.

На это Нарышкина мне сказала:

— Мне известно, что такое чувство ее происходит от того, что вы в Ялте, когда император был болен, в предположении, что император может умереть, настаивали на том, чтобы на престол вступил великий князь Михаил Александрович.

Я сказал, что это совершенно правильно, но я ни на чем не настаивал, а только открыто в совещании высказал свое мнение, и к этому мнению пристали все члены совещания, в том числе и великий князь Михаил Николаевич, сын императора Николая I, которого, кажется, никто уж не может заподозрить

ни в нелойяльности, ни в недостатке безусловной преданности к государю императору. Вообще я высказал не свое мнение, а только объяснил точный смысл существующих законов.

Я тогда понял, что, вероятно, благороднейший и честнейший барон Фредерикс, но не обладающий гениальным умом, что-либо сбрякнул императрице, и с тех пор, вероятно, получила основание легенда, которая многим была в руку, а потому весьма распространилась,— а именно, что я ненавижу императора Николая II. Этой легендой, муссированной во всех случаях, когда я был не нужен, легендой, которая могла приниматься всерьез только такими прекрасными, но с болезненною волею или ненормальною психикою людьми, как император Николай II и императрица Александра Феодоровна, и объясняются мои отношения к его величеству и моя государственная деятельность.

Я имел большое счастье преподавать великому князю Михаилу Александровичу народное и государственное хозяйство (политическую экономию и финансы). Преподавание это я начал в 1900 г. и кончил в 1902 г.

Я преподавал уже в течение нескольких месяцев великому князю, когда произошел вышеописанный инцидент в Ялте.

Способ моего изложения, манера моего изложения, а может быть и другие причины, мне неизвестные, сделали то, что великий князь очень охотно со мною занимался, и мне часто после лекций, во время антракта от одной лекции до другой, приходилось с ним разговаривать, иногда завтракать, а иногда и ездить на автомобиле по парку. Поэтому я в конце концов очень хорошо познакомился с Михаилом Александровичем.

Как по уму, так и по образованию великий князь Михаил Александрович представляется мне значительно ниже способностей своего старшего брата государя императора, но по характеру он совершенно пошел в своего отца.

Ранее этого я преподавал великому князю Андрею Владимировичу, вследствие просьбы его отца великого князя Владимира Александровича, с которым я был в отличных отношениях.

Великий князь Андрей Владимирович уже в 1902 г. начал несколько уклоняться от правильной нормальной жизни, особенно присущей столь высоким лицам, каковы великие князья, поведением и действиями которых интересуется все общество и преимущественно та часть общества, которая склонна к всевозможным пересудам.

Мне как-то раз пришлось говорить с великим князем Михаилом Александровичем, который был очень дружен с Андреем

Владимировичем, что вот Андрей Владимирович начинает несколько пошаливать, и я боюсь, чтобы это не кончилось дурно.

Вел я этот разговор, главным образом, с целью предостеречь великого князя Михаила Александровича от подобных увлечений. На это я получил от великого князя ответ:

— Я решительно не понимаю, Сергей Юльевич, каким образом человек, который сознает, что то или другое дурно, что этого не следует делать — может это делать? Я по крайней мере уверен, что, если я убежден, что что-нибудь дурно, то никакие силы не в состоянии меня заставить совершить это дурное.

Теперь великому князю Михаилу Александровичу 33 года. Последнее время говорят, что он будто бы запутался в каком-то романе; впрочем, мне этому не хочется верить. Но, если бы даже случилось такое несчастное обстоятельство, то я должен сказать, что в этом во многом виновато его воспитание. Его ведь воспитывали совершенно как молодую девицу и тогда, когда ему уже минуло 29 лет.

Затем он несколько лет тому назад увлекся своей двоюродной сестрой принцессой Кобургской, дочерью великой княгини Марии Александровны, и хотел на ней жениться. На это не последовало согласия, потому что она его двоюродная сестра.

Теперь на этой принцессе женился испанский принц.

Я сожалел тогда о том, что великому князю Михаилу Александровичу не было дозволено на ней жениться, хотя и находил это решение совершенно правильным.

Очень жалко, что впоследствии такое принципиальное решение, касающееся бракосочетаний великих князей, а в особенности тех из них, которые более или менее близки к трону,— было нарушено.

Так, великому князю Кириллу Владимировичу было разрешено жениться тоже на своей двоюродной сестре, на сестре той самой принцессы, на которой не разрешили жениться великому князю Михаилу Александровичу, да еще на сестре разведенной и, кроме того, мужем которой был великий герцог Дармштадтский, брат государыни императрицы.

Точно так же было разрешено великому князю Николаю Николаевичу жениться на сестре жены его брата Петра Николаевича, также разведенной с принцем Лейхтенбергским, двоюродным братом великого князя Николая Николаевича.

Может быть от того, что в 1900 г. я начал читать лекции великому князю Михаилу Александровичу, и может быть потому, что великий князь отзывался обо мне чрезвычайно симпатично,

явились какие-нибудь неправильные, скажу больше, бесчестные предположения относительно мотивов моего мнения о престолонаследии, которое я должен был высказать в Ялте.

Хотя я великого князя Михаила Александровича почитаю и сердечно люблю, но эти мои чувства к нему не могут итти в сравнение с теми чувствами, которые я питал к Николаю Александровичу и которые я поныне питаю к моему государю Николаю II.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Убийство П. Н. Боголепова и Д. С. Сипягина.

14 февраля 1901 г. последовало покушение на министра народного просвещения Боголепова. Покушение это произошло таким образом.

Во время приема явился к Боголепову бывший студент Московского университета Карпович и выстрелил ему в шею.

Это было первое анархическое покушение; оно было как бы предвестником всех тех событий, которые мы переживали с 1901 по 1905 г. г. и которые, в другой форме, мы переживаем и ныне, но уже по причинам иного порядка, не потому, чтобы России не было дано того, чего она желала. В конце концов его величеству благоугодно было 17 октября 1905 г. дать России то, о чем лучшие ее люди мечтали, начиная с царствования императора Александра благословенного.

Но нынешнее положение дела происходит от других причин, а именно от того, что Столыпин, по соображениям личным, не будучи в состоянии уничтожить 17 октября 1905 г., постепенно его коверкал и коверкал в направлении политического распутства.

Боголепов был весьма порядочный, корректный и честный человек, но он держался крайне реакционных взглядов. Его реакционные меры, несомненно, возбудили университет, — хотя я не могу не признать, что все-таки Боголепов действовал закономерно и что его режим в 1901 г., хотя и был реакционный, но закономерный и благородный.

Вообще, когда сравнишь тот режим, который был в 1901 г., с тем, который ныне водворил министр народного просвещения Кассо, то приходится дивиться тому, каким образом такой режим, режим полнейшего произвола и усмотрения, мыслим после 17 октября 1905 г.

Это удивление может быть умалено сознанием, что, в сущности говоря, Кассо — есть продукт общей распутной политики, внедренной Столыпиным, которая и породила Кассо.

Как только Боголепов был ранен, я поехал к нему и застал там его жену, весьма почтенную женщину (урожденную княжну Ливен), также его товарища Зверева (ныне члена Государственного Совета), человека мелкого, но не дурного и крайнего реакционера. Вообще Зверев — человек без всяких талантов и очень слабой учености.

Я настоял на том, чтобы из Берлина немедленно был выписан знаменитый хирург Бергман.

Боголепову пуля прострелила шею.

Бергман приехал; осмотрел Боголепова, а потом был у меня и дал мне весьма успокоительные сведения. Но, к несчастью, предсказания Бергмана не сбылись, и через несколько дней после отъезда Бергмана Боголепов 2 марта 1901 г. скончался.

Вместо Боголепова министром народного просвещения был назначен бывший военный министр генерал-адъютант Ванновский, вероятно потому, что, с одной стороны, он по своей службе был известен за человека крайне консервативных воззрений, а с другой — потому, что ему было поручено расследование студенческих беспорядков, бывших во время министерства Горемыкина, — о чем я говорил ранее.

2 апреля 1902 г. был убит министр внутренних дел, благороднейший дворянин Дмитрий Сергеевич Сипягин. Он был убит в вестибюле подъезда в комитет министров. Было заседание комитета министров. Члены комитета начали собираться, приехал Дмитрий Сергеевич Сипягин. В вестибюле к нему подошел офицер, одетый в адъютантскую форму, и протянул руку с пакетом. Сипягин спросил, от кого этот пакет, и этот офицер ответил: от великого князя Сергея Александровича из Москвы. Когда Сипягин протянул руку, чтобы взять этот пакет, в него последовало несколько выстрелов, т.-е. этот офицер в него сделал несколько выстрелов из браунинга. Сипягин упал, но был в сознании. Его перевезли в Максимилиановскую лечебницу, находящуюся невдалеке от помещения комитета министров, т.-е. Мариинского дворца. Когда последовали выстрелы, то все члены комитета спустились по лестнице, вниз в вестибюль. Министр Ванновский, посмотрев на этого офицера, сказал: это не офицер, это человек, наряженный офицером; офицер так одеваться не может, это не военный. Когда я спустился, этого офицера раздевали в соседней комнате. Он был высокого роста,

блондин. Он сознался сейчас же, что он не военный, а анархист, что фамилия его Балмашов, что он бывший студент. Я все время не отходил от Сипягина и на моих глазах, через несколько часов после покушения, он умер, что возбудило во мне искреннее, сердечное сожаление.

Как я уже имел случай говорить, это был прекраснейший и благороднейший человек. Он знал, что находится в большой опасности. Перед самой смертью, за несколько дней, я с ним вел беседу в присутствии его жены и говорил ему о том, что в некоторых случаях, по моему мнению, он принимает чересчур резкие меры, которые по существу никакой пользы не приносят, а между тем возбуждают некоторые слои общества и слои благонамеренные и, во всяком случае, умеренные, на что он мне сказал: может быть, ты прав, но иначе поступить я не могу, наверху находят, что те меры, которые я принимаю, недостаточны, что нужно быть еще более строгим.

Явился вопрос: кого же назначить министром внутренних дел.

Еще за несколько недель до убийства Сипягина мы обедали у князя Мещерского, редактора пресловутого «Гражданина». Сипягин был в некотором родстве с Мещерским, и он имел ту неосторожность, что ввел Мещерского в фавор к его императорскому величеству, после того, как его императорское величество со дня вступления на престол и слышать не хотел о Мещерском, отзываясь о нем весьма резко. Так как князь Мещерский человек весьма вкрадчивый и угодливый, то, если можно так выразиться, он влез в уголок души государя императора.

Во время обеда у Мещерского, а за обедом были только я, Сипягин и Мещерский, Сипягин заговорил, что его положение такое трудное, что он иногда подумывает о том, чтобы просить государя императора, чтобы его отпустить. Тогда возбудился вопрос, кто же мог бы его заменить, при чем было названо имя Плеве. Сипягин сказал, что это будет величайшее несчастье, если будет назначен Плеве, так как он был прежде отрицательного мнения о Плеве и, бывши министром внутренних дел и познакомившись с деятельностью Плеве, когда он служил в министерстве внутренних дел, убедился, что это такой человек, который, сделавшись министром, будет преследовать только свои личные цели и принесет России величайшие несчастия. Со всеми этими рассуждениями Сипягина вполне согласился князь Мещерский; тем не менее, как только Сипягин умер, Мещерский виделся с Плеве и написал его величеству письмо о том, что единственный возможный кандидат на пост министра внутренних дел есть Плеве. Действительно, через два дня после смерти Сипягина Плеве был назначен.

* Вспоминая о Сипягине, чтобы обрисовать характер государя, приведу следующий факт. Сипягин, став главноуправляющим комиссией прошений, а затем министром внутренних дел, вел ежедневно свой краткий дневник. Когда его убили, первым вошел в его кабинет его товарищ П. Н. Дурново, но он бумаг не трогал. Затем было поручено его величеством дворцовому коменданту генерал-адъютанту Гессе и Дурново разобрать бумаги покойного Сипягина. Бумаги ими были разобраны, все обыкновенные министерские были переданы по назначению, а личные официальные переданы Гессе, частные же жене Сипягина.

Александра Павловна Сипягина знала, что ее муж писал дневники, при чем первая тетрадь обнимала время, когда ее муж был главноуправляющим комиссии прошений, а вторая — его министерство. Она спросила Дурново, где дневники мужа. Он ответил, что их взял Гессе. Весь этот и дальнейший рассказ я знаю от А. П. Сипягиной и Шереметьева, мужа ее сестры.

Через несколько дней А. П. Сипягина ездила благодарить государя и государыню за внимание, при чем государь сказал А. П. Сипягиной, что ему переданы дневники ее мужа и что разрешит ли она на некоторое время задержать их, потому что он, государь, интересуется их прочесть. Конечно, Сипягина согласилась.

Прошло много месяцев, а Сипягина все не получала обратно записок мужа. Тогда она обратилась к своему племяннику, графу Шереметьеву, флигель-адъютанту, бывшему другу детства государя, прося при одном из дежурств напомнить государю о записках мужа ее.

Через некоторое время А. П. Сипягина представлялась государыне, и, когда она собиралась удалиться, государыня попросила ее обождать, сказав, что ее желает видеть государь. Через несколько минут появился государь и, вручив ей пакет, сказал, что он с благодарностью возвращает мемуары ее покойного мужа, прибавив, что мемуары очень интересны.

Возвратившись домой, А. П. Сипягина увидала, что ей возвращены лишь мемуары за время, когда Сипягин был главноуправляющим комиссии прошений. В виду этого она просила старика графа Шереметьева разъяснить это недоразумение.

Граф Шереметьев обратился к Гессе, который ему довольно неделикатно ответил: чего они там носятся с записками Сипягина. После такого ответа граф Шереметьев прервал разговор.

Через несколько дней государь был в Москве, говел и затем провел там первые дни великого праздника. Во время одного царского обеда граф Шереметьев сидел рядом с Гессе и не говорил с ним. Тогда Гессе сам с ним заговорил и сказал: «Что касается мемуаров Сипягина, то могу вас уверить, что я передал государю все, что получил».

По возвращении государя в Петербург он позвал к себе графа Шереметьева и сказал ему, что ему, государю, известно, что одна тетрадь мемуаров Сипягина пропала и что, как он, Шереметьев, думает, как это могло случиться. Граф Шереметьев сказал, что он спрашивал Дурново, который удостоверил, что было две тетради мемуаров, которые он вручил Гессе, и что он уверен, что Дурново говорит правду, так как ему не было никакого интереса присваивать вторую тетрадку; да, наконец, Гессе сам не отрицает, что он получил две тетрадки.

Тогда его величество заметил, что Гессе не был в ладах с Сипягиным и что, может быть, в мемуарах Сипягин что-нибудь написал о Гессе, а потому Гессе их уничтожил, чтобы он, государь, это не прочел. Затем граф Шереметьев мне сказал:

— А я знаю достоверно, что эту тетрадку уничтожил сам государь.

Тогда я с графом Шереметьевым был еще из-за Сипягина в очень хороших отношениях. Мы с ним разошлись после 17 октября, когда граф Шереметьев, прочитав манифест 17 октября, приказал портреты государя в своем дворце перевернуть, повесив изображение к стене и подкладку наружу, а один портрет отнесли на чердак.

Я мемуаров Сипягина не читал, но жена его мне говорила, что он писал в них все совершенно откровенно. Сипягин же был честнейший и благороднейший человек, совершенный дворянин, ультра-консерватор, он в последние полгода своего министерства откровенно и с большою горечью мне говорил, что на государя полагаться нельзя и главное, что государь не правдив и коварен. Это он в отчаянии говорил и своей жене *.

Вскоре после назначения Плеве уволился от должности министра народного просвещения Ванновский. Оказалось, что Ванновский такой ярый консерватор, такой военный человек до мозга костей, что не мог ужиться с Плеве, так как Плеве, как министр внутренних дел, предъявлял ему такие требования, которые Ванновский признавал невозможными; так как он видел, что его величество сочувствует направлению Плеве, то он и уволился от должности министра народного просвещения.

Вместо него назначен министром народного просвещения Зенгер, бывший профессор Варшавского университета, человек кристальной чистоты, но не от мира сего. Классик, до такой степени увлекавшийся классическим языком, что перевел, и очень хорошо, на латинский язык «Евгения Онегина» Пушкина, Зенгер вел министерство народного просвещения в духе порядка, но не реакционном, потому в скором времени он должен был оставить свой пост, и на его место назначен был генерал Глазов, начальник

военной академии. Зенгер по краткости времени ничего хорошего не мог сделать, но он сделал одну вещь непохвальную, это то, что он назначил товарищем к себе начальника института экспериментальной медицины Лукьянова, бывшего профессора в Варшаве, потому что он был его товарищем по профессуре в Варшаве, а также, может быть, и не без протекции принца и принцессы Ольденбургских.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

В. К. Плеве.

*Плеве имел против меня личный зуб потому, что он думал, что я дважды помешал ему стать министром внутренних дел, он был злопамятен и мстителен. Мы с ним расходились и относительно государственной политики (я не говорю по убеждениям, так как таковых он не имел) по большинству вопросов. Мое убеждение—что русский государь должен опираться на народ. Плеве же считал, что он должен опираться на дворянство.

В течение более чем десятилетнего моего управления финансами, я их привел в блистательное состояние, но очень мало мог сделать для экономического состояния народа, ибо не только не встречал сочувствия реального (а не на словах) в правящих сферах, а напротив, встречал противодействие и во главе оного за кулисами стоял всегда Плеве *.

Когда он сделался министром внутренних дел, то уже в то время началось крестьянское движение. Крестьяне в различных местностях бунтовали и требовали земли. Бывший в то время в Харькове губернатор князь Оболенский вследствие крестьянских беспорядков произвел всем крестьянам усиленную порку, при чем лично ездил по деревням и в своем присутствии драл крестьян.

Плеве, сделавшись министром внутренних дел, сейчас же отправился в Харьков и весьма поощрил действия князя Оболенского, который за такую свою храбрость затем был назначен генерал-губернатором Финляндии и был сделан генерал-адъютантом.

* Я расходился также с Плеве по поводу политики на Кавказе. До князя Голицына все правители Кавказа, начиная с свет-

лейшего князя Воронцова, ставили себе задачею сперва покорение Кавказа, а затем приобщение его к Российской империи посредством привития к нему общих начал русской государственности.

Освободительные начала, произведшие смутное движение в империи, отразились и на Кавказе, при чем или русские, живущие и приезжающие на Кавказ, или туземные молодые люди, воспитывавшиеся в учебных заведениях в России, дали толчок освободительному движению на Кавказе, связанному со смутой. Без этих русских и туземцев, воспитывавшихся в России, Кавказ, т.-е. его туземные жители, были бы спокойны.

Смуте отчасти содействовало все более и более развившееся взяточничество, т.-е. порочность администрации. Когда умер главноначальствующий Кавказа, почтенный, умный, но слабый Шереметев, на его место государь назначил князя Голицына, честного, хорошего человека, но с удивительным сумбуром в голове. Голицын по собственной инициативе, или следуя общему модному паролю, явился на Кавказ с программой его руссифицировать, при чем и эту программу проводил со страстностью и свойственной ему сумбурностью.

Покуда Плеве не был министром внутренних дел, министры его, Голицына, сдерживали, хотя часто безуспешно. Но когда появился Плеве и пронюхал, что государь сочувствует князю Голицыну, то сейчас же начал его поддерживать. Опять, по общему правилу, каждый удар с одной стороны вызывал реакцию с другой.

Постепенно смута росла, и скоро Кавказ возгорелся так, что многие говорят (хотя в этом есть большое преувеличение), что Кавказ нужно снова покорять. Нужно покорить Россию, тогда нетрудно будет покорить Кавказ и привести к благоразумию окраины.

Ну вот, пусть покорят Россию. Не по режиму «истинно русских» людей это может быть сделано. Наибольшее неудовольствие вызывали на Кавказе армяне, как лица, торгующие с долею эксплоататорского начала.

Князь Голицын пошел против всех национальностей, обитающих Кавказ, так как он всех хотел обрусить, но естественно враждебнее всего отнесся к армянам. К тому в последние годы вследствие преследования турецких армян в Турции многие тысячи обреволюционизировавшихся турецких армян переселились на Кавказ. Они, конечно, как опытные революционеры стали революционизировать своих единоверцев и братьев, русских подданных.

Вообще смута на Кавказе приобрела особый оттенок, ибо племена Кавказа суть азиаты, у которых особая психология и особые понятия о гражданственности и в особенности о цене жизни человеческой.

Чтобы обуздать армян, князь Голицын выдумал секвестрировать имущества армянских церквей. У армян церковь живая, это—душа жизни армян, в ней сосредоточена вся благотворительность и все образование народа. По его докладу было образовано совещание, чтобы решить этот вопрос, под председательством Э. В. Фриша, состоящее из Победоносцева, министра иностранных дел графа Муравьева, министра юстиции Муравьева, Сипягина, Голицына и меня.

Я самым решительным образом протестовал против этой безобразной затеи, как с политической, так и с этической точек зрения.

С политической потому, что эта мера должна была восстановить всех армян и не только русских, но и иностранных. С этической потому, что армяне такие же христиане, как и мы, и их церковь наиболее близка к нашей православной. Когда обсуждалась предложенная князем Голицыным мера с политической стороны, К. П. Победоносцев ее поддерживал, но когда я представил все фарисейство наше, которое выразилось бы в этой мере с религиозной точки зрения, он стал на мою сторону.

Таким образом все совещание высказалось против этой меры за исключением князя Голицына. Журнал совещания остался у государя без резолюции.

Когда Плеве сделался министром, то при первом приезде Голицына в Петербург тот же вопрос возбужден был снова, и на этот раз он был внесен в комитет министров, при чем защитником его явился Плеве.

Обыкновенно во всех мелких вопросах, когда есть признаки, что государь желает, чтобы дело было решено в таком-то направлении, как в комитете министров, так и в Государственном Совете большинство членов отмалчивалось и искало какого-нибудь повода к промедлению или такому направлению дела, чтобы не получилось определенного решения, а чтобы спустить, по выражению Победоносцева, дело «в песок».

Поэтому в заседании говорили преимущественно Плеве и я. Я резко против, а Плеве резко за. Все члены, за исключением трех, присоединились ко мне и в том числе великий князь Михаил Николаевич, бывший наместник Кавказа. Таким образом меньшинство составилось из Плеве, Голицына и Зенгера, министра народного просвещения. Последний присоединился к Плеве, вероятно, по недоразумению. Он чистый, честный, но слабый человек. По профессии классик и к тому же классик-поэт.

Великий князь Михаил Николаевич упрашивал государя утвердить мнение большинства, но его величество утвердил мнение меньшинства. Меру эту начали приводить в исполнение. Это окончательно взбаламутило всех армян. Начались со сто-

роны армян резкие революционные выступы. Затем борьба властей с армянами перешла в борьбу армян с мусульманами. Говорят, что это дело рук местных властей. Потом на Голицына последовало покушение. Он приехал в Петербург и более на Кавказ не возвращался. Удивительно, что этот в сущности честный и хороший человек вооружил на Кавказе всех против себя, в том числе русских и военных. Впрочем, как военный, Голицын, будучи еще командиром грузинского полка во время наместничества великого князя Михаила Николаевича (тогда я был мальчиком и жил на Кавказе, где я родился), не пользовался симпатиями военных.

Вместо князя Голицына был назначен граф Воронцов-Дашков, который наместничествует там до сего времени. Он повел традиционную политику лучших правителей Кавказа, князя Воронцова, князя Барятинского . . ., прекратив теснение туземцев. По его представлению отменили решение секвестра имущества армянских церквей, хотя теперь не могут в этом деле практически распутаться, так как большинство имущества уже было отобрано. Его на Кавказе любят, уважают. Но теперь — покуда не прекратятся смуты в России — невозможно прекратить смуты на Кавказе. Повторилось общее явление, взбаламутившее Российскую империю. Все же благоразумные меры опаздывают. On vient toujours trop tard.

Я советовал назначить графа Воронцова-Дашкова на Кавказ после Шереметева, когда назначили Голицына. Если бы его назначили тогда, то не произошел бы весь сумбур, который наделал Голицын, и теперь Кавказ был бы гораздо спокойнее.

Граф Воронцов человек немудреный, но благородный, честный, благонамеренный. Его большой недостаток заключался в том, что он не умеет выбирать людей. Конечно, все «истинно русские» люди и консервативные газеты его травят и часто поговаривают об его уходе.

Я расходился с Плеве и по еврейскому вопросу. В первые годы моего министерства при императоре Александре III, государь как-то раз меня спросил:

«Правда ли, что вы стоите за евреев?»

Я сказал его величеству, что мне трудно ответить на этот вопрос, и спросил позволения государя задать ему вопрос в ответ на этот. Получив разрешение, я спросил государя, может ли он потопить всех русских евреев в Черном море. Если может, то я понимаю такое решение вопроса, если же не может, то единственное решение еврейского вопроса заключается в том, чтобы дать им возможность жить, а это возможно лишь при постепенном уничтожении специальных законов, созданных для

евреев, так как в конце концов не существует другого решения еврейского вопроса, как предоставление евреям равноправия с другими подданными государя.

Его величество на это мне ничего не ответил и остался ко мне благосклонным и верил мне до последнего дня своей жизни. Несчастный день для России . . .

Я и доныне остаюсь при высказанном мною Александру III убеждении по еврейскому вопросу. Поэтому, когда я был министром финансов, я систематически возражал против всех новых мер, которые хотели принимать против евреев. Я был бессилен заставить пересмотреть все существующие законы против евреев, из которых многие крайне несправедливы, а в общем законы эти принципиально вредные для русских, для России, так как я всегда смотрел и смотрю на еврейский вопрос не с точки зрения, что приятно для евреев, а с точки зрения, что полезно для нас, русских, и для Российской империи. Все наиболее существенные законы, ограничивающие права евреев, пошли в последние десятилетия не в законодательном порядке, а через комитет министров, как законы временные. Всегда употреблялась одна фарисейская формула «впредь до пересмотра всех законов об евреях (при чем всегда давалось понять, что законы эти будут пересматриваться с точки зрения расширительной, а не ограничительной), повеле-ваем и пр.». Законодатели не имели государственного мужества ставить вопрос открыто. Они знали, что Государственный Совет (старый, составленный исключительно, по ныне модному выражению, из бюрократов) или большинством выскажется против, или спустит представление «в песок», или по меньшей мере наговорит много неприятных истин для министров, внесших проект новых стеснений евреев. Поэтому в Государственный Совет, как бы то по закону следовало, таких законов не вносили, а проводили их через комитет министров, а если и тут опасались возражений, то через особые совещания или просто всеподданнейшими докладами.

Особенно ярым противником евреев был великий князь Сергей Александрович. Он вообще был ультраретроград, крайне ограниченный и узкий человек, но он, несомненно, был человеком честным, мужественным и прямым. Он сам управлять московским генерал-губернаторством не мог, за него всегда управляли его подчиненные, которые входили в его фавор, ему потакая, и затем держали его вполне в руках.

Последние годы его управления таким подчиненным был обер-полициймейстер, прославившийся генерал Трепов. Он своею политикою довел Москву до состояния вполне революционного. Москва — сердце России, оплот русской государственности, обратилась в центр российской революции. Известный адмирал Дубасов, человек прямой, честный, мужественный, бывший генерал-

губернатором в Москве после 17 октября, во время моего министерства, мне несколько раз говорил после московского восстания, что великий князь Сергей и Трепов в сущности революционировали всю Москву и довели ее до такого состояния.

Меры, принятые великим князем относительно евреев в Москве, не только не прошли через Государственный Совет, но даже не могли пройти через комитет министров. Некоторые прошли через особые совещания, а другие прямо по всеподданнейшим докладам министра внутренних дел, так как министр внутренних дел, вынужденный великим князем провести ту или другую меру, сомневался даже получить на нее согласие в совещании из подлежащих министров. Если бы после Александра II продолжали вести политику относительно евреев в духе его царствования, т.-е. постепенно уничтожали исключительные законы относительно евреев, то еврейского вопроса в том положении, в котором он находится в России ныне, не было бы. Евреи бы не стали одним из злых факторов нашей проклятой революции, еврейский вопрос существовал бы в том виде, в котором он существует в тех странах, где имеется изрядное количество евреев. Для того, чтобы этот вопрос был окончательно предан забвению, конечно, нужно десятки и, вероятнее, сотни лет. Расовые особенности евреев могут изгладиться только постепенно и медленно. После же Александра II вместо того, чтобы вести политику относительно евреев в смысле постепенного уничтожения специальных еврейских законов, начали принимать ряд самых резких законодательных стеснений. Так как вся груда еврейских законов представляет смесь неопределенностей с возможностью широкого толкования в ту или другую сторону, то на этой почве создалась целая куча всяких произвольных и противоречивых толкований. В результате явился источник самого разнообразного взяточничества. Ни с кого администрация не берет столько взяток, сколько она пользуется с евреев. В некоторых местностях прямо создана особая система взяточнического налога на жидов. Само собою разумеется, что при таком положении вещей вся тяжесть антиеврейского режима легла на беднейший класс, ибо чем еврей более богат, тем он легче откупается, а богатые евреи иногда не только не чувствуют тяжести стеснений, а напротив, в известной мере, главенствуют, они имеют влияние на высших чинов местной администрации. В начале 80-х годов сенат боролся с таким положением вещей, стараясь не допускать произвольных толкований законов и стеснений евреев, но затем со стороны министров внутренних дел последовали всякие наветы на некоторых сенаторов, как противодействующих администрации. Начали обходить таких сенаторов наградами, переводить их из одних департаментов в другие, даже были случаи увольнения наиболее строптивых, наконец, начали назначать новых послуш-

ных сенаторов. В результате и сенат начал давать по еврейским законам такие толкования, которые по правде никоим образом из законов не следовали.

Все это способствовало крайнему революционированию еврейских масс и в особенности молодежи. Этому содействовали также и русские школы. Из феноменально трусливых людей, которыми были почти все евреи лет 30 тому назад, явились люди, жертвующие своей жизнью для революции, сделавшиеся бомбистами, убийцами, разбойниками . . . Конечно, далеко не все евреи сделались революционерами, но несомненно, что ни одна национальность не дала в России такого процента революционеров, как еврейская. Громадное количество евреев пристало к самым крайним партиям. Ожидая от освободительного движения облегчения своей участи, почти вся еврейская интеллигенция, кончившая высшие учебные заведения, пристала к «партии народной свободы», которая сулила им немедленное равноправие. Партия эта в громадной степени обязана своему влиянию еврейству, которое питало ее как своим интеллектуальным трудом, так и материально. Я неоднократно предупреждал глав русского и иностранного еврейства, что они стали на весьма рискованный и некорректный путь, что, следуя этому пути, они еще более обострят еврейский вопрос в России, что они должны добиваться облегчений корректными путями, что они должны явить пример верноподданности, что облегчений они могут добиться только через царя, что их лозунг должен быть не стремление ко всяким свободам, а только «мы просим лишь одного, чтобы для нас не создавалось исключений». Но в пылу освободительных и революционных стремлений и доверившись вожакам партии «народной свободы», т.-е. кадетов, на мои советы не обращалось никакого внимания. Как это я им советую благоразумие и корректность, когда они находятся у порога тризны равноправия! . . .

В результате, конечно, явилась сильнейшая реакция, многие сочувствовавшие евреям или индифферентные к ним, стали антисемитами и весьма резкими. В России никогда не было столько врагов евреев, как ныне, никогда еврейский вопрос не стоял так неблагоприятно для евреев. Такое положение очень тягостно для них и крайне неблагоприятно для России, т.-е. для ее успокоения. Я убежден в том, что покуда еврейский вопрос не получит правильного, неозлобленного, гуманного и государственного течения, Россия окончательно не успокоится; но, вместе с тем, весьма опасаюсь, чтобы сразу данное равноправие евреям не наделало много новых смут и опять не обострило дела. Подобные, как и всякие политические вопросы, касающиеся масс, затрагивающие, так сказать, исторические предрассудки, в некоторой степени, основанные на расовых особен-

ностях, тем более несимпатичных особенностях, могут решаться только постепенно, исподволь; всякие быстрые, резкие решения расстраивают равновесие, лучше временное равновесие, хотя бы оно было искусственное, кособокое.

Государство есть живой организм, а потому нужно быть очень осторожным в резких операциях. С государственной точки зрения граф Н. П. Игнатьев (официальный автор антиеврейского закона 1882 г.) и П. Н. Дурново наделали много вреда своей глупой политикой в еврейском вопросе. Такой ультраконсерватор, но умный человек, как граф Толстой, бывший министр внутренних дел при Александре III, не допустил бы этих ошибок. Он не успел исправить ошибки Игнатьева, но при нем еврейский вопрос успокоился. После его смерти Дурново взял прежний курс Игнатьева, хотя лично был в самых дружеских отношениях с некоторыми еврейскими крезами и не из материальных расчетов, ибо он денежно был человек честный. Он просто был крайне недалек и угодлив. Такой курс был в дворцовой камарилье, и он угодничал. Душою же и сочинителем всех антиеврейских проектов и административных мер был Плеве, как при графе Игнатьеве, так и при Дурново. Лично, как это было ясно из многочисленных разговоров о Плеве по еврейскому вопросу, он против евреев ничего не имел, он был настолько умен, что понимал, что политика эта неправильна, но она нравилась в. кн. Сергею Александровичу, повидимому, и его величеству, а потому Плеве старался во всю. Еврейский вопрос сопровождался погромами. Они были особенно сильны при графе Игнатьеве. Граф Толстой, вступивший вместо Игнатьева, сразу их прекратил. Затем, когда министром внутренних дел стал Плеве, то он, ища психологического перелома в революционном настроении масс во время Японской войны, искал его в еврейских погромах, а потому при нем разразились еврейские погромы, из которых был особенно безобразен дикий и жестокий погром в Кишиневе.

Граф Мусин-Пушкин, генерал-адъютант закала императора Николая I, бывший тогда командующим войсками Одесского округа, рассказывал, что немедленно после погрома он приехал в Кишинев, чтобы расследовать действия войск. Описывая все ужасы, которые творили с беззащитными евреями, он удостоверял, что все произошло оттого, что войска совершенно бездействовали, а бездействовали они оттого, что им не давали приказания действовать со стороны гражданского начальства, как того требует закон. Он возмущался всей этой ужасной историей и говорил, что этим путем развращают войска.

Пушкин не любил евреев, но он был честный человек. Еврейский погром в Кишиневе, устроенный попустительством Плеве, свел евреев с ума и толкнул их окончательно в революцию. Ужасная, но еще более идиотская политика! . . .

Я не решусь сказать, что Плеве непосредственно устраивал эти погромы, но он не был против этого, по его мнению, антиреволюционерного противодействия. После того, как еврейский погром в Кишиневе возбудил общественное мнение всего цивилизованного мира, Плеве входил с еврейскими вожаками в Париже, а равно и с русскими равинами в такие разговоры: «заставьте ваших прекратить революцию, я прекращу погромы и начну отменять стеснительные против евреев меры». Ему отвечали: «мы не в силах, ибо большая часть—молодежь, озверевшая от голода, и мы ее не держим в руках, но думаем и даже уверены, что если вы начнете проводить облегчительные относительно еврейства меры, то они успокоятся». Он начал проводить такие меры перед его убийством (например, объявление многих местечек на западе, как места, допустимые для еврейского жительства) . . .

Вообще мне приходилось расходиться со взглядами Плеве и по большинству других вопросов. Поэтому он, конечно, не скупился представить государю всякие самые нелепые обо мне сведения, доходящие до того, как это выяснилось после его смерти из архивов департамента полиции, что я чуть ли не революционер, конспирирующий на священную для всякого честного русского жизнь государя императора. Плеве знал, что я не дам хода его полицейским вожделениям, крайне революционировавшим Россию, а потому, чтобы сохранить пост министра внутренних дел, он во что бы то ни стало решил меня устранить. Может быть, отчасти это побудило его стать во главе политической затеи Безобразова, приведшей к войне с Японией, в уверенности, что я скорее уйду, нежели сдамся на эту пагубнейшую авантюру *.

Министр внутренних дел Плеве старался всячески аппланировать сильно развившееся революционное настроение, но так как он был лишь умный, культурный и бессовестный полицейский, то, конечно, он и не мог придумывать никаких мер для устранения этого общественного возмущения, кроме мер полицейских, мер силы или мер полицейской хитрости. Чтобы сдержать рабочее движение, он начал усиленно проводить «зубатовщину».

Такими же полицейскими путями он думал устранить беспорядки в учебных заведениях и в обществе, при чем во все время его управления он иначе не выезжал и не выходил, как окруженный полицейскими; так, когда он ездил в карете, то всегда вокруг кареты ездило несколько агентов на велосипедах, и это делалось так неискусно, что его переезды обращали на себя всеобщее внимание.

Хотя Плеве происходил от поляков, и он переменил свою фамилию, еще будучи молодым человеком, но, как всегда бывает с ренегатами, он начал проявлять особенно неприязненное чувство ко всему, что не есть православное. Я не думаю, чтобы он верил более в бога, нежели в чорта, но, тем не менее, он, чтобы понравиться наверху, а также московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу, проявлял свою особую набожность: так, как только он сделался министром внутренних дел, он отправился в Москву на поклонение в Сергиевско-троицкую лавру.

* Идея зубатовщины столь же проста, как и наивна. Рабочие уходят в руки революционеров, т.-е. всяких социалистических и анархических организаций, потому что революционеры держат их сторону, проповедуют им теории, сулящие им всякие блага. Как же бороться с этим? Очень просто. Нужно делать то же, что делают революционеры, т.-е. нужно устраивать всякие полицейско-рабочие организации, защищать или, главным образом, кричать о защите интересов рабочих, устраивать всякие общества, сборища, лекции, проповеди, кассы и пр. Революционеры идут против современной организации общества, но что особенно соблазнительно рабочим—против капитала. Нам же какое дело до капиталистов, до промышленности, основанной на современной организации общества? Нам нужно лишь спокойствие, т.-е. сохранение полицейско-государственного режима, дающего внешнее спокойствие. Конечно, Зубатовы, Треповы и пр. не могли разобраться, в чем заключается дело анархического социализма. Они полагали, что теми же средствами можно достигать диаметрально противоположных целей. Затеи Зубатова, который, в сущности говоря, держал в руках и великого князя Сергея Александровича и Трепова, производили в Москве большие сенсации. Фабричная инспекция с ними боролась. Я поддерживал инспекцию, но ничего существенного к уничтожению этих затей сделать не мог. Великий князь делал все, что хотел, ничем не стесняясь. Министр внутренних дел Горемыкин, ничтожный чиновник, конечно, всячески угождал великому князю.

Когда министром внутренних дел стал Сипягин, он начал бороться с «зубатовщиной», но все, что мог достигнуть, это—локализировать «зубатовщину» в Москве; с великим князем он тоже бороться не мог. Когда Сипягина убили и на его место был назначен Плеве, я при первом же моем с ним свидании обратил его внимание на эту опасность. Он мне сказал, что едет в Москву являться к великому князю и надеется все устроить; о затее Зубатова высказался, как о вредном и глупом эксперименте.

Но после вдруг Зубатов очутился главным деятелем в департаменте полиции и начал организовывать охранные отделения, которые все находились в его ведении. Таким образом в его руки поступила вся секретная часть департамента полиции. Насколько Плеве ценил Зубатова, видно из того, что еще месяца за три до оставления мною поста министра финансов я как-то спросил Плеве, что он думает делать летом, — он мне ответил, что поедет на некоторое время в деревню. Я ему сказал: как же вы это сделаете, когда мне говорили, что Лопухин едет по делам заграницу. На это он мне ответил, что в сущности теперь вся полицейская часть, т.-е. полицейское спокойствие государства, в руках Зубатова, на которого можно положиться.

Зубатов, зная, что я против его рабочих организаций, никогда ко мне не являлся, и я его никогда не видел. Вдруг в начале июля (1903 г.), месяца за полтора до моего ухода с поста министра финансов, мне докладывают, что меня желает видеть Зубатов. Я его принял. Он мне начал подробно рассказывать о состоянии России по его секретным сведениям охранных отделений. Он мне докладывал, что в сущности вся Россия бурлит, что удержать революцию полицейскими мерами невозможно, что политика Плеве заключается в том, чтобы вгонять болезнь внутрь, и что это ни к чему не приведет, кроме самого дурного исхода. Он прибавил, что Плеве убьют и что он его уже несколько раз спасал.

Выслушав его подробный рассказ, я его спросил: для чего вы мне все это рассказываете, вы должны все это говорить Плеве; на что он мне ответил, что Плеве все это он говорил, но что Плеве, взявши чисто полицейский курс, от него отойти не хочет или не может. В заключение я ему сказал, что по настоящему я должен бы был поехать к Плеве и передать ему все, что вы мне рассказывали, но я, не желая вам вредить, этого не сделаю и буду считать, что между нами никакого разговора не было, но советую вам все, что вы мне сказали, внушить Плеве *.

Затем мне сделалось известным, что Зубатов отправился к князю Мещерскому и то же самое говорил князю Мещерскому, при чем сказал, что он был у меня, говорил все это и просил моего вмешательства, чтобы я уговорил Плеве перестать вести его мракобесную политику, и что я от этого отказался. Тогда князь Мещерский поехал к Плеве и все ему рассказал, при чем сказал, что Зубатов был у меня. Это было достаточным поводом для того, чтобы Зубатова не только устранить от его места, но даже сослать в город Владимир.

* Через несколько недель разразилась общая забастовка в черноморских портах относительно морских перевозок [1]).

[1]) Рабочие организации по системе Зубатова были в Одессе организованы агентом департамента полиции «доктором философии» Шаевичем.

Великий князь Александр Михайлович, который был начальником главного управления мореплавания (характерно было также создание этого своего рода министерства для большого интригана и нехорошего человека Александра Михайловича), потребовал объяснений от портовых управлений, и, к удивлению своему, получил ответ, что эта забастовка устроена по приказу из Петербурга правительственными агентами, а потому они удивляются сделанному им запросу. В это время я уже получил донесение местной фабричной инспекции, из которого было видно, что все это устроено зубатовскими организациями. Плеве вынужден был своих же агентов (в том числе главного — еврейку из Минска) арестовать и выслать с юга.

Великий князь Александр Михайлович, полагая, что портовые управления указывают, как на организаторов стачки, на фабричную инспекцию, приехал ко мне для объяснений. Я ему передал все донесения фабричных инспекторов и весь материал по «зубатовщине».

Тогда же я подробно докладывал его величеству о всей этой истории, напомнив государю всю «зубатовщину», и указывал на весь вред этой затеи. Это было за несколько недель до моего ухода с поста министра финансов. Его величество меня спокойно выслушал, но не сказал ни одного слова. Великому же князю сказал, что он думает, что я неправ, так как Плеве и великий князь Сергей Александрович вполне доверяют Зубатову. Когда через несколько недель я был уволен, то на следующий день я был у великого князя Александра Михайловича, который меня поздравил телеграммой с высоким назначением на пост председателя комитета министров. Великий князь мне сказал:

«Вчера вечером государь изволил сказать: а знаешь, Витте прав, оказалось, что Зубатов устроил всю эту забастовку и делал все рабочие организации; он (Витте) неправ только в том направлении, что говорит, что Плеве обо всем этом знает. Плеве ничего не знал, только теперь все открыл и представил мне об увольнении Зубатова».

Для меня было совершенно очевидно, что все это повышенное революционное настроение России кончится или катастрофой или большим переворотом, что и случилось 17 октября 1905 г., и что меры, принимаемые Плеве, приведут к тому, что он будет убит, ибо если есть тысячи и тысячи людей, которые решаются пожертвовать собою для того, чтобы убить того или другого сановника, то можно избегать этой катастрофы месяцы, наконец, год, но, в конце концов, человек этот будет непременно убит, и я помню, за несколько месяцев до его убиения, как-то раз я к нему заехал для того чтобы с ним объясниться по поводу

одного из его заявлений, сделанных в Государственном Совете, что будто бы я принципиально буду всегда итти против всякой его меры. Плеве думал, что я хочу занять его место, вследствие сего я хотел его убедить, чтобы он оставил эти опасения. * Я ему старался объяснить, что если ему иногда возражаю, то потому, что мои воззрения расходятся с его воззрениями по большинству государственных вопросов и что в моем положении добиваться поста министра внутренних дел значит быть глупым, а этого, по крайней мере, до настоящего времени мне никто не приписывал. Затем я старался убедить его, что принятый им курс политики кончится дурно и для него и для государства. * Что при той политике, какую он ведет, он в самом непродолжительном времени будет устранен от всякой деятельности, потому что он неизбежно погибнет от руки какого-нибудь фанатика. Он такое мое предсказание выслушал, был им очень подавлен, но ничего на это не ответил.

* Конечно, этот разговор на него мало подействовал. Нужно сказать, что петербургский режим создал массу людей, которые занимаются тем, что травят друг друга ложью и клеветою, ища для себя через это мимолетной выгоды. Многие личности (в том числе и государь) легко поддаются на эти наветы.

Плеве так долго добивался поста министра, что, добившись своей цели, он готов был задушить всякого, кого он мог подозревать в способствовании его уходу с министерского места *.

В июле месяце я поехал в Германию заключать с канцлером Бюловым новый торговый договор. 16 июля я был в Берлине и шел по главной улице и, проходя мимо нашего посольства, узнал, что вчера, т.-е. 15 июля, был убит Плеве Сазоновым.

Когда я приехал в Петербург, то я узнал о следующих подробностях убийства Плеве: он ехал к государю императору на Балтийский вокзал с докладом, по обыкновению, в карете, окруженный велосипедистами-охранниками. Сазонов бросил под карету бомбу. Плеве был убит, кучер сильно ранен. Портфель Плеве остался невредимым. Затем портфель этот со всеподданнейшими докладами был осмотрен его товарищем Петром Николаевичем Дурново, при чем в портфеле было найдено письмо, будто бы агента тайной полиции, какой-то еврейки одного из городов Германии, если я не ошибаюсь, — Кисингена, в котором эта еврейка сообщала секретной полиции, что будто бы готовится какое-то революционное выступление против его величества, связанное с приготовлением бомбы, которая должна быть направлена в его величество, и что будто бы я принимаю в этом деле живое участие. Как потом я выяснил, это письмо было ей продиктовано. Очевидно, план Плеве был таков, чтобы получать

такие письма от агентов его, в которых бы сообщалось о том, что я принимаю участие в революционных выступлениях и, в частности, в покушении на жизнь моего государя императора Николая, с тем, чтобы Плеве мог невинным образом подносить эти письма государю под тем предлогом, что он не может их скрыть от государя, при чем, конечно, он сказал бы, что хотя он не может скрыть, но сам-то он сообщаемому не верит, думает, что это ложь; но, тем не менее, представление этих писем имело определенную цель — как можно более вооружить чувство государя императора против меня.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Переговоры с маркизом Ито. Моя поездка на Дальний Восток. Образование главного управления торгового мореплавания и портов.

Около 15 ноября 1901 г. прибыл в Петербург замечательный и даже великий государственный деятель Японии маркиз Ито. Целью приезда маркиза Ито было установить, наконец, соглашение между Россией и Японией, которое предотвратило бы ту несчастную войну, которая затем случилась. Базисом этого соглашения было следующее начало. Россия должна окончательно уступить Корею полному влиянию Японии. Япония примиряется с фактом захвата Квантунской области и сооружения восточной ветви Китайской дороги к Порт-Артуру, но с тем, чтобы мы вывели из Манчжурии наши войска, оставив лишь охранную стражу железной дороги, и затем ввели бы в Манчжурии политику открытых дверей. В этом, собственно, заключалась сущность его предложений, которые были оформлены.

Ито был встречен в Петербурге весьма холодно. Он представлялся его величеству, был у министра иностранных дел, но никаких особых знаков внимания или радушия ему оказано не было. Со мною он вел несколько раз продолжительные беседы, так как знал, что я являлся ярым сторонником соглашения с Японией, предвидя, что если мы не заключим такого соглашения, то произойдут на Дальнем Востоке катастрофы, результаты которых предвидеть нельзя.

Так как одновременно японский посланник в Англии вел с Англией переговоры, то Ито спешил со своими переговорами с Россией, дабы предотвратить соглашение Японии с Англией и во всяком случае дать этому соглашению другое направление.

К сожалению, мы медлили. На проект соглашения, представленный Ито, мы никакого определенного ответа не дали. Министр иностранных дел запросил по этому предмету отзывы подлежащих министров, т.-е. морского, военного и мое мнение, и я выразил мнение о желательности скорее покончить дело с Японией, но другие министры делали различные возражения. Наконец, предложение Ито не встретило сочувствия наверху. В конце концов, вместо его предложения, мы составили свое предложение, в котором на самые существенные вещи, которые желала Япония, не соглашались. Проект этого соглашения мы послали вслед за Ито в Берлин, но затем на этот проект нам никакого ответа Ито не дал, да и не мог дать, потому что, видя, какую встречу его мирные предложения получили в Петербурге, он уже не препятствовал соглашению Японии с Англией, по которому Англия являлась защитником Японии в дальнейших с нами распрях, которые привели к печальной для нас войне с японцами.

В то время влияние Безобразова и компании, которое вело Россию к авантюре на Дальнем Востоке, уже имело надлежащую силу, а потому хотя Ито и не сказал нет, но поставил такие условия, при которых соглашение с Японией было немыслимо. Вероятно, в то время, т.-е. в конце 1901 — 1902 г.г., уже авантюра Безобразова приняла значительные размеры.

Министр внутренних дел Димитрий Сергеевич Сипягин, которому доступны всевозможные секретные сведения, неоднократно обращался ко мне с вопросом: «Скажи мне, пожалуйста, кто это такие Безобразов, Вонлярлярский и Абаза? Я по всему вижу, что они имеют какое-то тайное серьезное влияние наверху, и очень боюсь последствий тех авантюр, которые они затевают».

Летом 1902 г. государь император ездил в Ревель на морские маневры. В июне месяце на маневры приезжал германский император, при чем после маневров совершилось следующее интересное событие, показывавшее настроение германского императора: когда его яхта начала отходить, то началось обыкновенное сигнальное прощание, при чем германский император дал следующий сигнал: адмирал Атлантического океана шлет привет адмиралу Тихого океана. Государь очень был стеснен, что ему на этот привет ответить. Я не знаю, как его величество ответил, но знаю положительно, что германский император дал нашему такой сигнал, который значил, если перевести его на обыкновенный язык: я стремлюсь к захвату или к доминирующему положению в Атлантическом океане, а, мол, тебе советую и буду поддерживать в том, чтобы ты принял доминирующее положение в Тихом океане.

Как я уже имел случай говорить, император Вильгельм втюрил нас в дальне-восточную историю, понимая, что, если нас отвлечет на Дальний Восток, то он развяжет себе руки в Европе, и этим сигналом он продолжал ту же самую характерную комедию.

Не знаю, влияние ли императора Вильгельма, выразившееся, между прочим, в сказанном сигнале, или нечто другое, но с того времени, а еще более в 1903 г., в депешах, даваемых наместнику его величества на Дальнем Востоке, и в других актах неоднократно высказывалась государем мысль о том, что он желает, чтобы Россия имела доминирующее влияние в Тихом океане.

После отъезда его величества 14 сентября 1902 г. в Крым и, кажется, даже ранее этого я совершил путешествие на Дальний Восток, был в Порт-Артуре, был во Владивостоке, в Дальнем, совершенно ознакомился с тем, что там делается, на дальней окраине, и из всего моего осмотра вывел мрачные заключения.

По возвращении моем я составил его величеству подробный всеподданнейший доклад, в котором высказал о всей ненормальности положения дела. Горячо настаивал, чтобы эта ненормальность была кончена, чтобы наши войска из Манчжурии были выведены, чтобы край вошел в мирную жизнь. Высказал снова о необходимости соглашения с Японией, предсказывал, что в противном случае все кончится большими бедствиями.

Извлечения из моего всеподданнейшего доклада были помещены в Правительственном Вестнике, но самый всеподданнейший доклад представлял такой документ, который, конечно, обнародованию не подлежал. Значительная часть его была обнародована после портсмутского договора. Я подробно о том, что я видел и что я докладывал государю, здесь не излагаю. В моем архиве находится экземпляр моего всеподданнейшего доклада, из которого видно, что, если бы угодно было принять во внимание мои мнения и указания, то мы избегли бы ужасной и несчастнейшей Японской войны и всех последствий, от того происшедших.

Часто говорят, что Япония готовилась к войне, и все равно, как бы мы себя ни вели, она бы нам объявила войну. Это рассуждение безусловно неверное. Если бы мы в точности исполнили наши договоры с Китаем, если бы мы не завели сказочную для конца XIX века авантюру в Корее, авантюру, которая может быть названа по автору ее «Безобразовщина», если бы мы приняли искренние предложения, которые были нам сделаны Ито, и дальнейшее предложение, даже перед самой войной, сделанное нам японским послом Курино, то войны бы не было.

О том, насколько неосновательно мнение, что Япония готовилась к войне, и поэтому война должна была быть, может служить лучшим примером следующий факт: как только я кончил курс в университете, сначала служа на западных железных дорогах, потом в качестве директора департамента железнодорожных дел, министра путей сообщения, министра финансов, наконец, председателя комитета министров, все время слышал разговоры о том, что нам в ближайшие годы, если не месяцы, предстоит война с Германией. В течение 20 лет мы все время, по железным дорогам, по финансам, в военном ведомстве, всегда все меры принимали, главным образом имея в виду войну на Западе, точно так же и Германия принимала и ныне принимает меры, имея в виду войну с нами.

Перед самой Японской войной, когда не хотели верить в эту войну, и, ведя самую задорную политику, к войне не приготовлялись, все помыслы военного ведомства были направлены к возможной войне с Германией.

Как я говорю, за несколько месяцев до войны высшее военное начальство занималось не возможною войною с Японией, а неизбежно, будто бы, предстоящей войной с Германией. Уже были назначены главнокомандующие армиями, так: армией, которая должна была сражаться с войсками германскими, главнокомандующим был назначен великий князь Николай Николаевич, а главнокомандующим армией, которая должна была сражаться с австрийской армией, был назначен военный министр Куропаткин. Между тем, слава богу, этой войны не было и до сих пор ее нет, и если мы будем вести разумную, не вызывающую и добросовестную политику, то я уверен, что войны этой еще долго не будет.

Таким образом тот факт, что государства приготовляются к войне, еще никоим образом не служит основанием заключению, что поэтому война в непродолжительном времени неизбежна, напротив, именно разумное приготовление к войне при разумной не ребяческой политике служит гарантией к тому, чтобы война без самых неизбежных причин не разразилась.

С Дальнего Востока я прямо приехал в Ливадию и кратко доложил государю о моих впечатлениях. Но государь подробно меня не выслушивал, прося меня прислать ему свой доклад. Этот доклад я составил в Петербурге и ему представил уже в Петербурге.

В то время уже Безобразов посредством великого князя Александра Михайловича снова вошел в полный фавор к его

величеству. Этим и объясняется, что его величество не был склонен особенно много говорить со мной о моих впечатлениях на Дальнем Востоке, ибо если его величество склонялся более к взглядам Безобразова, то эти взгляды вели в авантюре, к риску, к войне, без серьезного приготовления к ней.

Во время пребывания моего в Ялте произошел другой характеристичный факт—образование главного управления торгового мореплавания и назначение главноуправляющим великого князя Александра Михайловича.

* Насколько великий князь Михаил Николаевич пользовался общим уважением и любовью приближенных и знавших его лиц, настолько же этим не пользовалась его супруга великая княгиня Ольга Федоровна, принцесса Баденская. Красивая, умная, с волею, она обладала прескверным характером, имела постоянных фаворитов и была дамой хитрой и бессердечной. Она совершенно держала мужа в своих руках. Была распространена сплетня, что действительный ее отец был некий банкир еврей, барон Haber. Император Александр III иногда называл ее в интимном кружке «тетушка» Haber.

Великий князь Александр Михайлович совсем пошел в мать и в интригах перещеголял ее. Красивый по наружности, не глупый, полуобразованный, с большим самомнением, скрытный и страстный интриган, в отношениях довольно симпатичный. Старшую дочь Ксению нужно было выдать замуж. Государю, по его чисто русской натуре, нежелательно было выдавать ее за иностранного принца, да и к тому же старшую дочь императора Александра III нельзя было выдавать за какого бы то ни было принца. Ксении же полюбился Александр Михайлович. Свадьба была решена, хотя Александр Михайлович, как и все Михайловичи, не особенно-то нравился императору.

Перед свадьбой, летом, приблизительно за год до своей смерти, Александр III, уже будучи не вполне здоровым, совершал свою обыденную прогулку по финляндским шхерам. Александр III почему-то не мог выкупаться в своей ванне: Александр Михайлович предложил государю свою гуттаперчевую ванну. Он согласился и после ванны сказал Александру Михайловичу в присутствии других лиц, что ему ванна очень понравилась. После этого Александр Михайлович сказал одному из флигель-адъютантов государя, с которым он был в хороших отношениях, саркастически, что он рад, что, наконец, императору понравилось хотя что-либо, до него касающееся.

Ксения была весьма дружна с наследником Николаем, потому, конечно, Николай весьма подружился с Александром Михайловичем. Покуда император Александр III был жив,

само собою разумеется, Александр Михайлович никакой роли не играл. Когда воцарился Николай II, то он сейчас же завел свои интриги, что ему было тем легче разыгрывать, так как Николай II по свойству своего характера переживал по отношению к Александру Михайловичу «la lune de miel».

Александр Михайлович, был моряк, но не совершил полагаемого по цензу плавания, поэтому он не мог двигаться и с тою протекциею, которую имел. Но какое там плавание при молодой жене, сестре императора. Ему хотелось сделать карьеру сразу и добиться поста генерал-адмирала.

Морской министр генерал-адъютант Чихачев и, в особенности, генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, зная склонность Александра Михайловича к интригам, стояли на том, чтобы он проходил установленный ценз. Поэтому со вступлением на престол Николая II началась борьба. Как это всегда бывает, лица, почему-либо недовольные данным ведомством, т.-е. его начальством, сейчас же становятся во враждебный лагерь. Одним из таких лиц был Кази. Он имел старые счеты с Чихачевым. Когда последний был директором русского общества пароходства и торговли, тогда весьма процветавшего, Кази был его помощником. Так как Кази хотел занять место Чихачева, то он должен был оставить службу. С тех пор он стал его врагом.

Кази был лейтенант в отставке, нигде серьезного образования не получил, но сам себя образовал, долго жил в Англии и был человек весьма даровитый и способный. В общем он был выдающийся человек и, несомненно, хорошо понимал морское дело. Александр Михайлович с ним сошелся, и они начали борьбу с морским министерством. Кази писал записки, проекты, и они передавались императору Николаю. Император говорил, что он их вполне разделяет, что он приведет их в действие, но, по обыкновению, не становился прямо ни на одну, ни на другую сторону. Внутренно он желал бы осуществления идеи Александра Михайловича и Кази. Он хотел бы видеть их во главе морского дела, но тогда он был еще под полным влиянием императрицы-матери, которая любила любимого брата своего мужа генерал-адмирала Алексея, а Алексей поддерживал своего подчиненного Чихачева.

Я думаю, что идеи Кази об организации флота были более правильны, нежели Чихачева, а следовательно Кази и Александр Михайлович были ближе к истине по существу и обладали большим талантом, нежели великий князь Алексей Александрович и Чихачев. Но несомненно также, что последние были более порядочные, нежели первые. Кази по натуре был склонен к интриге, а об Александре Михайловиче в этом отношении и говорить не стоит. Первый, по крайней мере, был весьма умный, талантливый и в общем порядочный человек.

Генерал-адъютант Чихачев, несомненно, был благородный и порядочный человек, а также умный, хотя, может быть, ему не было дано дара создателя русского флота, но все-таки он был способнее всех тех лиц, которые были после него морскими министрами до настоящего времени.

Таким образом завязалась с самого воцарения Николая II борьба между Алексеем (Чихачев) и Александром (Кази). Борьба эта прежде всего разыгралась в Либаве. Государь говорил мне, что он непременно приведет желание почившего отца в исполнение и построит порт на Мурмане. Прошло несколько месяцев, и вдруг появился указ о том, что Либавский порт сооружается согласно желанию императора Александра III и что военному порту, который будет там сооружен, даруется именование порта императора Александра III. После этого указа, само собою разумеется, пошли громадные затраты на этот порт, а теперь возбудился вопрос, что делать с этим портом на случай войны. Есть специалисты, которые чуть ли не советуют его уничтожить. Генерал-адъютант Дубасов теперь поехал на Мурман опять исследовать, не следует ли сооружать порт в Мурмане. В тот же самый день, когда государь подписал указ о порте Александра III, он был у великого князя Константина Константиновича и сетовал на то, что указ этот у него вырвали.

Тогда я сочувствовал этому сетованию и понимал его, но с тех пор прошло более десяти лет, а государь всякий раз, когда подпишет какой-либо документ, который затем ему не нравится, говорит сам или сие возглашает придворная камарилья, что документ этот у него вырван. Ведь придворная камарилья и сама императрица не стесняются говорить, что будто бы я вырвал у государя манифест 17 октября, а насколько это утверждение ложно, будет видно из последующего.

Конечно, после подписания указа о порте Александра III Александр Михайлович, пользуясь затаенным неудовольствием государя за то, что генерал-адмирал Алексей и Чихачев «вырвали» у него указ, пустил свои интриги во всю. Одну из его записок, составленную Кази, государь передал, как заслуживающую внимания, генерал-адмиралу Алексею. Так как эта записка критиковала действия морского министерства, то Алексей потребовал увольнения со службы офицера флота Александра Михайловича. Этим борьба обострилась до крайности. Конечно, Александр Михайлович и Кази победили бы, но государь тогда еще не смел итти против матери.

Кончилось тем, что около коронации Чихачев был уволен с поста управляющего морским министерством, но на его месте был назначен адмирал Тыртов, по выбору Алексея.

Таким образом, жертвой этой интриги и борьбы явился Чихачев. Алексей все-таки победил Александра Михайловича.

В морском министерстве все осталось по-старому, с тою разницею, что Тыртов, будучи также порядочным человеком, как Чихачев, был значительно менее умнее последнего. Государь «показал свой характер» и успокоился. Александр Михайлович был устранен из морских советчиков, но зато Алексей Александрович сделался точным исполнителем предначертаний его величества, до того точным, что не имел мужества возражать против затеи Безобразова и К-о, поведшей к японской войне. Он и мне советовал тот же образ действия — «все равно государь сделает по-своему, только себе повредите». Александр Михайлович и не мог больше плодотворно интриговать по морским делам, так как сейчас же после коронации Кази, будучи со мною на Нижегородской выставке, неожиданно скончался, а сам Александр Михайлович был большой мастер на интриги, но полуобразованный, а во многих случаях просто невежественный дилетант во всех областях знания, конечно, ни о чем никакой толковой записки составить не мог.

Так как после перемены положения с уходом Чихачева Александр Михайлович увидел, что ему блестящая карьера в морском ведомстве была закрыта, то он обратил свои помыслы на другие пути к достижению власти. Ближе всего к его специальности, поскольку она выражалась мундиром, им носимым, было морское дело, а потому, потерпев неудачу в области военного морского дела, он начал интриговать, чтобы составить себе положение в области торгового мореходства.

Он прежде всего подал мысль об отделении из морского ведомства «Добровольного флота», созданного под покровительством Александра III К. П. Победоносцевым, как вспомогательное орудие морского ведомства. Встретив опять отпор от генерал-адмирала Алексея, у него естественно обратились взоры на торговое мореплавание вообще, которое находилось, как все, касающееся торговли, в ведении главного управления торговли и мануфактур министерства финансов.

Вообще в России торговое мореплавание по причинам экономическим и географическим развито весьма мало, при чем внешнее (морское) было в ведении главного управления торговли и мануфактур, как сказано выше, а внутреннее (речное) в ведении министерства путей сообщения. Вот Александр Михайлович и пожелал заняться внешним торговым мореплаванием. Он через своих сотрудников, или, вернее, приспешников, передал мне о сем желании. Я доложил об этом его величеству, который, повидимому, к этой мысли был совершенно подготовлен, и предложил образовать при министерстве финансов комиссию из представителей различных ведомств и торговли для предварительного обсуждения всех вопросов, касающихся торгового

мореплавания, при чем коллегия эта имела характер совещательный, не связывающий подлежащих министров.

Соответствующий законопроект прошел через Государственный Совет, и председателем совещания был назначен Александр Михайлович. Одновременно я был по какому-то делу у генерал-адмирала Алексея, который заговорил со мною о назначении Александра Михайловича, спросил меня, знаю ли я его, и предупредил меня, чтобы я был с ним осторожен, так как он большой интриган. Тогда я действительно очень мало его знал. На вид он мне казался приличным и симпатичным.

Как только сказанное совещание открыло свои действия, начались истории. Около Александра Михайловича сейчас же появилась масса приспешников со всевозможными проектами. В совещании при всей склонности членов уступать мнениям великого князя, мужа любимой сестры императора, постоянно являлись разногласия. Мне приходилось не утверждать мнения, поддерживаемые великим князем. Таким образом отношения все обострялись. Наконец, произошел такой инцидент.

Совещание выработало положение о портовых управлениях, при чем часть совещания с Александром Михайловичем пожелала совершенно обособить эти управления, сделавши их независимыми не только от местных губернаторов (градоначальников), но и от контроля. Конечно, такой проект я не утвердил. Тогда Александр Михайлович, будучи в это время в Крыму (летом 1901 г.), телеграфировал мне, что, если я не утвержу выработанного проекта, то он уйдет, и что вообще в виду постоянных разногласий он тяготится положением председателя совещания.

Я доложил эту телеграмму государю, выяснив невозможность некоторых наиболее существенных положений проекта. Его величество совершенно со мною согласился и сказал: «ответьте ему, что, если он не хочет быть председателем, пусть уходит». Не ссылаясь на государя, я ответил Александру Михайловичу, что утвердить проекта не могу. Месяца через два его величество уехал в Крым, где был великий князь Александр Михайлович, а через некоторое время и я туда приехал, после моей поездки на Дальний Восток.

При первом моем докладе государь меня спросил, правда ли, что при портовых сооружениях делаются большие злоупотребления. Я ответил, что не имею по этому предмету фактов, но знаю, что подрядчики часто весьма наживаются, потому что контракты с ними, вероятно, определяют по преувеличенным ценам.

После доклада государь меня пригласил завтракать. Завтракала вся семья его величества, лица ближайшей свиты, а из посторонних я и командующий войсками Одесского округа, благороднейший и почтеннейший человек генерал-адъютант

граф Мусин-Пушкин. После завтрака все вышли на террасу. Государь подошел ко мне и очень ласково спросил:

— Как вы думаете относительно образования главного управления торгового мореплавания и портов?

Я ответил, что ныне торговое мореплавание ведается одним столом в департаменте торговли, что, может быть, следует несколько усилить эту часть, но во всяком случае эту часть торговли нерационально отделять от торговли вообще, а тем более образовывать из этой части особое министерство. Если же образовать новое министерство, то нужно выделить из министерства финансов все, касающееся торговли, и образовать министерство торговли.

Государь ответил:

— Я говорю об образовании главного управления, а не министерства.

Я ответил, что разница только в наименовании, по существу же это одно и то же, и добавил, что, если образовывать новые министерства, то в России есть много отраслей народного труда, заслуживающих большего внимания, нежели торговое мореплавание, например, министерство труда, министерство кустарных промыслов, министерство хлебной торговли.

На это государь сказал:

— Вы так думаете?

Я ответил утвердительно, добавив, что я уверен в том, что если такое министерство (мореплавания) будет основано, то оно просуществует недолго. (Так оно и случилось. После 17 октября главное управление торгового мореплавания было уничтожено.)

Государь сказал на это: «увидим» и отошел от меня. Через несколько минут подошел ко мне граф Мусин-Пушкин и спросил:

— Какой это неприятный разговор вы вели с государем на террасе?

Я ответил, что по поводу мореплавания, но что ничего неприятного не было.

Граф Пушкин ответил:

— Однако, я заметил, что у государя, когда он от вас отошел, было крайне рассерженное лицо, — и добавил, что это все интриги Александра Михайловича.

На другой день утром я явился к его величеству откланяться, так как в тот же день выезжал в Петербург. Его величество был со мною ласков и о делах не изволил ничего говорить. Как только я приехал в Петербург и вошел к себе в кабинет, курьер мне доложил, что приехал ко мне от государя фельдъегерь с пакетом. Я был очень удивлен, так как только что сам приехал из Крыма. Распечатав пакет, я нашел в нем указ, подписанный его величеством, об образовании главного управления торгового мореплавания и торговых портов и приказ о назна-

чении начальником этого главного управления на правах министра великого князя Александра Михайловича. Все сие прошло без Государственного Совета и совещания с кем бы то ни было, т.-е. совсем конспиративно.

Александр Михайлович начал с того, что взял себе в товарищи адмирала Абазу, двоюродного брата Безобразова, одного из главных виновников японской авантюры. Александр Михайлович был прародителем этой проклятой затеи, составившей несчастие России. Он ввел Безобразова и Абазу к государю.

Сделавшись министром, великий князь, конечно, начал вмешиваться в дела, до него не касающиеся. Поскольку это вмешательство касалось министерства финансов (и торговли), я давал ему постоянный отпор, а потому Александр Михайлович сделался надежным передатчиком государю всяких записок против меня и моих сотрудников. Как только кто-либо осмеливался не соглашаться с каким-нибудь корыстным предложением, он сейчас же аттестовался государю, как изменник. Так государь несколько раз указывал мне на неблагонадежность директора кредитной канцелярии Малешевского, честнейшего и надежнейшего человека, до сих пор занимающего этот пост. Я категорически возражал против его увольнения.

Что же сделал Александр Михайлович с новым министерством? Ничего положительного, а только развел злоупотребления. Когда я уходил с поста министра финансов, то дела международного банка были довольно запутаны, благодаря увлечениям главного управителя Ротштейна, берлинского еврея, замечательно даровитого финансиста-банкира, честного и умного человека, но довольно нахального и мало симпатичного в обращении. Говорили, будто он наживает миллионы спекуляциями, а когда он умер, оказалось, что он оставил жену с самыми ограниченными средствами.

Когда я еще был министром финансов, то в последний год я не принимал Ротштейна в наказание за то, что он расстроил дела банка. Я узнал об этом стороною, так как из отчетов это было трудно усмотреть.

Через несколько месяцев после моего ухода Ротштейн просил меня его принять. Он мне сказал, что явился для того, чтобы доложить, что дела банка приведены им в порядок и что хотя теперь я не министр финансов, но он счел долгом мне это доложить, так как считает себя виновным за то, что не доложил мне о расстройстве дел, когда я был еще министром, рассчитывая их поправить.

На мой вопрос, каким образом это достигнуто, он ответил, что самые шаткие дела им ликвидированы, так, например, завод Ланге (кажется, в Риге), который за ссуду остался на шее банка, был продан главному управлению торгового мореплавания

с большою выгодою. На мой вопрос, как это случилось, он мне ответил: мы запросили настоящую цену, но лицо, которое было уполномочено купить, сказало, что за эту цену оно купить не может, но согласно купить за цену в два раза большую, но с тем, чтобы банку была внесена настоящая цена! . .

С этим заводом Ланге мне пришлось встретиться вторично после 17 октября, когда я был председателем совета. Когда началась японская война, был образован комитет для добровольного сбора денег с целью устройства дополнительных военных судов. Председателем комитета стал великий князь Михаил Александрович, а вице-председателем великий князь Александр Михайлович. В сущности последний затеял все дело и держал его в руках, а милейшего и честнейшего, славного великого князя Михаила Александровича поставил как ширму.

Суда начали заказывать упомянутому заводу Ланге, у него не было денег, ему дали из добровольных пожертвований ссуду, туда же ухлопали часть портовых сборов. Война кончилась, а заимствованные деньги не вернули. Министр торговли Тимирязев сделал представление по повелению государя в совет министров о регулировании этого дела.

Морской министр Бирилев в заседании заявил, что завод не годен для морского ведомства, да и построенные там суда не лучше. Тогда явился вопрос о покрытии недостачи денег из казны. Зная из предыдущего рассказа, что все это дело нечисто, я категорически отказался рассматривать это дело в совете министров. Тогда его внесли в Государственный Совет, куда я тоже на заседание не явился. Граф Сольский, председатель Государственного Совета, меня спрашивал, почему я не пришел в Государственный Совет. Я ему откровенно объяснил причину, при чем он мне сказал, что великий князь Александр Михайлович был у него по этому делу, просил его выручить, при чем прослезился.

Я сказал Сольскому, что я не сомневаюсь в том, что великий князь денежно честный человек, но, не имея никакого понятия о делах, его подчиненные развели воровство, и если бы я был на его месте, то вместо того, чтобы слезиться, заплатил бы недостачу из своих великокняжеских средств.

Приходилось мне часто слышать о вреде замужеств русских великих княжен за иностранных принцев. Может быть указания эти имеют некоторое основание, но если рассматривать обратный опыт—женитьбу царской дочери на русском великом князе, например, брак Ксении Александровны с Александром Михайловичем, то едва ли этот опыт дал лучшие результаты. Впрочем, не все великие князья Александры Михайловичи! . . *

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Усиление влияния Безобразова. Моя отставка.

В 1903 г., после открытия мощей Серафима Саровского, его величество вернулся в Петергоф 20 июля, а 30 июля последовало неожиданно для всех министров утверждение наместничества на Дальнем Востоке и назначение на пост наместника Алексеева.

В течение 1902—1903 г.г. шла интрига Безобразова и компании, и когда к этой интриге пристал Плеве, как министр внутренних дел, то его величество склонился на сторону этих господ, вопреки мнений, как министра иностранных дел, моего, так отчасти и военного министра генерала Куропаткина.

По мере приобретения Безобразовым и компанией все большего и большего влияния — было несколько совещаний; во всех этих совещаниях я всегда являлся самым несговорчивым из членов; всегда в самых резких и решительных выражениях я указывал, что вся эта авантюра приведет Россию и государя к несчастию.

Его величеству было благоугодно стараться склонить меня, если не к противоположному, то, по крайней мере, к тому, чтобы мои возражения не были столь решительны, а часто и резки, — в последнем—я признаю себя виновным, ибо нахожу, что в присутствии государя его верноподданные должны уметь себя сдерживать. Но это ласковое внимание его величества не могло поколебать меня в моих убеждениях, и я продолжал настаивать на своем мнении.

Еще ранее, перед 6 маем 1903 г., когда я увидел, что его величество все более и более склоняется к опасному мнению

Безобразова и компании, и так как в то время на государя имел некоторое влияние князь Мещерский, то я как-то раз специально поехал к князю Мещерскому для того, чтобы понудить его написать государю императору об опасности принимаемого им курса.

Должен отдать справедливость князю Мещерскому: он все мои доводы вполне понял и разделил; тогда же он написал государю императору, на что получил от его величества ответную записку, весьма характерную по содержанию и обращению, показывающую на крайнюю интимность, которая в то время существовала между князем Мещерским и его величеством.

В этой записке государь высказался против предупреждений князя Мещерского и в конце добавил: «6 мая увидят, какого мнения по этому предмету я держусь».

Получив эту записку, я помню, князь Мещерский приехал ко мне и все недоумевал: что такое произойдет 6 мая?

Я ему сказал, что решительно никакого понятия об этом не имею.

6 мая Безобразов был сделан статс-секретарем его величества, что являлось событием, при положении Безобразова, крайне исключительным и знаменательным.

А сотрудник Безобразова генерал Вогак, опять-таки в совершенно исключительном порядке, был сделан генералом свиты его величества.

Об учреждении наместничества на Дальнем Востоке и о назначении Алексеева — я, граф Ламсдорф и министры (за исключением, конечно, Плеве) узнали утром, читая газеты.

Для меня было ясно, из хода всех предыдущих отношений моих и Безобразова к Алексееву, что Алексеев, увидев, что сила на стороне Безобразова, в конце концов склонился перед ним и поступил к нему в услужение, вследствие чего он из начальника Квантунской области и был возведен в наместники.

Со дня утверждения наместничества, я уже считал дело Дальнего Востока проигранным и был уверен, что все это поведет к войне, а потому поставил на этом деле крест.

В начале августа его величество ездил на несколько дней в Псков на маневры. Перед отъездом на маневры ко мне неожиданно зашел Безобразов (в виду моих отношений с Безобразовым,—я за все время виделся с ним раза 2—4, не более). В последний раз он пришел ко мне,—не знаю, по своей ли инициативе или по инициативе свыше, — опять попробовать: не может ли он склонить меня на примирение с новым курсом политики.

Он сказал мне, что государь император такого-то числа поедет на Путиловский завод для того, чтобы осмотреть миноноски, которые там делают. Безобразов сказал, что советует мне приехать в такой-то час к заводу для того, чтобы встретить государя.

Нужно сказать, что Путиловский завод находился, в сущности говоря, под управлением государственного банка; вследствие несостоятельности Путиловского завода государственный банк должен был взять его в администрацию.

Одним из директоров завода был Альберт, который в последние годы, помимо министра финансов, по представлению той же партии Безобразова, был сделан коммерции советником. Этот Альберт, по происхождению из евреев, поступил также в услужение Безобразова и компании, что, однако, не помешало Альберту, когда он как-то раз был у меня, издеваться над сумасбродством Безобразова и его компании. На мое замечание, каким же образом он находится в этой компании, — Альберт мне ответил: «Рыба идет туда, где вода глубже».

Безобразову я ответил, что считаю себя обязанным встречать его величество везде, где его величеству угодно, но поеду лишь тогда, когда получу официальное уведомление от подлежащих лиц, что государю императору угодно посетить Путиловский завод, а сам по себе, по собственной инициативе или по указке его, Безобразова, — не поеду.

Его величество, как оказалось, в точности согласно с тем, как говорил Безобразов, действительно был на Путиловском заводе, где его, между прочим, встретил управляющий государственным банком Плеске.

Другой характерный пример того отношения его величества ко мне, которое создалось благодаря разнообразным причинам, в особенности моей несговорчивости по вопросу о политике на Дальнем Востоке, произошел приблизительно в то же время. Тогда начальником конвоя свиты его величества был генерал-майор Мейндорф, очень милый, хороший человек, но в высшей степени пустой и бессодержательный.

Он женат на княжне Васильчиковой, женщине содержательной в том смысле, что она понимает свои интересы и материальные расчеты.

В это время в Петербурге появился некий Завойко. Как я узнал впоследствии, Завойко этот, желая получить значительные ссуды из дворянского или крестьянского банка, которые ему не были выданы, подал особую записку по поводу этих банков, которая в результате сводилась к тому, что высшее управление этими банками следует передать из министерства финансов в министерство внутренних дел.

Записка эта была внушена ему и составлена Плеве: передана же она была его величеству через генерала Мейндорфа. Мейндорф сделал это для того, чтобы угодить Завойко, который предлагал барону Мейндорфу купить имение в Западном крае за очень дешевую цену, что,—по мнению Завойко,—должно было послужить к значительному обогащению Мейндорфа.

Нужно сказать, что ни барон Мейндорф, ни его супруга, урожденная Васильчикова, личного состояния не имели, а если и имели, то крайне ограниченное. Поэтому супруга Мейндорфа искала каких-нибудь афер для мужа, которые могли бы воссоздать их материальное благосостояние.

Для покупки имения, о котором я только что упоминал, кроме дворянских ссуд, была еще необходима выдача 250 тыс. р.

В июле месяце ко мне вдруг явился генерал свиты его величества барон Мейндорф и заявил, что он приехал ко мне от государя императора с повелением, чтобы ему была выдана ссуда из государственного банка в 250 тыс. р.

Я сказал генералу Мейндорфу, что мне высочайшее повеление могут передавать или статс-секретарь его величества или генерал-адъютант, и так как он ни то и ни другое, а кроме того дело, которое он мне передает, лично и непосредственно его, Мейндорфа, касается, то я, конечно, никакого высочайшего распоряжения исполнить не могу, доколе не получу от государя приказа.

Через несколько дней я получил от его императорского величества записку о выдаче ссуды. Хотя выдача этой ссуды совершенно не соответствовала уставу государственного банка, тем не менее, в виду резолюции его величества, конечно, она была немедленно выдана, но инцидент этот, — как мне впоследствии сделалось известно, — послужил к тому, что государю и государыне императрице сказали: что, вот, мол, министр финансов Витте дошел до того, что не желает слушаться государя императора.

В начале августа, в четверг перед 16 числом, вечером, я получил от государя императора записку, в которой его величеству угодно было мне приказать: когда я приеду завтра, в пятницу, к государю с всеподданнейшим докладом в Петергоф, то чтобы привез с собою и управляющего государственным банком Плеске.

Я, признаться, недоумевал: почему именно государю императору угодно, чтобы я привез ему Плеске. Но, с другой стороны, у меня было убеждение, что при данном положении вещей я остаться министром финансов не могу, так как в противном случае приму на себя ответственность за все те последствия, которые произойдут в случае Японской войны. Я отлично пони-

мал, что если другие министры могли иметь оправдание, что, мол, так государю императору было благоугодно, то я этого оправдания в общественном мнении не получу, ибо Россия уже достаточно хорошо знала и мой характер, и мою решительность, и мою твердость, и никто не поверил бы, что я, с своей стороны, сделал все, чтобы не было войны, и что, только склонившись перед необходимостью, остался на своем посту. Но, тем не менее, мне казалось, что если его величеству и угодно будет кого-нибудь назначить, то это будет сделано обыкновенным порядком; что его величеству благоугодно будет меня вызвать и об этом мне сказать. И я вполне понимал это желание государя императора, ибо, очевидно, если государь решил вести политику, совершенно обратную моим убеждениям, то я, оставаясь на посту влиятельного министра,—министра, который имел такое большое значение в делах Дальнего Востока, — буду всегда служить препятствием к введению нового курса, и какое бы ни было решение, то или другое, но самое худшее из них — это двойственность.

Итак, я все-таки не мог понять: для чего его величеству угодно было, чтобы я привез к нему Плеске? Мне представлялось, что если его величеству угодно будет назначить вместо меня другого министра, то почему государь остановился именно на Плеске, которого он совершенно не знал и видел его, вне официальных приемов, только на Путиловском заводе.

Я дал знать Плеске, чтобы он утром приехал ко мне на Елагин остров, а оттуда мы отправились на пароходе пограничной стражи, который обыкновенно меня возил в Петергоф.

Плеске спрашивал меня дорогою: для чего он вызван?

Я не мог ответить ему определенно, а только высказывал догадки, что может быть государю императору угодно его назначить на какой-нибудь пост.

Затем, приехав в Петергоф, я вместе с Плеске в карете поехали к его величеству. Плеске остался в приемной комнате, а я пошел к государю в кабинет.

Государь очень милостиво меня встретил. Как всегда, доклад мой продолжался около часа. Во время доклада я сообщал его величеству мои различные предположения относительно будущего и просил разрешения государя, когда он уедет заграницу, поехать по обыкновению по России, во все те губернии, где я еще не был и где была открыта питейная монополия.

Его величество это одобрил, сказав, что я хорошо делаю, что сам лично осматриваю учреждение этого весьма важного дела.

Когда я уже встал, чтобы проститься с его величеством, государь император, видимо несколько стесненный, сконфужен-

ный, обратился ко мне с вопросом: привез ли я Плеске? Я сказал, что привез. Тогда государь спросил меня: «Какого вы мнения о Плеске?» Я ответил, что самого прекрасного.

И действительно, я почитал и почитаю Плеске, как человека в высокой степени порядочного, прекрасного, имевшего значительную практику и сведения в некоторых отраслях финансового управления. Он все время был одним из моих ближайших сотрудников.

После такой, сделанной мною, рекомендации Плеске, государь император сказал мне:

— Сергей Юльевич, я вас прошу принять пост председателя комитета министров, а на пост министра финансов я хочу назначить Плеске.

Меня это неожиданное решение, — неожиданное, главным образом, по своей форме, — весьма удивило. Его величество, заметив, вероятно, что я выразил на своем лице удивление, сказал мне:

— Что, Сергей Юльевич, разве вы недовольны этим назначением? Ведь место председателя комитета министров это есть самое высшее место, которое только существует в империи.

На это я сказал государю, что если это назначение не выражает собою признака неблаговоления ко мне его величества, то я, конечно, буду очень рад этому назначению, но я не думаю, чтобы на этом месте я мог быть полезным, сколько я мог бы быть полезным на месте более деятельном.

Затем, простившись с его величеством, я ушел из кабинета и согласно повелению государя сказал Плеске, чтобы он пошел к императору.

Вероятно, императрица Мария Феодоровна знала о том, что должно было произойти, а потому пригласила меня к себе завтракать.

Из дворца государя императора я поехал к императрице. Императрица была ко мне в высокой степени милостива и любезна.

Мой уход с должности министра финансов с высшим назначением на бездеятельное положение председателя комитета министров, как я говорил, объясняется почти исключительно моим несогласием с той политикой относительно Дальнего Востока, которая привела нас к Японской войне.

Естественно, рождается вопрос: почему же остался на своем посту граф Ламсдорф, который с тех пор, как он, после смерти графа Муравьева, был назначен министром иностранных дел, все время поддерживал одинаковые со мной взгляды?

Произошло это, с одной стороны, от разности характеров — моего и графа Ламсдорфа, а с другой стороны, от разности внешних приемов действий.

По этому предмету, один из деятелей того времени, стоявший близко ко двору, представил положение дела в форме следующего рассказа.

Он говорил: — Представьте себе отца семейства, который имеет сына и дочь, и представьте себе, что этот отец семейства делает нечто такое, что, по мнению его детей, гибельно для самого отца семейства. Положим, например, что этот отец семейства, уже в пожилых летах, хочет развестись со своей женой и жениться на молодой девушке; дети уговаривают его этого не делать, но способы отговоров сына и дочери совершенно различны.

Сын приходит к отцу и говорит: «Отец, не делай этого; ведь если ты это сделаешь, ты повредишь себе, повредишь всем твоим родичам и потеряешь престиж». И говорит это в такой резкой форме, что, наконец, отец выходит из себя и, после многих предостережений сыну, чтобы он перестал говорить с ним на эту щекотливую тему, говорит ему: «Уходи вон», — и удаляет сына из дома.

А затем приходит тихая и скромная дочка и говорит то же самое, но в другом тоне: «Милый папа, я тебе советую этого не делать. Ты знаешь, как я тебя люблю. Ты себе повредишь и потому, ради того, что я тебя так люблю и боюсь, что ты навредишь себе, я умоляю тебя, пожалуйста, не делай этого».

В таком случае отец семейства треплет свою дочку по щечке и говорит: «Ах ты, милая моя душечка, иди, погуляй немножко, а вечером я поеду с тобой в театр».

Вот аналогичные отношения были у его величества ко мне и графу Ламсдорфу. Точно так же и способ разговора моего и графа Ламсдорфа уподобляется разговору неугомонного сына и скромной дочки.

Когда я ушел с поста министра финансов, то товарищ графа Ламсдорфа, князь Валериан Сергеевич Оболенский, и другие его сослуживцы очень ему советовали подать прошение об отставке, но граф Ламсдорф их совету не последовал.

Граф Ламсдорф имел по этому предмету совершенно откровенный разговор со мною; он сказал мне: одно из двух — или наш государь самодержавный, или не самодержавный. Я его считаю самодержавным, а потому полагаю, что моя обязанность заключается в том, чтобы сказать государю, что я о каждом предмете думаю, а затем, когда государь решит — я должен безусловно подчиниться и стараться, чтобы решение государя было выполнено.

С известной точки зрения нельзя отвергать логичности такого рассуждения, хотя для такого образа действий нужно

иметь крайне эластичное «я», чем, к сожалению, я не отличаюсь.

Почему государь император остановился на назначении вместо меня министром финансов Плеске, я не знаю, но думаю, — вероятно, потому, что он был рекомендован его величеству, между прочим, Безобразовым и компанией, а Безобразов и компания полагали, что Плеске, как человек мягкий и не укрепившийся еще на своем посту, будет им очень сподручен; впрочем, кажется, в этом отношении они несколько ошиблись, потому что Плеске был человек весьма принципиальный, весьма нравственно чистый, вследствие чего он не шел на различные компромиссы с Безобразовым и компанией.

В этом отношении Безобразов лучше бы сделал, если бы рекомендовал государю Владимира Николаевича Коковцова, который, вследствие своей натуры, легче плавает по различным течениям, нежели мог плавать Плеске; хотя, с другой стороны, Коковцов все-таки является лицом гораздо более характерным, нежели Плеске.

Во время этого назначения Коковцов был в Париже и, как я потом узнал, был очень огорчен этим назначением, так как он считал, что имеет гораздо больше права на место министра финансов, нежели Плеске. что, несомненно, верно.

Я обязан по долгу совести сказать, что пока министры в отношении политики, которой необходимо держаться в Корее после захвата Квантунского полуострова, были в единогласии, — его императорское величество, несмотря на влияние и графа Воронцова-Дашкова, и великого князя Александра Михайловича, и Безобразова, — который, повидимому, особенно нравился его величеству,—все-таки в конце концов, склонялся к поддержанию мнения своих ответственных министров и лишь тогда начал склоняться ко мнению Безобразова и компании, а равно и генерал-адъютанта адмирала Алексеева, когда явился на сцену министр внутренних дел Плеве, который явно встал на сторону сказанной авантюры Безобразова.

Конечно, сделал это Плеве для того, чтобы избавиться от нежелательных для него министров финансов и иностранных дел. И так как министр внутренних дел по своему положению имеет различные средства для влияния на его величество, которых другие министры не имеют, то он и передвинул весы на сторону Безобразова.

Таким образом, долгом моей совести считаю отметить, что его величество, после некоторых колебаний по различным част-

ным случаям, в конце концов, все-таки становился на сторону своих ответственных министров и лишь тогда, когда появился на сцену злополучный во всех отношениях министр Плеве, который стал на сторону авантюристов, — во главе которых был Безобразов,—и поощрял это направление, его величество склонился на сторону мнения статс-секретаря Безобразова и министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве.

За год до этого времени вопрос о том: какого направления держаться, — держаться ли направления, представителем которого был я, или держаться направления Безобразова — был резко поднят.

Как мне впоследствии сделалось известным от дворцового коменданта, генерал-адъютанта Гессе, его величество колебался, как ему поступить: избавиться ли ему от меня, — так как государь знал, что я от своих мнений и убеждений не отступлю, а, следовательно, буду делать всякие препятствия тому направлению, которого держался Безобразов, — или же избавиться от Безобразова?

И, несмотря на то, что Безобразов был государю весьма симпатичен, а я по многим соображениям уже сделался государю не вполне приятным, его величество все-таки решил держаться моей политики, так как эту политику поддерживает и министр иностранных дел, — и избавиться от Безобразова.

Вследствие этого Безобразов должен был тогда уехать в Женеву к своей жене.

И только через год, когда я уехал на Дальний Восток, а государь был в Ялте, великий князь Александр Михайлович опять выудил из Женевы Безобразова и только тогда Безобразов вошел опять в силу и, будучи поддержан Плеве, довел дело до катастрофы.

Я это рассказываю в самых общих и не полных чертах. Потомство, которое, может быть, прочтет настоящую мою стенографическую запись, когда меня не будет в живых, найдет по этому предмету в моем архиве самые обстоятельные, фактические, подробные и вполне разработанные данные.

Во время моего министерства финансов наш бюджет окончательно укрепился, и не только в течение всего времени моего управления не было дефицита, но, напротив того, всегда был значительный излишек доходов над расходами, что дало мне возможность всегда держать свободную наличность государственного казначейства в значительных размерах, доходивших до нескольких сот миллионов рублей.

Должен сказать, что его величество в отношении поддержания равновесия бюджета оказывал мне полное доверие, и только при таком, со стороны государя, отношении я мог довести наш бюджет до такой прочности.

Вопрос о том, что я держал значительную свободную наличность, служил предметом постоянной критики; многие, в особенности газеты, находили, что это неправильная система, и что лучше эту свободную наличность употреблять на производительные цели; говорили, что нигде такой системы накопления наличности не существует, при чем ссылались, обыкновенно, на страны с вполне благоустроенными финансами — на Францию, Англию и даже Германию.

Я эти мнения никогда не разделял и нахожу, конечно, и теперь, что Российская империя имеет такие особенности, что держать свободную наличность в несколько сот миллионов рублей не только всегда полезно, но часто и необходимо.

Те лица, которые критикуют эту систему, не принимают во внимание следующих обстоятельств, а именно, что, с одной стороны, Россия—страна исключительной иностранной задолженности; ни Англия, ни Франция, ни Германия в этом отношении несравнимы с Россией; это есть одна из слабейших сторон русской государственной жизни. И раз страна имеет столь громадную задолженность заграницей — необходимо держать такой резерв, который, при неблагоприятных обстоятельствах, мог бы остановить паническое движение русских фондов, находящихся заграницей и в России, а, следовательно, и падение русских фондов.

С другой стороны, Россия, к несчастью, до настоящего времени, представляет собою такую страну, которая в смысле земледельческом живет при самой низкой культуре. Главный фактор ее — урожай — заключается в стихиях: один или два дождя, которые упадут во-время, могут дать прекрасные урожаи, и несколько недель бездождия во время сильной жары—уничтожают все хлебные посевы и производят полнейший неурожай.

Когда главный источник богатства страны — земледелие — находится в зависимости от стихии, является необходимым всегда иметь в резерве значительные суммы на случай неурожаев, и опять-таки в этом отношении нельзя сравнивать Россию с Германией, Англией, Францией и прочими культурными странами.

Наконец, я всегда старался держать значительную свободную наличность и потому, что я все время со вступления на престол императора Николая II чувствовал, что в ближайшее время должна вообще, в том или другом месте, разыграться кровавая драма.

Это происходило от стечения двух обстоятельств: с одной стороны, явились многие лица и преимущественно военные, — среди них первую роль играл Алексей Николаевич Куропаткин,—

которые толкали его величество на создание таких международных отношений, которые могли получить разрешение посредством войны.

При таком настроении военных советчиков государя было бы очень удивительно, если бы молодой император, с темпераментом, если не воинственным, то, во всяком случае, не спокойным и не миролюбивым — не поддался искушению, — особливо, когда лица, которые входили в его доверие, уверяли, что те затеи, которые они проповедывали, не повлекут к войне, ибо, в конце концов, будто бы все должны преклониться перед желаниями русского императора.

В действительности, вследствие моей системы накопления наличности, когда я ушел, я оставил свободную наличность, приблизительно в 380 милл. рублей, которая и дала возможность Российской империи, когда началась Японская война, жить несколько месяцев без займа; эта наличность дала возможность сделать заем более спокойно и на более выгодных условиях, нежели это имело бы место, если бы видели, что Россия так нуждается в деньгах для ведения войны, что должна во что бы то ни стало экстренно, немедленно, сделать большой заем.

В течение моего управления министерством финансов я совершил громаднейшие конверсии русских займов, т.-е. переход с займов с более высокими процентами на займы с меньшими процентами; кроме этих громадных финансовых операций я совершил и несколько прямых займов, исключительно на нужды строительства железных дорог и увеличения золотого фонда при введении денежной реформы.

В этом отношении я также всегда встречал полнейшую поддержку и полнейшее доверие его величества.

В мое управление министерством финансов в значительной степени развилась наша железнодорожная сеть. После Восточной войны с Турцией, в конце 70-х годов, сооружение железных дорог было временно приостановлено, и только в мое министерство я опять начал быстро строить и развивать сеть железных дорог.

В то время и эта мера подвергалась критике; уверяли, что я иду очень быстро. Ну, а теперь этих нареканий не слышно, так как все поняли, что эти вновь сооруженные железные дороги принесли и приносят государству значительную пользу, так что в последние годы начали опять довольно энергично строить еще новые дороги.

В мое время значительно возросла русская промышленность. Благодаря систематичному проведению протекционной системы и защите с моей стороны и приливу к нам иностранных капи-

талов, промышленность у нас быстро начала развиваться, и в мое управление министерством, можно сказать, прочно установилась национальная русская промышленность.

В этом отношении я также встречал поддержку его величества, но уже в меньшей степени. Я был и остаюсь сторонником нестеснения иностранных капиталов, идущих в Россию на пользу ее развития. Некоторые же, из-за узко-национальной точки зрения, были не особенно склонны к притоку иностранных капиталов в Россию и только тогда оказывали этому содействие, когда лично, в той или другой форме, были заинтересованы в создании этого или другого завода или в той или другой эксплоатации наших натуральных богатств.

Эта заинтересованность большею частью выражалась в том, что эти господа получали места в правлениях частных обществ или получали выгоду в других формах.

Как один из тысячи подобных примеров, я вспоминаю следующий случай.

У нас на Камчатке и в других местах Азиатской России есть золото, и многие иностранные или русские же фирмы при иностранных капиталах желали бы получить концессию на обработку этого золота. Против этого возражали все и именно с точки зрения национальной: «Нужно, мол, чтобы русские богатства разрабатывались русскими людьми и на русские деньги» (которых, между прочим, было, да и теперь — сравнительно мало). Под этим флагом некий отставной полковник Вонлярлярский, как истинно-русский человек, который должен разрабатывать национальные богатства руками русских людей и посредством русских капиталов, получил, в конце концов, по желанию его величества, концессию на разработку золотых приисков на Чукотском полуострове. Через несколько месяцев после того, как эта концессия была дана Вонлярлярскому, он ее продал иностранцам, получив таким образом в свой карман совершенно незаслуженную прибыль.

Я бы мог привести тысячи таких примеров.

Его величество всегда был более склонен поддерживать тех, которые препятствовали мне в создании обществ для разработки наших национальных богатств при помощи иностранных капиталов и иностранцев.

Собственно говоря, никто не препятствовал тому, чтобы иностранные деньги на различные предприятия к нам шли, но наивно желали, чтобы иностранные деньги шли, но чтобы распоряжались этими деньгами россияне и распоряжались, не имея в деле никакого интереса со свойственным русским дельцам новейшей формации денежным распутством.

С одной стороны, тенденция эта шла от крупных русских промышленников, которые вообще не желали иметь

в России в различных промышленных производствах конкурентов.

С другой стороны, эту мысль — препятствовать водворению в России иностранных капиталов постолько, посколько они связаны с иностранцами—поддерживали все лица, входящие в торговлю и промышленность после того, когда они профершпилились.

Этот контингент людей — в большинстве случаев — составляет наше дворянство.

Я несколько раз принципиально ставил вопрос о том, что необходимо признать, что водворение в России иностранных капиталов для развития торговли и промышленности есть вещь желательная, которую нужно поощрять. По этому предмету были разные совещания в Зимнем дворце под председательством императора Николая II.

Мне прямо не говорили: «нет» и, главным образом, потому, что не могли представить надлежащих доводов. Все доводы, которые мне представляли, всегда были мною разбиваемы. Но государь император, — под чьим влиянием, не знаю, — всегда как будто бы не сочувствовал этой идее. Мне представляется, что это несочувствие происходило прямо от того, что государь император, — близко не знакомый ни с финансовой историей, ни с финансовой наукой,—боялся того, чтобы посредством этого пути не внести в Россию значительного влияния иностранцев.

Вообще я никогда не слышал серьезных доводов против иностранных капиталов, но это было всегда и теперь остается для многих чем-то вроде Островского «жупела».

Конечно, большинство членов финансового комитета и членов комитета министров вполне сознавали всю неправильность воззрений о вредности иностранных капиталов. Но, чувствуя, что иностранные капиталы не в особенном фаворе наверху, боялись категорически по этому предмету высказаться.

Вследствие этого, хотя я во все время моего министерства и не покидал мысли об иностранных капиталах для русской промышленности и в значительной степени вводил их, но это происходило исключительно благодаря моему личному влиянию, при чем я большею частью всегда встречал те или другие препоны в комитете министров.

Затем в области чистого управления министерством финансов, которое в мое время было и министерством торговли, я тоже не встречал поддержки его величества во всем, что касалось организации и функций фабричной инспекции.

Фабричная инспекция была основана при министре финансов Бунге и всегда находилась в подозрении, как такое учреждение,

которое будто бы склонно поддерживать интересы рабочих и против интересов капиталистов; хотя это была, да и в настоящее время есть совершенная неправда.

Фабричная инспекция как прежде, так и в настоящее время относилась и относится к интересам рабочих и фабрикантов вполне объективно и только в надлежащих случаях поддерживает рабочих от несправедливой эксплоатации их труда некоторыми фабрикантами и капиталистами. А так как многие из фабрикантов и капиталистов принадлежат к дворянским семьям и имеют гораздо больший доступ в высшие сферы, нежели рабочие, то они распространяли и распространяют легенду о том, что будто бы фабричная инспекция есть институт крайне либеральный, имеющий в виду лишь поддержку рабочих и их либеральных стремлений.

Когда в последние годы прошлого столетия и в первые годы этого столетия брожение между рабочими значительно увеличилось, и в среду русских рабочих начали постепенно проникать идеи социалистические, которые так сильно завладели умами всех рабочих заграницей, что это вынудило заграничные страны пойти на целый ряд капитальнейших мер для большего обеспечения рабочих, мер, которые были проведены все в законодательном порядке, как законы: о страховании рабочих, о рабочем дне, о рабочих ассоциациях, об обязанностях фабрикантов по отношению лечения рабочих и помощи им в случае происшедших с ними несчастий, — когда все эти законы и меры начали проводиться в иностранных государствах и такими несомненными консерваторами, как, например, князь Бисмарк, то и в России явилось движение не только между рабочими, но и другими классами — между интеллигентами и либералами, которые видели необходимость проведения более или менее аналогичных мер и в России.

Но все подобные меры встречали в реакционных кругах решительный отпор. Так, например, мне с большим трудом удалось провести в Государственном Совете закон о вознаграждении рабочих в случае увечий и несчастных случаев. Но закон этот был весьма урезан сравнительно с подобными же законами, существующими заграницей.

Подобное положение вещей служило значительным поводом к обострению отношений рабочих и фабрикантов у нас в России и к развитию и распространению между рабочими крайних воззрений с социалистическим, а иногда и революционным оттенком.

В мое управление я значительно расширил в департаменте торговли отдел образования коммерческого и во главе этого дела поставил бывшего члена совета министра просвещения Анопуло.

Я провел через Государственный Совет положение о коммерческом образовании, благодаря которому последовало значительное расширение сети коммерческих училищ.

По этому положению я возбудил инициативу между самими промышленниками и коммерческим людом, дав им значительную инициативу, как в учреждении коммерческих школ, так и в их управлении. Вследствие этого они охотно начали давать средства на устройство и поддержание своих коммерческих училищ.

Анопуло по образованию был технолог. Я познакомился с ним, как только я сделался министром финансов, потому что он в это время был директором ремесленного училища цесаревича Николая, а когда я после смерти Вышнеградского был назначен министром финансов, то я в то же время занял должность председателя дома призрения и ремесленного образования бедных детей в С.-Петербурге, находившегося под особым покровительством императора Александра III, так как по уставу этого дома почетным председателем его считается государь император.

Таким образом, я занимался этим домом, в котором было 2 училища: ремесленное училище цесаревича Николая и женская школа императрицы Марии Александровны.

Вот этими двумя училищами я занимался весьма ретиво и с большим удовольствием, и так как в это время директором ремесленного училища был г. Анопуло, то я тогда с ним и познакомился.

Развив сеть коммерческого образования в России, у меня явилась мысль устроить высшие заведения—коммерческие и технические университеты в России, в форме политехнических институтов, которые содержали бы в себе различные отделения человеческих знаний, но имели бы организацию не технических школ, а университетов, т.-е. такую организацию, которая наиболее способна была бы развивать молодых людей, давать им общечеловеческие знания, вследствие соприкосновения с товарищами, занимающимися всевозможными специальностями.

Мною был создан при помощи моих сотрудников устав с.-петербургского политехнического института, который ныне составляет одно из главных высших учебных заведений Петербурга. Этот устав был проведен не без затруднений через Государственный Совет.

В этом политехническом институте в Петербурге имеются отделения: экономическое и техническое. Это техническое отделение делится на различные отделы: на механический, отдел кораблестроения и химический.

Я относился к этому делу с полным увлечением; вследствие этого мне удалось устроить политехнический институт в смысле помещения—прекрасно. Будучи министром финансов, мне было конечно, легче, чем другим министрам, иметь средства на устройство этого института.

Должен сказать, что устройство этого института было мною осуществлено не без различных затруднений, и только благодаря моему влиянию, которым я в это время пользовался, как у его величества, так и в Государственном Совете, мне удалось провести это великолепное учреждение.

Явился вопрос: кого назначить директором этого института. Нужно было назначить человека, который не возбуждал бы в высших сферах каких-нибудь сомнений, ибо, как я уже сказал, я встречал затруднения в организации и устройстве этого института не только в смысле денежных затрат, ибо мне указывали, когда я задумаю что-нибудь такое сделать, то нахожу деньги, а когда другие просят у меня деньги на свои потребности,— я скуплюсь; но, кроме того, я встречал затруднения и политические: мне указывали, что я устраиваю такое заведение, которое впоследствии может внести смуту: говорили: разве мало у нас университетов, и с университетскими студентами мы не можем справляться, постоянные беспорядки, а тут Витте под носом желает устроить еще новый громаднейший университет, который будет новым источником всяких беспорядков.

При таких условиях мне приходилось выбирать директора института, относительно которого не встречалось бы сомнений. Я остановился на князе Гагарине.

Князь Гагарин—артиллерийский офицер, кончивший курс в артиллерийской академии. Он был склонен и до сих пор остался весьма склонным по своей натуре к ученым техническим исследованиям; он считался по артиллерийской части одним из лучших специалистов. Князь Гагарин — человек идеальной чистоты. Мать его была статс-дамой при императрице Марии Александровне и пользовалась самым большим почетом при дворе. Женат он на княжне Оболенской. Жена князя Гагарина—сестра членов Государственного Совета Александра Дмитриевича и Алексея Дмитриевича Оболенских и генерала свиты его величества Николая Дмитриевича Оболенского, состоящего ныне при императрице Марии Феодоровне.

На князя Гагарина, как на человека, имеющего, так сказать, ценз знаний, мне указал генерал Петров (ныне член Государственного Совета и почетный академик).

Казалось бы, все эти данные безусловно не могли бы возбуждать никаких сомнений.

Перед самым назначением Гагарина, вечером, был у меня Сипягин. Я сказал ему, что имею в виду просить государя о назначении директором политехнического института князя Гагарина и спросил Сипягина, какого он мнения о князе Гагарине.

Сипягин сказал мне, что Гагарина он знает близко, знает его с самого детства и про него ничего, кроме самого прекрасного, сказать не может. Одно только—это, что по натуре князь Гагарин собственно «блаженный» и поэтому,—сказал мне Сипягин,—он боится, чтобы это качество князя не повредило ему.

Князь Гагарин был утвержден его величеством в должности директора политехнического института с полной охотой. Он действительно был прекрасным директором политехнического института и пользовался всеобщим уважением как среди профессоров, несмотря на то, что эти профессора имеют всевозможные ученые цензы и гораздо старше князя Гагарина,—так и среди студентов.

Вообще князь Гагарин такой человек, который не может не пользоваться уважением. Но, тем не менее, даже такого человека все-таки убиенный председатель совета министров Столыпин почел нужным сделать революционером. В конце концов, его судил сенат,и он был уволен от службы без прошения. Конечно, такое решение было заранее подсказано.

Жена князя Гагарина, близкая родственница Столыпина, весьма почтенная женщина. Как она мне говорила, она знала Петю Столыпина с детства, и когда это случилось, она мне сказала: «Вот никогда бы не думала, чтобы Петя, в конце концов, сделался таким подлецом».

Семейство князя Гагарина, когда Столыпин высказался во всем его полицейском блеске, конечно, прервало с ним всякие сношения.

Кроме с.-петербургского политехнического института, в то время, когда я был министром финансов, приблизительно по тому же принципу мне удалось основать еще два политехнических института: один в Варшаве, а другой в Киеве.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Моя поездка в Париж осенью 1903 года. Характеристика правящих кругов.

Пост председателя комитета министров представляется совершенно бездеятельным. Комитет министров был уничтожен после преобразований, вызванных 17 октябрем 1905 года. До 17 октября 1905 года объединенного правительства (кабинета министров) не было. Комитет представлял высшее административное учреждение, которое весьма мало служило к объединению правительства в него вносилась масса административного хлама— все, что не было более или менее точно определено законами, а также важные законодательные акты, которые рисковали встретить систематическое и упорное сопротивление со стороны Государственного Совета. Таким образом, через комитет министров прошли почти все временные законы, ограничивающие права евреев, поляков, армян и иностранцев, различные полицейские меры о всевозможных охранах, всякие опеки различным лицам, протежируемым свыше, коль скоро давались льготы вне закона, и т. п. дела. Комитет состоял из всех министров или их заместителей, председателей департаментов Государственного Совета и лиц по назначению государя. В комитете играли роль обыкновенно два, три лица, которые в данное время пользовались особым благоволением его величества, а все остальные к ним прислушивалось. Такими лицами в мое время были граф Толстой (министр внутренних дел); И. Н. Дурново, очень недалекий человек, но житейски умный и хитрый; Плеве, очень умный агент тайной полиции, недурной юрист, оппортунист, поверхностно образованный, хитрый и ловкий карьерист-чиновник, вообще весьма неглупый, но без всякого государственного инстинкта; Победоносцев, выдающегося образования и культуры человек, безусловно честный в своих помышлениях и личных амбициях, большого государственного ума, нигилистического по природе,

отрицатель, критик, враг созидательного полета, на практике поклонник полицейского воздействия, так как другого рода воздействия требовали преобразований, а он их понимал умом, но боялся по чувству критики и отрицания, поэтому он усилил до кульминационного пункта полицейский режим в православной церкви. Благодаря ему провалился проект зачатка конституции, проект, составленный по инициативе графа Лорис-Меликова, и который должен был быть введен накануне ужасного для России убийства императора Александра II и в первые дни воцарения императора Александра III. Это его, Победоносцева, великий грех; тогда бы история России сложилась иначе, и мы, вероятно, не переживали бы в настоящее время подлейшую и безумнейшую революцию и анархию.

В комитете играл также роль генерал-адъютант Ванновский, военный министр, а потом министр народного просвещения, недурной человек, с военным характером, мало образованный, не без здравого смысла и с упрямым характером. Иногда в комитете играли роль умные мнения и вообще люди умнее других, но лишь в тех случаях, когда вопросы ранее не были, по крайней мере в принципе, предрешены.

Забыл упомянуть об А. А. Абазе. Это человек с громадным здравым смыслом, большой игрок, весьма ленивый, кончил курс в университете, но затем мало учившийся. Благодаря природному уму, петербургскому чиновничьему такту и связям, он играл большую роль в Государственном Совете и в комитете министров. Воспитанный в салонах великой княгини Елены Павловны, вследствие чего был начинен либерализмом, хотя не пожертвовал бы ни одним вечером картежной игры для проведения той или другой либеральной меры.

Будучи председателем комитета министров, я, подобно некоторым моим предшественникам, употреблял все меры, чтобы уклониться по возможности от рогатых дел, которые обыкновенно сплавляли в комитет, дабы не участвовать в одиозных решениях, и потому стремился передавать их по назначению в Государственный Совет или предоставить министрам испрашивать утверждения всеподданнейшими докладами.

Вообще председатель комитета министров имел очень редкие доклады у государя, все доклады посылались управляющим комитета, я же, как находившийся в то время в некоторого рода опале, совсем его величества наедине не видел.

Я покинул пост министра финансов в августе 1903 года. Через несколько дней император уехал морем заграницу и довольно долго был у брата императрицы в Дармштадте. Я уехал через несколько дней в Берлин, а потом в Париж.

В Париже я прожил с месяц времени, старался никого не видеть, в особенности официальных лиц. Тогда я был убежден, что война неизбежна и на носу, говорить же кому-либо сие или, вернее, проговориться, конечно, не хотел. Меня в Париже удивляло французское правительство, в особенности министр иностранных дел Делькассэ, который, повидимому, в возможность войны не верил, а потому так пела и французская пресса [1])...

В Париже я несколько раз виделся с главою дома Ротшильдов — бароном Альфонсом, 70-летним старцем, человеком большого государственного ума и отличного образования. Я был с ним в прекрасных отношениях и любил говорить с этим умным и много знающим человеком. Он был в прекрасных отношениях с Наполеоном III и вообще со всеми выдающимися деятелями второй империи. В душе империалист, уживался, но не любил республику. Много знал, видел и был весьма начитанный.

Из Ротшильдов он в сущности был единственный выдающийся человек. Между его братьями, кузенами, детьми и племянниками есть люди весьма порядочные, все очень светские, но с выдающимися способностями нет, может, есть между молодыми, но еще не выказались.

Сын барона Альфонса Эдуард—очень милый, молодой человек, но едва ли пойдет по деловитости в отца. Конечно, при свидании с бароном Альфонсом он заводил речь о Дальнем Востоке, от которой я систематически уклонялся, но более всего он говорил о дурном, по его мнению, признаке при нашем дворе, о водворении странного мистицизма. Он несколько раз возвращался к этому разговору, указывая на то, что история показывает, что предвестником крупных событий в странах, в особенности событий внутренних, всегда является водворение при дворах правителей странного мистицизма, конечно, всегда связанного с именами крупных шарлатанов. Он мне прислал затем целую книгу по этому предмету, в которой автор, на основании исторических фактов, поддерживает эту мысль. На мой вопрос, почему он мне все это говорит, он ответил, что по поводу

---

[1]) Делькассэ всюду авторитетно говорил, что, по имеющимся у него достоверным сведениям, войны быть не может. Как впоследствии оказалось, эти достоверные сведения заключались в том, что наш посол князь Урусов уверил Делькассэ, что войны с Японией быть не может. Что же касается дипломатических сведений из других французских источников — из Пекина и Токио, то министр иностранных дел Делькассэ этих сведений совсем не имел, что явно доказывало всю неудовлетворительность постановки дипломатической части Франции на Дальнем Востоке. Когда я приехал в Париж и увидел, что там существует такое оптимистическое настроение, то, боясь проговориться, я старался ни с кем не видеться и уехал поскорее Виши.

всяких разговоров, распространяемых во Франции о влиянии на их величеств и некоторых великих князей и княгинь доктора Филиппа (из Лиона); затем он мне рассказал некоторые из этих слухов, добавил, что много, вероятно, преувеличено, но факт все-таки несомненный, что шарлатан доктор Филипп видится с их величествами, почитается ими чуть ли не за святого и имеет существенное влияние на их психику. Все эти рассказы, распространяемые во Франции, производили на нас, русских, конечно, тяжелое впечатление. О Филиппе, конечно, я много слышал и в Петербурге. Сообщаю кратко то, что мне известно достоверно или почти достоверно.

Филипп нигде оконченного образования не получил, проживал он в окрестностях Лиона. Дочь его вышла замуж за маленького доктора. Когда Филипп начал практику лечения различными чудодейственными средствами, то, как обыкновенно в этих случаях бывает, имел некоторые случаи успеха лечения и также предсказания. Лица, его знавшие, говорили, что он вообще человек умный и имеет какую-то мистическую силу над слабовольными и нервно-больными. Он имел также полицейские процессы вследствие жалоб некоторых лиц на его шарлатанство. Правительство ему запретило лечить и потому иногда преследовало. Тем не менее, он составил себе небольшую кучку поклонников, преимущественно в числе националистов (история Буланже-Дрейфус). К этой кучке поклонников принадлежал также наш военный агент в Париже полковник генерального штаба граф Муравьев-Амурский (младший брат министра юстиции Н. В. Муравьева, которому дядя не пожелал передать титула вследствие его дурного поведения—процесса со своею матерью и пр.). Этот граф был человек положительно ненормальный, он все хотел нас втащить в историю с ненавистным ему республиканским правительством, а так как я был в числе лиц, препятствовавших сей авантюре, полагая, что нам не следует вмешиваться во внутренние дела Франции, и так как в результате граф Муравьев-Амурский был сменен, то он меня возненавидел, хотя лично он меня не знал; граф Муравьев-Амурский и другие поклонники Филиппа провозгласили его святым, во всяком случае они уверяли, что он не родился, а с небес сошел на землю и так же уйдет обратно. С этим Филиппом познакомилась заграницею жена великого князя Петра Николаевича, черногорка № 1, или жена принца Лейхтенбергского, черногорка № 2. Ох, уж эти... черногорки, натворили они бед России...

Чтобы рассказать, какие пакости они натворили, нужно написать целую историю; не добром помянут русские люди их память...

Это две дочери князя Николая черногорского. Он их девочками отдал в Смольный институт, там на них очень мало обращали внимания. Они кончили курс, как раз когда император Александр III разорвал традиционные узы с Германией, и союз с Францией был в зародыше. Тогда он за обедом, данным в честь князя Николая черногорского, провозгласил знаменитый тост «За моего единственного друга, князя Николая черногорского». Тост этот, конечно, был провозглашен не столько по любви к князю Николаю, как для того, чтобы сказать всему свету: «У меня нет союзников, и я в них не нуждаюсь». С своей стороны князь Николай делал все от него зависящее, чтобы заслужить расположение императора. Это расположение, впрочем, совершенно естественно вытекало из того, что князь Николай был князь рыцарского народа—черногорцев, из всех славян всегда заявлявших свою наибольшую привязанность к нам, русским. При таком положении вещей, естественно, что император Александр III оказывал внимание кончившим в Смольном институте черногорским княжнам. Этого было достаточно, чтобы явились из царской семьи женихи.

Ведь в это время у нас всяких великих князей размножилось целое стадо. Слабогрудый Петр Николаевич, младший сын великого князя Николая Николаевича (главнокомандующего в последнюю турецкую войну), женился на черногорке № 1, а принц Юрий Лейхтенбергский, третий сын великой княгини Марии Николаевны, женился на черногорке № 2. Но последний, женившись на черногорке № 2 (вторым браком), продолжал свою связь с куртизанкою заграницей, где большею частью и проживал. Такое его поведение, конечно, не могло нравиться такому в высшей степени нравственному человеку, как Александр III, и я помню, как-то раз, на общем приеме представляющихся, он спросил одного из представлявшихся, приехавшего из Биаррица,—много ли там русских. Он ответил и указал, что там, между прочим, находится принц Юрий Максимилианович, на что государь заметил: «А, и он там полоскал свое поганое тело в волнах океана». Впрочем, должен сказать, что Юрий Максимилианович был в сущности безобидный человек и совсем недурной; это тип великих князей последних формаций. Итак, благодаря Александру III черногорки были пристроены за второстепенных великих князей и этим бы при Александре III все бы и кончилось, но вступает на престол Николай II и женится на Alix.

Молодая императрица встретила со стороны императрицы-матери и русских великих княгинь самый радушный прием и сердечное отношение, но не такое отношение, как к императрице. А ведь она — императрица. Только черногорки не только гнулись перед нею, как перед импера-

трицей, но начали проявлять к ней бесконечную любовь и преданность.

Как раз императрица заболела какою-то желудочною болезнью; черногорки тут как тут, ее не покидают, устраняют горничных, и сами добровольно принимают на себя эту неприятную в подобных болезнях обязанность. Таким образом они втираются в ее фавор и делаются ее первыми подругами. Покуда государь не разошелся, это было не особенно заметно, но по мере того, как он начал расходиться, и императрица-мать начала терять свое влияние,—влияние черногорок все усиливалось и усиливалось.

Конечно, прежде всего явилось у них желание раздобыть побольше денег. Вот на этой почве мне пришлось сталкиваться с черногорками. Как-то раз черногорка Лейхтенбергская заявила мне, что им трудно жить, и что она просила помощи у государя через императрицу и просила и моего содействия к устройству этого дела. Вопрос сводился к тому, чтобы казна выдавала Лейхтенбергскому ежегодно 150.000 рублей. Конечно, я признал это невозможным, и дело устроилось так, что бюджет министерства двора был увеличен на 150.000 рублей, а сие министерство уплачивает Лейхтенбергскому равную сумму.

Как это устроится теперь, когда черногорка № 2 покинула своего мужа Лейхтенбергского и вышла замуж за великого князя Николая Николаевича, не знаю.

Такой простой способ устройства пособия черногорке № 2 вытекал из особого высочайшего повеления относительно бюджетов министерства двора.

Делами великого князя Петра Николаевича управлял молодой человек, сын его бывшего гувернера (кажется, фамилия его Дюмени). Он заигрался, вероятно, не без ведома великого князя на бирже и крайне одно время расстроил его дела. Тогда великий князь обратился ко мне, дабы я помог ему из государственного банка. Я, конечно, отказал, так как это противоречило уставу банка. В результате великому князю помог государь, кажется из уделов, но супруга, черногорка № 1, такую мою дерзость простить не могла.

Нужно отдать справедливость черногоркам: они были преданные дочери и постоянно хлопотали о всяких денежных субсидиях своему княжескому родителю. Вся игра велась на том, что в интересах России в случае столкновения ее с Германией, поставить Черногорию в такое положение, чтобы она могла оказать России содействие. Черногорцы молодцы; нужно только сформировать постоянные части, а для этого нужны деньги. Вот по особым высочайшим повелениям и начали отпускать черногорскому князю на содержание сказанных частей войск особые суммы, и теперь в смете военного министерства таких расходов

значится около миллиона рублей, если не больше, но, как именно расходуются эти деньги, никому в России неизвестно. Князь Николай по этому предмету писал государю самые убедительные письма, уверяя, что война с Германией неизбежна, и весьма нелестно отзывался о Вильгельме. У меня в архиве одно такое интересное письмо сохранилось. Но l'appétit vient en mangeant. В 1901 или 1902 г. вдруг появился Николай черногорский в Петербурге. Затем я вижусь с черногоркой № 2, которая мне говорит, что ее отец просил государя о помощи, что государь на это согласился и, вероятно, я на-днях получу повеление. Она прибавила, что очень просит меня оказать содействие. Я пожелал узнать, о какой помощи идет речь. Черногорка мне ответила, что ее отец просит государя, чтобы ему была уступлена контрибуция, которую платит Турция России—около 3.000.000 р. в год, и что государь на это согласился, а потому князь Николай благодарил уже государя и уехал к себе обратно в Черногорию. Я сказал черногорке, что это, по моему мнению, невозможно.

На ближайшем всеподданнейшем докладе государь мне сказал, что князь черногорский просил, чтобы Россия ему оказывала денежную помощь, что он сказал князю, что не считает возможным из денег, платимых русским народом, оказывать денежную помощь иностранным, хотя бы более нежели дружественным народам. Тогда князь Николай ему ответил, что и он не счел бы возможным просить о такой помощи, а потому он просит, чтобы ему давали не русские деньги, а турецкие, т.-е. чтобы Турция следуемую от нее ежегодную контрибуцию до 3.000.000 р. в год передавала не России, а Черногории. Я доложил его величеству, что турецкая контрибуция, согласно закону, ежегодно вносится в государственную роспись и затем в отчет государственного контроля и что об исчезновении этой статьи дохода сделается сейчас же всем известным. Я добавил, что это такие же русские деньги, как и всякие другие, входящие в роспись, что Турция нам платит контрибуцию в возмещение лишь части расходов, произведенных русским народом в последнюю Восточную войну, и что исчезновение из доходов этой суммы русскому народу в той или другой форме придется восполнить, и, наконец, что такая новая подачка Черногории по своим размерам переходит всякие пределы. В ответ на это государь мне говорит:

«Что же делать—я уже обещал».

Его величество меня часто обезоруживал этим доводом, но в данном случае я доложил государю, что если он обещал, то потому, что князь Николай, вольно или невольно, ввел его в заблуждение, указав, что он сам не считает возможным брать русские деньги и потому просит турецкие, а так как оказывается, что это деньги русские, то, следовательно, весь его разговор с князем падает. Государь склонился к моим убеждениям, и я

с министром иностранных дел дело это уладил, но все-таки пришлось по бюджету военного министерства увеличить субсидию на несколько сот тысяч рублей. После этого мне черногорка № 2 с яростью сказала:

«Ну, я вам это не забуду, будете помнить»...

Я воображаю, сколько эти сестры потом на меня клеветали императрице. Вообще эти особы крепко присосались к русским деньгам. На одной из их сестер (старшей) был женат князь Петр Карагеоргиевич, теперешний сербский король, поэтому они также интриговали против короля Александра, так ужасно погибшего от рук убийц, вместе со своей женой.

Незадолго до этого события, когда государь был в Ялте, король Александр, повидимому, хотел приехать к государю с женой с визитом, но визит этот был отклонен, что произошло не без интриг черногорок.

Замечательно, что когда король Александр женился на бывшей фрейлине своей матери, сделав таким образом mesalliance, то черногорка № 2 говорила, что король дурно кончит.

Незадолго до убийства короля Александра и воцарения Петра Карагеоргиевича, последний у меня был, чтобы просить также денежной помощи, и опять о нем просила черногорка № 2. Он имел такой несчастный вид, что вот уж я никак не думал, что через несколько месяцев он будет королем. У него было имение в Румынии, и вопрос заключался в том, чтобы ему выдать ссуду под это имение. Я не согласился на выдачу ссуды ни из казны, ни из государственного банка. Но, с высочайшего разрешения, ему была выдана ссуда из правления бессарабско-таврического банка. Высочайшее разрешение потребовалось только потому, что по уставу банк не мог выдать ссуду под землю заграницей. В этом году имение было продано королем, и ссуда возвращена *.

Я помню, что, когда пришел ко мне Петр Карагеоргиевич, я, как раз случайно, сию минуту принять его не мог и заставил его ждать с четверть часа в моей приемной.

Затем, ко мне вошел в кабинет человек уже пожилых лет, очень скромный, весьма приличный в своих манерах и разговоре. Конечно, мне в то время и в голову не могло прийти, что этот скромный, пожилых лет человек может через несколько лет сделаться королем Сербии, хотя для того, чтобы эта вещь, о которой я тогда и думать не мог, осуществилась, нужно было ранее жестоким образом убить короля Сербии Александра и его жену.

Когда случилось это возмутительное убийство, то род, династия Обреновичей прекратилась, и престол достался старшему лицу из рода Карагеоргиевичей, как принадлежащему к династии, из которой происходили прежние владетельные князья Сербии,—и таким образом этот Петр Карагеоргиевич,

который являлся ко мне в виде просителя, неожиданно сделался королем Сербии.

Многие держатся того мнения, что в заговоре, который привел Петра Карагеоргиевича к престолу, участвовал, между прочим, и сам Петр Карагеоргиевич, что ему было известно об этом заговоре, о том, что будут убиты король и королева Сербии.

Насколько это верно, я не знаю. Должен только сказать, что со времени вступления Петра Карагеоргиевича на престол конституционного государства, к каким принадлежит Сербия, он себя держит в высокой степени корректно-конституционно, так что он представляет собою короля, против которого нельзя сделать никакого упрека. Вероятно, это происходит и от того, что продолжительная его жизнь, как простого обывателя французской республики, дала ему такие политические принципы и устои, которым чужды государства не конституционные, или псевдо-конституционные, я говорю, такие принципы, следуя которым Петр Карагеоргиевич представляет собою короля весьма корректного.

Итак, возвращаюсь снова к упомянутому Филиппу. Через черногорок Филипп влез к великим князьям Николаевичам и затем и к их величествам. Таким образом Филипп несколько раз проживал секретно по месяцам в Петербурге и преимущественно в летних резиденциях, он постоянно занимался беседами и мистическими сеансами с их величествами, Николаевичами и черногорками. На даче великого князя Петра Николаевича около Петергофа с Филиппом виделся и Иоанн Кронштадтский. Повидимому, там и родилась мысль о провозглашении старца Серафима Саровского святым. Об этом эпизоде мне рассказывал К. П. Победоносцев так:

Неожиданно он получил приглашение на завтрак к их величествам. Это было неожиданно потому, что К. П. в последнее время пользовался очень холодными отношениями их величеств, хотя он был один из преподавателей государя и его августейшего батюшки. К. П. завтракал один с их величествами, и после завтрака государь в присутствии императрицы заявил, что он просил бы К. П. представить ему ко дню празднования Серафима, что должно было последовать через несколько недель, указ о провозглашении Серафима Саровского святым. К. П. доложил, что святыми провозглашает святейший синод и после ряда исследований, главным образом, основанных на изучении лица, который обратил на себя внимание святою жизнью и на основании мнений по сему предмету населения, основанных на преданиях. На это императрица соизволила заметить, что «государь все может». Этот напев имел и я случай

слышать от ее величества по различным поводам. Государь соизволил принять в резон доводы К. П., и последний при таком положении вопроса покинул Петергоф и вернулся в Царское Село, но уже вечером того же дня получил от государя любезную записку, в которой он соглашался с доводами К. П., что этого сразу сделать нельзя, но одновременно повелевал, чтобы к празднованию Серафима в будущем году саровский старец был сделан святым. Так и было исполнено.

Государь и императрица изволили ездить на открытие мощей. Во время этого торжества было несколько случаев чудесного исцеления. Императрица ночью купалась в источнике целительной воды. Говорят, что были уверены, что саровский святой даст России после четырех великих княжен наследника. Это сбылось и окончательно и безусловно укрепило веру их величеств в святость действительно чистого старца Серафима. В кабинете его величества появился большой портрет—образ святого Серафима.

Во время революции, после 17 октября, обер-прокурор святейшего синода, князь А. Д. Оболенский, несколько раз мне сетовал, что черногорки все вмешиваются в духовные дела и мешают святейшему синоду и что как-то раз по этому предмету он заговорил с его величеством о святом Серафиме Саровском, на что государь ему сказал: «Что касается святости и чудес святого Серафима, то уже в этом я так уверен, что никто никогда не поколеблет мое убеждение. Я имею к этому неоспоримые доказательства» *.

Их величества пробыли в Сарове несколько дней. Эти торжества имели большое влияние на укрепление расположения его величества к двум лицам: к министру внутренних дел Плеве, который был на этих торжествах, и к губернатору Лауниц.

Оба эти лица впоследствии были убиты. Плеве ранее 17 октября 1905 года (15 июля 1904 года) и уже после, во время революции—Лауниц.

Должен по совести сказать, что, будучи против всяких убийств, а особенно анархических,—я, тем не менее, не могу не сознаться, что беспринципность этих двух лиц во многом содействовала такой трагической их смерти.

Беспринципность Плеве, по крайней мере в некоторой степени, окупалась его умом и знаниями, а беспринципность Лауница соответствовала его невежеству и ограниченности.

*Покрывало к мощам Серафима рисовал князь Путятин, помощник обер-гофмаршала (полковник, как его прозвали, от котлет). Он приобрел особенное благоволение его величества и сделался секретным проводником между двором и так называемыми «черносотенцами» (г.г. Пуришкевичи, Грингмуты, Юзефовичи и прочая политическая с . . . . . ь). Я князя Путятина

лично мало знал; когда бывал при дворе и даже теперь перед выездом из России он мне постоянно расшаркивался.

С Саровским Серафимом связан отец Серафим, недавно еще артиллерийский офицер, потом иеромонах в Москве; он на этих поприщах оставил по себе не особенно лестную память, а теперь он уже состоит архиереем в Орле. Еще перед моим отъездом теперь из Петербурга почтеннейший архимандрит полиостровского монастыря Варнава мне говорил, что сего архиерея Серафима прочат в митрополиты петербургские и что именно потому самые безобразнейшие из всех русских газет, т.-е. газеты «черносотенные», которые между прочим во всех отношениях поддерживаются свыше, газеты, полные самой нелепой клеветою и ложью, систематически травят митрополита Антония, надеясь вынудить его покинуть пост. По словам архимандрита Варнавы, наверху существует убеждение, что для того, чтобы настал в России покой, нужно, чтобы петербургский митрополит назывался Серафимом. Таково предсказание. Что сие весьма вероятно, я сужу по тому, что полковник от котлет Путятин во время войны с Японией несколько раз выражал свое удивление в том, что есть люди и, казалось ему, п о р я д о ч н ы е люди, которые полагают, что мы можем быть сокрушены японцами, тогда как существует несомненное предсказание Серафима, что нами победоносный мир будет заключен в Токио. Это Путятин с полным спокойствием еще выражал после Цусимы.

В связи с Саровским Серафимом сделал себе карьеру прокурор московской синодальной конторы князь Ширинский-Шахматов, приготовивший все для открытия мощей. После этого торжества он был назначен губернатором в Твери, но так как он там потребовал от священников, чтобы они ему аттестовали политическую благонадежность населения, то князь Мирский, будучи министром внутренних дел, после Плеве, его уволил, хотя и не без неудовольствия со стороны его величества. Как только князь Ширинский приехал в Петербург, государь его принял, спокойно выслушал всякие инсинуации на князя Мирского и назначил вопреки обыденным правилам сенатором.

Затем, когда я был вынужден, собрав первую Думу, покинуть пост председателя совета министров, князь Ширинский был назначен обер-прокурором синода в кабинете Горемыкина, а когда после 72-х дней вместо Горемыкина был назначен председателем совета Столыпин, князь Ширинский опять должен был уйти, но его величество сейчас же назначил его членом Государственного Совета. Теперь он присутствует в Государственном Совете в качестве председателя черносотенной банды. Князь Ширинский имеет все пороки К. П. Победоносцева, не имея даже тени его положительных качеств: образования, культуры, опытности, знаний и даже политической порядочности.

Может быть, далее мне придется говорить о «черносотенном» движении, которое сыграло уже громадную роль в нашей революции и анархии, но теперь должен оговориться тем, что партия эта сыграет еще громадную роль в дальнейшем развитии анархии в России, так как в душе она пользуется полною симпатией государя, а в особенности несчастной для России императрицы, и имеет свои положительные и симпатичные стороны. Эта партия в основе своей патриотична, а потому при нашем космополитизме симпатична. Но она патриотична стихийно, она зиждется не на разуме и благородстве, а на страстях. Большинство ее вожаков политические проходимцы, люди грязные по мыслям и чувствам, не имеют ни одной жизнеспособной и честной политической идеи и все свои усилия направляют на разжигание самых низких страстей дикой, темной толпы. Партия эта, находясь под крылами двуглавого орла, может произвести ужасные погромы и потрясения, но ничего, кроме отрицательного, создать не может. Она представляет собою дикий, нигилистический патриотизм, питаемый ложью, клеветою и обманом, и есть партия дикого и трусливого отчаяния, но не содержит в себе мужественного и прозорливого созидания. Она состоит из темной, дикой массы, вожаков—политических негодяев, тайных соучастников из придворных и различных, преимущественно титулованных дворян, все благополучие которых связано с бесправием и лозунг которых «не мы для народа, а народ для нашего чрева». К чести дворян, эти тайные черносотенники составляют ничтожное меньшинство благородного русского дворянства. Это—дегенераты дворянства, взлелеянные подачками (хотя и миллионными) от царских столов. И бедный государь мечтает, опираясь на эту партию, восстановить величие России. Бедный государь... И это, главным образом, результат влияния императрицы.

Пишу эти строки, предвидя все последствия безобразнейшей телеграммы императора проходимцу Дубровину, председателю союза русского народа (3 июня 1907 г.). Телеграмма эта в связи с манифестом о роспуске второй Думы показывает все убожество политической мысли и болезненность души самодержавного императора...

В связи с Серафимом Саровским, конечно, еще несколько десятков лиц сделали себе служебную карьеру. Но возвращаюсь к пресловутому Филиппу.

Когда одна из черногорок была в Париже, она потребовала к себе заведывавшего там нашею тайною полицией Рачковского и выразила ему желание, чтобы Филиппу разрешили практиковать и дали ему медицинский диплом. Конечно, Рачковский объяснил этой черномазой принцессе всю наивность ее вожделения, при чем недостаточно почтительно выразился об этом шарлатане. С тех пор он нажил в ней опасного при дворе врага.

Покуда занимал пост министра внутренних дел благородный и честный человек Сипягин, Рачковского не трогали, так как он по части своей профессии имел несомненные заслуги в Париже. Но после того, как Сипягина безвинно злодейски убили и вступил на пост министра внутренних дел Плеве, с Рачковским скоро расправились. Еще Сипягин несколько раз смущенно мне говорил о том, что ему очень не нравится эта история с Филиппом, но что он ничего сделать не может, так как она не входит в сферу его действий и влияний.

Что касается Филиппа, то, будучи в России, он находился на особом попечении дворцового коменданта Гессе, который (как и ныне дворцовый комендант) имеет свою секретную полицию по охране. Генерал-адъютант Гессе счел нужным запросить Рачковского, что представляет собою Филипп. Рачковский составил относительно этой личности рапорт, где он фактически представил Филиппа шарлатаном. Этот рапорт он привез в Петербург с собою, куда приехал по делам. Ранее, нежели представить его Гессе, он прочел его Сипягину. Сипягин ему сказал, что, как министр внутренних дел, он об этом рапорте ничего не знает, так как он ему не адресован, а как человек, советует бросить его в топившийся камин. Рачковский, тем не менее, представил рапорт по назначению. Как только Плеве стал министром внутренних дел, Рачковский был уволен, при чем ему было воспрещено жить в Париже и, кажется, вообще во Франции. Тогда же я спрашивал Плеве, почему это случилось, на что он мне ответил, что так от него потребовали. Гессе всячески защищал Рачковского, но безуспешно. Впрочем, после, при Трепове (род диктаторства), Рачковский был снова призван занять выдающийся пост в департаменте полиции.

Так как Филиппу не удалось получить диплома во Франции, то, вопреки всем законам, при военном министре Куропаткине ему дали доктора медицины от петербургской военной медицинской академии и чин действительного статского советника. Все это без всяких оглашений. Святой Филипп пошел к военному портному и заказал себе военно-медицинскую форму. Императрицу Марию Феодоровну немало смущали ночные сеансы с Филиппом, хотя они держались в секрете. Великий князь Николай Николаевич и принц Лейхтенбергский, второй и первый супруг черногорки № 2, на вопросы их друзей о Филиппе категорически отвечали, что, во всяком случае, это святой человек. Понемногу около Филиппа образовалась немногочисленная секта, своего рода иллюминатор. Насколько Филипп воздействовал на психоз императрицы, а следовательно и царя, видно из следующего, достоверно мне известного, факта.

Когда император последний раз был во Франции, то во время смотра на площади перед атакой кавалерии вдруг заметили

на середине площади человека. Стоявшие около императрицы лица, обратив на сие внимание ее величества, испугались, но императрица, узнав в нем Филиппа, преспокойно заметила, что замеченный человек во всяком случае останется целым.

Филипп через несколько лет, еще до окончания войны, умер, но, по уверению его поклонников, поднялся живым на небо, окончив на нашей планете свою миссию. Кажется, в особенности увлекался Филиппом великий князь Николай Николаевич, который вообще мистически тронут. Благодаря верчению столов и вызову духов он сошелся с купчихой Буреиной, с которой долго жил maritalement, а Буренина на этом, кажется, совсем помешалась. С тех пор он постоянно занимался шарлатанами мистицизма. Чтобы судить о его психологии, приведу такой разговор, который я с ним однажды имел.

Я познакомился с ним у его матери великой княгини Александры Петровны в Киеве, у которой я часто бывал. В то время я был управляющим юго-западными дорогами, а он полковником генерального штаба. Иногда я с ним играл в карты. Мать его была прекрасная женщина, но тоже была мистически тронута. После я с ним хотя встречался, но никогда не имел случая беседовать.

Когда я был министром, он на праздники завозил или присылал мне свои карточки. В то время, когда я был в опале и занимал пост председателя комитета министров, то до меня дошли сведения, что в доме его брата как-то рассказывали сплетню о моей жене. Я думаю, ни один государственный деятель в России и всего мира не был подвергаем стольким самым ужасным и отвратительным сплетням, как я. Я никогда на них не обращал и до сего времени не обращаю никакого внимания, но когда дело касалось моей жены, то это иногда меня задевало. Вот по моим старым отношениям я заехал к великому князю Николаю Николаевичу и говорю ему, что до меня дошло, что в доме его брата говорили то-то и то-то и что все это ложь. Он ответил, что ничего об этом не слыхал, но если когда-нибудь услышит, то скажет свое мнение. Затем мы заговорили о государе, и вдруг он мне задает такой вопрос:

— «Скажите мне откровенно, Сергей Юльевич, как вы считаете государя, человеком или нет?»

Я ответил:

— «Государь есть мой государь, и я его верный на всю жизнь слуга, но хотя он самодержавный государь, богом или природою нам данный, он все-таки человек со всеми людям свойственными особенностями».

На это великий князь мне ответил:

— Видите ли, а я не считаю государя человеком, он не человек и не бог, а нечто среднее . . .

Так мы с ним и расстались. Впрочем, несмотря на многие недостатки великого князя Николая Николаевича, я его считаю человеком крайне ограниченным, но недурным и честным, безусловно преданным государю, имеющим некоторые военные способности. Он натворил и, вероятно, еще натворит много бед России, но способен приносить пользу. Он оказал России громадную услугу, помогши мне уничтожить поразительный и грозивший самыми ужасными последствиями России договор, заключенный императором и Вильгельмом в Биорках, по секрету от министра иностранных дел в то время, когда я, на пути в Америку, чтобы вести мирные переговоры с Японией, был в Париже. Император Вильгельм много способствовал втащить нас в несчастную японскую войну, а когда мы искалеченные выбрались из этого несчастья в Портсмуте, он хотел совсем нам навязать петлю на шею [1]).

Во время моего пребывания в Париже как-то ко мне зашел некто Мануйлов, один из духовных сыновей редактора «Гражданина», князя Мещерского (так он называл молодых людей, его забавлявших), который был назначен Плеве после Рачковского в Париж по секретным делам, чтобы сказать мне, чтобы я на него не гневался, если узнаю, что за мною следят тайные агенты не его, а сопровождавшие меня прямо из Петербурга — плевенские.

Действительно на другой день некоторые члены французского министерства сообщили мне через третье лицо, что за мною следят русские филеры. Когда затем я начал обращать внимание, то заметил их, и, вернувшись в Петербург, благодарил Плеве за заботу о моей безопасности, что немало его сконфузило. Плеве имел против меня громаднейший зуб. Я никогда не скрывал моего о нем мнения, часто излагал в различных письмах знакомым, которые он, сделавшись министром внутренних дел, конечно, читал. Это подогревало его злобу.

К концу моего пребывания в Париже, приехал туда из Дармштадта барон Фредерикс, министр двора. Он мне передавал, что государь в отличном расположении духа, отдыхает, катается на автомобилях, много гуляет по городу пешком. Его несколько смущало, что государь не имеет внушительного царского вида вследствие малого роста, из-за чего ему пришлось отказаться от ношения некоторых германских форм, которые еще больше уменьшают его вид.

На вопрос мой: ну, а как же идут переговоры с Японией, барон Фредерикс мне ответил, что, несмотря на присутствие

[1]) В Биоркэ.

в Дармштадте министра иностранных дел графа Ламсдорфа все дипломатические и прочие сношения по вопросам Дальнего Востока ведутся государем непосредственно с наместником (большим карьеристом) генерал-адъютантом Алексеевым помимо графа Ламсдорфа, поэтому походной военной канцелярии приходится целыми днями дешифрировать, составлять и шифровать телеграммы. На мое замечание, что такое положение дела чрезвычайно опасно, барон Фредерикс, весьма недалекий человек, но с рыцарским характером, мне ответил, что он на это указывал государю и даже был вынужден передать обо всем графу Ламсдорфу. В результате граф Ламсдорф объяснился с его величеством, и последствием этого разговора было то, что копии телеграмм Алексеева и его величества передавались графу Ламсдорфу, но тут же барон Фредерикс заметил, что хотя, к сожалению, не все.

Граф Ламсдорф мне впоследствии говорил, что при этом объяснении государь изволил высказать, что все дела, касающиеся Дальнего Востока, он поручил наместнику, который и отвечает за результаты. Его величество прибавил, что ему будут посылаться копии депеш и что он его просит составить ответ на последнюю телеграмму Алексеева, в которой Алексеев, выражая мнение, что переговоры с Японией, вследствие ее нахальства, не приведут к соглашению, советовал прибегнуть к силе. Графу Ламсдорфу на этот раз удалось отвратить открытие военных действий. При этом его величество высказал, что он войны не желает. Что государь этой войны не хотел — это верно, но по внушению банды авантюристов (Безобразова и К-о) он полагал, что может предписывать свои условия и желания и что, если Япония и Китай не подчиняются, то это потому, что мы с ними церемонились; с ними можно действовать, только внушая страх и не делая уступок, если же и сделать какую-либо уступку, то как милость белого царя. Одним словом я войны ни за что не начну, а они не посмеют — значит войны не будет.

Когда государь был в Дармштадте, император Вильгельм ему сообщил, что по его сведениям [1]) Япония сильно приготовляется к войне, на что его величество с полным спокойствием ответил:

«Войны не будет, так как я ее не хочу».

---

[1]) Германское министерство иностранных дел получало с Дальнего Востока сведения весьма грозные относительно возможности японской войны. По сведениям, которые доставлялись в Берлин, оказывалось, что Япония чрезвычайно усиленно готовится к войне, что при том способе действий, какой усвоила Россия, в Японии войну считают неизбежной. К заключению о неизбежности войны Япония пришла после того, как узнала, что я удалился от дел, — так как ей было известно, что я являюсь главным элементом, сдерживающим воинствующее направление.

В это время в отношении военных приготовлений мы гораздо более заботились о военных приготовлениях на западной границе, нежели на Дальнем Востоке. На западной границе мы как будто чего-то ожидали. В это время остро поднялся вопрос о командовании армии в случае войны на Западе.

Было решено, что главнокомандующим армией, которая должна будет итти против Германии, будет великий князь Николай Николаевич, а главнокомандующим армией, которая будет действовать против Австрии, будет военный министр генерал-адъютант Куропаткин.

Между великим князем Николаем Николаевичем и Куропаткиным уже начали происходить всевозможные разногласия по вопросам этой войны. Николай Николаевич, в виде приготовлений, требовал различных мероприятий, в том числе проведения некоторых веток железных дорог, и, так как в то время Куропаткин — будущий главнокомандующий армией против Австрии — был военным министром, то великий князь Николай Николаевич не мог проводить этих подготовительных мер без участия Куропаткина. Куропаткин же во многом не соглашался с великим князем, и вот на этой-то почве у них и происходили пререкания, при чем я несколько раз слышал от Куропаткина самые отрицательные отзывы относительно проектов Николая Николаевича и вообще относительно его различных способностей, как военного.

Что касается оценки великого князя Николая Николаевича, как человека, очень мягко выражаясь, самоуверенного и неуравновешенного, с весьма малым запасом логики, — я был в этом отношении совершенно согласен с Куропаткиным.

Факт тот, что относительно приготовлений наших к военным действиям на Дальнем Востоке мы не принимали почти никаких серьезных мер, будучи уверены, что ранее всего нам грозит война на Западе.

Тогда в Японии посланником был барон Розен, который затем был послом в Америке и состоял при мне вторым уполномоченным при заключении мирного договора в Портсмуте.

Барон Розен человек честный, рассудительный, но с немецким мышлением. Он предупреждал правительство, что в Японии волнуются, советовал бросить затеи («заслон») на Ялу, войти в соглашение с Японией относительно Кореи, но держался того мнения, что Манчжурия должна быть наша. Он держался этого мнения с немецким благородным упрямством.

Между тем Манчжурия не могла быть нашей; было бы хорошо, если бы за нами осталась Восточно-Китайская дорога и коварно захваченный Квантунский полуостров с Порт-Арту-

ром. Ни Америка, ни Англия, ни Япония, ни все их союзники явные или тайные, ни Китай никогда не согласились бы нам дать Манчжурию, а потому, держась убеждения, что так или иначе, а нужно захватить всю Манчжурию, устранить войну было невозможно. Этого не понимал барон Розен, а потому и не представлялся удобным дипломатом для ведения переговоров в такое критическое время с Японией, в особенности под руководством в сущности по уму хитрого армяшки, как Алексеев. Само собою разумеется, что, характеризуя так Алексеева, я не хочу обидеть этим армян, ибо действительно сравнение натуры всех армян с низенькою натурою Алексеева для них было бы обидно. Я хочу сказать, что Алексеев по натуре мелкий и нечестный торгаш, а не государственный дипломат.

Камарилье государя всегда нужны козлы искупления, на которых спускают свору полубешенных псов в случае неудачи политической охоты.

После 17 октября таким козлом оказался я, и свора псов черной масти была спущена при молчаливом соизволении его величества на меня. Но я, бог даст, сие выдержу, а затем история, надеюсь, скажет свое правдивое слово.

Графа Ламсдорфа в конце концов стремились сделать козлом искупления за нелепейшую, бессмысленнейшую, бездарнейшую, а потому и несчастнейшую Японскую войну. Конечно, государь сам этого не делал, это делала прокаженная дворцовая камарилья, но должен сказать, что государь сие знал и допускал. Грустно сказать, но это черта благородного царского характера. На такие (впрочем, и на многие другие вещи) никогда бы не пошел благороднейший царь — его отец — император Александр III. Царь, не имеющий царского характера, не может дать счастия стране. Александр III был простой человек, но был царь, и дал России 13 лет покоя. Вильгельм I был не мудрее Александра III и сделался великим потому, что у него был царский характер.

Коварство, молчаливая неправда, неумение сказать да или нет и затем сказанное исполнить, боязненный оптимизм, т.-е. оптимизм как средство подымать искусственно нервы, — все это черты отрицательные для государей, хотя не великих.

Так как может быть публика когда-либо прочтет эти строки, то я чувствую нравственную потребность сказать несколько слов о графе Ламсдорфе. Граф был благороднейшим и во всех отношениях порядочным человеком. Умный, бесконечно трудолюбивый, будучи сорок лет в министерстве и правою рукою

серии последних министров иностранных дел, он отлично знал свое дело. Это не был орел, но дельный человек. Он пользовался уважением всех дипломатов, так как если что говорил, то говорил правду. Человек с изысканными светскими манерами, но не любящий и даже не переносящий общества. В заседаниях не мог говорить; наедине или в близком кругу всегда выражал свое мнение толково и с большим знанием. Что касается Японской войны, то первым шагом к ней было взятие Порт-Артура (Квантунской области) и как последствие сего — сооружение южной ветки Восточно-Китайской дороги. Это сотворил бывший тогда министр иностранных дел граф Муравьев, недурной человек, но типичный легкомысленный хлыщ.

Он играл шута при дворе и имел счастье забавлять их величества, в особенности молодую государыню своими анекдотами, впрочем, насколько мне известно, весьма плоскими.

Тогда граф Ламсдорф был товарищем графа Муравьева, и затем, когда он сделался министром, и мне приходилось указывать ему на крупнейшую ошибку взятия Порт-Артура, он, граф Ламсдорф, хоть и не защищал легкомысленной политики графа Муравьева, но старался находить различные оправдания. Граф Муравьев сделал эту глупость, желая подладиться к императору, а император, с одной стороны, по молодости, с другой стороны, вероятно, по естественно родившемуся в нем дурному чувству к японцам после покушения на его жизнь во время пребывания его в Японии (хотя он об этом никогда не говорил) и, наконец, главное, по склонности его прославиться, в глубине души желал победоносной войны. Я даже думаю, что если бы не разыгралась война с Японией, то явилась бы на границе Индии и в особенности в Турции из-за Босфора, и она затем, конечно, распространилась бы.

После коронации его величества, поездки во Францию и смерти князя Лобанова-Ростовского, вследствие беспорядков в Малой Азии, Нелидов (тогдашний посол в Константинополе) чуть-чуть не втащил нас в войну с Турцией. Я один высказался в заседании, под председательством государя, против нее, и хотя государь решил дело вопреки моему мнению, но затем благодаря помощи, оказанной мне некоторыми лицами (великим князем Владимиром Александровичем и К. П. Победоносцевым), его величество принял решение согласно моему мнению.

Будучи министром иностранных дел, граф Ламсдорф проводил всегда честно и мудро политику миролюбивую. Что касается Дальнего Востока, он всегда шел со мною, избегая всяких мер, которые могли бы расстроить наши отношения с Китаем и Японией, которые, впрочем, после захвата Квантуна уже были порядочно испорчены. Он делал все от него зависящее, чтобы избегнуть войны с Японией, но его влияние было ничтожно,

а поведение, как министра по отношению к своему государю, несоответственно. Он в сущности по отношению к этой несчастной войне говорил всегда то же, что и я, но он говорил мягко, я решительно, а иногда резко (в чем меня часто упрекали и в чем может быть и я был иногда виноват по отношению к моему государю). Граф Ламсдорф избегал видеться со всею сворою, которая тащила государя на войну. Я с ними виделся, по крайней мере не избегал их, старался их обессилить, и они знали, что я на их сторону не стану и буду сражаться до конца. В конце концов, так как его величество не без основания убедился, что я буду в этом вопросе всегда против войны и потому уже никоим образом не буду содействовать этой пагубной затее, то он меня, попросту сказать, прогнал с поста министра финансов, поставив на, пожалуй, очень почетный, но бездеятельный пост.

Граф же Ламсдорф не имел мужества сам уйти, а прогнать его было не за что, так как он только выражал свои мнения, а не спорил. Государь знал, что он далее мнений, выраженных в очень дипломатической форме, не пойдет и не обращал на него внимания. Ему даже дали мысль, что граф Ламсдорф так говорит потому, что я так говорю, а как только я буду устранен, он переменит свое мнение. Мнения он не переменил, но продолжал ограничиваться мягкими, а иногда и несколько противоречивыми дипломатическими нотами на имя его императорского величества.

Когда же война так дурно кончилась, произошло 17 октября, и, наконец, явилось открытие Думы, я на этот раз сам потребовал отставки, так как убедился, что дело вести не могу и быть игрушкой в руках всей тайной и явной камарильи не желал, то вслед за мною уволили графа Ламсдорфа (без его просьбы). Когда на другой день я спросил барона Фредерикса и других придворных, для чего уволили Ламсдорфа, мне цинично ответили, что нужно было дать удовлетворение общественному мнению за Японскую войну.

Конечно, сейчас открылся лай в органах известного направления. Во всяком случае бедный и благороднейший граф Владимир Николаевич Ламсдорф виновен только в том, что он до войны не подал в отставку. Конечно, это войны не устранило бы, но избавило бы его память, во всех отношениях достойную, от нареканий.

Что же касается влияния подачи в отставку со стороны министров, как акт государственного воспитания государя, то по этому предмету я, будучи при императоре Николае 8 лет министром, слышал совершенно противоречивые упреки и обвинения. Вы должны были настоять, чтобы было сделано так или не сделано

этак. Я говорю: я не мог, государь со мной не соглашался. В таком случае, вы должны были подать в отставку; если бы министры так поступали, то государь в конце концов их слушался бы.

— Вы не имели права уходить с поста министра финансов перед войной, — так патриоты не поступают. — Да, я не ушел, меня прогнали. — Да, прогнали, потому что вы все время возражали и боролись; если бы подчинялись желаниям государя, то не прогнали бы.

— С вашей стороны было преступление покинуть пост председателя совета министров перед первой Думой, — если бы вы остались, дело бы уладилось, много последовавших затем ужасов не произошло бы. — Да я же не мог оставаться, когда меня не слушались, при таком положении вещей я был бесполезен и кончилось бы тем, что меня опять прогнали бы. — Это еще вопрос, прогнали ли бы или нет, а все-таки вы сами настояли на отставке, — не просить же государю вас остаться, тогда бы он должен был вас слушаться.

— Вы очень резко говорите с его величеством в заседаниях, так спорить нельзя, а потом вас государь не слушается потому, что вы не настаиваете на своем мнении и даете ему в ваших доводах выход и в другие стороны.

Где тут истина, бог знает. Я знаю достаточно только то, что, когда узнали, что я покинул пост министра финансов, и спросили весьма приближенного к императрице, что же сказал государь, когда это разрешилось — ему ответили, что государь сказал: «уф» *.

Во время пребывания государя императора в Дармштадте был поднят вопрос о необходимости со стороны государя отдать визит итальянскому королю Виктору-Эммануилу, ибо в то время его величество уже отдал визиты всем другим монархам; единственно, кому не отдал визита, это — итальянскому королю.

Между тем, то смутное настроение, которое царствовало в те годы в России, т.-е. так сказать подпольно-революционное настроение, имело свои отголоски и в Италии. Различные произвольные меры, которые у нас принимались, как в отношении России, так и ее окраин — в особенности в министерство Плеве — служили предметом неблагоприятного обсуждения в Италии, в партиях левых социалистических (а в Италии левые и социалистические партии представляли тогда, да и теперь представляют собою партии наиболее сильные). Поэтому, когда появились в прессе сведения, что наш император поедет в Италию, то большинство итальянских газет начали протестовать против такого визита, называя нашего императора «деспотом». Это настроение распространилось в Италии.

В Риме все газеты прямо говорили, что если император приедет, то против него будет сделана демонстрация.

Так как в то время русская анархическая партия, скрывающаяся заграницей, находилась в особо цветущем положении, то и боялись, чтобы члены этой партии, пользуясь пребыванием императора в Риме, не устроили какого-нибудь анархического выступа. С другой же стороны, король Италии Виктор-Эммануил писал, что он берет на себя лично ответственность за государя императора во время пребывания его в Италии, что он убежден в том, что все крики ни к чему серьезному повести не могут, что могут быть только какие-нибудь единичные демонстрации уличные, но ничего серьезного, что могло бы в какой-нибудь степени угрожать личности его величества, быть не может, что он берет на себя ручательство в этом.

Вследствие этого в Дармштадт был вызван тогдашний директор департамента полиции Лопухин (ныне находящийся в ссылке в Сибири по весьма жестокому приговору нашего суда). Лопухин ездил в Италию для того, чтобы ориентироваться в положении дел, и потом, возвратясь в Дармштадт, докладывал его величеству (как он, Лопухин, впоследствии говорил мне), что он уверен, что никакого анархического выпада не будет; что против такой случайности, несомненно, будут приняты меры, но он не может поручиться, что не будет некоторых уличных демонстраций.

В конце концов, его величество, который ранее заявил королю Виктору-Эммануилу, что приедет к нему с визитом, от этого визита уклонился, что весьма обидело короля Виктора-Эммануила, при чем король нашел, что во всем этом инциденте весьма двусмысленно действовал наш посол в Риме Нелидов. Виктор-Эммануил обвинял посла Нелидова в том, что он делал донесения в Дармштадт, не соответствующие тому, что он, Нелидов, говорил ему. Поэтому король Виктор-Эммануил потребовал, чтобы посол Нелидов был заменен другим лицом.

Тогда его величество хотел прямо назначить Нелидова членом Государственного Совета (т.-е. своего рода отставка), но за него заступился граф Ламсдорф.

Граф Ламсдорф мне сам говорил, что хотя он считает Нелидова весьма тупым дипломатом, но все-таки он не может допустить, чтобы посол, который так долго служил в этом звании заграницей, по такому инциденту мог бы быть чуть ли не уволен в отставку. Вследствие этого он упросил его величество перевести Нелидова в Париж, а парижского посла Урусова перевести в Рим.

* В Париже был у меня Лопухин, директор департамента полиции при Плеве. Повидимому, он хотел узнать у меня, как

случилось увольнение Зубатова, и не передал ли я Плеве, что Зубатов был у меня, и то, что он мне рассказал. Я подтвердил, что ни Плеве, ни кому другому о рассказе Зубатова ничего не говорил и что, насколько мне известно, он уволен за рабочие организации, на что Лопухин мне ответил:

— Да ведь все организации делались с ведома и одобрения Плеве, у меня есть по этому предмету официальные резолюции.

Когда я вернулся в Петербург, я узнал, что Зубатов в виду моего холодного приема поехал потом к князю Мещерскому (он играл в то время громадную роль тайного советника и конфидента) и все, что говорил мне, рассказал ему. Мещерский передал все Плеве, тут Плеве и представил Зубатова к увольнению за рабочие организации.

Князь Мещерский, редактор-издатель «Гражданина», играл в последние 25 лет довольно видную роль в нашей политической жизни.

Он человек не глупый, талантливый, но беспринципный и до мозга костей безнравственный. Он постоянно был окружен несколькими молодыми людьми, которым всеми правдами и неправдами делал карьеру. Сколько он в своей жизни написал изобличительных статей по адресу власть имеющих только потому, что эти лица не устроили так, как этого желал князь Мещерский, его молодых людей.

Император Николай II в первые годы своего царствования не хотел иметь с ним никаких сношений. Так продолжалось несколько лет. Когда стал министром внутренних дел Сипягин, мне сделалось известным, что князь Мещерский начал снова писать государю, и что его величество к нему относится благосклонно.

Когда же Сипягина убили, Мещерский написал государю, умоляя его назначить Плеве на пост министра внутренних дел. Как это устроилось, мне неизвестно, но Плеве был назначен, и затем Мещерский более уже не стеснялся секретом и начал показывать письма государя к нему. Государь ему писал «ты» вполне нараспашку, а вообще никому не писал «ты», кроме своих родных.

Князь Мещерский одно время приобрел самое решительное влияние на государя. Так как Плеве не всегда исполнял желания Мещерского, то между ними начали пробегать кошки. Мещерский писал его величеству, критикуя Плеве, на это Плеве как-то и мне жаловался.

Когда Плеве убили, Мещерский сейчас же окатил его помоями. Это в порядке вещей для Мещерского. Это он. Наконец, князь Святополк-Мирский сломал ему шею. Государь перестал писать Мещерскому, но последний продолжал писать государю, и ничего не будет удивительного, если опять начнет

влиять на его величество. Впрочем, теперь ему придется столкнуться с такою сволочью, как Пуришкевич, Дубровин и пр., которые, что касается интриг, подлости, лжи и угодничества, едва ли Мещерскому уступят.

Еще до увольнения моего с поста министра финансов, когда я еще не терял надежды остановить войну, я через князя Шервашидзе, состоящего при императрице Марии Феодоровне, счел необходимым предупредить императрицу, что, если резко не переменят курс политики, война с Японией неизбежна, и советовал ей вызвать графа Ламсдорфа. Он был немедленно вызван и подтверждал мои предсказания, но, по обыкновению, мягко и уклончиво. Затем мне известно, что императрица говорила с сыном, и его величество вполне ее успокоил, заявив, что он войны не хочет. Тем не менее, когда государь меня уволил, императрица Мария Феодоровна поняла причину моего увольнения и пригласила в тот же день меня завтракать в своем семейном кругу и была особенно относительно меня любезна. О делах не говорила, но только сказала, что она чует, что Плеве доведет государя до беды, прибавив, «недаром мой покойный муж ни за что не хотел назначить Плеве на самостоятельный пост».

Возвращаясь из Парижа в Берлин, я виделся с членом палаты господ Эрнестом фон Мендельсон - Бартольди, лицом близко знающим канцлера князя Бюлова и пользующимся уважением германского императора. Он часто наедине или в интимном кругу у императора завтракал и обедал. Мендельсон мне тогда передавал, что император очень смущен, что наш государь находится у него в империи и не показывает никакого желания с ним видеться.

Такие отношения происходили потому, что Вильгельм довольно строго и свысока относился к великому герцогу Дармштадтскому, брату нашей императрицы. Я просил передать Бюлову, что очень ему советую устроить свидание императоров и что для сего пусть Вильгельм сделает первый шаг.

Затем свидание состоялось в Потсдаме, на обратном пути государя из Дармштадта. Оно было кратковременное, в течение одного дня. Император Вильгельм был наедине с государем, лишь предложив ему сделать прогулку в шарабане в парке.

После этого свидания император Вильгельм рассказывал, что он был весьма удивлен, что в течение всего времени государь с ним ни слова не говорил о политике вообще и, в частности, относительно дел на Дальнем Востоке. Может быть, это произошло вследствие того, что государь чувствовал, что в сущности

император Вильгельм его вовлек в капкан Дальнего Востока, вырвав согласие на Киао-Чау, или, может быть, вообще ему было неприятно выслушивать советы, может быть, благоразумные, а может быть, коварные, немецкого императора.

Государь не возвратился прямо в Петербург, а пробыл несколько недель в Царстве Польском (в Скерневицах). Граф Ламсдорф вернулся в Петербург, да он и не был нужен, так как переговоры с Японией вел Алексеев. Граф Ламсдорф не терял еще надежды вывернуться и избегнуть войны, но при разговорах со мною я всегда разбивал его иллюзии, которые, впрочем, исходили не от разума, а от нервного желания, чтобы войны не было. Думать, что не будет войны, мог только тот, кто не знал характера (или бесхарактерности, как хотите) государя и всей обстановки, неизбежно влекшей к войне. Я чуял, что во главе всего стоит Плеве, но он не демонстрировался. Когда он был убит и стали разбирать его кабинет, то оказалось, что все документы, касавшиеся дел Дальнего Востока, или в подлинниках или в копиях, очутились у него. Бумаги его разбирал П. Н. Дурново.

Все бумаги, касавшиеся Дальнего Востока, его величество приказал передать адмиралу Абазе, управляющему делами комитета Дальнего Востока, сподручному и родственнику Безобразова. О нем говорить много не стоит. . . . . *.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Война с Японией.

* По возвращении моем в Петербург как-то заехал ко мне Курино, японский посланник, человек умный, его point d'honneur как посланника было, чтобы войны не было. Он любил Россию, насколько японец мог ее любить. Он мне передал, что переговоры ведутся так, что Россия, видимо, хочет войны. Япония дает ответы немедленно, а Россия через недели или месяцы.

Ламсдорф ссылается на Алексеева; Розен и Алексеев на то, что государь в отъезде.

Если бы в это время Россия не делала приготовления к войне, то Япония могла бы не беспокоиться. Между тем со всех сторон говорят о приготовлениях. Общественное мнение в Японии все более возгорается, и правительству очень трудно его удержать. Япония такая же независимая страна, как и всякая другая, для нее унизительно вести переговоры с каким-то наместником Дальнего Востока, точно Дальний Восток принадлежит России или Россия протектор Дальнего Востока. Я отвечал, что сделать ничего не могу, так как вне власти, и советовал обратиться к графу Ламсдорфу. Курино ответил, что Ламсдорф играет роль передатчика и в этих пределах себя держит.

В конце года государь переехал в Петербург, и в начале января начались придворные балы, как ни в чем не бывало *.

На одном из них я встретил японского посла в Петербурге — Курино, который подошел ко мне и сказал, что он считает нужным меня предупредить, чтобы я повлиял на министерство иностранных дел, чтобы оно дало скорее ответ на последнее заявление Японии; что вообще переговоры с Японией ведутся крайне вяло, ибо на заявление Японии в течение целой недели не дается ответа, так что, очевидно, все переговоры с Японией об урегулировании Корейского и Манчжурского дела нарочито замедляются, что такое положение дела вывело из терпения Японию, что он,

как друг наш, умоляет дать скорее ответ, ибо, если в течение нескольких дней не будет дан ответ, то вспыхнет война.

Этого Курино я знал еще до моего ухода с поста министра финансов; он мне и графу Ламсдорфу в июле месяце 1903 г., за месяц до моего ухода с поста министра финансов, представил проект нашего соглашения между Японией и Россией относительно дальневосточных дел, который, если бы был принят, устранил бы разрешение дальневосточного дела посредством войны.

По-моему соглашение это было вполне приемлемо, и я на этом настаивал; но мои настояния ни к чему не привели, и все это соглашение было послано на заключение наместника Алексеева. Там застряло, или вернее говоря, вследствие этого заявления и начались бесконечные переговоры, которые тянулись с июля до января и ничем не кончились.

Такое решительное заявление Курино заставило меня передать его слова графу Ламсдорфу; граф Ламсдорф мне ничего определенного не ответил, а сказал только: «Я в этом отношении ничего не могу сделать, так как переговоры ведутся не мною».

Это было так в середине января.

В конце концов во-время мы ответа не дали, и 26 января японские суда напали на нашу эскадру около Порт-Артура и потопили несколько из наших судов, а 27 января последовал манифест о войне.

На другой день был торжественный молебен в Зимнем дворце; молебен этот был довольно печальный в том смысле, что тяготело какое-то мрачное настроение.

Когда его величество вышел из церкви и направился в свои покои, я был недалеко от его величества; когда государь проходил мимо генерала Богдановича, Богданович закричал «ура» и это «ура» было поддержано только несколькими голосами.

Затем, в тот же самый день, я видел его величество проезжающим около моего дома на Каменноостровском проспекте, в коляске с императрицей; государь ехал с визитом к принцессе Альтенбергской. Его величество, проезжая мимо моего дома, обернулся к моим окнам и, видимо, меня увидел, — у него было выражение и осанка весьма победоносные. Очевидно, происшедшему он не придавал никакого значения в смысле, бедственном для России.

* Началось ужасное время. Несчастнейшая из несчастнейших войн и затем, как ближайшее последствие — революция, давно подготовленная полицейско-дворянским режимом или, вернее, полицейско-дворцово-камарильным режимом. Затем революция перешла в анархию. Что бог сулит нам далее? Во

всяком случае еще много придется нам пережить. Жаль царя. Жаль России. Сердце и душа исстрадались, и покуда нет просвета. Бедный и несчастный государь! Что он получил и что оставит? И ведь хороший и неглупый человек, но безвольный, и на этой черте его характера развились его государственные пороки, т.-е. пороки как правителя, да еще такого самодержавного и неограниченного. Бог и Я.

Администрацией был устроен ряд уличных манифестаций, но они не встретили никакого сочувствия. Было сразу видно, что война эта крайне непопулярна, что народ ее не желает,а большинство проклинает. Уже по одному этому ожидать хороших результатов от войны было невозможно.

Когда Куропаткин покинул пост военного министра и поручение ему командования армией еще не было решено, он упрекал Плеве, что он — Плеве—был только один из министров, который эту войну желал и примкнул к банде политических аферистов. Плеве, уходя, сказал ему:

— Алексей Николаевич, вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война.

Вот вам государственный ум и проницательность . . . Государь был, конечно, глубочайше уверен, что Япония, хотя может быть с некоторыми усилиями, будет разбита вдребезги. Что же касается денег, то бояться нечего, так как Япония все вернет посредством контрибуции.

В первое время обыкновенное выражение его в резолюциях было «эти макаки». Затем это название начали употреблять так называемые патриотические газеты, которые в сущности содержались на казенные деньги *.

Главнокомандующим армией был назначен Алексеев, наместник на Дальнем Востоке; он мог быть таким же главнокомандующим, как и я, никогда он воином не бывал, дел с сухопутными войсками не имел и сделал свою морскую карьеру более своею дипломатичностью, нежели морскою службою.

Будучи молодым морским офицером, Алексеев совершал путешествия с великим князем Алексеем Александровичем. Когда этот великий князь, будучи молодым, женился на Жуковской, то он был послан императором Александром II, для отрезвления, в кругосветное путешествие. Как говорят, в Марсели молодой великий князь с компанией товарищей моряков отправился ночью в веселое заведение с дамами. В этом заведении великий князь совершил различные буйства и поэтому был привлечен к ответственности. Но вместо него явился молодой офицер Алексеев, который уверил, что это он совершил буйства, и что буйства эти только по ошибке приписали великому князю, потому что фамилия его Алексеев, а французские власти не разо-

брали и вообразили, что буйства эти учинил великий князь Алексей.

Затем Алексеев понес наказание в виде денежного штрафа и все время был в большой дружбе с великим князем, который впоследствии при императоре Александре III сделался генерал-адмиралом.

Таким образом, Алексеев и сделал свою карьеру; по рекомендации же великого князя он был назначен и начальником Квантунской области.

Конечно, генерал-адмирал никогда не мог и вообразить, что Алексеев потом сделается наместником Дальнего Востока, а в особенности главнокомандующим русской громадной действующей армией. Это было такое сказочное явление, которое не могло прийти и в голову великому князю Алексею Александровичу.

Я помню, что, когда я в 1903 г. приехал в Порт-Артур, то, когда Алексеев сделал смотр войскам и я, в качестве шефа пограничной стражи, имеющий поэтому военный мундир, пришел на смотр в военном мундире,— я думал, что Алексеев сядет верхом и будет делать смотр верхом, поэтому я сам собрался поехать верхом, так как, проезжая по Восточно-Китайской дороге и осматривая пограничную стражу, я всегда ездил на эти смотры верхом. К моему удивлению Алексеев не сел верхом. Оказалось, что Алексеев не может ездить верхом и боится лошади.

Мне рассказывали анекдоты относительно Алексеева и его отношения к сухопутным войскам . . . И вот, вдруг такого человека сделали — шутка ли — главнокомандующим действующей армией, которая в то время состояла из нескольких сот тысяч человек, а потом дошла до миллионного состава.

Под давлением общественного мнения, которое относилось крайне недоверчиво к назначению Алексеева, вскоре, а именно 8 февраля, командующим армией был назначен военный министр Куропаткин.

Это назначение последовало по желанию общественного мнения; общественное мнение единогласно требовало назначения Куропаткина, питая к нему большое доверие. Таким образом можно сказать, что это назначение было сделано не по инициативе его величества, и даже вопреки симпатиям его величества, — исключительно по единогласному желанию общественного мнения, насколько оно выражалось в газетах.

Самое это назначение все-таки являлось довольно абсурдным, оказывалось: русская армия будет под командою двух лиц: с одной стороны — главнокомандующего, наместника Дальнего Востока Алексеева, а с другой — командующего армией, бывшего военного министра, генерал-адъютанта Куропаткина. Очевидно, что такая комбинация противоречит самой азбуке военного дела,

требующего всегда единоличия начальства, а в особенности во время войны. Поэтому от такого назначения, конечно, кроме сумбура, ничего произойти не могло.

Когда Куропаткин уезжал, то он отправлялся на войну со всевозможною помпою, говорил различные речи, как будто бы он уже возвращался с войны победителем Японии. Конечно, было бы гораздо тактичнее и умнее с его стороны уехать на войну спокойно и возвращаться с помпою с войны, уже будучи победителем. К сожалению, вышло совершенно обратное.

Вечер перед своим выездом он провел у меня, и вот какой у меня с ним был разговор.

Он говорил, что я, как лицо очень близко знающее Дальний Восток и положение дела как в Китае, так и в Японии, может быть, ему бы дал совет относительно общего плана ведения войны. Я просил Куропаткина изложить свой взгляд, он мне сказал, что так как мы к ведению войны не подготовлены, потребуется много месяцев для того, чтобы усилить нашу действующую армию, то он полагает вести войну по следующему плану: покуда не соберется армия в должном составе, с действующими нашими на Дальнем Востоке силами постоянно отступать к Харбину, замедляя лишь наступление японской армии; Порт-Артур предоставить своей участи, при чем, по его соображению, Порт-Артур должен был держаться много месяцев. В это время собирать армию недалеко от Харбина, и когда наша отступающая армия дойдет до этого места, то лишь после этого начать наступление на японские силы и эти силы разгромить.

Я с своей стороны сказал ему, что его план действия разделяю; что, по моему мнению, другого плана быть не может, так как мы к войне не приготовлены, а Япония к ней приготовлена. Театр военных действий находится почти под рукой Японии и в громадном расстоянии от Европейской России, центра всех наших как военных, так и материальных сил.

Когда мы обменялись мыслями, то Куропаткин встал с кресла, на котором он сидел, чтобы со мною проститься, и обратился ко мне с такою речью: «Сергей Юльевич, вы человек такого громадного ума, таких громадных талантов, наверное, вы на прощанье могли бы дать мне хороший совет, что мне делать». Я ему сказал: «Я бы мог вам дать хороший совет, но только вы его не послушаете». Он с жадностью накинулся на меня, прося сказать, в чем заключается мой совет. Я его спросил: «Вы с кем едете на Дальний Восток?»; он сказал, что с несколькими адъютантами и лицами, которые составят на месте его штаб, и на мой вопрос: «Лица эти таковы, что можно им вполне доверять?» он ответил: «Конечно». Тогда я ему сказал: «Теперь главно-

командующий адмирал Алексеев находится в Мукдене; вы, конечно, поедете прямо в Мукден, и вот, что я бы на месте вас сделал: приехавши в Мукден, я бы послал состоящих при мне офицеров к главнокомандующему, приказав этим офицерам арестовать главнокомандующего. В виду того престижа, который вы имеете в войсках, на такой ваш поступок не будут реагировать. Затем я бы посадил Алексеева в тот поезд, в котором вы приехали, и отправил бы его под арестом в Петербург и одновременно бы телеграфировал государю императору следующее: ваше величество, для успешного исполнения того громадного дела, которое вы на меня наложили, я счел необходимым, приехавши в действующую армию, прежде всего арестовать главнокомандующего и отправить его в Петербург, так как без этого условия успешное ведение войны немыслимо; прошу ваше величество за мой такой дерзкий поступок приказать меня расстрелять, или же, в видах пользы родины, меня простить».

Тогда Куропаткин засмеялся, начал махать руками и сказал мне: «Вот, Сергей Юльевич, вы всегда шутите»; на что я ему ответил: «Я, Алексей Николаевич, не шучу, ибо я убежден, что в том двоевластии, которое обнаружится со дня вашего приезда, заключается залог всех наших военных неуспехов».

* Куропаткин ушел, сказав: «А вы правы».

На другой день он уехал, провожаемый, как победитель японцев. Таких проводов нигде и никогда не устраивали полководцам, «идущим на рать».

Приехавши в действующуюа рмию, Куропаткин не только не обосновался в Мукдене, а еще было бы правильнее севернее его, не только не начал проводить в исполнение разумный план, им мне высказанный, но сразу начал проводить двойственный план: смесь своего с планом или, вернее, мыслями Алексеева, ибо у последнего никакого плана не могло быть, да и мыслей своих не было, а было то, что казалось ему, что будет приятно государю, а ведь тогда еще сохранились все остатки сумасбродных мыслей Безобразова и К-о, и государь не мог отойти от того, что ему сими дельцами было внушено: японцы—это «макаки», мы их уничтожим.

Так как главная квартира главнокомандующего была в Мукдене, а Куропаткин не без основания не желал иметь свою главную квартиру там, где был Алексеев, то он обосновался значительно южнее Мукдена. Затем главнокомандующий Алексеев совсем не разделял системы пассивного отступления, а напротив, проводил систему активного наступления, в особенности для выручки Порт-Артура.

Командующий войсками Куропаткин не без основания считал Алексеева полным ничтожеством, гражданским моряком, а, главное, карьеристом. Главнокомандующий же Алексеев ненавидел Куропаткина и желал ему в душе всяких неудач. Первый телеграфировал в Петербург одно, второй другое, но первый все-таки не хотел разрыва со вторым, а потому шел на полумеры, а второй покрывался высочайшими повелениями, иногда сам их внушая.

Мне Куропаткин после войны говорил, что у него есть телеграммы из Петербурга, которые могли бы представить в истинном свете неудачи первой части кампании. Вероятно, когда-нибудь они появятся в свет.

Государь также желал в душе наступлений, но по обыкновению двоился: сегодня — направо, завтра — налево, а главное желал, как всегда, обоих провести. Проводил же он всегда больше всего самого себя. Я не знаю подробностей первой части кампании, покуда Алексеев не был вызван в Петербург и Куропаткин не был назначен главнокомандующим, но могу безошибочно утверждать, что первая часть кампании разыгралась бы совершенно иначе, если бы не было этой двойственности; она была бы более для нас благоприятной. А неудача вначале, несомненно, имела влияние на вторую часть действий.

Затем Куропаткин мне говорил также в оправдание свое, что ему назначили бездарных генералов помимо его воли и вмешивались все время из Петербурга. На эти сетования я ему ответил, что во всем он сам виноват, так как не исполнил моего совета, данного ему, когда он уезжал в армию. Если бы он сумел себя сразу поставить так, чтобы никто не вмешивался и его слушались, то ему не пришлось бы ссылаться на других. Если же это ему было невозможно, что я совершенно понимаю, зная характер государя, то ему следовало уйти*.

Насколько в то время оптимистически смотрели на войну с Японией, между прочим может служить доказательством следующее: когда война была объявлена 27 января 1904 г., то бывший военный министр Ванновский совещался с Куропаткиным относительно шансов этой войны, при чем они разошлись в своих мнениях по следующим вопросам: Куропаткин считал, что нам нужно выставить на театр военных действий на полтора солдата японских — одного русского, а Ванновский находил, что совершенно достаточно на двух солдат японских выставить одного нашего солдата. Вот как бывший в то время военный министр и его предшественник оценили сравнительное достоинство японской армии и нашей.

Когда началась война, то его величество весь 1904 г. все время ездил напутствовать войска, отправляемые на Дальний Восток. Так в начале мая государь с этой целью ездил в Белгород, Полтаву, Тулу, Москву, затем в июне в Коломну, Пензу, Сызрань и другие города. В сентябре в Одессу, Ромны и другие места на западе. В сентябре ездил также в Ревель для осмотра наших некоторых судов. Затем в октябре в Сувалки, Витебск и другие города. Наконец, в декабре в Бирзулу, Жмеринку и другие южные города.

Все эти поездки имели целью напутствования войск и новобранцев, следовавших на Дальний Восток, при чем его величество и ее величество раздавали войскам образа, и между прочим, образ Серафима Саровского.

А так как в течение всего этого года, так и 1905 г., мы все время на театре военных действий терпели поражения самые жестокие, то это и дало повод генералу Драгомирову сказать злую шутку, которая затем распространилась по России. Он сказал: «вот мы японцев все хотим бить образами наших святых, а они нас лупят ядрами и бомбами, мы их образами, а они нас пулями».

В главных чертах в 1904 г. война протекла в следующих событиях: 31 марта погиб наш броненосец «Петропавловск» с адмиралом Макаровым и частью команды. Так как адмирал Макаров был начальником нашего дальневосточного флота, то с гибелью броненосца «Петропавловска», после других уронов в наши судах, наш дальневосточный флот можно было признать обреченным на полное бездействие.

17 и 18 апреля мы проиграли Тюренченский бой. 28 апреля японцы высадились в Бидзиво, что было началом гибели Порт-Артура. 28 мая произошел морской бой у Порт-Артура, где мы опять потеряли несколько наших судов. 17 — 23 августа мы проиграли большой бой при Ляойяне и начали отступление к Мукдену.

Когда мы отступили к Мукдену, то Куропаткин в приказах по армии объявил, что уже далее он не отступит ни на один шаг. 22 декабря пал Порт-Артур, а затем дальнейший наш разгром уже происходил в 1905 г., при чем мы потеряли громаднейшее сражение в Мукдене и должны были отступить по направлению к Харбину.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Заключение второго торгового договора с Германией в 1904 году.

* Когда я покинул пост министра финансов, то его величество просил меня взять на себя ведение переговоров с Германией относительно возобновления торгового договора, срок коего истекал в 1904 г., ибо 10 лет тому назад мною был заключен договор в качестве министра финансов. Я уже начал предварительный обмен мыслей и дипломатические шаги, подготовлявшие почву. Это дело находится в связи вообще с отношениями России к Германии и к императору Вильгельму II, поэтому я остановлюсь на нем более подробно.

Когда я вступил в должность министра финансов, то застал такое положение наших внешних торговых отношений. Император Александр III в 1892 г. ввел систематический и серьезный покровительственный тариф. Тариф этот был выработан в совещании под председательством министра финансов Вышнеградского, в котором я в качестве директора департамента состоял членом. Бисмарк провел также через рейхстаг покровительственный тариф, но не только покровительственный, но и боевой, т.-е. одновременно общий тариф для стран, с которыми Германия имеет торговые договоры, а другой просто воспретительный для стран, с которыми не имеется торговых договоров. Россия не имела торгового договора с Германией и по традиционной дружбе, основанной, главным образом, на династическом родстве, они всегда трактовали друг друга по принципу наибольшего благоприятствования. Но уже к этому времени отношения России к Германии существенно изменились.

Во-первых, Александр III был женат на датской принцессе. Между домом Гогенцоллернов и датским были самые холодные отношения после захвата Германией, вернее, Пруссией,

Шлезвиг-Гольштинии. Императрица Мария Феодоровна помнила все горе, причиненное бывшему своему отечеству этим захватом.

Во-вторых, берлинская конференция, в которой Бисмарк явился честным маклером, оскорбила национальное чувство России. Я не знаком с подноготной стороной всех пружин, двигавших в то время дипломатию, но, насколько можно судить по актам, которые были доступны публике, Бисмарк действительно не проявил в то время такой дружбы к России, на которую она могла рассчитывать.

Может быть, Бисмарк был честный маклер, но он забыл, что, благодаря в значительной степени России, прусский король стал германским императором. Ведь Россия, как в 1866 г. во время войны Пруссии с Австрией, так и в 70-м во время войны с Францией, могла совершенно изменить результаты этих войн, но она держала формальный нейтралитет, в действительности же нейтралитет, благоприятный Пруссии. Конечно, отчасти это произошло потому, что Россия не забыла роли Франции в Севастопольскую войну и Австрии в первую половину XIX столетия, но главным образом, вследствие близкого родства императорского дома с Гогенцоллернами. Таким образом отношения между Германией, т.-е. Пруссией, и Россией несколько охладели. Бисмарк с его умом, конечно, мог бы это загладить, но он не знал Александра III, а с другой стороны, придал смуте в России, повлекшей за собою 1 марта и дальнейшие революционные выступы, преувеличенное значение. Он решил возможным несколько форсировать нового молодого императора. Если бы он знал, что Александр III обладал железной волей и характером и что—что, а уж никакого шокирования он ни от кого не допустит, то, вероятно, Бисмарк поступил бы иначе.

При таком положении вещей традиционные дружеские отношения постепенно охлаждались и в конце концов привели Бисмарка к созданию тройственного союза, а Россию—к постепенному сближению с Французской республикой, кончившемуся реализацией двойственного союза (Россия и Франция).

При таких обстоятельствах Германия заявила, что она желает заключить с Россией торговый договор, так как в противном случае применит максимальный тариф. Начались переговоры. Они велись вяло. В это время я стал министром финансов. Наш покровительственный тариф имел в виду развить у нас промышленность обрабатывающую, а германский — покровительствовать сельскому хозяйству посредством вздорожания всех сельскохозяйственных продуктов. Этим путем Германия имела в виду усилить интенсивность сельского хозяйства, но, главным образом, удовлетворить аграриев и в особенности юнкерство. Такой экономический принцип явился мировым новшеством в экономической политике, идущим совершенно в разрез

с экономическими теориями. Существовал столетний спор практики и теории о преимуществе покровительства или свободы торговли (фритредерство). По этому предмету исписано сотни тысяч томов. Покровительство всегда имело в виду обрабатывающую промышленность, но не сырые продукты. Мысль о покровительстве посредством таможенных пошлин на сырые продукты питания, особенно хлеба насущного, была бы почтена в первую половину XIX столетия не только за ересь, но просто за сумасшествие, и вдруг явился государственный деятель, который вздумал и привел в исполнение широчайшее покровительство посредством усиленных таможенных пошлин на самые необходимые продукты питания народных масс. Затем за Германией пошла Италия, Франция и некоторые другие страны.

Правильный ли это принцип или нет, по этому вопросу экономическая история не сказала еще своего последнего слова.

Мне думается, что историко-экономическая наука в конце концов признает принцип сей неправильным вообще, но экономическая наука не есть чистая математика. Ее принципы не абсолютны и видоизменяются соответственно мировым конъюнктурам. Широчайшее покровительство усиленным таможенным обложениям, ныне вошедшее в жизнь первоклассных европейских держав, это очевидно доказывает. Но эта мера имеет свою обратную сторону, — она, несомненно, способствует развитию социализма.

В то время, когда я вел переговоры с Германией, она, чтобы понудить нас на уступчивость, применила к нам максимальный боевой тариф, т.-е. вывоз России был обложен значительно более высокими пошлинами, нежели однородные продукты других стран и нашего главного конкурента по вывозу сырых продуктов — Америки, хотя Америка также не имела торгового договора с Германией. Подобный образ действия побудил меня не на уступчивость, а на торговую войну. Как только я вступил в должность министра финансов, предвидя возможность такого оборота вещей, я также провел через Государственный Совет боевой тариф на всякий случай. Государственный Совет согласился на мое предложение, рассчитывая, что закон этот останется на бумаге. Я уверил Государственный Совет, что никогда не воспользуюсь этой мерой без самой крайней необходимости. Применение этого тарифа могло бы последовать только по высочайшему указу, и Государственный Совет рассчитывал, что во всяком случае министр иностранных дел не допустит его применения.

Когда Германия применила к нам свой максимальный тариф, его величество соизволил, по моему докладу, подписать указ о применении в Германии нашего максимального тарифа. Германия на это ответила новыми стеснительными мерами, на что

государь, по моему докладу, подписал указ помимо Государственного Совета о возвышении максимального тарифа. В сущности, торговые отношения с Германией сделались невозможными. Германские правительственные сферы этот наш образ действий премного озадачил.

Тогда уже Бисмарк был в отставке и его место занял генерал Каприви.

Не менее перепугались наши правительственные сферы. Многие ожидали, что вспыхнет настоящая война. Я помню, как раз в это время был выход в Петергофе. Когда я появился, все от меня сторонились, и меня громко критиковали, как молодого человека, неудержимого, который Россию втянет в войну. Из министров только один военный министр Ванновский стал на мою сторону. Император же был невозмутимо спокоен, и я за его спиной чувствовал себя в полном равновесии, будучи убежден, что государь меня не оставит, будет меня, как министра, поддерживать до конца, и только при таких условиях можно делать в самодержавном государстве дело.

Если бы император Николай II после 17 октября не начал сейчас же, при первой кажущейся неудаче, меня ослаблять и за моею спиною и помимо меня не начал принимать всякие меры, самые ретроградные и жестокие, а одновременно безумно по несвоевременности либеральные, то, вероятно, дело 17 октября не кончилось бы так, как оно — если не кончилось, то во всяком случае доныне тянется, в полной анархии . . .

Замечательно, что Бисмарк после принятых мною решительных мер обратил на меня особое внимание и несколько раз через знакомых высказывал самое высокое мнение о моей личности.

Когда разразилась торговая война, и обе стороны, а в особенности Германия, начали чувствовать разорительность подобного образа действий, то переговоры приняли серьезный характер, и Германия под влиянием общественного мнения начала соглашаться на уступки, на которые ранее не только не соглашалась, но и слышать о них не хотела. Каприви, поддержанный весьма усиленно императором Вильгельмом, провел через рейхстаг торговый договор, предоставивший России все благоразумные уступки, несмотря на крайнее противодействие аграриев и немецкого юнкерства. Вскоре договор был подписан в Берлине Каприви и нашим послом графом Шуваловым.

Война кончилась. Вильгельм возвел Каприви в графа, но аграрии и юнкерство начали против него усиленную войну. Он вышел в отставку.

Что касается меня, император меня благодарил, и эта благодарность для меня была выше всяких наград и графства, которым меня удостоил император Николай II после Портсмутского

договора. При этом я имел с императором Александром III следующий разговор. Вильгельм II имеет страсть к мундирам. Он очень желал получить мундир русского адмирала, о чем мне передали из Берлина, прося, буде возможно, это устроить. Когда государь меня благодарил за окончание торгового договора, то я просил его величество обратиться к нему с одною просьбою. Получив его разрешение, я обратил высочайшее внимание на то, что император Вильгельм весьма содействовал утверждению сего договора рейхстагом, рассказал о сильном желании Вильгельма получить русский адмиральский мундир и просил, не соизволит ли государь исполнить это желание. Государь, который не особенно симпатизировал германскому императору, улыбнувшись, когда я ему сказал о таком желании Вильгельма, ответил мне, что действительно в этом случае германский император вел себя вполне корректно, что он исполнит мою просьбу при первом удобном случае, о чем разрешил мне ему напомнить. Такого случая до скорой кончины императора не представилось. Я после рассказал об этом случае императору Николаю II, который при ближайшем свидании поднес германскому императору адмиральский мундир. Упомянув о страсти Вильгельма к мундирам, приведу другой подобный случай. Когда я был уже председателем комитета министров, то Вильгельм пожелал иметь русский генерал-адъютантский мундир. Я был в опале, а потому государю сказать об этом не мог. Дело это не клеилось. Наконец, великий князь Михаил Николаевич, возвратившись раз из заграницы, говорит мне, что император Вильгельм обратился к нему при свидании, как к старейшему члену императорской семьи, знавшему все традиции родственных домов Гогенцоллернов и Романовых-Гольштинских, и просил его передать императору или, вернее, удостоверить тот традиционный обычай этих домов, что если император одного дома снабжает себя каким-либо своим отличием, то тем самым без разрешения другого императора он имеет право на такое же отличие дружественной соседней страны, т.-е. если, например, германский император надевает фельдмаршальский мундир германский, то тем самым он имеет право на русский фельдмаршальский мундир. Великий князь удостоверил государю этот факт, и я не интересовался затем, как этот инцидент кончился.

Упомянув о ходе дела по заключению первого торгового договора с Германией, который затем послужил базисом для заключения договоров с другими державами, и о том, что договор этот был заключен успешно только благодаря железной воле государя, я не могу воздержаться, чтобы не сказать несколько слов об этом выдающемся императоре. Прежде всего скажу о том,

почему я превыше всего чту его память. Я до сих пор держусь того убеждения, что наилучшая форма правления, в особенности в России при инородцах, достигающих 35 % всего населения, есть неограниченная монархия, но при одном условии—когда имеется налицо наследственный самодержец, если не гений, чего, конечно, всегда ожидать невозможно, то лицо с качествами, более нежели обыкновенными. Прежде всего и более всего от самодержца требуются сильная воля и характер, затем возвышенное благородство чувств и помыслов, далее ум и образование, а также воспитание. Последние два качества в XIX и XX столетиях суть атрибуты довольно естественные и обыкновенные не только в царской сьмье, но во всяких аристократических и богатых семьях. Природный ум есть качество весьма полезное, но и с изрядным и даже ограниченным умом можно быть не только хорошим, но даже великим монархом. Сие лучше всего доказал император Вильгельм I Великий. Я мог бы, конечно, привести массу подобных примеров. По нынешним временам не может быть самодержца, который бы не принес несчастья своей стране и самому себе, если он не имеет крепкую волю и не обладает царским благородством чувств и помыслов. Если же он обладает сими качествами в пропорции ниже средней даже для обыкновенного человека, то страна уподобляется безрульной лодке в бушующем океане.

Кто создал Российскую империю так, как она была еще десять лет тому назад?—Конечно, неограниченное самодержавие. Не будь неограниченного самодержавия, не было бы Российской великой империи. Я знаю, что найдутся люди, которые скажут: «Может быть, но населению жилось бы лучше». Я на это отвечу: «Может быть, но только может быть». Но несомненно то, что Российская империя не создалась бы при конституции, данной, например, Петром I или даже Александром I. Но неоспоримо также и то, что при самодержавном неограниченном правлении в те периоды, когда являются несоответствующие и особливо совершенно несоответствующие неограниченные правители, то страна подвергается самым ужасным испытаниям. Неограниченный самодержец в самое короткое время может разрушить все, сделанное его предшественниками, «истинными» (по модному выражению, пущенному императором Николаем II) неограниченными правителями-предками, ибо разрушение есть легчайшая стихия; четырехлетний младенец может уничтожить в самое короткое время такое творение ума, таланта и труда, над которым люди работают десятки и сотни лет.

К чему мог бы привести Россию, например, Павел Петрович, если бы он процарствовал десяток или более лет?!.

Положение неограниченного правления весьма осложняется, когда в порядке престолонаследия нет лица, вокруг коего могли

бы сосредоточиться надежды, хотя бы такие, которые могут и не оправдаться. Мы ныне, например, находимся в таком положении, когда наследнику Алексею всего три года. Сохранить самодержавие, когда неограниченный самодержец многолетними не только несоответственными, но губительными действиями расшатал государство, и когда подданные его не видят более или менее основательных надежд в будущем, особенно трудно в XX веке, когда самосознание народных масс значительно выросло и питается тем, что у нас названо «освободительным движением». Таким образом, как по моим семейным традициям, так и по складу моей души и сердца, конечно, мне любо неограниченное самодержавие, но ум мой после всего пережитого, после всего того, что я видел и вижу наверху, меня привел к заключению, что другого выхода, как разумного ограничения, как устройства около широкой дороги стен, ограничивающих движения самодержавия, нет. Это, повидимому, неизбежный исторический закон при данном положении существ, обитающих на нашей планете. Нельзя жить так, как хочется, а как непреодолимые препятствия к сему побуждают и приводят. Все страны перешли к конституционному правлению и пришли к нему не без конвульсий. При таком положении вещей, хотя бы основанном на человеческом заблуждении, трудно, а при данных обстоятельствах невозможно держаться на образе правления, постепенно уже откинутом не только всеми более или менее культурными народами, но также и такими, которые по общей культуре далеко ниже русской. У нас в России уже давно нет пророка в своем отечестве, все, что ни делается, хотя, может быть, и хорошего, принимается или озлобленно, или критически, или равнодушно. Меры, гораздо худшие, если они будут проходить через представительство, будут почитаться хорошими, ибо это исходит от нас, а не от бюрократов, без коих никакое самодержавие неограниченное немыслимо. Весьма вероятно, что нынешний мировой конституционализм есть историческая фаза движения народов. Через десятки, сотни лет человечество найдет другие формы, соответствующие своему вновь появившемуся самосознанию. Может быть, опять родится стремление к единоличному управлению судьбами народов, но теперь этого нет, и как бы ни была несовершенна система парламентского управления, ныне она выражает собой политическую психологию народов, и от нее не уйти.

Поэтому, когда по поводу 17 октября и всего за сим происшедшего и происходящего я слышу разговоры о том, что конституционализм есть гнилая форма правления, разговоры эти на меня производят впечатление вроде того, как если бы я слышал, что жизнь человеческая, основанная на дыхании воздуха, гнилая, что такая жизнь невозможна, ибо воздух заражает организмы содержащимися в нем бактериями.

Будучи в душе поклонник самодержавия неограниченного, как своего рода влюбленный в фею, изредка лишь появляющуюся, а чаще под видом феи представляющую особу с недостатками обыкновенной кокетки, хотя и добродетельной, и имев счастье быть министром действительно самодержца императора Александра III, я помимо личных чувств благоговею, как государственный деятель, перед его памятью. Александр III имел стальную волю и характер, он был человек своего слова, царски благородный и с царскими возвышенными помыслами, у него не было ни личного самолюбия, ни личного тщеславия, его «я» было неразрывно связано с благами России так, как он их понимал. Он был обыкновенного ума и образования, он был мужествен и не на словах и театрально, а попросту. Он не давал телеграмм «мне смерть не страшна», как это делает Николай II, но своим поведением, своею жизнью сие обнаруживал, так что никому и в голову не могло прийти, что «ему смерть страшна». Александра III могли не любить, критиковать, находить его меры вредными, но никто не мог его не уважать. И его уважал весь мир и вся Россия. Он был по натуре самодержец, и он мог поддержать и сохранить исторически сложившееся в России неограниченное самодержавие. Если бы он не скончался так рано, или если бы его сын обладал хотя частью его качеств самодержца, то, конечно, ничего подобного, что произошло, произойти не могло.

Перед моим выездом из Петербурга в мае месяце за неделю до манифеста 3 июня 1907 г. ко мне пришел министр двора барон Фредерикс спрашивать мое мнение, как помочь горю. Находя излишним, вернее говоря, бесплодным давать советы в особенности в моем положении травленного зверя (между прочим псами царской псарни), я показал ему портрет Александра III, около места, где я у себя занимаюсь, висящий, и сказал: «Я знаю верное средство кончить расчленяющую Россию анархию — воскресение его хоть на три месяца».

Когда критикуют Александра III, то забывают совершенно исключительные условия, в которых он находился. Он сел на трон, залитый кровью мученически убиенного своего отца.

И какого отца? . . Александра II Освободителя.

То, что у нас ныне есть светлого, это дело его рук, его воли. За что его убили?

Найдутся люди, которые скажут: за то, что он в освобождении колебался, не шел так быстро, как хотелось многим политическим негодяям. Но, тем не менее, он сделал столько, сколько никто до него не сделал. Он был освободителем не только русского народа, но стремился дать возможную свободу всем своим подданным и родственным нам племенам. Его образ останется вечно в памяти славян. Некоторые говорят: «Он шел коле-

блясь, не так быстро, как того хотели бы», с неменьшим основанием можно сказать и многие говорят: «Он шел часто чересчур быстро, может быть, следовало итти тише, но без колебаний».

А кто виновен в этих колебаниях? — Безумное покушение Березовского, Каракозова с одной стороны, нелепое восстание поляков и всюду и всегда смердящее влияние придворной камарильи с другой. Александр III взошел на престол, не только окровавленный мученическою кровью своего отца, но и во время смуты, когда практика убийств слева приняла серьезные размеры. При этих условиях довольно понятно, что он стал на путь реакции. Многие из принятых в его царствование мер я не разделяю, нахожу, что они дали в дальнейшем неблагоприятные результаты. Тем не менее, после тринадцатилетнего царствования он оставил Россию сильною, спокойною, верующею в себя и с весьма благоустроенными финансами. Он внушал к себе общее уважение, ибо он был царь миролюбивый и высоко честный.

После несчастного случая в Борках, где вследствие крушения поезда он и вся его семья подвергнулись страшной опасности (некоторые думают, что и болезнь, от которой он почил, была результатом этого потрясения), чувствовалось, что вся Россия, други и недруги, искренно перекрестились за сохранение его жизни. Когда он приехал в Петербург и поехал в Казанский собор, учащаяся, вечно волнующаяся молодежь, со свойственным молодым сердцам благородным энтузиазмом, сделала ему шумную овацию на Казанской площади, никем и ни от кого не охраняемой. С тех пор он душевно примирился с этой молодежью и всегда относился к заблуждениям ее снисходительно.

Успокоив Россию в последние годы своего царствования, он видимо пошел в другую сторону во внутренней политике. Он начал все более и более благосклонно относиться к окраинам и инородцам. Победоносцев потерял на него всякое влияние. Я помню такой случай. Как только я стал министром финансов, я внес проект ответственности предпринимателей за увечье рабочих на фабриках. В департаментах проект этот прошел с разногласиями. В общем собрании восстал против проекта К. П. Победоносцев и объявил меня социалистом. Конечно, это усилило противодействие. Я ответил, что если я социалист, то во всяком случае миниатюрный сравнительно с Бисмарком и предпочитаю быть с ним в компании, нежели с Победоносцевым. Тем не менее, посыпался ряд критических замечаний. Я был новичок и взял проект обратно для переработки. На другой день я был у государя со всеподданнейшим докладом. Государь меня спросил, верно ли, что я согласился взять мой проект обратно, и когда я это подтвердил, сказал мне: «Имейте в виду, что К. П. Победоносцев всегда все критикует, и если его слушаться, можно застыть». Его нельзя было подбить ни на какие

авантюры, ни на какие несправедливости, ни на какие резкие меры, раз люди спокойны. Он был не на словах, а на деле истинно русский, понимал, что он император Российской империи и имеет 35% подданных не русских.

В начале его царствования с его разрешения была образована «Святая Дружина», нечто вроде «Союза русских людей», но как только она вздумала принимать некорректные меры, которые могут почитаться невинно-детскими сравнительно с тем, что ныне творит «Союз русского народа», который теперь рекомендуется Николаем II, как оплот государства, в который должны войти все его верные подданные, он—Александр III—мгновенно навсегда и без остатка прикрыл эту дружину, несмотря на то, что в нее входили самые высшие и близкие к нему персоны. Это был серьезный человек. Если бы он ныне почел спасение в погромах «истинно русских людей», то сам посредством своего правительства мужественно привел бы их в исполнение и не основывался бы на политической сволочи, помешанных и недоумках. Его действия всегда соответствовали его убеждениям.

Он ничего не делал исподтишка, что, к несчастью, ныне возведено в принцип и почитается тонкой дипломатией. Но главнейшая заслуга Александра III заключается в том, что своими прямыми бесхитростными и честными действиями он, несмотря на многие осложнения, явившиеся на Балканском полуострове, и некоторый разлад с Германией, поставил политический престиж России так высоко, как он никогда до него не стоял. Россия была главною шашкою на шахматной доске мировой политики. Поэтому я считаю критику царствования Александра III вполне недобросовестной.

Вечная память неограниченному самодержцу императору Александру III, русскому, первому между русскими, человеку!..

Но возвращаюсь к Вильгельму II. Александру III, человеку простому, несуетливому, нелюбящему ничего показного, нетерпящему поз, конечно, молодой Вильгельм не мог быть лично симпатичным, но он, как и всегда, держал себя в должном равновесии, а после заключенного торгового договора относился к личности Вильгельма вполне примирительно.

Когда вступил на престол Николай II, он тоже относился к Вильгельму, к его суетливым выходкам несимпатично просто потому, что помнил, как к нему относился отец. Вскоре к этому совершенно пассивному чувству примешались другие.

Во-первых, ощущения некоторого личного соревнования. Он, Вильгельм, как личность, видимо стоял или по крайней мере почитается в общественном не только русском, но и мировом мнении выше его. Вильгельм и фигурою гораздо больше импе-

ратор, нежели он. При самолюбивом в известных сферах характере императора Николая II это его коробило. Я помню, что после первого его свидания с Вильгельмом появились cartes postales, на которых были изображены оба императора, при чем Вильгельм держал руку свою на плечах государя, как бы обнимая его. Государь же по росту подходит прямо ниже плеча Вильгельма, так что рука Вильгельма шла не к верху, а горизонтально или даже скорее книзу. Было приказано немедленно конфисковать все эти карточки. Чувство же государя к Вильгельму особенно обострилось вследствие отношений Вильгельма к его beau frère'у, а также к императрице. Вильгельм относился свысока к брату императрицы, герцогу Дармштадтскому, и также относился к Александре Феодоровне часто не как к русской императрице, а как к немецкой мелкой принцессе Alix. Это вообще его манера относиться довольно санфасонно к людям, в особенности к немецким принцам и принцессам, а тем более к тем, к которым не питает уважения. Еще недавно около Франкфурта были маневры, на которых присутствовал герцог Дармштадтский. Вдруг к нему обратился Вильгельм и сказал: «Я знаю, что ты очень желаешь получить Черного Орла первой степени. Хочешь, я тебе его дам сейчас, но если ты мне ответишь на следующий вопрос: когда гусар садится на лошадь, то какую ногу он прежде всего ставит в стремя, правую или левую»?

В последние годы отношения его к нашей императрице и ее брату значительно изменились. Несколько лет тому назад в начале войны в частных разговорах канцлер Бюлов и германский посол в Петербурге мне сетовали на то, что государь не любезен к их императору, что он подолгу не отвечает на письма, не отвечает взаимностью на мелкие любезности и знаки внимания и что это несколько влияет на ход взаимных отношений, и просили меня, не могу ли я содействовать устранению этих отношений. Я им ответил, что мне кажется, что это зависит прежде всего от самого Вильгельма. Если он начнет особенно предупредительно относиться к императрице, бывшей принцессе Alix, и к ее брату, то я уверен, что отношения сами собою сделаются лучшими. В последние годы Александра Феодоровна сделалась совершенно благосклонною к германскому императору, когда он с своей стороны стал особенно любезен к ней и внимателен к ее брату. Он оказал особое внимание к ее брату при его разводе с женою, двоюродною сестрою императора Николая II, дочерью великой княгини Марии Александровны Кобургской. С тех пор императрица совсем переменила свои чувства к Вильгельму, что, видимо, отразилось на отношениях государя к нему. Между ними началась интимнейшая корреспонденция, и Вильгельм начал иметь значительное влияние на государя. Вильгельм сначала в личных сношениях с государем как бы не стеснялся, относился к нему

несколько покровительственно, менторски, но затем понял, что это, по натуре Николая II, самое верное средство обострять отношения, и тогда начал обратное поведение, как, в некотором роде, младшего к старшему. Император Николай II с трудом терпит людей, которых он в душе почитает выше себя в моральном и умственном отношении — только при нужде. Он же в своей сфере, т.-е. чувствует себя в своей тарелке тогда, когда имеет дело с людьми, которые менее даровиты, нежели он, или которых он считает менее даровитыми и знающими, нежели он, или, наконец, которые, зная эту его слабость, представляются таковыми. Мне граф Ламсдорф неоднократно говорил, что Вильгельм с тех пор, как установилась его интимная переписка с государем, постоянно самым наивным и дружеским образом старается подвести его величество и расстроить его отношения к другим державам, в особенности к Франции, и что ему — графу Ламсдорфу—постоянно приходится с этим бороться. Вероятно, поэтому Вильгельм терпеть не мог графа Ламсдорфа. Ламсдорф мне передавал, что если когда-либо были бы напечатаны секретные бумажки, у него лично находящиеся, то это произвело бы немалое удивление в Европе. Кстати относительно секретных бумажек. У графа Ламсдорфа был целый архив неофициальных или полуофициальных особенно секретных и пикантных политических бумажек не только за то время, когда он был министром, но и за время других министров, начиная с царствования Александра III. Он мне говорил, что это такого рода бумаги, которые он не может передать в архив. Возвратясь из заграницы прошлою зимой, я уже застал графа совершенно больным. Через несколько месяцев его пришлось отправить полу-умирающего в Сан-Ремо. Я между прочим спросил его, что он думает делать со своими бумагами. Он мне ответил, что в случае его смерти они должны быть переданы его другу, князю Валериану Оболенскому, его товарищу, который знает, как с ними поступить. Через несколько недель по приезде в Сан-Ремо граф Ламсдорф умер. Его тело привез князь Оболенский. Как только похоронили Ламсдорфа, его величество назначил своего генерал-адъютанта князя Долгорукого и одного чиновника министерства иностранных дел разобрать бумаги графа Ламсдорфа. Князь Оболенский вмешался в этот инцидент, указав на волю покойного графа. Тогда князя Оболенского допустили разбирать бумаги с Долгоруким, но через несколько дней умер и князь Оболенский. Что теперь будет с этими бумагами? Конечно, наиболее пикантные будут уничтожены и, таким образом, многие политические секреты будут похоронены.

Итак, будучи уже председателем комитета министров, я должен был вести с Германией переговоры о возобновлении

торгового договора. Я стоял на том, чтобы возобновить действующий договор на новое десятилетие или хотя бы на меньший срок. В начале 1904 г. вспыхнула Японская война, которую Вильгельм вполне предвидел, впрочем, это должны были предвидеть все не слепые, умеющие хотя немного разбираться в действующих политических элементах. Как только война вспыхнула, Вильгельм начал выражать государю свою преданность и верность. Он удостоверил государя, что он, государь, может быть покойным относительно западной границы — Германия не двинется. Но между прочим выразил желание, чтобы Россия помогла Германии заключить торговые договоры на началах нового таможенного тарифа, только что проведенного через рейхстаг, по которому значительно повышались таможенные пошлины, в особенности на сырье, сравнительно с прежним бисмарковским тарифом, по которому на это сырье и без того были весьма высокие пошлины. Я предложил держаться прежней точки зрения, не желая ничего уступать Германии. Все мои ноты, составленные в этом направлении и передаваемые в Берлин через министра иностранных дел, предварительно одобрялись его величеством, но вдруг возбудился вопрос о необходимости обсудить это дело в совещании. Председателем совещания был назначен я, а членами министр иностранных дел граф Ламсдорф, министр внутренних дел Плеве, министр финансов Коковцов, главноуправляющий торговым мореходством великий князь Александр Михаилович и, кажется, еще военный и морской министр. На этом совещании было придано особое значение просьбе Вильгельма, адресованной государю, дабы он оказал содействие к заключению столь нужного Германии торгового договора, при чем было обращено внимание на обещание Вильгельма—быть покойным относительно западной границы во время нашей войны с Японией. Уже тогда произошли все наши первые неудачи на поле и водах брани.

Великий князь Александр Михаилович особенно настаивал на необходимости оказать внимание императору Вильгельму и во всяком случае не доводить дело торгового договора до резкости, а тем более до разрыва.

Плеве, подозревая, что великий князь, женатый на сестре государя, выражает его желание, начал поддерживать эту точку зрения, что урон, причиненный нашему сельскому хозяйству возвышением германских пошлин, нужно покрыть другими путями.

Министр финансов объяснил, что теперь ведется война на те резервные фонды, которые, уходя с поста министра финансов, я оставил, что приходится уже для войны прибегать к займам, что мы нуждаемся в немецких денежных рынках, а потому нужно быть уступчивым в торговом договоре, но, взамен того,

выговорить у германского правительства, чтобы оно не препятствовало нашим займам. Граф Ламсдорф высказался, что собственно с чисто дипломатической точки зрения к особой уступчивости прибегать нет надобности, но одновременно наш посол в Берлине граф Остен-Сакен доносил совершенно противное.

Я заявил, что, с экономической точки зрения, делать уступки против существующего торгового равновесия России крайне невыгодно, что я до сих пор решительно отказывал Германии в ее требованиях, заявляя о необходимости сохранения существующего договора, а в случае желания Германии изменить свои пошлины, мы соответственно повысим свои, в мере сохранения суммою обложения существующего равновесия. Я рассчитывал на этом держаться, не входя в компромиссы, но если в виду войны признается необходимым с политическо-стратегической точки зрения и в виду необходимости займов пойти на уступки, то это должно быть сделано, но лишь исключительно по этим соображениям, с явным уроном экономическому положению России.

В заключение совещание постановило, что нам необходимо достигнуть соглашения с Германией, не доводя дела до резкостей, что нужно итти на уступки, но с тем, чтобы я выговорил открытие для России германского денежного рынка, при чем было решено по поводу заключения торгового договора не подымать вопроса о гарантии неприкосновенности нашей западной границы во время Японской войны и вообще о нравственном содействии нам Германии, так как это область личных сношений монархов...

Журнал заседания сего совещания удостоился утверждения государя и был дан мне к руководству. Один экземпляр его находится в моих бумагах, а другой в министерстве финансов или торговли. Затем явился вопрос, где должны съехаться представители. В виду моего назначения уполномоченным канцлер Бюлов сам решил, вероятно, по желанию императора, вести со мной переговоры. Вследствие летнего времени мы решили съехаться в Нордерней. Туда я прибыл с Тимирязевым, товарищем министра финансов, а Бюлов с графом Посадовским, с статс-секретарем (помощником рейхсканцлера) по внутренним делам; затем при нас состояли еще другие лица [1]).

В Нордерней я пробыл около двух недель. Там почти все время я проводил с рейхсканцлером Бюловым. Днем на офи-

---

[1]) Вариант. *Я по особому уполномочию императора вел письменно эти переговоры и на уступки не шел. Я был уверен, что это лучший путь ведения переговоров с немцами. В этом меня между прочим убедили обстоятельства ведения переговоров в 1893—1894 годах, когда я, благодаря доверию ко мне императора Александра III, вынудил Германию на большую уступчивость. Но в 1904 году, когда мы втюрились в несчастную ребяческую войну, то западная наша граница оказалась в довольно печальном поло-

циальном заседании, а после обеда глаз-на-глаз или вместе с графиней. Графиня Бюлова итальянка, вероятно, была очень красива, женщина образованная и большая музыкантша. Наедине мы говорили о политике, а в присутствии графини на общие темы. В то время графиня читала книгу о декабристах. Она увлекалась графом Л. Толстым. Она, вероятно, думала и во мне встретить поклонника графа Толстого, но насколько я преклонялся перед ним, как перед великим художником, настолько я отрицательно отношусь к его политико-религиозным проповедям. Все, что исходит из его пера, изложено чрезвычайно талантливо, но что касается сути его учений, то все это старое младенчество. Ни одной новой идеи, ни одной мысли, все и всегда повторение того, что провозглашено ранее евангелием и философами, но в популярно-талантливой форме с старческо-младенческими заключениями и выводами. Великий художник, наивный мыслитель и большой поклонник своего «я».

С графом Бюловым мы прежде всего говорили о войне. Он между прочим сказал мне, что в их министерстве иностранных дел хранится dossier, из которого видно, что еще при захвате Киао-Чао, а затем Порт-Артура я предупреждал, что это есть начало больших катастроф для России, что тогда они (кто они?) сомневались в моих предсказаниях, но теперь оказалось, что я прав, что император Вильгельм еще недавно требовал этот dossier к себе для того, чтобы возобновить все факты в своей памяти. Бюлов очень интересовался моим мнением о ходе войны. Я высказал, что на море мы потерпим неудачи, но на суше в конце концов явимся победителями. Высказывая это мнение, во мне тогда являлось сомнение в Куропаткине и в его уверенности победить японцев на суше. Бюлов часто возвращался к разговору о том, что Вильгельм делает все, чтобы быть приятным нашему государю, что в последнее время отношения между двумя монархами установились самые интимные, так как Вильгельм показал, что он истинный друг России.

Что касается переговоров по торговому договору, то чувствовалось, что Бюлов уверен, что я переговоров не прерву. Вообще они боялись моих резкостей, помня переговоры, бывшие десять лет тому назад. Вероятно, они из Петербурга получили удостоверение, что мне дана инструкция мирно кончить дело торгового договора. Много торговались, но в конце концов пришли к согла-

---

жении в смысле обороны. Ловкий Вильгельм II уверил Николая II, что последний может быть покоен относительно западной границы, а затем частным письмом просил нашего государя оказать ему одолжение и сделать весьма большие уступки в торговом договоре, на которые я не согласился и был уверен, что заставлю немцев уступить. Вследствие письма Вильгельма, я получил указание уступить и затем выехал в Германию вести переговоры словесно и заключить договор*.

шению. Нельзя сказать, чтобы соглашение было свободным. С нашей стороны оно в значительной степени было стеснено фактом Японской войны и открытою западною границею.

Еще перед окончанием переговоров о торговом договоре я начал вести с Бюловым беседу о том, что вследствие войны нам придется делать займы и что, в случае заключения торгового договора, мы между прочим рассчитываем на германский денежный рынок. Граф Бюлов ежедневно сносился по телеграфу с императором, который в это время находился в норвежских водах. На мое заявление о займе он мне ответил, что с своей стороны находит это естественным и не видит препятствий, но что император в последнее время вообще против открытия германского денежного рынка для иностранных держав, провозглашая принцип «немецкие деньги для немцев». В подтверждение сего он показал мне несколько телеграмм, полученных им по этому предмету от императора. Я с своей стороны предложил подписать договор в Берлине, куда и выехал.

На другой день туда приехал Бюлов. Тогда я заявил, что не подпишу договора, который уже лежал на столе в готовом виде, пока не получу официального обязательства об открытии немецкого денежного рынка. Бюлов, увидав с моей стороны такую решимость, через четверть часа дал мне письмо, разрешающее заем, а я с своей стороны тогда подписал договор.

Продолжительные переговоры мои с Бюловым оставили во мне такое о нем мнение. Это человек недурной, хитрый, не особенно деловитый и не особенно умный, но умеет хорошо говорить; вообще, как человек государственный, считаю его совершенно второстепенным. Главное его дипломатическое качество (?) это хитрость, пожалуй в хорошем смысле этого слова, и главное употребление этого своего качества он практикует относительно своего императора. Зная его слабости, он на них хорошо разыгрывает и часто прячет в карман не только личное самолюбие, но и достоинство, связанное с нравственной ответственностью первого министра.

Это, конечно, не Бисмарк и даже не прямолинейный и честный Каприви, это наш бывший министр иностранных дел граф Муравьев, но умнее и гораздо более образованный, чем граф Муравьев.

Из его сотрудников-министров единственно выдающийся человек по своему трудолюбию и знанию, это—граф Посадовский. Собственно я с ним вел все деловые разговоры по торговому договору. Подписавши договор, я в тот же день выехал обратно в Петербург. В этот же день был убит Плеве, о чем утром в Берлине получилась телеграмма. Как по приезде моем в Берлин, так и по окончании переговоров я получил прелюбезные телеграммы от императора Вильгельма.

Когда я вернулся, в Петербурге шла речь о том, кого назначить вместо Плеве. Государь меня холодно поблагодарил за заключение торгового договора, но ни о чем, ни о внутренних, ни о внешних делах не говорил.

Между тем перед выездом моим из Берлина я получил от агента министерства финансов в Лондоне д. с. с. Рутковского письмо, к которому было приложено донесение его нашему послу по поводу делаемого японским послом в Лондоне Гаяши через бывшего немецкого дипломата, проживающего в Лондоне, предложения его встретиться со мною где-либо на пути из Нордерней и войти в соглашение о мире до падения Порт-Артура, при чем Гаяши заявил, что в таком случае условия мира будут более легкие для России, нежели после того, как Порт-Артур будет взят японцами. Действительно Гаяши делал это предложение.

Тогда был самый удобный случай покончить ужасную войну. Замечательно, что почти в то же время наш герой Порт-Артура генерал Кондратенко имел мужество писать Стесселю, упрашивая его донести государю откровенно о положении дела, рекомендуя, чтобы избегнуть больших бедствий для России, войти в мирные переговоры с Японией.

Если бы тогда мне было поручено вести переговоры, то, вероятно, дело ограничилось бы тем, что мы потеряли бы Квантунскую область с Порт-Артуром и влияние наше в Корее, но за нами осталась бы вся южная ветвь Восточно-Китайской ж. д. и весь Сахалин, а главное в нашей истории не было бы позорных Ляоянов, Мукденов и Цусим.

В Германии я не получил никаких указаний по поводу предложения Гаяши. Вернувшись в Петербург, граф Ламсдорф мне сказал, что соответствующее донесение нашего посла графа Бенкендорфа было получено и представлено его величеству, но не имело никаких последствий. Государь вообще, не разговаривая со мною ни о каких делах, не говорил и об этом деле. Тогда я был в первой моей опале. Я сейчас же после представления государю уехал к себе в Сочи, где и пришлось пережить известие о поражении при Ляояне.

Куропаткин, отступив в Мукден, издал упомянутый приказ, что больше отступления не будет, но я уже перестал верить Куропаткину, убедившись в правильности сделанного мне много лет тому назад определения его А. А. Абазой «умный, храбрый генерал, но с душою штабного писаря». Меня не смущали отступления, как система действий, ибо они входили или должны были входить в план действия, но они внушали мне сомнения и разочарования, потому что отступали вынужденно, с громадными потерями, тогда, когда хотели итти вперед. Мы к войне не были готовы, потому что не хотели ее. Никто к ней серьезно не готовился. Главным образом потому мы ее и проиграли, но мы ее

проиграли позорно и ужасно, потому что все, что делалось в последние годы, а в том числе и ведение войны—была ребяческая игра, часто науськиваемая самыми дурными инстинктами.

Все, что мы пережили, не образумило того, кого это прежде всего должно было образумить. Эта игра ведется и теперь и, ох, как дурно она может кончиться!.. (сие писано 13 августа нашего стиля 1907 г.).

Не желая войны, ответственные министры хотели соответственно и вести дела и войны бы не было, но неответственная банда внушила государю, что можно не желать войны, но действовать, не признавая ничьих интересов, «моему нраву не препятствуй». Государь не желал войны, но действовал так, что война сделалась неизбежной *.

30 июля 1904 г. произошло выдающееся событие в истории Российской империи, а именно рождение наследника Алексея Николаевича. 11 августа произошло его крещение. Я часто себе задаю гамлетовский вопрос, что будет с этим августейшим юношей, и молю бога о том, чтобы в нем Россия нашла успокоение и начала новой своей жизни в полном величии, соответствующем духу и силе великого русского народа. Дай бог, чтобы это было так.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Назначение Святополк-Мирского министром внутренних дел. Указ 12 декабря 1904 года.

* После убиения Плеве явились различные интриги, кого провести в министры внутренних дел: так некоторые рекомендовали Штюрмера, бывшего директора канцелярии у Плеве, и даже Штюрмер представился государю. Какой он имел с государем разговор, мне неизвестно. Другие указывали на генерала Валя, который был товарищем министра внутренних дел одно время при Плеве. Наконец, государь остановился на Мирском, главным образом, вследствие особой рекомендации его государю со стороны Милашевич (Гендов), которая по первому мужу была Шереметьева (начальник конвоя при Александре III), а по рождению графиня Строганова, дочь принцессы Лейхтенберг-ской, дочери императора Николая I Марии Николаевны.

Государь, еще будучи наследником, часто бывал у Шереметьевых и с ней был в очень хороших отношениях, и она оказала большое влияние на назначение Мирского. Мирский сам по себе, как я уже имел случай говорить, представлял и ныне представляет человека выдающегося по своей нравственной чистоте. Это человек совершенно кристально чистый, безукоризненно честный, человек высоких принципов, редкой души человек и очень культурный генерал генерального штаба.

Конечно, назначение Мирского представляло собой своего рода флаг. Когда Мирский был назначен, я был на Кавказе в Сочи. Мирский почему-то считал, что я должен быть назначен вместо Плеве, а потому, когда он сделался министром, то дал мне телеграмму, как будто оправдывая себя. Я ему от всей души ответил, выражая глубокую радость и удовлетворение по поводу его назначения. К сожалению, Мирский был назначен очень поздно, когда уже Россия была так революционизирована внутренними событиями, а ранее неудачами на войне, что переме-

нить положение дела было для него непосильно, тем более, что государь, назначив его, все-таки продолжал слушать советы крайних реакционеров, которые мешали Мирскому принять новый курс внутренней политики. При этом я должен сказать, что Мирский при всех его высоких нравственных качествах, с точки зрения государственной опытности, был новичком, да и характер у него довольно мягкий. С этой точки зрения, конечно, он не соответствовал тому трудному положению дела, в котором находился бы всякий министр внутренних дел.

* Святополк-Мирский был губернатором при Горемыкине, товарищем министра внутренних дел и начальником жандармов при Сипягине. Уже при Сипягине он собирался уйти, хотя был большим его приятелем. Он упрекал Сипягина в различных мерах, напрасно раздражающих общественное мнение.

Я тоже часто говорил Сипягину, что меры эти, не успокаивая смуту, только раздражают благоразумных людей. Достаточно сказать, что член Государственного Совета, бывший начальник уделов, генерал, раненый во время восточной войны, был сослан в свое имение за то, что, во время беспорядков на Казанской площади революционеров и молодежи, вошел в пререкания с полицейскими, действия коих ему показались некорректными,—князь Вяземский, крупнейший землевладелец, ныне один из самых правых членов Государственного Совета. Как-то раз, когда я говорил Сипягину в присутствии его жены, что меры эти не приведут к добру, он, оправдывая их и находя их необходимыми, сказал мне:

— Если бы ты знал, что от меня государь требует. Государь считает, что я весьма слаб.

Когда после убийства Сипягина на его место был назначен Плеве, Мирский откровенно с ним объяснился и высказал, что, зная его идею, не может оставаться его помощником. Плеве просил его некоторое время остаться, дабы его уход не имел вида демонстрации, и очень скоро после того Мирский был назначен генерал-губернатором в Вильну.

Везде, где Мирский служил, его всюду любили и уважали. Он, несомненно, благороднейший, честнейший и благонамереннейший человек с малым государственным опытом, довольно слабый физически, по природе умный и образованный. Вступив в управление министерством, он объявил принцип, что управление России должно зиждиться на доверии к обществу. Это им было сказано одной депутации и сделалось лозунгом того времени. Затем то же самое им было сказано и развито какому-то иностранному корреспонденту, который свое интервью напечатал.

Прочитав это в Сочи, я сейчас же подумал: не сдобровать Мирскому. Еще в Сочи мне писали, что государь не доволен интервью Мирского с иностранным корреспондентом. В октябре

я возвратился в Петербург. Я хорошо знал и очень дружен с Мирским. Как только я приехал в Петербург, я поехал к нему. Тогда должен был собраться так называемый съезд общественных деятелей, составленный из земцев, городских деятелей и некоторых политиканов, сделавшихся затем коноводами, так называемых кадетов (Милюков, Гессен, Набоков и пр.). Съезды эти Плеве запрещал, так как они проводили идею водворения конституции. Замечательно, что многие из деятелей этого съезда ныне бросились совсем вправо, но тогда все образованные и, так называемые, интеллигентные люди, за самыми малыми исключениями, требовали переворота, т.-е. объявили войну бюрократии, а когда их спрашивали, что они подразумевают под бюрократией, то они отвечали: неограниченную верховную власть, но что они не могут так писать и говорить в виду цензуры и репрессий.

При Плеве съезды эти собирались конспиративно, на частных квартирах, но затем решения их делались всем известными. Теперь они обратились к Мирскому с просьбою разрешить им этот съезд гласно. Мирский разрешил с тем, чтобы съезд собрался в Петербурге, и затем поставил некоторые ограничительные условия.

При первом моем свидании с Мирским я ему поставил вопрос, как относится государь к его действиям. Он мне ответил, что когда его величество предложил ему занять пост министра внутренних дел, он ему доложил, что ни физические силы, ни способности не дозволяют ему принять этот пост, но государь настаивал на том, чтобы он исполнил его желание, обещав ему несколько месяцев в году отдыха. На это Мирский доложил его величеству, что кроме того он имеет свои политические взгляды и убеждения и что он не может поступить иначе, как велит ему его совесть.

Взгляды его таковы, что правительство и общество в настоящее время составляют два воинствующих лагеря, что такое положение дела зарождалось издавна, но несчастная война это положение довела до крайности и что такое положение вещей невозможно, так как государство при таких условиях долго существовать не может. Таким образом он считает, что необходимо примирить правительство с обществом, а это возможно только путем удовлетворения назревших и справедливых желаний общественных кругов, а равно и удовлетворением справедливых желаний инородцев.

Государь ему сказал, что он сам того же мнения и что потому он не встретит препятствий к проведению этих мыслей. Тогда Мирский верил, что это будет так. По поводу съезда я ему сказал, что, по моему мнению, относительно этого съезда у него

выйдет недоразумение, и что съезд в той или другой форме постановит желание конституции, а это, конечно, будет отвергнуто, и что, следовательно, вместо начала примирения правительства с общественным мнением произойдет еще большее обострение.

Так и случилось. На его вопрос, буду ли я его поддерживать по поводу его политики, я ему ответил, что мои чувства и отношения к нему таковы, что я его, как Мирского, буду всегда поддерживать, а что касается его политики, то при теперешнем отношении ко мне государя, мои мнения не будут иметь значения в его глазах... Но, если государь меня будет призывать на совещания, то я буду высказываться так, как это все время делал, с полной откровенностью, не обращая внимания на то, нравятся ли мои суждения государю и членам совещания или не нравятся.

Когда я вернулся в Петербург, то ко мне зашел один чиновник из министерства внутренних дел, чтобы мне сказать, что в департаменте полиции все ищут какую-то брошюру, мною написанную по поводу войны. Встретив через несколько дней Мирского, я его спросил, какую это брошюру ищет департамент полиции. Он мне ответил, что ничего не знает, и был удивлен этим вопросом. На другой день он приехал ко мне и рассказал следующее.

Дворцовый комендант генерал-адъютант Гессе, помимо его, Мирского, передал директору департамента полиции Лопухину высочайшее повеление, чтобы была разыскана брошюра, мною написанная по обстоятельствам, предшествовавшим войне, и что департамент нашел, что такая брошюра была напечатана в типографии министерства финансов. Найти же эту брошюру департамент не может кроме нескольких корректурных листков. Затем Мирский прибавил, что он высказал свое неудовольствие Лопухину, что это делается помимо него, и показал мне найденные листки.

Я сейчас же узнал, что дело идет о брошюре совершенно академического характера, составленной канцелярией министерства финансов в бытность мою министром финансов, в которой документально и кратко изложены все обстоятельства по политике на Дальнем Востоке до 1901 г. (В министерстве было в обычае составлять печатные издания по поводу всех выдающихся, касающихся министерства, событий и проектов.)

Брошюра эта самого невинного содержания при обыкновенном нормальном положении вещей (она приложена к моей истории о возникновении Русско-Японской войны). Когда начались сумасшествия, приведшие к войне, опасаясь, чтобы факты, изложенные в записке, не попали в печать и не отяготили поло-

жения лиц, ответственных за безумие, приведшее к войне, я приказал все экземпляры этой брошюры сжечь, оставив у себя лишь несколько экземпляров.

Рассмеявшись по поводу сообщения Мирского, я вынул из шкафа экземпляр сказанной брошюры и сказал ему, чтобы он ее передал от моего имени государю, доложив ему, что я очень сожалею, что государь не обратился за этой брошюрой прямо ко мне. После я спрашивал Мирского, передал ли он брошюру государю и сказал ли то, что я просил сказать. Мирский ответил утвердительно. Тогда я спросил:

— А что же сказал государь?

Мирский ответил, что он только спросил, наверно ли эта брошюра не распространена, на что Мирский ему ответил, что лучшим доказательством тому служит тот факт, что департамент полиции несколько месяцев старался ее достать, не жалея денег, а достать не мог.

В это время война принимала все худший и худший оборот, и потому у адмирала Абазы и дворцовой камарильи явилась мысль свалить войну на мою шею. Тогда уже начали появляться в этом смысле то в одной, то в другой газете, в особенности в «Московских Ведомостях», статьи.

Князь Мещерский по приезде моем из Сочи обратился ко мне с просьбой, чтобы я попросил Мирского его принять, при чем заявил, что по его опытности он мог бы ему принести громадную пользу. Я отказался от этого поручения, сказав, что, зная Мирского, уверен, что он не пожелает им инспирироваться. Об этом я между прочим передал Мирскому, указав на то, что Мещерский находится в постоянной переписке с его величеством. Мирский мне ответил, что он это знает и имел по этому предмету разговор с государем. Он мне сказал, что как-то государь ему что-то сказал о Мещерском и что тогда Мирский сказал государю, что он с такими личностями не знается, что факт постоянных сношений государя с Мещерским известен многим и что все порядочные люди сожалеют и возмущаются этим, ибо порядочные люди не могут иметь никаких сношений с такими субъектами. Действительно, с тех пор отношения государя к Мещерскому начали ослабевать и совсем прекратились, хотя Мещерский продолжал писать государю свои политические соображения в форме дневника [1]).

---

[1]) Теперь отношения эти сделались опять интимными благодаря флигель-адъютанту капитану Нилову, который в молодости был любимец Мещерского (1912 год).

Между тем во время этих внутренних перипетий наши военные дела на Дальнем Востоке с каждым днем шли все хуже и хуже. Между Куропаткиным и Алексеевым, конечно, происходили разногласия. Куропаткин, имея в виду систему осмысленного отступления до момента сбора всех необходимых сил, имел эту программу лишь в голове, проповедуя все терпение и терпение, но проводить эту программу в должной системе не мог, ибо главнокомандующий Алексеев, который в сущности не принимал никакого участия в боях, да и не мог принимать никакого участия по полному невежеству в этом деле, проповедывал обратную систему, а именно, что нам не только не нужно отступать, а нужно итти на Порт-Артур и спасти и взять Порт-Артур и выбить японцев. Ему, сидя в своем роскошном кабинете, легко было говорить, что нужно итти на Порт-Артур и взять его, но вопрос заключался в том, чем его взять.

Таким образом военные действия находились под влиянием двух планов: один план Алексеева,—план наступления на Порт-Артур, а другой план Куропаткина,—план осмысленного отступления к Харбину. В конце концов, конечно, ни один из этих планов осмысленно не приводился к исполнению. Обе стороны обращались в Петербург и многие из действий на театре войны происходили по команде из Петербурга. Конечно, такой способ ведения войны был совершенно неслыханным по своей абсурдности, а потому он и не мог давать никаких других результатов, кроме тех, что мы систематически терпели самые позорные отступления. В конце концов эта разноголосица дошла до таких размеров, что наместник и главнокомандующий действующей армией Алексеев был вызван в Петербург и вместо него главнокомандующим был назначен 14 октября командующий войсками генерал-адъютант Куропаткин.

Князь Мирский подал государю доклад с приложением проекта указа о различных вольностях, в том числе о привлечении в Государственный Совет выборных и о даровании полной свободы вероисповедания старообрядцам. Это был первый шаг к преобразованиям, задуманным Мирским. Как доклад сей, так и проект указа составлял служащий министерства Крыжановский под руководством князя А. Оболенского (будущего обер-прокурора), который, по обыкновению, всюду вмешивался, всюду высказывал свои идеи, часто неглупые, а большею частью внушенные неспокойною душою, в сущности неврастенией. Он после событий 17 октября мне вполне открылся.

Это по натуре умный и благонамеренный Добчинский, но страдавший и поныне страдающий неврастенией в точном смысле медицинского термина. О сказанном докладе я ничего не знал,

никто тогда о нем ничего не говорил и он нигде не обсуждался. Мне его передал князь Оболенский значительно позже ухода Мирского, и ныне он находится в моем архиве.

В ноябре 1904 г. государь собрал совещание по вопросу о том, какие следует принять меры по поводу сказанного доклада Мирского. В совещание это были приглашены все министры: Коковцов, Лобко, Ермолов, Муравьев, Ламсдорф, Сахаров, великий князь Александр Михаилович, Мирский, Победоносцев, Авелан, затем Будберг (главноуправляющий комиссией прошений), Танеев (главноуправляющий канцелярией), генерал-адмирал Рихтер, граф Воронцов-Дашков, граф Сольский, Э. В. Фриш и я. Мне передавали, что государь не хотел меня приглашать, но его уговорил Мирский. Это мне передавал князь Оболенский.

Самый вопрос, поставленный в совещании, для меня был признаком того, что государь далеко ушел в своем политическом мировоззрении, ибо ранее, когда мне приходилось при докладе говорить: таково общественное мнение, то государь иногда с сердцем говорил:

— А мне какое дело до общественного мнения.

Государь совершенно справедливо считал, что общественное мнение, это есть мнение «интеллигентов», а что касается его мнения об интеллигентах, то князь Мирский мне говорил, что когда государь ездил по западным губерниям и, задолго до назначения его, Мирского, министром, он в качестве генерал-губернатора его сопровождал по вверенным ему губерниям, то раз за столом кто-то произнес слово «интеллигент», на что государь заметил: «как мне противно это слово», добавив, вероятно, саркастически, что следует приказать академии наук вычеркнуть это слово из русского словаря.

Государю внушали, что за него весь народ, вся неинтеллигенция. В принципе это верно: народ всегда был за царей, которые были за народ, но трудно ожидать, что весь народ за царя, когда государь управляет посредством «дворцовой дворянской камарильи», которая, в свою очередь, считает, что она есть соль земли русской, что все должно делаться для нее и во всяком случае через нее.

Если бы государь после Портсмутского мира сам по собственной инициативе сделал широкую крестьянскую реформу в духе Александра II, сам по собственной инициативе дал известные вольности, давно уже назревшие, как, например, освободил от всяких стеснений старообрядцев, смело стал на принцип веротерпимости, устранил явно несправедливые стеснения инородцев и пр., то не потребовалось бы 17 октября. Общий закон таков, что народ требует экономических и социальных реформ. Когда правительство систематически в этом отка-

зывает, то он приходит к убеждению, что его желания не могут быть удовлетворены данным режимом, тогда в народе экономические и социальные требования откладываются, и назревают политические требования, как средство для получения экономических и социальных преобразований. Если затем правительство мудро не регулирует этого течения, а тем паче, если начинает творить безумие (Японская война), то разражается революция. Если революцию тушат (что мной и моими сотрудниками было сделано—созыв Думы), но затем продолжают играть направо и налево, то водворяется анархия.

Величайшая анархия проявляется ныне в действиях так называемого Союза русского народа, являющегося вторым правительством, и государь сегодня подписывает акты правительства (министерства Столыпина), а завтра своеволит, поощряет и думает опираться на этих бессознательных людей, руководимых политическими негодяями или безумцами. Насколько государь убежден, что за него всегда будет весь народ, может быть характеризовано следующим разговором, который имел Мирский незадолго до своего ухода с поста министра внутренних дел с императрицею Александрою Феодоровною, которая руководит волею и склонностями государя и которая больше всего виновата в том, что царствование Николая II так несчастно для него и для России. Дай бог, чтобы не кончилось еще хуже, в особенности для него.

Зная государя с юношеских лет, я его люблю, как человека, самым горячим и искренним образом, и если у меня накопляется иногда чувство злобы против него, то чувство это подсказывается досадою за то, что царь губит себя, свой дом и наносит раны России, тогда как все это могло бы быть устранено, все это могло бы не быть.

Заговорив о политическом положении, Мирский сказал императрице, что в России все против существующих порядков. На это императрица резко заметила:

— Да, интеллигенция против царя и его правительства, но весь народ всегда был и будет за царя.

На это Мирский ответил:

— Да, это верно, но события всегда творит всюду интеллигенция, народ же сегодня может убивать интеллигенцию за царя, а завтра—разрушит царские дворцы, это—стихия.

Мнение, высказанное императрицею, было положено в основание закона 6 августа 1905 г. о Думе. Весь выборный закон был основан на том, что нужно дать главнейший голос крестьянству; нужно, чтобы Дума была если не крестьянская, то преимущественно крестьянская. В нем историческая основа консерватизма.

Эту мысль, как мне говорили, в заседаниях, бывших под председательством его величества в Петербурге перед 6 августа,

когда я был в Америке, усиленно проводили два столпа консерватизма: Победоносцев и государственный контролер Лобко. Выборный Булыгинский закон лег в основание и выборного закона 12 декабря 1906 г. Он не мог не лечь в его основание, как это видно и из текста манифеста 17 октября 1905 г., так как манифест повелевал, не останавливая уже начатых по закону 6 августа выборов, сделать в нем лишь возможные расширения.

Что же крестьянство дало в первую и вторую Думу? Наиболее крайние левые элементы и массу революционеров. Вот тебе и консерватизм крестьянства! Консерватизм крестьянства в настоящей стадии его развития и при настоящей взбаламученности—это фраза, ибо стихии не подчиняются законопоследовательности *.

Возвращаюсь к совещанию. Его величеству угодно было высказать, что, в виду того революционного направления, которое с каждым днем все более и более усиливается в России, он созвал своих советников для того, чтобы обсудить, какие меры надлежит принять в смысле удовлетворения желаний умеренного и благоразумного общества; при чем сперва был поставлен вопрос: нужно ли итти навстречу этому обществу или надо продолжать прежнюю реакционную политику Плеве, которая привела к последовательному убиению двух министров внутренних дел—Сипягина и Плеве.

Мне пришлось говорить первому; я высказал свое решительное мнение, что вести прежнюю политику реакции—совершенно невозможно, что это приведет нас к гибели. Меня поддержали: граф Сольский, Фриш, Алексей Сергеевич Ермолов, Николай Валерианович Муравьев и Владимир Николаевич Коковцов, при чем последний поддержал меня с той точки зрения, что при бывшем в то время направлении нашей внутренней политики мы постепенно теряем доверие в финансовых кругах заграницей, и такое положение дела при войне, которая до настоящего времени идет крайне для нас неблагоприятно,—может привести финансы к полному разорению.

Князь Мирский почти не высказывал своего мнения, потому что, очевидно, он свое мнение высказал государю ранее, наедине.

Константин Петрович Победоносцев относился к нашим заявлениям критически, не высказываясь безусловно против; он все-таки свои реплики, свою речь сводил на присущее ему направление, т.-е. что лучше всего ничего не делать.

* Но наибольший разговор возбудил вопрос о привлечении выборных к участию в законодательстве. Большинство говорило за, против говорил К. П. Победоносцев. Вообще, как всегда, он говорил умно, и его критические замечания были весьма сильны,

но заключения неопределенны. Я ничего не говорил, но когда государь обратился ко мне, чтобы я высказался по вопросу о выборах, я сказал, что, по моему убеждению, существующий порядок управления государством не соответствует потребностям его и находится в противоречии с самосознанием почти всех интеллигентских классов и что поэтому я разделяю мнение тех, которые говорят за необходимость этой меры, но нахожу, что выставляемый ими довод, будто бы это не поколеблет существующий государственный строй, не верен. Я, конечно, не думаю, чтобы они представляли этот довод, сознавая его верность, дабы достигнуть того, к чему они стремятся, но, по моему глубокому убеждению, всякое правильное организованное и постоянное участие выборных в законодательстве неминуемо приведет к тому, что называется конституцией. Как это бывало большею частью, совещания под председательством государя, когда не было определенного написанного материала, никогда не приводили к определенно формулированным заключениям, так было и на этот раз *.

В конце концов, его величество согласился с мнением большинства, при чем государю благоугодно было поручить составить соответствующий проект указа мне, как председателю комитета министров, и управляющему канцелярией комитета министров барону Нольде, который тоже присутствовал на заседании, но по своему положению во время заседания молчал. В заседании говорилось о тех предметах, которых указ должен коснуться. Указывалось на необходимость восстановить в Российской империи законность, которая была значительно поколеблена в последние годы, а кстати сказать, в настоящее время и совсем свергнута в пропасть; на необходимость законов об инославных и иных не православных вероисповеданиях, и в особенности, говорилось о необходимости уничтожить суровые законы относительно старообрядцев, говорили вообще о необходимости веротерпимости и большей свободы вероисповеданий; высказывались о необходимости привлечь общественных деятелей к общественным делам, особливо местным, т.-е., иначе говоря, расширить земские полномочия и земскую деятельность, а равно и городские полномочия и городскую деятельность и проч. При этом был возбужден вопрос: каким путем пересмотреть все надлежащее законодательство и сделать в нем и в жизни Российского государства необходимые преобразования?

Было решено, что все эти вопросы должны быть рассмотрены в комитете министров, что комитет министров должен дать направление всем этим преобразованиям и, по мере обсуждения вопросов, в случае необходимости, испрашивать высочайших указаний.

Это совещание окрылило дух присутствующих; все, повидимому, были взволнованы мыслью о новом направлении государ-

ственного строительства и государственной жизни, которую его величеству благоугодно дать великой России.

Престарелый граф Сольский в конце заседания обратился к его величеству от имени присутствующих с прочувствованными словами о той благодарности, которую питают все присутствующие и которую, несомненно, разделяет и вся Россия к почину государя императора.

Вся эта сцена была столь трогательна, что некоторые из членов, а именно князь Хилков, министр путей сообщения, и Алексей Сергеевич Ермолов расплакались.

После заседания я с покойным бароном Нольде занялся выработкой известного исторического указа 12 декабря 1904 г., который я здесь не привожу, ибо всякий, кто им интересуется, может его найти в собрании узаконений.

Проект указа в установленной мною и бароном Нольде редакции был подписан всеми членами совещания. Насколько я помню, лишь один Константин Петрович Победоносцев сделал некоторые затруднения, и я в точности не уверен, подписал он его или нет, — кажется, подписал.

Проект этого указа под заглавием: «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» — был представлен его величеству.

Прошло несколько дней, и 11 декабря утром я получил записочку его величества, в которой он меня просил приехать к нему вечером. Я приехал в Царское Село после обеда.

Его величество принял меня, по обыкновению, в своем рабочем кабинете.

Войдя в кабинет, я увидел, что его величество находится вместе с московским генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем. Его величество просил меня присесть. Мы втроем сели. Затем его величество обратился ко мне со следующими словами:

— Я указ этот одобряю, но у меня есть сомнение только по отношению одного пункта.

(Это именно был тот пункт, в котором говорилось о необходимости привлечения общественных деятелей в законодательное учреждение того времени, а именно Государственный Совет).

Его величество сказал мне, чтобы я совершенно откровенно высказал ему свое мнение по поводу этого пункта и дал ему совет: оставить этот пункт или не оставлять.

Я ответил государю императору, что указ этот, а в том числе и пункт, о котором его величеству угодно говорить, составлен под моим непосредственным руководством, а посему, по существу, я этот пункт разделяю и считаю, что ныне своевре-

менно пойти на меру, которую этот пункт провозглашает. Что же касается повеления его величества дать ему совет, то я по совести должен сказать следующее: привлечение представителей общества, особливо в выборной форме в законодательные учреждения есть первый шаг к тому, к чему стихийно стремятся все культурные страны света, т.-е. к представительному образу правления, к конституции; несомненно, то будет первый весьма умеренный и ограниченный шаг по этому пути, но современем он может повести и к следующим шагам, а поэтому мой совет таков: если его величество искренно, бесповоротно пришел к заключению, что невозможно итти против всемирного исторического течения, то этот пункт в указе должен остаться; но если его величество, взвесив значение этого пункта и имея в виду, — как я ему докладываю, что этот пункт есть первый шаг к представительному образу правления, — с своей стороны находит, что такой образ правления недопустим, что он его сам лично никогда не допустит, то, конечно, с этой точки зрения, осторожнее было бы пункт этот не помещать.

* Во время этого разговора зашла речь о земских соборах. Я высказал убеждение, что земские соборы это есть такая почтенная старина, которая при нынешнем положении неприменима; состав России, ее отношения к другим странам и степень ее самосознания и образования и вообще идеи XX и XVI века совсем иные *.

Когда я высказал свое мнение, его величество посмотрел на великого князя, который, видимо, был доволен моим ответом и одобрил его.

После этого государь сказал мне:

— Да я никогда, ни в каком случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне богом народа, и поэтому я последую вашему совету и пункт этот вычеркну.

Затем он встал, очень меня побладарил.

Я откланялся государю и великому князю и с указом, в котором был вычеркнут этот пункт (а впоследствии утвержден государем), вернулся в Петербург.

Как раз в этот день было совещание по сельскохозяйственной промышленности. В виду того, что я был в отсутствии, вместо меня председательствовал старейший член Семенов-Тянь-Шанский. Я вернулся, когда заседание [1]) еще не было кончено, и вступил в председательствование.

На заседании находился, между прочим, и князь Мирский. Я написал князю Мирскому на бумажке приблизительно сле-

[1]) Заседание это происходило в советской комнате министра финансов.

дующие строки: «Указ утвержден и посылается для опубликования, но такой-то пункт вычеркнут».

Это сообщение, повидимому, очень огорчило князя Мирского. После заседания я подробно объяснил ему все происшедшее. Указ этот был опубликован в собрании узаконений 12 декабря 1904 г.

11-го вечером я видел последний раз великого князя Сергея Александровича.

Наступил 1905 г. Смута в России в умах всего общества, без исключения, во всех его слоях все более и более росла по мере наших постыдных неудач на Дальнем Востоке.

Центральным местом проявления смут, или выражаясь более современно, революционного настроения, революционного движения была все время Москва.

Великий князь Сергей Александрович, по существу весьма благородный и честный человек, но вследствие, с одной стороны, своей ограниченности и государственной неопытности, а с другой стороны, упрямого характера, проводивший в Москве реакционные полицейские меры, которые крайне озлобляли все слои общества, встал в Москве в положение совсем невозможное.

Между прочим, к несчастью, он окружал себя лицами крайне ограниченными, с полицейскими инстинктами: таков был и. д. обер-полициймейстера во время Ходынки полковник Власовский, таков был и обер-полициймейстер генерал Трепов, который, в сущности говоря, был московским генерал-губернатором.

Так как направление политики великого князя Сергея Александровича, а в сущности говоря, политики генерала Трепова, не могло получить никакой поддержки в министре внутренних дел князе Святополк-Мирском, то великий князь благоразумно пожелал оставить пост генерал-губернатора и 1 января 1905 г. был освобожден от этой должности, но назначен командующим войсками московского военного округа, а вместо него остался его помощник Булыгин.

В 1905 г. революционная завируха в России начала разыгрываться быстрыми шагами.

Уход великого князя с поста генерал-губернатора для министра юстиции Николая Валериановича Муравьева, который был в высокой степени умный, ловкий и замечательно талантливый человек, был признаком того, что наступает эра всевозможных случайностей и катастроф, а поэтому, как крысы перед бурей покидают корабль, так и он решил устроиться где-нибудь в более тихой бухте, понимая, что всю эту карьеру, в сущности, ему сделал великий князь Сергей Александрович, что пока

еще Сергей Александрович в силе, а там, бог знает, что будет,— может быть у него уже было предчувствие, что великому князю Сергею Александровичу, с одной стороны, вследствие своей прямолинейности и ограниченности, а с другой стороны, чести и благородства не сдобровать, что анархисты будут на него точить зубы. В виду этих обстоятельств и после всех этих событий, Муравьев упросил великого князя Сергея Александровича походатайствовать перед государем, чтобы его сделали послом, при чем он очень ходатайствовал, чтобы его назначили послом в Париж; но в Париже никак не могли открыть вакансии. Когда же открылся пост в Вене, туда был назначен римский посол Урусов, а Муравьев был назначен в Рим [1]).

Если бы только указ 12 декабря, даже и с вычеркнутым пунктом, получил быстрое, полное, а главным образом, искреннее осуществление, то я не сомневаюсь в том, что он значительно бы способствовал к успокоению революционного настроения, разлитого во всех слоях общества.

К сожалению, как это будет видно из последующих моих рассказов, осуществление указа встретило скрытые затруднения, а затем и крайне неискреннее к нему отношение—через несколько недель после того, как этот указ был издан.

Вследствие этого, указ 12 декабря не мог послужить к успокоению общества, а напротив, иногда служил еще к большему возбуждению общества, ибо если не все, то часть общества скоро и легко разобралась в том, что то, что было дано, уже желают свести на нет.

---

[1]) *Муравьев человек с большим талантом речи, образованный, умный, но что касается нравственности—очень слаб. Если бы он не был Муравьев, а родился в семье какого-нибудь мещанина Иванова, то, конечно, давно бы кончил очень плохо.

Когда я оставил пост председателя совета министров и явился к государю откланяться, он мне между прочим сказал, что хотел предложить место председателя совета Муравьеву и прибавил:

— Но он пользуется такой дурной репутацией, как человек, что я оставил эту мысль.

Тем не менее, это не помешает государю при случае назначить его на другой выдающийся пост*.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

9 января.

6 января, во время традиционной процессии крещения, когда его величество со всем духовенством и блестящею свитою вошел в беседку присутствовать на освящении воды митрополитом и когда, после этого священного акта, традиционно с Петропавловской крепости, находящейся против беседки, на другой стороне Невы, начали стрелять орудия, то оказалось, что одно из орудий было заряжено не холостым зарядом, а боевым, хотя и весьма устарелым, тем не менее, если бы этот снаряд попал в беседку, то он мог бы произвести большую катастрофу.

Из расследования потом оказалось, что это был простой промах, простая случайность, и государь император отнесся к лицам, допустившим этот промах, эту случайность, — крайне милостиво, как вообще государь всегда относится к военным. К этому сословию его величество особливо милостив, особливо добр.

Тем не менее, случай этот во многих слоях общества трактовался как покушение, если не на царскую жизнь, то на царское спокойствие.

Не прошло после этого и трех дней, а именно 9 января произошло известное шествие рабочих под главенством священника Гапона.

Я ранее имел случай говорить о тех полицейских организациях рабочих, которые ввел покойный Плеве и которые получили наименование «зубатовщины». Тогда же я рассказывал о приглашении в руководители рабочих священника Гапона, к которому Плеве питал полное доверие.

Это доверие к полицейским рабочим организациям после ссылки во Владимир Зубатова и убиения Плеве сохранилось у тогдашнего градоначальника генерала Фулона.

Генерал Фулон заменил градоначальника генерала Клейгельса, который был сделан его величеством генерал-адъютантом и отправлен в Киев занять место генерал-губернатора после ухода генерала Драгомирова.

Назначение Клейгельса генерал-губернатором в Киеве очень всех удивило, ибо хотя Клейгельс и был недурной градоначальник, по крайней мере не хуже других, которые были ранее его, например, генерала фон-Валя, и, несомненно, лучше бывших после него, а в том числе и нынешнего градоначальника Драчевского, но, тем не менее, он представлял собой человека весьма ограниченного, малокультурного и гораздо более знающего природу жеребцов, нежели природу людей. Но, как человек, — Клейгельс был недурной и довольно комичный, комичный своею важностью. В молодости, вероятно, он был красивый гренадер, и, будучи градоначальником, хотя в то время он был уже в пожилых летах, — он всегда держал себя с сознанием своей красоты, и именно красоты гренадерской, связанной с внешним величием. При чем, когда он начинал говорить, то говорил с расстановкой крайне возвышенными словами, часто иностранного происхождения.

Очень часто Клейгельс начинал разговор с сакраментальной фразы: «хотя я человек известных форм, но...» и т. д. — далее идет какая-нибудь мысль.

Таким образом большинство петербуржцев знало, о ком идет речь, если кто-нибудь произносил фразу: «хотя я человек известных форм» — значит, разговор идет о Клейгельсе.

Кстати сказать, Клейгельс, сделавшись генерал-губернатором в Киеве, во время своего довольно кратковременного генерал-губернаторства ничего ни дурного, ни хорошего не сделал, и местным населением, если не был любим, то и не был ненавидим. Но перед самым 17 октября, когда революция разразилась во всю, когда я вступил на пост председателя совета министров и в Киеве появились громадные беспорядки, Клейгельс как бы исчез со сцены и затем был уволен с должности генерал-губернатора и на место генерал-губернатора был назначен нынешний военный министр Сухомлинов, бывший тогда командующий войсками в Киеве (кстати сказать, он как перед 17 октября, так и после 17 октября не был в Киеве, а был заграницей).

На место Клейгельса петербургским градоначальником был назначен генерал Фулон, который был начальником жандармов в Царстве Польском.

Генерал Фулон, несомненно, по существу порядочный во всех отношениях человек, крайне воспитанный, милый, но, конечно, совершенно чуждый и полицейскому духу, полицейским приемам и полицейскому характеру. Он был бы гораздо более на своем месте, если бы, например, он заведывал петербург

скими институтами. Вследствие такого своего характера, Фулон вполне доверился Гапону и той полицейской организации, которую Гапон должен был устроить с полицейскими целями и которая, затем, преобразилась в демонстрирующую силу.

Как я предсказывал при начале организации зубатовщины, все эти организации, делаемые с целью держать рабочих в полицейских руках, хотя бы при помощи несправедливого отношения к интересам капиталистов, должны привести в известный момент к тому, что эти организации стряхнут с себя полицейское направление и воспримут в той или другой мере социалистические принципы борьбы с капиталом, борьбы не только мирным путем, но и силой и, в этом смысле, представят значительную общественную опасность.

Когда, еще в 1903 г., началось смутное революционное брожение как на верхах, так и внизу, то, конечно, все рабочие организации, прежде всего, восприняли революционный дух и революционное настроение.

Поп Гапон, если бы и хотел, то не мог бы удержать этого течения; но ему и не было никакого расчета удерживать, ибо, как я уже говорил, в то время все, или во всяком случае большинство, спятили с ума, требуя полного переустройства Российской империи на крайне демократических началах народного представительства.

Если в то время таких идей держались Меньшиков и князь Мещерский, ныне ежедневно пишущие самые удивительные реакционные статьи совершенно зоологического характера, то что же удивительного, что не устоял и бедный поп Гапон.

За несколько дней до 9 января было известно, что рабочие приготовляют петицию государю императору, в которой они предъявляют различные не то просьбы, не то требования, касающиеся их бытия. Конечно, требования эти были крайне односторонни, преувеличены и не без известного оттенка революционизма, хотя они и были написаны в довольно приличной форме.

И вот Гапон должен был повести всех этих рабочих, многие тысячи человек, на Дворцовую площадь — бить челом государю императору, при чем они представляли себе, что увидят его величество, вручат ему эту просьбу и затем спокойно удалятся.

Было бы это так или нет — я утверждать не берусь, но полагаю, что если бы я был во главе правительства, то я не посоветовал бы государю выйти к этой толпе и принять от них прошение, но, с другой стороны, вероятно, я бы дал совет, чтобы его величество уполномочил или главу правительства или одного из генерал-адъютантов взять это прошение и предложить рабочим

разойтись, предупредив, что прошение это будет рассмотрено, и по нему последуют те или другие распоряжения. Если же рабочие не разошлись бы, то, конечно, я употребил бы против них силу.

Но дело разыгралось иначе.

Все это движение было для градоначальника Фулона совершенною неожиданностью; он относился к Гапону и ко всем его организациям крайне благодушно и уверял министра внутренних дел, что ничего серьезного произойти не может.

Сам Гапон, как оказывается, пытался видеться с министром юстиции и с министром внутренних дел; виделся ли он с ними или нет, я не знаю, но, во всяком случае, копия петиции, которую они предполагали подать, была им передана. Точно так же и я получил у себя на дому, будучи председателем комитета министров, копию этой петиции.

Так как шествие рабочих было назначено на 9 января, то 8-го у министра внутренних дел было заседание по вопросу о том, как надлежит поступить.

* 8 января я видел министра юстиции, который, расставаясь со мной, мне сказал:

— Сегодня вечером увидимся.

Я спросил:

— Где?

Он ответил:

— У Мирского, там будет совещание о том, как поступить завтра с рабочими, которые под предводительством Гапона решили явиться на Дворцовую площадь и просить государя принять от них петицию.

Я на это ему сказал:

— Я никакого приглашения не получил.

Он ответил:

— Наверное получите. Я в особенности указывал Мирскому на необходимость вас пригласить, так как вы так близко знаете рабочий вопрос, всю жизнь имея с ним соприкосновение.

Никакого приглашения я не получил и, как мне передавали впоследствии, потому, что Коковцов просил Мирского не приглашать меня [1]). Вечером 8-го ко мне вдруг явилась депутация переговорить по поводу дела чрезвычайной важности. Я ее принял. Между ними я не нашел ни одного знакомого. Из них по портретам я узнал почетного академика Арсеньева, писателя Анненского, Максима Горького, а других не узнал. Они начали мне говорить, что я должен, чтобы избегнуть великого несчастия, принять меры, чтобы государь явился к рабочим и принял их

[1]) В. Н. Коковцов будто бы сказал, что меня не следует приглашать, так как я, несомненно, буду поддерживать интересы рабочих.

петицию, иначе произойдут кровопролития. Я им ответил, что дела этого совсем не знаю и потому вмешиваться в него не могу; кроме того до меня, как председателя комитета министров, совсем не относится. Они ушли недовольные, говоря, что в такое время я привожу формальные доводы и уклоняюсь.

Как только они ушли, я по телефону передал Мирскому об этом инциденте *.

Утром 9 января, как только я встал, я увидел, что на улице по Каменноостровскому проспекту шла большая толпа рабочих с хоругвями, образами и флагами; между ними много женщин и детей, а кроме того много из любопытных.

Как только эта толпа, или вернее процессия, прошла, я поднялся к себе на балкон, с которого виден Троицкий мост, куда рабочие направлялись.

Не успел я подняться на балкон, как услышал выстрел, и мимо меня пролетело несколько пуль, а затем последовал систематический ряд выстрелов. Не прошло и десяти минут, как значительная толпа народа хлынула обратно по Каменноостровскому проспекту, при чем многие несли раненых и убитых, взрослых и детей.

Оказалось, что на основании совещания, которое происходило 8 января вечером, было решено, чтобы рабочих манифестантов, или эти толпы рабочих, не допускать далее известных пределов, находящихся близ Дворцовой площади. Таким образом демонстрация рабочих допускалась вплоть до самой площади, но на нее вступать рабочим не дозволялось. Поэтому, когда они подходили к площади (это было около Троицкого моста), то их встречали войска: военные требовали от рабочих, чтобы они далее не шли или возвращались обратно, предупредив, что если они сейчас не возвратятся, то в них будут стрелять. Так было поступлено везде. Рабочих предупредили, они не верили, что в них будут стрелять, и не удалились. Всюду последовали выстрелы, залпы, и таким образом были убиты и ранены, насколько я помню, больше 200 человек.

Это событие, конечно, послужило орудием для лиц, ведших смуту и революцию, для еще большего возмущения народа. Всю эту историю саму по себе неприятную и, по моему мнению, весьма неискусно направленную, конечно, еще взмылили так, что начали рассказывать уже по всей России о том, что были убиты тысячи людей и только из-за того, что они хотели подать своему государю петицию относительно их тяжелого положения. Но даже между благоразумными людьми эта история произвела очень дурное впечатление.

После этой катастрофы Гапон скрылся, бежал.

Это была первая кровь, пролитая в довольно обильном количестве, которая как бы напутствовала к широкому течению, так называемую, русскую революцию 1905 г.

Эта Гапоновская катастрофа произвела смуту не только в обществе, но и в рядах правительства. Все начали критиковать министра внутренних дел, князя Святополк-Мирского, обвиняя его в слабости. Я, с своей стороны, при всей дружбе и уважении к князю Святополк-Мирскому, конечно, не мог не признать, что в этом деле он показал себя слабым, доверившимся человеку еще более слабому, нежели он — градоначальнику генералу Фулону, который, между прочим, был назначен градоначальником по рекомендации дворцового коменданта Гессе; первое время к нему весьма благосклонно относился и государь император.

Как я уже говорил, 1 января ушел московский генерал-губернатор, поэтому, конечно, не мог оставаться на своем посту и обер-полициймейстер генерал Трепов, который, в сущности, и представлял собою московского генерал-губернатора.

Трепов сделал это довольно демонстративно, объяснив свой уход тем, что он не может служить с князем Святополк-Мирским, потому что совсем не разделяет его направления.

Трепов решил ехать на Дальний Восток, на войну, и просил дать ему хотя бы бригаду. Но, тем не менее, ранее чем поехать туда, он заехал в Петербург, а так как он, с одной стороны, был офицер конного полка и был в большой связи с конным полком, а с другой стороны, конный полк являлся самым влиятельным в последнее десятилетие, ибо министр двора барон Фредерикс, а вследствие этого и все высшие чины министерства двора также были из конного полка, то, конечно, генерал Трепов нашел пути к тому, чтобы объяснить, что такого человека, как он, такого твердого, решительного и верного, на которого можно положиться, отпускать в такое смутное время не следует, что именно ему следует поручить борьбу со смутой, революцией и крамолой, и тогда он покажет, «где раки зимуют».

Поэтому, вместо того, чтобы ехать из Петербурга на Дальний Восток, по рекомендации и настоянию министра двора, бывшего командира конного полка, барона Фредерикса, и при поддержке всех своих товарищей, офицеров конного полка, Трепов получил назначение: 11 января, через три дня после Гапоновской катастрофы, было учреждено с.-петербургское генерал-губернаторство, и на должность с.-петербургского генерал-губернатора был назначен генерал-майор Трепов, который к тому же еще поселился в одном из отделений Зимнего дворца.

Конечно, при таком обороте дел князь Святополк-Мирский не мог оставаться министром внутренних дел, и, таким образом, через неделю после назначения Трепова, а именно 18 января он был уволен с этого поста.

Говорят, что когда князь Святополк-Мирский увольнялся, то ему было предложено занять пост кавказского главноначальствующего; пост этот в то время был вакантен, вследствие увольнения князя Голицына, но, затем, к этому вопросу никогда более уже не возвращались. Князь Святополк-Мирский считал, что этот пост ему обещан, он туда должен ехать, но никто ему об этом более не упоминал. Князь Мирский и до настоящего времени состоит лишь генерал-адъютантом его величества. Он ведет светскую жизнь и никакими политическими делами не занимается; никогда, ни в какой мере, ни при каких обстоятельствах не кривит душой; никогда ни о каких делах не говорит, никогда ничего не рассказывает, но если просят его мнения, то князь Мирский высказывается так, как он высказывался, будучи министром внутренних дел и ранее, когда он еще не был министром.

* Перед моим выездом заграницу в июне месяце сего (1907) года я как-то говорил с Мирским о печальном, если не ужасном положении дел. Он мне сказал, что все приключившиеся несчастья основаны на характере государя. Государь, которому ни в чем нельзя верить, ибо то, что сегодня он одобряет, завтра от этого отказывается, не может установить в империи спокойствие. Когда Мирский уходил и представлялся, с ним были очень ласковы, хотя не сделали его членом Государственного Совета, а как только он уехал, на него посыпались всякие нарекания. Оказалось, что он виновен во всяких беспорядках, что он есть начало революции, что как только он произнес, что хочет управлять, доверяя России, — все пропало. Конечно, крайние черносотенные газеты объявили, что он поляк, изменник и друг жидов. Одним словом, на него полились без удержу все зловонные отбросы всех российских помойных ям, наполняющих умы, сердца и совесть так называемых «истинно-русских» людей, находящихся под главенством мелкого мошенника Дубровина. Мирский около года был в деревне и заграницею; когда в августе 1906 г. он вернулся в Петербург, то, как генерал-адъютант, желал представиться государю и императрице. Его не захотели принять. Он подал в отставку. Тогда в этот инцидент вмешался барон Фредерикс (министр двора) и Столыпин. Мирского приняли. Как водится, были очень любезны, и, как будто, ничего никогда не было *.

С уходом князя Святополк-Мирского министром внутренних дел и, в сущности говоря, до известной степени даже диктатором

явился новый генерал-губернатор Трепов, ибо петербургский генерал-губернатор с особыми полномочиями, имеющий полное доверие самодержавного монарха и ни с кем, кроме государя императора, не считающийся — сам по себе уже является, если не по форме, то по существу диктатором.

Поэтому, конечно, от Трепова зависело, кого он выберет на пост министра внутренних дел. Он рекомендовал Булыгина, заменявшего в Москве великого князя Сергея Александровича, а ранее бывшего помощником московского генерал-губернатора.

Булыгин представлял собою человека в высокой степени порядочного, честного, благородного, очень неглупого, человека с довольно обширными государственными познаниями, но по характеру и натуре человека благодушного, не любящего ни особенно трудного положения, ни борьбы, ни политической суеты.

Именно такой человек был самым подходящим для Трепова. Будучи министром внутренних дел, он, в сущности говоря, вел лишь только вопросы спокойные, а все вопросы неспокойные, которые и составляли, в то время, всю суть положения дела, велись или самим Треповым или под его влиянием на самого Булыгина и, в особенности, на его величество.

Вследствие этого, несмотря на то, что Булыгин был, можно сказать, назначен Треповым, он все-таки не мог с ним ужиться и в течение почти всего этого времени Булыгин, если и не ссорился постоянно с Треповым, то, во всяком случае, и не сходился с ним [1]). Так что Трепов вел свою линию особо, и Булыгин тоже вел особо свою линию. Булыгин, как человек безусловно честный, благородный, а также спокойный, конечно, не мог следовать по пути Трепова, по тому пути, который отличался полными неожиданностями в решениях, неожиданностями, соответствующими некультурности и невежеству этого гвардейского офицера.

* Почему именно Трепов был назначен? Во-первых, потому, что раз пал престиж Мирского, то естественно в уме государя явилась мысль назначить лицо противоположных воззрений, а эти воззрения у Трепова казались противоположными потому, что Трепов резко государю критиковал Мирского. Такая система действия соответствует натуре государя постоянно качаться то в одно направление, то в другое. Вся система государя это, если можно так выразиться, есть качание на политических качелях. Теперь государь качается на качелях, на одной стороне которой находится, кажется, порядочный, но недалекий Столыпин, а на другой негодяй, тип лейб-кабатчика — Дубровин. Во-вторых, потому что Трепов по наружности своей представлял бравого генерала с страшными глазами, но главное, он был из

[1]) До 17 октября, когда я вступил председателем совета министров, а Булыгин и Трепов должны были уйти.

конной гвардии, а так как Фредерикс сам был в конной гвардии и командовал этим полком, то для него высшей аттестацией человека было то, что сей человек служил в конной гвардии, особливо в то время, когда Фредерикс был ее командиром. Когда Трепов стал генерал-губернатором, то он возымел благую мысль уничтожить ужасное впечатление, произведенное на рабочих 9 января. Но соответственно своим полицейским воззрениям для сего выдумал такой способ.

Поузнавши от фабрикантов имена таких рабочих, на которых можно было вполне положиться, которых можно было даже сделать сыщиками по самым важным политическим делам, он неожиданно взял десяток таких человек, повез их в Царское Село и представил государю, как представителей петербургских рабочих. Рабочие эти засвидетельствовали государю свои верноподданнические чувства, а его величество сказал им заранее приготовленную речь о том, что он знает их нужды и сделает для них все возможное; затем их накормили завтраком и отвезли обратно в Петербург. Конечно, на рабочих такая манифестация не произвела никакого впечатления, а в некоторых фабриках так встретили представителей, ездивших в Царское Село, что они должны были оттуда удалиться *.

Точно так же 21 января государю представлялась депутация от экспедиции заготовления государственных бумаг. Эта депутация была более подлинная, и она произвела некоторое впечатление на умеренных рабочих экспедиции.

* Таким образом явилось два министра внутренних дел, или, вернее, был министр внутренних дел и диктатор. Права Трепова, совершенно диктаторские, истекали из положения о генерал-губернаторстве и товарища министра внутренних дел по полиции, но, главным образом, от особых личных отношений, которые были созданы. Трепов пользовался особым расположением сестры императрицы великой княгини Елизаветы Феодоровны, весьма почтенной и премного несчастной женщины. Расположение это естественно истекало из того, что Трепов был ближайшим сотрудником-руководителем ее мужа великого князя Сергея Александровича, так ужасно погибшего, и именно вскоре после того, как Трепов оставил пост московского обер-полицеймейстера. Это свое расположение она внушила своей сестре императрице.

Благоволение императрицы уже одно было достаточно, чтобы государь оказывал Трепову свое благоволение и доверие, а по натуре государя эти чувства его к Трепову должны были высказаться преувеличенно уже потому, что Трепов находился в медовых месяцах своих отношений к его величеству. Затем

Трепов внушал доверие своею бравою наружностью, страшными глазами, резкою прямотою своей солдатской речи. Речь эта, несомненно, всегда была искренняя и ясная по своей простоте, ибо для лица политически невежественного все кажется просто и ясно. Государю также любы в политических вопросах ясность и прямолинейность, истины, чуждые всяких «интеллигентных» выдумок.

Трепов был ставленник министра двора Фредерикса, который искренне верил, что только такой бравый конногвардеец, как Трепов, и представляет собой того человека, который может водворить дисциплину не только в действиях, но и помыслах всех русских обывателей. Сам Фредерикс по части понимания дел был совсем плох, ему трудно было усвоить не только рассуждения, но и самые простые факты. Его сотрудники его подучивали как школьника перед всяким всеподданнейшим докладом. Он, конечно, сам по себе не мог разобраться в том, правильны или неправильны те или другие действия и предположения Трепова, но у Фредерикса был директор канцелярии генерал свиты его величества, конногвардеец Мосолов, женатый на сестре Трепова, человек смышленный, он всегда мог убедить и внушить Фредериксу все, что Трепов желал. Помощник, ныне начальник походной канцелярии государя князь Орлов, ближайший сотрудник императрицы, добровольный шофер автомобилей, возящих государя и государыню, милый человек, но вместе с тем ничтожный деятель во всяких делах, и несмотря на это интимный советник или наушник в особых случаях — тоже конногвардеец. Все эти люди были на побегушках у Трепова в царских покоях.

Трепов в сущности держал вполне государя, чуть ли не ежедневно писал ему доклады по всяким делам и давал советы, как по внутренним, так и внешним событиям. Одним словом, будучи товарищем министра внутренних дел, он был в то же время диктатором и при этом диктаторе в сущности и была подготовлена вся активная революция, вышедшая из берегов с сентября 1905 г. Трепов не только ее не предупредил, но когда она начала выходить наружу, то после 17 октября оставил поле брани, совсем растерявшись. Очевидно, что с таким товарищем в деловом отношении Булыгин не мог ладить. Он и не ладил, но, так как государь его не отпускал, то спокойно сидел, узнавая о различных новостях по внутренней политике из газет и занимаясь некоторыми особыми делами, главным образом, текущими хозяйственно-административными и составлением проекта о Думе 6 августа.

Конечно, нужно обладать всею апатичностью, которою обладал Булыгин, чтобы переносить такое положение. Он его мужественно переносил, и, когда к нему обращались с вопросом, как

то или другое произошло, он хладнокровно отвечал: «не знаю, мне об этом еще не говорили», или—«я сам это только прочел сегодня в газетах».

Князь Урусов, бывший товарищ министра внутренних дел в моем кабинете, а затем член первой Государственной Думы, определил Трепова в одной из своих речей, сделавшей много шуму и которую для князя Урусова было бы достойнее не произносить, такою фразою: «Вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению». Вообще трудно определить политического деятеля, да и вообще человека, одною фразою.

Человек существо крайне сложное, не только фразою, но целыми страницами определить его трудно. Нет такого негодяя, который когда-либо не помыслил и даже не сделал чего-либо хорошего. Нет также такого честнейшего и благороднейшего человека (конечно, не святого), который когда-либо дурно не помыслил и даже при известном течении обстоятельств не сделал гадости. Нет также и дурака, который когда-либо не сказал и даже не сделал чего-либо умного, и нет такого умного, который когда-либо не сказал и не сделал чего-либо глупого.

Чтобы определить человека, надо написать роман его жизни, а потому всякое определение человека это только штрихи, в отдаленной степени определяющие его фигуру. Для лиц, знающих человека, эти штрихи бывают достаточными, ибо остальное восстановляется собственным воображением и знанием, а для лиц, не знающих — штрихи дают очень отдаленное, а иногда и совершенно неправильное представление. Трепов был «вахмистр по воспитанию». Это верно, и в этом заключалась его беда и беда России. Когда он учился в пажеском корпусе, вероятно, в своей жизни не прочел толково ни одной серьезной книги, все его образование и воспитание прошли в конногвардейских казармах и офицерском собрании и преимущественно в первых, так как он был серьезный фронтовик и добросовестный офицер, что, конечно, не принесло ему ущерба.

С политическою жизнью он столкнулся в первый раз, будучи назначен московским обер-полициймейстером, и отнесся к ней, как обер-полициймейстер. Ему, как всякому невежде, все сначала казалось очень просто: бунтуют — бей их; рассуждают, вольнодумствуют, значит надо приструнить. Рабочие пошли в революцию, значит стоит только сделаться полицейским революционером, и рабочие пойдут за ним. Никакой сложности явлений нет, все это выдумки интеллигентов, жидов и франкмасонов. Иди по пути своего собственного разума и дойдешь до... помойной ямы.

«Погромщик по убеждению» это уже не совсем точно. Трепов не был погромщик по любви к сему искусству, но он не исключал сего средства из своего политического репертуара и по

убеждению прибегал к нему, или, вернее, был не прочь к нему прибегать, когда считал сие необходимым для защиты основ государственности, так как основы эти ему представлялись, как «вахмистру по воспитанию». С легким сердцем он относился только к погромам «жидов»; а разве он один так относился к сей кровавой политической забаве? А Плеве разве был против того, чтобы в Кишиневе, Гомеле и вообще хорошо проучили жидов? А графы Игнатьевы разве не питали те же чувства? А разве вся черносотенная организация, так называемый союз русских людей, не проповедует открыто избиение жидов, а ведь государь призывал нас всех стать под знамена этой партии бешеных юродивых!!.

Когда мне самому приходилось государю указывать на недопустимость подобных действий, государь или молчал, или говорил: «но ведь они, т.-е. жиды, сами виноваты». Это течение шло не снизу вверх, а наоборот, но только, конечно, по мере нисхождения принимало другие формы и другой объем.

Урусов, а затем Лопухин, разоблачили травлю евреев посредством прокламаций из департамента полиции. Их рассказы немного преувеличены, но в сущности верны. Организация эта была сделана во всяком случае с ведома Трепова, и когда я, будучи председателем совета министров, узнавши о ней, ее уничтожил, доложив обо всем государю, то не могу сказать, чтобы его величество этим открытием сколько бы то ни было удивился и возмутился. Все-таки несомненно то, что Трепов был честный и порядочный человек. Меня нельзя заподозрить в пристрастии к нему, потому что я с ним не имел ничего общего, он был мой враг и был едва ли не главным элементом в числе других, поставивших меня почти в безвыходное положение после 17 октября.

Трепов, став диктатором, сделался политическим вахмистром-Гамлетом. С одной стороны, по воспитанию, он признавал только «руки по швам», а с другой, сталкиваясь с бурными волнами разгулявшегося русского океана, он чувствовал, что этим не возьмешь, а потому, не имея никакого политического созерцания, образования, воспитания, он временно выражал самые противоположные воззрения и кидался в самые противоположные крайности. С одной стороны, например, в комитете министров он настаивал на самых решительных мерах не только против студентов, но и против всего учебного персонала, и одновременно проводил мнение, что нужно закрывать все высшие учебные заведения, предоставив содержание их частной инициативе и частным лицам.

Он стоял за неограниченное самодержавие, но, когда обсуждал проект Булыгинской Думы, выражал, а иногда и настаивал на положениях совершенно левых. Издав в октябрьские дни приказ по войскам «патронов не жалеть», через несколько дней

он высказывался за широкую амнистию. Считая, что нужно выгнать всех профессоров и студентов, он затем дал инициативу и настоял на предоставлении всем высшим учебным заведениям широкой и неопределенной автономии.

Эти меры открыли двери революции и повели к 17 октября. После 17 октября, совсем растерявшись, он оставил пост товарища министра внутренних дел, сделавшись — опять по совету барона Фредерикса — дворцовым комендантом и, в сущности, самым интимным и сильным советчиком государя, так что я должен был нести всю ответственность, а он управлять при помощи П. Н. Дурново.

Когда я не счел возможным играть роль соломенного чучела на огороде и ушел, то не без его совета был составлен и новый кабинет оловянного чиновника, отличающегося от тысячи подобных своими большими баками, Горемыкина. Но уже через неделю Горемыкин начал жаловаться на то, что Трепов ему все портит. Также не без влияния Трепова Горемыкин был уволен. Вместо него был назначен Столыпин, который ясно сознал, что с Треповым управлять нельзя. Столыпину повезло. Трепова «lune de miel» начала проходить, а тут Трепов по обыкновению от пароля «хорошенько их» кинулся в другую сторону; ему пришло на мысль применить теорию «зубатовщины» к кадетам, и так как он в Москве вздумал привлечь на свою сторону рабочих, влезши в их среду, так же он задумал сделать и с кадетами. Он дал в этом смысле неосторожное интервью иностранному корреспонденту, неосторожное уже в том смысле, что из него было ясно, кто в сущности управляет Россией, а затем представил список кадетского министерства государю. Если бы кадеты вели себя сколько бы то ни было благоразумно, начиная хотя бы со времени первой Думы, то дело бы их выгорело. Они вступили бы во власть, но они наделали столько глупостей, что Столыпину было нетрудно свалить этот план и вместе с тем и Трепова.

Государь решил отделаться от Трепова и по обыкновению прибег к хитросплетениям. В эти хитросплетения несколько запутался сам государь, как иногда бывает с пауком, вяжущим паутину для мухи. Муха — Трепов все равно был бы уничтожен, но государю повезло. Трепов в это время умер естественною смертью. Он был политический и общественный невежда, но несомненно, что все, что он делал, было им сделано de bonne foi, и он был верноподданнейший и преданнейший слуга не только императора Николая II, но и Николая Александровича. Наверно, кто-нибудь из семейства Трепова оставит подробное описание, в каком трагическом положении находился этот честный и преданный Николаю Александровичу человек в последние недели до своей смерти*.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Работы во исполнение указа 12 декабря.

* Указ 12 декабря 1904 г. возлагал на комитет министров озаботиться изысканием мер для водворения законности, расширения свободы слова, веротерпимости, местного самоуправления, устранения излишних стеснений инородцев и всяких исключительных законов.

Затем в указе обращалось внимание на необходимость благотворно окончить работы крестьянского совещания. Задача комитета заключалась в установлении лишь главных начал и за утверждением сих начал — подробная разработка каждого вопроса в отдельности возлагалась на особые совещания под председательством лица, равно как и членов, государем назначенных. Председатель имел право независимо от сего пригласить членов в совещание по своему усмотрению с совещательным голосом. Раз вопрос был передан в совещание, он выходил из рук комитета министров, и председатель совещания должен был иметь непосредственные отношения к государю. Комитет министров действовал в полном составе: председателя Государственного Совета, председателей всех департаментов Государственного Совета, всех министров и главноуправляющих и независимо от сего приглашались в заседания другие лица: с.-петербургский митрополит Антоний по вопросам, касающимся церкви, и некоторые члены Государственного Совета.

Я употреблял все усилия, дабы реформы, намеченные в указе, были проведены возможно полнее и спешно. По каждому вопросу давал инициативу; канцелярия представляла богатый материал. Я питал надежду ,что если указ этот будет скоро приведен в исполнение, то значительно ослабеют неудовольствия, но, по обыкновению, сначала я встретил апатию, затем интриги, а в заключение недоверие государя ко всем реформам, намеченным указом.

В результате практически было кое-что сделано по вопросу веротерпимости, о школе в западных губерниях, о старообрядцах и сектантах. Остальное все застряло и затем похоронено 6 августа 1905 г. и окончательно 17 октября 1905 г. и вообще революцией. Все решения комитета министров немедленно публиковались, и затем все журналы комитета издавались отдельною книгою. Желающий может с ними ознакомиться.

Сначала комитет министров, установивши программу действия, начал рассматривать вопрос о водворении законности. Вопрос этот прошел довольно гладко. Только из замечаний К. П. Победоносцева я усмотрел его отрицательное отношение к настроению комитета. Установивши главные начала преобразований для укрепления законности, которые были одобрены государем, но до сих пор не приведены в исполнение, подробную разработку вопроса о преобразовании сената и установлении административной юстиции было решено поручить особому совещанию.

Совещание было составлено из членов, мною представленных государю. Председателем был назначен по моему указанию А. А. Сабуров, а членами Таганцев, Кони, Голубев и другие почтенные члены Государственного Совета и сената *.

Это тот самый Сабуров, который во времена Лорис-Меликова был недолгое время министром народного просвещения.

Все труды этого особого совещания уже в конце 1905 г. были представлены его величеству и препровождены ко мне, как председателю совета министров того времени, но после моего ухода работа эта не получила никакого дальнейшего движения, при чем, кажется, часть этой работы была представлена в Государственную Думу, но там застряла. Само собой разумеется, что работа этого особого совещания по нынешним временам и не могла получить какого бы то ни было осуществления, потому что во время столыпинского режима не только не укрепилась большая самостоятельность и независимость суждений в сенате, а напротив того, сенат обратился, в значительной степени, в орудие администрации вообще и министра юстиции и председателя совета министров в особенности.

Таким образом сенат, можно сказать, совсем утратил свою самостоятельность и нравственную справедливость своих суждений и обратился в такое учреждение, олицетворяющее часто полную незаконность, каковым он никогда не был; положение сената и его состав, в то время, когда был издан указ 12 декабря 1904 г., могли служить идеалом совершенства, сравнительно с теперешним сенатом, который систематически пополняется угодниками министра юстиции и других министров, а сам министр юстиции из высшего блюстителя законности обратился в помощника шефа жандармов и начальника тайной полиции.

* Затем пошел вопрос о печати. Кроме материалов, составленных по этому предмету канцелярией, был доставлен некоторый материал академией наук. В обсуждении этого вопроса принимал участие президент академии великий князь Константин Константинович, известный поэт, начальник военно-учебных заведений, человек благородный, образованный, с традициями своего отца великого князя Константина Николаевича, не глупый, но и не орел. К этому вопросу К. П. Победоносцев и его заместитель Саблер, так как К. П. перестал посещать регулярно заседания, относились скептически.

Установивши главные основания, подробная разработка цензурного устава была поручена совещанию. Я предложил в председатели директора публичной библиотеки, члена Государственного Совета Кобеко [1]), а членами лиц различных партий: Кони, Арсеньева, Пихно, князя Мещерского, графа Голенищева-Кутузова и других. Его величество утвердил как журнал комитета, так и состав совещания, но уже через несколько дней его величество, помимо меня и председателя совещания Кобеко, назначил новых членов: князя Голицына (Муравлина), ныне члена союза русского народа, и Юзефовича. Эти назначения ничего хорошего не предвещали.

Юзефович, из почтенной киевской семьи, известен, как самый безнравственный человек, его ненормальные страсти, проявляемые в самой беззастенчивой форме, и другие нечистые выходки составили ему такую репутацию, что его нигде в порядочных семействах в Киеве не принимали, хотя относились с уважением к его отцу и матери. Этот человек за деньги был ходатаем евреев и затем доносил на евреев, как только с кем-нибудь из них не ладил. Благодаря связям его всегда где-нибудь устраивали, дабы дать ему жирный кусок хлеба, но вследствие своей безнравственности он нигде не мог ужиться. Одно время при Сипягине он был цензором в Киеве, но затем должен был покинуть это место вследствие постоянных историй с редакторами газет, в том числе и с Пихно [2]), ныне едва ли не единственно умным и культурным черносотенцем, членом Государственного Совета.

---

[1]) Дмитрий Фомич Кобеко, бывший мой сотоварищ по министерству финансов, известен и симпатичен государю императору, вследствие его книги «История императора Павла I». Дмитрий Фомич выработал в главных чертах проект нового положения о прессе, которым и воспользовались, когда я сделался председателем совета министров, и явилась, во исполнение манифеста 17 октября, необходимость издать временный закон о прессе, впредь до того времени, когда все дело о печати будет обсуждено и установлено Государственной Думой.

[2]) * Пихно, ученик Бунге, недурной человек, но впал ныне в крайности вследствие общей неврастении, которая появилась у всех не крепких нервами от проклятой революции*.

Наконец, Юзефович нашел себе приют у бывшего дворцового коменданта генерал-адъютанта Гессе, своего друга детства. Гессе пользовался его пером и давал ему 12.000 в год из сумм, ему отпускаемых на дворцовую полицию. Но как к нему относился сам Гессе, видно из того, что как-то раз я его спросил:

— Что, у вас бывает Юзефович?

На что он мне ответил:

— У меня да, но я его держу далеко от моих мальчиков.

Когда Гессе умер, лицо, его заместившее, князь Енгалычев, сейчас же удалил Юзефовича.

Трепов, будучи товарищем министра внутренних дел, по просьбе Рачковского, который в сущности ведал департаментом полиции, назначил Юзефовича в Париж по полицейским делам. Я тогда предупредил Трепова, что Юзефович в Париже наделает скандалы по части нравственности. Так и случилось. Его скоро должны были оттуда убрать.

Затем после 17 октября он явился главою черносотенной организации в Киеве и от имени этой ничтожной партии начал посылать депеши государю. Но в Киеве все к нему относятся с таким же презрением, как относились всегда. Понятно, что появление в совещании о печати такого субъекта не предвещало ничего хорошего.

Но само по себе назначение Юзефовича и Муравлина было дело второстепенное,—главное было то, что это служило указанием, что государь по обыкновению заколебался, что пошли наушничанья из темных углов, что, сделавши шаг вперед, он уже решил сделать шаг назад. Очевидно, что то, что говорилось в комитете министров, передавалось ему в извращенном виде. То, что говорилось, почиталось бы между всеми конституционными фракциями, не говоря о тайных и явных революционерах, обскурантизмом.

Когда же произошло 9 января 1905 г., кровавая история с гапоновщиной, вследствие которой Мирский ушел, то в дальнейшей работе комитета министров по указу 12 декабря 1904 г. явился полный переворот, было ясно, что хотят свести все на-нет.

Дмитрий Фомич Кобеко с высочайшего соизволения представил в комитет министров свои предположения, которые были обсуждены в особом совещании под его председательством. Эти соображения отчасти послужили материалом для составления и представления соответствующего закона в Государственный Совет. В бытность мою председателем совета министров до открытия Государственной Думы, законопроект был представлен в Государственный Совет в том виде, в каком он вышел из совещания, но при обсуждении там был в значительной степени урезан, в смысле уменьшения свободы прессы. Временно этот закон и был установлен и утвержден его величеством.

С тех пор прошло 5 лет, до сих пор никакого нового проекта закона о печати в Думу не представлено и Думой не рассмотрено, а вместо нового закона о печати Столыпин в его управление при помощи 3-й Государственной Думы и верных ему молодцов, которыми командовал и командует господин Гучков, ввел полнейший произвол в дела печати: так что тот закон, который был проведен мною в бытность мою председателем совета министров и который тогда считался прессою довольно стеснительным, в настоящее время составил бы идеал для нашей повседневной журналистики; так как этот закон существует на бумаге, а в действительности существует полный произвол, основанный на усиленных, чрезвычайных, военных и просто произвольных Столыпинских распоряжениях *.

Комитет министров подробно остановился на той язве, которая называется «исключительное положение» и которою дают администрации в руки полнейший, неограниченный произвол действий.

Такой консерватор, как Петр Николаевич Дурново, который составляет собою в настоящее время в Государственном Совете лидера наиболее реакционной партии, тогда в комитете министров высказывал, что исключительные положения принесли России гораздо более вреда, нежели пользы, основываясь на своей практике, как бывшего директора департамента полиции.

Комитет министров, высказывавший также свои дезидераты по вопросу об исключительном положении, решил, что дело это должно быть рассмотрено в особом совещании, при чем особое совещание это должно было руководствоваться соображениями комитета министров. Его величеству благоугодно было совещание это утвердить и по собственной инициативе назначить председателем совещания графа Алексея Павловича Игнатьева, бывшего киевского генерал-губернатора, несколько времени тому назад уволенного от этой должности, вследствие несогласия с командующим войсками генералом Драгомировым, человека не глупого, но гораздо более хитрого, нежели умного, продукта петербургской великосветской военно-чиновнической атмосферы.

Само назначение председателем графа Игнатьева, от которого зависел и выбор членов особого совещания, ясно показывало то направление, которое оппозиция желала дать вопросу об исключительных положениях.

Когда после 17 октября, в конце 1905 г., я сделался председателем совета министров, то ничего в особом совещании графом Игнатьевым сделано еще не было, затем какие-то части этих трудов были переданы министерству внутренних дел уже после

того, как я оставил пост председателя совета министров, и там крепко-накрепко все эти труды были похоронены.

Столыпин представил какой-то закон об исключительных положениях в Думу, затем он не торопился его рассмотрением, и положение это доныне почивает в Государственной Думе. Только на-днях появился слух в печати, что молодцы умершего председателя совета министров, имея в виду выборы, для муссирования своих избирателей намерены вдруг поднять вопрос об исключительном положении и рассматривать по этому предмету уже давным-давно представленный в Думу закон Столыпина. Само собой разумеется, что Дума это делает, в том совершенно правильном соображении, что все равно Государственный Совет, в нынешнем составе, такого положения или не примет, или до роспуска Думы не успеет его рассмотреть, и поэтому этот выпад есть не что иное, как своего рода провокационный жест.

* Когда приступили к вопросам о веротерпимости, то К. П. Победоносцев, пришедши раз в заседание и усмотревши, что митрополит Антоний выражает некоторые мнения, идущие в разрез с идеей о полицейско-православной церкви, которую он, Победоносцев, двадцать пять лет культивировал в качестве обер-прокурора святейшего синода, совсем перестал ходить в комитет и начал посылать своего товарища Саблера.

Несмотря на то, что митрополит Антоний был весьма умерен в своих взглядах, а Саблер употреблял все усилия, чтобы делать препоны, Победоносцев остался все-таки ими недоволен и разошелся с ними.

Сперва комитет министров определил некоторые общие положения о веротерпимости, затем, главным образом, остановился на устранении стеснений, лежащих на старообрядчестве и на неизуверных сектантах *.

В особенности комитет министров остановился на крайне трудном положении, в каком находятся в смысле религиозном наши русские старообрядцы, которые всегда составляли элемент наиболее консервативный, наиболее преданный своему царю и родине.

Такого воззрения держался и покойный император Александр III, который относился всегда к старообрядцам в высокой степени благосклонно. Такого же воззрения и убеждения держался и поныне держится император Николай II, и, если все-таки при всем этом ничего не было сделано для большей веротерпимости к старообрядцам, то, конечно, это происходило не от взглядов и желания этих императоров, а от крайне узких воззрений их советчиков и особливо обер-прокурора святейшего синода Константина Петровича Победоносцева. В отношении

веротерпимости комитет министров, в полном составе, а равно и члены, которые были приглашены в комитет министров по моему представлению и с утверждением его величества для рассмотрения всех вопросов по указу 12 декабря 1904 г., а именно члены Государственного Совета Таганцев, Сабуров, Куломзин, единогласно считали необходимым в отношении веротерпимости принять решительные меры. На этом поприще было нечто и сделано, а именно последовал знаменательный указ 17 апреля 1905 г. о веротерпимости, который ныне составляет базис того положения вещей, в котором находятся в России инославные и другие церкви, отличные от святой православной церкви.

Этот указ был выработан комитетом министров, и его величеству угодно было утвердить его. Он приобрел силу закона. Указ этот такого же рода, как манифест 17 октября 1905 г., т.-е. представляет собою такие акты, которых можно временно не исполнить, можно проклинать, но которые уничтожить никто не может. Они как бы выгравированы в сердцах и умах громадного большинства населения, составляющего великую Россию.

Указ 17 апреля установил лишь принципы; необходимо было выработать все подробности, ясно устанавливая пределы свободы инославных, не христианских и отпавших от православных церквей и отношение к ним властей.

Для сего по представлению комитета министров должно было быть основано особое совещание по вопросам о веротерпимости. Его величество, утвердив, как я сказал, указ 17 апреля, утвердил и образование особого совещания по вопросу о веротерпимости, но опять-таки председателем этого совещания был назначен граф Алексей Павлович Игнатьев.

Таким образом граф Игнатьев должен был, с одной стороны, вмещать в себе председателя совещания об исключительных положениях, т.-е., главным образом, о высшей государственной полиции, а с другой стороны, должен был быть председателем особого совещания по вопросам религиозным и веротерпимости.

Для всех было очевидно, что собственно от этого совещания о веротерпимости желают. Конечно, это особое совещание никаких законченных трудов не сделало и в бытность мою председателем совета ничего не представило, затем было закрыто и некоторый материал передало в министерство внутренних дел.

Как я уже сказал, при обсуждении вопросов о веротерпимости в комитете министров, обер-прокурор святейшего синода К. П. Победоносцев начал оказывать явное противодействие, но так как встретил в своих реакционных стремлениях отпор не только с моей стороны, но со стороны всех членов комитета, то сделался больным и в заседаниях комитета министров не уча-

ствовал. Все решения комитета не встретили препятствий ни со стороны высокопочтенного митрополита, ни со стороны заместителя К. П. Победоносцева товарища обер-прокурора святейшего синода Саблера, нынешнего обер-прокурора святейшего синода.

Митрополит указывал лишь мне, как председателю, и членам комитета министров, что, согласно сообщениям комитета, предполагается дать значительную свободу инославным церквам, а равно и не христианским религиозным общинам, а также старообрядчеству. Не возражая ничего против этих предположений, в том виде, в каком они вылились в комитете министров, он, тем не менее, находил, что это в высокой степени несправедливо в отношении православной святой церкви, ибо православная церковь не пользуется теми свободами, которыми предполагается наградить иные церкви и иные вероисповедания. Конечно, это было заявление такого рода, которое не могло не встретить не только полной симпатии со стороны комитета министров, но даже не могло не возбудить в сердце членов, по крайней мере, в моей душе, самые резкие горестные чувства.

Представляя его величеству доклад об указе 17 апреля о решении комитета образовать особое совещание по вопросу о веротерпимости, конечно, я не мог не доложить государю о том, что высказал высокопреосвященный митрополит. Его величество тоже принял близко к сердцу горькое соображение митрополита. Я доложил государю, что вследствие такого заявления митрополита было бы необходимо рассмотреть в комитете министров главные основания, которые желательно было бы ввести в отношения государства к русской православной церкви и которые могли бы дать русской святой православной церкви необходимую свободу действий и свободу управления.

Его величеству благоугодно было соображения мои одобрить. Вследствие этого, я доложил комитету министров о решении его величества, чтобы комитет обсудил вопрос о необходимых мерах по изменению некоторых порядков в православной церкви, с тем, чтобы эти решения, которые будут намечены комитетом министров, получили осуществление лишь через святейший синод или при его участии по заведенному порядку.

При обсуждении указа 12 декабря, я, в качестве председателя комитета министров, представил по каждому вопросу записку, т.-е. свои мнения, которые могли бы облегчить комитет министров в обсуждении дела. Поэтому я вплотную занялся изложением

вопроса о том, в чем заключается слабость общества нашей православной церкви и какие, по моему мнению, необходимо сделать преобразования.

Эта записка была составлена одним из моих сотрудников при моем большом и сердечном участии, так как вопросы православной церкви всегда, начиная с моего детства, были мне очень близки, по тем традициям, которые я наследовал от моей семьи, и по той семейной атмосфере, в которой я воспитывался.

Когда записка эта была напечатана и разослана членам, то последовало возражение и критика на нее обер-прокурора святейшего синода К. П. Победоносцева, числящегося больным. На записку К. П. Победоносцева я отвечал подробной запиской, одновременно же митрополит представил в комитет министров, по моей просьбе, редакцию тех вопросов, которые подлежали обсуждению комитета министров.

Вопросы эти были установлены с объяснением сути дела по каждому из представляемых вопросов. Эта работа, как мне сделалось известным, была произведена профессорами духовной академии под руководством митрополита.

Когда был составлен весь этот материал, то мною было назначено заседание комитета министров для обсуждения этого вопроса.

Накануне дня, назначенного для заседания, вечером, я получил от К. П. Победоносцева письмо, в котором он мне сообщил, что по высочайшему повелению вопрос этот должен был снят с обсуждения комитета министров, и вообще все это дело, о некоторых изменениях в порядках православной церкви, должно быть передано в святейший синод.

Очевидно, что такого рода решение было принято под давлением оппозиционных сфер, во главе которых стоял числившийся больным обер-прокурор святейшего синода К. П. Победоносцев. Вопрос этот таким образом был передан на обсуждение святейшего синода.

Синод того времени принял решения гораздо более радикальные, нежели те, на которых остановился бы комитет министров, а именно он решил, что для обсуждения всего этого дела необходимо собрать поместный собор и учредить патриаршество, и, так как это решено было единогласно, то Владимир Карлович Саблер не только не решился пойти против этого решения, но даже стал его соучастником. В результате В. К. Саблер должен был остави .то товарища обер-прокурора святейшего синода К. П. Победоносцева, а митрополит Антоний впал в опалу со стороны всесильного обер-прокурора. Решение же синода не было ни утверждено, но и не было и отклонено государем импе-

ратором, а только было указано, что вопрос о созыве собора будет решен впоследствии.

Затем прошло более пяти лет, так вопрос о соборе и не решен. В надлежащих случаях как бы подымается этот вопрос и показывается в виде отдельной туманной картины, но никакого собора, в действительности, собирать не предполагается.

* Между тем, если взирать на будущее не с точки зрения, как прожить со дня на день, то, по моему мнению, наибольшая опасность, которая грозит России, — это расстройство церкви православной и угашение живого религиозного духа. Если почтенное славянофильство оказало России реальные услуги, то именно в том, что оно выяснило это еще пятьдесят лет тому назад с полною очевидностью.

Теперешняя революция и смута показали это с реальной, еще большей очевидностью. Никакое государство не может жить без высших духовных идеалов. Идеалы эти могут держать массы лишь тогда, если они просты, высоки, если они способны охватить души людей,—одним словом, если они божественны. Без живой церкви религия обращается в философию, а не входит в жизнь и ее не регулирует. Без религии же масса обращается в зверей, но зверей худшего типа, ибо звери эти обладают бóльшими умами, нежели четвероногие.

У нас церковь обратилась в мертвое, бюрократическое учреждение, церковные служения — в службы не богу, а земным богам, всякое православие — в православное язычество. Вот в чем заключается главная опасность для России. Мы постепенно становимся меньше христианами, нежели адепты всех других христианских религий. Мы делаемся постепенно менее всех верующими. Япония нас побила потому, что она верит в своего бога несравненно более, чем мы в нашего. Это не афоризм, или настолько же афоризм, насколько верно то, «что Германия победила Францию в 1870 г. своею школою» . . .

Совещание графа А. П. Игнатьева угасло, и только министерство Столыпина, воспользовавшись работами комитета министров в порядке ст. 87 основных законов, докончило раскрепощение старообрядцев и неизуверного сектантства, которое было уже почти раскрепощено комитетом министров по указу 12 декабря.

Таким образом были сняты стеснения, лежавшие столетиями на наиболее преданной русским началам и православию в правильном смысле этого слова части русского народа. А сколько эти люди перетерпели, каким только они не подвергались стеснениям!

При всем уважении к К. П. Победоносцеву, как замечательному по своим способностям человеку, должен сказать, что за последние 25 лет он являлся главным тормозом к решению старообрядческого вопроса. Сколько раз я его ни подымал прямыми и косвенными путями, я ничего не мог достигнуть. Должен засвидетельствовать, что государь всегда в душе был за старообрядчество, он всегда хотел покончить с этим вопросом, но у него недоставало воли перешагнуть препятствия в Победоносцеве и таких господах, как А. П. Игнатьев, Ширинский-Шихматов и tutti quanti *.

Независимо от изложенного комитет министров по указу 12 декабря принял некоторые частные меры, так, например, относительно свободы малороссийского языка, ибо в то время не разрешалось даже обращение евангелия на малороссийском языке. Вероятно, это имеет место и теперь, после столыпинского режима. Сказанное разрешение было дано комитетом министров, в заседание коего был приглашен по этому делу президент академии наук великий князь Константин Константинович, который очень поддерживал мнение о необходимости дозволить обращение евангелия на малороссийском языке.

Были приняты некоторые частичные решения относительно школ в западных губерниях и в Царстве Польском, относительно преподавания на инородческих языках и другие подобные меры. Частью эти меры были решены комитетом министров и высочайше утверждены и приведены в исполнение, а частью были даны по этому предмету поручения соответствующим министрам. Министры в некоторой степени эти поручения исполнили, но в каком положении это дело находится в настоящее время, в действительности, это сказать трудно, потому что при нынешнем режиме, после столыпинского управления, закон—это есть одно, а административные учреждения—есть другое. Так, например, в последние месяцы управления Столыпина произошел такой характерный факт, что одна полька аристократической семьи приезжала сюда просить у императрицы Марии Феодоровны защиты по следующему делу. Она совместно с представителями других аристократических польских фамилий устроила около Варшавы нечто вроде католического пансиона-монастыря, для воспитания католических девиц. Учреждение это существует уже давно и относительно действий его имеются самые прекрасные аттестации, как со стороны генерал-губернатора, так и со стороны попечителя учебного округа. Тем не менее, министерство внутренних дел, а именно Столыпин, ни с того, ни с сего

потребовал принятия таких мер по отношению этого заведения, которые сводились бы к его закрытию. Затем, когда эта дама аристократической польской фамилии обратилась за защитой к императрице Марии Феодоровне и дело это было разобрано лицами, состоящими при императрице Марии Феодоровне, то все было найдено корректным безусловно, и Столыпин хотел закрыть только потому, что в числе кухарок этого заведения находятся кухарки из монахинь, которые приехали из Львова; в этом факте министр внутренних дел усмотрел какую-то государственную опасность. Но когда императрице Марии Феодоровне угодно было сообщить министру внутренних дел, чтобы он вник в это дело, а засим эта дама являлась к Столыпину, он самым хладнокровным образом объяснил: «Ну, говорит, если там ничего такого особого нет, то может остаться и ваше учебное заведение». Хорошо управление, где целое учебное заведение, в котором заинтересована целая масса семейств, может быть открыто или закрыто потому, как относится к этому вопросу Столыпин или, иначе говоря, как в данный момент у него действует желудок.

По мере заседаний комитета министров по указу 12 декабря 1904 г. чувствовалось, что исполнение тех идей, которые были внесены в этот указ, встречает все большее и большее нерасположение и препятствие, а посему я и счел соответственным закрыть заседания по указу 12 декабря.

Таким образом этот шаг, принятый государем в самых скромных размерах по отношению водворения законности и разумной свободы в России, встретил такие препятствия, которые свели в значительной степени благие намерения этого указа к нулю. А между тем смута в России и революционное движение все более и более бродило и бродило и все время усиливалось по мере постыдных поражений на Дальнем Востоке и по мере нашего реакционного шатания по отношению внутреннего управления Россией—шатания, в котором иногда проявлялась искра напускного либерализма, как бы для успокоения смуты и революционного движения на низах.

Эти либеральные неискренние вспышки не только не успокаивали смуту, а производили совершенно обратное действие.

После гапоновского шествия 9 января 1905 г. и двух поддельных депутаций рабочих, ездивших к государю в Царское Село, о чем я говорил ранее, была образована особая комиссия по рабочему вопросу под председательством члена Государственного Совета Шидловского. Шидловский был членом Государственного Совета; кем он был рекомендован на эту обязанность, мне неизвестно, — я лишь получил записку от государя,

в которой он сообщал, что хочет образовать особую комиссию и председателем назначает Шидловского.

Шидловский был человек не глупый, деловой, заурядный, несколько желчный. Я ему рекомендовал сотрудников по этой комиссии. Затем Шидловский сам имел доклады по этой комиссии у государя императора, но комиссия эта не могла даже сформироваться. Дело в том, что по мысли Шидловского в эту комиссию должны были войти представители рабочих, а рабочие не выбрали членов комиссии с теми уполномочиями, которые желал Шидловский. В то время рабочие уже были совершенно выведены из равновесия, а потому никакого разумного спокойного решения они, конечно, принять не могли.

* Из этого ничего не вышло, во-первых, потому, что такое дело было не по плечу очень порядочного и хорошего чиновника, члена Государственного Совета Шидловского, который сам был удивлен таким поручением по делу, ему чуждому; во-вторых, потому, что было невозможно рассматривать рабочий вопрос для петербургских рабочих, не касаясь рабочего вопроса вообще, одновременно рассматривавшегося — конечно, безнадежно относительно каких-либо результатов — в комиссии под председательством Коковцова, который пропитан чиновничьей ревностью к своей власти, и, наконец, в-третьих, потому, что Шидловский должен бы был работать под руководством Трепова, т.-е. нести ответственность за действия сего последнего *.

Поэтому комиссия эта ничего не кончила, она даже не собиралась и, будучи основана 29 января, уже 20 февраля была закрыта, при чем Шидловский, видимо, убоялся того крайнего настроения рабочих, которое он застал, и потому со свойственным ему бюрократическим благоразумием пожелал от этой комиссии удалиться.

Потом, для рассмотрения рабочего вопроса, была учреждена новая комиссия, вместо комиссии Шидловского, под председательством министра финансов В. Н. Коковцова. Комиссия эта также ничего практического не сделала. Некоторые из ее предложений обсуждались в комитете министров под моим председательством, при чем комитет министров вынес решение о необходимости прежде всего установить в широких размерах страхование рабочих от несчастных случаев и болезней, но прошло 5, скоро 6 лет, а по этому предмету тоже ничего не сделано, только ныне, наконец, дошел до Государственного Совета проект страхования рабочих, который имеет быть рассмотрен в непродолжительном времени в общем собрании Государственного Совета, так как проект этот уже в комиссиях прошел.

Одновременно со всеми перипетиями по указу 12 декабря и последствиями Гапоновского шествия, происходили другие

совершенно исключительные события: так 4 февраля великий князь Сергей Александрович был убит посредством бомбы анархистом Каляевым. Как теперь уже выяснилось, убиение это было убийством, решенным центральным революционным, анархическим комитетом, и было произведено при ближайшем участии агента тайной полиции Азефа, который впоследствии, в министерстве Столыпина, начал играть особо выдающуюся роль. Как оказывается теперь, этот Азеф организовал и убийство Плеве, будучи агентом тайной полиции у департамента полиции во время Плеве.

* В связи с указом 12 декабря произошли следующие обстоятельства, которые имели значение в дальнейших событиях. До преобразований 17 октября существовало два высших административных учреждения, которые иногда и законодательствовали в смысле выработки законов, подносимых на утверждение его величества,—комитет министров и совет министров. Последний собирался только под председательством государя, что вытекало ясно из самого закона и было освящено практикою. Совет этот собирался весьма редко, иногда не собирался годами.

В январе 1905 г. государь собрал совет, уже не помню по какому вопросу, а затем в конце обратился, как бы между прочим, к графу Сольскому и сказал: «А затем я вас прошу, граф, собирать совет по всем вопросам, которые будут возбуждены министрами или которые я буду указывать». Это повеление всех смутило, так как, во-первых, оно было неясно, следует ли в комитете министров продолжать обсуждение по указу 12 декабря, во-вторых, никогда ранее совет министров не собирался иначе, как под личным председательством государя, а в-третьих, в сущности это повеление государя упраздняло комитет министров.

Вслед за этим граф Сольский спрашивал указаний государя о том, как понимать его повеление. Какие указания он получил, я в точности не знаю; кажется, не получил никаких определенных указаний. Для всех же было очевидно, что государь уже не придает значения реформам, провозглашенным указом 12 декабря, и что он находится под влиянием лиц, им враждебных. Это, впрочем, имело место уже со времени истории взятия Порт-Артура, всей безобразовщины и несчастной войны.

Мне постоянно говорили, что государь меня не любит, а другие—ненавидит, потому что у меня резкая манера говорить с ним. Я сознаю, что вообще при спорах бываю резок и всегда говорю в сыром виде то, что думаю. Это, вероятно, шокировало государя. Но так я говорил и с покойным отцом его Александром III и никогда не слышал от него прямо или косвенно

по этому предмету упреков. Александр III благоволил ко мне до самой смерти и говорил, что ему нравится, что я всегда, не стесняясь, говорю то, что думаю.

Императрица Мария Феодоровна была ко мне, когда император Александр III был жив, враждебна из-за сплетен, связанных с моей женитьбой. При первом представлении моем императрице после смерти ее августейшего мужа я между прочим сказал о том, как новый император будет относиться к министрам, назначенным его отцом, и что при существующих интригах могут быть в этом отношении неожиданности. На это императрица заметила:

— Едва ли вам следует жаловаться на интриги, ведь интриги эти не поколебали вас при моем муже, и до самой его смерти вы были министром, к которому он наиболее благоволил.

Конечно, император Николай часто питал ко мне дурные чувства не потому, что у меня резкая манера говорить и даже не столько вследствие интриг, а потому, что в глубине своей души он не может не сознавать, что все, что я ему говорил, все, о чем я его предупреждал,—случалось и случалось именно потому, что он меня не послушал.

После последовавшего сказанного выше повеления графу Сольскому в комитете министров рассматривались только текущие дела, все же дела по преобразованиям перешли в совещания, которые иногда назывались советом под председательством графа Сольского.

Таким образом все работы по булыгинской Думе прошли в совещании графа Сольского без всякого моего сколько бы то ни было активного участия, а при окончательном обсуждении этого вопроса в Петергофе под председательством его величества я был в Америке. Затем, 17 октября изменение учреждений о Думе и Государственном Совете обсуждалось также под председательством графа Сольского, только при моем участии и прочих министров. Докладчиком у государя по этим делам являлся граф Сольский, а всю работу вел государственный секретарь барон Икскуль и его товарищ Харитонов, который затем за эту работу был назначен членом Государственного Совета. В совещании участвовали многие члены Государственного Совета и, между прочим, граф Пален, Э. В. Фриш, Голубев, граф Игнатьев и проч.

Если бы эта работа, как сие должно было быть, велась советом министров под моим председательством, как председателя совета министров, то, конечно, она была бы, если не лучше, то во всяком случае была бы объединена одними и теми же идеями и все это не было бы сделано с таким спехом.

Второе обстоятельство, имевшее место при обсуждении вопросов по указу 12 декабря, это было выступление Дурново в каче-

стве товарища министра сперва Мирского, а потом Булыгина. Все суждения, которые высказывал Дурново, отличались знанием дела, крайней рассудительностью и свободным выражением своих мнений. Я ранее знал Дурново за человека умного, характерного, многому научившегося, проходя службу по судебному ведомству. Суждения же, им высказанные по вопросам указа 12 декабря, особенно обратили мое на него внимание. Они обратили также на него и внимание государя императора, который не особенно охотно согласился назначить его управляющим министерством внутренних дел в мой кабинет, вероятно, видя в нем либерала. Но затем, усматривая, что Дурново делает все, что приятно государю, Трепову и министру двора, начал крайне к нему благоволить; поэтому Дурново эмансипировался от меня, как председателя совета министров, и от совета и начал вести собственную политику. Таким образом, в конце концов, я, неся за все ответственность, часто не знал, что делает Дурново, а высшую политику стремился через государя вести Трепов и часто не безуспешно. Я же, по меткому выражению писателя Буренина (из «Нового Времени»), обратился в tête de turc, по которой каждый прохожий волен ударять для измерения силы своих мускулов.

Когда последовал указ 12 декабря, то я хотел привлечь к работе лиц, издававших и ныне издающих журнал «Право», так как в нем помещались многие серьезные статьи и в то время без революционных тенденций. Вследствие сего, я принял одного из главных сотрудников этого журнала, бывшего чиновника министерства юстиции И. Гессена.

Он на меня произвел впечатление умного и знающего человека, говорил о наших, всем культурным людям известных, беспорядках и в особенности о том, как Муравьев совершенно обезобразил судебные учреждения, но никакой пользы от этих разговоров я не извлек. Затем я просил зайти ко мне другого сотрудника, сына бывшего министра юстиции В. Набокова. Этот мне прямо объявил, что существующему режиму он ни в чем и никакого содействия оказывать не будет. Затем И. Гессен попался в какую-то историю и был заключен в тюрьму, его жена ходила ко мне и все уверяла, что ее муж не выдержит заключения. Я за него хлопотал, его освободили, и он приходил ко мне благодарить. Затем оба эти лица были во главе так называемых кадетов, которые после 17 октября пошли на меня войной, желая вырвать власть у государя.

Собственно говоря, если 17 октября вместо установления нормально-действующей конституции до сих пор дало только революцию, то главная вина падает на кадетов и их вождей.

В сущности они хотели не конституционную монархию, а республику с наследственным президентом, да и то до поры до времени, покуда существует «монархический предрассудок» в народе.

Тогда же я познакомился с профессором Петражицким, выдающимся ученым, замечательно талантливым и умным человеком. Он тоже после увлекся и попал в кадеты, но в благоразумные. Петражицкий оказал мне некоторое содействие по некоторым вопросам указа 12 декабря *.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Манифест о нестроениях и смутах и указ Булыгину о привлечении лучших людей.

От 15 до 20 февраля последовало громадное сражение наших войск с войсками японскими, и, несмотря на уверение, объявленное приказом главнокомандующего Куропаткина, что уже далее Мукдена он не отступит ни за что, мы потерпели громадное поражение. Бой был исключительный по количеству войск, в нем участвующих, затем мы вынуждены были в беспорядке отойти по направлению к Харбину. Это было последнее, но великое наше поражение. Я не помню ни одного такого громадного поражения на суше, которое бы потерпела русская армия, как то, которое мы потерпели в Мукдене.

17 февраля вернулся в Петербург командующий войсками в Порт-Артуре, который довольно постыдно сдал Порт-Артур неприятелю. Этот командующий войсками Стессель, тем не менее, представлялся государю императору и имел счастье у него завтракать. Затем, через несколько месяцев, он судился военным судом и был приговорен им, как виновный в сдаче Порт-Артура. С него сняли генерал-адъютантские аксельбанты, он был заключен в крепость, в которой пребывал несколько месяцев, затем был прощен государем и ныне живет частным обывателем где-то около Москвы.

Я первый раз видел этого генерала Стесселя, когда приехал в Порт-Артур. В числе других он меня встретил на вокзале. Как-то раз перед этим в него стрелял какой-то наш офицер. По этому предмету я имел разговор с генералом Стесселем и с наместником, в то время еще начальником Квантунской области, Алексеевым, который был встревожен этим случаем и спра-

шивал моего мнения. Я ему высказал, что, не входя в обсуждение о том, что такое представляет из себя Стессель, я бы на его месте предал этого офицера военному суду и его расстрелял, так как немыслимо допускать на окраине подобные случаи. Но, слыша рассказы тамошних деятелей о Стесселе, я тогда же составил о нем мнение, как о человеке, подобном глупому непородистому жеребцу.

Я был очень удивлен, когда после объявления войны он был назначен главным военным начальником в Порт-Артуре. Я тогда же, на основании тех отзывов, которые я слышал о генерале Стесселе в Порт-Артуре, был убежден, что он еще ухудшит и без того тяжелое положение, в котором порт-артурцы очутились.

В это время смута и революционное движение в России колыхались во все стороны, одновременно наверху явился полный хаос, или, вернее, полнейшая растерянность.

* Не успели покончить малополезные работы по указу 12 декабря, когда опять состоялся совет по вопросу о привлечении выборных к законодательству. Эту тему в заседании особенно поддерживали Ермолов, Манухин (назначенный министром юстиции вместо Муравьева) и Коковцов. Последний заявил, что без такого шага будет трудно сделать заем, который является необходимым в виду войны. Булыгин также заявил, что внутреннее положение России его все более и более убеждает, что эта мера необходима.

Я присутствовал на этом заседании, но молчал. Заседание ничем определенным не кончилось, но государь поручил Булыгину составить проект рескрипта на его имя, в котором давалось бы ему, Булыгину, министру внутренних дел, поручение составить проект привлечения выборных к законодательству. Затем следующее заседание для обсуждения проекта рескрипта было назначено на завтра, хорошенько не помню *.

17 февраля все министры и я, как председатель комитета, были приглашены к государю императору в Царское Село для обсуждения мер, которые необходимо принять для успокоения общества.

Когда мы приехали на вокзал, сели в вагон и поезд двинулся, то один из министров говорит: «А вы читали манифест, который сегодня появился в собрании узаконений, а равно и указ сенату?» Мы все были удивлены, не имея понятия ни об этом манифесте, ни об указе. В том числе был удивлен и министр внутренних дел Булыгин. Конечно, мы все обратились к мини-

стру юстиции Манухину, прося его объяснения, каким образом случилось, что появился этот манифест и указ совершенно неожиданно.

Тогда министр объяснил, что вечером этот указ и манифест был препровожден в сенат для опубликования. Сенатская типография не хотела опубликовать без его разрешения и обратилась к нему. Он считал, что нельзя опубликовать без соблюдения всех нужных формальностей, поэтому он снесся с начальником канцелярии его величества Танеевым, который сказал, что последовало указание, что государь император приказал опубликовать. Поэтому он и разрешил опубликовать в виду категорического высочайшего повеления «манифест о нестроении и смутах». Как это было ясно по его редакции, по слогу, так и по мысли, вложенной в него, и как это затем вполне подтвердилось, он был написан и составлен К. П. Победоносцевым, который все время числился больным и проводил мысли совершенно реакционные, не соответствующие всему тому, что проповедывалось указом 12 декабря, и всем тем мерам, которые во исполнение этого указа 12 декабря были приняты [1]).

А указ сенату заключался в том, что предоставлялось право всему населению обращаться с петициями в совет министров, а в то время совет министров это было учреждение, которое весьма редко собиралось, иногда по целому году не собиралось, но которое числилось под председательством государя императора [2]). Меры эти весьма поразили всех членов комитета министров, ехавших на заседание к государю.

Государь явился на заседание, как ни в чем не бывало, точно и не было манифеста. В душе, вероятно, государь благодушно злорадствовал, так как он всегда любил неожиданностями озадачивать своих советчиков.

Еще до заседания некоторые члены, которые хотели знать, как это все понимать, обратились с вопросами к его величеству.

---

[1]) Вариант: *Кто был автор этого манифеста? Ни Булыгин, ни Трепов и никто из присутствовавших. Победоносцева не было. Приехавши в Царское Село, мы узнали, что манифест этот был посылаем накануне Победоносцеву, который ответил, что манифест так хорошо составлен, что он не может изменить ни одного слова. Затем сделалось известным, что манифест был передан государю императрицею, а императрице Александре Феодоровне доставлен полковником от котлет князем Путятиным. А кто писал, так мне и осталось неизвестным, вероятно, один из столпов черносотенцев*.

[2]) Указ сенату о петициях, который, в сущности говоря, принципиально ничего особенного не представлял, но практически он представлял собою вещь совершенно неисполнимую; ибо если допустить, чтобы в совет всяк мог подавать петиции и что все они должны разбираться, то тогда нужно

Его величество, тем не менее, высказал, что он того направления, под влиянием которого был издан указ 12 декабря, не изменял, что он остается при этих мнениях и что он не видит разногласия между манифестом о нестроении и смутах и указом сенату о праве петиций с указом 12 декабря, хотя манифест находился с ним в явных противоречиях.

В заседании все министры высказывались, что смута идет таким ходом, что необходимо принять какие-нибудь меры, которые могли бы успокоить Россию, и что единственная эта мера есть установление народного представительства, хотя бы в форме совещательной.

* Булыгин прочел проект рескрипта, предрешающий более или менее широкое участие выборных от населения в законодательстве, т.-е. провозглашающий принципы, диаметрально противоположные тому, что объявлялось в опубликованном несколько часов тому назад манифесте. Начался обмен мыслей, сводящихся к различным замечаниям более или менее серьезным по редакции рескрипта. Я все время молчал. Сделан был перерыв заседания для завтрака. По обыкновению все бывшие на заседании завтракали отдельно, а государь у императрицы.

Во время завтрака меня кто-то спросил мое мнение. Я ответил, что мне кажется, что присутствующие заспорят о деталях, и рескрипт провалится. В данном случае все были так фруасированы проделкою с манифестом, что согласились не спорить о деталях, и все согласились на редакцию Булыгина.

Когда после завтрака государь открыл заседание, то был, видимо, удивлен, что все заявили, что не имеют никаких замечаний по проекту рескрипта. После этого государь подписал рескрипт. Князь Хилков от умиления расплакался, а граф Сольский произнес благодарственное прочувствованное слово.

Таким образом в один и тот же день появилось два совершенно противоположных государственных акта, впрочем, это бывало и ранее, и позднее. Ведь еще несколько месяцев тому назад появился манифест 3 июня 1907 г., подтверждающий манифест 17 октября, а через несколько дней—телеграмма госу-

---

было совет обратить в постоянное учреждение с целыми министерствами, но мысль, которая руководила автором составления этого указа, конечно, заключалась в том, что государь император должен стоять лицом к лицу к народу, что между ним и народом не должно быть никакого средостения, что, мол, министры подрывают престиж неограниченного монарха и поэтому надо, так сказать, поставить государя императора лицом к лицу с народом.

Конечно, это есть только мысль, фраза, которая ничего реального, а в особенности практического не выражает. А потом начало столько сыпаться петиций в совет, что указ этот должен был быть отменен, одновременно с манифестом об учреждении Государственной Думы совещательного порядка 6-го августа того же самого года.

даря проходимцу Дубровину, председателю союза русских людей, в сущности, совершенно отрицающая манифест 17 октября.

Само собой разумеется, что при таком ведении дела, несмотря на теперешнее желание России так или иначе покончить с революцией, нельзя добыть и ожидать спокойствия. Россией играют, как игрушкою, может быть, не дурные, но все же дети. Ведь на войну с Японией смотрели, как на войну с оловянными солдатиками. Такая уже психика—психика полной безответственности, как здесь, так и на небе...

После я уже не принимал никакого участия в выработке проекта Думы Булыгина. Когда проект этот был окончен Булыгиным, он поступил на рассмотрение совета или совещания Сольского. По поводу решения этого совещания был составлен более или менее подробный журнал, всеми подписанный и отпечатанный, из которого видны в главных чертах происходившие суждения. Я принимал в этих совещаниях пассивное участие. Совет Сольского в главных основаниях одобрил проект Булыгина. Затем, когда я уехал в Америку, дело это окончательно обсуждалось в Петергофе в совещании под председательством государя, в котором участвовали, кроме членов совета графа Сольского, некоторые великие князья (Михаил Александрович, Владимир Александрович) и другие лица, в том числе столпы консерватизма Победоносцев, Игнатьев, Нарышкин (тогда сенатор, ныне член Государственного Совета от дворянства), граф Бобринский (бывший петербургский предводитель дворянства) и проч.*

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Цусима.

* Несомненно, что колебания государя и камарильи, его окружающей, влево шли параллельно всем нашим позорным сплошным неудачам в войне с Японией. Эта же война все более и более возбуждала в различных направлениях, во всех случаях, неблагоприятных для существующего режима, все слои русского населения. Психика всех обывателей России начала перевертываться, все начали сбиваться с панталыку, и, в конце концов, можно сказать, — Россия сошла с ума. Действительно, чем в сущности держалась Российская империя? Не только преимущественно, но исключительно своей армией. Кто создал Российскую империю, обратив московское полуазиатское царство в самую влиятельную, наиболее доминирующую, великую европейскую державу? — Только сила штыка армии.

Не перед нашей же культурой, не перед нашей бюрократической церковью, не перед нашим богатством и благосостоянием преклонялся свет. Он преклонялся перед нашей силой, а когда в значительной степени преувеличенно увидели, что мы совсем не так сильны, как думали, что Россия «колосс на глиняных ногах», то сразу картина изменилась, внутренние и внешние враги подняли головы, а безразличные начали на нас не обращать внимания. После того, как мы позорно проиграли бой под Мукденом и отступили, при чем отступление это во многих частях было самое беспорядочное, для всех здравомыслящих людей было ясно, что следует употребить все усилия, чтобы по возможности достойно покончить несчастную войну.

Был сменен Куропаткин, и на его место назначен старый, полуобразованный генерал Линевич. Может быть, недурной полковой командир, вероятно, лично храбрый (Куропаткин был тоже вполне храбрый человек), но известный только тем, что, когда взял вместе с союзными войсками Пекин, то произвел

громадный грабеж, в коем и лично не остался в стороне. Взятие Пекина никакой военной славы никому дать не может, а потому слава Линевича, если и была, то более была основана на факте грабежа пекинских дворцов *.

Я уже указывал на то, что великий князь Николай Николаевич еще до войны имел значительное влияние на государя императора и что он был в некоторой коалиции с Куропаткиным, когда еще этот последний был военным министром и предназначался командующим армией в ожидаемой войне с Австрией, в то время, как великий князь Николай Николаевич назначался командующим армией против Германии.

Когда ушел Куропаткин и его место занял Сахаров, человек в высокой степени почтенный и умный, но с небольшим темпераментом, то Николай Николаевич приобрел еще большее влияние.

Вследствие этого, когда Сахаров был назначен военным министром, то был возбужден вопрос относительно того, чтобы подразделить власть военного министра; устроить ареопаг, который, как высшее военно-морское учреждение, находящееся под непосредственным начальством его императорского величества, занимался бы вопросами государственной обороны.

Вследствие этого был образован совет государственной обороны, и на место председателя был назначен великий князь Николай Николаевич.

В сущности говоря, дело сводилось к тому, что великий князь Николай Николаевич был назначен, под видом председателя совета государственной обороны, начальником как военного, так и морского министров.

Затем, великий князь Николай Николаевич, по слабости, присущей всем великим князьям, начал, конечно, тащить на высшие места лиц, которые были близки или к нему лично, или к его отцу, или же к даме, близкой к сердцу его отца,—танцовщице Числовой, или к даме, близкой к сердцу самого великого князя Николая Николаевича, — г-же Бурениной, и, наконец, лиц, заслуживших благоволение его супруги Анастасии, княжны Черногорской.

Явилась мысль о подразделении всего военного ведомства, подобно тому, как это было сделано в Германии, на два отдела: с одной стороны — административный, находящийся в заведывании военного министра, а с другой — чисто военный, находящийся под ведением начальника императорского генерального штаба, непосредственно подчиненного государю императору.

Когда явился этот проект, то мое мнение по этому предмету спрашивал бывший в то время министром Сахаров, который относился к этому преобразованию довольно скептически, но не

имел достаточно силы, чтобы оказать энергичное противодействие к осуществлению этой затеи. Я высказал ему тогда, что эта затея ни к чему привести не может, ибо в Германии чисто военная и административная часть разделена снизу доверху и таким образом подразделение наверху является довольно естественным: между тем у нас — судя по проекту, который он мне показал,—предполагается нанизу все оставить без изменения, а только взять и назначить вместо одного военного министра—двух министров: назвав одного—военным министром, а другого—начальником генерального штаба. Очевидно, что из этого ничего, кроме двоевластия, выйти не может. Таким образом будет изуродована существующая у нас система военного управления, заимствованная у Франции, система, основанная на военных округах, а затем от этого преобразования мы не подвинемся к германской системе, которая не основана на военных округах, где военная часть от административной разделяется от самого низа, от ячеек армии.

Тем не менее, предположение великого князя Николая Николаевича было выполнено: генеральный штаб был отделен от центрального военного министерства, и на пост этот был назначен генерал Палицын; это весьма порядочный, хороший человек, очень хороший военный администратор, знающий все военно-административные тонкости, человек очень не глупый, но не имеющий никакого военного и в особенности боевого авторитета, а поэтому назначение такого лица, после развала нашей армии, на пост, соответствующий в Германии посту фельдмаршала Мольтке, конечно, представляло такое явление, которое при серьезном, государственном отношении к делу было бы немыслимо.

Эта затея великого князя Николая Николаевича долго не продержалась. После того, как была открыта Государственная Дума и, наконец, явилась третья Государственная Дума, полная несостоятельность организации, которая была дана великим князем Николаем Николаевичем, а равно и полный произвол, который начал проявляться в деле высшего военного управления, вследствие полной великокняжеской безответственности, сделались столь очевидными и невозможными, что все это пало и совет государственной обороны и начальник генерального штаба—все было снова упразднено, и мы вернулись к прежнему положению дела, т.-е. к французской военной системе.

Этот эпизод не только нисколько не улучшил положения нашей военной обороны, а наоборот,—внес в это дело еще большую деморализацию против той деморализации, которая получилась вследствие нашей позорной войны на Дальнем Востоке.

* В течение всей войны самые толковые военные статьи, почти всегда безошибочно предвещавшие будущее, появлялись в «Русском Слове». Как оказалось впоследствии, они принадлежали перу московского земского статистика, кажется, Михайловского. После Мукденского погрома появилась статья, ясно выясняющая, что ожидать успеха от дальнейших действий Линевича невозможно. Я послал эту статью графу Гейдену, в то время заведывавшему походной канцелярией государя, рекомендуя ему обратить внимание его величества на эту статью.

На мое препроводительное письмо, я получил ответ с различными соображениями и колкостями. Мне передали, что ответ этот известен государю. Вследствие сего я написал письмо, в котором, в тоне того письма, на которое оно служило ответом, высказал, что я, будучи против войны, всегда считал, что скорейший мир, конечно, соответствующий обстоятельствам, есть лучший исход сего государственного преступления, что чем скорее его заключат, тем будет для нас выгоднее, и что напрасно возлагают надежды на Рождественского, так как он успеха иметь не может.

Тогда государь по свойственному ему оптимизму ожидал, что Рождественский перевернет все карты войны. Ведь Серафим Саровский предсказал, что мир будет заключен в Токио, значит только одни жиды и интеллигенты могут думать противное...

Оба сказанные письма находятся в моем архиве. Мне известно, что его величество прочел мое письмо, но оставил его без последствий. Он ожидал, что Рождественский разгромит японский флот. К тому же известная часть прессы, прародительница Дубровинщины, уверяла, что, как только Рождественский вошел в китайские воды, вся Япония в панике *.

Адмирал Рождественский был известен, с одной стороны, потому, что он был на пароходе «Весте», который под начальством капитана Баранова дал, как говорят, мнимое сражение в Черном море турецкому военному судну, во время нашей последней войны. Затем, в последние годы, Рождественский был начальником артиллерийской команды морского ведомства и во время последних смотров флота его величества умел выказать прекрасную стрельбу моряков и со всех сторон заслужил большую похвалу, даже со стороны германского императора Вильгельма.

* Что касается эскадры Рождественского, то у меня составилось по многим причинам полное убеждение, что это предприятие бедственное, и бедственное потому, что, не принеся пользы

в смысле военных действий на Дальнем Востоке, приведет к уничтожению флота в европейских водах и послужит новым доказательством полной несостоятельности нашего режима. Оно не могло иметь успеха, во-первых, потому, что мне была известна несостоятельность организации нашего флота, которая затем явно подтверждалась на Дальнем Востоке с самого начала войны. Во-вторых, я был весьма отрицательного мнения о Рождественском не только по аттестации, данной мне о нем еще Кази, но и адмиралом Дубасовым (когда Рождественского посылали), который по вопросу вообще о силе этой эскадры дал мне некоторые данные, хранящиеся в моем архиве; в-третьих, потому, что на меня Рождественский, будучи начальником морского штаба, произвел в начале войны самое странное впечатление, когда он вместе с великим князем Александром Михайловичем настаивал, чтобы во всех портах Европейской России относительно торговых судов ввести такие порядки военного надзора, при которых торговля была бы невозможна, уверяя, что под видом торговых судов могут прийти суда японского военного флота (что это было, глупость или трусость?). Как ни странно было это предположение адмирала Рождественского, но комитет министров отнесся к нему вполне отрицательно, и предположения морского министерства, поддержанные, между прочим, и великим князем Александром Михайловичем, не получили утверждения. Под впечатлением такой идеи, находившейся в голове Рождественского, и произошел траги-комический инцидент в Гуле, когда шла его эскадра на Дальний Восток; наконец, граф Ламсдорф и великий князь Александр Михайлович рассказывали мне то, что происходило в заседании, когда окончательно решили отправить эскадру Рождественского. Из этого рассказа было ясно, что присутствовавшие все сомневались в успехе этого предприятия, а некоторые члены совещания были убеждены в неуспехе его, и, если государь решил отправить эскадру, то с одной стороны вследствие легкости суждения, связанного с оптимизмом, а с другой—потому, что присутствовавшие не имели мужества говорить твердо то, что они думали *.

Так как я сам участвовал во многих таких совещаниях, то мне представляется, что отрицательное мнение это было выражаемо крайне осторожно, ибо, по обыкновению, члены этих совещаний знали или догадывались о том или другом желании его величества, а потому стеснялись высказываться решительно против этих желаний. Те члены, которые не следовали этому правилу, в конце концов, навлекали на себя нарекание и должны были покидать свои посты (к таким членам причисляю я и себя).

Когда же дело дошло до того, что Рождественский должен был высказать свое мнение, то Рождественский, как мне говорил великий князь Александр Михайлович, сказал следующее:

он находит, что экспедиция эта очень трудная, но если государь император прикажет ее ему совершить, то он станет во главе эскадры и поведет ее на бой в Японию.

Затем, его величеству, пред отправлением Рождественского на бой, на Дальний Восток, благоугодно было оказать ему милость — повести адмирала к малолетнему наследнику престола, Алексею Николаевичу, от которого Рождественский, кажется, получил в виде благословения образок.

История всей этой экспедиции известна. О том, что она потерпит крушение, всем лицам, умеющим трезво рассуждать, хотя бы и не специалистам, было отлично известно.

Между прочим, и я предупреждал об этом, советуя не доводить нашу эскадру до боя с японским флотом.

* После хотели вслед за эскадрой Рождественского послать наш скромный черноморский флот, совершенно оголив Черное море. На этом настаивали великий князь Александр Михайлович и граф Гейден и склоняли государя. Граф Ламсдорф приходил ко мне советоваться. Я ему высказал, что посылка этой эскадры ничему не поможет на Дальнем Востоке, совершенно обессилив нас в Черном море, а главное, представляет акт, противный международным трактатам. Нарушение трактатов, несомненно, вызовет большие осложнения в Европе, и, как только наш черноморский флот покинет Черное море, в него войдет английский флот. Граф Ламсдорф всячески противодействовал посылке черноморского флота, но, как министр иностранных дел, базировался лишь на соображениях дипломатических. В моем архиве имеется печатная записка по этому предмету графа Ламсдорфа. В данном случае его влияние взяло верх.

В связи с делом об эскадре Рождественского находилось дело о покупке аргентинского флота. История эта так же безумна по своему политическому основанию, как, в особенности, по исполнению. По политическому основанию она нелепа потому, что, если бы эта покупка совершилась, то державы, поддерживавшие Японию, в этой покупке нашли бы предлог усилить японский флот под тою или другою формою своим флотом, так как продажей Аргентиной России своего флота нарушался принцип нейтралитета. Что же касается исполнения этой покупки, то этим делом под флагом большой секретности занимались такие господа, как Котю (Панама), адмирал Абаза, который ездил заграницу, изменял свою фамилию, переодеваясь, брея свою бороду и усы, — одним словом, с полнейшей конспирацией, а к ним прилепились десятки темных дельцов.

Флот, конечно, приобретен не был, но были затрачены и украдены многие миллионы. Это одна между многими другими из историй безобразнейшего хищения казенных денег*.

14 и 15 мая произошел несчастнейший Цусимский бой, и вся наша эскадра была похоронена в японских водах. Это был последний удар той несчастной затее, которая привела нас к Японской войне.

После этого поражения у всех явилось сознание, что необходимо покончить войну миром, и это течение так сильно начало проявляться, что дошло, наконец, и до трона.

Его императорское величество начал склоняться к мысли о примирении.

В течение всей кампании я несколько раз пытался повлиять в смысле прекращения войны, не ожидая от продолжения ее никаких для нас выгод. Но все мои попытки ни к каким результатам не приводили. Но благодаря этим попыткам его величество знал, как я был против того, чтобы начинать эту войну, принесшую нам такие несчастья, так и в течение войны стремился — и не скрывал моих мыслей перед его величеством — не доводить войну до крайности и покончить скорее дело миром; так как я был уверен, что, чем раньше мы пойдем на мирные переговоры, тем лучшие результаты нами будут достигнуты.

После Цусимского боя генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович и морской министр Авелан просили государя их уволить. Этот поступок великого князя и Авелана был в высокой степени благородный. Они высказались в том смысле, что раз флот потерпел такое крушение — лица, стоявшие во главе флота, не могут более оставаться в том же положении.

Еще до Цусимского боя вместо адмирала Макарова, начальником нашей дальневосточной эскадры, т.-е. начальником нескольких судов, оставшихся во Владивостоке, был назначен адмирал Бирилев. После Цусимского поражения, очевидно, Бирилеву нечего было делать на Дальнем Востоке, и потому не успел он туда приехать, как вернулся обратно и был назначен морским министром.

Бирилев был морским министром в моем министерстве после 17-го октября 1905 г., затем был министром в министерстве Горемыкина и в министерстве Столыпина.

По мере наших военных неудач смута и революционное течение в России все более и более увеличивались; вследствие этого, 21 мая петербургский генерал-губернатор Трепов был назначен товарищем министра внутренних дел, и ему были даны особые

полномочия по заведыванию полицией. В сущности Трепов сделался — впрочем он и ранее был — негласным диктатором.

Почтеннейший министр внутренних дел Булыгин являлся лишь ширмой; он занимался всеми спокойными делами, а все неспокойные дела находились в полном произвольном распоряжении генерала Трепова, а так как в то время вся Россия была в неспокойном состоянии, то из этого очевидно, что роль министра внутренних дел Булыгина была совершенно стушевана.

После Цусимского боя был упразднен особый комитет Дальнего Востока, и адмирал Алексеев был уволен от должности наместника Дальнего Востока. Впрочем, комитет Дальнего Востока ни разу не собирался, а когда началась война, то наместник Дальнего Востока, уволенный от командования армией и приехавший в Россию, потерял всякое значение, так что упразднение особого комитета и увольнение Алексеева от должности наместника—на каковую должность, конечно, уже никто никогда после назначаем не был—представляло собою не что иное, как своего рода панихиду над позорно погибшей авантюрой Безобразова и компании.

Но все-таки, когда адмирал Алексеев был уволен от должности главнокомандующего действующей армией, то он в утешение получил Георгия на шею, хотя и не слышал в своей жизни ни одного выстрела, а во время войны пребывал спокойно в Мукдене в своем кабинете, занимаясь более состоянием своего тела, нежели состоянием действующей армии.

Впрочем, последнее может быть поставлено Алексееву только в плюс, потому что несомненно, если бы он начал заниматься действующей армией, то по полному своему невежеству в этом деле он не мог бы сделать ничего кроме ущерба для армии.

Адмирал Алексеев носит этот данный ему Георгий на шее, по принятому статуту этого ордена, постоянно, и Алексееву делает честь то, что он одновременно носит и длинную бороду, которая закрывает этот орден и таким образом не возбуждает у лиц, на него смотрящих, печальные мысли о том, какими путями иногда у нас в России лица достигают столь высоких постов, как пост наместника русского великого государя, и каким образом лица эти иногда получают высшие военные ордена, между тем как действительные наши военные герои этой чести не удостаиваются, ибо этого высшего военного ордена не имеют многие из русских генералов, которые, действительно, отличились на последней войне.

В июне месяце государь император принял известную депутацию земских и городских деятелей, во главе которой был князь Трубецкой, профессор московского университета.

Эта депутация недвусмысленно высказала его величеству свое мнение в том смысле, что Россия ждет от его величества изменения государственного порядка в смысле привлечения к законодательным делам народа и общества.

Его величество милостиво отвечал на эту речь и в этом ответе, если не обещал водворения государственного строя на основании народного представительства, то, во всяком случае, и не отверг желания, ему откровенно высказанные этой депутацией.

В этом смысле через несколько дней, 18 июня, после представления его величеству депутации, во главе которой стоял князь Трубецкой, высказались и петербургский и московский губернские предводители дворянства, которые также представлялись его величеству, а именно граф Гудович и князь Трубецкой, брат профессора Трубецкого, которые представили его величеству всеподданнейшую записку от двадцати шести губернских предводителей дворянства.

Конечно, в этой всеподданнейшей записке предводителей дворянства излагались более скромные мысли, но, во всяком случае, и в этой записке была высказана мысль, что так далее Россия жить не может.

Приблизительно в конце июня месяца Россия пришла в такое положение, что государь явно почувствовал, что необходимо принять какие-нибудь решительные крутые меры, чтобы в России не произошел полнейший развал, который мог грозить и всему царствующему дому.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Портсмутский мир.

В конце июня президент американской республики, Рузевельт, предложил свои услуги для того, чтобы привести Россию и Японию к примирению.

При каких условиях произошли переговоры с Японией, закончившиеся портсмутским трактатом,—все это обрисовано в систематических документах, находящихся в полном порядке в моем архиве. Из систематического тома этих документов видно, как возникла мысль о мирных переговорах, какие были получены главноуполномоченными инструкции по ведению этих мирных переговоров, каким образом переговоры эти велись, благодаря чему они привели к мирному разрешению вопроса, а поэтому в настоящих моих отрывочных стенографических заметках я эту часть дела излагать не буду. Я коснусь только некоторых более или менее внешних событий и инцидентов того времени, которые не содержатся в сказанном томе документов.

Когда явился вопрос о назначении главного уполномоченного для ведения мирных переговоров, то граф Ламсдорф словесно указывал его величеству на меня, как на единственного человека, который, по его мнению, мог бы иметь шансы привести это дело к благополучному концу.

Его величеству не угодно было ответить графу Ламсдорфу в утвердительном смысле, хотя его величество и не сказал «нет».

Нужно сказать, что в это время, после моего ухода с поста министра финансов, я был в своего рода опале, в какой я очутился после того, когда я покинул пост председателя совета министров—во всяком случае я не находился в милости.

С другой стороны, все то, что я предсказывал относительно той политики, которая была ведена Безобразовым и компанией, при содействии министра внутренних дел Плеве, а равно и о последствиях войны, которые, по моему убеждению, должны были произойти от этой политики,—все, почти буквально, сбылось и сбылось даже значительно в большей степени, в значительно большем размере, нежели я предсказывал.

При таком положении дела естественно, что у его величества являлись в отношении меня особые чувства.

Достаточно знать характер, крайне мягкий, деликатный, государя императора, чтобы понять, что после всего происшедшего его величеству было не особенно удобно приблизить меня опять к себе, назначив главным уполномоченным по такому великому государственному делу, как ведение переговоров с Японией.

Не говоря уже о моих личных предупреждениях государя о последствиях войны, которые я делал официально во всех комиссиях, ранее войны, в отчаянную минуту, когда я видел, что дело ведется к тому, что война непременно произойдет, я счел необходимым, как я это уже рассказывал, высказать мои сомнения и опасения в форме полнейшего убеждения моему большому приятелю князю Шервашидзе, прося его доложить о моем убеждении императрице-матери, при которой князь Шервашидзе состоит.

Князь Шервашидзе исполнил эту мою просьбу, и мне сделалось известно, что императрица говорила об этом с императором, но его величество высказал, что он не видит никакой опасности и что войны не будет.

Я привожу этот эпизод, как такой факт, который, несомненно, свидетельствует, что его величеству были отлично известны мои убеждения и мои старания предотвратить от России и ее монарха великие бедствия, и что мои старания не увенчались успехом потому, что его величеству не угодно было в этом вопросе оказать мне доверие, которое государь мне милостиво оказывал в других случаях.

*Как-то раз мне граф Ламсдорф сказал, что решили с нашей стороны первым уполномоченным назначить посла в Париже Нелидова и что теперь идет речь, где съехаться уполномоченным. Рузевельт желает, чтобы переговоры велись в Америке, но что было бы удобнее съехаться в Европе. Я ему сказал, что было бы всего удобнее съехаться где-либо недалеко от театра военных действий, но если делать выбор между Америкой и Европой, то, пожалуй, будет удобнее в Америке, чтобы по возможности устраниться от интриг европейских держав.

Затем был экстренно вызван наш посол в Риме Муравьев. Граф Ламсдорф мне сказал, что Нелидов отказался от поручения, ссылаясь на свои лета и здоровье, что Извольский, наш посланник в Дании, также отказался, заявив, что единственно кому можно было бы дать такое трудное поручение, это—Витте, в виду его авторитетности, как в Европе, так и на Дальнем Востоке, и что государь решил поручить эту миссию Муравьеву. Муравьев по приезде провел у меня целый вечер, говорил, что являлся государю, который поручил ему ехать в качестве уполномоченного в Америку вести мирные переговоры с японскими делегатами, что по его мнению при настоящем положении вещей необходимо заключить мир, о чем он откровенно доложил государю, что он понимает, что на него возлагается самая неблагодарнейшая задача, ибо все равно—заключит ли он мир или нет, при настоящем положении России его будут терзать одни, уверяя, что, если бы мир не был заключен, то мы победили бы,—для оправдания позора войны, а другие, в случае незаключения мира, что все последующие неизбежные несчастья произошли от того, что он не заключил мира, но что, тем не менее, он решился на это пожертвование своей личностью и согласился оказать эту услугу государю. Затем он спрашивал, кого я ему советую взять с собою, я указал на нашего посланника в Пекине Покотилова и директора департамента казначейства Шипова (который затем был министром финансов в моем кабинете после 17-го октября), как лиц, бывших все время моими сотрудниками по делам Дальнего Востока.

Тогда же Муравьев мне говорил, что как он счастлив, что своевременно ушел из чепухи, которая творится в Петербурге, и высказывал, что, живя теперь заграницею и видя действие парламентарного устройства, даже в такой стране, как Италия, где масса социалистов и крайних, он пришел к тому убеждению, что после всего происшедшего Россию может спасти только конституция.

Он пробыл у меня целый вечер, и не было нисколько заметно, что он нездоров, напротив того, он говорил, что чувствует себя отменно.

Прошло несколько дней, в течение которых я не видал Муравьева.

После одного из заседаний комитета министров явился граф Ламсдорф в ленте, что давало всем основание думать, что он приехал от государя, и сказал мне, что желает со мною переговорить. Мы удалились в кабинет председателя комитета министров, и тут граф Ламсдорф мне заявил, что он приехал от государя, дабы из частной беседы узнать, не соглашусь ли я взять на себя переговоры о мире с Японией и для сего ехать в Америку; что государь, ранее нежели мне делать это предложение, поручил

ему в виду наших личных хороших отношений узнать это от меня, так как государю, конечно, будет неловко получить от меня отказ. Я его спросил:

«А что же Муравьев?»

Ламсдорф мне ответил, что Муравьев вчера был у государя, заявив, что он совсем болен и не может принять возлагаемую на него миссию, что даже прослезился у государя и что его величество ему, Ламсдорфу, сказал, что ему действительно показалось, что Муравьев болен. На вопрос мой: «как же вы объясняете себе этот инцидент?» Ламсдорф мне ответил, что Муравьев, совсем не зная этого дела и вообще не имея никаких дипломатических сведений, как умный человек, все-таки понял всю опасность, которой он себя подвергает, а во-вторых, он очень интересовался вопросом, сколько будет назначено на поездку первого уполномоченного, рассчитывая на 100 тысяч рублей, и был очень смущен, когда я ему сказал, что государь, по моему докладу, уже назначил первому уполномоченному 15 тысяч рублей. Затем я спросил графа Ламсдорфа, не может ли он поехать сам или предложить назначить своего товарища князя Оболенского. Граф мне ответил, что он оставить свой пост не может, а его товарищ (и самый интимный друг) князь Оболенский на эту роль не годится. Потом он начал взывать к моему патриотизму, дабы я не отказался. Я ответил, что, не считая по моему положению возможным уклониться от этой миссии, я ее приму, но если государь лично меня попросит или прикажет*.

Вечером я уже получил приглашение его величества на другой день приехать к нему. На другой день утром, это было 29 июня, последовало мое назначение главным уполномоченным по ведению мирных переговоров с Японией, и на другой день утром я был у государя, и государь меня благодарил, что я не отказался от этого назначения, и сказал мне, что он желает искренно, чтобы переговоры пришли к мирному решению, но только он не может допустить ни, хотя бы, одной копейки контрибуции, ни уступки одной пяди земли. Что же касается того военного положения, в котором мы ныне находимся, то я должен поехать к главнокомандующему войсками петербургского округа и председателю обороны великому князю Николаю Николаевичу, который мне и разъяснит положение нашей армии на Дальнем Востоке.

Таким образом мой разговор с его величеством был очень краток. Это было в Царском Селе. Из Царского Села я возвратился в Петербург и поехал прямо к министру иностранных дел и передал ему те указания, которые дал мне государь император.

Министр иностранных дел поинтересовался узнать, желаю ли я, чтобы со мною поехали все те лица, которые были назначены

для Муравьева, или же я желаю сделать перемены, на что я ответил, что я считаю неудобным кого-нибудь менять, потому что это было бы обидно для тех, которые назначены, между тем я не имею в виду никого обижать. Он мне сказал, что со стороны военного министерства и действующей армии состоять при главном уполномоченном назначены: генерал Ермолов, наш военный агент в Англии, а из действующей армии полковник Самойлов, наш военный агент в Японии и лейтенант Русин.

Точно так же граф Ламсдорф спросил меня, желаю ли я сохранить ту инструкцию, которая была дана Муравьеву, или же я желал бы другую инструкцию, на что я сказал, что мне это безразлично, при этом у нас было обусловлено, что эта инструкция для меня не будет обязательна, а только я ею буду пользоваться постольку, поскольку я сочту нужным.

Когда я от графа Ламсдорфа уходил, то он меня спросил: «Скажите, пожалуйста, Сергей Юльевич, какие у вас отношения с В. Н. Коковцовым, ведь он был вашим товарищем по министерству финансов, в сущности говоря, человек, вами созданный, между тем он как будто не вполне к вам относится дружески».

Я его спросил, в чем дело. Он на это мне ответил:—Когда я был в комитете министров и выходил из кабинета, после того, как вы сказали, что вы согласны принять место уполномоченного, и я считал вопрос решенным, то он спросил меня, для чего я приезжал к председателю комитета министров. Я ему сказал и думал, что он обрадуется, а он мне на это ответил: Очень жаль, что председатель комитета министров назначается на это место, ибо это означает, что мир будет заключен, потому что Сергей Юльевич пойдет на всякие условия.

Это, тем не менее, не мешало В. Н. Коковцову и перед моим выездом в Америку и во время моего пребывания в Америке все время телеграфировать мне свои мнения, клонящиеся к мирному ведению и к мирному окончанию переговоров.

При честности и благородстве графа Ламсдорфа, ему показался очень странным разговор его с Коковцовым по поводу моего назначения главноуполномоченным по ведению мирных переговоров с Японией.

На другой день после того, как я имел счастье быть у государя, я был у великого князя Николая Николаевича. Великий князь мне сказал, что он, со своей стороны, отказывается высказать какое бы то ни было мнение относительно того, следует ли окончить войну миром и какие условия могут быть приняты; что он со своей стороны ограничится только передачей мне того положения, в котором находится наша действующая армия в настоящее время, и затем уж он предоставляет мне вывести

из этого те или иные заключения, при чем он мне указал, в каком положении находится действующая армия, на что можно надеяться и на что можно рассчитывать, передав, что эти заключения не есть его личные мнения, а что они истекают из тех заключений, к корым пришло совещание из военных, бывшее под его председательством.

* Великий князь мне довольно обстоятельно объяснил положение дела со свойственной ему определенностью речи, которая сводилась к следующему: 1) наша армия не может более потерпеть такого крушения, какое она потерпела в Ляояне и Мукдене; 2) при благоприятных обстоятельствах с возможным усилением нашей армии имеется полная вероятность, что мы оттесним японцев до Квантунского полуострова и в пределы Кореи, т.-е. за Ялу, что для этого, вероятно, потребуется около года времени, миллиарда рублей расхода и тысяч 200—250 раненых и убитых, и 3) что дальнейших успехов без флота мы иметь не можем; 4) что в это время Япония займет Сахалин и значительную часть [1]) Приморской области. Великий князь выражал мнение, что во всяком случае невозможно соглашаться на отдачу Японии хотя пяди исконно-русской земли. Управляющий морским министерством Бирилев мне сказал, что вопрос с флотом покончен. Япония является хозяином вод Дальнего Востока. Что же касается мирных условий, то невозможно соглашаться на какие бы то ни было унизительные условия; что касается уступок территориальных, то по его мнению возможно уступить часть того, что мы сами в благоприятные времена награбили *.

Я тогда же записал резюме разговора со мною Николая Николаевича, и эта запись находится в моем архиве. Кроме того, впоследствии я сообщил об этих заключениях как министру иностранных дел, так и военному министру. Это было через несколько лет после войны, вследствие полемики, которую возбудил генерал Куропаткин. Я хотел, чтобы в обоих министерствах был след тех указаний, которые были мне даны со стороны главнокомандующего и председателя комитета обороны, когда я уезжал в Америку вести мирные переговоры.

Я знаю, что когда я эти указания сообщил министру иностранных дел Сазонову и военному министру Сухомлинову, то первый из них приказал мое письмо приложить к соответствующим бумагам его императорского высочества, а военный министр Сухомлинов письмо это докладывал государю, и государь подтвердил, что то, что я сообщил, верно, что действительно эти указания мне были даны со стороны великого князя Николая Николаевича.

[1]) Вариант: некоторые части.

После того, как великий князь мне передал официально эти документы, я на другой день явился в его величеству откланяться и хотел ему всеподданнейше доложить то, что мне передал великий князь, но государь, как только я начал докладывать, мне сказал, что это ему известно, так как Николай Николаевич ему доложил об этих заключениях.

Когда маркиз Ито узнал, что я еду главноуполномоченным, то он очень жалел, что он не может ехать, и это сожаление выразил в телеграмме, но уже в то время Комура со своей свитой уехал в Америку.

* Итак, после свидания с государем, о котором сказано выше, и получении его кратких указаний, я выехал 6-го июля 1905 г. в Америку заключать мирный договор. Были ли у государя по этому предмету совещания и с кем именно, мне неизвестно. Я знаю, что главнокомандующий постоянно сносился с его величеством, но каковы были мнения по этому предмету главнокомандующего Линевича, мне также было неизвестно. Я лично до самого заключения договора не получил от Линевича ни слова. Куропаткин, который оставил пост главнокомандующего, остался под начальством Линевича в качестве командующего одной из армий, еще ранее, нежели государь меня назначил главноуполномоченным для ведения переговоров, написал мне краткое письмо (находится в моем архиве), в котором он говорит, что теперь армия значительно усилилась и что они победят, «е с л и н е б у д у т о п я т ь с д е л а н ы о ш и б к и». Но ведь Куропаткин все время говорил, что победит, не отступит от Мукдена, не сдаст Порт-Артура, а мы, несмотря на его уверения, все время теряли сражения за сражениями, и как теряли—с каким позором!..

Я лично уверен, что Линевич и Куропаткин молили бога о том, чтобы мне удалось заключить мир, так как им оставался только один выход, это—после заключения мира кричать: «Да, нас били, но если бы мир не был заключен, то все-таки мы победили бы».

Что касается положения наших финансов, то мне, как члену финансового комитета, бывшему так долго министром финансов, было и без министра финансов хорошо известно, что уже мы ведем войну на текущий долг, что министр финансов сколько бы то ни было серьезного займа в России сделать не может, так как он уже исчерпал все средства, а заграницею никто более России денег не даст.

Таким образом дальнейшее ведение войны было возможно, только прибегнув к печатанию бумажных денег (а министр

финансов в течение войны и без того увеличил количество их в обращении вдвое, с 600 миллионов на 1.200 миллионов рублей), т.е. ценою полного финансового, а затем и экономического краха. Такое положение произошло, с одной стороны, по неопытности министра финансов Коковцова, а с другой—вследствие оптимистического настроения относительно результатов войны.

Коковцов—это тип петербургского чиновника, проведший всю жизнь в бумажной петербургской работе, в чиновничьих интригах и угодничестве. Сперва он служил в тюремном управлении, а потом в государственной канцелярии и дошел до поста статс-секретаря департамента экономии. Министр финансов имел всегда больше всего дело с этим департаментом. Когда открылся пост одного из товарищей министра финансов, то председатель департамента Сольский и другие члены просили меня взять на это место Коковцова, так как им будет удобнее всего иметь дело с ним. Я его взял, и он служил у меня лет шесть, покуда не был, не без моего сильного содействия, назначен государственным секретарем. Когда он был у меня товарищем, то касался только дел бюджетных и налоговых и не имел никакого отношения к делам банковым и вообще кредитным, каковыми делами занимался мой другой товарищ Романов. Когда я покинул пост министра финансов, то на мое место был назначен почтеннейший человек Плеске, управляющий государственным банком, но он через несколько месяцев умер, и тогда при содействии Сольского и, главным образом, моем был назначен Коковцов. Содействовал же я этому назначению, опасаясь, что последует гораздо худшее. Коковцов—человек рабочий, по природе умный, но с крайне узким умом, совершенно чиновник, не имеющий никаких способностей схватывать финансовые настроения, т.-е. способности государственного банкира. Что касается его моральных качеств, то он, я думаю, человек честный, но по натуре карьерист, и он не остановится ни перед какими интригами, ложью и клеветою, чтобы достигнуть личных карьеристических целей. Когда началась война, то он не спешил с займами, рассчитывая, что будет удобнее их делать впоследствии, когда проявится сила нашего оружия. Между тем результаты войны оказывались все плачевнее и плачевнее. Вместо того, чтобы с первого начала сделать большие займы, он все торговался с банкирами, делая их постепенно, а потому кредит наш все понижался и понижался, и условия для займов делались постепенно все более и более неблагоприятными. Такую политику поддерживал в нем и финансовый комитет. Из журнала заседания финансового комитета, в котором участвовали морской, военный и министр иностранных дел, видно, что я один, слабо поддерживаемый графом Ламсдорфом, выражал крайне пессимистические воззрения по поводу последствий войны. Вследствие такой политики, когда

был заключен мир, и началась революция, то, чтобы избегнуть финансового краха, мне явилась необходимость совершить в это страшное время громадный заем в 800 миллионов рублей, и это обстоятельство значительно обусловливало мою политику и образ действия. Коковцов же ушел после 17-го октября, свалив этот громадный дефицит на мою шею.

Изложенные обстоятельства крайне неблагоприятно подействовали на наш государственный кредит. Вторая главная ошибка Коковцова, из многих других, совершенных по его неопытности и самомнению, заключалась в том, что он значительно и без всякого оправдания увеличил количество кредитных билетов в обращении. Страны, имеющие правильное денежное обращение, основанное на свободном обмене на металл, прибегали к значительному увеличению кредитных билетов в обращении только в случае больших войн, когда не было возможности покрывать расходы путем кредитных операций. Значительное и быстрое увеличение кредитных билетов может иметь оправдание в случае внезапного экономического резкого кризиса, когда центральный банк вынуждается оказать большую и внезапную помощь.

Ни одного из этих обстоятельств не существовало. Все расходы войны были покрыты займами, при чем главный заем сделан мною в то время, когда я был в течение шести месяцев председателем совета министров, и Коковцов не был министром финансов.

Кризис, потребовавший помощь государственного банка, произошел от революционной паники, направленной на сберегательные кассы. Вследствие сего банк должен был оказать помощь этим кассам. Это произошло опять-таки, когда я был председателем совета, и Коковцов не был министром финансов. Затем паника эта прошла, и сберегательные кассы вернули деньги банку. Кредит же, оказываемый государственным банком торговле за время войны, не увеличился. Таким образом, ни война, ни потребности торговли не вызвали увеличения ссудных средств банка, а между тем Коковцов ухитрился увеличить количество кредитных билетов в обращении, как я уже упомянул выше, с 600 до 1.200 миллионов рублей и кроме того увеличил в обращении на 150 миллионов рублей билетов государственного казначейства, имеющих свойства кредитных билетов. Произошло это потому, что Коковцов, в моменты, когда нужны были деньги, выпускал кредитные билеты, но затем не гасил их, когда для сказанных нужд делались займы. Поэтому устойчивость денежного обращения в России, т.-е. гарантия размена на металл крайне уменьшилась, и я, при неблагоприятных обстоятельствах и анархии, не исключаю возможности в ближайшее время прекращения размена и финансового краха.

По этому предмету, когда в прошлом году я вернулся из заграницы, я в частном совещании у Коковцова разъяснил этот вопрос. Затем мы обменялись записками. Весь материал по поводу сего инцидента находится в моем архиве. Современем материал этот может быть весьма полезным для финансистов-практиков и теоретиков.

Все лица, которые должны были сопровождать первого уполномоченного или участвовать в переговорах, были назначены, когда предполагали назначить первым уполномоченным Муравьева, в том числе вторым уполномоченным был назначен наш посол в Америке барон Розен. Лица эти были следующие: член совета министра иностранных дел профессор Мартенс, очень хороший человек, с громадным багажом знаний, заслуженный профессор международного права с.-петербургского университета, почетный член многих заграничных университетов, пользующийся, может быть, случайно большею известностью заграницей, крайне ограниченный человек, если не сказать более, но с болезненным самолюбием. Чиновник министерства иностранных дел Плансон, тип угодливого чиновника, ныне наш генеральный консул в Корее. Он был при наместнике Дальнего Востока Алексееве в Квантуне и был угодливым исполнителем его—Алексеева—политики, приведшей нас к войне. Наш посол в Китае, весьма умный, талантливый и отличный человек, Покотилов, прекрасно знающий Дальний Восток, был всегда против войны и убежденный сторонник заключения мира, так как понимал, что продолжение войны кончится еще большими бедствиями. Покотилов приехал из Китая, когда уже начались переговоры, и почти не принимал никакого участия в этом деле, но имел нравственное влияние на Розена, как безусловный сторонник мира. Затем двое молодых талантливых секретарей, чиновники министерства иностранных дел, Набоков и Коростовец. От министерства финансов был назначен директор департамента казначейства, будущий министр финансов в моем кабинете после 17-го октября, Шипов, умный, талантливый и недурной человек, и при нем два чиновника. От военного ведомства генерал Ермолов, бывший и в настоящее время состоящий военным агентом в Лондоне, а в то время заведывавший всеми заграничными военными агентами, человек умный, хороший, культурный, приличный, но немного слабый характером. Он выражал мнение, что мир желателен, мало верил в то, что мы можем иметь успех на театре военных действий, весьма заботился, что ему делает великую честь, чтобы при переговорах и в особенности в мирном договоре не было задето достоинство нашей доблестной, но безголовой армии, и чтобы военное начальство было в курсе переговоров. Со вторым уполномоченным военного ведомства,

полковником Самойловым, я встретился на пароходе, когда тронулся из Шербурга. Он до войны был военным агентом в Японии, а после был при главной квартире действующей армии. Он человек весьма умный, культурный и знающий. Никаких сведений мне от Линевича не привез и никакой инструкции не получил. Он же мне категорически заявил, оговорив, что это его личное мнение и убеждение, что никакой надежды на малейший наш успех на театре военных действий нет, что дело окончательно проиграно и что поэтому, по его убеждению, необходимо заключить мир, во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уплатить значительную контрибуцию. От морского ведомства был назначен капитан Русин, который заведывал канцелярией по морским делам при главнокомандующем. Он приехал прямо из действующей армии, когда я уже был в Портсмуте и высказал те же взгляды, как и Самойлов, но осторожнее и сдержаннее. Он вообще относился к благоприятному дальнейшему ходу войны скептически. С бароном Розеном я близко познакомился лишь тогда, когда приехал в Америку. Это человек хороший, благородный, с посредственным умом логического балтийского немца, очень отставший от положения дел в России, относительно вопроса о мире колебавшийся, покуда не ознакомился с рассказами полковника Самойлова и капитана Русина. Вернее говоря, он был за мир, когда выяснилось, что он будет достигнут на тех условиях, на которых он был достигнут. Он человек воспитанный, вполне джентльмен, не принимая сколько бы то ни было активного участия в переговорах, оказывал мне во всем полное содействие.

Выехав из Петербурга 6-го июля 1905 г., я сел на пароход в Шербурге 13-го утром. Из Петербурга я поехал с прислугой, и меня сопровождала до Шербурга моя жена, а до Парижа мой внук Лев Кириллович Нарышкин, которому тогда было несколько месяцев. В Париже я его передал его родителям, Нарышкиным.

В Париже я был встречен послом и громадною толпою народа и почти всею русской колонией. Я несколько дней пробыл в Париже, чтобы видеться с президентом кабинета министров Рувье и президентом республики Лубэ. Я заговорил с Рувье, что России во всяком случае потребуются деньги или для ведения войны, если мне не удастся заключить мир, или для ликвидации таковой в случае заключения мира. Рувье мне заявил, что Россия должна иметь в виду, что при настоящем положении вещей она не может рассчитывать на французский денежный рынок, что, по его мнению, России необходимо заключить мир, что

по его сведениям это будет возможно только при уплате Японии контрибуции и что Франция окажет содействие России для такой уплаты, так как она, как союзница России, главным образом заинтересована в том, чтобы Россия покончила эту несчастную войну и развязала себе руки в Европе; покуда вся военная сила России находится на Дальнем Востоке, она является бессильной союзницей Франции на случай каких либо осложнений в Европе. Я ответил Рувье, что, будучи убежденным сторонником мира, я ни в каком случае не соглашусь на такой договор, по которому пришлось бы уплатить один су контрибуции. Россия никогда контрибуции никому не платила и не будет платить. По поводу этого моего заявления Рувье сказал, что Франция в 70-х годах уплатила громадную контрибуцию Германии, и это не умалило ее достоинства; на это я заметил, что если японская армия подойдет к Москве, тогда, может быть, и мы будем относиться к вопросу о контрибуции иначе. Лубэ, который нарочно приехал из Рамбулье, чтобы со мною повидаться, также настойчиво советовал мне заключить мир. Он мне говорил, что из донесений французских офицеров, бывших и ныне находящихся при действующих армиях, очевидно, что дальнейший ход военных действий не может быть для нас более благоприятный, нежели был до настоящего времени, и что потом мирные условия будут еще более тягостные. Затем мне Лубэ сказал конфиденциально, что он имеет положительные сведения, что Япония поддерживает смуты в России и антирусское движение в европейской прессе.

Чтобы объяснить настроение как президента республики, так и главы кабинета, необходимо иметь в виду следующие обстоятельства, происшедшие в международном положении во время несчастной войны с Японией. Отношения Франции с Англией были довольно холодные в течение нескольких десятков лет до Японской войны. Холодность эта основывалась, главным образом, на соперничестве в азиатских и африканских районах Средиземного моря. Англия после последней Наполеоновской империи совершенно вытеснила доминирующее влияние Франции в Египте и, можно сказать, вырвала из ее рук Суэцкий канал. Затем она начала вести соперничество с Францией в тех частях северной половины Африки, которая естественно тяготела к Тунису, к Алжиру и к Марокко, т.-е. к таким частям, которые или принадлежали Франции или находились под ее влиянием. Еще за несколько лет до Японской войны произошел в Африке инцидент с экспедицией полковника Маршана, который делал исследования в области, тяготеющей к местностям, находящимся под влиянием Франции, водворил там французский флаг, а Англия в довольно грубой форме заставила его снять. Этот инцидент возбудил большой переполох во Франции, и она просила содействия России. Россия, вследствие влияния графа Ламсдорфа и моего,

посоветовала Франции не доводить дело до разрыва [1]), так как из-за такого инцидента было бы неосторожно доводить дело до военных действий, к которым мы не готовы.

Франция уступила, но тогда же приезжал в Петербург министр иностранных дел Делькассе для того, чтобы обсудить, какие меры принять, чтобы в будущем иметь орудие к обузданию Англии при подобных ее резких выходках. Он усиленно ходатайствовал о том, чтобы была возможно скорее сооружена Оренбургско-Ташкентская дорога, дабы в случае чего можно было угрожать Индии. Это желание было удовлетворено, и тогда же по этому предмету была оформлена сделка, по которой французское правительство обязалось содействовать совершению во Франции соответствующего займа.

Вот в каких натянутых отношениях находилось французское правительство с С.-Джемским перед Японской войной.

Делькассе был довольно долго министром иностранных дел, он умный и честный человек, но весьма недальновидный. Делькассе уже тогда, когда я покинул пост министра финансов и когда для всех хотя немного прозорливых людей было ясно, что безумная политика Алексеева-Безобразова неизбежно, в самом непродолжительном времени, кончится войной, продолжал уверять всех в Париже, что войны не будет, чему я весьма удивлялся, находясь в это время там [2]).

Между тем, если бы Делькассе чувствовал возможность войны, то он от имени Франции не только мог, но должен был представить России всю опасность последствий войны. Он должен был это сделать потому, что война в Манчжурии, если бы она даже не была столь несчастна, как была, во всяком случае на долгое время ослабляла Россию на западной границе и передавала Германии в Европе если не роль европейского капрала, то во всяком случае дирижерскую палочку.

Перемещение главных сил России на далекий Восток во всяком случае временно обесценивало так называемый «русско-

[1]) Я сказал графу Ламсдорфу, что, по моему мнению, следует откровенно ответить Делькассе, что Россия не может в данном случае поддержать Францию на том простом основании, что флот наш столь слаб, что оказать какого-либо давления на Англию мы не можем, а с другой стороны, мы не имеем никакого непосредственного соприкосновения с Англией по сухопутной границе. Мы могли бы сделать диверсию в Средней Азии по направлению к Индии, но и тут, к сожалению, мы быстро ничего не можем сделать, потому что мы не связаны с Средней Азией непосредственно железной дорогой; нам придется войска везти через Кавказ, Каспийское море, по Закаспийской железной дороге, а если Волга не замерзла, то по Волге, а на это потребуется несколько времени, — следовательно, мы могли бы сделать диверсию тогда, когда столкновение между Францией и Англией было бы кончено. Граф Ламсдорф представил это мнение его величеству. Его величество его одобрил, и в этом смысле было отвечено Франции.

[2]) См. стр. 214.

французский союз». Если бы Франция во-время сделала энергичные представления России по этому предмету, проявила бы энергию для ослабления мальчуганского отношения со стороны России к ведению переговоров с этими, как их называл император Николай II, «макашками», а с другой стороны, проявила бы большую энергию к распознанию того, что творилось в то время в Японии, то очень может быть, что войны совсем не было бы.

Я с своей стороны уверен, что энергичное слово союзной Франции заставило бы Россию совсем иначе вести переговоры, отнестись к ним более зрело и с большею опаскою.

Когда война вспыхнула и Россия начала терпеть ряд позорных неудач, то руководитель внешнею политикою Франции бросился в другую крайность, начал искать других если не союзов, то реальных сближений.

Подать руку Германии не решались: с одной стороны, боялись общественного мнения Франции, с другой—впечатления в России, хотя в то время уже несколько взбаламученной «макашками», но все-таки России не Николая II, а Николая угодника, а к тому же несомненно, что Германия, пользуясь в то время исключительно благоприятным для нее положением, руку бы Франции приняла, но вместе с существенными приложениями. Поэтому пошли на сближение с Англией, т.-е. протянули руку Англии. Делькассе это сделал не только с ведома, но и с согласия России, а России, если бы даже были серьезные причины для возражений, возражать было трудно. Сама от союзницы ушла на другой край света, неловко же еще говорить союзнице, что мы теперь никакой помощи в случае чего оказать тебе не можем, но не хотим, чтобы ты сама себе помогла, как ты находишь для себя удобнее, а к тому же соглашение Франции с Англией касалось таких предметов, которые непосредственно до России не касались, и если бы это соглашение не вовлекло Россию в дальнейшие, хотя и не неизбежные последствия, то и вреда России принести не могло.

Таким образом Франция соединилась с Англией в известной степени, и с тех пор эти отношения все более и более культивируются в том же направлении. Когда началась война, в которую нас вовлек в некоторой степени император Вильгельм, то Германия от этого больше всех выиграла, так как нас ослабила на многие годы и обессилила таким образом союзника своей самой неприятной соперницы Франции. Достигнув такого громадного результата исключительно дипломатическими маневрами, основанными на том, что император Вильгельм II познал императора Николая II, Германия оставалась бы в покое, несмотря на все беспокойство характера императора Вильгельма. Увидев такое ослабление своего колосса-соседа, он ограничился бы только тем, что изливал бы свою дружбу Николаю II и влиял бы на

него, но после того, как Делькассе заключил договор с Англией, что произошло вследствие той же злополучной Японской войны, он и германская дипломатия всполошились.

В англо-французский договор входило также разграничение влияния Франции и Англии в Марокко. Вот на этом германская дипломатия и решила разыграть свою музыку, так как в Марокко Германия также имеет коммерческие интересы, хотя весьма несущественные.

Германский император поехал делать морскую прогулку в Средиземное море, а затем появился в Марокко с блестящей свитой. Там было ясно дано понять, что в Марокко Германия имеет свои интересы, которые она намерена поддерживать, что она желает находиться в дружеских отношениях с правительством мароккского султана и что Франция и Англия не могут оказать воздействия на Марокко, посколько сие не будет в согласии с тенденциями Германии. Появление германского императора в Марокко уже само по себе не могло не произвести сильного впечатления на мароккское правительство и население и не умалить значения Франции.

Началась по этому предмету дипломатическая переписка между Германией и Францией; германское правительство стало предъявлять различные требования и по обыкновению в очень резкой форме (благо Франция рассчитывать на поддержку обессиленной России не может), явилось опасение разрыва, и под шумок французскому правительству было сказано, что, покуда будет Делькассе министром, германская дипломатия будет несговорчива. Поэтому Делькассе слетел, и портфель министра иностранных дел принял президент министерства и министр финансов Рувье, отличный финансист, умный человек из плеяды сотрудников Гамбетты. Это случилось за несколько месяцев до моего приезда в Париж.

Настроение Франции было таково, что она разочаровалась в существующем в России режиме, приведшем ее к полному ослаблению и позору, и, вместе с тем, у нее явилось беспокойство за будущее. Не вздумает ли Вильгельм опять натравить Германию на Францию, дабы, пользуясь удобным случаем, ослабить своего противника на несколько десятков лет. Поэтому, французское правительство и все благоразумные французы, сторонники союза с Россией, естественно желали окончания Японской войны, дабы перетащить ее силы и помыслы из Манчжурии на бассейн Вислы.

Как раз, когда я был в Париже, после моего свидания с Лубэ и первого свидания с Рувье, произошел следующий случай.

Вдруг Вильгельм направился в русские воды, в финляндские шхеры, в Биоркэ, куда поехал и наш государь. В газетах появилось сообщение, что это свидание совершенно частное, родственное, не имеющее никакого политического значения, в подтверждение чего приводилось, что императора Вильгельма не сопровождает канцлер Бюлов, а с нашим государем не поехал министр иностранных дел граф Ламсдорф. Тем не менее, французские газеты забили тревогу и не без основания, так как по прошлому уже убедились, что германский император всегда сопровождает приятное с полезным и любит соединять удовольствие свиданья с императором Николаем с возможностью, угождая его царскому самолюбию и личному самомнению, втиснуть ему такую штуку, после которой Россия чесала бы свой затылок многие и многие годы. Когда я уезжал, за несколько дней до этого, из Петербурга, Ламсдорф мне ни слова не сказал об этой поездке, потому что он и сам о ней не знал. Государь также мне не сказал ни слова, хотя, конечно, уже знал, что поедет.

Я хотя приходивших ко мне в Париже успокаивал, что эта поездка не имеет никакого политического значения, тем не менее телеграфировал графу Ламсдорфу. Он мне сейчас же ответил, что это свидание не имеет никакого политического значения, что оно совершенно частное, родственное,—просто вежливый визит.

С этой телеграммой я поехал к Рувье и успокоил его. Он меня очень благодарил, сказал, что это свидание также весьма обеспокоило президента Лубэ и что он ему сейчас же сообщит о моем визите и депеше графа Ламсдорфа, чтобы успокоить президента.

Во время моего пребывания в Париже, с самого вокзала и в течение всего времени, я был всюду охраняем агентами тайной полиции, сопровождавшими меня на велосипедах; префект полиции Лепин встретил меня с русским послом Нелидовым на вокзале (кстати, Нелидов оказался совсем здоровым; точно так, как и Муравьев сейчас же выздоровел, когда вместо него назначили меня), а затем проводил меня. Оказалось, что французское правительство боялось покушения на меня со стороны русских анархистов-революционеров, которые боялись, что мне удастся заключить мир.

В то время все европейские державы почему-то имели обо мне высокое мнение, и все правительства единогласно выражали мнение, что если кто-либо сумеет заключить мир, то это только один Витте.

Когда я был в Париже, то я получил письмо от одного из столпов нашей революции Бурцева, который выражал, что нужно

уничтожить самодержавие, и, если мир может тому воспрепятствовать, то не нужно заключать его. Письмо это я переслал графу Ламсдорфу, который показал его государю. Оно хранится в моем архиве*.

Когда мы приехали в Шербург, то узнали, что пароход, один из самых больших немецкой гамбургской компании, на который я должен сесть, опаздывает вследствие бури; таким образом, вместо того, чтобы уехать вечером, я уехал на следующее утро, при чем ночевал в Шербурге в гостинице около пристани, причем эта гостиница была переполнена так, что мы достали еле-еле две очень некомфортабельные комнаты.

На другое утро я сел на этот пароход, если не ошибаюсь, под названием Wilhelm der Grosse, т.-е. Вильгельм Великий. Меня на пароходе встретили с большим почетом капитан и команда пароходная, при чем при моем входе оркестр заиграл русский гимн.

* Уже будучи в Париже, я почувствовал чувство патриотического угнетения и обиды. Ко мне, первому уполномоченному русского самодержавного государя, публика уже относилась не так, как она относилась прежде только как к русскому министру финансов, когда мне приходилось бывать в Париже, и даже не так, как она относилась прежде ко всякому русскому, занимающему более или менее известное общественное или государственное положение. Большинство относилось равнодушно, как к представителю «quantité négligeable», и иные с чувством какого-то соболезнования, другие, впрочем малое меньшинство, с каким-то злорадством, а некоторые на вокзале в Париже при приезде и отъезде кричали «faites la paix». Все левые газеты относились к государю и России недостойно и оскорбительно. Очень тепло меня встретил старик Лубэ, говорил с искреннею любовью и преданностью к моему государю и только все, «comme ami sincère de la Russie», советовал непременно заключить мир.

Нравственно тяжело быть представителем нации, находящейся в несчастии, тяжело быть представителем великой военной державы России, так ужасно и так глупо разбитой!

И не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или, правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы.

Это я написал графу Гейдену в письме для его величества, о котором сказано ранее. Конечно, меня ненавидели, такую правду цари редко когда слышат, а царь Николай совсем не привык слышать.

Именно убеждение, что разбита не Россия, а порядки наши, подняло гордо мою голову со дня приезда моего в Париж, и это дало мне силы в Америке одержать нравственную победу, а с другой стороны, возмутило меня, когда мне пришлось показываться на парижских улицах и видеть отношение ко мне части французского населения. Впрочем, может быть, но во всяком случае только отчасти, я преувеличивал отношение ко мне многих французов, что так было бы естественно щепетильной гордости представителя России, очутившейся случайно в несчастном положении. Если в Париже отношение к представителю России населения меня несколько коробило, то чувство это еще усилилось в Шербурге, где было оказано мне и моим сотрудникам, с которыми я там встретился, полное невнимание. Я затем это высказал некоторым французским корреспондентам, которые, вероятно, передали это Рувье, ибо при обратном моем проезде он передо мною извинялся. Поэтому, когда я подъехал в Шербурге к немецкому пароходу и на нем раздались звуки: «боже, царя храни», и все русские и многие не русские пассажиры обнажили вместе со мною головы, то такое отношение к России, конечно, было для меня в высшей степени отрадно и еще более приподняло мой дух.

Под влиянием этого настроения, не зная того, что произошло во время моего пребывания в Париже, когда я ехал в Америку, в Биорках, по возвращении моем в Париж, где меня встретили уже совершенно иначе, я, приняв, по усиленному ходатайству нашего посла Нелидова, сотрудника газеты «Temps» Tardieu, высказал ему о корректном отношении к России германского императора и не особой корректности многих левых французских газет, и когда это интервью, составленное крайне дружественно к французскому правительству и Франции вообще, появилось, то оно произвело большую сенсацию в левых французах.

А тогда уже Франция начала значительно леветь, скоро Рувье пал, и явилось постепенное облевение правительства, покуда остановившееся на умном Клемансо. Ведь только несколько лет тому назад имя Клемансо, как главы французского правительства, перепугало бы всю буржуазную Францию, так как Франция—это наибуржуазная из наибуржуазных стран.

Пользуясь сказанным интервью, мои враги и Муравьев, боявшийся, чтобы я не занял поста посла в Париже, которого он так жаждал, начали распускать во Франции легенду, что я ненавижу французов: отголоски этой легенды мне иногда приходится слышать и теперь через два года, когда, находясь во Франции, мне иногда приходится встречаться с легковерными, но милыми французами*.

Переезд в Америку я сделал в течение шести суток. Море было довольно покойное, меня почти что не укачивало. На пароходе я обедал отдельно вместе со своей свитой, иногда приглашал на обед некоторых корреспондентов и только раза два я обедал вместе со всей публикой. Оказалось, что на пароходе едут многие люди просто из любителей сенсационных явлений для того, чтобы быть на месте во время предстоящего политического турнира между мною и Комурою.

* На пароходе из числа корреспондентов я встретил знакомых мне: из русских Брянчанинова и Суворина. Первый—молодой человек, сын бывшего рязанского губернатора, ныне женатый на дочери светлейшего князя Горчакова, порядочно владеет пером, крайне неспокойный, всюду сующийся, не без способностей, но весьма неосновательный и легкомысленный. Может быть, современем это пройдет. Он проводил мысль о необходимости для России мира во что бы то ни стало, и своею болтовнею вредил переговорам не в пользу России, насколько мог, конечно, им вредить молодой, не глупый болтун корреспондент Брянчанинов. Ныне он кадет, сотрудник газеты «Речь» и, как муж Горчаковой, вероятно, в душе метит в канцлеры Российской империи в кадетском министерстве свихнувшихся буржуазных революционеров Милюкова-Гессена. Второй—милый юноша и только. Из иностранных—доктор русского университета, англичанин, весьма порядочный и верный человек, очень талантливый, пользующийся большою известностью в Англии и Америке, публицист Диллон. Он, как бывший профессор сравнительного языковедения в Харьковском университете, хорошо говорит и пишет по-русски, отлично знает Россию и в особенности современное состояние, имея связи со всеми партиями и слоями общества. Макензи-Уоллес, посланный специально, как корреспондент короля Эдуарда, которому он и делал постоянные сообщения, несомненно вводя его королевское величество в постоянные заблуждения, так как он до самого подписания договора утверждал, что договор не состоится. Когда-то Уоллес заведывал политическим отделом газеты «Times». Может быть, он хороший публицист, но что касается России, то всегда делал о ней самые превратные сообщения своим соотечественникам. Он хорошо говорит по-русски, но имеет слабость к аристократизму; будучи в России, проживает у аристократических семейств, якшается только с высшим обществом, а потому bona fide принимает за истину все, что там слышит, и сообщает этот материал своим соотечественникам. В Англии его мало принимают всерьез. Когда-то он написал книгу о русском крестьянстве, где превозносил нашу общину. Еще за полгода до нашей

революции он издал эту книгу новым изданием и выразил убеждение, что, благодаря мудрому устройству русского крестьянства на общинном начале, у нас революция невозможна. Всю эту зиму он проживал в Петербурге и, как мне говорили, делал обо мне не особенно лестные сообщения. Вероятно, это происходило под влиянием того круга лиц, между которыми он терся, а, может быть, и потому, что в Америке я к нему относился не серьезно и как-то раз ему высказал, что его книга о русском крестьянстве служит доказательством того, как даже умные люди, но понимающие с чужого голоса, могут заблуждаться. Гедеман— корреспондент «Matin», весьма талантливый, благожелательный к России человек, по натуре профессиональный, юркий корреспондент. Затем, были и другие корреспонденты, но что касается Европы, то в сущности Диллон и Гедеман дирижировали все сообщения в европейскую печать. Гедеман имел, кроме того, поручение от некоторых членов французского правительства держать их в курсе дела.

Со стороны немецкой печати не было ни одного заметного корреспондента. Это меня заставило вспомнить, что в противоположность тому, что мне сказал перед выездом из Парижа старик Лубэ («как искренний друг России, я считаю необходимым заключить мир»), несколько месяцев ранее того Мендельсон, глава берлинского банкирского дома, человек близкий к императору Вильгельму, член высшей палаты в Берлине, сказал мне, что Бюлов просил мне передать, «что, если бы он был только друг России (намекая на Францию), то советовал бы спешить заключить мир, но так как он больше, чем друг России, то этого не советует».

Со времени моего совершенно для меня неожиданного назначения первым уполномоченным прошло не более двух недель, в это время была такая суета, что я не имел возможности сосредоточиться. Через шесть дней после того, как я сел на пароход, я уже должен был вступить в дипломатический страшный бой, поэтому я решил в эти шесть дней предаться размышлениям, сосредоточиться и внутренно, исключительно для себя определить план кампании.

Имея возможность на пароходе часто находиться наедине и много передумав, я остановился на следующем поведении: 1) ни чем не показывать, что мы желаем мира, вести себя так, чтобы внести впечатление, что если государь согласился на переговоры, то только в виду общего желания почти всех стран, чтобы война была прекращена; 2) держать себя так, как подобает представителю России, то-есть представителю величайшей империи, у которой приключилась маленькая неприятность;

3) имея в виду громадную роль прессы в Америке, держать себя особливо предупредительно и доступно ко всем ее представителям; 4) чтобы привлечь к себе население в Америке, которое крайне демократично, держать себя с ним совершенно просто, без всякого чванства и совершенно демократично; 5) в виду значительного влияния евреев, в особенности в Нью-Йорке, и американской прессы вообще, не относиться к ним враждебно, что, впрочем, совершенно соответствовало моим взглядам на еврейский вопрос вообще.

Этой программы я строго держался в течение всего моего пребывания в Америке, где по особым условиям, в которых находился, я был ежеминутно на виду, как актер на большой сцене, полной народом. Эта программа мне во многом помогла окончить дело благоприятным миром в Портсмуте. Таковым признал этот мир образованный мир всего света. Скажу более, еще за несколько дней до подписания мира никто бы не поверил, что мною будет достигнут мир на таких условиях.

Соответственно с сказанной программой я держал себя еще на пароходе, когда ехал в Америку, что создало между многочисленными пассажирами соответственную, благоприятную для меня, как первого уполномоченного, атмосферу, которая начала с парохода передаваться в публику и прессу *.

Из середины океана было дано Диллоном по воздушному телеграфу его интервью со мной по поводу предстоящих моих переговоров. Это было первое интервью со времени существования прессы, которое было дано по воздушному телеграфу с середины океана. Интервью это, где я высказал мой образ действий, затем было, конечно, напечатано во всех европейских газетах, и оно определило, как я смотрю на дальневосточную мою задачу.

* Весь ход переговоров, мои сношения с президентом и Петербургом видны из официальных документов, хранящихся в моем архиве, которые я, если буду иметь возможность, приведу в систематический порядок и снабжу там, где это окажется нужным, комментариями. Поэтому здесь я буду излагать по памяти то, что не могло составить предмет документов,—различные более или менее внешние явления и события.

Когда мы приближались к Нью-Йорку, наш пароход встретили несколько пароходов с корреспондентами различных американских газет. Когда эти корреспонденты вошли на пароход, я им высказал радость по случаю приезда моего в страну, которая всегда была в дружественных отношениях с Россией,

и мою симпатию к прессе, которая играет такую выдающуюся роль в Америке. С тех пор и до моего выезда из Америки я всегда был, если можно так выразиться, под надзором газетчиков, которые следили за каждым моим шагом. В Портсмуте, не знаю с целью или нет, мне отвели две маленькие комнаты, из которых одна имела окна, таким образом направленные, что через них было видно все, что я делаю. Со дня приезда и до дня выезда из Америки меня постоянно снимали кодаками любопытные. Постоянно, в особенности дамы, подходили ко мне и просили остановиться на минуту, чтобы снять с меня карточку. Каждый день обращались ко мне со всех концов Америки, чтобы я прислал свою подпись, и ежедневно приходили ко мне, в особенности дамы, просить, чтобы я расписался на клочке бумаги. Я самым любезным образом исполнял все эти просьбы, свободно допускал к себе корреспондентов и, вообще, относился ко всем американцам с полным вниманием. Этот образ моего поведения постепенно все более и более располагал ко мне как американскую прессу, так и публику. Когда меня возили экстренными поездами, я всегда подходил, оставляя поезд, к машинисту и благодарил его, давая ему руку. Когда я это сделал в первый раз к удивлению публики, то на другой день об этом с особой благодарностью прокричали все газеты. Судя по поведению всех наших послов и высокопоставленных лиц, впрочем, не только русских, но, вообще, заграничных, американцы привыкли видеть в этих послах чопорных европейцев, и вдруг явился к ним чрезвычайный уполномоченный русского государя, председатель комитета министров, долго бывший министром финансов, статс-секретарь его величества, и в обращении своем он еще более прост, более доступен, нежели самый демократичный президент Рузевельт, который на своей демократической простоте особенно играет. Я не сомневаюсь, что такое мое поведение, которое налагало на меня, в особенности по непривычке, большую тяжесть, так как в сущности я должен был быть непрерывно актером, весьма содействовало тому, что постепенно американское общественное мнение, а вслед за тем и пресса все более и более склоняли свою симпатию к главноуполномоченному русского царя и его сотрудников. Этот процесс совершенно ясно отразился в прессе, что легко проследить, изучив со дня на день американскую прессу того времени. Это явление выразилось в телеграмме президента Рузевельта, в конце переговоров, в Японию после того, как он убедился, что я ни за что не соглашусь на многие требования Японии и в том числе на контрибуцию, в которой он, между прочим, констатировал, что общественное мнение в Америке в течение переговоров заметно склонило свои симпатии на сторону России, и что он, президент, должен заявить, что если Портсмутские переговоры ничем не

кончатся, то Япония уже не будет встречать то сочувствие и поддержку в Америке, которую она встречала ранее. Телеграмму эту показал мне Рузевельт, когда я ему откланивался, покидая Америку.

Рузевельт с самого начала переговоров и все время старался поддерживать Японию. Его симпатии были на ее стороне. Это выразилось и в поездке, уже предпринятой в то время, его дочери с американским военным министром в Японию, но как умный человек, по мере того, как склонялись симпатии общественного мнения в Америке к России, он почувствовал, что ему опасно итти против этого течения, и он начал склонять Японию к уступчивости. Такому повороту общественного мнения содействовали и японские уполномоченные. В этом отношении они явились моими союзниками. Если они не были чопорны как европейские дипломаты-сановники, чему, впрочем, случайно препятствовала и их внешность, то тот же эффект производился на американцев их скрытностью и уединенностью.

Заметив это, я с самого начала переговоров, между прочим, предложил, чтобы все переговоры были доступны прессе, так как все, что я буду говорить, я готов кричать на весь мир, и что у меня, как уполномоченного русского царя, нет никаких задних мыслей и секретов. Я, конечно, понимал, что японцы на это не согласятся, тем не менее, мое предложение и отказ японцев сейчас же сделались известными представителям прессы, что, конечно, не могло возбудить в них особенно приятного чувства по отношению к японцам.

Затем было решено давать после каждого заседания краткие сообщения прессе, которые редактировались секретарями и утверждались уполномоченными, но и тут прессе сделалось известным, что малосодержательность этих сообщений происходит всегда от строгости цензуры японцев. Во всех разговорах с президентом и с публикой я держал себя так, как будто с Россией приключилось в Манчжурии небольшое несчастье и только.

В течение всех переговоров на конференциях говорили только я и Комура; вторые уполномоченные говорили весьма редко и весьма мало. Я все время выражал свои суждения так, что однажды вызвал у Комуры восклицание: «Вы говорите постоянно так, как победитель», на это я ему ответил: «здесь нет победителей, а потому нет и побежденных».

В Нью-Йорке посол задержал мне большое помещение в лучшей гостинице на лучшей улице. В этой гостинице для меня было приготовлено большое помещение, состоящее из спальни, из комнаты для моего человека, уборной, двух кабинетов, большой гостиной и столовой. За это помещение я должен был

платить 380 р. в день. Над балконом этого помещения развевался громаднейший флаг чрезвычайного посла русского императора, самодержца всероссийского.

В городе была тогда страшная жара, и публика была в разъезде. Вероятно, американская полиция имела какие-либо сведения о готовившемся на меня покушении, ибо, как только я сошел на берег, начала меня охранять. Охрана эта была усилена после подписания договора, ибо говорили, что на меня готовится покушение со стороны японцев, проживающих в Америке*.

С другой стороны, наш посол объяснил мне, что до него доходят слухи, что на меня могут сделать покушение и евреи, а именно те русские евреи, которых в это время масса была в Нью-Йорке. Это все были выходцы-эмигранты из России после тех погромов, которые в России производились с кишиневского погрома, устроенного Плеве, лозунгом которого было: «бей жидов».

*Американская охрана совсем незаметна по крайней мере для иностранцев, потому что охранники ничем не отличаются от американских джентльменов. В Европе охранника сейчас можно отличить, а в Петербурге охранники имеют такой вид, хотя они одеты как обыкновенные смертные, что их издали можно заметить: у них постоянно в руках большой черный зонтик, а на голове черная шляпа-котелок.

По приезде моем в Нью-Йорк меня предупредили, чтобы я не ездил в еврейские кварталы. В это время в Нью-Йорке уже было евреев до 500 тысяч человек, большинство покинувшие Россию, главным образом, по случаю трудности заработка и отчасти еврейских погромов. Вероятно, ожидали покушения оттуда.

Я взял по приезде автомобиль и поехал на нем с одним из чиновников посольства по всем еврейским кварталам. Евреи скоро узнали меня. Сначала смотрели косо, потом равнодушно, когда я с несколькими сказал несколько слов по-русски и поздоровался с ними, то относились ко мне большею частью добродушно и благожелательно.

На следующий день после приезда я с бароном Розеном поехал к президенту Рузевельту по железной дороге на остров Остер-бей на его дачу, находящуюся недалеко от Нью-Йорка. Сам президент еще не так давно был президентом этого города и, как говорят, отлично организовал там полицию. Дача президента, лично ему принадлежащая, крайне простая—обыкновенная дача небогатого бюргера. Прислуга—негры.

Рузевельт проводит идею полного их фактического равенства и за это подвергается нападкам части, хотя незначительной, общественного мнения.

Суть моей беседы изложена в вышеупомянутых официальных документах. Мы у президента завтракали. Президент, его жена, дети, я и барон Розен. Завтрак более чем простой, на столе, не покрытом скатертью, для европейца очень трудноваримый. Вина никакого—одна ледяная вода. Барону Розену была налита рюмка какого-то вина, как особое исключение. Президенту первому подавались блюда, и он первый садился за стол и вставал. Он идет впереди жены. Меня это удивило, так как это не соответствует европейским обычаям в особенности в семейном кругу. Жена французского президента все-таки есть madame и monsieur le président есть monsieur. Разве только в очень парадных случаях президенту дается первенство, но тогда обыкновенно его супруга не принимает участия.

Моя продолжительная беседа с Рузевельтом, повидимому, ему не особенно понравилась. Он при первом же свидании со мной выразил мнение, что при моих взглядах соглашение будет невозможно, и потому я начал говорить о том, как сделать, чтобы все-таки окончить это дело прилично, дабы не задеть самолюбия его—президента, как инициатора конференции. Было высказано, что все-таки съехаться уполномоченным, констатировать непримиримую противоположность взглядов и затем разъехаться.

Через сутки после нашего приезда в Нью-Йорк приехал Комура со своею свитою. Вторым уполномоченным был назначен японский посол в Америке. Затем, на второй или третий день после нашего приезда была назначена наша встреча с японскими уполномоченными и затем отъезд в Портсмут на военных судах для занятий конференции.

Встреча была устроена на море около Остер-бея, дачи президента, на его яхте. Мы выехали на особом пароходе и ехали по заливу часа полтора до яхты. Когда я подъехал с бароном Розеном к пристани, там стояла масса народу, нас весьма сочувственно встретившая. На берегах залива расположено много фабрик. Все эти фабрики во время всего нашего пути гудели и свистели. Сперва я не понимал, в чем дело. Мне сейчас же объяснили, что фабрики нам салютуют и выражают свое сочувствие. Когда мы приехали к месту встречи и там узнали, как нас встречало население, то было обращено внимание на то, что японцы, которые ехали при тех же условиях, проехали тихо, без оваций со стороны жителей. Мы подъехали с парохода на лодках к яхте президента, мне салютовали. Когда мы вошли на яхту, прези-

дент взаимно представил уполномоченных и их свиты и затем сейчас же пригласил завтракать. Я ранее выражал барону Розену опасение, чтобы японцам было дано в чем-нибудь преимущество перед нами, и в особенности настоятельно указывал на то, что я не отнесусь спокойно к тому, если Рузевельт во время завтрака провозгласит тост за нашего царя после тоста замикадо. Я боялся, чтобы президент, по неопытности в подобных делах и как типичный американец, не особенно обращающий внимание на формы, не сделал какой-либо оплошности в этом отношении. Барон Розен обо всем этом предупредил еще в Нью-Йорке товарища министра иностранных дел, долго раньше служившего в Петербурге в американском посольстве. Он был назначен заниматься конференцией и уполномоченными, он заранее установил, так сказать, церемониал, чтобы избежать каких-либо неловкостей. Что касается тоста, то он был связан с речью президента, таким образом редактированной, чтобы тост провозглашался одновременно за обоих монархов*.

Конечно, первая встреча с японцами была очень тягостна в смысле нравственном, потому что как бы там ни было, а все-таки я являлся представителем, хотя и величайшей страны света, но в данном случае на войне побитой и побитой не вследствие отсутствия с нашей стороны мужества, не вследствие нашего бессилия, а вследствие нашей крайней опрометчивости.

*Я ранее знал Комуру, когда он был посланником в Петербурге, а также часть его свиты. Комура, несомненно, имеет много выдающихся качеств, но наружностью и манерами не особенно симпатичен. Этого нельзя сказать о других японских государственных людях, с которыми мне пришлось встречаться, например: Ито, Ямагата, Курино, Мотоно.

После завтрака с нас, президента и главных уполномоченных, сняли группу. Президент отправился на своей яхте к себе домой, а мы, уполномоченные со свитою—русские на приготовленное военное судно, а японцы—на приготовленное для них, и к вечеру оба судна снялись и пошли в Портсмут. Все время главным уполномоченным оказывались воинские почести.

Не будучи особым любителем морских путешествий, я заранее просил, чтобы меня высадили в Нью-Порте, откуда мне дали до Портсмута экстренный поезд. Моя высадка была неожиданна. Я высадился только с одним из чиновников: барон Розен со всеми поехал на военном судне далее*.

Нью-Порт, с одной стороны, состоит собственно из города, очень маленького и не особенно богатого, а с другой стороны—из сплошных, самых роскошных дач. Это летнее местопребывание всех миллиардеров Нью-Йорка; кроме того, летом туда собираются вообще американские богачи со всей Америки;

кроме того, к ним в гости приезжает много европейцев. Каждая дача представляет собою дворец.

Хотя был ранний час, но в дачной половине города я встречал многих, ехавших верхом, и меня удивили их костюмы: все мужчины были одеты в очень легкие цветные рубашки, но не на русский манер, а на манер иностранный (т.-е. рубашки эти входили в панталоны), в легкие панталоны и легкие сапоги с кожаными гетрами; несмотря на сильный солнцепек, они были без шляп с непокрытой головой.

В соответствующих костюмах ездили и амазонки; они точно так же были без шляп, в очень легких и довольно коротких амазонках.

*В Нью-Порте я сделал визит губернатору, который был несколько удивлен моему появлению. Затем я обедал у капитана нашего судна, женатого на очень богатой даме. С нами обедали губернатор с женою и подруга хозяйки. Губернатор мне сказал, что правительство сперва хотело, чтобы конференция состоялась в Нью-Порте, но затем ему было дано знать, что нью-портское общество весьма радушно встретит русских, в особенности первого уполномоченного, имя которого пользуется большим авторитетом между американцами-финансистами, но что оно не будет столь внимательно к японцам, и что таким образом неизбежен явный контраст в отношениях к русским и японцам; после получения таких сведений правительство решило назначить Портсмут местом конференции.

Вечером я выехал ночевать в Бостон. Там я провел утро в университете и затем завтракал в университетском клубе с профессорами. Этот университет считается лучшим в Америке. Рузевельт воспитанник этого университета. Он высказывал мне, что не желает выбираться в президенты республики на следующий срок, и что его желание заключалось бы только в том, чтобы быть выбранным в президенты бостонского университета.

После обеда я выехал экстренным поездом в Портсмут. К моему выезду в городе уже сделалось известным, что я в нем нахожусь. Когда я явился на вокзал, то около моего поезда находилась масса публики. Охранники почему-то сочли нужным меня проводить до вагона под особою охраной. Затем просили меня не покидать вагон, но, видя массу публики, из которой многие хотели ко мне приблизиться, я вышел из вагона и подошел к толпе. Ко мне подошло много евреев и начали со мною говорить по-русски. Они мне сказали, что сравнительно недавно покинули Россию, так как не под силу им было более терпеть стеснения. Я расспрашивал некоторых из них, как они устроились. Они мне ответили, что сравнительно хорошо, во всяком случае имеют

более средств, чем имели в России. Я им сказал, что, значит, они довольны своей судьбой. На это я получил ответ: «Нет, не вполне, мы теперь американские граждане, а все-таки не можем и никогда не забудем Россию, так как в ее земле хранится прах наших отцов и предков. Мы не питаем любви к российским порядкам, но все-таки любим более всего Россию, а потому не верьте, если вам будут говорить, что мы желаем на конференции успеха японцам, мы все желаем вам успеха, как представителю русского народа, и будем молить о том бога».

Я простился с ними, и поезд тронулся. Прозвучал громогласный гул «ура!». Поздно вечером я очутился в своих двух маленьким комнатах в Портсмуте.

Портсмут состоит из двух частей: военной гавани с арсеналом, в котором находится большой адмиралтейский дворец с большими залами, маленького городка, старинного для Америки, и затем нескольких дач, казарм для небольшой части войск и большущей деревянной гостиницы, выстроенной для летнего пребывания небогатых людей. Вот в этой гостинице помещались уполномоченные, вся их свита, стая корреспондентов и масса вечно приезжающих и отъезжающих зрителей, желавших побывать в самом пекле совершающейся великой дипломатической драмы. Несомненно, что этот год был удивительно счастливый для владельцев этой гостиницы!

Эти три части Портсмута находятся в двух различных штатах: город в одном, а дачи, гостиницы и казармы в другом. Американское правительство предложило содержание уполномоченных в Портсмуте взять на свой счет. Эта любезность была не совсем приятна; нас кормили ужасно плохо. Все было крайне обильно, но не свежо и не здорово. Впрочем, если бы мы жили на свой счет, то все равно едва ли в Портсмуте мы могли бы питаться лучше. Через несколько дней я заболел, поставил себя на диэту и держался ее все время пребывания в Портсмуте*.

Когда было объявлено, что конференция будет происходить в Портсмуте, то все помещения, а в особенности гостиницы были там разобраны.

Все помещения были так заняты, что, несмотря на то, что правительство наняло главную и очень большую гостиницу, была такая потребность в комнатах, что мне, главному уполномоченному от русского императора, были предоставлены две совершенно маленьких комнатки и третья, также очень маленькая, для моих двух камердинеров. При чем мой кабинет, как я уже говорил, был почти что стеклянный, так что все, что я делал в этом кабинете, было видно не только из многих номеров этой гостиницы, с веранды и балконов, но даже было видно с дороги

проходящим мимо гостиницы. Поэтому масса любопытствующей публики постоянно ходила мимо гостиницы, чтобы посмотреть, что делает главный уполномоченный Российской империи, смотреть на те служебные собеседования, которые я имел с моими сотрудниками и массою корреспондентов, ежедневно желавших меня видеть.

Что касается этих корреспондентов, то они находились почти в постоянных сношениях с моими секретарями, но, тем не менее, не довольствуясь этим, они довольно часто просили меня назначать им свидания, при чем каждый корреспондент большой газеты, конечно, желал иметь сепаратное свидание для того, чтобы те сведения и заключения, которые он мог почерпнуть из разговоров со мною, сделались достоянием только его газеты, а не достоянием газет, с его газетою конкурирующих.

*На другой день по приезде в Портсмут утром я сел на наше судно, которое стояло в нашем распоряжении все время нашего пребывания. Оба судна—наше и японское—ночью вошли в гавань. Мы высадились при парадной встрече и салюте из пушек и отправились пешком в адмиралтейский дворец. Я принял почетный караул. То же самое было проделано и для японцев, которые высадились после нас.

В адмиралтейском дворце находилось все портсмутское общество и начальство. Оно было представлено уполномоченным и затем всем был предложен завтрак, после которого мы поехали в экипажах в город. Кортеж открывал товарищ министра иностранных дел, за ним ехали японские уполномоченные, потом русские и затем вся свита. Везде на улицах стояла публика, а в главной части города стояли шпалерами войска. Публика оказывала внимание японским уполномоченным, ехавшим в первой коляске, но затем, увидав нас, возобновляла с большой силой знаки своего сочувствия. Когда мы проезжали между войсками, то несколько раз послышался крик: «Здравия желаем вашему превосходительству»; обернувшись в сторону крика, я увидел солдат, отдававших честь. Это были евреи в рядах американского войска.

Нас привезли в ратушу. Здесь нас встретил губернатор со всеми членами правительства города. Губернатор сказал речь, затем сняли со всех фотографическую карточку группою. Церемония была окончена, и мы отправились к себе в гостиницу. На другой день начались заседания конференции. Мучительное и тяжелое время!

Хотя мы жили с японцами в одной и той же гостинице, мы друг другу визитов не делали, а только обменялись по приезде

в Портсмут карточками. Только раз в конце конференции я попросил зайти второго японского уполномоченного, чтобы условиться относительно времени одного из последних заседаний: это было тогда, когда я заявил японцам, что ни на какие дальнейшие уступки я не соглашусь и что совершенно излишне тратить время, и когда между Комурой и его правительством происходили заминки в сношениях, не решались—прервать заседания или согласиться на мои предложения. В это время в Токио боролись две партии, одна, во главе которой находился Ито; она настаивала на том, чтобы согласиться на мои предложения, а другая военная — находившая необходимым настаивать на контрибуции, а иначе продолжать войну. Тогда именно президент Рузевельт, испугавшись, что общественное мнение в Америке все более склоняется к России и что окончание переговоров ничем может возбудить общественное мнение против него и японцев, телеграфировал микадо, советуя согласиться на мои предложения. Комура получил приказ уступить, но сам Комура был против уступки и потребовал приказа непосредственно от микадо, отчего и произошла заминка во времени заседаний. Так, по крайней мере, сообщили мне корреспонденты газет, находившиеся в постоянных сношениях с лицами свиты Комуры.

Японцы держали себя на конференции сухо, но корректно, только часто прерывали заседания, чтобы посоветоваться. На конференции присутствовали только уполномоченные, т.-е. я, барон Розен, Комура, японский посол в Вашингтоне и три секретаря с каждой стороны. Говорили я и Комура, только несколько раз в дебатах участвовали вторые уполномоченные. Я хотел, чтобы присутствовали также ассистенты, но Комура, не знаю почему, решительно сему воспротивился. Некоторые ассистенты были приглашены только на одно заседание. Это решение крайне огорчило Мартенса, и он все время не мог успокоиться. Я и барон Розен, мы ездили на конференцию без ассистентов, а Комура брал их с собою и держал их в комнатах, отведенных для японских уполномоченных. С ним был один советник, бывший адвокат, американец в Японии, который затем несколько лет тому назад поступил на службу в японское министерство иностранных дел и там играет большую роль, хотя и не показную. С этим-то советчиком Комура постоянно ходил советоваться.

Будучи в адмиралтейском дворце, мы—русские и японцы—виделись между собою частным образом только во время непродолжительного завтрака. Я все время от пищи болел и говорил об этом Комуре, когда он справлялся о моем здоровье. Комура же мне всегда отвечал, что он чувствует себя превосходно, но как только окончилась конференция, он опасно заболел в Нью-Йорке, одни говорят—тифом желудка, другие—нервным потрясением.

После подписания мира русские и японцы начали между собою видеться, и лица свиты Комуры говорили нашим, что Комура подписал мирные условия вопреки своим убеждениям, и что ему готовится незавидная участь в Японии. Действительно, когда в Японии сделались известными мирные условия, в Токио вспыхнула смута, памятник, сооруженный при жизни Ито, был разрушен толпою. Токио было объявлено на военном положении, войскам пришлось действовать, были раненые и убитые. Когда Комура вернулся в Японию, ему не только не дали никакой награды, но он был вынужден покинуть пост министра иностранных дел и удалиться в частную жизнь. Только потом, когда все успокоилось, он был назначен послом в Лондон. Я же был восторженно встречен, возведен в графство, затем наступила революция, которую мне пришлось подавить, как, вопреки моему желанию, назначенному председателем совета министров. Оставляя по собственному желанию этот пост, я удостоился милостивого рескрипта и новой выдающейся награды, но затем уже попал в опалу...

Так играет судьба людьми через людей!..*.

Меня очень удивляли некоторые своеобразные черты американской жизни. Так, например, большинство служителей в гостиницах и ресторанах, т.-е. лица, подающие кушанье и убирающие столы, были не что иное, как студенты высших учебных заведений и университетов, которые этим путем зарабатывают себе средства, так как летом служителям в ресторанах платят сравнительно очень большое содержание, доходящее до 100 долларов, т.-е. около 200 рублей в месяц на всем готовом.

И эти студенты нисколько такою обязанностью не шокировались. Они надевали соответствующий костюм ресторанного кельнера и самым аккуратным образом служили во время обеда и убирали столы (только не исполняли самой грязной работы). Затем, после обеда или после завтрака они одевались, как все остальные, надевали иногда корпоративные знаки, ухаживали за дамами и барышнями, жившими в гостинице, ходили с ними по паркам, играли, а когда время подходило к обеду—они уходили, снова надевали свой костюм кельнера и служили, как самые исправные кельнеры.

Эта черта американской жизни меня очень удивляла, так как, не говоря уже о том, что по нашим нравам ничего подобного в России быть не может, несмотря на то, что наши бедные студенты голодают, живя иногда на 10—20 руб. в месяц, они тем не менее были бы шокированы, если бы им предложили служить за столом в виде лакея, даже в самых лучших ресторанах. Впро-

чем, это не только в России, но, вероятно, так смотрят на это и в других местностях Европы.

Точно так же меня удивляло, что барышни весьма хороших семейств, которые жили в гостинице, нисколько не считали предосудительным вечером, во время темноты, уходить с молодыми людьми. Барышня с молодым человеком tête à tête уходила в лес, в парк, они вдвоем гуляли там по целым часам, катались в лодках, и никому в голову не приходило считать это в какой бы то ни было степени предосудительным. Напротив,—всякие гадкие мысли, которые могли прийти в голову посторонним зрителям по отношению этих молодых людей,—считались бы предосудительными.

Недалеко от гостиницы жили две молодые барышни с их матерями, очень милые и почтенные особы, и лица, находившиеся в моей свите, а также и я раза два ходили туда пить чай; молодые же люди засиживались там до позднего вечера,—и это не считалось ни в какой степени предосудительным, так как эти особы пользовались такою репутацией, что относительно их никакой тени дурной мысли никому и в голову не могло прийти.

Когда я был в Портсмуте, то часто, чтобы развлечься, я брал автомобиль и ездил на час, на два в окрестности, ездил в места, находящиеся в совершенно открытом океане, где были отдельные курорты для купающихся. Все эти отдельные места были очень хорошо устроены. Что меня особенно поражало—это открытый океан с его бурными притоками.

*Посол барон Розен, увидав, как со дня моего приезда в Америку общественное мнение начало склоняться в пользу России, очень настаивал, чтобы я, как бы ни кончилась конференция, совершил поездку по главнейшим городам Америки, чтобы еще более упрочить с ней отношения. Я об этом телеграфировал графу Ламсдорфу. Но прием, сделанный мне в Америке, уже сделался известным в Петербурге и многим мешал хорошо спать. Сейчас, конечно, начали наушничать. Государю внушили ведь, что я хочу быть президентом всероссийской республики, может быть, говорили: «Смотрите, как он умеет привлекать массы». Ведь государь гораздо ранее, когда еще ко мне благоволил, говорил: «Витте, это гипнотизер, как только он заговорит в Государственном Совете или другом собрании, сейчас большинство, даже из его ненавистников, становится на его сторону». Не следует ему позволять создавать себе популярность.

Казалось бы, что касается президентства, то в данном случае должен был более опасаться Рузевельт I, нежели Николай II. Ламсдорф мне ответил на мою телеграмму, что его Величество

соизволил согласиться, но... (и при этом мне ставились какие-то условия).

Зная атмосферу, окружающую государя, я, конечно, сейчас же понял, в чем дело, и сам от проекта барона Розена отказался, о чем, может быть, не совсем деликатно телеграфировал графу Ламсдорфу *.

Может быть, если бы такого рода телеграмму получил кто-нибудь другой из уполномоченных, то он этим не был бы фраппирован, но я, по моему характеру, не привык получать подобного рода наставления, а поэтому телеграфировал, что я этого путешествия делать не желаю.

Точно такой же случай произошел, когда я был на Дальнем Востоке; это было в 1902 г. перед войной, когда я получил от японского императора приглашение приехать в Японию. Это приглашение очень поддерживал и наш посланник Извольский, который убеждал меня приехать.

В то время я играл такую громадную роль в России вообще, а на Дальнем Востоке в особенности, что для меня вполне понятно, что Извольский желал, чтобы я туда приехал, ибо я, несомненно, остановил бы, как, с одной стороны, и в Японии, а с другой стороны, и в России, то течение мыслей и действий, которое привело через два года к страшной войне.

Но и тогда, точно так же из Петербурга, я получил такого рода ответ: поезжайте, но поезжайте, имея в виду, что вы будете там, как частный человек.

А это было очень трудно совместить, чтобы министр финансов русского императора, отправившийся по его повелению на Дальний Восток и осматривающий сооружения Восточно-Китайской железной дороги, которые производились под моим высшим наблюдением, чтобы как только я переехал кусок моря, отделяющий Порт-Артур от Японии—сейчас же превратился в частного человека!

* Между тем, как только я уехал из Петербурга, начали интриговать, чтобы испортить мои отношения с Ламсдорфом, указывая ему на то, что я его хочу совсем затмить, сделаться канцлером и его устранить. Это выражалось в нескольких частных депешах, им мне посланных, и моих ему ответах (хранятся в моем архиве), и только наши поистине дружеские отношения при благородстве характера графа Ламсдорфа помешали этой интриге. Расчет же этих пошлых интриганов был такой: если будут нелады между Ламсдорфом и Витте, то дело в глазах государя провалится, и Витте провалится в Портсмуте; недаром мои враги говорили, когда я поехал в Портсмут: «Мы его в костер бросили!»

Из телеграмм Ламсдорфа и одной телеграммы личной государя, в которой проявилась его тревога, как бы я не согласился на контрибуцию в скрытой форме, и зная вечно колеблющийся характер государя, при слабости его воли, я заметил, что на государя действуют в том смысле, что — смотри, Витте из самолюбия заключит мир вопреки вашим инструкциям. Я имел основание полагать, что в этом отношении на него больше всего действовал Коковцов.

Конечно, все это была только интрига. Единственная существенная уступка в смысле инструкции государя, мне данной, которая была сделана — это уступка южного Сахалина, и ее сделал с а м г о с у д а р ь. Сия честь принадлежит лично его величеству, я, может быть, ее не сделал бы, хотя нахожу, что государь поступил правильно, так как без этой уступки едва ли удалось бы заключить мир.

Когда я подписал мир, то это было для всех и для государя довольно неожиданно. Когда я ехал из гостиницы в адмиралтейский дворец в день, когда последовал мир, я сам наверное не знал, состоится соглашение или нет. Государь, получив мою телеграмму о заключении мира, видимо, не знал, как ему к этому отнестись, но когда он начал получать от всех монархов самые горячие и искренние поздравления и когда эти поздравления начали сыпаться со всех концов мира, то он укрепился в сознании, что то, что сделано, сделано хорошо, и только тогда он послал мне благодарственную телеграмму. Его поздравил также самым восторженным образом германский император, и это понятно, император этот уже успел в Биорках втянуть Россию в новое несчастье, может быть, еще горшее, нежели Японская война, на случай, если состоится мир в Портсмуте.

Когда мне Рузевельт говорил, что весь мир желает, чтобы был заключен мир между Россией и Японией, и я ему заметил: «Разве и германский император также этого желает?», он мне ответил, что, несомненно, да. Тогда уже состоялось свидание в Биорках, а ведь Рузевельт находился в очень близких корреспондентских отношениях с императором Вильгельмом. Первый — типичный по духу американец, большой патриот,второй— типичный по духу немец, еще больший патриот; таким образом обе главы государства представляют духовное выражение своих наций. Как тот, так и другой—молодцы, оба оригинальны, неспокойны, резки, скоропалительны, но умеют держать такт в своих головах [1]).

[1]) Выражение это я заимствую от одного военного писаря, который как-то сказал, что самый простой из всех барских танцев это мазурка: «болтай ногами как хочешь, а только держи такт в голове».

Естественно, что оба нашли между собою много точек соприкосновения, но, конечно, это не значит, что их отношения могли послужить к особому сближению Америки с Германией. Во-первых, Рузевельт есть временный калиф: сегодня он президент, а завтра простой американский гражданин. Во-вторых, ведь так еще недавно Вильгельм хотел экономического союза Европы против Америки (умеет вести свою линию).

Я, как уже говорил, со дня моего назначения главноуполномоченным, не получил непосредственно или посредственно ни одного слова от главнокомандующего Линевича, а ведь армия наша стояла в бездействии после Мукдена уже около полугода. Я не возбуждал вопроса о перемирии, приступив к мирным переговорам для того, чтобы не связывать главнокомандующего. Он знал же, что мирные переговоры идут!

Ну что же, оказал ли он мне силою какое бы то ни было содействие?!.

— Ни малейшего!

Со дня выезда моего из Европы японцы забрали у нас без боя пол-Сахалина, а затем наш отряд встретился с японским между Харбином и Владивостоком и при первом столкновении отступил, а затем, когда мир был подписан, когда главнокомандующий не сумел отстоять свою армию от революции, когда он спасовал перед шайкою революционеров, приехавших в армию ее совершенно деморализировать, когда для водворения порядка в армии был послан генерал Гродеков, а Линевич вызван в Петербург, этот старый хитрец, вернувшись в Петербург, начал нашептывать направо и налево: «Вся беда в том, что Витте заключил мир: если бы он не заключил мира, я бы показал японцам!»

На-днях я здесь, в Биаррице, встретился с нынешним начальником нашего генерального штаба генералом Палицыным, который уже занимал это место до моего назначения главноуполномоченным. Я ему задал вопрос: просил ли Линевич государя не заключать мира и вообще почему он бездействовал все время с того момента, когда заговорили о мирных переговорах? На это он мне ответил: «Теперь Линевичу, конечно, выгоднее всего кричать, что если бы мы не заключили мира, то он победил бы. Это совершенно естественно для мелких людей. Куропаткин идет дальше, он уверяет, что все виноваты в его поражениях, кроме него самого».

Что же касается отношения Линевича к мирным переговорам, то собственно о них, насколько ему—Палицыну—известно, он ничего не телеграфировал его величеству, но телеграфировал, что он выработал план наступления, который посылает государю на утверждение (хорош главнокомандующий), а когда государь

ему ответил, что план этот не подлежит утверждению его величества и что государь уполномочивает его привести наступление в исполнение, то он замолчал и затих, и так продолжалось все время, покуда не был заключен мир. А потом у него деморализировалась армия революционерами, что он тоже отрицает.

Что же касается поведения президента Рузевельта, то оно совершенно выясняется, по крайней мере, поскольку поведение это касается России, из документов, о которых я говорил ранее. Мои решительные ему ответы убедили его, что от меня он никакой уступки не получит, поэтому он и перенес свои домогательства в форме советов государю императору непосредственно в Петербург.

Как я говорил, в день, когда я поехал на заседание, на котором должно было решиться—примут ли наши условия японцы или нет, что зависело от того, получит ли Комура подтверждение от самого микадо принять предложенные Россией условия, у меня не было уверенности, будет или не будет заключен мир. Я был убежден в том, что мир для нас необходим, так как в противном случае нам грозят новые бедствия и полная катастрофа, которые могут кончиться свержением династии, которой я всегда был и ныне предан до последней капли крови, но, с другой стороны, как ни как, а мне приходилось подписать условия, которые превосходили по благоприятности мои надежды, но все-таки условия не победителя, а побежденного на поле брани. России давно не приходилось подписывать такие условия; и хотя я был непричем в этой ужасной войне, а напротив того, убеждал государя ее не затевать, покуда он меня не удалил, чтобы развязать безумным авантюристам руки, тем не менее, судьбе угодно было, чтобы я явился заключателем этого, подавляющего для русского самолюбия, мира, и поэтому меня угнетало тяжелое чувство. Не желаю никому пережить то, что я пережил в последние дни в Портсмуте. Это было особенно тяжело потому, что я уже тогда был совсем болен, а между тем должен был все время быть на виду и играть роль торжествующего актера. Только некоторые из близких мне сотрудников понимали мое состояние. Весь Портсмут знал, что на следующий день решится трагический вопрос, будет ли еще потоками проливаться кровь на полях Манчжурии, или этой войне будет положен предел. В первом случае, т.-е. если последует мир, из адмиралтейства должны были последовать пушечные выстрелы. Я сказал пастору одной из местных церквей, куда я ходил за неимением православного храма, что, если мир состоится, я из адмиралтейства приду прямо в церковь. Между тем в течение ночи приехали наши священники из Нью-

Иорка ожидать на месте окончания разыгравшейся трагедии, с соседних мест съехались под влиянием того же чувства священнослужители различных вероисповеданий.

Ночью я не спал.

Самое ужасное состояние человека, когда внутри, в душе его, что-то двоится. Поэтому, как сравнительно несчастны должны быть слабовольные. С одной стороны, разум и совесть мне говорили: «какой будет счастливый день, если завтра я подпишу мир», а, с другой стороны, мне внутренний голос подсказывал: «но ты будешь гораздо счастливее, если судьба отведет твою руку от Портсмутского мира, на тебя все свалят, ибо сознаться в своих грехах, своих преступлениях перед отечеством и богом никто не захочет и даже русский царь, а в особенности Николай II». Я провел ночь в какой-то усталости, в кошмаре, в рыдании и молитве.

На другой день я поехал в адмиралтейство.

Мир состоялся, последовали пушечные выстрелы.

Из адмиралтейства я поехал с моими сотрудниками в церковь. По всему пути нас встречали жители города и горячо приветствовали. Около церкви и на всей улице, к ней прилегающей, стояла толпа народа, так что нам стоило большого труда через нее пробраться. Вся публика стремилась пожать нам руку—обыкновенный признак внимания у американцев. Пробравшись в церковь, я с бароном Розеном, за неимением места, встали за решеткой в алтаре, и вдруг нам представилась дивная картина. Началась церковная процессия, сперва шел превосходный хор любителей певчих, поющих церковный гимн, а затем церковнослужители всех христианских вероисповеданий—православной, католической, протестантской, кальвинистской и других церквей. Процессия эта шла через всю церковь и поместилась в алтаре (возвышение, огражденное низкой решеткой), а затем русский, а потом протестантский священник начали служить краткие благодарственные молебны за ниспослание мира и прекращение пролития невинной крови. Во время служения явился нью-иоркский епископ, скорым поездом приехавший из Нью-Иорка, чтобы принять участие в этом церковном торжестве. Он и русский священник сказали краткие проповеди. Затем последовало пение благодарственного церковного гимна всеми служителями церкви и церковными хорами. Все время многие молящиеся плакали. Я никогда не молился так горячо, как тогда. В этом торжестве проявилось единение христианских церквей, мечта всех истинно просвещенных последователей христианского учения и единение всех сынов Христа в чувстве признания великой заповеди—«не убий». Видя американцев,

благодарящих со слезами бога за дарование мира, у меня явился вопрос — что им до нашего Портсмутского мира? И на это у меня явился ясный ответ: да ведь мы все христиане. Когда я покидал церковь, хоры запели «боже, царя храни», под звуки которого я пробрался до автомобиля и, когда гимн затих, уехал.

Когда я выходил из церкви, то еле-еле мог пробраться, при чем, вероятно, по местному обычаю, старались всунуть мне в руки и в карманы различные подарки.

Когда после этого я приехал в гостиницу, то в моих карманах было найдено, кроме большого числа безделушек, и некоторые весьма ценные подарки, в виде драгоценных камней.

Почему мне удалось после всех наших жестоких и постыднейших поражений заключить сравнительно благоприятный мир?

В то время никто не ожидал такого благоприятного для России результата, и весь мир прокричал, что это первая русская победа после более нежели годовой войны и сплошных наших поражений. Меня всюду возносили и возвеличивали. Сам государь был нравственно приведен к необходимости дать мне совершенно исключительную награду, возведя меня в графское достоинство. И это при личном ко мне нерасположении его и, в особенности, императрицы и при самых коварных интригах со стороны массы царедворцев и многих высших бюрократов, столь же подлых, как и бездарных. Это произошло потому, что с появления моего в Америке я сумел своим поведением разбудить в американцах сознание, что мы, русские, и по крови, и по культуре, и по религии им сродни, приехали вести у них тяжбу с расой, им чуждой по всем этим элементам, определяющим природу, суть нации и ее дух. Они увидали во мне человека такого же, как они, который, несмотря на свое высокое положение, несмотря на то, что является представителем самодержца, такой же, как и государственные и общественные деятели. Мое поведение восприняли и все находившиеся при мне русские, что увеличивало объем впечатления. Мое отношение к прессе, к ее деятелям расположило их ко мне, а они везде, а в особенности в Америке, играют громадную роль в смысле проведения впечатления и идей, хотя часто и не прочных. Японские представители своим поведением содействовали мне в смысле впечатления на американцев. Американские евреи, зная, что я никогда не был ненавистником евреев и после моих бесед с их столпами, о которых я скажу несколько слов ниже, во всяком случае мне не вредили; в их интересах было поддерживать такого русского государственного деятеля, о котором, по всему моему прошлому, они знали, что я к ним отношусь, как к людям. Сие же последнее большая редкость за последние десятилетия, а ныне представляется в России заморским чудом.

Рузевельт желал, чтобы дело кончилось миром, так как к этому понуждало его самолюбие, как инициатора конференции; успех его инициативы усиливал его популярность, но симпатии его были на стороне японцев. Он хотел мира, но мира, как можно более выгодного для японцев, но он наткнулся на мое сопротивление, на мою с ним несговорчивость, а затем он испугался совершающегося поворота в общественном мнении Америки в пользу русских. О том, что Америке не особенно выгодно крайнее усиление Японии, ни он, ни вообще американцы не думали. Вообще, познакомившись с Рузевельтом и многими американскими деятелями, я был удивлен, как мало они знают политическую констелляцию вообще и европейскую в особенности. От самых видных их государственных и общественных деятелей мне приходилось слышать самые наивные, если не сказать невежественные, политические суждения касательно Европы, например: Турция существовать не должна, потому что это страна магометанская, ей не место в Европе, а кому она достанется, это безразлично; почему нельзя воссоздать отдельной сильной Польши, это так естественно и справедливо и т. п.

Франция жаждала мира, так как это был ее прямой и самый серьезный интерес. Ее же государственные люди, находившиеся у власти, большею частью лично симпатизировали своей союзнице. Англия, государственные и общественные деятели которой традиционные политики и мастера этого дела, желала, чтобы мир был заключен, конечно, более или менее выгодный для Японии, так как у них явилось совершенно ясное сознание, что России хороший дан урок, который принесет им пользу по урегулированию всех спорных с нею вопросов, но что, с другой стороны, чрезмерное усиление Японии для них может современем представить опасность.

Как раз в это время истек срок соглашения Англии с Японией. В Лондоне велись переговоры о возобновлении договора, и редакция окончательного соглашения ставилась в зависимость от того, что скажет Портсмут. На это я обращал из Портсмута внимание Ламсдорфа, но мы не могли узнать, почему именно переговоры в Лондоне ставились в зависимость от переговоров в Портсмуте. Японская война произвела порядочную пертурбацию в финансах Европы, а потому весь денежный мир желал, чтобы война кончилась.

Все христианские церкви и их представители сочувствовали заключению мира, так как все-таки дело шло о борьбе христиан с язычниками. О том, что японцы, пожалуй, язычники, но особого рода, с непоколебимой идеей о бессмертной жизни и всесильной верой в бога, это вопрос, о котором мало кто думал и знал, да многие ли это знают и ныне? Наконец, император Вильгельм. До свидания в Биорках в его интересе было еще

более обессилить Россию, а раз были Биорки, его интерес также заключался в том, чтобы в Портсмуте дело кончилось миром. Не мог же он тогда думать, что Биорки потом провалятся.

Вот все те главные факторы, которые мне содействовали к заключению возможно благоприятного мира. Под влиянием всех этих течений японцы сдались на предложенные им условия. Им была внушена мысль—лучше получить существенное, нежели рисковать получить громадное.

Что касается депутации еврейских тузов, являвшихся ко мне два раза в Америке говорить об еврейском вопросе, то об этом имеются в министерстве иностранных дел мои официальные телеграммы. В депутации этой участвовали Шифф (кажется, так), глава финансового еврейского мира в Америке, доктор Штраус (кажется, бывший американский посол в Италии),—оба эти лица находились в очень хороших отношениях с президентом Рузевельтом,—и еще несколько других известных лиц. Они мне говорили о крайне тягостном положении евреев в России, о невозможности продолжения такого положения и о необходимости равноправия. Я принимал их крайне любезно, не мог отрицать того, что русские евреи находятся в очень тягостном положении, хотя указывал, что некоторые данные, которые они мне передавали, преувеличенны, но по убеждению доказывал им, что предоставление сразу равноправия евреям может принести им более вреда, нежели пользы. Это мое указание вызвало резкие возражения Шиффа, которые были сглажены более уравновешенными суждениями других членов депутации, особенно доктором Штраусом, который произвел на меня самое благоприятное впечатление. Он теперь занимает пост посла в Константинополе*.

Когда этот Штраус года два тому назад хотел приехать в Россию, то, несмотря на то, что он был послом Америки в Константинополе, пришлось делать целый ряд сношений с полицией по вопросу о том, может ли он приехать в Россию или не может, только при особом контроле и на строго определенное время он мог приехать в Россию.

Такое варварское, полудикое отношение со стороны России к вопросам, по которым нет никаких сомнений во всех культурных странах, и привело к тому конфликту, который ныне переживает и Россия и Америка, вследствие денонсиации Америкой торгового договора с Россией.

* На другой день после подписания договора я уехал в Нью-Иорк. По приезде туда я и барон Розен поехали к президенту

в Остер-бей. У президента мы обедали в семейном кругу его. Я с ним много говорил, как до обеда, так и после него.

Еще до войны Америка применила к нам дифференциальную пошлину на сахар. В то время я был министром финансов. В этом действии американского правительства я усмотрел явное нарушение принципа наибольшего благоприятствования. Мы протестовали против этой меры, но безуспешно. Тогда, по моему докладу, его величество утвердил некоторые дифференциальные пошлины по отношению некоторых американских продуктов, что, конечно, было крайне неприятно Америке.

Когда я ехал в Америку, я исходатайствовал разрешение его величества заявить президенту, что государь устраняет эти дифференциальные пошлины. Я этим разрешением не воспользовался до и во время конференции, дабы не дать повода говорить, что мы заискиваем расположение американцев, но после подписания договора с Японией, будучи у президента, объявил ему об этом высочайшем решении. Президент был очень доволен, на другой же день это было объявлено в американских газетах и произвело отличное впечатление. Президент во время разговора со мною, в особенности перед обедом, хотел, видимо, загладить те резкие по существу разногласия, которые происходили между ним и мною с самого моего приезда до того момента, когда он, видя, что со мною каши не сваришь, перевел свои домогательства непосредственно в Петербург. Он меня уверял, что он также действовал на японцев, чтобы они согласились на мои предложения, и, в подтверждение своих слов, показал мне телеграмму, о которой я упомянул выше, в которой он, сообщая о перемене настроения американцев в пользу России и о том, что, в случае продолжения войны, Япония уже не будет встречать в американцах прежней поддержки, советовал принять наши условия. Я просил президента дать мне его портрет с его подписью, что он с видимым удовольствием сейчас же исполнил. Затем мы беседовали на различные темы в самых любезных формах. Распростившись с ним и его семейством, вечером мы вернулись в Нью-Йорк.

Там я неожиданно явился на биржу. Биржа, дабы выразить мне уважение, заметив мое присутствие, прервала свои занятия и оказала мне особое внимание и сочувствие. Затем по приглашению командующего войсками в нью-йоркском округе генерала Гранта, сына известного президента, я ездил на остров, где он жил и где находится его главная квартира. Я хотел у него побывать, так как моя жена и я—мы в очень хороших отношениях с милейшей особой, женой кавалергардского офицера князя Кантакузена, графа Сперанского, дочерью генерала Гранта.

Он меня встретил и проводил с воинскими почестями. Одно утро я провел в нью-иоркском (колумбийском) университете, который мне оказал честь, выбрав меня почетным доктором прав. Университет этот по обстановке богаче бостонского.

Между прочим, беседуя с профессорами, я спросил профессора политической экономии, знакомит ли он слушателей с книгою Джорджа о национализации земли, на что он мне ответил: конечно, во-первых, Джордж один из талантливейших наших писателей, а кроме того, я считаю полезным знакомить слушателей с его взглядами на земельный вопрос, чтобы выяснить его неосновательность.

Многим нашим доморощенным русским экономистам было бы полезно послушать эти лекции и даже такому великому писателю, но наивному мыслителю, как граф Лев Толстой.

Я также спрашивал профессоров, возможны ли у них такие беспорядки, какие происходят в наших университетах, и что бы они сделали, если бы это у них приключилось. На это они мне ответили, что они об этом никогда не думали, так как им никогда не придется в такие дела вмешиваться, ибо сами слушатели, при малейшей попытке кого-либо заниматься в университете чем бы то ни было, кроме науки, его немедленно выбросят из университета. Я обратил также внимание на то, что при университете имеется большое здание, служащее специально для физических упражнений.

Известный миллиардер Морган просил меня съездить на его яхте в военное училище, откуда выходят почти все офицеры американской армии.

Училище это расположено в часах трех езды по реке и замечательно богато устроено. Нас встретили с воинскими почестями и затем, после осмотра училища, на большом плацу начальник училища произвел парад всем кадетам. При осмотре училища я заметил, что, вероятно случайно, в тот же день для осмотра училища приехали японские офицеры, находившиеся в свите Комуры. Они были, видимо, крайне смущены, так как на них никто не обращал никакого внимания. Заметив это, я подошел к ним, поздоровался с ними и пригласил их быть с нами, если им угодно. Они очень меня благодарили и все время были в моей свите.

Парад был замечательно красивый. Кадеты эти совсем взрослые мужчины. У них очень красивые мундиры. Оригинальность была та, что между прочим маршировали под звуки «боже, царя храни». Когда раздались звуки этого прекрасного гимна, я снял шляпу, и за мною последовали все присутствовавшие*.

Морган, хотя и имеет дворец в Нью-Йорке, но живет постоянно на яхте; на этой самой яхте он совершает путешествие из Америки в Европу, ездит по Средиземному морю и т. д., словом, всю свою жизнь старается проводить на море, находя не без основания, что это самая здоровая жизнь.

На этой яхте Моргана, едучи в кадетский корпус, я завтракал со всею своею свитою, а на обратном пути обедал, и это был единственный раз, когда я, будучи в Америке, порядочно позавтракал и порядочно пообедал, так как, когда я жил в гостинице, то и тогда, несмотря на совершенно баснословные цены, которые с меня брали: так 380 руб. за номер и за обед с каждой персоны по 30—40 руб., при чем за самый скромный обед,—и все-таки еда была очень гадкая.

На яхте я вел разговоры с Морганом и спросил его, примет ли он участие в займе, который Россия будет вынуждена совершить для ликвидации расходов войны? Он не только соглашался, но сам вызвался на это и настаивал, чтобы я не вел переговоров с другой группой, еврейской, во главе которой стоял Шифф. Я их и не вел. Но затем, когда пришлось делать заем и Германия—по причинам, которые будут выяснены ниже—отказалась принять участие в займе согласно желанию императора Вильгельма, то и он ушел на попятный двор, может быть не без влияния германского правительства.

Говоря о Моргане, между прочим, мне вспомнился следующий забавный разговор, происшедший между нами.

У Моргана болезнь носа; на носу у него находится нарост, как будто бы целая выросшая свекла, который, конечно, представляет большое уродство.

Уходя с его яхты, когда мы остались с ним наедине, я сказал Моргану:

— Позвольте мне вас поблагодарить и, между прочим, сделать вам маленькое одолжение. У меня есть большой приятель—знаменитый профессор в Берлине Ласар. Когда я как-то страдал накожною болезнью,—он меня лечил и вылечил. И вот, когда я ходил к нему в клинику в Берлине, то видел многих, имевших такие же уродливые носы; они у него лечились, он все эти наросты вырезал, и у них получились совершенно нормальные носы.

На это Морган сказал, что он очень мне благодарен, что он сам это знает, знает даже этого знаменитого профессора, но, к несчастью, не может эту операцию сделать.

Я думал, что Морган боится, что ему будет очень больно или что-нибудь подобное.

Но Морган мне сказал:

— Нет, я совсем не боюсь; я видел, как он это искусно делает, и нисколько не сомневаюсь в результате. Но скажите, пожалуйста,—говорит,—как я тогда покажусь в Америке? Ведь я тогда не в состоянии буду вернуться в Америку.

— Почему?—спрашиваю.

— Да потому,—говорит,—что если я приеду в Нью-Йорк после операции, то каждый мальчишка, который встретится со мною на улице, будет показывать на меня пальцем и хохотать. Все меня знают с этим носом и представьте себе, что я вдруг выйду на улицы Нью-Йорка без этого носа?

Мне этот ответ Моргана показался крайне странным, но он объяснил мне это самым серьезнейшим образом и с большим сожалением, что он не может сделать этой операции.

После того, как я ездил осматривать это высшее американское офицерское училище, я ездил также на пароходе в Вашингтон, т.-е. в официальную столицу Америки.

Я осматривал Вашингтон, осматривал белый дом президента, сенат, палату депутатов и библиотеки и, конечно, самым интересным представлялся дом, где жил и умер великий Вашингтон, можно сказать, создатель нынешних Северных Американских Соединенных Штатов. Дом этот находится за городом над рекой Гудзон; замечательно, что все суда, как торговые, так и простые, которые проходят по этой реке, салютуют этому дому, а также все лица, проходящие мимо этого дома сзади, по дороге, снимают шапки. Вообще, можно сказать, что все американцы преклоняются перед этим домом, как перед святыней.

Осматривающим этот дом и это маленькое имение Вашингтона показывают место, где похоронен он и его жена. Между прочим, комнаты в этом доме, по нынешним временам, довольно скромных размеров, а во времена Вашингтона это считалось обширным помещением; в этом доме имеются довольно обширные залы, в этом же доме есть комната, которую показывают осматривающим, где жил известный французский генерал Лафайет, который участвовал в организации Америки; здесь же та комната, где умер Вашингтон и где жила его жена.

Там есть особое место, на котором растут деревья, которые были посажены различными более или менее известными лицами, посещавшими это имение Вашингтона. В этом же самом месте и меня попросили посадить одно дерево; об участи этого дерева, в каком оно теперь находится положении, я не знаю.

Я осматривал все это в воскресенье, потому что у меня не было времени; в воскресенье я приехал в Вашингтон, в воскресенье же осматривал и самое поместье президента.

Обыкновенно в воскресенье этот дом бывает заперт, да и вообще по воскресным дням в Америке все бывает заперто. Но так как у меня не было времени,—я должен был спешить ехать обратно, то я и обратился к президенту с просьбою, не может ли он для меня сделать исключение и разрешить, чтобы мне показали этот дом в воскресенье.

Рузевельт сказал мне, что, к сожалению, он ничего сделать не может, потому что все исторические памятники Америки находятся в ведении особого женского общества, президентом которого состоит какая-то дама; все это люди очень богатые, и они содержат на свой счет все знаменитые памятники Америки, при чем они пользуются такою самостоятельностью, что если президент и обратится к ним, то они могут не исполнить его желания. Он посоветовал мне:

— Обратитесь к ней самой, объясните ей, что вы должны уехать, и я убежден, что, в виду той популярности, которую вы приобрели в Америке, она сделает для вас исключение и разрешит осмотреть дом.

Я так и сделал, обратился к президенту общества депешей и получил ответ, что она с большим удовольствием распорядится, чтобы все было открыто и чтобы мне все показали.

Так и было сделано. Американское правительство дало мне свой пароход, и уполномоченные общества мне все там в подробности показали.

Когда я вернулся в Нью-Иорк, то опять ездил в Ойстер-Бей откланяться президенту Рузевельту и опять у него завтракал.

На этот раз мы говорили с ним иначе, ибо в течение всего времени Портсмутской конференции и еще ранее, когда я был в Нью-Иорке, я с президентом во многом не сходился; не соглашался на многие уступки, которые он желал, чтобы я сделал. Одно время наши отношения дошли даже до того, что Рузевельт не пожелал более иметь со мною дела и начал непосредственно обращаться к государю императору.

Поэтому некоторые вопросы были решены государем императором, и я прямо из Петербурга получил по этому предмету указания, хотя его величество знал мои мнения по этому предмету, а потому я не могу сказать, чтобы что-нибудь было сделано вопреки моим мнениям. Может быть, я бы не решился на некоторые уступки, на которые решился его величество, но это происходило, само собою разумеется, потому, что я есть не что иное, как один из слуг государя, а государь представляет собою самодержавного монарха Российской империи, ответственного за то, что он делает, только перед богом.

Перед моим выездом Рузевельт дал мне письмо для передачи государю. Письмо это он мне прочел. В письме этом говорилось о том, что государь благодарил Рузевельта за то, что он помог окончить переговоры между его уполномоченными и уполномоченными японского императора; что теперь он с своей стороны обращается к государю с просьбой: в торговом договоре 1832 г. имеется один пункт, который получил особое толкование со стороны России, а именно: по этому договору,—как понимают его в Америке,—все американцы могут свободно приезжать в Россию; могут быть различные ограничения, но не исходящие от вероисповедного принципа; если бы ограничения эти исходили из других принципов, если бы ограничения эти делались для того, чтобы оградить Россию от явного материального или другого вреда, то тогда такое отношение со стороны России к этому вопросу признавалось бы американцами совершенно естественным. Но дело в том, что все американцы вообще могут приезжать в Россию, а только делается вероисповедное ограничение по отношению евреев. В письме говорилось, что американцы никогда не в состоянии усвоить и примириться с тою мыслью, что можно различать людей в отношении их благонадежности или в отношении их порядочности по принадлежности к тому или другому вероисповеданию. А поэтому, чтобы установить дружеские отношения между Америкой и Россией, те отношения, которые начались, благодаря моему пребыванию в Америке, он очень просит государя отменить это толкование, которое установилось практикою, в особенности последнего десятилетия.

Как только я возвратился, я передал это письмо государю императору, а его величество передал письмо президента Рузевельта министру внутренних дел.

Во время моего министерства по этому предмету была комиссия. Комиссия эта тогда не кончила своей работы. Впоследствии, во время министерств Горемыкина и Столыпина, комиссия кончила эту работу и пришла к тому заключению, что необходимо дать другое толкование той статье договора, которая говорит о праве России, как и каждого государства, делать ограничения по отношению приезда подданных другого государства, но только не ставить вопрос о дозволении или недозволении въезжать в Россию в зависимость от признака вероисповедного.

Но почему-то этому решению комиссии не было дано никакого хода. В конце концов, в течение почти шести лет вопрос этот не получил никакого благоприятного решения, и дело это кончилось тем, что американцы денонсировали торговый договор на тех основаниях, что они не могут примириться с таким произволом и с несоответствующим духу времени толкованием той части торгового договора, которая говорит о праве въезда иностранцев в ту или другую страну.

Когда я ехал обратно из Америки в Европу, то это путешествие я совершил на немецком пароходе того же самого Гамбургского общества и еще большем, нежели тот, на котором я ехал в Америку, и пароход этот шел несколько быстрее. Пароход этот отличается всевозможным комфортом.

На обратном пути я ехал уже как простой пассажир, точно так же, как я себя держал немедленно после того, как я подписал Портсмутский договор. Так как я, когда приехал из Портсмута в Нью-Йорк, уже сложил с себя звание чрезвычайного уполномоченного и посла его величества, а потому и в Нью-Йорке, хотя и жил в той же самой гостинице, но мое пребывание стоило значительно менее, так как я уже платил за свой номер на русские деньги всего 82 р., вместо 380 р., хотя и жил, вследствие этого, на 17-м этаже.

Как я говорил, вообще в Америке было чрезвычайно дорого жить, на водку, например, за подъем на машине дают не менее доллара, т.-е. 2 р.; мелких денег, в сущности говоря, в больших гостиницах как бы совсем не существует.

Так как я получил на поездку, как я уже говорил, всего 15 тыс. рублей и потом дополучил 5 тыс. руб., всего 20 тыс. руб., то, конечно, я должен был приплатить несколько десятков тысяч из своих собственных денег.

Будучи в Нью-Йорке на обратном пути, я между прочим пошел осматривать самые высокие дома и был в верхнем 37 этаже, куда подымался, конечно, на лифте. В это время был маленький ветер, и, видимо, чувствовалось, что комнаты на самом верхнем этаже колеблются, что весьма понятно, ибо ничтожное, бесконечно малое движение внизу уже выражается наверху в чувствительном колебании.

При обратной поездке по вечерам устраивали на пароходе пение и танцы, всегда вся публика была крайне наряжена, а равно происходили различные чтения.

Я, между прочим, вспоминаю, какое особое положение занимают там агенты охранной полиции, о которых я ранее говорил. Как-то раз в Нью-Йорке я поехал на автомобиле с таким агентом, который одевается, как чистейший джентльмен, и вот мы проезжали по одной улице, которая была крайне загромождена экипажами, а особливо трамваями. Вдруг я заметил, что все движение полицейский сразу остановил, чтобы дать мне проехать. Я удивился, почему это он сделал, и увидел, что агент, рядом около меня сидящий, расстегнул свой сюртук, и я увидел, что под сюртуком у него была лента с особым значком, и вот, увидевши этот значок, полицейский махнул рукой, и все вдруг ему повиновалось, и все движение было прекращено.

Вот у нас, особливо в монархической стране, вся публика взволновалась бы на такое действие полиции, а вероятнее, большею частью и не послушалась бы.

На обратном пути капитан парохода мне сказал, что он хочет в моем присутствии попробовать аппарат, только что введенный, который заключается в том, что его ставят впереди парохода на определенное расстояние, и если этот пароход приближается близко к какому-нибудь препятствию и, между прочим, к пароходу, идущему по направлению к нему, то на пароходе начинает гудеть гудок. Аппарат этот сделан был для предотвращения возможных столкновений. Он мне показал подробно этот аппарат и его действие и произвел фальшивую тревогу, дернув одну из проволок, и действительно, на пароходе сразу начал гудеть гудок.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Посещение Парижа на обратном пути из Америки.

*Первый европейский порт, в который заходил пароход—английский. Как только подошел наш пароход к крепости, мне салютовали пушками.

Когда я ехал в Америку, я уже был нездоров, но не заявлял об этом, дабы не подражать Нелидову и Муравьеву. Главная моя болезнь—это в области дыхательных органов. Конечно, болезни мои весьма усилились от этого дипломатического путешествия. Я все время поддерживал себя строжайшей диэтой и усиленными смазываниями кокаином. Это совершенно расстроило мои нервы. Еще в Америке я твердо решил удалиться от всяких дел, и так как я держал Петербург все время в курсе каждого моего делового шага, то еще из Америки телеграфировал Ламсдорфу, что я пришлю все документы, которые, впрочем, не представляют собою ничего нового, потому что я своевременно сообщал по телеграфу, и просил его исходатайствовать разрешение государя поехать прямо в Брюссель на несколько месяцев к дочери.

У меня было какое-то предчувствие, что, если я приеду в Петербург, то меня снова «бросят в костер». Из Соутгамптона я отправил Плансона курьером со всеми документами в Петербург и сам на пароходе проследовал в Шербург. Приехав в Европу, я решил переменить политику относительно прессы и запираться от корреспондентов, потому я отказался иметь какие-либо разговоры с прессой, как только я приехал в Соутгамптон, и все время держался этой политики до 17 октября. Я сделал в Париже только исключение для представителя газеты «Temps» Tardieu, по усиленной просьбе посла Нелидова, и то потом об этом жалел [1]). В Шербурге я остановился на несколько часов, чтобы

[1]) См. стр. 338.

приехать в Париж рано утром, для избежания всяких встреч и в особенности любопытной публики.

Я приехал в Париж, кажется, 6 сентября нашего стиля, рано утром. Я, конечно, прежде всего виделся в Париже с главою министерства Рувье. Он меня очень поздравлял с заключением мира, затем крайне сетовал на германское правительство, с которым он все не мог уговориться по Марокккскому вопросу. Он мне объяснил, что он сделал многие уступки, на которые не соглашался Делькассе, но что германские представители требуют того, чего он уступить не может, потому что палата депутатов этого не примет, и этим воспользуются враги министерства, чтобы его свергнуть. Он мне говорил, что с послом князем Радолиным можно было бы сговориться, но что присланы два представителя от центрального правительства, из которых один Розен, германский поверенный в делах в Марокко, наиболее притязательный. Затем Рувье мне указал, в чем заключаются разногласия, которые мне показались сравнительно совершенно второстепенными. Вмешательство Германии задевало самолюбие французов, возбужденные же ею вопросы имели, очевидно, для нее значение политическое в смысле давления на французское правительство, но не имели значения по существу.

Действительно, ознакомившись с прессой, я усмотрел сильное возбуждение, и некоторые газеты уже говорили о возможном столкновении. Французское правительство на всякий случай начало уже принимать даже некоторые военные меры, связанные с крупными расходами. Французские руководящие банкиры, которые очень желали бы сделать русский заем, заявили мне, что при настоящем положении вещей произвести большой заем невозможно: Il faut, que le cauchemare du Maroc passe.

Рувье мне также подтвердил, что при настоящем положении вещей трудно рассчитывать на заем, и просил моего содействия, чтобы уладить дело. «Теперь отношение с Германией,—прибавил он,—в такой острой фазе, что некоторые лица и почти вся пресса ожидают вооруженного столкновения» [1]). Я ему высказал, что лучше всего все вопросы колкие не решать теперь, а признать их касающимися интересов всех наций, имеющих какое-либо отношение к Марокко, и спустить их в конференцию из представителей этих держав. Тогда, если Франции придется уступить по решению конференции, парламент к решениям этим отнесется иначе, нежели если уступка последует от министерства.

---

[1]) Как оказалось впоследствии, под влиянием такого настроения французское правительство произвело значительные расходы на случай войны.

Рувье сказал, что он сам так думал, но что германское правительство или его представители на это не согласны. Я ему посоветовал теперь не спорить по существу и только стараться провести вопрос о конференции. Он мне обещал, что, если Марокканский вопрос уладится, то правительство не будет препятствовать займу, и он, Рувье, мне окажет не только полное содействие, как глава правительства, но и как Рувье, т.-е. финансист. Я поехал к князю Радолину, германскому послу, с которым еще в Петербурге я был в очень хороших отношениях, и прямо заговорил с ним о Марокканском вопросе, объясняя, что осложнение на этом вопросе в настоящее время не на руку ни России, ни Германии, так как нельзя же готовить большой войны из-за Марокканского дела; ведь в случае войны между Германией и Францией начнется общая война, в которой должна будет принять участие и Россия. Он мне ответил, что он делает все от него зависящее, чтобы прийти к соглашению, что он совершенно разделяет мое мнение, что этот вопрос раздут, что ему мешают присланные уполномоченные от центрального правительства, а что его в Берлине считают французом. С своей стороны он просил меня, не могу ли я оказать воздействие на канцлера Бюлова.

Между тем, как только я приехал в Париж, мне сейчас же из соответствующих посольств дали знать, что король Эдуард и император Вильгельм были бы очень рады меня видеть и принять, а Бюлов, вероятно, не зная о переданном мне желании Вильгельма, дал мне знать, что он был бы мне очень благодарен, если бы я, возвращаясь в Россию, проехал через Баден, где он в то время лечился.

Относительно приглашения короля Эдуарда и императора Вильгельма я ответил, что не считаю себя в праве явиться к ним ранее, нежели явлюсь к моему государю. В Париже я уже застал письмо Ламсдорфа о том, что государь желает, чтобы я приехал в Петербург, а потому он, Ламсдорф, не считал удобным докладывать его величеству о моей просьбе отпустить меня в Брюссель.

Что же касается Бюлова, то я ему дал знать, что мне неудобно заезжать в Баден, и, если он меня желает видеть, то пусть приезжает в Берлин, где я могу остановиться на несколько часов. Вслед за сим я получил высочайшее повеление, чтобы, возвращаясь в Петербург, я явился к императору Вильгельму. Что касается Англии, то ко мне приехал секретарь нашего посольства в Лондоне, ныне советник того же посольства, умный и дельный Поклевский-Козел, интимный человек у короля Эдуарда и друг нынешнего министра иностранных дел Извольского, с видимым поручением короля, хотя он говорил, что приехал сам

*

по себе, и с ведома нашего посла. Он заговорил со мною снова о желании Эдуарда и англичан, чтобы я заехал в Англию, но я ему объяснил, что при всей моей охоте я сделать этого не могу без приказания государя, а в то время, конечно, такого разрешения государя последовать не могло, так как его величество находился под связями биоркского свидания.

Если бы даже король Эдуард просил о том государя, разрешение последовать не могло. Тогда государь считал англичан нашими заклятыми врагами. Затем Поклевский меня долго убеждал в том, что России необходимо после Портсмутского мира войти в соглашение с Англией, дабы покончить недоразумение по персидскому, афганскому, тибетскому и другим вопросам, служащими постоянными разжигающими факторами недобрых отношений между Россией и Англией. Я ему совершенно искренно говорил, что, по моему мнению, желательно установить хорошие отношения между Англией и Россией, но не портя существующих отношений к континентальным европейским державам. Такова должна быть по-моему наша политика на западе, а на востоке необходимо с полной искренностью установить добрые отношения к Японии. России желателен мир по крайней мере на несколько десятков лет, и благоразумная политика должна к этому стремиться всеми силами. Несомненно, что последовавшее на-днях соглашение между Россией и Англией дело рук Поклевского и его влияния на Извольского. Оно буквально воспроизводит то, что мне представил Поклевский-Козел в Париже. Король Эдуард умно воспользовался своим интимным благоволением к этому дипломату.

Получив повеление ехать к императору Вильгельму, я передал об этом Рувье и Радолину, обещав им содействовать, чтобы германское правительство согласилось на передачу наиболее существенных вопросов по Марокккскому делу на обсуждение международной конференции. Затем я заявил Рувье, что желал бы видеть президента Лубэ, который находился в то время в своем имении на юге Франции, около Монтелимара. Мне собственно видеть Лубэ не было надобности, хотя мне всегда было приятно беседовать с этим стариком, к которому я питал глубокое уважение, но я понимал, что если я поеду к германскому императору, не заехав, будучи во Франции, к президенту французской республики, это произведет дурное впечатление на французов. Лубэ сейчас же пригласил меня, и я, вечером того же дня, отправился в Монтелимар, завтракал у него в семейном кругу и на другой день вечером вернулся в Париж.

Когда я поехал к Лубэ, меня несколько станций сопровождал г. Нейцлин, директор банка de Paris et Pays Bas, который

являлся представителем синдиката французской группы для совершения русского займа без включения в этот синдикат еврейских банкирских домов, которые уклонялись от участия в русских займах со времени кишиневского погрома евреев, устроенного Плеве, несмотря на мои личные отношения с главою дома Ротшильдов, который всегда являлся главою синдиката по совершению русских займов, когда в нем принимали участие еврейские фирмы.

С Нейцлиным я говорил о займе по приезде в Париж, теперь из объяснений с Нейцлиным выяснилось, что ему Рувье сказал то же, что и мне, т.-е., что он поддержит французских банкиров, которые будут делать русский заем, но что эта операция возможна лишь после соглашения с Германией. Нейцлин, как и его коллеги, конечно, очень хотели иметь заем, но и для них было ясно, что, покуда биржа не успокоится, это невозможно.

Лубэ поздравил меня с окончанием портсмутских переговоров миром, когда я еще был в Америке. Вообще я тогда получил массу поздравительных и восторженных телеграмм, в особенности из России. В Монтелимаре он меня еще раз поздравил словесно, говорил о неприятностях, делаемых Франции германским правительством, и затем более всего выражал свои мнения о внутреннем положении России, высказывая, что без системы представительства и конституции Россия более итти не может.

Я его спросил, говорил ли он по этому вопросу когда-нибудь с государем. Он мне ответил, что говорил, выражая те же мнения. На мой вопрос: что же вам сказал государь? он ответил: государь сказал: вы так думаете?—Я ему ответил: не только думаю, но в этом убежден. Последующие события,—заключил он,—кажется, оправдали мое мнение.

Я все время только его слушал, а затем в свою очередь спросил его, представляет ли опасность для Франции все большее и большее усиление социализма и иногда социализма боевого. Он мне убежденно ответил:

— Нет, это все пена. Как только социалисты входят в правительство, они постепенно перестают быть социалистами. Французский народ столь благоразумен и настолько политически развит, что не допустит во Франции экспериментов социалистических бредней.

Когда же я заговорил об антиклерикализме французского правительства, переходящем разумные пределы и нравственные принципы, которых, например, держался такой крайний, но большой человек, как Гамбетта, то он, видимо, не желал останавливаться на этой теме разговора.

Через несколько месяцев истекал срок президентства Лубэ, и он мне заявил, что твердо решил ни в каком случае больше

своей кандидатуры не ставить, хотя несомненно, что, если бы он желал быть тогда выбранным снова, то был бы выбран. Не было ли одной из причин его ухода то, что в его президентство правительство под влиянием палаты затеяло столь грубую войну с католической церковью?

Покидая Париж, я еще раз виделся с Рувье, и он мне снова подтвердил, что, если уладится Марокккский вопрос, то он обещает мне оказать содействие займу, а такой заем был необходим России и, в особенности, всякому правительству государя императора*.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Роминтен.

* Я приехал в Берлин вечером, и чины посольства нашего меня предупредили на вокзале, что публике сделалось известным, что я приезжаю в этот день и останавливаюсь в гостинице Бристоль, на Унтер ден Линден, и что там ожидает меня громадная толпа народа. В виду этого я решил не ехать в экипаже, а незаметно пройти пешком. Меня заметили некоторые лица из публики только тогда, когда я входил в подъезд гостиницы. Тогда толпа начала увеличиваться и просила, чтобы я вышел на балкон. Я был вынужден несколько раз выходить на балкон и раскланиваться с публикой, которая мне оказывала знаки внимания.

На другой день я обменялся визитами с министром иностранных дел (Бюлова не было в Берлине) и виделся с французским послом. Я ему сказал, что, в случае благоприятного результата моего разговора с императором Вильгельмом, я ему так или иначе дам знать для передачи Рувье.

Вечером я выехал к императору, который находился в своем охотничьем замке Роминтен около русской границы. Туда нужно ехать по главному пути из Берлина в Вержболово и затем, не доезжая Вержболово, свернуть на несколько десятков верст на юг.

Утром я приехал в Роминтен. На вокзале меня встретил граф Эйленбург, человек пожилых лет, который приветствовал меня от имени императора и представился, как лицо, находящееся в свите его величества и как бывший германский посол в Вене.

Тогда я вспомнил, что граф Эйленбург, бывший посол в Вене, считается в общественном мнении человеком очень близким к императору и одним из столпов окружающей его дворцовой камарильи. Он меня повез в автомобиле и дорогой передавал мне, что император чрезвычайно высокого мнения обо мне.

восхищается моим поведением и успехом в Америке и с нетерпением меня ожидает.

Когда мы подъехали к замку, меня перед замком встретил сам император со своей крайне малочисленною свитою. Он был чрезвычайно ко мне любезен и после встречи приказал министру двора повести меня в мое помещение.

Министр двора граф Эйленбург, весьма почтенный человек, двоюродный брат сказанного Эйленбурга, повел меня в мою комнату. Роминтен—охотничий замок. Он представляет из себя простой двухъэтажный деревенский дом, против которого находится другой дом, тоже двухъэтажный, еще более простой конструкции. Вторые этажи обоих домов соединяются крытою галлереею. Большой дом и часть второго этажа меньшего дома занимают их величества, а остальное помещение—свита и приезжающие.

Замок находится на небольшой возвышенности. Вокруг него находятся несколько маленьких домов для служб. Затем вблизи деревня, вокруг леса, где ежедневно во время пребывания в Роминтен охотится император. Он и вся свита, как и гости, носят охотничьи костюмы. Император ведь особый охотник до форм. Вся жизнь весьма проста; комнаты также весьма просты, но, как всегда у немцев, все держится в большом порядке и чистоте.

Через несколько времени после того, как я очутился в своей комнате, ко мне пришел граф Эйленбург и продолжал начатый разговор во время переезда с вокзала в замок. Разговор касался общего политического положения, отношений России и Германии между собою и к другим державам. Граф мне сказал, что император вспоминает о том разговоре, который его величество имел со мною, когда он был в Петербурге, и где я проводил мысль о том, что континентальная Европа, по крайней мере, великие державы континента должны соединиться и прекратить взаимную борьбу для того, чтобы Европа продолжала играть доминирующую роль на земном шаре, иначе пройдут сотни, а может быть только десятки лет, и Европа будет играть второстепенную роль во всесветной политике.

Я ему сказал, что очень сожалею, что тогда разговор этот не имел никаких практических последствий. На это граф Эйленбург очень неопределенно заметил, что, может быть, мое чаяние гораздо ближе к осуществлению, нежели я думаю. Затем мы пошли завтракать к его величеству. Император меня представил императрице, которой я, впрочем, был уже представлен, когда она приезжала с императором в Петергоф. Затем я поздоровался с принцессой, единственной их дочерью, некрасивой, но весьма симпатичной, и которую, повидимому, августейшие

родители особливо любят. После этого меня познакомили со свитою, которая, впрочем, была крайне малочисленна; кроме Эйленбургов был бывший морской министр (запамятовал фамилию, кажется, Гольман), один генерал и затем два молодых человека—адъютанта. Таким образом Вильгельм был в тесном приятельском кругу.

Во время завтрака я сидел по правую руку императрицы и вел только светские разговоры. Ее величество между прочим сказала мне, что еще несколько лет тому назад император крайне неблагосклонно относился к автомобилям, а теперь так увлекся этим спортом и ездит с такой быстротой, что это иногда служит предметом ее беспокойства.

Кроме моей деловой беседы с императором глаз-на-глаз после завтрака, я имел такую же беседу, в тот же день, перед обедом. Император, сказав несколько слов о моем громадном успехе в Портсмуте, заговорил со мной о политическом положении Европы и перешел к тому разговору, который я имел с ним во время пребывания в Петергофе (в Петербурге, в германском посольстве, после завтрака) и который я несколько часов тому назад вел с графом Эйленбургом, т.-е. о союзе континентальной Европы. Я ему высказал мое полное убеждение, что правильная политика должна заключаться в постепенном сближении главных величин Европы: России, Германии, Франции, с целью достижения союза между этими государствами, к которому, конечно, пристанут и некоторые другие европейские державы. Если это будет достигнуто, то Европа в значительной степени освободится от громадных затрат, производимых на сухопутные вооружения, имеющие, главным образом, в виду войны между державами континента. Она будет иметь возможность создать грозную силу на морях, которая будет доминировать над целым светом. Иначе, по моему убеждению, не пройдет много времени, и Европа будет в мировом концерте почитаться почтенной, но дряхлой старушкой.

Его величество мне сказал, что он совершенно разделяет это мое убеждение, что он рад, что я остался верен этой идее, и что моя идея получила осуществление в Биорках при последнем свидании его с моим повелителем. Он прибавил, что передает мне об этом секретном деле с разрешения моего государя, и затем спросил, доволен ли я этим, на что я ему, радостно и с полным убеждением, отвечал, что очень доволен. Засим, после непродолжительного разговора, не имеющего делового характера, я удалился.

Император через некоторое время уехал на охоту, один с егерем. Ко мне опять заходил граф Эйленбург под предлогом,

не нужно ли мне чего-либо, и мне сказал в разговоре, что он самое интимное лицо у императора, что он пользуется его полным доверием и что, если мне что-либо будет нужно по возвращении в Россию совершенно доверительно передать императору, чтобы я это делал через него, и прибавил, что я могу рассчитывать на то, что то, что мною будет написано, будет немедленно передано Вильгельму, и что я через него, Эйленбурга, получу ответ императора. Пересылку писем можно производить, если не будет другой верной оказии, через германское посольство. После этого разговора я пошел немного погулять около замка и встретил играющую принцессу.

Вернувшись к себе, я через некоторое время увидал возвращающегося с охоты императора, и вскоре я опять был им принят.

Я начал разговор с того, что для подготовления союзных отношений Германии с Францией необходимо вести соответствующую политику сближения, что для этого нужно постепенно подготовить общественное мнение во Франции и необходимо, чтобы дипломатия действовала искусно и деятельно, но что, к сожалению, этого не делалось. В последние годы франко-германские отношения не только не улучшились, но ухудшились, и в результате произошло сближение Франции и Англии, кончившееся известным соглашением. После такого соглашения будет еще труднее повернуть общественное мнение Франции в пользу сближения с Германией, но, по-моему, это возможно, и требует очень обдуманных и систематически проводимых мер; между тем, я не вижу этого ни в действиях нашей дипломатии, ни в действиях дипломатии его величества.

Будучи теперь во Франции, я, напротив, заметил крайнее возбуждение общественного мнения, и многие даже боятся войны, денежные рынки взбудоражены. Повидимому, после Биорк ничего не было сделано в смысле сближения Франции с Германией.

На это мне Вильгельм сказал, что покуда ничего не было сделано, но что будет сделано. О том же, в чем именно заключалось соглашение в Биорках, он мне не сказал и, очевидно, уклонялся меня посвятить в детали этого соглашения, т.-е. просто дать мне его прочесть. Я подумал, что, вероятно, император Вильгельм считает корректным предоставить это моему государю. Затем Вильгельм начал резко сетовать на французское правительство, которое, по его словам, всегда поступает по отношению Германии и его лично некорректно, и что он несколько раз хотел дать инициативу в установлении хороших отношений с Францией, но натыкался на некорректность со стороны представителей республики. Он особенно возмущался

образом действий Делькассэ по заключению соглашения с Англией и указал мне на то, что германской дипломатии было известно, что Делькассэ ведет переговоры с английским правительством о соглашении, к чему он относился спокойно, рассчитывая, что, когда соглашение состоится, он будет о том поставлен в известность. Между тем, после того, как соглашение состоялось, ни Англия, ни Франция не сочли нужным, хотя бы для дипломатического приличия, сообщить содержание соглашения Германии, поэтому он мог надеяться, что в соглашении этом нет ничего, что могло бы прямо или косвенно относиться к Германии.

Когда же это соглашение стало известным, то оказалось, что оно между прочим касается таких предметов, которые непосредственно касаются интересов Германии, а именно Марокко, в котором Германия имеет торгово-промышленные интересы. Это заставило его, Вильгельма, показать, что нельзя делать соглашений по предметам, в которых заинтересована Германия, без соглашения с ней, а тем более без ее ведома.

Я заметил, что французское правительство представило доказательство, что оно этот печальный инцидент желает загладить, так как Делькассэ без смены министерства должен был покинуть свой пост, и этот пост взял на себя глава министерства Рувье, управлявший ранее министерством финансов. Рувье искренне желает уладить это дело. Он—человек весьма уравновешенный. Посол его величества князь Радолин мне засвидетельствовал в Париже, что Рувье делает все уступки, которые он может сделать, и Радолин находит, что нынешнее французское министерство держит себя по отношению в Германии весьма корректно.

После всего этого я кратко объяснил императору Вильгельму разногласия между Рувье и представителями германского правительства по Марокккским делам, при чем я заметил, что император далеко не в курсе переговоров, происходивших в Париже.— Если мы хотим,—сказал я,—сближения Германии с Францией, то нам необходимо, чтобы во Франции было соответствующее министерство. Если вследствие неудачи переговоров Рувье с представителями его величества министерство Рувье падет, то вместо него может явиться министерство, которое будет относиться к мысли сближения с Германией враждебно. Я сказал, что я не предлагаю, чтобы представители Германии уступили во всем Рувье, я лишь нахожу, что наиболее серьезные вопросы Марокккского дела следует передать на решение международной конференции. Рувье на это согласен, Радолин также не против этого, но германское правительство, в лице его представителей в Париже, делает затруднения к такому направлению дела. Кроме того, я ему сказал, что Франция вошла в соглашение с Англией,

в котором разрешила Марокккский вопрос, как будто вопрос этот касался только интересов Франции и Англии. Германия нашла это некорректным и вмешалась в дело. Теперь, если Рувье сойдется с вами, то кто может поручиться, что какая-либо другая держава, например, Америка, не признает, что Рувье поступил некорректно, войдя в соглашение с вами без участия Америки. Очевидно, что французское правительство может очутиться в весьма запутанном положении и что правильнее всего вопросы, затрагивающие интересы нескольких держав, передать на обсуждение международной конференции.

Император выслушал меня внимательно, взял со стола телеграфный бланк и написал телеграмму на имя Бюлова. Показав телеграмму, император сказал:

— Вы меня убедили. Вопрос будет улажен в указанном вами смысле.

Затем я сказал императору, что, может быть, он недоволен французским послом в Берлине и что для установления сближения желателен человек другого калибра. На это Вильгельм мне ответил:

— Нынешний посол—человек незаметный, но, по крайней мере, вежливый и спокойный. Пожалуй, если его возьмут, то назначат худшего.

Чтобы показать некорректность французского правительства, император мне представил такой пример: при посольстве был французский офицер, весьма корректный, хороший военный, и поэтому он оказывал этому офицеру внимание. Вдруг он узнает, что французское правительство его отзывает. Тогда при ближайшем приеме он обратился к бывшему в то время при его дворе французскому послу и спросил его, правда ли, что отзывают сказанного офицера? Посол это подтвердил. А когда император сказал, что он об этом жалеет, посол ему ответил, что его правительство в праве распоряжаться офицерами французской армии по своему усмотрению.

Я, конечно, не мог не признать невежливости посла и только заметил, что, вероятно, французское правительство или не знало этого дела, или оно ему было представлено в неправильном виде.

Император также отзывался крайне неблагоприятно о нашем после в Лондоне, графе Бенкендорфе, относясь к нему саркастически. Он говорил, что Бенкендорф ярый католик, а потому действует против Германии, и что все его значение в Лондоне основано на угодничестве королю, который имеет в нем хорошего партнера в бридж. Далее император мне сказал, что, по его сведениям, в России весьма неспокойно, и спросил меня, что я думаю по этому предмету.

Я ему ответил, что неправильная политика по внутреннему управлению привела многие слои населения в возбужденное

состояние, а затем явная ошибка правительства, которое возбудило войну с Японией, и все ужасные неудачи этой войны взбаламутили Россию. Правительство потеряло всякий авторитет в народе, и я думаю, что не обойдется без конституции, на что император мне ответил, что необходимо дать те или другие реформы, которые желает общество, но главное то, что признается нужным дать, нужно дать сразу и затем ни под каким предлогом не итти на дальнейшие уступки. Он мне сказал, что это мнение он высказал и нашему государю.

По поводу же войны с Японией император со мной не говорил ни слова, избегая этого разговора, помня, конечно, что я ему передавал, через поверенного германского посольства в Петербурге Чирского, когда Германия захватила порт Киао-Чао и тем, в известной мере, дала толчок всем дальнейшим событиям, кончившимся безумной и позорной войной с Японией.

После этого разговора я удалился в свое помещение, а погодя ко мне пришел министр двора и принес мне от императора портрет его величества в золотой рамке с такой собственноручной надписью, в некотором роде исторической надписью: «Portsmouth—Biorky—Rominten—Wilhelm Rex», и цепь ордена Красного Орла. Надпись эта на портрете в трех словах резюмирует всю политику императора, к которой он стремился с тех пор, как наш государь решил пойти на мирные переговоры с Японией до моего возвращения и прибытия в Роминген.

Вильгельм после разговора со мною уже не сомневался, что дело его в шляпе—война ослабила Россию и ему развязала руки с востока, теперь же Портсмут и Биорки послужат ему к успокоению, если не к возвеличению Германии при помощи России с запада. И все это без пролития капли крови и затраты хотя бы одного германского пфеннига. Но человек полагает, а бог располагает.

Что же касается данной мне императором Вильгельмом совершенно экстраординарной награды—орденской цепи, которая дается только царствующим особам или членам царствующих домов, то император, решив мне дать орден, не мог мне дать другой, так как я уже имел высший орден германский—ленту Черного Орла. Такая экстраординарная награда со стороны германского императора, вероятно, отчасти послужила побуждением для государя вознаградить меня за Портсмут возведением в графское достоинство. Я спросил министра, когда я могу явиться к императору благодарить его за оказанную мне милость. Министр мне ответил, что удобнее всего перед самым обедом. При этом он мне заметил, что, если я хочу доставить удовольствие его величеству, то он советует явиться к обеду, надевши пожа-

лованную мне цепь. Я сказал, что это очень затруднительно сделать, так как, уезжая в Америку, я не взял с собою ни одного мундира и ни одного ордена, зная, что в Америке это не потребуется, а являться к коронованным особам в Европе не предполагал. В заключение мы условились, что я надену цепь на фрак, а министр доложит императору, почему я являюсь не в форме и без орденов. Я так и явился к обеду во фраке с цепью и прежде всего благодарил императора за необычайные награды.

Обедали мы в том же кружке, как и завтракали. После обеда перешли в соседнюю комнату. Молодая принцесса и флигель-адъютант удалились, остались их величества, граф Эйленбург, вышеупомянутые бывший морской министр, генерал и министр двора. Все держали себя весьма непринужденно, расселись на креслах около столика, пили кофе, пиво и курили. При чем, вероятно, по заведенному в этих случаях в Роминтене обычаю, начали поочереди рассказывать различные смешные истории и анекдоты. Император больше всех хохотал, при чем меня поразили его отношения к графу Эйленбургу. Император не сидел на отдельном кресле, а на ручке кресла, на котором сидел Эйленбург, при чем его величество правую руку держал на плечах графа, как бы его обнимая. Граф же Эйленбург держал себя менее всех принужденно, так что, если бы кто-либо взглянул в эту комнату, не зная никого из там находящихся, и его бы спросили, кто именно из присутствующих германский император, он, вероятно, прежде всего удивился бы такому вопросу, а если бы его уверили, что в числе присутствующих находится император, и настаивали бы, чтобы он указал его, то он скорее указал бы на графа Эйленбурга, нежели на Вильгельма. Обращение императора с Эйленбургом дало мне полное основание поверить Эйленбургу, что он пользуется особой доверенностью его величества. Часов около 10 император простился с присутствовавшими, и все удалились.

На другой день, чтобы попасть на скорый поезд, идущий из Берлина в Петербург, я должен был выехать из Роминтена между 12 и часом дня. Я рано встал и вышел гулять. Все утро перед окнами дома играла и гуляла молодая принцесса. Когда я вернулся к себе, ко мне зашел министр двора и объявил, что император будет завтракать ранее обыкновенного времени, так как он желает, чтобы я завтракал вместе с ними. Меня позвали завтракать в начале 12 часа. Завтрак прошел очень оживленно. Вообще на меня произвела крайне благоприятное впечатление крайняя простота жизни императора и его, и в особен-

ности ее величества, крайняя простота и любезность в обращении. Император гораздо более обворожителен в частной жизни, нежели в официальной, когда у него является некоторая резкость в движениях и манерах и чопорность, свойственная хорошему берлинскому гвардейскому офицеру. После завтрака я откланялся императрице и принцессе, простился со свитой и хотел откланяться императору, но к моему удивлению его величество мне сказал, что он сам меня проводит до вокзала.

У подъезда нас ждал автомобиль его величества. Император сел рядом со мною, а впереди сел все тот же граф Эйленбург. Проезд до вокзала длился минут десять. Дорогой император мне сказал, что я могу вполне довериться графу и что он знает о его разговорах со мной. Приехавши на станцию, император вошел со мною на платформу и ожидал, покуда поезд не тронется. Я раскланялся с его величеством и вновь благодарил его за оказанные мне милости и гостеприимство и уехал. На вокзале меня ожидал курьер нашего финансового агента в Берлине. Я взял клочок бумаги, написал маленькую записку [1]) французскому послу в Берлине, чтобы он дал знать Рувье, что дело о конференции улажено, и немедленно послал ее с сказанным курьером.

В Вержболове меня встретили весьма радушно. Все офицеры пограничной стражи местной бригады были налицо. Пограничная стража, как войско, была создана мной, и я был первый шеф пограничной стражи. Я всегда чувствовал в себе военную струнку и любил заниматься военными вопросами. Произошло это оттого, что я родился на Кавказе и провел там все юношество до тех пор, покуда меня не повезли в университет, когда мне было $16^1/_2$ лет. Когда же я поступил в университет, я потерял отца и, вышедши из университета, все время был под нравственным влиянием моего дяди, известного военного и политического

[1]) Когда через года два мне пришлось как-то высказываться одному французскому деятелю, что в 1905 году я устранил столкновение между Францией и Германией из-за Марокко, то деятель этот выразил сомнение в этом, поэтому я озаботился достать для моего архива документ, подтверждающий мой предыдущий рассказ. Достать мою записочку послу в Берлине не удалось; но мне удалось из архива министерства иностранных дел получить официальную копию моей записочки в том виде, как она была передана по телеграфу послом в Берлине президенту и министру иностранных дел Рувье.

Телеграмма была послана от моего имени из Берлина 28 сентября (нового стиля) 1905 года, значит, тотчас же, как только была получена моя записочка в Берлине, и заключалась в следующем: «J'ai eu l'honneur de présenter à l'Empereur d'Allemagne mes explications sur les questions marocaines et Sa Majesté a eu la bonté de me dire qu'Elle n'a pas l'intention de faire des difficultés au gouvernement français et qu'Elle donnera à ce sujet ses ordres impériaux».

писателя, боевого военного генерала, Ростислава Андреевича Фадеева.

У него я встречался с такими генералами, как Коцебу, Лидерс, Черняев и проч., и слушал их беседы, мнения и споры. Поэтому из всех многочисленных частей, которые входили в министерство финансов в мое время, я более всего любил пограничную стражу. Она это чувствовала и относилась ко мне с любовью и уважением. Я и теперь преисполнен радости и гордости, что мною созданная пограничная стража оказалась на воинской высоте во время Японской войны, и нигде ни разу не поколебалась во время нашей революции и анархии. Меня особенно обрадовал прием, сделанный мне пограничной стражей в Вержболове*.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Приезд в Петербург.

Позавтракав со всеми находившимися налицо офицерами, я отправился со скорым поездом далее. О дне моего приезда в Петербург точно не знали, так как было известно, что я заехал к германскому императору на несколько дней, а сколько дней я там пробуду, не было известно. Вечером, накануне моего приезда, стало некоторым лицам известно, что я выехал из Вержболова. Естественно, что это разгласилось, но только сравнительно между ограниченным числом лиц; мои друзья приняли все меры, чтобы это не попало в газеты, так как, несомненно, явились бы манифестации и контр-манифестации. Петербург уже тогда находился в революционной горячке. Тем не менее, на вокзале меня встретили много знакомых и незнакомых лиц. Толпа была большая, и я с большим трудом пробрался до моего автомобиля. Кто-то вышел из толпы и сказал мне приветственную речь, превознося мою заслугу, оказанную родине Портсмутским миром.

Это для меня было совершенно неожиданно, тем не менее, я был вынужден сказать присутствующим несколько благодарственных слов.

Было утро. Петербуржцы еще сидели дома, кроме деловых людей. Во время моего проезда до дома все лица, которые меня узнавали, как знакомые, так еще более незнакомые, почтительно снимали шапки и делали благодарственные жесты. Ни один человек во время моего проезда с вокзала не высказал какого-либо знака неудовольствия. Мои знакомые, после сердечного поздравления с миром, почти все говорили одно и то же:

— Сергей Юльевич, у нас плохо, вы избавили Россию от пролития русской крови в Манчжурии, избавьте от пролития крови у нас внутри. Все бурлит.

Я приехал в Петербург 16 сентября 1905 г. В тот же день я был у графа Ламсдорфа. Я ему передал мои впечатления в Америке и обратил его внимание на то, что для того, чтобы установить более или менее прочные отношения с Японией, нельзя ограничиваться Портсмутским договором, нужно пойти далее и установить entente cordiale с этой державой, род союзного, но ограниченного договора, о чем я ему—графу Ламсдорфу—телеграфировал еще из Портсмута, предполагая положить основание к сему там же, но получил от него если не совсем отрицательный, то во всяком случае более нежели уклончивый ответ. Я ему также указывал на то, что необходимо в Японию послать не посланника, а посла, показав тем, что Россия придает особую важность сношениям с Японией и трактует ее, как великую державу, что несомненно, подействует успокоительно и благоприятно на самолюбие японцев.

Граф Ламсдорф мне сказал, что государь полагает назначить в Токио Бахметьева. Я отнесся очень отрицательно к этому назначению, так как Бахметьев никогда не занимался вопросами Дальнего Востока, не имеет об этой области дипломатии никакого понятия и, кроме того, насколько я слыхал, человек вздорного характера. Тогда граф Ламсдорф спросил, кого же назначить. Я ему ответил—Покотилова, посланника в Китае. На это граф Ламсдорф мне ответил, что, конечно, Покотилов был бы отличным послом в Токио, но государь почему-то очень желает, чтобы туда был назначен Бахметьев, и вряд ли ему—Ламсдорфу—удастся переменить это решение. Вероятно, ему придется назначить Бахметьева посланником, а когда решится вопрос о назначении посла, то тогда он выставит кандидата более соответствующего. На этот раз о моем свидании с германским императором мы почти не говорили.

Прибыв в Петербург, я донес об этом его величеству. На другой день я получил приглашение приехать к нему в финляндские шхеры, где его величество в то время находился на яхте «Штандарт» с августейшим семейством.

Я выехал туда утром на военном судне. На судне я был встречен офицерами и командой, которая мне отдала честь. Мы прибыли на место стоянки «Штандарта» после полудня. Государь меня принял у себя в каюте, сердечно и искренно благодарил за успешное окончание крайне тяжелого поручения, им мне данного, и за точное не только по букве, но и по духу данных им мне инструкций. За такую мою услугу, оказанную ему и России, он меня возводит в графское достоинство. Признаюсь, такая экстраординарная награда меня тронула и главное тронула та сердечность, с которой государь

мне объявил об этой милости. Я его весьма благодарил и поцеловал ему руку. Затем государь мне сказал, что он получил от императора Вильгельма письмо, в котором германский император восторженно обо мне отзывается. Он мне сказал, что он, государь, очень рад, что я разделяю те идеи, которые были положены в соглашение его с императором Вильгельмом в Биорках. Я сказал государю, что я был всегда сторонником союза Франции, Германии и России, на что его величество ответил, что ему известно, что об этом я говорил германскому императору несколько лет тому назад, когда он приезжал в Петербург, заметив при этом, что тогда император Вильгельм хотел союза с Англией и полагал, что Европа должна объединиться против Америки. Я напомнил государю о меморандуме императора Вильгельма, тогда переданном его величеству, и о нашем ответе, на что государь сказал:

— Как же, помню.

В заключение я выразил, что я особенно счастлив тем, что все наветы, которые делались ему в последние годы, когда многие хотели представить меня его величеству чуть ли не революционером, остались без влияния на него. На это государь ответил:

— Я никогда не верил этим наветам.

Таким образом он не отрицал, что эти наветы делались. Автором их был тогда, главным образом, Плеве. После этого разговора государь и я—мы вошли в кают-компанию, где уже была императрица и вся свита в ожидании обеда. Я раскланялся императрице, которая на этот раз была ко мне весьма благосклонна. Затем мы сели обедать. Во время обеда, по обыкновению, всех смешил морской министр Бирилев, человек очень хороший, правдивый, но оригинальный.

После обеда я раскланялся с их величествами и пошел в каюту, где были министр двора, морской министр и некоторые лица свиты. Все относились ко мне весьма радушно и даже почтительно.

На другой день я вернулся в Петербург. Дорогой на военном судне ехал молодой офицер, профессор морской академии, который представлялся государю и с нами там обедал. Он объяснял мне, что Цусима должна была кончиться так, как она кончилась, вследствие неправильной конструкции наших судов. На другой день появился указ о возведении меня в графское достоинство.

Указ об этом возбудил все мерзкие страсти в болоте русского правящего класса. Большинство общества, вечно молчащее, приняло этот факт, как акт простой справедливости; многие даже незнакомые мне писали, что они жалеют, что Витте не остался Витте, а стал графом Витте, так как после моих услуг, оказанных родине, к Витте излишне прибавлять титул графа. Все левые—

*

революционеры, а тогда многие теперешние черносотенцы были революционерами, остались недовольны тем, что мир в Портсмуте не был так позорен, как вся война, а потому старались в прессе умалить мое значение в этом деле, как слуги самодержавного государя, а для того приписывали всю честь этого акта Рузевельту. Ведь Рузевельт президент республики, и они хотят республики, да еще какой—распродемократической.

Правые газеты, которые все время натравляли Россию на Японию, следуя политике Плеве, который говорил: «нам нужна маленькая победоносная война, чтобы удержать Россию от революции», само собой разумеется, начали говорить в свое оправдание, что не следовало заключать мира, что если бы мы продолжали войну, то победили бы. Витте, заключив мир, сделал ошибку. Идя по этому пути, когда у нас революция вырвалась наружу, самые крайние правые начали кричать, что я изменник, что я обманул государя и заключил мир помимо его желания. Особенно они ставили мне в вину, что я уступил южную часть Сахалина, и начали называть меня графом Полу-Сахалинским. Этот тон стали проводить и некоторые военные царедворцы, различные генерал-адъютанты, флигель-адъютанты и просто генералы и полковники—одним словом, военно-дворцовая челядь, которая делает свою военную карьеру, занимаясь дворцовыми кухнями, автомобилями, конюшнями, собаками и прочими служительскими занятиями. Этот тон был весьма на руку всем военачальникам, которые шли на войну для хищений и разврата и, в особенности, для главных виновников нашего военного позора—генерала Куропаткина «с душою штабного писаря», и старой лисицы, никогда не забывающего своих материальных выгод генерала Линевича, недурного фельдфебеля для хорошей роты, ведущей партизанскую войну на Кавказе.

Они подняли головы и начали трубить направо и налево: «как раз, когда мы начали бы громить японцев, Витте заключил мир». Относительно пропаганды идеи, что мир был заключен несвоевременно, особенно отличилось «Новое Время», так как газетный торговец старик А. С. Суворин и талантливый, но неуравновешенный М. О. Меньшиков с самого начала войны проводили крайние шовинистические идеи—все уверяли, что мы разгромим японцев, а поэтому им нужно было оправдать свои корыстные (Суворин) и легкомысленные (Меньшиков) заблуждения. А. С. Суворин, уже через год после заключения Портсмутского мира, когда я впал в опалу, объявил даже, в своей весьма распространенной газете, что ему достоверно известно, что, когда в одном собрании в присутствии его величества заговорили о несвоевременности Портсмутского мира, государь

сказал: «Тогда в с е, кроме меня, были за то, чтобы заключить мир». Конечно, Суворин бы этого не печатал, если бы он не знал, что сие будет встречено свыше одобрительно.

Сказал ли это государь или нет, я не знаю, но это так на него похоже—он весь тут. Сообщение Суворина, конечно, подхватила кабацкая пресса «союза русского народа» и начала кричать: «видите, мы говорили, что граф Полу-Сахалинский изменник». Их пророк иеромонах Иллиодор сейчас же написал передовую статью, в которой требовал, чтобы меня на площади в присутствии народа повесили. И этой прессе давали деньги через руки князя Путятина, полковника от котлет и доверенного «истеричной» императрицы Александры Феодоровны. Только ненормальность «истеричной» особы может служить, если не оправданием, то объяснением многих ее действий и того пагубного влияния, которое она оказывала на императора. Что она «истеричка», видно, например, из следующего. Она, конечно, желала иметь сына, а бог им дал четырех дочерей. После этого она попала под влияние шарлатана доктора Филиппа. Этот Филипп ей внушал, что у нее будет сын, и она внушила себе, что она находится в интересном положении. Наступили последние месяцы беременности. Она начала носить платья, которые носила ранее во время последних месяцев беременности, перестала носить корсет. Все заметили, что императрица сильно потолстела. Все были уверены, что императрица беременна. Государь радовался, об ее беременности России сделалось официозно известно. Прекратились выходы с императрицей.

Прошло девять месяцев, все в Петербурге ежечасно ожидали пальбу орудий с Петропавловской крепости, оповещающую жителей по числу выстрелов о рождении сына или дочери. Императрица перестала ходить, все время лежала. Лейб-акушер Отт, со своими ассистентами, переселился в Петергоф, ожидая с часу на час это событие. Между тем роды не наступали. Тогда профессор Отт начал уговаривать императрицу и государя, чтобы ему позволили исследовать императрицу. Императрица по понятным причинам вообще не давала себя исследовать до родов. Наконец, она согласилась. Отт исследовал и объявил, что императрица не беременна и не была беременна, что затем в соответствующей форме было оповещено России.

Если какой-нибудь шарлатан может внушить женщине, что она забеременела, и женщина под этим внушением находится в продолжение девяти месяцев, то что может внушить любой проходимец такой особе? А раз что-либо ей внушено, то сие внушение передается ее безвольному, но прекрасному мужу, а этот муж неограниченно распоряжается судьбой величайшей

империи и благосостоянием и даже жизнью 140.000.000 человеческих душ, т.-е. божественными искорками всевышнего.

Но кого более всех взволновало мое графство, это многих лиц высшей петербургской бюрократии. Тут было дело просто зависти, но зависти особой ядовитости, на которую только способен петербургский чиновник-сановник. Такие господа, как Коковцовы, Будберги, Танеевы не могли простить мне графство и пустили интригу во-всю и до сих пор ею полны. Что же касается посла в Риме Муравьева, то говорят, что он с тех пор страдает черной меланхолией и сделался моим заклятым врагом.

После моего представления его величеству в шхерах, к государю ездил с докладом граф Ламсдорф, и я затем с ним виделся. Граф Ламсдорф меня поздравил с возведением в графское достоинство. Это было одно из самых искреннейших поздравлений. Граф затем сказал мне: «Государь очень расхваливал ваш образ действий в Америке. Он сказал, что вообще вами весьма доволен и, в частности, доволен вашим пребыванием в гостях у германского императора, который от вас в восторге. Его величество мне также сказал, что вы совершенно разделяете биоркское соглашение».

Я ответил графу Ламсдорфу, что да, что я разделяю его вполне и убежден в том, что самое правильное ведение политики заключается в установлении союза России, Германии и Франции, а затем распространение этого союза и на другие континентальные державы Европы. Граф Ламсдорф мне заметил, что лучшая политика для России—это быть самостоятельной и не обязываться ни перед кем. Я с этим согласился принципиально, но сказал, что это было бы возможно до войны с Японией и если бы у нас не было союза с Францией, а теперь это неисполнимо, и потому я и сторонник соглашения между Россией, Францией и Германией. Этим можно обеспечить мир и надолго дать нашей несчастной родине успокоиться и не вести постоянно войн, совершенно ее ослабляющих.

На это граф Ламсдорф меня спросил:—Да читали ли вы соглашение в Биорках?

Я ответил:

— Нет, не читал.

— Вильгельм и государь не давали вам его прочесть?

Я опять ответил:

— Нет, не давали, да и вы, когда я приехал в Петербург и был у вас ранее, чем явиться к государю, также мне не дали его прочесть.

На это граф ответил следующее:

— Я не дал потому, что не знал о его существовании; о нем в эти три месяца мне никто не сказал ни одного слова, и только теперь государь мне его передал. Прочтите, что за прелесть!

Граф Ламсдорф был весьма взволнован. Я взял и прочел это соглашение. Вот в чем оно заключалось. Обыкновенный préambule—слова!—затем несколько пунктов, суть которых следующая:

Германия и Россия обязуются защищать друг друга в случае войны с какой-либо европейской державой (значит, и с Францией). Россия обязуется принять все от нее зависящие меры, чтобы к этому союзу с Германией привлечь и Францию (но покуда это не совершится, или вообще, если это достигнуто не будет, все-таки союз России с Германией имеют полную силу). Договор вступает в силу со времени заключения мира с Японией, т.-е. со времени ратификации Портсмутского договора (значит, если война с Японией будет продолжаться—отлично, а если прекратится, то Россия втягивается в этот договор). Договор подписан императорами Николаем и Вильгельмом и контрассигнован германским сановником, бывшим с Вильгельмом в Биорках (не разобрал фамилию), а с нашей стороны морским министром Бирилевым.

Таким образом со дня ратификации Портсмутского договора Россия обязывалась защищать Германию в случае войны с Францией, между тем мы имеем договор с Францией, действующий с 80-го года и до сих пор не отмененный, в силу которого мы обязаны защищать Францию в случае войны с Германией. Германия также обязалась защищать Европейскую Россию в случае войны с европейскими державами, но до тех пор, покуда у нас действует договор с Францией, мы с ней воевать не можем, с Италией и Австрией тоже война невозможна при соглашении с Германией, в виду тройственного союза Германии, Австрии и Италии, значит, договор мог реально иметь в виду только войну России с Англией, но Англия не может вести сухопутной войны с Россией; что же касается Дальнего Востока, где, покуда не установятся отношения с Японией, война наиболее вероятна, то мы там можем воевать сколько угодно—Германия никакого участия принимать не обязана.

Прочитавши этот договор, я сказал графу Ламсдорфу:

— Да это—прямой подвох, не говоря о неэквивалентности договора. Ведь такой договор бесчестен по отношению Франции, ведь по одному этому он невозможен. Неужели все это сотворено без вас и до последних дней вы об этом не знали? Разве государю неизвестен наш договор с Францией?

Ламсдорф ответил:

— Как неизвестен. Отлично известен. Государь, может быть, его забыл, а вероятнее всего не сообразил сути дела, в ту-

мане, напущенном Вильгельмом. Я же об договоре ничего не знал и совершенно добросовестно телеграфировал вам в Париж, когда ехали в Америку, что свидание в Биорках не имеет никакого политического значения.

— Необходимо,—ответил я графу Ламсдорфу,—во что бы то ни стало, уничтожить этот договор, хотя бы пришлось замедлить ратификацией Портсмутского договора,—это ваш долг.

На это граф мне ответил:

— Если государь на это согласится, то, конечно, это сделать необходимо.

— Ну, лишь бы государь согласился, а я найду различные дипломатические приемы и доводы.

Обсуждая, как удобнее это сделать, мы остановились на том, что, во-первых, можно выставить тот довод, что договор не скреплен министром иностранных дел, во-вторых, что государь в Биорках не имел под руками соглашения с Францией, которому данное соглашение вполне противоречит, в-третьих, для того, чтобы договор биоркский вступил в действие, необходимо ранее вступить в соглашение с Францией, а для этого нужно время и, наконец, в крайности, нужно заявить, что России удобнее не ратифицировать Портсмутского договора, нежели признать биоркский договор в подписанной редакции. Единственно, что следует признать в биоркском договоре, это то, что союзное соглашение между Германией, Россией и Францией желательно, и принять обязательство, что русское правительство будет сему всеми зависящими от него мерами содействовать.

Оставив графа Ламсдорфа, я стал думать, как помочь делу. Обратиться самому к государю я не имел оснований, так как с окончанием Портсмутского договора я был не что иное, как председатель комитета министров и мог просить доклада только по делам, в сем учреждении рассматриваемым. Государь имел бы полное основание мне сказать, что это дело до меня не касается, да, наконец, я сомневался, чтобы я мог убедить государя в необходимости аннулировать этот договор. На графа Ламсдорфа я не надеялся, так как он, по мягкости своего характера, не имел никакого влияния на его величество. Он мог действовать только постепенно, медлительно, ведя с государем дипломатию. Какое же влияние мог иметь министр иностранных дел, когда за его спиной заключали договор первостепенной важности и держали его три месяца от министра в секрете? Вероятно, после граф Ламсдорф догадывался, что что-то было в Биорках, но что именно, он не знал. Я думаю, что это потому, что он жаловался, что Вильгельм постоянно стремился втянуть государя в беды, что это ему может удаться и в виду личной переписки между импера-

торами, в которую он, Ламсдорф, не посвящается, и что затем когда он что-либо узнает, тогда, когда уже дело ставится на официальную почву, то ему приходится принимать меры для нарушения того, что было более или менее условлено в частной переписке.—Вследствие этого Вильгельм меня ненавидит,—сказал граф,—считает меня врагом Германии и систематически стремится меня свергнуть с поста министра иностранных дел.

Я решился обратиться за содействием великого князя Николая Николаевича, который в то время и доныне, благодаря Филиппу и черногоркам, а отчасти и личным качествам, из коих главное—это преданность не только императору, но и Николаю Александровичу, пользуется особым авторитетом у его величества.

Я объяснил его высочеству дело и всю невозможность договора в Биорках. Великий князь меня понял, но в разговоре со мною не дал мне понять, что содержание договора ему уже известно. Между тем, мне теперь сделалось известным, что он его знал, так как еще на-днях, разговаривая с нашим начальником генерального штаба, генералом Палицыным, он мне сказал, что государь два раза по возвращении из Биорк давал договор ему читать, т.-е. он давал читать договор генералу Палицыну еще тогда, когда держал его в секрете от министра иностранных дел, а раз государь давал его читать Палицыну, креатуре великого князя Николая Николаевича, то, несомненно, он давал его читать и Николаю Николаевичу, а если бы и не давал, что невозможно предположить, то Палицын сейчас бы все сообщил великому князю. Великий князь совершенно ясно понял невозможность этого договора, главнейше потому, что раз договор этот войдет в силу, то государь поступит как человек бесчестный.

Само собой разумеется, что его величество не мог иметь в виду этого обстоятельства, иначе он, несмотря на все влияние Вильгельма, договор не подписал бы.

Николай Николаевич спросил меня:

— Что же делать?

Я ответил, что нужно уничтожить договор до ратификации Портсмутского договора. Ламсдорф найдет к сему дипломатические средства. Я с ним эту часть дела обсуждал, нужно только, чтобы государь признал необходимость уничтожить это соглашение. Я добавил, что с своей стороны я не могу взять на себя инициативу разговора по этому предмету с его величеством, потому что по моей должности к этому не призван. Великий князь сказал мне, что он переговорит по этому делу с государем.

Затем я видел Бирилева и спросил его:

— Вы знаете, что вы подписали в Биорках?

Он мне ответил:

— Нет, не знаю. Я не отрицаю, что подписал какую-то бумагу, весьма важную, но что в ней заключается, не знаю. Вот как было дело: призывает меня государь в свою каюту-кабинет и говорит: Вы мне верите, Алексей Алексеевич?—После моего ответа, он прибавил:—Ну, в таком случае, подпишите эту бумагу. Вы видите, она подписана мною и германским императором и скреплена от Германии лицом, на сие имеющим право. Германский император желает, чтобы она была скреплена одним из моих министров.—Тогда я взял и подписал.

Через несколько дней я получил приказ государя приехать в Петергоф. Там я застал великого князя Николая Николаевича и графа Ламсдорфа. Государь нас принял вместе и сразу начал разговор о биоркском соглашении. Каждый из нас высказал свое мнение, при чем все единогласно пришли к заключению, что этот договор должен быть уничтожен, а если государь пожелает, то заменен другим, находящимся в соответствии с договором с Францией. Россия не может взять на себя обязательство в случае войны Германии с Францией итти против Франции, когда она имеет формальное обязательство итти в этом случае против Германии. Государю, очевидно, было очень тяжело отказаться от своей подписи, но он должен был на это решиться и разрешить графу Ламсдорфу в этом направлении действовать. Через некоторое время, но еще в сентябре месяце, когда я не был у власти, я спросил графа, как идет дело об аннулировании биоркского соглашения. Граф мне ответил, что на нашу ноту Германия ответила уклончиво, но все-таки в конце концов сказала, «что подписано, то подписано», и что нами послана вторая нота более решительная.

Когда после 17 октября я стал председателем совета министров, то уже не по дружескому знакомству, а по праву спросил Ламсдорфа, в каком положении дело о биоркском соглашении. Он мне ответил:

— Будьте покойны, соглашения этого более не существует.

С тех пор император Вильгельм почел Ламсдорфа явным врагом Германии, и до меня начали доходить слухи, что германский император перестал мною восторгаться, хотя и искренне до сих пор убежден, что правильная политика России заключалась в стремлении установить союзные связи между Францией, Германией и Россией, находясь в хороших отношениях с Англией и прочими державами.

К сожалению, с моим уходом от власти, а равно уходом графа Ламсдорфа, не без косвенного влияния Вильгельма, дело, повидимому, пошло совершенно по другому пути. Извольский, заменивший графа Ламсдорфа, склонен более к соглашению России, Англии и Франции, и первый в этом направлении шаг сделал недавно опубликованным соглашением России с Англией по азиатским вопросам. Само по себе это соглашение полбеды, но как бы оно не стало началом других, которые могут кончиться большими пертурбациями. Вильгельм, конечно, тревожится, хотя он сам, или его близорукая дипломатия сама отчасти способствовала такому направлению дела; к тому же на толкание по пути союза Франции, Англии и России премного способствует наш советник посольства в Лондоне, Поклевский-Козелл, фаворит короля Эдуарда и ближайший друг Извольского и его семейства.

Для того, чтобы успокоить Вильгельма, состоялось, несколько недель тому назад, новое свидание императоров в Свинемюнде, на котором присутствовали князь Бюлов и Извольский.

Начальник генерального штаба уверяет меня, что на этом свидании ничего письменно не установлено, что только императоры подтвердили, что они будут стремиться действовать в духе биоркского соглашения. Газеты, конечно, уверяют, что это свидание чисто личное, а не деловое. Но ведь этим сообщениям нельзя давать никакого значения. В одном я уверен, это что, если императору Вильгельму не дано реального удовлетворения, а таким удовлетворением не могут служить фразы, то он будет носить против России за пазухой камень*.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Булыгинская Дума.

Еще ранее моего выезда в Америку уже было приступлено к обсуждению проекта Булыгина, о котором я говорил ранее, т.-е. проекта положения о Думе совещательной. При обсуждении этого положения явно выступила следующая тенденция, даже не тенденция, а как бы общее суждение, что единственное, на кого можно положиться при настоящем смутном и революционном состоянии России, есть крестьянство, что крестьяне представляют собою консервативный оплот государства, а поэтому и выборный закон должен быть основан, главным образом, на крестьянстве, т.-е., чтобы Дума была по преимуществу крестьянской и выражала крестьянские взгляды. Так как интеллигенция во время всего смутного времени с 1903 г. выражала более или менее крайние взгляды о необходимости положить конец бывшему государственному строю и ввести народное представительство в управление судьбами империи, то она потеряла вполне свой кредит в глазах правительства. В самых высших сферах дворянство, которое было в то время вполне не объединенным, вторило в дудку интеллигенции, т.-е. также выражало, что Россия доведена до позорной войны и до полной дезорганизации благодаря самодержавному правлению, которое в конце концов сводится к безответственному правлению бюрократии, и потому необходимо положить предел такому порядку вещей.

В сущности говоря, разница между песней, которую в это время пело дворянство, или, по крайней мере, ее видные представители, и песней других сословий—заключалась не в том, что нужно покончить с бывшим в то время государственным строем, а в ином: как этот строй переделать. Большинство русской интеллигенции, в сущности говоря, говорило: мы желаем монарха царствующего, но не управляющего судьбами империи. Управление судьбой империи должно принадлежать

народному представительству, а народное представительство должно заключаться, главным образом, в нас, так как покуда еще народ темен; они желали буржуазную конституцию, а некоторые были не прочь от буржуазной республики.

Дворянство первую часть формулы интеллигенции оставило без изменения, а только изменило вторую часть и говорило, что управление страной должно находиться в наших руках, в руках дворян, которые, по их мнению, составляют соль земли русской, т. е., иначе говоря, они говорили монарху: ты, мол, от управления уйди, но только мы одни можем тебя в управлении страной заменить.

Крестьянство же осталось верным своим традиционным воззрениям, по которым народ не может существовать без царя, а царь может стоять только на народе, и никаких политических преобразований не желало и о них не мечтало, но оно находило, что ему, крестьянству, трудно жить, что ему должна принадлежать если не вся, то большая часть земли русской, что они главные работники на земле, а что потому эксплоатирующий их труд, кто бы он ни был, дворянство ли, купечество или вообще интеллигенция суть, по меньшей мере, трутни, а потому гораздо более мечтало об экономических, социальных преобразованиях, нежели о преобразованиях политических.

Если что в России происходило дурного (даже и Японская война, которая, как гром, разразилась над Россией), то простой народ, особенно крестьянство, никогда государя в этом не винили. Они не могли себе представить, что государь может быть в чем-либо виновен, а если и есть виновные, то виновные—его советчики, все те же дворяне различных категорий и различных происхождений.

Конечно, этот взгляд—совершенно неверный, если можно так выразиться, куцый, ибо история всюду показала, что экономические реформы на низу никогда не даются без предварительных политических реформ на верху. Замечательно, что такой взгляд у крестьянства, который окончательно подорван событиями с 1903 г. и особливо злосчастным управлением Столыпина, провозгласившим, что все должно делаться лишь для сильных, а не для слабых, мог существовать в России в народе в начале XX столетия,—когда этот фантастический взгляд, основанный на иллюзиях, пал уже во всех цивилизованных европейских странах, как взгляд несостоятельный. Такой взгляд мог держаться в России только благодаря великим преобразованиям императора Александра II, вся политика которого тем была велика, что его лозунг был совершенно обратный: Россия не для сильных, а Россия для слабых, и этим путем слабые делаются сильными, и вся империя делается великой.

При обсуждении проекта Государственной Думы Булыгина в особом совещании под председательством графа Сольского твердо держался тот взгляд, что необходимо, чтобы Дума была по преимуществу крестьянская, что в этом заключается оплот консерватизма, в этом заключается безопасность царствующего дома, и в этом заключается и залог государственного порядка.

С особым жаром держались за необходимость, дабы Государственная Дума была, по преимуществу, крестьянской; держались этого такие столпы консерватизма, как К. П. Победоносцев и государственный контролер Николай Львович Лобко, остальные члены такому взгляду не противоречили, хотя должен сказать, что у меня иногда являлось сомнение в правильности такого взгляда. У меня также являлось сомнение и в самом принципе совещательной Думы, ибо нигде и никогда совещательное народное собрание не существовало в силу постоянного закона, точно определяющего все детали выборов, все детали организации, все детали действий народного собрания, почти непрерывно действующего и составляющего как бы такое звено государственного правления, без которого государственное правление не может существовать и двигаться.

Все формы Государственной Думы взяты были из образцов различных парламентов, но в то время, когда эти парламенты везде имели силу решающую и в известных пределах обязательную для монарха и главы правительства, русский парламент, русскую Государственную Думу полагали устроить по образцам западно-европейским, дать ей все туловище, все функции, все порядки в общем государственном строе народного представительства с голосом совещательным, но только не давать ему решающего голоса, а сказать: мы будем постоянно выслушивать твои мнения, твои суждения, но затем будем делать так, как мы хотим.

Для меня, по крайней мере, было ясно, что такое уродливое построение кончится или тем, что Дума будет существовать только несколько месяцев, или же тем, что Государственной Думе, устроенной по парламентарному образцу, будут даны и функции парламента.

Я во время обсуждения проекта Булыгина под председательством Сольского ничего не возражал, так как вообще в моем тогдашнем положении я старался поменьше высказывать своих мнений, если о них специально не спрашивают, но я решил, что выскажу все мои сомнения, когда дело будет обсуждаться под председательством государя императора.

Обсуждение под председательством государя императора происходило уже в мое отсутствие, когда я был в Америке,

и я несколько держался в курсе этого дела министром финансов В. Н. Коковцовым, который телеграфировал мне вообще о всем, происходящем в Петербурге, или же бывшим в моей свите Иваном Павловичем Шиповым, директором департамента казначейства. Шипов являлся при мне как бы представителем министра финансов.

Из этих телеграмм я видел, что и в совещаниях, под председательством его величества, преобладал все тот же взгляд, что единственное сословие, на которое государь и государство может опереться, есть сословие крестьянское. В заседание под председательством государя были приглашены между прочим лица из партий крайних правых, как-то: граф Бобринский, Нарышкин и другие.

*Мне передавали лица достоверные, участвовавшие в этих заседаниях, что Победоносцев и Лобко особенно настаивали на том, чтобы всю силу выборов склонить к крестьянству, как сословию, на которое можно положиться. Вследствие сего была выдумана Коковцовым комбинация, чтобы крестьянство, которому и без того были даны широкие привилегии, кроме того, в губернских выборных собраниях имело право прежде всего выбирать одного члена Думы, а затем, вместе с другими выборными, выбирало других членов.

Тупые носители дворянских идей, между прочим, граф Бобринский, стремились к предоставлению при выборах особых привилегий дворянству. Это дало повод великому князю Владимиру Александровичу бросить им в глаза жестокий, но справедливый упрек, что дворянство все на словах кричит о своей преданности самодержавному государю, а между тем, кто, если не дворяне, систематически вели линию к его ограничению.

Действительно, дворянство, как класс наиболее просвещенный с одной стороны, а с другой—по природе человеческой, с начала XIX столетия, как только оно в наполеоновское время коснулось Франции и ее идей, стремящихся к уравнению прав и привилегий, подняло вопрос о введении конституции в России и ограничении самодержавного монарха. Движение это причинило много беспокойства Александру Благословенному и его правительству в последние годы его царствования.

Затем, с его смертью произошел декабрьский кровавый бунт, наложивший печать на все царствование Николая I. Кто сотворил этот бунт? Дворяне, и какие дворяне—не такие, которые ныне большею частью скрытно и тайно участвуют в позорном Дубровинском союзе русских людей. Имена пострадавших дворян декабристов чтутся ныне весьма и даже царями, как личности, несомненно, светлые. Как только окончилось продол-

жительное царствование Николая I севастопольским погромом не нашего доблестного войска, а николаевского режима, и началось либеральное царствование великого освободителя Александра II, и он, между прочим, дал земские и городские учреждения, то кто, если не дворяне, начали в этих учреждениях систематически проводить линию, ведущую к конституции? Это, впрочем, совершенно в порядке вещей, так как я доказал в записке (ответ министру внутренних дел Горемыкину), о которой много кричали и на которую до сих пор еще ссылаются в прессе, что земские учреждения—это конституция снизу, которая, несомненно, рано или поздно естественным социальным путем приводит к конституции сверху. И этот путь самый спокойный; и если бы раз давши земское и городское самоуправление и затем, в течение четверти века, с ними не воевали, а постепенно их развивали, то мы пришли бы к конституции без смутных революционных эксцессов.

В царствование Александра II образовалась интеллигентная и сознательная буржуазия, а затем начал образовываться сознательный, так называемый, пролетариат. Дворянство, несомненно, хотело ограничения государя, но хотело ограничить его для себя и управлять Россией вместе с ним. Многие из них проглядели образование буржуазии, третьего сословия, сознательного пролетариата. Кто, если преимущественно не дворянство участвовало во всех съездах, так называемых, земских и городских представителей в 1904 и 1905 г.г., требовавших конституцию, систематически подрывавших всякие действия царского правительства и самодержавного государя... К этому движению пристала буржуазия и, в особенности, торгово-промышленная. Морозовы и другие питали революцию своими миллионами.

Дворянство увидело, что ему придется делить пирог с буржуазией,—с этим оно мирилось, но ни дворянство, ни буржуазия не подумали о сознательном пролетариате. Между тем, последний для сих близоруких деятелей вдруг, только в сентябре 1905 г., появился во всей своей стихийной силе. Сила эта основана и на численности и на малокультурности, а в особенности на том, что ему терять нечего. Он, как только подошел к пирогу, начал реветь, как зверь, который не остановится, чтобы проглотить все, что не его породы. Вот, когда дворянство и буржуазия увидели сего зверя, то они начали пятиться, т.-е. начал производиться процесс поправения.

Газетный торговец «Нового Времени» Суворин, еще три года тому назад предвещавший весну и ликовавший, предвкушая ее благоухание, вдруг обратился, во что?—в шарлатана, ежедневно кричащего: «я хочу конституцию и разные свободы, но только для блага России все должно делаться, как царь и мы,

благоразумные русские люди, имеющие стотысячные заработки, того хотим».

Одним словом, дворянство сто лет добивалось конституции, но только для себя, и вся та часть дворянства, которая носит в себе только проглоченную пищу, а не идеи, когда она увидела, что конституция не может быть дворянскою, явно или стыдливо тайно начала исповедывать идеи таких каторжников (они и на это не способны, а просто сволочи), как Дубровин, Пуришкевич и пр...

6-го августа при манифесте был обнародован закон об учреждении Думы. По закону сему: 1) Дума есть учреждение постоянно действующее по образцу парламентов, 2) все постоянные и временные законы, штаты, бюджет о б я з а т е л ь н о вносятся на ее обсуждение, 3) она—учреждение совещательное, но с правом полной свободы выражения своих мнений по предметам обсуждений, 4) выборный закон основан преимущественно на крестьянстве, как на преобладающем элементе населения и наиболее, по мнению составителей закона, надежном монархическом и консервативном элементе; закон о выборах может подлежать изменению в порядке, в положении о Думе установленном, т.-е. выслушав мнение Думы, 5) право на выборы находится вне зависимости от национальности и религии.

В сущности была установлена нижняя палата, и Россия вошла в конституционное устройство. Было наивностью думать, что то, что Думе придан характер совещательный при всех других прерогативах парламента, может что-либо изменить. Или совсем не следовало учреждать Думы или Дума, устроенная на парламентских основаниях, должна была или обратиться в настоящий парламент или произвести революционную сумятицу. Совещательный парламент, это поистине есть изобретение господ чиновников-скопцов.

Опубликование закона 6-го августа никого не успокоило, а всеми рассматривалось, как широчайшая дверь в спальню госпожи конституции. Напротив того, с августа месяца революция начала все более и более лезть во все щели, а неудовлетворение в течение десятков лет насущных моральных и материальных народных нужд и позорнейшая война обратили все эти щели в прорвы*.

Я же с своей стороны был уверен, что эта Дума, в зависимости от хода смуты и волнений, будет или навсегда закрыта, или перейдет в обыкновенный тип парламента, хотя бы и с весьма ограниченными полномочиями.

Является большой вопрос, при какой форме правления было лучше жить народу: при настоящей или при прежней? Я, конечно, не сомневаюсь в ответе на этот вопрос и отвечаю: совершенно уверен в том, что при настоящей форме правления народу хуже, чем при прежней форме правления. Но, как река течь обратно не может, так нельзя и вернуться к прежнему, а нынешняя форма правления есть переходная, которая неизбежно немного позже, или немного ранее, приведет к тем конституционным порядкам, которые существуют во всех цивилизованных странах.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Крестьянский вопрос до 17 октября 1905 г.

*Великий акт освобождения крестьян от крепостной зависимости, сделанный великим императором Александром II, был совершен с наделением их землею. Наделение это было в сущности принудительное, ибо помещики обязаны были подчиниться самодержавной и неограниченной царской воле. Первый акт, с точки зрения гражданских норм и самосознания, не возбуждает никаких принципиальных и политических отрицаний. Что же касается второго, то, с точки зрения гражданского самосознания, как оно установилось со времен римской империи, конечно, он являлся этому самосознанию, принципу свободы и незыблемости собственности, полным противоречием. Можно преклоняться и восторгаться этим актом—это другой вопрос; но не следует не усматривать в нем того, что он действительно представляет—нарушение принципа собственности, принесение в жертву принципа собственности политическим, может быть, неизбежным потребностям, а раз стали на этот путь, естественно было ожидать и последствий сего направления. Этого не только тогда не понимали, но многие не понимают или не желают понимать и теперь. Водворению сознания собственности был нанесен и другой ущерб.

Наделение землею всего населения—это акт бесконечной сложности. Составление положения и затем введение его требовало, даже при гениальности творцов и исполнителей—многие годы. Все же было сделано спешно, наскоро. При таких условиях самый вопрос об общинном и индивидуальном наделении не был ни по положению ясно и определенно разработан, но еще менее определенно проведен в действительную жизнь. Явилась масса недомолвок и вопросов, висевших и ныне висящих в воздухе.

Когда приходится в сложной материи делать работу спешно, гораздо легче ее делать огульно, нежели детально. Несравненно

легче иметь как материал для действия, в данном случае для наделения землею, единицы в несколько тысяч людей, нежели отдельных людей. Поэтому, с точки зрения технического осуществления реформы, община была более удобна, нежели отдельный домохозяин.

С административно-полицейской точки зрения она также представляла более удобства—легче пасти стадо, нежели каждого члена стада в отдельности. Такое техническое удобство, кстати, получило довольно мощную поддержку в весьма почтенных любителях старины, славянофилах и иных старьевщиках исторического бытия русского народа. Было провозглашено, что «община» это—особенность русского народа, что посягать на общину значит посягать на своеобразный русский дух. Общество, мол, существовало с древности, это цемент русской народной жизни.

Раз приняв такой высокий и патриотический лозунг, пользуясь им, при известной способности делать нужные заключения, на бумаге можно выводить разные узоры (бумага все терпит и при некоторой талантливости и набитости пишущей руки—даже усердно читается). Было довольно не трудно доказать и убедить, что в сущности община существовала повсюду, что она примитивная форма владения. Есть немало людей, которые и ныне эту истину не признают.

Почтеннейший член Государственного Совета П. Семенов (сделавшийся в этом году Тянь-Шанским), едва ли не единственный, оставшийся в живых из ближайших сотрудников графа Ростовцева по освобождению крестьян—ярый сторонник общины и только этой зимой, в гостиной А. Н. Нарышкиной, сознался, что после пережитого в последние два года он убедился, что была сделана большая ошибка в 60-х годах: не оценили при крестьянской реформе принципа собственности, увлекшись общинным началом. Это на 84-м году жизни после кровавой революции с сентября 1905 г. по февраль 1906 г. и затем с уходом моим с поста главы правительства, после водворения анархии, которая тянется до сей минуты. А что еще предстоит?...

Чувство любви старины очень похвально и понятно; это чувство является непременным элементом патриотизма, без него патриотизм не может быть жизненным. Но нельзя жить одним чувством—нужен еще разум. Координацией и соответствующей координацией этих двух элементов человеческой природы только и может жить как отдельный человек, так и государство. Разум же всякому, кто таковым обладает, говорит, что люди, народы, как и все на свете, двигаются, только мертвое, отжившее стоит, да и то недолго, ибо начинает итти назад, гнить.

Общинное владение есть стадия только известного момента жития народов, с развитием культуры и государственности оно неизбежно должно переходить в индивидуализм—в индиви-

дуальную собственность; если же этот процесс задерживается и, в особенности, искусственно, как это было у нас, то народ и государство хиреет. Теперешняя жизнь народов вся основана на индивидуализме, все народные отправления, его психика основаны на индивидуализме. Соответственно сему конструировалось и государство. «Я» организует и двигает все. Это «я», особенно развитое в последние два столетия, дало все великие и все слабые стороны нынешней мировой жизни народов. Без преклонения перед «я» не было бы ни Ньютонов, ни Шекспиров, ни Пушкиных, ни Наполеонов, ни Александров II и пр., и не существовало бы чудес развития техники, богатства, торговли и пр., и пр.

Одна и может быть главная причина нашей революции, это—запоздание в развитии принципа индивидуальности, а следовательно и сознания собственности и потребности гражданственности, а в том числе и гражданской свободы. Всему этому не давали развиваться естественно, а так как жизнь шла своим чередом, то народу пришлось или давиться, или силою растопыривать оболочку; так пар взрывает дурно устроенный котел—или не увеличивай пара, значит отставай, или совершенствуй машину по мере развития движения. Принципом индивидуальной собственности ныне слагаются все экономические отношения, на нем держится весь мир.

В последней половине прошлого столетия явился социализм во всех его видах и формах, который сделал довольно видные успехи в последние десятилетия. Несомненно, что эта эволюция в сознании многих миллионов людей приносит положительную пользу, так как она заставляет правительства и общества обращать более внимания на нужды народных масс. Бисмарк явил тому явное доказательство.

Но насколько движение это стремится нарушить индивидуализм и заменить его коллективизмом, особливо в области собственности, настолько движение это имело мало успеха и едва ли оно, по крайней мере в будущем, исчисляемом десятками лет, сделает какие-либо заметные успехи.

Чувство «я»—чувство эгоизма в хорошем и дурном смысле—есть одно из чувств наиболее сильных в человеке. Люди в отдельности и в совокупности будут бороться на смерть за сохранение своего «я». Наконец то, что существует, ясно потому, что оно существует, а то, что предлагают, не ясно не только потому, что не существует, но и потому, что оно настолько искусственно и слабо, что не выдерживает даже поверхностной, маломальски серьезной критики.

Единственный серьезный теоретический обоснователь экономического социализма, Маркс, более заслуживает внимания

своею теоретическою логичностью и последовательностью, нежели убедительностью и жизненною ясностью. Математически можно строить всякие фигуры и движение, но не так легко их устраивать на нашей планете при данном физическом и моральном состоянии людей. Вообще социализм для настоящего времени очень метко и сильно указал на все слабые стороны и даже язвы общественного и государственного устройства, основанного на индивидуализме, но сколько бы то ни было разумно-жизненного иного устройства не предложил. Он силен отрицанием, но ужасно слаб созиданием. Между тем, духом социализма-коллективизма заразились у нас многие, даже очень почтенные люди. Они, уже не говоря о натурах, поклоняющихся всякому государственному разрушению, также явились сторонниками «общины». Первые потому, что видели в ней применение принципа мирного социализма, а вторые потому, что в применении этого принципа в жизни народа не без основания усматривали зыбкую почву, на которой легко произвести землетрясение в обще экономической, а следовательно и государственной жизни. Таким образом защитниками общины явились благонамеренные, почтенные «старьевщики», поклонники старых форм, потому что они стары, полицейские администраторы, полицейские пастухи, потому что считали более удобным возиться со стадами, нежели с отдельными единицами; разрушители, поддерживающие все то, что легко привести в колебание, и, наконец, благонамеренные теоретики, усмотревшие в общине практическое применение последнего слова экономической доктрины—теории социализма. Последние меня больше всего удивляли, так как, если когда-либо и восторжествует «коллективизм», то, конечно, он восторжествует совершенно в других формах, нежели он имел место при диком или полудиком состоянии общественности.

Ученый экономист, который может не понимать, что община мало сходна с предполагаемым современным или возможным будущим коллективным владением землею, мне напоминает садовника, который смешивает лесную дикую грушу с прекрасною грушею, выхоленною в культурнейшем современном саду. Если когда-либо осуществится в России коллективная собственность вместо общины, то это может произойти только после того, как общинное владение пройдет через горнило индивидуализма, т.-е. собственности индивидуальной. Это может произойти только тогда, когда человек усомнится в благе личной своей жизни, в своем «я» и будет видеть для своего личного блага спасение в «мы».

Между тем социализм залез уже давно в наши университеты. Я помню, в 70-х годах, когда после окончания курса в ново-

российском университете на математическом факультете, решившись основательно изучить экономические и финансовые науки, я долго не мог справиться с ясным представлением о том, что такое «цена» и что такое «ценность».

В это время профессором политической экономии в новороссийском университете был очень даровитый человек Постников, автор известного сочинения об общине, оставшийся и до сих пор ее ярым поклонником. Пошел я к нему и говорю: объясните мне, пожалуйста, толково, какая разница между «ценою» и «ценностью»; на что он мне ответил: «Охота вам заниматься этими пустяками. Вся теория спроса и предложения, нормирующая стоимость предметов и услуг, есть выдумка людская. Это все сочинили те люди, которым сочинение это выгодно для эксплоатации труда. Один только труд дает цену; всякая цена будет лишь тогда справедлива, если она будет справедливо выражать затраченный труд». Через несколько лет Постников должен был покинуть университет, а затем был уездным предводителем дворянства. Когда я создал петербургский политехнический институт, я его назначил профессором политической экономии, а затем и деканом экономического отдела. Недавно он назначен директором этого института. Я бывал, когда был министром финансов, на экзаменах его учеников. Он был строгим экзаменатором, талантливым профессором, преподавал, насколько я мог усмотреть, свой предмет методом историческим, избегая теории (вероятно, чтобы не впадать в социализм), во всяком случае он человек достойный, но так-таки до сих пор ярый поклонник общины и несколько, хотя очень мало, охрипший социалистическими воззрениями.

Итак, при освобождении крестьян весьма бесцеремонно обошлись с принципом собственности и нисколько в дальнейшем не старались ввести в самосознание масс этот принцип, составляющий цемент гражданского и государственного устройства всех современных государств. Но все-таки за исключением вопроса о принудительном отчуждении, при введении коего было в корне нарушено право собственности, на все лады ныне обзываемой «священной», в других отношениях Положение об освобождении крестьян давало все выходы к тому, чтобы прививать в крестьянах понятие о неприкосновенности собственности и вообще о гражданских правах.

Но, как известно, после освобождения крестьян преступнейшие и подлейшие покушения на царя-освободителя дали силу лицам, не сочувствовавшим его преобразованиям: партии дворцовой, дворянской камарильи; и Положение не получило должного развития в том направлении, в котором оно, повидимому,

было задумано. Тем не менее, хотя на крестьянское население не были распространены общие гражданские законы и по отношению уголовных для них были сохранены особенности (между прочим телесные наказания по приговорам крестьян), но все-таки на них были распространены общие судебные и административные организации (мировой суд).

После проклятого 1 марта реакция окончательно взяла верх. Община сделалась излюбленным объектом министерства внутренних дел по полицейским соображениям, прикрываемым литературою славянофилов и социалистов. Участие крестьян в земстве ограничено. Мировые судьи были для крестьянского населения заменены земскими начальниками. На крестьянское население, которое, однако, составляет громаднейшую часть населения, установился взгляд, что они полудети, которых следует опекать, но только в смысле их поведения и развития, но не желудка. Забота о детях сводится, главным образом, к заботе о питании, но крестьянин ведь младенец sui generis—его дело питать.

Земские начальники явились и судьями, и администраторами, и опекунами. В сущности явился режим, напоминающий режим, существовавший до освобождения крестьян от крепостничества, но только тогда хорошие помещики были заинтересованы в благосостоянии своих крестьян, а наемные земские начальники, большею частью прогоревшие дворяне и чиновники без высшего образования, были больше всего заинтересованы в своем содержании.

Если не душою, то дельцом всех этих преобразований явился Плеве. Он мог служить и богу и дьяволу, как в данном случае выгоднее для его карьеры.

Введение земских начальников вызвало в Государственном Совете сильное противодействие, но оно было поборено графом Толстым и все тем же злополучным князем Мещерским («Гражданин»).

Что касается прямых налогов, то благодаря Бунге и А. А. Абазе (министр финансов, а второй председатель департамента экономии Государственного Совета) была уничтожена подушная подать. Это было еще до проявления усиленной реакции. Все мои попытки уничтожить выкупные платежи, когда я был министром финансов, были тщетны (на что баловать крестьян), и мне удалось это сделать только после 17 октября, когда я сделался председателем совета министров.

Итак, во время моего управления финансами до революции, крестьянство, т.-е. громаднейшая часть населения Российской империи, находилось в таком состоянии: значительная часть земли находилась в общинном коллективном владении, исключавшем возможность сколько бы то ни было интенсивной куль-

туры, подворное владение находилось в неопределенном положении вследствие неотмежеванности и неопределенности права собственности. Крестьянство находилось вне сферы гражданских и других законов.

Для крестьянства была создана особая юрисдикция, перемещанная с административными и попечительными функциями—все в виде земского начальника, крепостного помещика особого рода. На крестьянина установился взгляд, что это, с юридической точки зрения, не персона, а полуперсона. Он перестал быть крепостным помещика, но сделался крепостным крестьянского управления, находившегося под попечительным оком земского начальника.

Вообще его экономическое положение было плохо, сбережения ничтожны. Да откуда быть сбережениям, когда установился такой общий режим, что за последнее столетие (а то же было и раньше) мы были постоянно в войне. Не успеет страна оправиться после войны, смотри, затевают новую—так постоянно.

Российская империя в сущности была военная империя; ничем иным она особенно не выдавалась в глазах иностранцев. Ей отвели большое место и почет не за что иное, как за силу. Вот именно потому, когда безумно затеянная и мальчишески веденная Японская война показала, что однако же сила-то совсем не велика, Россия неизбежно должна была скатиться (даст бог—временно), русское население должно было испытать чувство отчаянного, граничащего с помешательством разочарования; а все наши враги должны были возликовать, внутренние же, которых к тому же мы порядком третировали по праву сильного, предъявить нам счеты во всяком виде, начиная с проектов всяких вольностей, автономий и кончая бомбами. Наверху же провозгласили, что все виноваты, кроме нас—давай заметать следы. Сверху пошел клич—все это крамола, измена, и этот клич родил таких безумцев, подлецов и негодяев, как иеромонах Иллиодор, мошенник Дубровин, подлый шут Пуришкевич, полковник от котлет Путятин и тысяча других. Но думать, что на таких людях можно выйти—это новое мальчишеское безумие. Можно пролить много крови, но в этой крови можно и самому погибнуть и погубить своего первородного чистого младенца сына-наследника. Дай бог, чтобы сие не было так и во всяком случае, чтобы не видел я этих ужасов...

Когда меня назначили министром финансов, я был знаком с крестьянским вопросом крайне поверхностно, как обыкновенный русский так называемый образованный человек. В первые годы я блуждал и имел некоторое влечение к общине, по чувству, сродному с чувством славянофилов.

Аксаковы, Хомяковы и прочие члены этой чистой плеяды русских идеалистов, к тому же людей с громадными талантами (богословские сочинения Хомякова я считаю выше всего, что было написано на русском языке вообще, а по части православия в частности) владели моим сердцем, и доныне я храню к ним род влечения.

К тому же я мало знал коренную Русь, особенно крестьянскую. Родился я на Кавказе, а затем работал на юге и западе. Но, сделавшись механиком сложной машины, именуемой финансами Российской империи, нужно было быть дураком, чтобы не понять, что машина без топлива не пойдет и что, как ни устраивай сию машину, для того, чтобы она долго действовала и увеличивала свои функции, необходимо подумать и о запасах топлива, хотя таковое и не находилось в моем непосредственном ведении. Топливо это—экономическое состояние России, а так как главная часть населения это крестьянство, то нужно было вникнуть в эту область. Тут мне помог многими беседами бывший министр финансов Бунге, почтеннейший ученый и деятельный по крестьянской реформе 60-х годов. Он обратил мое внимание на то, что главный тормоз экономического развития крестьянства—это средневековая община, не допускающая совершенствования. Он был ярый противник общины.

Более всего меня просветили ежедневно проходившие перед моими глазами цифры, которыми столь богато министерство финансов и которые служили предметом моего изучения и анализа. Скоро я себе составил совершенно определенное понятие о положении вещей, и через несколько лет во мне укоренилось определенное убеждение, что при современном устройстве крестьянского быта—машина, от которой ежегодно требуется все большая и большая работа, не будет в состоянии удовлетворить предъявляемые к ней требования, потому что не будет хватать топлива.

Я составил себе также совершенно определенные мнения, в чем заключается беда и как ее нужно лечить. Государство не может быть сильно, коль скоро главный оплот его—крестьянство слабо. Мы все кричим о том, что Российская империя составляет $^1/_5$ часть земной суши и что мы имеем около 140.000.000 населения, но что же из этого, когда громаднейшая часть поверхности, составляющей Российскую империю, находится или в совершенно некультурном (диком) или в полу-культурном виде и громаднейшая часть населения, с экономической точки зрения, представляет не единицы, а полу- и даже четверти единиц.

Богатство и экономическая, а потому в значительной степени и политическая мощь страны заключается в трех факторах произ-

водства: природе—природных богатствах, капитале, как материальном, так и интелектуальном, и труде.

Российская империя чрезвычайно богата природою, хотя значение этого богатства, в довольно серьезной степени умаляется неумеренностью климата во многих ее частях. Она весьма слаба капиталами, накопленными ценностями, главным образом потому, что она создана непрерывными войнами, не говоря о других причинах. Она может быть весьма сильна трудом физическим по числу жителей и интелектуальным, так как русский человек даровитый, здравый и богобоязненный. Все эти факторы производства находятся в тесной между собою связи в том смысле, что только совокупным и координированным действием они могут творить соответствующие затратам большие ценности, богатства, но при современном состоянии человечества, когда, благодаря развитию сообщений, природные богатства довольно легко перемещаются, а благодаря международному кредиту капиталы всего света в значительной мере интернационализировались—труд приобрел особое значение в создании богатства.

Из изложенного ясно, что надлежало обратить внимание на увеличение второго фактора—производства капитала и в особенности на развитие третьего фактора—труда.

Для первой цели нужно было прочно поставить национальный кредит. Надеюсь, что финансовая история признает, что никогда кредит России на международных и отечественном денежных рынках не стоял так высоко, как он стоял, когда я был министром финансов.

Не моя вина, что ребяческие затеи с войной его уронили и уронили, вероятно, надолго.

На этих днях я читал статьи в некоторых русских газетах, что де иностранным держателям наших фондов и банкирам все равно, какой у нас будет образ правления, лишь бы восстановился внутренний порядок, т.-е. прекратилась бы анархия. Довольно наивные рассуждения. Конечно, они желают, чтобы прекратилась анархия, но для иностранного и русского кредитора важно, чтобы установился такой образ правления, при котором были бы, если не невозможны, то маловероятны подобные авантюры, как ужасающая Японская война по личным капризам, потакающим авантюристов, и был невозможен такой порядок вещей, при котором величайшая нация находится в вечных экспериментах эгоистической дворцовой камарильи.

Взрослый человек может, пожалуй, раз обжечься кипятком, но не глотнет его вторично. После тех потерь, которые заграница понесла со времени Японской войны, она откроет свои кошельки только такому российскому режиму, которому она будет верить,

верить же тем или тому порядку, при котором она потеряла процентов двадцать капитала в русских ценностях, она не будет.

В течение моего управления финансами я увеличил государственный долг приблизительно на 1.900 миллионов рублей, на железные дороги и уплату беспроцентного долга государственному банку, для восстановления денежной (золотой) валюты истратил гораздо более.

Таким образом занятые деньги пошли исключительно на цели производительные. Они находятся в капиталах страны. Благодаря установленному мною доверию заграничных сфер к русскому кредиту, Россия получила несколько миллиардов (думаю не менее трех) рублей иностранных капиталов. Нашлись люди, и теперь их немало, которые ставили и ставят мне это в вину. О глупость и невежество! Ни одна страна не развилась без иностранных капиталов.

Когда против иностранных капиталов ведут войну так называемые «истинные русские люди» (кажется, это счастливое название пустил в ход сам император), то это понятно, ведь это или отпетые, или наемные безумцы, но ведь нередко о вреде иностранных капиталов толкуют и даже в газетах люди, имеющие претензии на знания. Во все время управления мною министерством финансов мне приходилось отстаивать пользу иностранных капиталов и в особенности в комитете министров (ярые противники были И. Н. Дурново, Плеве и генерал Лобко).

Его величество по обыкновению делал резолюцию то в одну, то в другую сторону. Было даже созвано его величеством особое заседание по этому предмету под его председательством (журнал находится в архиве министерства финансов): полезны ли иностранные капиталы или нет?

В этом заседании я к немалому удивлению присутствовавших и его величества высказал, что я совсем не боюсь иностранных капиталов, почитая их за благо для нашего отечества, но боюсь совершенно обратного, что наши порядки обладают такими специфическими, необычными в цивилизованных странах свойствами, что немного иностранцев пожелают иметь с нами дело. Конечно, если бы не делалось во время моего управления финансами массы затруднений иностранным капиталистам, то иностранные капиталы пришли бы в гораздо большем количестве.

Но на что следовало обратить внимание, это на развитие труда. Труд русского народа крайне слабый и непроизводительный. Этому во многом содействуют климатические условия. Десятки миллионов населения по этой причине в течение нескольких месяцев в году бездействуют. Производительности труда препятствует отсутствие путей сообщения. В этом отно-

шении мне удалось нечто сделать, так как, во время моего управления финансами, я удвоил сеть железных дорог, но тут мне постоянно мешало военное ведомство. Это ведомство поддерживало меня только тогда, когда я предлагал строить дороги, имеющие, по его мнению, некоторое стратегическое значение. Так, вопреки моему мнению, решили строить стратегические, или преимущественно стратегические дороги, как, например, ветвь Закаспийской дороги в Кушку, Бологое—Полоцк и другие.

Кроме того, дороги экономические часто искривлялись по каким-то мало убедительным соображениям, при чем замечательно, что одни военные специалисты заявляли, что стратегические соображения требуют немедленной постройки такой-то дороги, а другие находили ту же дорогу вредною в военном отношении. В этой области мудрили и много повредили генерал Куропаткин и, в особенности, бывший начальник главного штаба Обручев.

Последний был образованный, даровитый, благородный и честный человек, но стратегические дороги были род какой-то его мании. Нередко случалось, что дорога, которая признавалась стратегическою, через 2—3 года не признавалась таковою. Упомянув о Н. Н. Обручеве, не могу не сказать, что он систематически проповедывал о необходимости обратить внимание на крестьянство. Многократно об этом докладывал государю. К сожалению, он впадал постоянно в то противоречие, что одновременно требовал различных облегчений для крестьянства и настаивал на все большем и большем увеличении военного бюджета и вообще расходов по обороне. Ему, главным образом, Россия обязана громаднейшими затратами, если не совсем, то весьма мало производительными на Либавский порт. Выше уже рассказано, как его величество подписал высокопарный указ о сооружении этого порта и наименовании его портом Александра III и в тот же день сетовал на то, что порт этот совсем не нужен [1]).

Итак, я всячески старался развить сеть железных дорог, но военные соображения, на стороне коих был естественно большею частью его величество, значительно мешали строить дороги, наиболее нужные в направлениях наиболее производительных в экономическом отношении, а потому сеть дает дефициты, и их довольно трудно будет уничтожить, нужно время, чтобы развилось движение.

При бывшей бедности в железных дорогах всякая новая дорога, это—благо или, по крайней мере, превратится довольно скоро в благо. Возясь почти 40 лет с железными дорогами и с стра-

[1]) См. стр. 7.

тегическими соображениями нашего военного ведомства по поводу железных дорог, я пришел к заключению о том, что в громадном большинстве случаев все стратегические соображения о направлении дорог суть химеры и фантазии. Государство всегда гораздо более выиграет, если при сооружении железных дорог будет руководствоваться исключительно экономическими соображениями. В общем, т.-е. почти всегда, направление дороги экономическое будет соответствовать и стратегическим потребностям. По моему мнению, в курсе железных дорог это начало должно быть проведено, как правило, и его легко обосновать исторически и экономически. Мы 30 лет все строили дороги в виду войны на Западе, сколько ухлопали мало производительно, а иногда и совсем непроизводительно денег, а в конце концов начали воевать (правда, по причуде) на Дальнем Востоке.

Чтобы создать источник применения труда, было более, нежели желательно, развить нашу промышленность. Эту идею начал мудро и со свойственной его характеру твердостью проводить император Александр III. Я всячески старался развить нашу промышленность. Этого требовали не только интересы народные, взятые в частности, но высший государственный интерес.

Современное государство не может быть великим без национальной, развитой промышленности. Это показывает история. Это очевидно из современной действительности и, наконец, это ясно из экономической здравой теории. Если этого довольно много людей не понимает и не знает, то они заслуживают сожаления.

Во время управления моего финансами (а в то время министр финансов был также министром торговли и промышленности) я твердо утроил нашу промышленность. Это тоже мне постоянно ставили и ныне ставят в вину. Глупцы!!..

Говорят, что для развития промышленности я принимал искусственные меры. Что значит эта глупая фраза? Какими же мерами, кроме искусственных, можно развить промышленность? Все, что делают люди, это с известной точки зрения искусственно. Одни дикари живут и управляются безыскусственно. Везде и всюду промышленность была развита искусственными мерами. Я же принимал меры искусственные гораздо более слабые сравнительно с теми, которые для этой цели принимали и даже доныне принимают многие иностранные государства. Этого, конечно, не знают наши салонные невежды.

Александр III ввел при министре финансов Вышнеградском покровительственный тариф, и я всячески его поддерживал, несмотря на все приступы аграриев-дворян, но затем, к сожа-

лению, я не мог принимать других искусственных мер. Закон, или, вернее, произвол в образовании акционерных обществ (все сие творилось в комитете министров) всячески стеснял их развитие. Сколько раз я ни поднимал вопрос о введении явочной системы при образовании акционерных обществ, я всегда встречал затруднение в министерстве внутренних дел, вообще, и Плеве, в частности и особенности. Обыкновенно мне суют, что я де повыдавал промышленные ссуды из государственного банка, но, во-первых, вся сумма этих ссуд доходит до 50—60 миллионов рублей; смешно говорить о том, что ссудами такого размера можно искусственно народить промышленность Российской империи; во-вторых, значительная часть этих ссуд выдана нашим барам промышленникам из дворцовой камарильи или к ней близким, уже во всяком случае не при моем содействии.

Вообще, вопрос о значении промышленности в России еще не оценен и не понят. Только наш великий ученый Менделеев, мой верный до смерти сотрудник и друг, вопрос этот понял и постарался просветить русскую публику. Надеюсь, что его книга по этому предмету принесет пользу русскому обществу.

Конечно, когда он был жив, говорили, что он писал так, потому что подкуплен, заинтересован, но если вообще люди, то русские люди в особенности всегда более склонны отдавать должное мертвым, нежели живым.

Если, вследствие развития при моем управлении сети железных дорог и промышленности, я отвлек от земли 4—5 миллионов людей, а значит, с семействами миллионов 20—25, то этим самым я как бы увеличил земельный фонд на 20—25 миллионов десятин. Но, конечно, при всей возможности этих мер, в вопросе об увеличении производительности народного труда они являются элементами второстепенными. Чтобы оплодотворить народный труд, необходимо поставить народ так, чтобы он мог и хотел не только производительно трудиться, но стараться всячески увеличивать эту производительность.

У нас же народ так же трудится, как и пьет. Он мало пьет, но больше, чем другие народы, напивается. Он мало работает, но иногда надрывается работою. Для того, чтобы народ не голодал, чтобы его труд сделался производительным, нужно ему дать возможность трудиться, нужно его освободить от попечительных пут, нужно ему дать общие гражданские права, нужно его подчинить общим нормам, нужно его сделать полным и личным обладателем своего труда—одним словом, его нужно сделать, с точки зрения гражданского права—персоною. Человек не разовьет свой труд, если он не имеет сознания, что плоды его труда суть его и собственность его наследников. Как может человек про-

явить и развить не только свой труд, но инициативу в своем труде, когда он знает, что обрабатываемая им земля через некоторое время может быть заменена другой (община), что плоды его трудов будут делиться не на основании общих законов и завещательных прав, а по обычаю (а часто обычай есть усмотрение), когда он может быть ответственен за налоги, не внесенные другими (круговая порука), когда его бытие находится не в руках применителей законов (общая юрисдикция), а под благом попечительного усмотрения и благожелательной защиты маленького «батюшки», отца земского начальника (ведь дворяне не выдумали же для себя такой сердечной работы), когда он не может ни передвигаться, ни оставлять свое, часто беднее птичьего гнезда, жилище без паспорта, выдача коего зависит от усмотрения, когда, одним словом, его быт в некоторой степени похож на быт домашнего животного с тою разницею, что в жизни домашнего животного заинтересован владелец, ибо это его имущество, а Российское государство этого имущества имеет при данной стадии развития государственности в излишке, а то, что имеется в излишке, или мало, или совсем не ценится.

Вот, в чем суть крестьянского вопроса, а не в налогах, не в покровительственной таможенной системе, и не в недостатке земли, по крайней мере не в принудительном отчуждении земли для передачи ее во владение крестьян.

Но, конечно, если государственная власть считала, что для нее самое удобное держать три четверти населения не в положении людей гражданско равноправных, а в положении взрослых детей (существ особого рода), если правительство взяло на себя роль, выходящую из сферы, присущей правительству в современных государствах, роль полицейского попечительства, то рано или поздно, правительство должно было вкусить прелести такого режима.

Высшее правительство — государственная власть — сие вкусила, когда произошел удар от Японской войны, затеянной по безумию и поощренной обер-полициймейстером Российской империи Плеве в надежде, таким образом, поднять престиж власти, возвеличить нашу силу и режим и заставить смириться перед мощью и успехом. Ужасное влияние имеет на людей всякий успех. Это я испытал и на себе лично.

Но раз ты попечитель, и я голодаю, то корми меня. На сем основании вошло в систему кормление голодающих и выдающих себя за голодающих.

В сущности наши налоги в мое время (до войны) сравнительно с налогами других стран были не только не велики, но малы. Но раз ты меня держишь на уздечке, не даешь свободы труда и лишаешь стимула к труду, то уменьшай налоги, так как нечем платить. Раз ты регулируешь землевладение и землеполь-

зование так, что мы не можем развивать культуру, делать ее интенсивнее, то давай земли по мере увеличения населения. Земли нет.—Как нет, смотри сколько ее у царской семьи, у правительства (казенной), у частных владельцев? — Да ведь это земля чужая. — Ну так что же, что чужая. Ведь государь то самодержавный, неограниченный. Видно, не хочет дворян обижать, или они его опутали. — Да ведь это нарушение права собственности. Собственность священна. — А при Александре II собственность не была священна, захотел и отобрал и нам дал. Значит не хочет.

Вот те рассуждения, которых держится крестьянство. Эти рассуждения есть результат самим правительством устроенного их быта и затем, конечно, они раскалены бессовестным огнем революции.

Революция по своим приемам всегда бессовестно лжива и безжалостна. Ярким доказательством тому служит наша революция справа, так называемые, черные сотни или «истинно-русские люди». На знамени их высокие слова «самодержавие, православие и народность», а приемы и способы их действий архилживы, архибессовестны, архикровожадны. Ложь, коварство и убийство—это их стихия. Во главе явно стоит всякая с . . . . . ь, как Дубровин, Грингмут, Юзефович, Пуришкевич, а по углам спрятавшись—дворцовая камарилья.

Держится же эта революционная партия потому, что она мила психологии царя и царицы, которые думают, что они тут обрели спасение. Между тем спасаться-то было не надо, если бы их действия отличались теми качествами, которыми правители народов внушают общую любовь и уважение.

Еще в первый год царствования императора Николая II я говорил с И. Н. Дурново, стараясь убедить его, что необходимо поставить земских начальников в более определенные рамки, отобрав от них функции судебные, но И. Н. Дурново мне категорически ответил, что скорее его руки отсохнут, нежели он подпишет какое бы то ни было изменение в положении земских начальников. После него был назначен министром Горемыкин, бывший обер-прокурор сената и товарищ министра юстиции (при Манасеине и Муравьеве).

Когда он занимал это место, то он категорически высказывался против положения о земских начальниках. Я думал, что он пойдет на уничтожение произвола земских начальников. Собрались на частное совещание под председательством Горемыкина, на это заседание я взял с собою почтеннейшего члена

совета министра финансов Рихтера, бывшего директора департамента окладных сборов, знатока крестьянского дела, который при Вышнеградском лишился места директора за его quasi-либерализм (по нынешним временам он был бы п р а в ы й октябрист, но, вероятно, не согласился бы иметь дело с председателем этой партии Гучковым, бретером, купчиком, моему нраву не препятствуй).

В совещании начали беседовать, как двинуть крестьянское дело. Рихтер указал на то, что нужно прежде всего изменить положение о земских начальниках. Тогда Горемыкин у себя дома его, Рихтера, самым грубым образом срезал, заявив, что, сделавшись министром внутренних дел, он никогда не допустит, чтобы был тронут институт земских начальников. После такого обращения с почтеннейшим стариком, я вместе со своими коллегами по министерству финансов оставил заседание у Горемыкина*.

В последние годы царствования императора Александра III министр внутренних дел возбудил вопрос о приостановке действия статьи выкупного положения крестьян, по которому крестьяне, при соблюдении известных условий, имеют право покупать свои наделы.

Так как выкупные суммы за землю постепенно с каждым годом уменьшались, то в конце 80-х годов многие крестьяне, в виду небольшой суммы, лежащей на земле, приобрели возможность выкупать свои участки.

Вследствие того, что выкуп этот, провозглашенный в выкупном положении 60-го года, ничем затем не был регулирован, выделы делались не с должной осмотрительностью и систематичностью, нарушая интересы остального крестьянства, в особенности, при общинном владении землей.

Поэтому министр внутренних дел возбудил вопрос о приостановке действия этой статьи, что по понятиям того времени было почти равносильно уничтожению этой статьи.

Министерство внутренних дел, в особенности со времен Толстого и ранее этого, было большим поклонником общины. К сожалению, это поклонение общине исходило не столько из аграрных соображений, сколько из соображений полицейских, так как несомненно, что самый удобный способ управления домашними животными есть управление на основании стадного принципа.

Община в их понятии представлялась чем-то вроде стада, хотя и не животных, а людей, но людей особенного рода, не таких, какие «мы», а в особенности, дворяне.

По этому предмету возражал почтеннейший Николай Христианович Бунге. Таким образом по поводу этой статьи, попутно

был возбужден вопрос принципиальный о преимуществе общинного или индивидуального владения,—вопрос чрезвычайно острый и чрезвычайно обширный.

В департаменте Государственного Совета по этому предмету произошло разногласие, и дело должно было рассматриваться в общем собрании Государственного Совета. Я, как министр финансов, должен был высказать совершенно определенно мое мнение по этому предмету.

Должен сказать, что в то время, с одной стороны, я еще не вполне изучил крестьянский вопрос и относительно преимуществ того или другого способа крестьянского владения землей не установил себе окончательного воззрения. С другой стороны, для меня было ясно одно, что, если стать на точку зрения личного индивидуального владения крестьян землею, т.-е. признать преимущества этого способа, то проведение его в жизнь должно делаться систематично и планомерно; по этому предмету должны быть созданы известные определенные правила, но недостаточно сказать только, что каждый крестьянин может иметь право выкупа; необходимо указать подробно и точно все условия выкупа, которые не были указаны с достаточной ясностью и определенностью.

При таком положении дела, по поводу мнения тех лиц, которые нападали на общину, я счел необходимым представить различные соображения о тех выгодах, которые представляет община; я сказал, что во всяком случае община это есть учреждение, имеющее известную историческую давность, а поэтому невозможно отдельно решить вопрос о выделе, не разрешив в совокупности и весь крестьянский вопрос.

Таким образом я не высказывался ни за общину, ни за личное владение, а находил, что было бы благоразумнее, пока не будет выяснен и разобран крестьянский вопрос во всей его совокупности, действие статьи о выделе приостановить.

В тот день, когда этот вопрос должен был разбираться в общем собрании Государственного Совета, я имел доклад у императора Александра III, но по этому предмету государь со мною ничего не говорил. После доклада и завтрака я поехал на вокзал (государь в то время жил в Гатчине) и, садясь в поезд, заметил, что к поезду был прицеплен отдельный вагон и что в этот вагон прошел молодой цесаревич Николай. Цесаревич пригласил меня прийти к нему в вагон, и мы с ним ехали вместе до Петербурга, при чем цесаревич меня все расспрашивал, как я буду баллотировать вопрос и какое мнение буду поддерживать. Очевидно, он это дело ранее не читал и не знал, но находился под влиянием Николая Христиановича Бунге, который стоял за то, чтобы предоставить министру внутренних дел этот вопрос отклонить.

Я его высочеству доложил, что я держусь другого мнения и, при неопределенности вопроса, считаю, что лучше временно статью о выделе отменить, но с тем, чтобы непременно было приступлено к изучению крестьянского вопроса и чтобы в самом непродолжительном времени было представлено решение крестьянского вопроса во всей его совокупности.

В конце концов, в Государственном Совете большинство примкнуло к этому мнению.

Как подал свой голос цесаревич—я не знаю. Но, едучи с цесаревичем и имея случай говорить с ним довольно долго о крестьянском вопросе, я тогда заметил, что его высочество со свойственной ему сердечностью и благожелательностью относится в высокой степени милостиво к крестьянским интересам и считает их первенствующими.

Несмотря на то, что Государственный Совет высказался о необходимости приступить к окончательному разрешению крестьянского вопроса во всей совокупности и поручил это ближайшим министрам—главным образом, министру внутренних дел—дело это, конечно, не двигалось.

В 1898 г. вышел первый отчет комитета Сибирской железной дороги за время 1893—1897 г.г.

Так как председателем комитета Сибирской железной дороги был все время император Николай II (сначала, будучи еще цесаревичем, а затем, сохранил за собою эту обязанность и сделавшись императором), то отчет этот имел особое значение.

По этому поводу я считаю нужным отметить наиболее характеристичную черту молодого цесаревича, а именно, как относился цесаревич к крестьянскому вопросу с самого начала учреждения Сибирского комитета, и затем, дабы мой рассказ не прерывался, отмечу дальнейшие фазисы изменения этих взглядов, или, вернее, не взглядов, а настроений.

Как это ни удивительно, но несомненно, что еще в 1898 г., т.-е. менее, чем 20 лет тому назад в связи с сооружением Сибирской дороги, был мною поднят вопрос о переселении, т.-е. о том, чтобы дать возможность безземельному крестьянству двинуться по направлению к Дальнему Востоку и заселять сибирские пустыни по мере сооружения великого Сибирского пути и проникновения его к нашим тихоокеанским владениям. Эта мысль тогда казалась крайне либеральной и чуть ли не революционной.

Правительство в его большинстве, а равно и самые влиятельные круги в Петербурге полагали, что эта мысль—давать возможность крестьянству уходить из Европейской России для того, чтобы искать себе лучшей жизни в Сибири—представляет громадную ересь.

Их доводы были весьма просты: такая мера удорожит труд по обработке земли в помещичьих имениях, следовательно, мера эта невыгодна всем частным собственникам, а с другой стороны, она способна дать крестьянству такие стремления к вольностям, которые, по мнению помещиков, не только вредны для них, т.-е. для нашего дворянства, но и для самих крестьян.

Именно в этом смысле, хотя и в прикрытой форме, представил свои возражения тогдашний министр внутренних дел Иван Николаевич Дурново.

Но я встретил поддержку моих мнений в очень просвещенном человеке—Николае Христиановиче Бунге. И не знаю: благодаря ли влиянию Николая Христиановича Бунге или просто по собственному влечению сердца—молодой цесаревич Николай решительно встал на сторону интересов крестьянства, и в принципе был решен вопрос о допущении и даже о некотором поощрении переселения крестьян, которым трудно жить в Европейской России—в сибирские края.

Тем не менее, несмотря на такое решение, министерство внутренних дел, в особенности первое время, продолжало чинить различные препоны, конечно, только из боязни, что такое переселение может удорожить сельско-хозяйственный рабочий труд; и только через несколько лет было допущено более или менее беспрепятственное переселение, а в последние годы, т.-е. во время пережитых нами смут, уже начали искать в этом переселении как бы одно из могущественных средств успокоения крестьянских волнений.

Я только хотел отметить, что в 1893 году молодой цесаревич Николай отнесся к вопросу об интересах крестьянства со свойственной ему, в особенности в прежнее время, сердечностью.

Когда цесаревич, менее через чем год, вступил на престол, то я полагал, что теперь наступит пора более справедливому и заботливому отношению к русскому крестьянству, т.-е. тому отношению, которое было провозглашено и наполовину осуществлено великим императором-освободителем Александром II в 60-х годах. Но, повидимому, силы, не сочувствующие реформам императора Александра II, навеяли на молодого императора сомнения.

Вероятно, эти сомнения усугубились после того, когда, по воцарении императора Николая в Зимнем дворце, ему представлялись различные депутации от земств и дворянства, при чем некоторые депутации высказали желания, которые были сродны с теми, которые осуществились 17 октября 1905 г., что составляет до сего времени злобу дня не только всех придворных сфер, не только большинства Государственного Совета, но и третьей беспринципной Государственной Думы.

С своей стороны, я нахожу, что речи, которые были тогда высказаны депутациями, едва ли были тактичны; представителям общественности надлежало быть более рассудительными в выражении своих пожеланий, в особенности в то время, когда молодой император только что вступил на престол и не мог еще составить себе окончательного зрелого суждения.

Этими нетактичными речами представителей общественности воспользовался министр внутренних дел Дурново, и, вероятно, не без соучастия Константина Петровича Победоносцева, подействовал на его величество в том смысле, что государю было благоугодно в своей весьма достойной речи сказать несколько слов о «напрасных бессмысленных мечтаниях», которые было бы лучше не высказывать, так как, к счастью или несчастью России—но эти «напрасные мечтания» после 17 октября 1905 г. перестали быть мечтаниями.

Мне с самого начала царствования императора Николая приходилось несколько раз высказывать государю,—а равно высказываться по этому предмету и в ежегодных докладах министра финансов о государственной росписи, которые в то время (до преобразования наших высших законодательных учреждений) имели совершенно особое, исключительное значение,—о необходимости, так сказать, вплотную заняться крестьянским вопросом, так как не нужно было иметь ни много ума, ни дара пророчества, чтобы понять, что, с одной стороны, в этом заключается вся суть будущности Российской империи, а что с другой—в неправильном и пренебрежительном отношении к этому вопросу кроется ядро всяких смут и государственных переворотов.

Тем не менее, вопреки моему ожиданию, в 1895 г. открылось совещание не по крестьянскому, а по дворянскому вопросу, т.-е. так называемая «дворянская комиссия».

Председателем этой комиссии был назначен Иван Николаевич Дурново, а управляющим делами этой комиссии г. Стишинский—тот самый Стишинский, который был одним из сотрудников Пазухина, управляющего канцелярией министра внутренних дел, графа Дмитрия Толстого, который в 80-х годах провел целый ряд крайне реакционных законов, так, о земском положении и о земских, крестьянских начальниках и проч., эти законы не только затемнили душу реформ императора Александра II, но и наносили глубочайшую рану в самое тело этой реформы.

Состав дворянской комиссии был таков, что, очевидно, имелось в виду поднять не благосостояние народных масс, а исключительно поднять благосостояние земельных частных собственников и преимущественно нашего задолженного и искусственно поддерживаемого дворянства.

Само собой разумеется, что душою комиссии стал Плеве. В качестве министра финансов и я состоял членом этой комиссии. В первом же заседании этой комиссии, я высказал мнение, что дворянам не может быть хорошо, если крестьянам не будет хорошо, и обратно: с улучшением положения крестьян и большинству дворян сделается лучше, а потому, по моему мнению, дворянской комиссии следует преимущественно обратить внимание на поднятие благосостояния крестьянства и преимущественно заняться этими вопросами.

После моей речи, в которой я развил эту идею, председатель закрыл заседание, сказав, что он имеет испросить указание по этому предмету у его величества.

На следующем заседании Иван Николаевич Дурново объявил высочайшее повеление: что государю императору было угодно назначить дворянскую комиссию для изыскания средств к улучшению положения русского дворянства, а не крестьянства, а потому дворянская комиссия не должна трогать и заниматься крестьянскими вопросами.

Такое решение, конечно, само по себе, было смертным приговором дворянской комиссии; она просуществовала несколько лет, несмотря на всевозможные попытки искусственно восстановить здоровье отжившего и ослабшего организма, ничего сколько-нибудь серьезного не сделала и не могла сделать, потому что комиссия эта встретила во мне отпор во всех поползновениях обогащать дворянские карманы на счет государственной казны, т.-е. на счет народных денег.

*Я на большинство этих затей не соглашался и тем возбуждал против себя всех тех дворян, которые держатся принципа, что Российская империя существует для их кормления. В этих заседаниях Плеве проявился во всей своей красе. Он явился в совещании адвокатом всех ультра-дворянских тенденций; в своих речах делал постоянные экскурсии в историю России, с целью доказать, что существование Российской империи, главным образом, обязано дворянству. На этих заседаниях мои отношения с Плеве совершенно обострились. Я ему постоянно возражал и, признаюсь, не щадил его самолюбия, так что он несколько раз обращался к защите председателя, т.-е. И. Н. Дурново. Конечно, дворянское совещание ничем серьезным не кончилось. Дурново получил награду, а совещание—несколько подачек для дворян, но известная часть дворян никогда не могла забыть мою оппозицию ко всем дворянским затеям, требующим казенных денег.

Само собою разумеется, что я никогда не имел никаких враждебных чувств к дворянству вообще, и не мог их иметь,

так как сам я потомственный дворянин и воспитан в дворянских традициях, но всегда считал несправедливым и безнравственным всевозможные денежные привилегии дворянству на счет всех плательщиков податей, т.-е. преимущественно крестьянства*.

Несмотря на то, что большинство было против меня и что меня поддерживали только некоторые члены,—я по всем вопросам так явно обнаруживал некрасивую тенденцию дворян запускать руку в карман государственного казначейства,—что, несмотря на всю их злость, простая, еще не совсем потерянная стыдливость членов комиссии не дозволила им принимать решительные меры для захвата народных денег.

Журналы этой комиссии, несомненно, находятся в одном из архивов, вероятно, в архиве Государственного Совета. И, несмотря на то, что журналы эти составлялись г. Стишинским в таком направлении, чтобы не представить истинную картину тех прений, которые имели место в этой комиссии [1]), тем не менее, журналы эти запрятаны, так как они находились в столь значительном несоответствии с тенденциями и событиями, которые явно выразились в России после 1900 г., что, если бы журналы эти были опубликованы, то, может быть, даже и третья Государственная Дума, с г. Гучковым и графом Бобринским, обнаружила неожиданное явление: у них появилась бы краска стыдливости на лице.

*Конечно, дворянское совещание прежде всего стремилось получить новые льготы по дворянскому банку и к сокращению операций по крестьянскому.

Дворянский банк основан при Александре III, вопреки мнения министра финансов, почтеннейшего Бунге. Суть его заключается в том, чтобы предоставить государственный кредит дворянству. Это еще малая беда, но затем этим не ограничились, а под различными предлогами устроили так, чтобы дворяне платили менее того, что стоит кредит (т.-е. займы) самому государству. С этой целью, вопреки мнению следующего министра финансов, Вышнеградского, прибегли к большому выигрышному займу, т.-е. к такой форме кредита, которая осуждена финансовой теориею и практикой. К такому кредиту государство не прибегло даже во время Японской войны.

Затем вся история дворянского банка представляет сплошную цепь всевозможных ходатайств о льготах дворянского банка в пользу клиентов дворян и жалоб на управляющих дворянским

[1]) В особенности, не изложены во всей своей неприкосновенности речи Плеве.

банком в том смысле, что они враги дворянства, потому что не оказывают просимых льгот.

Первый управляющий этим банком, Картавцев, ученик и любимец Бунге, вопреки его, Бунге, желанию был уволен за красный образ мыслей. Теперь он служит в частном банке, весьма почтенный человек и по убеждениям самый правый, партии 17 октября.

При мне управляющими банком были граф Кутузов (поэт, ультра-правый), князь Оболенский (впоследствии товарищ министра внутренних дел, обер-прокурор святейшего синода, ныне член Государственного Совета), светлейший князь Ливен (умерший, замечательной нравственной чистоты человек, весьма дельный и владелец больших поместий), граф Мусин-Пушкин (женатый на графине Воронцовой-Дашковой).

Когда они управляли банком, все они обвинялись в том, что притесняют дворян, потому что—красные. В особенности на этом поприще обвинений отличался пресловутый князь Мещерский, который постоянно хлопотал о льготах то одному, то другому своему знакомому или «духовному сыну» и в случае отказа сейчас же писал доносы и клеветы в своем «Гражданине». Он также все пропагандировал дворянское совещание, требуя решительных мер для поднятия сего сословия, другими словами, усиленных подачек на счет других плательщиков.

В конце XIX и в начале XX века нельзя вести политику средних веков; когда народ делается, по крайней мере в части своей, сознательным, невозможно вести политику явно несправедливого поощрения привилегированного меньшинства на счет большинства.

Политики и правители, которые этого не понимают, готовят революцию, которая взрывается при первом случае, когда правители эти теряют свой престиж и силу (Японская война и перемещение почти всей вооруженной силы заграницу, и дальнюю границу).

Когда был основан, вопреки желанию Бунге, дворянский банк, по его инициативе, как бы для компенсации этой несправедливости, был основан и банк крестьянский, который должен был совершать такие же операции, как и дворянский.

Банк этот шел вяло в особенности потому, что он ограничивался только ссудою под земли, покупаемые крестьянами, но не мог покупать земли за свой счет для продажи ее крестьянам.

В бытность управляющим обоими банками, дворянским и крестьянским, графа Кутузова был выработан проект нового устава крестьянского банка, предоставляющий ему право непосредственной покупки земли и затем перепродажи ее крестьянам.

Граф Кутузов, ультра-консерватор, весьма сочувствовал этому проекту потому, что он предоставлял дворянам возможность нормальной продажи земли, и не кому иному, как крестьянам.

Я весьма сочувствовал этому проекту, составленному по моей инициативе, так как этим путем полагал содействовать увеличению крестьянского землевладения. К моему удивлению, я встретил возражение со стороны некоторых членов Государственного Совета, инспирируемых Дурново и Плеве, но тогда я еще имел силу и, несмотря на все возражения, ко мне присоединилось большинство, и проект, хотя с некоторыми ограничениями, получил утверждение. Дворянское совещание особенно сетовало на эту меру. Его величество со всех сторон получал записки, указывающие на вредность этой меры, как ослабляющей дворянское землевладение.

Плеве, уже будучи министром внутренних дел, старался всячески уничтожить или ограничить эти покупки крестьянского банка. По этому предмету у меня опять родились неприятные отношения к Плеве, так как я ему не уступал и не уступил. Достойно внимания, что эта мера, которую всячески старались ограничить и даже уничтожить, явилась базисом аграрной политики правительства после начала революции (1905 год).

До настоящего времени Столыпин и его министерство в этом только и усматривают разрешение аграрного вопроса. Но, как всегда бывает в подобных случаях, мера эта, не развитая во время, явилась уже запоздалою. Начали требовать принудительного отчуждения, а самые крайние—просто конфискации.

Вся наша революция произошла от того, что правители не понимали и не понимают той истины, что общество, народ двигается. Правительство обязано регулировать это движение и держать его в берегах, а если оно этого не делает, а прямо грубо загораживает путь, то происходит революционный потоп.

В Российской империи такой потоп наиболее возможен, так как более 35% населения не русского, завоеванного русским. Всякий же, знающий историю, знает, как трудно спаивать разнородные населения в одно целое, в особенности при сильном развитии в XX столетии национальных начал и чувств *.

В конце концов, как я уже говорил, дворянская комиссия закрылась, почти ничего не сделав, за исключением некоторых самых ничтожных подачек на чай частным землевладельцам, преимущественно происходившим из прожившихся русских дворян.

Говоря о русском дворянстве, я считаю своим долгом еще раз сказать, что я сам потомственный дворянин и в числе моих предков имеются лица, исторически известные, как знатные

столбовые дворяне, и я знаю, что и между дворянами есть много весьма благородных неэгоистичных людей, проявляющих именно тот дух, который должен быть свойствен каждому истинному дворянину,—именно: забота о слабых и о народе.

Все великие реформы императора Александра II были сделаны кучкою дворян, хотя и вопреки большинству дворян того времени; так и в настоящее время имеется большое число дворян, которые не отделяют своего блага от блага народного и которые своими действиями изыскивают средства для достижения обще-народного блага вопреки своим интересам, а иногда с опасностью не только для своих интересов, но и для своей жизни. К сожалению, такие дворяне составляют меньшинство, большинство же дворян в смысле государственном представляет кучку дегенератов, которые кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей—ничего не признают, а потому и направляют все свои усилия относительно получения тех или других милостей насчет народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского народа для государственного блага, а не для личных интересов этих дворян-дегенератов.

В 1898 г. рассматривался в комитете министров отчет государственного контроля за 1896 г. На отчете государственного контроля на том месте сего отчета, где государственный контролер выразил мнение, что «платежные силы сельского населения находятся в чрезмерном напряжении», его императорскому величеству благоугодно было отметить: «Мне тоже кажется».

Это дало мне повод снова возбудить в комитете министров вопрос о необходимости заняться крестьянским делом и довершить то, что было совершено императором Александром II в 60-х годах, но не было докончено. А потому я и предлагал назначить для этого особую комиссию с исключительными полномочиями, которая могла бы заняться крестьянским вопросом, памятуя, что этим путем был разрешен крестьянский вопрос и в 60-х годах.

Комитет министров в заседаниях 28-го апреля и 5-го мая рассматривал отчет государственного контролера в связи со всеми заключениями по этому предмету министров и, главным образом, занялся вопросом, косвенно возбужденным государственным контролером о крестьянах, и моим по этому предмету предположением об образовании комиссии.

После долгих споров мое мнение все-таки одолело, и комитет министров решил «для рассмотрения вопросов о дополнении и развитии законодательства о сельском состоянии обра-

зовать особое совещание под председательством лица, избранного высочайшим его императорского величества доверием, из министров: внутренних дел, юстиции, финансов, земледелия и государственных имуществ и других лиц, занимающих высшие государственные должности по особому назначению его величества».

Затем следовало два пункта касательно организации работ этой комиссии и, наконец, 4-й пункт говорил о том, что «этому особому совещанию предоставляется свои заключения вносить на непосредственное благоусмотрение его императорского величества».

Государь император не утвердил этого решения комитета министров, но и не отклонил его, а высочайше повелел: «оставить ныне журнал комитета без движения и испросить председателю комитета министров высочайших указаний относительно дальнейшего направления этого дела осенью настоящего года».

Очевидно, что его императорское величество опять подвергся воздействию двух направлений: с одной стороны—моего и большинства членов комитета министров, мне сочувствующих, об образовании такого совещания, а с другой стороны—влиянию председателя комитета министров, которым в это время был Иван Николаевич Дурново, бывший министр внутренних дел и бывший председатель дворянской комиссии, которая являлась гласом тех сил, которые ныне совокупились и составили так называемые совещания «объединенного дворянства» под председательством графа Бобринского; дворяне эти всегда смотрели на крестьян как на нечто такое, что составляет среднее между человеком и волом. Это именно и есть тот взгляд, которого держалось исторически, испокон веков польское дворянство; оно смотрело всегда на своих крестьян, как на быдло, и мне представляется, что та участь, которой подверглось Царство Польское, расхваченное соседними государствами, что в этой участи во многом было виновато отношение польского дворянства к народу.

Таким образом опять решение вопроса об образовании крестьянской комиссии было заторможено, но окончательно не уничтожено. Весь вопрос заключался в том, как отнесется государь император к образованию крестьянской комиссии осенью, после возвращения своего из Крыма.

В виду такого положения дел, я счел необходимым написать государю императору в Крым собственноручное письмо по этому предмету. Собственноручная копия этого письма хранится у меня в архиве с массою документов, касающихся крестьянского дела. Я ее считаю необходимым поместить в настоя-

щих моих стенографических воспоминаниях. Письмо это помечено октябрем 1898 г.

Вот его дословное содержание:

«Всемилостивейший государь.

«Простите, что я дерзаю беспокоить ваш досуг настоящим всеподданнейшим письмом. Мое извинение заключается в том, что то, что я здесь излагаю, составляет мой долг, как верноподданного министра вашего императорского величества и как сына своего отечества, и что может статься, я не буду иметь счастливого случая доложить то же словесно.

«Вашему величеству благоугодно было решить вопрос о назначении крестьянского совещания с целью приведения в благоустройство быта сельского населения. Это последовало без трений. Во всяком случае сделан первый шаг, но и только. Всякое дело зависит от людей, от полета их мыслей и вдохновения. Рассматриваемое дело может дать богатейшие плоды или погибнуть в зависимости от того, кто будут те лица, коим оно будет поручено, и как они будут направлены.

«Но в чем заключается самое дело? В моей официальной записке по этому предмету, по которой последовало положение комитета министров, я его, конечно, не мог представить во всей наготе. Дело это заключается в том: мощь России должна ли продолжать развиваться с тою же силою, с какою она развивалась с освобождения крестьян, или же рост этот должен ослабеть, а может быть, и итти назад?

«Крымская война открыла глаза наиболее зрячим; они сознали, что Россия не может быть сильна при режиме, покоящемся на рабстве. Ваш великий дед самодержавным мечом разрубил гордиев узел. Он выкупил душу и тело своего народа у их владельцев. Этот беспримерный акт создал такого колосса, который ныне находится в ваших самодержавных руках. Россия преобразилась, она удесятерила свои силы, свой ум и свои познания. И это, несмотря на то, что после освобождения увлеклись либерализмом, колебавшим самодержавную власть и приведшим к таким сектам, которые грозили подточить основу бытия Российской империи—самодержавие. Мощь нашего самодержавного родителя поставила опять Россию на рельсы. Теперь нужно двигаться. Нужно окончить то, что начал император Александр II и не мог докончить, и что теперь возможно довершить после того, как император Александр III навел Россию на едино-верный путь управления самодержавною властью. Не освобождение крестьян, создавшее великую Россию, привело к кризису 80-х годов. Кризис этот произошел от растления умов печатным словом, от

дезорганизации школы, от либеральных общественных управлений и, наконец, от подрыва авторитета органов действия самодержавной власти: ваших министров и чиновников, которое и до сего времени производится, умышленно и неумышленно, неблагонамеренными и наиблагонамеренными людьми. Кто только не хлещет бюрократию и чиновничество? Сказанные причины, приведшие к кризису, не только не способствовали развитию крестьянского дела, а, напротив, остановили его. Император Александр II выкупил душу и тело крестьян, он сделал их свободными от помещичьей власти, но не сделал их свободными сынами отечества, не устроил их быта на началах прочной закономерности. Император Александр III, поглощенный восстановлением нашего международного положения, укреплением боевых сил, не успел довершить дело своего августейшего отца. Эта задача осталась в наследство вашему императорскому величеству. Она выполнима и ее нужно выполнить. Иначе Россия не может возвеличиться так, как она возвеличивалась. Для этого нужно ясное сознание необходимости совершить подвиг—твердая решимость его совершить и вера в помощь божию.

«Ваше величество имеете 130 миллионов подданных. Из них едва ли много более половины живут, а остальные прозябают. Наш бюджет до освобождения крестьян был 350 м. р., освобождение дало возможность довести его до 1.400 м. р. Но уж теперь тяжесть обложения дает себя чувствовать. Между тем бюджет Франции при 38 м. жителей составляет 1.260 м. р.; бюджет Австрии при народонаселении в 43 м. составляет 1.100 м.р. Если бы благосостояние наших плательщиков было равносильно благосостоянию плательщиков Франции, то наш бюджет мог бы достигнуть 4.200 м. р. вместо 1.400 м. р., а сравнительно с Австрией мог бы достигнуть 3.300 вместо 1.400 м. р. Почему же у нас такая налогоспособность? Главным образом от неустройства крестьян.

«Каждый человек по природе своей ищет лучшего. Это отличает человека от животного. На этом качестве человека основывается развитие благосостояния и благоустройства общества и государства. Но для того, чтобы в человеке развился сказанный импульс, необходимо поставить его в соответствующую обстановку. У раба этот инстинкт гаснет. Раб, сознавая, что улучшение его и бытия его ближних неосуществимо, каменеет. Свобода воскрешает в нем человека. Но не достаточно освободить его от рабовладетеля,—необходимо еще освободить его от рабства произвола, дать ему законность, а следовательно и сознание законности и просветить его. Необходимо, по выражению К. П. Победоносцева, сделать из него «персону», ибо он теперь «полуперсона». Все сие не сделано или почти не сделано. Кре-

стьянин находится в рабстве произвола. Закон не очертил точно его права и обязанности. Его благосостояние зависит не только от усмотрения высших представителей местной власти, но иногда от людей самой сомнительной нравственности. Им начальствуют, и он видит начальство и в земском, и в исправнике, и в становом, и в уряднике, и в фельдшере, и в старшине, и в волостном писаре, и в учителе, и, наконец, в каждом «барине». Он находится в положительном рабстве у схода, у его горланов. Не только его благосостояние зависит от усмотрения этих людей, но от них зависит его личность. Существует сомнение, следует ли оградить крестьян от розог, или нет? Можно различно разрешать этот вопрос. Я думаю, что розги, как нормальное средство, оскорбляют бога в человеке. Когда император Александр II отменил розги в армии, то ведь находились же лжепророки, уверявшие, что наша армия падет. Но кто осмелится утверждать, что дух и дисциплина ваших воинов от сего умалилась? Но если еще розги необходимы, то они должны даваться закономерно. Крестьян же секут по усмотрению, и кого же? Например, по решению волостных судов—темных коллегий, иногда руководимых отребьем крестьянства. Любопытно, что если губернатор высечет крестьянина (чего я не одобряю), то его судит сенат, а если крестьянина выдерут по каверзе волостного суда, то это так и быть надлежит. Крестьянин—раб своих односельчан и сельского управления.

«Крестьянина наделили землею. Но крестьянин не владеет этой землею на совершенно определенном праве, точно ограниченном законом. При общинном землевладении крестьянин не может даже знать, какая земля его. Теперь живет второе поколение после освобождения. Права наследства были предоставлены господству смутного обычая, а посему теперешние крестьяне пользуются землею не по законно определенному праву, а по обычаю, а иногда и усмотрению. Закон почти совсем не касается семейных прав крестьян.

«Император Александр II даровал России правосудие гражданское и уголовное. Как бы ни критиковали эту реформу, не затемнят ее величия. Эта реформа охраняет права и обязанности верноподданных своих монархов путем закона, а не усмотрения. Но реформа эта не коснулась крестьянских отношений по сельскому быту. Крестьянские гражданские и уголовные дела и деяния разрешаются крестьянскими судами не по общим для всех верноподданных установленным законам, а по особым, часто по обычаю—проще говоря, по произволу и усмотрению. Податное дело не в лучшем положении. Прямые налоги часто взыскиваются не по законно-освященным для каждого лица отдельным нормам, а скопом, по усмотрению. Губернатор с полицией может взыскать и двойной оклад, может и ничего не

взыскать. Круговая порука, созданная параллельно общинному землевладению и с нею связанная, делает крестьянина ответственным не за себя, а за всех, а потому иногда приводит к полной безответственности. Земство устанавливает сборы без всякого влияния правительства. Оно может обложить землепашца свыше его сил, и к сему нет тормоза. Такого права не дано земствам в наилиберальнейших странах. Что касается мирских сборов, собираемых с крестьян, которые в последние годы неимоверно растут, то тут полнейший произвол. Эти налоги совсем ушли не только от государственной власти, но даже от государственного сведения. А просвещение? О том, что оно находится в зачатке, это всем известно, как и то, что мы в этом отношении отстали не только от европейских, но и от многих азиатских и заатлантических стран. Впрочем, можно думать, что это случилось не без благости божией. Просвещение просвещению рознь. Какое бы получил народ просвещение в пережитую нами эпоху общественных увлечений и шатаний с 60-х годов вплоть до вступления на престол Александра III? Может быть, просвещение привело бы народ к растлению. Тем не менее, просвещение нужно двинуть—и нужно двинуть энергично. От того, что дитя может упасть и повредить себя, нельзя не дозволять и не учить его ходить. Нужно только, чтобы просвещение было всецело в руках правительства. Наш народ с православной душой невежествен и темен. А темный народ не может совершенствоваться. Не идя вперед, он по тому самому будет итти назад, сравнительно с народами, двигающимися вперед.

Вот некоторые черты положения крестьянского дела. Крестьянство освобождено от рабовладетелей, но находится в рабстве произвола, беззаконности и невежества. В таком положении оно теряет стимул закономерно добиваться улучшения своего благосостояния. У них парализуется жизненный нерв прогресса. Оно обескураживается, делается апатичным, бездеятельным, что порождает всякие пороки. Поэтому нельзя помочь горю одинокими, хотя и крупными мерами материального характера. Нужно прежде всего поднять дух крестьянства, сделать из них действительно свободных и верноподданных сынов ваших. Государство, при настоящем положении крестьянства, не может мощно итти вперед, не может в будущем иметь то мировое значение, которое ему предуказано природою вещей, а может быть и судьбою. От сказанного неустройства проистекают все те явления, которые, как надоедливые болячки, постоянно дают себя чувствовать. То вдруг является голод. К нему приковывается все внимание. Все шумят. Тратят громадные деньги на голодающих, которые собирают от будущих или прошедших голодающих и воображают, что делают дело. Эти современные голодающие только вящше приучаются быть голодающими в будущем. То

подымается вопрос о земельном кризисе. Странный кризис, когда всюду цена на землю растет. Разжигаются аппетиты. Подымается вопрос о доблестях отдельных сословий и даже о поддержке ими престола. Как будто самодержавный престол до днесь держался на чем-либо ином, как не на всем русском народе; на сем незыблемом базисе он и будет вечно покоиться. Боже, сохрани Россию от престола, опирающегося не на весь народ, а на отдельные сословия... А собственно говоря, ядро вопроса совсем не в земельном кризисе, а тем паче не в кризисе частного землепользования, а в крестьянском неустройстве, в крестьянском оскудении. Там, где овцам плохо, плохо и овцеводам. То подымается вопрос о переселении и расселении; затем пугаются этого вопроса и ставят запруды. Действительно, процесс происходит беспорядочно при беспорядочности крестьянского быта. Призвание и развитие России требуют все новых и новых расходов; расходы эти по народонаселению малы, но они непосильны не по ее бедности, а по неустройству. Поэтому одновременно требуют от министра финансов денег и нападают на него за то, что он заботится об увеличении доходов для удовлетворения настойчивых требований. Наконец, крестьянское неустройство какая радость для всех явных и скрытых врагов самодержавия; здесь благодатное поле для их действия. Наши журналы, газеты, подпольные листки злонамеренно и благодушно смакуют эту тему.

«Одним словом, государь, крестьянский вопрос, по моему глубочайшему убеждению, является ныне первостепенным вопросом жизни России. Его необходимо упорядочить.

«Ваше императорское величество по положению комитета министров решили образовать для упорядочения крестьянского дела совещание и подготовительную комиссию. Совещание должно состоять из высших сановников и представлять ближайший орган вашего величества для направления и решения дел. По моему мнению, для успеха, оно не должно быть многочисленно. Комиссия, председательствуемая членом совещания, управляющим ее делами, должна взять на себя всю предварительную и проектную работу. Она должна состоять из высших представителей подлежащих ведомств и местных деятелей. Но всякое дело зависит от людей. Необходимо, чтобы крестьянское дело было поручено людям п р о с в е щ е н н ы м (а их так мало), людям не близоруким, людям, помнящим и знающим эпоху освобождения. Так как министры внутренних дел, юстиции, земледелия, финансов, а может быть и просвещения неизбежно должны быть членами совещания, то за сим не придется выбирать много членов. Как я уже дерзал верноподданнически докладывать вашему императорскому величеству, остальные члены могли бы быть выбраны из следую-

щих просвещенных и умудренных государственным опытом сановников: статс-секретари Сольский, Победоносцев, Каханов, Фриш, члены Государственного Совета: Тернер, Дервиз, Голубев, Семенов. Главный труд упадет на члена совещания, председателя комиссии. По моему убеждению, этому назначению вполне отвечает товарищ министра внутренних дел князь Оболенский. Он молод, трудолюбив, умен и в качестве предводителя занимался крестьянством более 10 лет. Совещание будет его руководить. Что касается председательствования в совещании, то таковое могло бы быть возложено на старейшего. Наиболее соответствовал бы этому назначению Д. М. Сольский, как близкий сотрудник императора Александра II, как заместитель председателя Государственного Совета и как человек, при выдающихся способностях, крайне уравновешенный и бесстрастный.

«Но, конечно, такое первостепенной государственной важности дело, если оно даже будет поручено людям просвещенным, не может иметь успеха, если эти лица не будут одушевлены твердым желанием отца русского народа сделать из крестьянина действительно свободного человека. Этот крест тяжел. Его бесстрашно поднял ваш августейший дед, но ему не суждено было донести его до конечной цели. Ваш августейший родитель устранил встретившиеся препятствия; от вас ныне, государь, зависит сделать богом вам врученный народ счастливым и тем открыть новые пути к возвеличению вашей империи.

«Преклоненно прошу, государь, простить мне, что я позволил себе с полною откровенностью высказать то, что у меня наболело на душе. Но, если ваши министры будут бояться, по долгу совести, докладывать то, что они думают, то кто же вам об этом будет говорить?

Вашего императорского величества
верноподданнейший слуга
Сергей Витте.

Петербург, октябрь 1898 г.».

Какое произвело это письмо впечатление на государя, мне неизвестно, так как государь затем со мною по этому предмету не говорил.

Но, возвратясь осенью в Петербург, его величество, повидимому, никакого решения не дал, и председатель комитета министров вместе со своими единомышленниками—злополучным Вячеславом Константиновичем Плеве и г. Стишинским—могли торжествовать. Все дело осталось лежащим под спудом.

Таким образом крестьянское дело не двигалось. Несколько раз в Государственном Совете я возбуждал вопрос, или, вернее говоря, щупал почву: к а к отнесся бы Государственный Совет, если бы я, в качестве министра финансов, поднял вопрос о сложении выкупных платежей,—и заметил явное нерасположение к такой мере.

С одной стороны, высказывали мнение, что лишение казны такого большого дохода вынудит установить другого рода подати, которые, пожалуй, будут более обременительны, нежели выкупные платежи, и, следовательно, являлась боязнь: как бы эти новые налоги не легли своею тяжестью не только на крестьянство, но и на высшие классы населения; а некоторые члены Государственного Совета, которые—как это ныне происходит и в Государственной Думе—для театральности бьют себя в грудь, когда говорят о бедном крестьянстве, высказались глаз-на-глаз в том смысле, что это будет баловство для крестьян, для чего их баловать? В результате будет только то, что такими мерами крестьянство будет совершенно распущено. И без того,—говорили они,—и теперь нам жить в деревнях нельзя,—так крестьяне распущены и самовольствуют.

*Круговая порука за внесение прямых налогов при освобождении крестьян была введена с целями фискальными опять в силу начала, что легче управлять стадами, нежели отдельными единицами населения. В сущности это есть ответственность исправных за неисправных, работающих за лентяев, трезвых за пьяных, одним словом, величайшая несправедливость, деморализация населения и уничтожение в корне понятия о праве и гражданской ответственности. Так как министерство внутренних дел всегда защищало это начало, ссылаясь на министерство финансов, то я заявил в Государственном Совете, что министерству финансов этого порядка не нужно, и представил проект взыскания с крестьян податей с уничтожением круговой поруки и передачей этого дела из рук полиции в руки органов министерства финансов—податных инспекторов. Конечно, я встретил большие возражения.

Так как по существу возражать было трудно, то Горемыкин настаивал, чтобы дело взыскания передать не податным инспекторам, а земским начальникам и, следовательно, полиции, т.-е. сохранить так называемое «выбивание податей» и полицейский произвол. Большинство Государственного Совета поддерживало мой проект, хотя и сделало в нем некоторые изменения, ослабляющие закономерность взыскания и индивидуальность ответственности. Горемыкин остался при своем мнении и жаловался государю, что я хочу умалить значение земских началь-

*

ников в глазах крестьян. Его величество поддался на жалобу Горемыкина. Ко мне приехал от Горемыкина его товарищ князь Оболенский, чтобы меня уговорить уступить.

Тогда я написал его величеству, что если будет отвергнут проект, поддержанный большинством Государственного Совета, то я ходатайствую освободить меня от поста министра финансов. В это дело вмешался граф Сольский, председатель департамента экономии Государственного Совета, весьма почтенный человек, но типичный «примиритель», человек полумер.

В конце концов круговая порука была отменена, новый закон о взыскании податей, передававший в значительной части дело в руки податных инспекторов, прошел, но в него были внесены некоторые компромиссы, внесшие специфические черты отношения к крестьянам, как к лицам, которых нужно третировать особым порядком.

Закон о паспортах, связывающий крестьянство по рукам и ногам, также держался потому, что министерство внутренних дел заявляло о необходимости для финансов паспортного налога. Я заявил в Государственном Совете, что министерство финансов от этого налога отказывается, и внес новый паспортный устав, значительно расширяющий свободу крестьянства. Хотя новый устав прошел, но по настоянию министерства внутренних дел в него все-таки внесены многие стеснения; стеснения эти вытекали из еврейского вопроса (черта оседлости) и необходимости гарантии исправности местных крестьянских сборов.

Государственный Совет тогда же поручил министру внутренних дел озаботиться регулированием этих (мирских) сборов. Но сколько я об этом ни напоминал министрам внутренних дел, так и до сего времени ничего в этом отношении не сделано. Когда я был председателем совета министров, министр внутренних дел выработал новый паспортный устав, значительно облегчавший крестьян, но его затормозили *.

Лишь после того, как министром внутренних дел был назначен такой благородный и честный человек, как Дмитрий Сергеевич Сипягин, в 1902 г., мне, при его содействии и по его инициативе, удалось снова поднять вопрос об образовании крестьянской комиссии.

Все объяснения по этому предмету с его величеством вел Д. С. Сипягин. Он убедил государя назначить такую комиссию, и когда его величеству угодно было спросить: «Кого же назначить председателем комиссии?»—то Сипягин доложил государю, что, по его мнению, единственный человек, который может справиться с этим делом,—это министр финансов Витте.

Тогда его величество пригласил меня к себе и высказал свое решение образовать комиссию с тем, чтобы она рассмотрела крестьянский вопрос и разрешила его в духе тех начал, которые были положены и в некоторой степени осуществлены в царствование Александра II. При этом государь сказал мне, что он желает, чтобы я взял на себя председательствование в этой комиссии.

Я, конечно, был очень доволен этим назначением; лично мне оно ничего не давало, кроме лишнего нового труда и новых забот, но все крестьянское дело всегда было близко моему сердцу и не из каких-нибудь сентиментальных причин, а исключительно потому, что я смотрю—и всегда смотрел—на Россию, как на государство наиболее демократическое из всех государств Западной Европы, но демократичное в особом смысле этого слова,—было бы правильнее сказать: как государство «мужицкое», ибо вся соль русской земли, вся будущность русской земли, вся история настоящая и будущая России связана, если не исключительно, то главным образом, с интересами, бытом и культурою крестьянства. И если, несмотря на то ужасное время, которое мы ныне переживаем, я все-таки убежден в том, что Россия имеет громадную будущность, что Россия из всех тех несчастий, которые ее постигли и которые, вероятно, будут, к несчастию, еще следовать, выйдет из всех этих несчастий перерожденной и великой,—то я убежден в том именно потому, что я верю в русское крестьянство, верю в его мировое значение в судьбах нашей планеты.

Комиссия, имевшая в виду рассмотреть крестьянское дело, была названа «особым совещанием о нуждах сельско-хозяйственной промышленности». Таким образом, она была обобщена; предполагалось рассмотреть все, касающееся потребностей сельско-хозяйственной промышленности, а главная потребность ее заключалась, конечно, в устройстве быта нашего главного земледельца—именно крестьянина.

Совещание это было составлено из лиц, в консерватизме коих, казалось бы, не могло быть никакого сомнения; в совещание входили: граф Воронцов-Дашков, нынешний наместник Кавказа, генерал-адъютант Чихачев, который в то время был председателем департамента промышленности Государственного Совета; Герард, председатель департамента гражданских и духовных дел, впоследствии генерал-губернатор Финляндии; князь Долгоруков—обер-гофмаршал, граф Шереметьев—егермейстер его величества и проч. Затем, в совещание входили: министр внутренних дел, я—как министр финансов, а потом Коковцов (после того, как я сделался председателем комитета министров и мини-

стром финансов был назначен Коковцов) и другие весьма почтенные лица.

Совещание это существовало с 22 января 1902 г. по 30 марта 1905 г.

*Первый год прошел в образовании губернских и уездных комитетов, в их работе, в получении и классификации их трудов, в составлении сводки и заключений. Хотя местные комитеты были образованы: губернские под председательством губернаторов, а уездные—предводителей дворянства, и уже этим самым был положен некоторый предел свободе суждений, тем не менее, это дало возможность в первый раз в России высказаться более или менее откровенно. Как впоследствии я заметил, государь и министерство внутренних дел ожидали, что местные комитеты больше всего нападут на финансовую и экономическую политику, и ожидали, что я как бы сам себе строю ловушку. К их удивлению скоро выяснилось, что финансовая и экономическая моя политика не вызывает критики и жалоб, по крайней мере, общих, хотя в то время уже при дворе дворянская камарилья, требовавшая все больших и больших подачек, работала против меня вовсю. Общие жалобы последовали на внутреннюю политику вообще, на бесправие, в котором находилось все крестьянство.

Когда сельско-хозяйственное совещание, вооруженное всеми материалами, приступило к суждениям и решениям по существу, то уже честный Сипягин был убит, и его место занял карьерист полицейский Плеве. Он принял сейчас же меры репрессий против некоторых деятелей местных совещаний, высказавшихся откровенно, хотя может быть и не совсем справедливо и резко. Так, например, князя Долгорукова, председателя уездной управы Курской губернии, отрешил от должности, статистика довольно известного Щербина сослали из Воронежской губернии, с более мелкими шишками поступили еще более бесцеремонно.

Граф Лев Толстой (известный писатель), ходатайствуя об одном крестьянине, подвергнувшемся за свои мнения, высказанные в совещании, аресту и ссылке,—не без некоторого основания упрекал меня в провокации. (Письмо его хранится в моем архиве.)

Затем Плеве испросил разрешение разработать положение о крестьянах в особом ведомственном совещании при министерстве внутренних дел. Разрешение, конечно, последовало. Тогда он образовал свои губернские совещания под председательством губернаторов, состоящие из лиц, привыкших высказывать то, что угодно начальству. Прямого же высочайшего повеления, чтобы сельско-хозяйственное совещание не рассматривало нужды

крестьянства, не последовало, а потому я принял выжидательное положение, будучи уверен, что министерство внутренних дел с Плеве ничего не выработает. Покуда совещание рассматривало общие вопросы по части хлебной торговли, подъездных путей, мелкого кредита и проч.

Когда был убит Плеве, чему, конечно, ни один честный человек сочувствовать не мог, и вместо него был назначен князь Святополк-Мирский (честнейший и благороднейший человек, но чересчур слабый для поста министра внутренних дел), то совещание приступило к обсуждению крестьянского вопроса. Был поднят вопрос об отмене выкупных платежей. Министр финансов Коковцов был против. Государь решил отложить до окончания войны. Затем началось обсуждение всех вопросов, относящихся до крестьянства, и стремления совещания были направлены к тому, чтобы сделать, наконец, из крестьянина «персону»*.

В этом отношении вопросы были подвергнуты самому тщательному обсуждению. Конечно, при обсуждении этих вопросов приходилось отрицательно высказываться и относительно некоторых мер, которые были проведены в царствование императора Александра III и которые в корне изменили некоторые черты преобразований императора Александра II.

Вообще, совещание, обсуждая вопросы крестьянского быта, исходило не из того взгляда, из которого исходила дворянская комиссия, что, мол, нужно дать всякие блага лишь дворянам, а быт крестьян следует оставить в таком положении, в каком он находится, так как положение это совершенно удовлетворительно, т.-е. совещание исходило не из этого положения, что для овец нужно ничего не делать и только давать различные блага пастухам, а наоборот, из того, что необходимо ввести благоустройство в стадах, сделать так, чтобы стада были тучные и здоровые, тогда и пастухам будет во всяком случае недурно.

По крестьянскому вопросу сельско-хозяйственное совещание вообще высказалось за желательность установления личной, индивидуальной собственности и, таким образом, отдавало предпочтение этой форме землевладения перед землевладением общинным.

Уже в таком решении министерство внутренних дел и вообще реакционное дворянство не могло не усмотреть значительного либерализма, если не революционизма, так как в существовании общины, т.-е. в стадном устройстве быта нашего крестьянства высшая полиция усматривала гарантию порядка.

Но сельско-хозяйственное совещание, высказываясь за индивидуальную собственность, полагало, что этого никоим образом

не следует делать понудительно, а следует тем крестьянам, которые пожелают выходить из общины, дать право свободного выхода. Вообще, оно полагало, что устройство личной, индивидуальной собственности крестьянства должно истекать не из принуждения, а из таких мер, которые бы постепенно привели крестьянство к убеждению в значительных преимуществах этой формы землевладения перед землевладением общинным.

Но для того, чтобы в крестьянстве ввести частную собственность, необходимо ранее всего дать крестьянам твердую гражданственность, т.-е. устроить для них такие гражданские законы (если наш X том свода законов к ним не вполне подходит), которые бы совершенно определенно, ясно и незыблемо устанавливали их гражданские права вообще и особливо права собственности. Следовательно, нужно было составить для крестьян—постолько, посколько общие гражданские законы, существующие для нас, на них не распространяются,—особый гражданский кодекс, и если тот кодекс должен основываться на обычаях, то необходимо было бы точно кодифицировать эти обычаи.

Наконец, для того, чтобы создать личную собственность не на бумаге, а на деле, необходимо крестьянам дать такие суды, которые бы гарантировали точность применения созданных для них законов, т.-е. ввести тот мировой институт, который существовал ранее водворения у нас земских начальников, хотя, может быть, ввести его с некоторыми изменениями сравнительно с тем, как этот институт был основан в 60-х годах императором Александром II.

Меня все время поддерживали такие лица, которых никоим образом в либерализме заподозрить нельзя: граф Воронцов-Дашков (бывший министр двора и ныне наместник на Кавказе), Герард (нынешний финляндский генерал-губернатор), князь Долгорукий (обер-гофмаршал), статс-секретарь Куломзин, генерал-адъютант Чихачев, П. П. Семенов (почтенный могикан из деятелей по освобождению крестьян) и проч.

Оппозиция состояла из графа Шереметьева (честного, но ненормального человека, столпа дворцовой дворянской камарильи, ныне одного из тайных глав черносотенцев), графа Толстого (того же пошиба), князя Щербатова (явного главы черносотенцев), Хвостова (сенатора). «Гражданин» и «Московские Ведомости», т.-е. Мещерский-Грингмут, начали трубить, что совещание хочет нарушить «устои».

В совещании участвовал также Горемыкин, который шел с нами, а за спиной вместе с величайшим карьеристом Кривошеиным (ныне член Государственного Совета и управляющий дворянским и крестьянским банками) подвели при помощи генерала Трепова (товарища министра внутренних дел Булыгина) под совещание мину, внушив, что оно неблагонадежно.

В работах совещания некоторые члены усмотрели нарушение, по крайней мере, некоторых из тех положений, которые, вопреки предначертаниям императора Александра II, были введены в царствование императора Александра III, а другие члены, в том числе и Горемыкин, нашли в этом хорошую почву для высших интриг и внушили высшим сферам, что сельско-хозяйственное совещание желает проводить меры чуть ли не революционного характера.

Вследствие этого 30 марта 1905 г. последовал указ о закрытии совещания о нуждах сельско-хозяйственной промышленности в то время, когда уже все вопросы, касающиеся крестьянства, были в достаточной степени, по крайней мере, в общих чертах, разработаны, но еще ничего окончательного не было сделано, не проредактировано, а, следовательно, и не утверждено его величеством.

Хотя я был председателем сельско-хозяйственного совещания и председателем весьма деятельным, а также и докладчиком у государя императора по делам сельско-хозяйственного совещания,—тем не менее я никак не мог ожидать, чтобы это совещание могло быть закрыто.

* Еще за два дня до указа государь соизволил утвердить журнал совещания, в котором содержались предположения о будущем. Конечно, о том, что он недоволен работою совещания, он мне никогда не говорил ни слова, о закрытии совещания не предупредил и затем, вообще, о совещании никогда не проронил ни слова. Это его характер. Между тем, если бы совещанию дали окончить работу, то многое, что потом произошло, было бы устранено. Крестьянство, вероятно, не было бы так взбаламучено революцией, как оно оказалось. Были бы устранены многие «иллюминации», и спасена жизнь многих людей*.

Управляющий делами этого совещания был Иван Павлович Шипов, который, когда я был министром финансов, занимал должность директора этой канцелярии, затем был директором департамента казначейства, а впоследствии, когда я сделался после 17 октября председателем совета министров,—Шипов же был министром финансов в моем министерстве. Ныне он состоит членом Государственного Совета. И. П. Шипов всегда был таким, какой он есть и теперь, т.-е. человеком весьма консервативным, но, вместе с тем, и просвещенным.

30 марта 1905 г. утром в то время, когда я пил кофе, мне позвонили в телефон. Я подошел к телефону, оказалось, что в телефон говорит со мною И. П. Шипов.

Шипов мне говорит:

— Вы, ваше превосходительство, читали высочайший указ?

Я говорю:—Какой указ?

Он говорит:

— Указ о закрытии совещания о сельско-хозяйственных нуждах.

При чем в тоне Шипова слышался как бы упрек, что я никого об этом не предупредил.

Я на этот упрек ничего не ответил, так как странно было бы мне сказать:—Да я и сам первый раз об этом от вас слышу.

Сельско-хозяйственное совещание разрешило некоторые вопросы, касающиеся нужд сельского хозяйства, вообще провинциального быта. Но вопросы сравнительно второстепенные. Главный же вопрос был разработан, но, вследствие закрытия совещания, был оставлен без разрешения.

После совещания осталась целая библиотека самых серьезных трудов, трудов, заключающихся в различных записках весьма компетентных лиц различных комиссий, которые выделили из себя сельско-хозяйственное совещание; в трудах провинциальных комиссий, которые были потом систематизированы и по которым были составлены систематические своды.

Весь этот материал представляет собою богатые данные для всех исследований и даже для всяких научных исследований.

Затем из материалов этого сельско-хозяйственного совещания всякий исследователь увидит, что в умах всех деятелей провинции того времени, т.-е. 1903—1904 г.г., бродила мысль о необходимости для предотвращения бедствий революции сделать некоторые реформы в духе времени. В сущности говоря, вот эта черта трудов комиссии и послужила истинным основанием к закрытию сельско-хозяйственного совещания, как нечто грозящее существующему в то время государственному строю.

* Одновременно [1]) с закрытием совещания о сельско-хозяйственных нуждах указом было открыто новое совещание для разработки крестьянского вопроса под председательством Горемыкина большею частью из других членов одинакового с Горемы-

---

[1]) Вариант. Одновременно с закрытием совещания о сельско-хозяйственных нуждах открылось другое совещание, или, вернее, комиссия, которой было поручено заняться исключительно крестьянским вопросом. Председателем этой комиссии был назначен Иван Логгинович Горемыкин, бывший член сельско-хозяйственного совещания, который вместе с Кривошеиным и тогдашним полу-диктатором Треповым повели всю интригу против сельско-хозяйственного совещания, что и привело к его закрытию.

Комиссия И. Л. Горемыкина сразу пошла под другим флагом; она дала понять, что придерживается твердо существовавшего тогда строя крестьянства, т.-е. строя общинного и административно-стадного управления.

Главными деятелями этой комиссии явились: Кривошеин, Стишинский и другие лица, бывшие в то время поклонниками общины и полицейского управления крестьянства. А потому в этой комиссии опять выплыли

киным пошиба, т.-е. или «чего изволите?» или «за царя, православие и народность», а в сущности за свое пузо, за свой карман и за свою карьеру.

Само собою разумеется, совещания при министерстве внутренних дел и Горемыкине ничем не кончились, ими никто и не интересовался. Наше совещание, закрытое, как революционный клуб, оставило по себе массу разработанного материала, который и теперь еще долго будет служить для различных экономических проектов. Это громадный вклад в экономическую литературу.

Затем, когда через полтора года началась революция, то само правительство по крестьянскому вопросу уже хотело пойти дальше того, что проектировало сельско-хозяйственное совещание. Но уже оказалось мало. Несытое существо можно успокоить, давая пищу во-время, но озверевшего от голода уже одною порциею пищи не успокоишь. Он хочет отомстить тем, которых правильно или неправильно, но считает своими мучителями.

Все революции происходят от того, что правительства вовремя не удовлетворяют назревшие народные потребности. Они происходят от того, что правительства остаются глухими к народным нуждам.

Правительства могут игнорировать средства, которые предлагают для удовлетворения этих потребностей, но не могут безнаказанно не обращать внимания и издеваться над этими потребностями. Между тем мы десятки лет высокопарно все манифестовали «наша главная забота это народные нужды, все наши помыслы стремятся, чтобы осчастливить крестьянство», и проч., и проч. Все это были и до сего времени представляют одни слова.

После Александра II дворцовое дворянство загнало крестьянство, а теперь крестьянство темное бросается на дворянство, не разбирая правых и виновных. Так создано человечество. Те, которые «милостью божией» неограниченно царствуют, не должны допускать таких безумий, а коли допускают, то должны затем признать свои невольные ошибки.

интересы дворянства, в том смысле, что предполагалось лишь постольку допустить изменения в быте крестьянства, поскольку это вообще представлялось дворянству для их кармана невредным.

Но так как во главе комиссии был, в сущности говоря, такой недурной и умный человек, как Иван Логгинович Горемыкин, но человек, обладающий крайней неподвижностью, если не сказать леностью, обладающий спокойствием, присущим всякому бездеятельному организму, то, конечно, дела этой комиссии подвигаться вперед не могли.

Наступило 17 октября 1905 года, наступили смуты, так называемая революция, и о комиссии Горемыкина все забыли, вопрос крестьянский всплыл в резкой форме, во всем объеме в совете министров, и, по моему представлению, комиссия Горемыкина была закрыта, погребена, не оставив по себе решительно никаких следов.

Наш же нынешний «самодержец» имеет тот недостаток, что когда приходится решать, то выставляет лозунг—«я неограниченный и отвечаю только перед богом», а когда приходится нравственно отвечать перед живущими людьми впредь до ответа перед богом, то все виноваты, кроме его величества,—тот его подвел, тот обманул и проч. Одно из двух: неограниченный монарх сам отвечает за свои действия, его слуги ответственны лишь за неисполнение его приказаний и то лишь тогда, если они не докажут, что с своей стороны сделали все от них зависящее для точного исполнения данного приказа; а если хочешь, чтобы отвечали советчики, то должен о г р а н и ч и т ь с я их советами и мнениями. Я говорю о советчиках официальных, единоличных и коллегиальных *.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Накануне 17 октября.

*Еще когда я приехал из Америки в Париж, мне Л. Н. Нарышкина, вдова Эммануила Дмитриевича и сестра известного Бориса Николаевича Чичерина, с особою радостью передала, что последовал указ об автономии университетов, что ректором московского университета избран князь Трубецкой, что вследствие сего все высшие учебные заведения открылись, студенты начали заниматься и что потому можно ожидать водворения спокойствия.

Высшие учебные заведения «забастовали» и в последнее полугодие были закрыты. Я отнесся скептически к таким надеждам. Мне было ясно, что, с одной стороны, автономия высших учебных заведений не могла быть дана правительством, в сущности говоря—Треповым, без принудительных к тому полицейско-административных причин, так как смысл существа автономии высших учебных заведений, как меры просвещения, не мог быть доступен ни Трепову, ни тогдашнему министру народного просвещения Глазову. С другой стороны, дарование автономии указом без переработки уставов университетов и высших учебных заведений должно было вызвать целый ряд недоразумений.

До моего отъезда в Америку в комитете министров обсуждался вопрос о положении сказанных заведений, и тогда я настаивал на необходимости органической переработки уставов и в этом видел возможность успокоения профессуры и студентов и наслышался по этому поводу от Трепова и Глазова самых невежественных мнений. Вообще большинство членов высших государственных учреждений были или военные или кончившие курс в привилегированных высших учебных заведениях (царскосельский лицей и училище правоведения), мало были знакомы с университетской жизнью, а потому даже просвещенные члены высказывали по вопросу об организации университетов малокомпетент-

ные мнения, ну, а о большинстве военных и говорить нечего. Я знал, что ничего до моего выезда в смысле разработки уставов сделано не было, значит, принятая мера была не органическая, а вытекала из соображений полицейско-административных, а так как выходила из рук, не имеющих понятия об университетской жизни, то наверное и не предвидела всех последствий дарованной неопределенной автономии.

Действительно, оказалось, что мера эта последовала по инициативе Трепова и обсуждалась в совещании, в котором он доминировал и в котором участвовали генерал Глазов, министр финансов Коковцов (лицеист) и министр земледелия Шванебах (правовед). Когда же я прочел указ, то увидел всю его неопределенность и оторванность от действительного положения вещей, созданного в последние 15—20 лет со времени издания нового университетского устава (кажется, в 84-м году).

Приехавши же в Петербург, я узнал из газет, что все высшие учебные заведения после указа об автономии сделались местом ежедневных революционных митингов, в которых участвуют как студенты, так еще в большей степени рабочие настоящие или подложные, учителя, чиновники, лица в военных мундирах, в том числе нижние чины, курсистки, дамы, а также публика, даже из высшего общества, которая приходила дивиться таким необычным представлениям и энервироваться, т.-е. получать особые психические ощущения, подобные тем, которые ощущаются от шампанского, боя быков, скабрезного представления и пр.

На митингах этих проповедывались самые крайние революционные идеи анархизма и боевого социализма. Речи ораторов прерывались криками «долой самодержавие» и самыми возмутительными словами относительно главы государства и царствующего дома, т.-е. такие речи, которые были бы заглушены, если не публикою, то полицейскою силою не только в монархических странах, но также в буржуазной французской республике, в демократической американской республике и даже в республике с президентом князем Кропоткиным и министрами Алексинским (недоучка-студент, член второй Думы), Аладьиным (русский комиссионер в одной из лондонских гостинниц, член первой Думы), присяжным поверенным Винавером (член первой Думы) и подобными индивидуумами-дилетантами, все из клики русских республиканцев-революционеров.

Ни Трепов, ни вообще члены правительства на эти явления не реагировали, а только иногда выставляли около университетов войска, чтобы огонь в зданиях высших учебных заведений не перебросился на улицы. Университетское начальство и профессора заявляли, что, конечно, то, что происходит в высших учебных заведениях, ненормально, но виною этому то, что пра-

вительство не дозволяет гражданам законно собираться и устраивать митинги, как это существует во всех цивилизованных странах, а потому, по их мнению, естественно, что граждане собираются в высших учебных заведениях для этой потребности. Разрешите устраивать митинги в других местах,—говорили профессора,—мы тогда будем в состоянии оградить университеты от посторонней публики. Студенты почти всех высших учебных заведений на сходках провозгласили, что они прекращают «забастовку», но не для того, чтобы заниматься науками, а для того, чтобы использовать «автономию» для революционных целей. Профессора, в руки коих, после указа об автономии, всецело перешли высшие учебные заведения, на указание правительства, что митинги, происходящие в сих заведениях, недопустимы, все-таки повторяли, что, конечно, это беспорядок, но что они с своей стороны ничего сделать не могут к прекращению этого беспорядка, так как это происходит от того, что нигде не дозволяется собираться для обсуждения всех волнующих общество вопросов. Студенты заявляют,—говорили профессора,—что они считают своим долгом делиться с обществом тою привилегиею, которую только они одни из всех русских граждан получили. Университетское начальство настаивало, что единственное средство прекратить митинги в университетах—это, дозволить устраивать их вне высших учебных заведений.

Таким образом указ об автономии университетов, последовавший в августе месяце, был первою брешью, через которую революция, созревавшая в подполье, выступила наружу. Вероятно, мысль о том, что устраивать безобразные митинги можно только посредством издания закона о собраниях, была принята правительством, так как по приезде моем в Петербург я получил приглашение председателя совещания (или совета) графа Сольского пожаловать на заседание совещания по вопросам об издании закона о собраниях. Явившись в заседание, я узнал, что закон уже проектирован совещанием и только обсуждались некоторые разногласия по этому закону. Я с своей стороны заявил, что в настоящее время едва ли закон в той ограничительной конструкции, в какой он был проектирован, может отвлечь публику от митингов в высших учебных заведениях, так как митинги происходят при такой дикой свободе, что едва ли публика без строгого принуждения пожелает пользоваться новым весьма ограничительным законом; что во всяком случае, если хотели издавать указ о неопределенной автономии университетов, то следовало ранее издать сказанный закон. Через несколько дней закон был издан указом помимо Государственного Совета, но остался мертвою буквою,—митинги самые бурные и дикие продолжали производиться в залах учебных заведений и иногда в залах различных научных обществ (в Соляном городке—техническое общество, в Вольно-

экономическом обществе). И это продолжалось до тех пор, пока не начались еще до 17-го октября забастовки, и когда, вследствие этих забастовок, большинство высших учебных заведений закрылись.

Во время моего пребывания в Америке, возбудился также вопрос об единении министров, т.-е. об образовании чего-то вроде кабинета министров. Вопрос этот также обсуждался в совещании графа Сольского; я застал его обсуждение в начале. За необходимость внести единство в действия министров высказались почти все члены совещания; против этой меры особенно ратовал министр финансов Коковцов. Так как по проекту предполагалось создать должность председателя (главу) министерства и так как Коковцов понимал, что он им не будет, то по узкому самолюбивому чувству, так свойственному этому мелкому человеку, он всячески старался похоронить проект об единстве министерства. Коковцова поддерживали и другие члены не в смысле отрицания общей идеи, а только по частностям, дабы уменьшить значение председателя (главы) кабинета, проводя ту мысль, что, будто бы, такая мера может умалить значение императора в глазах народа. В конце концов, было решено создать совет министров взамен существовавшего по закону, изданному в царствование Александра II, совета, председателем коего был сам император и председательство в коем, вопреки закону, государь Николай II передал графу Сольскому. Этот новый закон, выработанный и утвержденный государем до 17 октября, в некоторой степени объединяет министерство, хотя как все, что выходило из совещаний графа Сольского, являл различные неопределенности и недосказанности, как результат компромиссов, которые так любил граф, дабы не утруждать его величество разногласиями.

Сольский назвал новое учреждение советом министров вместо кабинета, дабы избежать мысли о западных конституциях. Первым председателем совета был назначен я, а так как ранее также существовал совет, то затем все, что делал прежний совет ранее, так, например, Булыгинский закон о Думе, также приписывалось мне.

До сих пор большинство публики не делает различия между прежним советом, который иногда годами не собирался, и теперешним, созданным в начале октября 1905 г., за несколько дней до 17 октября.

Я имею основание думать, что созданию нового совета министров и уничтожению старого отчасти способствовало то, что граф Сольский, видя, что волнения все растут и растут и буря неизбежна, пожелал спрятаться и уйти от ответственной роли

председателя совета вместо государя. Это и было понятно и извинительно, так как граф уже многие годы был совершенно болен, не мог ходить, и можно было только удивляться, как он решается на такую ответственную деятельность, которая вытекала из того, что он был и председателем Государственного Совета, и председателем финансового комитета, и председателем совета вместо государя, и председателем всяких совещаний.

При его мягкости характера, полного болезненного состояния в последние годы, он, понятно, находился под сильным влиянием секретарей и делопроизводителей.

Вернувшись в Россию, меня также поразила необузданность прессы при существовании самого реакционного цензурного устава.

Пресса начала разнуздываться еще со времени войны; по мере наших поражений на востоке, пресса все смелела и смелела. В последние же месяцы, еще до 17 октября, она совсем разнуздалась, и не только либеральная, но и консервативная. Вся пресса обратилась в революционную, в том или другом направлении, но с тождественным мотивом—«долой подлое и бездарное правительство, или бюрократию, или существующий режим, доведший Россию до такого позора». Петербургская пресса, дававшая, и поныне, хотя в меньшей степени, дающая тон всей прессе России, совершенно эмансипировалась от цензуры и составила союз, обязавшийся не подчиняться цензурным требованиям. В этом союзе участвовали почти все газеты, и в том числе консервативные, а также «Новое Время», которое затем забыло это обстоятельство, и, когда вспыхнула революция, в мое министерство подавленная, то оно, видя, что правительство одолело, первое начало кричать о слабости правительства и распущенности прессы. Когда газеты вышли в силу «захватного права» из-под цензуры, то от них сделалось известным публике, что в последний год образовался ряд союзов—союз инженеров, адвокатов, учителей, академический (профессоров), фармацевтов, крестьянский, железнодорожных служащих, техников, фабрикантов, рабочих и проч. и, наконец, союз союзов, объединивший многие из этих частных союзов. О решениях и действиях некоторых союзов, например, академического, газеты давали полные сведения, о других отрывчатые, а о некоторых только сообщалось, что такой-то союз собирался там-то и принял важные решения и т. п.

Конечно, продолжал действовать и союз представителей земских и городских деятелей, с постоянно действующим бюро, в котором принимали участие столпы так называемых «обще-

ственных деятелей», из которых многие ныне после прелести революции сделались правыми.

В этих союзах принимали живое участие Гучков, Львов, князь Голицын, Красовский, Шипов, Стаховичи, граф Гейден и проч., и проч. К этому союзу присоединились и тайные республиканцы, люди большого таланта пера и слова и наивные политики: Гессен, Милюков, Гредескул, Набоков, академик Шахматов и проч., и проч. Все эти союзы различных оттенков, различных стремлений были единодушны в поставленной задаче— свалить существующий режим во что бы то ни стало, и для сего многие из этих союзов признали в своей тактике, что цель оправдывает средства, а потому для достижения поставленной цели не брезгали никакими приемами, в особенности же заведомою ложью, распускаемой в прессе. Пресса совсем изолгалась, и левая так же, как правая; а когда вспыхнула революция и началась анархия, то правая пресса: «Новое Время» (Суворин, Меньшиков), «Русское Знамя» (Дубровин, Булацель), «Московские Ведомости» (Грингмут, из еврейских ренегатов), «Вече» (Иловайский и какой-то каторжник Оловянников) и даже «Киевлянин» (Пихно) и проч., в смысле небрезгания для преследуемых целей, начала распространять ложь, клевету, обман, пожалуй, превзошла левую прессу.

Правительство, т.-е. Трепов, так как в сущности он был диктатор, на все эти явления не реагировал или реагировал неуспешно. Вероятно, о многих союзах, их деятельности и преследуемых ими целях, он не имел и надлежащих сведений. Железнодорожный союз, который затем привел железные дороги к забастовке, всячески защищал князь Хилков (это мне говорил Трепов), уверяя, что этот союз преследует чисто экономические и бытовые интересы железнодорожного персонала и не имеет антиправительственных стремлений.

Кроме открытой прессы, миллионами экземпляров распространялась скрытая пресса — всевозможные революционные листки, прокламации, программы, и в этой нелегальной прессе в некоторой степени принимало участие охранное отделение департамента полиции.

Трепов не мог отстать от идеи Зубатова «клин клином вышибай», т.-е. борись с революцией ее же орудиями и приемами. Министр внутренних дел Булыгин пребывал в полной апатии, так как, в сущности, управлял не он, а Трепов. Трепов же совершенно сбился с панталыку, дергал то направо, то налево, и, предвидя бурю, а отчасти по нездоровью, мечтал, как ему уйти из непонятного для него хаоса. Он мне говорил, что выбился из сил, и оставаться более на им же созданном для себя посту

товарища министра внутренних дел, а в сущности, диктатора, не может. Мудрый старец, скептик К. П. Победоносцев, совсем удалился от явного влияния на дела; что же он писал государю и писал ли вообще, мне неизвестно.

Остальные министры, бесцветные чиновники, Коковцов, Шванебах, генерал Глазов, генерал Редигер, сидели спокойно и молчали. Впрочем, Шванебах внес в комитет министров проект о раздаче в Сибири земли манчжурской армии. Мысль эта истекала из опасения, что армия, возвратившись домой после всех неудач, пожалуй, пристанет к революции, и тогда уже наверное все пропало.

В балтийских губерниях революция выскочила наружу несколько ранее; представители балтийского дворянства, очень сильные при дворе, генерал-адъютант Рихтер, главноуправляющий комиссией прошений Будберг—все говорили о необходимости установить в этом крае генерал-губернаторство; уже в Митаве и в южных уездах, к ней прилегающих, было почти вроде военного положения, там действовали войска виленского округа, и тамошнего командующего войсками Фрезе обвиняли в нерешительности и потворстве евреям и полякам. В скором времени его сменили, назначив членом Государственного Совета.

На Кавказе целые уезды и города находились в полном восстании, происходили ежедневные убийства, наместник граф Воронцов-Дашков проводил политику «доброжелательства», выражающуюся в постоянной смене либеральнейших и реакционных мер, то та, то другая местность объявлялась на военном положении чрезвычайной охраны, то эта мера опять отменялась. Вообще, граф, хотя, несомненно, умный, благожелательный и хороший человек, но всегда главный его недостаток заключается в самом невозможном подборе сотрудников.

В юго-западном крае генерал-губернатор Клейгельс бастовал, а когда наступили октябрьские дни, то совсем удалился. Клейгельс, пренедалекий человек, был в Петербурге градоначальником и полюбился государю, вероятно, за свою наружность бравого кавалериста и своим наружным спокойствием. Впрочем, как полициймейстер Клейгельс был на своем месте, когда же государь его назначил в Киев генерал-губернатором, то все, которые еще не перестали удивляться творящемуся, были очень удивлены этому назначению.

В Москву после убийства великого князя Сергея Александровича был назначен генерал-губернатором бывший там когда-то обер-полициймейстером генерал Козлов, человек весьма порядочный, всеми уважаемый в Москве, но он не поладил с Треповым и ушел. Вместо него был назначен, кажется, по протек-

ции Сольских,—Дурново, так называемый Пе Пе, попавший ранее того в Государственный Совет по представлению Сольского. Дурново—генерал, весьма богатый человек, бывший недавно председателем петербургской городской думы, смесь либерализма и дворянского «моему нраву не препятствуй», совершенно неспособный к какому бы то ни было серьезному делу. Он совсем в Москве запутался, ничего не знал, что там делалось, в конце концов так растерялся, что выходил в генерал-адъютантском мундире на площадь для переговоров с революционной толпой с красными флагами и снимал при этом военную шапку.

Царство Польское находилось почти в открытом восстании, но революция держалась внутри, только в некоторых местностях прорывалась наружу, потому что там была сравнительно значительная военная сила и был, хотя не орел, но прямой и мужественный генерал-губернатор Скалон, только что назначенный на этот пост. Его предместник, генерал Максимович, человек ничтожный, назначенный туда по протекции министра двора барона Фредерикса, был сменен, потому что забастовал и удалился на дачу около Варшавы, откуда не выезжал. Максимович, бывший офицер конной гвардии, товарищ барона Фредерикса, оказал ему, Фредериксу, услугу при его женитьбе, считавшейся мезальянсом, а потому потом и получил место варшавского генерал-губернатора.

Вся Сибирь находилась в полной смуте; отчасти и, пожалуй, главным образом, это происходило от того, что Сибирь уже спокон века и до настоящего времени представляет собою резервуар для ссылки неспокойных и порочных людей, а также от того, что Сибирь, как окраина, находившаяся ближе к театру военных действий, более чувствовала весь позор войны и имела больше о ней сведений, так как все для войны и обратно провозилось через Сибирь. Отчасти же смуте содействовало назначение в Иркутск генерал-губернатором графа Кутайсова, неглупого человека, но бесконечно болтливого и несерьезного деятеля.

Этому назначению все очень удивлялись; как говорят, Кутайсов был назначен по желанию императрицы Александры Феодоровны, которая, будучи еще девицей и гостя у своей бабушки, королевы Виктории, познакомилась с Кутайсовым, который тогда состоял нашим военным агентом в Лондоне.

В Омске генерал-губернатором был Сухотин, человек твердый, прямой и умный, только несколько скоропалительный, в особенности после завтрака и обеда. Между Сухотиным и Кутайсовым были вечные несогласия, которые вели к подрыву власти, центральное же правительство бездействовало, во всяком случае, мало действовало.

Одесса также была совершенно революционизирована, потому что большинство ее жителей—евреи, которые, вследствие постоянных стеснений, полагали, что, пользуясь общею суматохою и падением престижа власти, они добудут себе равноправие путем революционным. Конечно, это относится не ко всем евреям; действующими всегда является сравнительное меньшинство, но большинство евреев, выведенное из терпения несправедливостями, сочувствовали так называемому освободительному движению, легко принимавшему все (до самых резких включительно) революционные приемы. Такому революционированию Одессы к тому же очень способствовал тогдашний градоначальник Нейдгардт (beau frère Столыпина), человек неглупый, но крайне легкомысленный, поверхностный и мало знающий, но пребывающий о себе высокого мнения, надменный и с подчиненными грубый. Большинство жителей города его ненавидело. Там в начале октября явились беспорядки, связанные с кровавыми жертвами [1]).

После 17 октября я должен был его сменить, через что в нем и его сестре, супруге нынешнего премьера Столыпина, я нажил себе врагов. Нейдгардт был назначен в Одессу градоначальником только потому, что был забавным офицером Преображенского полка тогда, когда там служил его величество, будучи наследником. Ни по своему образованию, ни по службе никакой подготовки к занятию такого важного поста, как одесский градоначальник, он не имел. По той же причине, по которой он был назначен градоначальником, теперь он назначен сенатором.

Таким образом вернувшись из Америки 16 сентября 1907 г., я застал Россию в полном волнении, при чем революция из подполья начинала всюду вырываться наружу; правительство потеряло силу действия, все или бездействовали или шли врозь, а авторитет действующего режима и его верховного носителя был совершенно затоптан. Смута увеличивалась не по дням, а по часам, революция все грознее и грознее выскакивала на улицу, она завлекала все классы населения. Весь высший класс был недоволен и ожесточен; вся молодежь, и не только университетская, но и высших классов средних учебных заведений, не признавала никаких авторитетов, кроме тех, которые проповедывали самые крайние революционные и антигосударственные теории; профессора в громадной части стали против правительства и действующего режима и авторитетно, не только для молодежи, но и для большинства взрослых провозгласили «довольно—нужно

[1]) Дело это затем исследовал сенатор Кузьминский и признал главным виновником Нейдгардта, который потом был прикрыт его величеством.

все перевернуть»; земские и городские деятели уже давно заявили «спасение лишь в конституции»; торгово-промышленный класс, богатые люди, стали на сторону земцев, городских деятелей и профессуры и некоторые из них (Морозов, Четвериков, вдова Терещенко) производили большие денежные пожертвования не только для поддержки освободительного движения, но прямо на революцию (Савва Морозов, засим застрелившийся заграницей); рабочие совершенно подпали под руководство революционеров и действовали наиболее активно там, где нужно было действие физическое; все инородцы, а ведь в Российской империи инородцев около 35% всего населения, видя столь сильное расслабление империи, подняли головы и решили, что настал момент проводить свои мечты и желания: поляки—«автономию», евреи—«равноправие», и проч., а все—устранение всех стеснений, в которых проходила вся их жизнь, а стеснения эти во многих случаях были безобразные, антихристианские, грубые и, что особливо непростительно, часто глупые; крестьяне подняли усиленно вопрос о безземелии и вообще об их утесненном положении; чиновники, видя близко многие порядки в канцеляриях и систему протекций, развитую в царствование Николая II до гигантских размеров, стали против режима, которому служили; войско было взволновано всеми позорными неудачами войны и винило во всем совершенно основательно правительство, но, кроме того, с заключением мира явилось особое обстоятельство, внесшее большую смуту в войска, особенно оставшиеся в России: с заключением мира по закону нужно было отпустить всех, призванных на время войны, но так как в России войск оставалось очень мало, то их не отпускали, они начали волноваться, через это революционеры нашли легкий доступ в войска, в войсках начались вспышки непослушания, в некоторых случаях маленькие выступы в пользу революции с оружием в руках, поэтому многие думали, что на войска рассчитывать нельзя, и боялись возвращения армии с востока.

Эта боязнь и вызвала проект Шванебаха оставить, по крайней мере, часть армии в Сибири и во всяком случае задобрить их, объявив для них особую привилегию на получение сибирских земель...

Можно без всякого преувеличения сказать, что вся Россия пришла в смуту и что общий лозунг заключался в крике души «так дальше жить нельзя», другими словами, с существующим режимом нужно покончить. А для того, чтобы с ним покончить, явились борцы действия и мысли во всех без исключения классах населения и не единичные, а исчисляемые многими тысячами. Большинство же, не двигаясь, совершенно сочувствовало действующим. Все объединились в ненависти к существующему режиму и только тогда, когда был не только поставлен, но и факти-

чески проведен вопрос, чем ненавистное будет заменено (17 октября), было разрушено единение ненависти к существующему; явились партии, которые пожелали каждая перекроить управление по-своему и затем—ожесточенная борьба этих партий, происходящая доныне. 17 октября разрушило единение чувства ненависти к существующему, разбило борьбу, направленную лишь на «существующий режим», на борьбу и ненавистничество партийное.

Со дня моего возвращения из Америки я ясно видел, что смута растет и не по дням, а по часам, все усиливаясь и усиливаясь.

В конце сентября и начале октября она начала бить наружу фонтаном. Не говоря об окраинах, революция вырывалась наружу всюду. Под моим руководством, в бытность мою председателем совета, составлена одним чиновником рукопись под названием: «Накануне 17 октября»,—она находится в моем архиве.

Начались усиленные забастовки почти во всех фабричных районах, затем забастовали железные дороги. Наивный князь Хилков, начавший свою карьеру машинистом железной дороги, человек очень хороший, но рамоли (вообще, ему было бы уместнее оставаться железнодорожным служащим, нежели быть министром), пробрался в Москву, дабы там урезонить машинистов, так как центр, руководящий железнодорожными забастовками, была Москва. Он сам сел на паровоз и хотел повлечь за собою машинистов, но последние насмеялись над его наивностью. Одним словом, в России наступил полный хаос. Будучи в то время простым наблюдателем, я не располагаю сведениями о всех тех смутах, связанных с пролитием крови, которые в течение второй половины сентября и первой половины октября 1907 г. происходили в России, но ими были исчерпаны страницы всех газет. В особенности же происходил полный хаос в суждениях газет и действиях правительства, которое в значительной своей части забастовало, а в другой кидалось из стороны в сторону; это последнее, главным образом, относится к генералу Трепову—диктатору, первому доверенному его величества. Как житель Петербурга, я могу более точно рассказать, что происходило в Петербурге. Фабрики были закрыты, и рабочие проводили время в митингах, а затем, в хождениях по улицам; к массе рабочей примкнули, конечно, и так называемые хулиганы.

Высшие учебные заведения сначала служили местом революционных митингов, а потом они закрылись, и большая часть студенчества проводила время так же, как и рабочие. Печать вышла из всякого надзора и законопочитания. Городские железные дороги забастовали, вообще, движение по улицам в экипажах почти прекратилось, прекратилось также освещение улиц, жители столицы вечером боялись выходить на улицу, прекраща-

лось и водоснабжение, телефонная сеть бездействовала, забастовали все железные дороги, доходящие до Петербурга. Государь с августейшим семейством находился в Петергофе и сообщение с ним производилось только на казенных пароходах. Деятельность и нахальство противоправительственной власти росли ежедневно, всякие союзы и союз союзов ежедневно изрекали резолюции, все клонившиеся к подрыву власти и уничтожению существующего режима. Революционная пропаганда деятельно проникала в войска и находила адептов в отпускных, которые требовали, чтобы их отпустили. В некоторых воинских частях происходили беспорядки, моряки совсем вышли из повиновения, постоянно проявлялись бунты в черноморском флоте (история с броненосцем «Потемкиным», бывшая еще несколько месяцев ранее, просто баснословна). В Петербурге, морской экипаж, помещавшийся в казармах рядом с конной гвардией, взбунтовался и ночью пришлось его посредством военной силы арестовать и на баржах переправить в Кронштадт. В Кронштадте также было неблагополучно: моряки постоянно производили смуту и проч.

Самым главным и опасным было то, что вся Россия была недовольна существующим положением вещей, т.-е. правительством и действующим режимом. Все более или менее сознательно, а кто и не сознательно, требовали перемен, встряски, искупления всех тех грехов, которые привели к безумнейшей, позорнейшей войне, ослабившей Россию на десятки лет. Никто и нигде искренно не высказывался в защиту или оправдание правительства и существующего режима; разница была лишь та, что одни винили его за одно, а другие за совершенно противоположное. Одни указывали, как на виновных, на одних лиц, а другие на других. Самые крайние реакционеры до сих пор больше всех нападают на правительство и только в бесконечной своей подлости отделяют правительство от монарха, и то, когда говорят не между собою, а в открытую. Когда же они говорят в своей среде, многие из них хуже революционеров поносили государя императора и даже доходили до того, что строили глупейшие и подлейшие планы о возведении на престол других лиц, например, великого князя Дмитрия Павловича с регентшей великой княгиней Елизаветой Феодоровной, вдовой великого князя Сергея Александровича. Некоторые из кадет желали видеть, если не на престоле, то в качестве президента республики, кадета князя Долгорукова, а некоторые черносотенцы не стеснялись в своем кружке выражать желание видеть на престоле тупоумную дубину, князя Щербатова. Конечно, все это из области анекдотов революции, умов без ума.

Многие, как прежде, так и теперь не понимают, что сила царя, как и всякого монарха, в своего рода таинстве—секрете, недоступном познанию людей, наследии—наследственности. В наследии царской власти заключается сила царя. Никто ближе не знает Николая II, как царя, никто лучше меня не знает его пороки и слабости, как государя, но, тем не менее, я по убеждению, как перед богом, говорю, что не дай господь, если что-либо с ним случится. Любя Россию, я ежедневно молю бога о благополучии императора Николая Александровича, ибо покуда Россия не найдет себе мирную пристань в мировой жизни, покуда все расшатано, она держится только тем, что Николай II есть наследственный законный наш царь, т.-е. царь милостью божьей, иначе говоря, природный наш царь. В этом его сила и в этой силе дай бог, чтобы Россия скорее нашла свое равновесие. Покуда правительство есть правительство государя, т.-е. покуда государь был неограниченный, покуда он, как теперь, будет самодержавный и в России не будет парламентаризма, нападающие не на отдельные личные действия министров, а на их государственную деятельность, нападают тем самым на императора. У нас же, к сожалению, часто самые крупные события происходили прямо по воле и действиям императора, даже помимо министров. Самая война, открывшая брешь всей смуте и революции, произошла не по воле и желанию министров, а вопреки их воле и желаниям. Войны никогда бы не было, если бы император не сделал все, чтобы она произошла; хотя он предполагал, что он может делать все, что хочет, и войны не будет, «не посмеют».

По возвращении из Америки и получении графского титула, ко мне приходила масса лиц меня поздравлять. С министрами я встречался только в комитете министров и совещаниях графа Сольского, но разговоров с ними, за исключением графа Ламсдорфа, о текущих делах не вел. С Треповым я раза два имел краткие разговоры, из которых усмотрел только то, что он, во что бы ни стало, желал удалиться. С графом Сольским я вел наедине беседы, он совсем ослабел, растерялся и только твердил: «Граф, вы только одни можете спасти положение»; когда же я ему сказал, что я хочу уехать на несколько месяцев заграницу, то он разрыдался и, плача, сказал: «Ну, уезжайте, а мы погибнем».

Такое состояние этого, несомненно, хорошего, умного и благородного человека, конечно, в значительной степени объяснялось его болезненным состоянием. Затем, я говорил с некоторыми лицами, которые играли значительную роль в последних событиях, и содержание этих разговоров будет не излишне привести для характеристики положения вещей до 17 октября.

По моей инициативе я виделся два раза с генералом, недавно вышедшим в отставку, Кузьминым-Караваевым, воспитанником пажеского корпуса и затем военно-юридической академии, бывшим ординарным профессором уголовного права в юридической академии, публицистом, потомственным дворянином, небольшим землевладельцем и известным в то время земским деятелем Тверской губернии.

Он принимал участие в съездах земских и городских деятелей, был известен в то время как либерал, был затем членом первой и второй Думы, к партии кадет не принадлежал, находя ее крайней, а числился в самой малочисленной партии демократических реформ. Я привел этот краткий формуляр Кузьмина-Караваева для того, чтобы читатель видел, что это лицо не из сан-кюлотов, не революционер, а человек с образованием, знакомый с местною жизнью.

Независимо от сего, он в своей жизни не совершил ничего, что бы давало повод его упрекать в какой-нибудь бесчестной некорректности. Я просил Кузьмина-Караваева мне откровенно высказать свое суждение о положении вещей. Он мне высказал во всех подробностях свое мнение, что единственный выход, это—переход к конституционному режиму, хотя уже эта мера опоздала и потому будет связана с различными эксцессами. Я попросил его свое мнение изложить письменно, и он мне через два дня принес краткую записку, в которой были резюмированы те мысли, которые он высказывал.

Я также имел разговор с Меньшиковым, талантливым публицистом «Нового Времени», теперь он проводит ярым образом идеи самые реакционные, но в то время он так же убежденно, как ныне, доказывал мне, что единственный выход, это—перемена режима управления от неограниченного к конституционному. Я тоже попросил его резюмировать свои мысли на бумаге. Он мне принес проект манифеста и конституционных начал, которые шли несравненно далее, что было сделано 17 октября и всеми последующими узаконениями. К сожалению, я до сих пор не мог найти этот документ, который служит образцом того, как люди под влиянием событий меняют свои мнения и как вследствие 17-го октября люди поправели, при чем многие в своем поправении дошли до геркулесовых столбов.

После Портсмутского мира или, вернее, после позорнейшей и бездарнейшей войны, почти не было правых или если они были, то втихомолку, в скрытом состоянии. 17 октября разбудило Россию, заставило многих опомниться, образовало партии, и воскрес угасший дух. Люди увидали, что скачки в области государственного устроения ведут к пропасти, заговорил патриотизм

и особенно чувство о благополучии своем и своих ближних—чувство личной «собственности», которое, к сожалению, было вытравляемо в нашем крестьянстве, и русская телега начала волочить оглобли направо. Дай только бог, чтобы это не свалило телегу, стремительно несшуюся в левую пропасть, в правое болото и чтобы она не завязла там в тине...

Тогда же у меня был князь Мещерский—редактор-издатель «Гражданина», десятки лет живущий на правительственные крупные субсидии и считающий своим неотъемлемым правом получать таковые, человек безнравственный, низкопоклонный там, где нужно или можно что-либо схватить, и надменный с лицами, которые ему не нужны. Князь был очень сумрачен и высказал свое «убеждение», что ныне нет другого исхода, как дать конституцию. Затем, после 17 октября, когда гроза революции прошла, он начал громить новые законы и теперь опять затянул старую песнь. Благо ему за это платят.

В то время у меня также был несколько раз П. И. Дурново, бывший в моем министерстве министром внутренних дел. Он мне говорил, что главная причина происходящего развала заключается в Трепове, и что если Трепов не уйдет, то мы доживем до величайших ужасов. Вместе с тем, по существу он находил, что единственный выход из созданного положения вещей заключается в широких либеральных преобразованиях и в уничтожении исключительных положений. Дурново был товарищем министра внутренних дел Булыгина и состоял товарищем трех его предшественников князя Мирского, Плеве и Сипягина, был ранее директором департамента полиции, а потому, конечно, его мнение имело некоторое значение.

Из всех лиц, которых я видел со дня моего возвращения в Петербург из Америки до октябрьских дней, я слышал против общего течения мнение только одного лица—А. П. Никольского, будущего впоследствии в моем министерстве министром земледелия. Он мне говорил, что вся беда в прессе, и что для того, чтобы облагоразумить революционное движение, нужно прежде всего беспощадно шлепнуть газеты. Сам А. П. Никольский был в течение 30 лет постоянным сотрудником «Нового Времени», и потому этот его отзыв меня несколько удивил, тем более еще, что в то время «Новое Время» уже было в «союзе печати» и пользовалось «захватным правом», а главный его сотрудник Меньшиков мне, как сказано выше, представил проект конституционного манифеста, так как только в конституции он видел спасение.

Итак, к концу сентября месяца 1905 г. революция уже совсем, если можно так выразиться, вошла в свои права—права захватные. Она произошла оттого, что правительство долгое время игнорировало потребности населения, а затем, когда увидело, что смута выходит из своих щелей наружу, вздумало усилить свой престиж и свою силу «маленькой победоносной войной» (выражение Плеве). Таким образом правительство втянуло Россию в ужасную, самую большую, которую она когда-либо вела, войну. Война оказалась для России позорной во всех отношениях, и режим, под которым жила Россия, оказался совсем несостоятельным—гнилым. Все смутились, и затем—добрая половина русских людей спятила с ума...Явился вопрос, что же делать?... Вопрос этот был резко поставлен заревом революционного пожара. С первых чисел октября 1905 г. в силу самых событий пришли к необходимости его решить и с 6-го в десять дней докатились до великого и знаменательного акта—манифеста 17 октября.

Каким образом это произошло, я буду излагать во второй части моих записок, которую начну писать, возвратясь в Россию*

ПРИЛОЖЕНИЯ

О комиссии по борьбе с чумою и ее председателе принце А. П. Ольденбургском.

В 1896 г. в Индии, а также в Астраханской губернии и Киргизских степях начали проявляться отдельные случаи чумных заболеваний.

Так как вопросами экспериментальной медицины занимался принц Александр Петрович Ольденбургский, то для борьбы с чумою и была образована 11 января 1897 г. комиссия, которая состояла: из министров, прикосновенных к делу народного здравия, некоторых специалистов, а председателем этой комиссии был назначен принц Александр Петрович Ольденбургский.

Эта комиссия так и называлась «чумной»,—хотя официальное название ее было «Особая комиссия для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею, в случае появления ее в России».

Принц Александр Петрович Ольденбургский представляет собою замечательный тип. С его именем связано устройство в Петербурге института экспериментальной медицины,—что было сделано еще при императоре Александре III, хотя тогда институт экспериментальной медицины был устроен в скромных размерах.

С именем принца Александра Петровича Ольденбургского связана большая больница душевно-больных, находящаяся на Удельной. Он является попечителем школы правоведения и особого рода гимназии, находящейся в 12-й роте Измайловского полка.

Эти учебные заведения связаны с его именем, потому что они были основаны отцом его—Петром Георгиевичем Ольденбургским. С именем принца Александра Петровича Ольденбургского связан, наконец, петербургский Народный Дом,—одно из выдаю-

щихся учреждений. С его именем связаны Гагры,—род санитарной станции на берегу Черного моря.

Таким образом принц Александр Петрович Ольденбургский связал свое имя с весьма полезными и благодетельными учреждениями, им самим созданными или полученными им по наследству от своего отца.

Большинство обывателей Российской империи думают, что все это создано благодаря необыкновенной щедрости его высочества, но это совершенно не так.

Все это создано принцем А. П. Ольденбургским, но на казенные деньги; можно даже с уверенностью утверждать, что то же самое было бы создано с гораздо меньшими затратами и, вероятно, более разумно, обыкновенными смертными, если бы те деньги, которые ухлопал на это дело из казенного сундука принц А. П. Ольденбургский, были бы даны обыкновенным русским обывателям.

Вся заслуга принца заключается в том, что он человек подвижной и обладает таким свойством характера, что когда он пристанет к лицам, в том числе иногда лицам, стоящим выше, нежели сам принц А. П. Ольденбургский, то они соглашаются на выдачу сотен тысяч рублей из казенного сундука, лишь бы только он от них отвязался.

Надо отдать справедливость принцу Ольденбургскому, он весьма подвижной человек, и если нужно сделать что-нибудь экспромптом, а в особенности сделать нечто выдающееся по своей оригинальности, то он по своему характеру к этому совершенно приспособлен.

Судя по тому, как описывают историографы характер и натуру императора Павла, нужно сказать, что никто из царской семьи не унаследовал качеств императора Павла в такой полности и неприкосновенности,—в какой унаследовал их принц Александр Петрович Ольденбургский.

В сущности говоря, он недурной, хороший человек, но именно вследствие своей,—мягко выражаясь,—«необыкновенности» характера и темперамента он может делать поступки самые невозможные, которые ему сходят с рук только потому, что он—«его высочество принц Ольденбургский».

Когда я был министром финансов, я раза два имел с ним неприятные объяснения по следующему поводу:

Принц А. П. Ольденбургский приходит ко мне и мне объявляет, что его величество изволил повелеть выдать ему на такое-то дело столько-то сотен тысяч рублей из казенных средств.

Я обращался к принцу и спрашивал его: уполномочен он мне это объявить официально, как генерал-адъютант?

На что не получил от него определенных ответов. Поэтому—хотя обыкновенно дело сводилось к тому, что мне приходилось

выдавать деньги в той или другой степени из казенных средств принцу: то на расширение Народного Дома, то на Гагры,—тем не менее, всякий раз такие выдачи были связаны с некоторыми трениями, которые ставили его величество и в особенности меня в весьма неприятное положение.

При покойном императоре принц Александр Петрович Ольденбургский был командиром гвардейского корпуса, но очень скоро он должен был покинуть этот пост, именно, вследствие своих оригинальных и неожиданных выходок, а ведь император Александр III вообще шутить не любил.

В чумной комиссии, как я уже говорил, председателем был принц Ольденбургский. Когда же в 1897 году принц Ольденбургский был в Киргизских степях, где недалеко от Астрахани вспыхнула чума, то вместо него, за его отсутствием, председательствовал в комиссии я, как старший член.

Как-то раз в комиссии была получена телеграмма, в которой принц Ольденбургский требовал, чтобы в виду появления чумы в Киргизских степях был запрещен вывоз некоторых продуктов из России, или, вернее, из некоторых местностей России,—при чем желание принца выражалось, по обыкновению, в форме императивной.

Я, конечно, на такую меру никоим образом согласиться не мог, так как, если бы мы это объявили, то мы бы подняли переполох во всей Европе, и Европа тогда имела бы полное право сама воспретить вывоз различных продуктов из России, основываясь на чуме. Итак, я на подобную меру не согласился, при чем ко мне присоединились и остальные члены комиссии. Об этом мы представили государю императору, и его величество, вопреки требованию принца Ольденбургского, согласился с нами.

Принц Ольденбургский на это чрезвычайно обиделся и, вернувшись затем в Петербург, довольно долгое время со мною не виделся. Так как принц Ольденбургский не был у меня, то и я, с своей стороны, не искал с ним свидания.

Когда же министром внутренних дел сделался Д. С. Сипягин, с которым я был в весьма дружественных личных отношениях, то как-то раз, приехав ко мне, Сипягин сказал, что принц Ольденбургский желал бы со мною опять сойтись, при этом Сипягин очень советовал мне сделать первый шаг и поехать самому к принцу Ольденбургскому. Я, конечно, сказал, что сделаю это с большим удовольствием. Я спросил по телефону: когда принц Ольденбургский может меня принять, он мне назначил время, я поехал к нему.

И вот разговор, который я имел с принцем Ольденбургским, вполне характеризует этого оригинального человека.

Я начал объяснять принцу, что я против его высочества решительно ничего не имею, отношусь к нему с полным уважением и очень сожалею, что тогда не мог согласиться с мерою, которую его высочество предлагал. Я сказал принцу Ольденбургскому, что и государь тогда согласился со мною, а не с ним, и настаивал на том, что я был совершенно прав,—что подтвердилось и действительностью,—так как хотя никакого запрещения вывоза наших продуктов не было, а тем не менее, чума, благодаря некоторым мерам, принятым принцем Ольденбургским на месте, прекратилась, и все сошло благополучно. Затем я добавил, что вообще появление чумы в Киргизских степях—явление довольно частое, оно бывало и прежде и всегда кончалось одним и тем же, а именно, что после нескольких месяцев, при принятии некоторых мер, чума временно утихала.

Принц Ольденбургский со слезами на глазах мне говорил, что вот, тем не менее, этот инцидент на него чрезвычайно подействовал, что с тех пор у него болит сердце и что он именно этому инциденту приписывает свою болезнь сердца.

Во время этого разговора я сидел, а принц Ольденбургский, разговаривая со мною, все время ходил по комнате быстрыми шагами. К нему во время этого нашего разговора раза два подходил камердинер, говорил ему несколько слов, а принц Ольденбургский что-то камердинеру приказывал. Затем камердинер опять пришел, и принц, не говоря мне ни слова, не простившись со мною, убежал.

Я остался один в комнате и ждал минут десять... Вдруг ко мне прибегает принц Ольденбургский, уже совсем в другом расположении духа, весьма веселый, без всяких жалоб на болезнь сердца и кричит мне: «Проснулась, проснулась».

Тогда я спросил его высочество: «В чем дело?»

Его высочество сказал мне:

— У нас в доме есть нянюшка, очень старая (чуть ли это не была еще его нянюшка),—она несколько дней тому назад уснула и вот несколько дней не просыпалась. Принимали различные меры—она все не просыпалась. И вот,—говорит,—я пришел туда и закатил ей громадный клистир, и, как только я ей сделал клистир, она вскочила и проснулась.

Принц Ольденбургский был по этому поводу в весьма хорошем настроении духа, и я расстался с ним в самых дружественных отношениях.

Когда я ввел питейную монополию в Петербурге, то одновременно с введением монополии были введены и попечительства трезвости—учреждения правительственные.

Мне хотелось, чтобы во главе этих попечительств в Петербурге встал такой человек, которому его величество оказывал

бы симпатию, одним словом, чтобы это был такой человек, который мог бы делать то, что обыкновенному смертному делать не дозволят. Вследствие этого я просил государя назначить председателем попечительств в Петербурге принца Ольденбургского, который состоит председателем попечительств и до настоящего времени.

Пока я был министром финансов, я имел с принцем Ольденбургским по этому делу некоторые столкновения, так как он в некоторых случаях различные народные увеселения и забавы связывал с питьем крепких напитков, против чего я всегда восставал.

Тем не менее, благодаря принцу Ольденбургскому, устроен и существует в настоящее время так называемый «Народный Дом», представляющий собою место здоровых увеселений, если не народа, то, во всяком случае, различных бедных классов петербургского населения.

Конечно, все это сделано на казенные деньги, но, с другой стороны, не будь во главе этого дела принца Ольденбургского, петербургское попечительство никогда не получило бы этих денег: 1) потому, что Государственный Совет не соглашался бы отпускать столько денег, а 2) потому, что у принца Ольденбургского по этому предмету имеется особый способ действий. Он организует большие предприятия, не имея денег и зная, что так или иначе, но деньги эти будут уплачены, так как в крайнем случае он всегда упросит государя, чтобы его величество приказал это сделать.

О ледоколе „Ермак“ и намерении установить морской путь на Дальний Восток по северному побережью Сибири.

В 1898 году, а именно в конце этого года, был по моей инициативе заказан ледокол «Ермак», ближайшей целью сооружения этого громадного ледокола была у меня та мысль, чтобы, с одной стороны, сделать судоходство в Петербурге и других важных портах Балтийского моря в течение всей зимы, но, главным образом, попытаться, нельзя ли пройти на Дальний Восток через северные моря, по северному побережью Сибири. Ледокол этот был сооружен при ближайшем участии адмирала Макарова, того самого Макарова, который геройски погиб около Порт-Артура, будучи во время Японской войны назначен главнокомандующим дальневосточным флотом. Адмирал Макаров отличился еще и во время последней Турецкой войны и вообще по своему характеру представляет собою истинный тип военного решительного человека, с оригинальными взглядами. К сожалению, хотя некоторое время он командовал «Ермаком», или вернее «Ермак» находился под его высшим командованием (это судно-ледокол находилось в ведении министерства финансов в непосредственном моем распоряжении), те проекты, которые я имел в голове, не осуществились. Ледокол этот оказал некоторую пользу в смысле очистки от льдов Балтийских портов, и Макаров на этом судне лишь один раз сделал довольно большое плавание в северные моря и раз попытался сделать плавание и на Новую Землю, но дальнейших экскурсий в том же направлении не производил.

Этому делу открытия морского пути на Дальний Восток, через сибирские прибрежья, а равно плаванию по направлению к полярному полюсу очень сочувствовал также известный наш ученый Менделеев.

Этот Менделеев был известный всему миру русский химик, бывший профессор петербургского университета, затем он, вследствие своего довольно резкого неуживчивого характера, выслуживши пенсию, бросил университет. К стыду нашей академии, он не был выбран академиком, и на место академика по специальности химика мы выбрали лицо, хотя и очень почтенное, но не имевшее никакой серьезной длительной репутации в науке. Опять-таки он не был академиком вследствие своего довольно тяжелого характера, что совершенно не оправдывает действия академии. Так как Менделеев был товарищем по педагогическому институту Вышнеградского, то тот его сделал управляющим палатою мер и весов.

Когда я сделался министром финансов, то это учреждение палаты мер и весов я значительно увеличил и расширил именно потому, что во главе ее стоял такой значительный ученый, как Менделеев, человек с большою не только научною, но и практическою инициативою. Менделееву во многом обязано развитие нашей нефтяной промышленности и других отраслей нашей промышленности. Он был по тем временам ярый протекционист и, как это бывает обыкновенно со всеми выдающимися людьми, во время его жизни вследствие того, что он был и талантливее, и умнее, и ученее лиц, его окружающих, а с другой стороны, вследствие того, что имел самостоятельный характер, подвергался со всех сторон самой усиленной критике. Его сочинения, касающиеся развития наших хозяйственных и промышленных сил, служили предметом насмешливой критики; его обвиняли в том, что будто бы он находится на жалованьи у промышленников и потому он проводит идею протекционизма, и только тогда, когда он умер, то начали кричать, что мы потеряли великого русского ученого.

Хорошо еще, что россияне отдали ему эту честь после смерти его, хотя для Менделеева было бы приятнее, если бы были оценены его достоинства во время его жизни.

Я помню довольно интересное заседание, которое было у меня в кабинете, в котором принимали участие: я, Менделеев и адмирал Макаров. Я поставил вопрос о том, каким образом установить программу для того, чтобы достигнуть намеченной мною цели, т.-е. пройти на Дальний Восток к Сахалину через северные моря по нашему сибирскому прибрежью. На это мне Менделеев после размышления, на которое я ему дал время, высказал то убеждение, что для того, чтобы найти путь на Дальний Восток, не следует итти из Петербурга, огибая Норвегию северными морями

параллельно нашим северным побережьям, а нужно просто пройти прямо по направлению к северному полюсу, прорезать северный полюс и спуститься вниз, что такой переход будет гораздо проще и может быть совершен и гораздо скорее, и безопаснее. Адмирал Макаров не вполне разделял это мнение, он находил, что это будет очень рискованный шаг, что благоразумнее будет попытаться итти по направлению нашего северного прибрежья.

Между ними в моем присутствии произошел обмен взглядов, Менделеев утверждал, что не уверен, что то, что он предполагает, может быть вполне реализовано, но что есть гораздо более шансов к тому, что можно прорезать северный полюс и спуститься вниз южнее. На вопрос Макарова, согласится ли с ним ехать Менделеев на «Ермаке» по плану, им предложенному, Менделеев ему категорически ответил, что по этому плану, т.-е. итти на северный полюс и там спуститься вниз, он совершенно согласен и с ним поедет; тогда Макаров ему предложил с ним ехать, но только не по этому направлению, а опять-таки по нашим северным морям, придерживаясь к сибирскому побережью. Менделеев ответил, что такое плавание и более рискованное и более трудное, и поэтому он ехать с ним по этому направлению не согласен. Таким образом между этими двумя выдающимися лицами произошло в моем присутствии довольно крупное и резкое разногласие, при чем оба эти лица разошлись и затем более уже не встречались. Уходя от меня, каждый из них мне повторил: Менделеев, что он во всякое время согласен ехать на «Ермаке» с адмиралом Макаровым на Дальний Восток к Сахалину, прямо прорезывая северный полюс, а Макаров мне заявил, что он согласен на «Ермаке» ехать к Сахалину, придерживаясь направления параллельно нашим северным прибрежьям. В конце концов ни тот, ни другой проект не осуществился, отчасти вследствие этого разногласия, а отчасти оттого, что Макаров в скором времени был назначен начальником Кронштадтского порта, а затем началась несчастная Японская война.

«Ермак» во все время моего управления министерством финансов впредь до образования главного управления мореходства находился в распоряжении министерства финансов, а затем, когда было образовано главное управление мореходства, то был передан в ведение этого управления.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА